



СОКИ ЗЕМЛИ

ЖЕНЩИНЫ У КОЛОДЦА



КНУТ
ГАМСУН

КНУТ
ГАМСУН

КНУТ
ГАМСУН

KNUT
HAMSUN



КНУТ ГАМСУН

**СОКИ ЗЕМЛИ
ЖЕНЩИНЫ
У КОЛОДЦА**

Романы

Москва
«Эй-Ди-Лтд»
1994

ББК 84.4.Нр
Г18

Художественное оформление
Б.М.Кравченко

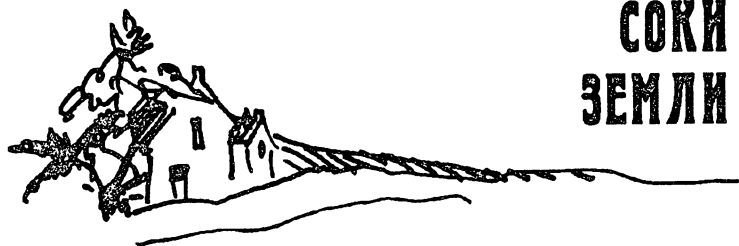
При подготовке оригинал-макета использовались
программные продукты АО «Параграф-Интерфейс»

Тел. (095) 299-75-69, 299-79-23

Факс (095) 923-52-53

ISBN 5—85869—045—9

© «Эй-Ди-Лтд», составление, 1994



**СОКН
ЗЕМЛИ**

Длинная, длинная тропинка стелется по болотам и уходит в леса,— кто проложил ее? Мужчина, первый попавший сюда человек. До него здесь не было тропинки. Потом, одно за другим, прошли по неясным следам на мочежинах и болотах животные и следы стали отчетливее, а там, один за другим, пронюхали о тропинке лопари и стали ходить по ней когда им нужно было перебраться со скалы на скалу, чтоб проведать своих оленей. Так и образовалась тропинка чрез обширную пустошь, никому не принадлежавшую, бесхозяйную землю.

Человек идет по направлению к северу. Он несет мешок, первый мешок, в нем съестные припасы да кое-какие инструменты. Человек крепок и груб, у него рыжая жесткая, словно железная, борода и мелкие рубцы на лице и руках,— где он заполучил эти шрамы: на работе или в бою? Может быть, он бежал от наказания и скрывается, может быть, он философ, ищет покоя и тишины,— но как бы то ни было, он идет и идет, кругом не слышно ни птиц, ни зверей, изредка бормочет он про себя какое-нибудь слово:— О-ох, Господи!— говорит он. Миновав болота и выйдя на приветливое местечко, с открытой полянкой в лесу, он опускает на землю мешок и начинает бродить кругом исследуя местность; немного погодя возвращается, скидывает мешок на спину и идет дальше. Так продолжается весь день, он следит за временем по солнцу, спускается ночь, и он бросается в вереск, положив под голову руку.

Через несколько часов он опять идет.— О-ох, Господи!— идет прямо на север, следит за временем по солнцу, обедает куском сухой лепешки с козьим сыром, выпивает воды из ручья и продолжает свой путь. И этот день тоже уходит на странствие, потому что ему приходится исследовать очень много уютных местечек в лесу. Чего он ищет? Места земли? Должно быть, он выселенец из городов, глаза у него на чеку, и он все время смотрит, иногда взбирается на пригорок и высматривает. Вот и опять садится солнце.

Он идет по западной стороне длинной балки, поросшей смешанным лесом, здесь и лиственный лес и луговинки, так тянется часами, темнеет; но он слышит тихое журчанье

речки, и это слабое журчанье подбадривает его, как присутствие чего-то живого. Поднявшись на возвышенность, он видит внизу долину в полутьме, а дальше к югу — небо. Он ложится.

Утром перед ним растилается ландшафт: лес и луговина, он спускается в долину по зеленому откосу, далеко внизу видит излучину реки и зайца, который как раз перескакивает через нее одним махом. Человек кивает головой, как будто так и нужно, чтобы речка была не шире заячьего прыжка. Сидевшая на яйцах куропатка внезапно срывается из-под его ног и злобно клохчет, человек снова кивает, оттого, что здесь есть зверьки и птицы — это тоже хорошо! Он бродит по кустам голубики и облепихи, по зубчатолистным кустикам звездочета и мелким папоротникам; останавливается то тут, то там, ковыряет железкой землю и находит в одном месте чернозем, в другом — болото, удобренное многовековым листопадом и перегноем ветвей. Человек кивает головой: здесь он поселится, да, так и сделает, поселится здесь! Два дня бродит он по окрестностям, но вечерами возвращается к тому же откосу. Ночи спит на подстилке из хвои; он уже так освоился здесь, что даже устроил себе постель из хвои под выступом горы.

Самое трудное было найти место; это ничье место, но его: с этого же момента дни стали заполняться работой. Он сейчас же принялся срезать бересту в соседних лесах, пока в деревьях еще бродил сок, клал бересту под гнет и сушил ее, а когда накапливалась большая куча, носил в село за много миль и продавал на постройки. Домой же к откосу приносил новые мешки с припасами и материалами — муку, свинину, котел, лопату; ходил по тропинке туда и обратно, и все носил и носил. Прирожденный носильщик, он сновал по лесу, как паром между берегами, казалось, он любил выпавший на его долю жребий: много ходить и много носить, как будто не иметь на спине ноши было ленивым существованием и совсем ему не по душе.

Однажды он пришел с тяжелой ношей и, кроме того, притащил на веревке двух коз и молодого козла. Он радовался на своих коз, словно то были коровы, и ласкал их. Проходил мимо первый чужой человек, бродячий лопарь, увидел коз и понял, что попал к человеку, осевшему здесь; он сказал:

— Ты совсем будешь жить здесь?

— Да,— ответил человек.

— Как тебя зовут?

— Исаак. Нет ли у тебя знакомой работницы для меня?

— Нет. Но я поговорю там, куда иду.

— Поговори! Скажи, что у меня есть скотина, а ходить за ней некому.

Стало быть — Исаак; лопарь скажет и это, человек в пустоши не беглый, он сказал свое имя. Он — беглый? Так вот он и отыскался. Он был просто неутомимый работник, запасал на зиму корм для своих коз, начал расчищать землю, разделять поля, оттаскивал камни, складывал из камней ограду. К осени он смастерил жильё, землянку из дерна, она была плотная и теплая, в бурю в ней не трещало, она не могла сгореть. Он мог войти в это жилище, затворить дверь и сидеть у себя, дома, мог стоять на пороге полновластным хозяином, когда кто-нибудь проходил мимо. Землянка была разделена на две половины, в одном конце жил он сам, в другом скотина, в глубине, под выступом скалы, он устроил сеновал. Все было под рукой.

Проходит еще двое лопарей, отец с сыном, они останавливаются, опираются обеими руками на свои длинные посохи и смотрят на землянку, на расчищенное место, слышат козы колокольчики на косогоре.

— Здравствуй,— говорят они,— видать в пустошь пожаловали знатные люди!— Лопари ведь всегда льстят.

— Не знаете ли вы работницы для меня?— отвечает Исаак. У него только одно это на уме.

— Работницы? Нет. Но мы поговорим.

— Будьте так добры! Скажите, что у меня есть дом, земля и скотина, но нет работницы, так и скажите.

О, он искал эту работницу всякий раз, когда относил в село бересту, но так и не нашел. Одна вдова да две пожилые девицы посмотрели на него и не решились пойти с ним; отчего это так вышло, Исаак не понимал. Неужели не понимал? Кто захочет служить у одинокого мужчины в дикой пустыне, за много верст от людей, в целом дне пути от ближайшего жилья! Да и сам мужчина-то вовсе не отличался нежностью или приятностью, совсем даже наоборот, и когда он говорил, то далеко не как тенор с возведенными к небесам глазами, а был звероват и груб голосом. Приходилось, значит, оставаться одному.

Зимой он делал большие деревянные корыта, продавал их в селе и приносил домой, в снег и вьюгу, мешки с едой и всяким снаряжением; то были трудные дни, он примерзал к ноше. Так как у него была скотина, и ходил за нею он сам, он не мог оставлять ее надолго, и что же он тогда придумал? Нужда учит человека сообразительно-

сти, мозг его был силен и свеж, он упражнял его все больше и больше. Во-первых, перед уходом из дому он выпускал коз на волю, чтоб они питались ветками в лесу. Но он придумал и другое: он вешал у реки большую деревянную посудину так, что вода капала в нее по капле, она наполнялась в четырнадцать часов. Наполнившись до краев, посуда приобретала нужную тяжесть и опускалась, но опускаясь задевала за веревку, соединенную с сеновалом, там открывался люк, и падали три вязки сена: животные получали корм.

Вот так он действовал.

Остроумная выдумка, пожалуй, божье внушение, и человек выпутался из беды. Все шло хорошо до поздней осени, но вот выпал снег, потом пошел дождь, опять снег, упорный снег, механизм стал действовать плохо, посуда наполнялась осадками и преждевременно открывала люк. Человек прикрыл посудину, некоторое время опять все было ладно, но когда наступила зима, водная капля замерзла, и приспособление перестало работать.

Тогда козам, как и самому человеку, пришлось привыкать обходиться без еды.

Тяжелые дни, человеку надо было иметь помощника, но его не было, и он все-таки не растерялся.

Он продолжал работать и устраивать свой дом, прорезал в землянке окно, вставил два стекла, это был замечательный и радостный день в его жизни, ему не надо было зажигать очаг, чтоб видеть, он мог сидеть в доме и мастерить деревянные корыта при дневном свете. Все улучшалось и светлело, ох, Господи! Он никогда не молился по молитвеннику, но мысли его часто обращались к богу, без этого нельзя было обойтись, он был сама искренность и трепет. Звездное небо, шелест в лесу, одиночество, глубокий снег, тайные силы на земле и над землей возбуждали в нем глубокие и набожные мысли много раз в сутки; он был греховен и богобоязнен, по воскресеньям умывался в честь праздника, но трудился, как в другие дни.

Пришла весна, он обработал свой маленький участок и посадил картошку. Скота прибавилось, обе козы принесли по паре козлят, с взрослыми и молодняком стало в пустоши семь коз. Он расширил хлев с запасом на будущее и вставил в нем также два окна. Светлело, и удавалось во всех смыслах.

И наконец однажды явилась помощница. Она долго бродила взад-вперед по косоугору, не отваживаясь подойти;

уж завечерело, когда она насмелилась, но под конец все-таки пришла — крупная, кареглазая девушка, очень плотная и грубая, с здоровенными увесистыми руками, в лопарских комагах, хотя сама была и не лопарка, и с мешком из телячьей кожи за спиной. На вид она казалась уж в летах, этак, не в обиду будь сказано, под тридцать.

Бояться ей было нечего, но она поклонилась и торопливо промолвила:

— Мне надо за перевал, оттого я и пошла этой дорогой.

— А-а,— сказал мужчина. Он понял не все, она говорила неясно и вдобавок отворачивала лицо.

— Да,— сказала она.— А путь страсть какой дальний!

— Да,— ответил он.— Ты через перевал?

— Да.

— Зачем тебе туда?

— У меня там родня.

— Вот как,— у тебя там родня. Как тебя зовут?

— Ингер. А тебя?

— Исаак.

— Ну-у! Исаак. Это ты здесь живешь?

— Да, живу вот здесь, как сама видишь.

— Пожалуй, тут не плохо,— промолвила она одобрительно.

Он был малый не промах и тут же сообразил, что пришла она по чьему-нибудь сказу, да, пожалуй, и просто вышла из дому третьего дня и прямехонько сюда. Может, она слышала, что ему нужна работница.

— Зайди, дай передохнуть ногам,— сказал он.

Они вошли в землянку, поели ее припасов и попили его козьего молока; потом она сварила кофею, который принесла с собой в пузырьке. Они угостились кофеем перед сном. Он лег, а ночью в нем вспыхнуло желание, и он взял ее.

Утром она не ушла, не ушла и во весь день, а суетилась, доила коз, вычистила мелким песком кастрюли и навела чистоту. Она так и не ушла. Ее звали Ингер. Его звали Исаак.

И вот, для одинокого мужчины наступила новая жизнь.

Правда, жена его говорила неясно и упорно отворачивалась от людей, стесняясь своей заячьей губы, но на это нечего жаловаться. Не будь этого обезображенного рта, она бы, наверно, никогда не пришла к нему, заячья губа была его счастьем. А сам-то он разве уж совсем без всякого порока? Бородатый и необыкновенно коренастый, Исаак был похож на страшный мельничный жернов, а мимо окна он

носился словно смерч. И у кого еще была такая строгость в лице! Хорошо уж и то, что Ингер не убежала от него.

Она не убежала. Когда он уходил и возвращался домой, Ингер встречала его у землянки, обе составляли одно — землянка и она.

Ему прибавилось заботы о лишнем человеке, но забота оправдывалась, он мог больше бывать вне дома, больше двигаться. Во-первых, была река, отличная река, и мало того, что красивая на вид, глубокая и быстрая, вовсе не какая-нибудь маленькая речонка, должно быть, текла она из большого озера в горах. Он добыл рыболовные снасти, обследовал реку вверх по течению, а вечером вернулся с ведром окуней и горных форелей. Ингер встретила его с изумлением, была поражена, не знала, что и подумать, она всплеснула руками и сказала:

— Господи Боже милостивый! Ну, уж и ты!— Она отлично заметила, что ему нравились похвалы, и он гордится ими, она прибавила еще несколько лестных слов: никогда ничего подобного она не видала, и не понимает, как это он умудрился!

И в других отношениях Ингер была тоже хоть куда. Правда, разума в голове у нее не бог весть сколько, но у кого-то из родных остались две ее овцы с ягнятами, и она привела их. Сейчас это было самое, что ни на есть нужное в землянке — овцы с шерстью и ягнятами, целых четыре штуки; скот умножался в огромном масштабе, чистая задача и чудо, до чего он рос в числе! Помимо этого, Ингер принесла кое-что из платья и всякой мелочи: зеркало, нитку с красивыми стеклянными бусами, чесалки для шерсти и прялку. Ну, если она будет действовать так и дальше, скоро все будет набито от пола до потолка, и в землянке не хватит места! Исаак, разумеется, радовался этому наплыву земных благ, но, по своей обычной молчаливости, был скуп на выражения; он прошмыгал к порогу, посмотрел какова погода, и прошмыгал обратно на свое место. Да, можно сказать, ему здорово повезло, и он чувствовал все большую и большую влюбленность, влечение, или как это там ни назвать.

— Довольно уж тебе хлопотать!— сказал он.

— У меня в одном месте еще больше этого. А потом есть еще дядя Сиверт, слышал ты про него?

— Нет.

— А он богат. Он окружной казначей в нашем селе.

От любви умный глупеет,— ему захотелось по своему показаться приятным, и он пересолил.

— Вот что я тебе скажу,— промолвил он,— не ходи окучивать картошку. Я сам займусь вечером, когда приду домой.

С этими словами он взял топор и ушел в лес.

Она слышала удары топора в лесу недалеко от дома и по треску догадывалась, что он валит крупные деревья. Послушав некоторое время, она пошла на поле и принялась окучивать картошку. От любви глупый умнеет.

Вечером он вернулся, волоча за собой на веревке огромное бревно. Грубый и простодушный Исаак изо всех сил гремел бревном, топотал и кашлял, чтобы она вышла и подивилась на него.

— Да ты совсем спятил!— и в самом деле воскликнула она, идя ему навстречу.— Человек ты или нет?!— Он не ответил. И не подумал даже! Невелика штука справиться с бревном, об этом не стоило и говорить.

— А на что тебе эта лесина?— спросила она.

— Да и сам не знаю,— небрежно ответил он.

Но тут он увидел, что она уж успела окучить картошку, и, стало быть, в усердии почти сравнялась с ним. Это ему не понравилось, он отвязал веревку с бревна и пошел с ней куда-то.

— Ты опять уходишь?— спросила она.

— Да,— сердито ответил он.

Он вернулся со вторым бревном, но на этот раз не пыхтел и не шумел, а подтащил его, как вол, к землянке и положил на землю.

За лето он перетаскал к землянке множество бревен.

ГЛАВА II

Однажды Ингер опять наложила припасов в свою телячью сумку и сказала:

— Пойду проведать своих.

— А-а,— промолвил Исаак.

— Да, надо потолковать с ними кое о чем.

Исаак не сразу пошел за нею, а порядочно помедлил. Когда он, наконец, проковылял за дверь, отнюдь не выдавая своим видом любопытства и тяжелых предчувствий, Ингер уже едва виднелась на опушке леса.

— А ты вернешься?— крикнул он, не в силах совладать с собою.

— Неужто не вернусь!— отозвалась она.— Придумаешь тоже!

— А-а.

И вот он опять остался один, о-о-о, Господи! Полный сил и жадный на работу, он не мог расхаживать по землянке и зря топтаться на месте, а принялся за дело, стал ворочать бревна, обтесывать лесины с обеих сторон. Проработал до вечера, потом подоил коз и лег спать.

Пусто и тихо в землянке, тяжким молчанием веяло от дерновых стен и земляного пола, глубоко и серьезно ощущал он свое одиночество. Но прятка и чесальные доски стояли на своем месте, и бусы на нитке лежали аккуратно припрятанные на полке под потолком. Ингер ничего не унесла с собою. Но Исаак был так бесконечно глуп, что в белую летнюю ночь на него напал страх темноты, и ему чудилось, что бог знает кто крадется под окнами. Часа в два, судя по свету, он встал и позавтракал, уплел огромный горшок каши на весь день, чтобы не тратить время на новую стряпню. И до вечера поднимал целину, в прибавок к картофельному полю.

Три дня он попеременно тесал бревна и взрывал землю — авось Ингер придет завтра. Не беда, если он припасет рыбы к ее возвращению, он не хотел пойти к ней навстречу напрямиком через скалы, и пошел кружным путем к рыбалке. Он забрался в незнакомые места в скалах, тут высились серые горы и темно-бурые горы и валялись мелкие камни, тяжелые, словно из свинца или меди. В этих темных камнях могло быть много добра, может, и золото, и серебро, он не знал в них толку, и ему было все равно. Он спустился к реке, рыба хорошо клевала ночью под звенящим комарами небом, опять набралось целое ведро окуней и горных форелей, пусть-ка Ингер посмотрит! Возвращаясь утром тем же кружным путем, каким и пришел, он взял с собой два тяжелых камня со скалы, они были коричневые с темно-синими крапинками и ужасно тяжелые.

Ингер не пришла. Тянулись уж четвертые сутки. Он подоил коз, как в те времена, когда жил с ними один и некому было этим заняться, потом пошел к каменной россыпи и натаскал во двор большие кучи подходящих камней для ограды. У него было много грандиозных затей.

На пятый вечер он лег спать с маленьким подозрением в сердце, но, впрочем, прятка и чесальные доски оставались же тут, да и бусы тоже! Опять пустота в землянке и ни единого звука, часы тянулись долго, и когда, наконец,

снаружи послышался какой-то топот, он сообразил, что это ему только почудилось.

— О-ох, Господи!— промолвил он, проникнутый своей заброшенностью, а такие слова Исаак произносил не зря. Но вот он снова услышал тот же топот, а немного спустя что-то промелькнуло под окнами, что-то такое с рогами, живое. Он вскочил, метнулся к двери и увидел призрак.

— Бог или сатана!— пробормотал он, а такие слова Исаак произносил только в крайности. Он увидел корову, Ингер и корову, обе они скрылись в хлеву.

Если б он сейчас не стоял и не слышал, как Ингер тихонько разговаривает в хлеву с коровой, он не поверил бы самому себе, но вот, ведь стоит же он! В ту же минуту у него мелькнуло дурное предчувствие: спаси ее Господь, она, разумеется, необыкновенная, чертовски замечательная баба, но что чересчур, то уж чересчур. Прялка и чесальные доски — куда ни шло, бусы-то, положим, подозрительно щегольские, ну да бог уж и с ними! Но корова, которую она нашла, может быть, где-нибудь на дороге или в загоне — ведь хозяин ее хватится и непременно разыщет.

Ингер вышла из хлева и сказала, горделиво улыбаясь:

— А я привела свою корову!

— А-а,— ответил он.

— Я проходила так долго, потому что с ней нельзя было идти шибко по горам. Она стельная.

— Так ты привела корову?— сказал он.

— Да,— ответила она, чувствуя потребность поговорить от сознания своего богатства.— Уж не думаешь ли ты, что я вру!— прибавила она.

Исаак опасался самого худшего, но остерегся высказать свои подозрения и проговорил только:

— Поди, поешь.

— Ты видел корову? Разве не красавица?

— Чудесная. Откуда она у тебя?— спросил он со всем равнодушием, на какое был способен.

— Ее зовут Златорожка. Зачем ты сложил эту ограду? Ты уморишь себя работой, тем кончится. Да пойдем же, посмотрим корову!

Они пошли, Исаак был в одном белье, но это ничего не значило. Они очень тщательно осмотрели корову, осмотрели все отметины, голову, вымя, крестец, бока: красная с белым, тощая.

Исаак осторожно спросил:

— Как думаешь, сколько ей лет?

— Думаю?— отозвалась Ингер.— Ей аккурат пошел четвертый год. Я сама ее выходила, и все, кто ее видал, говорили, что отроду не видывали такого умного теленка. Как по твоему, хватит у нас для нее корму?

Исаак начинал верить в то, чего ему так хотелось, и заявил:

— Что касемо до корма, так корма для нее у нас хватит!

Потом пошли в землянку, поели, попили, посидели. Улеглись спать, разговаривали о корове, о великом событии:

— Разве не красивая корова? У нее будет второй теленок. Ее зовут Златорожка. Ты спишь, Исаак?

— Нет.

— А что до этого, так она меня сразу признала и пошла за мной, словно вчерашний ягненок. Мы с ней часок поспали ночью в горах.

— А-а.

— Придется все лето держать ее на привязи, а то она убежит, потому что корова — она корова и есть.

— Где же она была раньше?— спросил, наконец, Исаак.

— У моих родных. Они не хотели отдавать ее, а ребятишки плакали, когда я ее повела.

Возможно ли, чтоб Ингер умела так замечательно лгать? Разумеется, она говорила правду, что корова — ее. Теперь на усадьбе, во дворе стало важное обзаведенье, можно сказать — ни в чем недостатка! Ох уж эта Ингер, он любил ее, и она отвечала ему взаимностью, они были неприсутливы, жили в век деревянных ложек и были счастливы. «Пора спать!»— думали они. И засыпали. На утро просыпались для нового дня, и тут всегда находилось то одно, то другое, над чем помяться, ну да и горе, и радость, такова уж жизнь.

Взять хотя бы для примера эти бревна — не попробовать ли ему сложить их? По этому поводу, бывая в селе, Исаак смотрел в оба и, надумав план постройки, решил поставить сруб. А разве это ему не до зарезу нужно? Во дворе прибавились овцы, прибавилась корова, коз стало много и будет еще больше, скотина уж не помещалась в своем отделении в землянке, надо же было найти какой-нибудь выход. И лучше приняться за дело сейчас, покамест цвела картошка и не начался сенокос. Ингер кое в чем ему пособит.

Исаак просыпается ночью и встает, Ингер после путешествия спит, как убитая. Он идет в хлев. Теперь он говорит с коровой не так, что слова переходят в приторную лесть, а тихонько оглаживает ее и исследует во всех местах, нет

ли где метки, тавра, положенного неведомым хозяином. Он не находит никакой метки и удаляется с облегчением.

Вот лежат бревна, он начинает катать их, поднимает на каменную кладку, прилаживает прорез для окна, большой прорез для горницы и маленький — для клетки. Это было очень трудно, он весь ушел в работу и позабыл о времени. Вот задымила крыша на землянке, вышла Ингер и позвала завтракать.

— Что это ты затеваешь?— спросила она.

— Ты уже встала?— ответил Исаак. Ох, уж этот Исаак, такой скрытный, но ему нравилось, что она спрашивает, проявляет любопытство и обращает внимание на его затеи. Поев, он перед уходом посидел немножко в землянке. Чего он ждал?

— Да что же это я сажу!— сказал он и встал.— Дела-то ведь хоть отбавляй!— прибавил он.

— Дом, что ли ты строишь?— спросила она.— Неужто не можешь ответить?

Он ответил из милости, он был преисполнен необыкновенной гордости от того, что строит и сам со всем справляется, потому и ответил:

— Ты ведь видишь, что строю.

— Ну да. Так, так.

— Как же не строить?— сказал Исаак.— Ведь вот ты привела корову, надо же ей хлев.

Бедняжка Ингер, она была не так умна, как он, Исаак, венец создания. И было это до того, как она узнала его, научилась понимать его манеру говорить. Ингер сказала:

— Да ведь ты же строишь не хлев?

— Ну,— ответил он.

— Похоже больше, что ты строишь избу. Так оно и есть.

— По твоему так?— сказал он и взглянул на нее с напускным непониманием, даже как будто бы пораженный ее мыслью.

— Да. А скотине останется землянка?

Он подумал с минуту.

— Пожалуй, так оно будет лучше!

— Вот видишь,— победоносно проговорила Ингер,— я тоже не так-то уж проста!

— Нет. А что ты скажешь насчет клетки при горнице?

— Клеть? Тогда будет совсем как у людей. Ох, если б у нас так вышло!

Так вышло. Исаак строил, сколачивал углы и закладывал венцы, одновременно складывая очаг из подходящих камней, но последняя работа плохо у него ладилась, и

Исаак по временам бывал недоволен собой. Когда начался сенокос, ему пришлось оставить стройку, ходить по косогорам и косить, огромными копнами приволакивал он домой сено. В один дождливый день Исаак сказал, что ему надо сходить в село.

— Зачем тебе туда?

— Да и сам хорошенько не знаю.

Он ушел и проходил двое суток, вернулся с печкой — паром прополз через лес с плитой на спине.

— Да нет, ты просто не человек! — воскликнула Ингер.

Исаак разобрал очаг, который так не подходил к новому дому, и поставил вместо него печку.

— Не у всех есть такие печки, — сказала Ингер. — Господи, помилуй нас грешных!

Сенокос продолжался, Исаак кучами таскал сено, потому что лесная трава далеко не то, что луговая, а гораздо хуже. Только в дождливые дни ему удавалось поработать на стройке, она подвигалась медленно, даже в августе, когда все сено было убрано, новый дом был доведен едва до половины. В сентябре Исаак сказал, что так не годится:

— Сбегай-ка в село и приведи мне на подмогу работника, — сказал он Ингер.

Ингер в последнее время что-то раздалась в ширь и уж не могла бегать, но, разумеется, собралась в дорогу.

Но тут муж вдруг передумал, он снова загордился и решил сделать все один.

— Незачем беспокоить людей, — сказал он. — Я и один справлюсь.

— Тебе не справиться.

— Помоги мне только поднимать бревна.

Когда подошел октябрь, Ингер заявила:

— Мне больше невоготу!

Это было очень досадно, надо было непременно поднять и положить стропила, чтоб покрыть дом до осенних дождей, а времени оставалось самая малость. Что такое стряслось с Ингер? Изредка она варила козий сыр, но большей частью только по нескольку раз в день переносила с места на место прикол у Златорожки.

— Принеси большую корзину или ящик, или что-нибудь такое в следующий раз, как пойдешь в село, — попросила раз Ингер.

— На что тебе? — спросил Исаак.

— Нужно, — ответила Ингер.

Он втаскивал стропила на веревке, Ингер подпихивала только одной рукой, но как будто помогало уже одно ее

присутствие. Дело подвигалось медленно, крыша-то была невысока, но балки невероятно велики и толсты для маленького домика.

Некоторое время держалась ясная осенняя погода, Ингер одна выкопала всю картошку, а Исаак успел покрыть избу до начала затяжных дождей. Козы уже переселились на ночь в землянку к людям, и это ничего, все было ничего, люди на это не жаловались. Исаак опять собрался в село.

— Принеси же мне большую корзину или ящик!— опять сказала Ингер тоном умильной просьбы.

— Я заказал себе несколько оконных стекол, которые надо принести,— ответил Исаак,— да еще заказал две крашенных двери,— ответил он важно.

— Вот что, ну так придется обойтись без корзины.

— Да на что она тебе?

— На что? Да где же у тебя глаза?

Исаак ушел в глубоком раздумье и вернулся через двое суток с окном, дверью для горницы и дверью для клетки, кроме того на груди у него висел ящик для Ингер, а в ящичке были разные съестные припасы. Ингер сказала:

— Уж дотаскаешь ты когда-нибудь до смерти!

— Хы, до смерти?— Исаак до того был далек от смерти, что вынул из кармана аптечный пузырек с нефтью и дал Ингер с наставлением усердно принимать ее, чтоб поправиться. А тут же были окна и крашенные двери, за которые он мог приняться, и он сейчас же бросился их прилаживать. Ах, и что же за дверки: подержанные, правда, но отлично выкрашены заново, расписаны красной и белой краской, они красовались на доме, словно картинки.

И вот они перебрались в новый дом, а скотина распространилась по всей землянке; одну овцу с ягненком оставили при корове, чтоб той было не так скучно.

Пустынножители зашли далеко вперед, просто чудо, как далеко.

ГЛАВА III

Пока земля не промерзла, Исаак выдирает из нее камни и корни и выравнивал себе луг на будущий год; когда земля промерзла, он стал ходить в лес и усердно рубил дрова.

— На что тебе столько дров?— спрашивала Ингер.

— И сам не знаю,— отвечал Исаак, но отлично знал.

Старый и густой нетронутый лес подходил к самым строениям и не позволял расширить площадь сенокоса, а, кроме того, Исаак рассчитывал каким-нибудь способом доставить дрова зимой в село и продать их тем, у кого не будет дров. Задумано было с толком. Исаак знал это твердо, продолжал расчищать лес и рубить его на дрова. Ингер часто приходила посмотреть, как он работает, а он притворялся, будто ему все равно, и он вовсе в ней не нуждается, но она понимала, что доставляет ему удовольствие. Изредка они перебрасывались словами:

— Неужто тебе больше нечего делать, кроме как приходить сюда и мерзнуть?— говорил Исаак.

— Мне не холодно,— отвечала Ингер,— а вот ты губишь свое здоровье.

— Возьми, надень мою куртку, вон она лежит!

— Пожалуй надела бы, потому что нельзя мне сидеть здесь, когда Златорожка собралась телиться.

— Ну, разве Златорожка собирается телиться?

— Что ж ты не слышишь, что ли? А как по-твоему, оставить нам теленка?

— По мне делай как хочешь, я не знаю.

— Не можем же мы съесть теленка! Ведь тогда у нас останется только одна корова.

— Я и не думал, что ты захочешь, чтоб мы съели теленка,— отвечал Исаак.

Одинокие люди, некрасивые и грубые, но полные доброты друг к другу, к животным и к земле!

И вот, Златорожка отелилась. Знаменательный день в пустыне, огромная благодать и счастье. Златорожке дали вкусного пойла с мучной подболткой, а Исаак сказал:— Не жалей муки!— хотя и принес ее на собственной спине. Возле нее лежал хорошенький теленочек, красавица-телка, тоже краснопегая, забавно удивленная чудом, которое она только что пережила. Через два года она сама станет матерью.

— Из этой телки выйдет чертовски красивая корова,— сказала Ингер,— а я не знаю, как бы назвать ее.— Ингер была ребячлива, и у нее на все было мало смекалки.

— Как назвать?— повторил Исаак.— Тебе не найти клички более подходящей, чем Сребророжка.

Выпал первый снег. Как только установился санный путь, Исаак отправился по деревням и, по обыкновению, был полон таинственности, не пожелал поделиться своими намерениями с Ингер. Вернулся он с величайшим сюрпризом — с лошадей и санями!

— Ну уж теперь, мне думается, ты колдуешь,— сказала Ингер,— ведь не взял же ты лошадь?

— Я взял лошадь.

— Я спрашиваю: нашел ее?

О, если б Исаак мог сказать: моя лошадь, наша лошадь! Но он только взял лошадь на время, чтоб свозить на ней дрова.

Исаак возил в село дрова и привозил оттуда припасы — муку, сельдей. А однажды привез на санях быка; он купил его баснословно дешево, потому что в селе уже началась бескормица. Бык был худой, шершавый да, судя по всему, не мог разжиреть, но не урод и должен был оправиться от хорошего корма. Ингер сказала:

— Чего только ты не притащишь!

Да, Исаак притаскивал все — притаскивал доски и тес, которые выменял на бревна, притащил точильный камень, вафельницу, всякие снасти и инструменты, все это за дрова. Ингер распухала от богатства и каждый раз говорила:

— Ты еще что-то привез? Теперь у нас есть бык и все, что только можно придумать!

И однажды Исаак ответил:

— Нет, теперь уж больше ничего не стану возить!

У них были запасы на долгое время, и они стали зажиточными людьми. Что-то затеет Исаак весной? Сотни раз шагал он зимой за возами своих дров и надумал: он расчистит место дальше за косогором, вырубит весь лес, наготовит дров, оставит сохнуть на лето и зимой будет накладывать на воз вдвое больше. Расчет был безошибочный. Сотни раз думал Исаак и о другом: о Златорожке, откуда она взялась, чья была раньше?— Нигде не найти другой такой жены, как Ингер; бедовая бабенка, податливая и на все согласная; но ведь в один прекрасный день кто-нибудь может прийти отобрать Златорожку и увести ее на веревке. А из этого может выйти беда. «Ты ведь не взял лошадь?»— сказала Ингер. «Или уж не нашел ли?»— сказала она. Вот какая у нее была первая мысль, ей нельзя было безоговорочно верить, а что ему делать? Вот о чем он думал. Да и сам еще купил быка для Златорожки, это для краденной-то, может быть, коровы!

Но вот пришло время отдавать лошадь. Жалко было, потому что лошадка была маленькая, мохнатая и очень им полюбилась.

— Ну, что ж, ты все-таки сделал много дел,— сказала Ингер в утешение.

— Как раз к весне-то мне и нужна лошадь,— ответил Исаак,— у меня столько для нее работы.

И вот утром он тихонько выехал из дому с последним возом дров и вернулся только на третий день. Когда он приплелся домой пешком, то уже снаружи услышал доносившийся из избы какой-то странный звук, и остановился на минутку. Детский плач.— О-ох, Господи,— что ж поделаешь, но это было очень страшно и необыкновенно, а Ингер ничего не сказала.

Он вошел, и прежде всего ему бросился в глаза ящик, знаменитый ящик, который он притащил домой на своей груди; он висел теперь на двух веревках и превратился в люльку для ребеночка. Ингер капошилась полуодетая, да она уж успела подоить корову и коз.

Когда ребенок умолк, Исаак спросил:

— Ты уж справилась?

— Да, справилась.

— Так.

— Он родился в вечер, как ты уехал.

— Так.

— Я только хотела прибраться и повесить люльку, чтоб все приготовить; да насилу успела, потом сразу начались боли.

— Отчего ж ты меня не предупредила?

— Разве я могла знать в аккурат время! Это — мальчик. Никак не могу придумать, как его назвать,— сказала Ингер.

Исаак увидел маленькое красненькое личико, правильное и без заячьей губы, а головка густо поросла волосами. Настоящий здоровый мужичок, отвечающий своему званию и положению в ящике. Исаак почувствовал себя каким-то чудным, размякшим; мельничный жернов стоял перед чудом, оно зародилось когда-то в священном тумане и в жизнь явилось с крошечным личиком, как загадка. Дни и годы превратят это чудо в человека...

— Пойди поешь,— сказала Ингер...

Исаак расчищает лес и рубит дрова. Он уже теперь не то, что вначале, у него есть пила, он пилит дрова, и поленицы становятся огромными, он строит из них улицу, целый год. Ингер теперь больше привязана к дому и не может так часто навещать мужа за работой, но зато сам Исаак частенько наведывается домой. И чудно же иметь такого маленького мальчишку в ящике! Исааку и в голову не приходило беспокоиться о нем, да к тому же он был просто чурбанчик, пусть себе полеживает! Однако он все-таки был человек и не мог безучастно слышать крик, да еще такой жалобный крик.

— Да нет же, не бери его!— говорит Ингер,— у тебя, наверно, руки в смоле!— говорит она.

— У меня руки в смоле? Ты с ума сошла!— отвечает Исаак,— у меня руки не бывают в смоле с тех пор, как я построил этот дом. Дай сюда мальчишку, я его уйму!

— Нет, он сейчас и сам замолчит...

В мае к новому жилью в пустыне приходит из-за скал гостья, родня Ингер, она пришла издалека, и принимают ее радушно.

— Я пришла только посмотреть, как-то живется Златорожке с тех пор, как она ушла от нас!

— А об тебе-то маленьком, люди и не спросят!— жалобно говорит Ингер малютке.

— Да, вот оно что,— ну-ка погляжу, какой он. Вижу, вижу, мальчишка. Лучше некуда! Ах, если б год тому назад мне сказали, Ингер, что я найду тебя здесь, с мужем и ребенком, за домом и богатством!

— Обо мне тебе нечего говорить. Это вот он взял меня такую, какая я была!

— А вы повенчались? Ах, как вы еще не повенчаны?

— Повенчаемся, когда придет время крестить вот этого мальчика,— говорит Ингер.— Мы бы уже давно повенчались, да все как-то не удосужиться. Что скажешь, Исаак?

— Повенчаться-то — ну, понятно.

— Ты не можешь, Олина, прийти к нам между работами присмотреть за скотиной, пока мы съездим?— спрашивает Ингер.

— Отчего же,— обещает гостья.

— Мы тебя отблагодарим.

— Да уж знаю, знаю... А вы уж опять что-то, вижу, строите. Что это вы строите?

Ингер пользуется случаем и говорит:

— Да спроси-ка его ты, мне он не говорит.

— Что я строю,— отвечает Исаак,— не стоит и речи. Амбарчик на случай, если понадобится. А что это ты говорила про Златорожку, ты хотела посмотреть ее?— спрашивает он гостью.

Они идут в хлев, показывают корову и телку, бык — просто чудо, гостья распинается насчет скотины и насчет самого хлева; все самого наилучшего сорта, а чистота прямо замечательная...

— Да уж я знаю, на Ингер можно положиться во всем, что касается ласки и заботливого обхождения со скотиной!— говорит женщина.

Исаак спрашивает:

— Так, стало быть, Златорожка жила раньше у тебя?

— Как же, еще телушкой! Правда, не прямо у меня, а у моего сына, да ведь это все равно. У нас и сейчас в хлеву ее мать!

Исаак давно уже не слышал более отрадных слов, и с души его сваливается бремя, он знает, что Златорожка теперь принадлежит Ингер и ему по праву. Сказать по правде, он готов был прийти к печальному выводу в своих сомнениях: зарезать по осени Златорожку, выскоблить шерсть из кожи, закопать рога в землю и таким образом изгладить всякие следы существования коровы Златорожки в этом мире. Теперь это становилось ненужным. Он преисполнился гордостью за Ингер и сказал:

— Ты говоришь, чистоplotна? Другой такой не сыскать! Просто удивительно, как мне повезло, что я раздобыл себе такую работающую жену!

— Да разве иного можно было ожидать!— ответила Олина.

Эта женщина, пришедшая из-за гор, скромная и с деликатным говором женщина, толковая женщина, по имени Олина, пробыла у них два дня, и ей отвели для сна клеть. Когда она собралась домой, Ингер дала ей немножко шерсти от своих овец; она почему-то спрятала узелок от Исаака.

Ребенок, Исаак и его жена — мир опять стал тем же, ежедневная работа, много мелких и крупных радостей: Златорожка доилась отлично, козы принесли козлят и давали много молока, Ингер наготовила целую вереницу белых и красных сыров и поставила их созреть. Она задумала накопить столько сыров, чтоб купить на них ткацкий станок — ох уж эта Ингер,— и ткать-то она умела!

Исаак строил амбар, должно быть у него тоже был свой план. Он сколотил из двойных досок новую пристройку к землянке, проделал в ней дверь и маленькое хорошенькое оконце в четыре стекла, потом настлал крышу из теса и стал ждать, пока почва просохнет, и можно будет нарезать дерну. Только необходимое и полезное, ни пола ни струганых стен, а потом Исаак выдолбил колоду, словно бы для коня и сделал ясли.

Май был на исходе. Солнце обсушило пригорки, Исаак покрыл свой амбар дерном, и он стоял готовенький. И вот, однажды утром он наелся на целые сутки, захватил с собой еще еды, вскинул на плечо заступ с лопатой и пошел в село.

— Принеси мне четыре аршина ситцу!— крикнула ему Ингер.

— На что он тебе?— спросил Исаак.

Похоже было, что ушел навсегда. Ингер каждый день смотрела на небо, определяла направление ветра, словно ждала морехода, по ночам выходила на двор и прислушивалась, подумывала даже взять на руки ребенка и пойти разыскивать мужа. Наконец, он вернулся с лошадьёю и повозкой.

— Тпруу!— громко сказал Исаак, остановившись у двери, и хотя лошадь была смирная и приветственно заржала, почувяв в землянке знакомых, Исаак крикнул в горницу:

— Выйди-ка, поддержи лошадь!

Ингер выскочила.

— Что это?— воскликнула она.— Ах ты, Исаак, неужто тебе опять ее дали! Да где ты пропадал столько времени? Ведь нынче шестой день.

— Где ж мне быть? Пришлось побывать во многих местах, чтоб достать телегу. Поддержи-ка лошадь, говорят тебе!

— Телегу? Да ведь не купил же ты телегу?!

Исаак нем, Исаак точно налит немотой. Он принимается вытаскивать из телеги привезенные плуг и борону, гвозди, съестные припасы, долото, мешок с ячменем.

— А как ребенок?— спрашивает он.

— Ребенку ничего не делается. Так ты купил телегу, спрашиваю. А я-то все мучаюсь и мучаюсь из-за ткацкого станка,— сказала она прямо-таки даже шутливо, до того обрадовалась, что он снова дома.

Исаак опять долго молчит, занятый своим, он думал и осматривался, куда девать все привезенные товары и снаряжение; кажется, не так-то легко найти для них место во дворе. Но когда Ингер перестала выпрашивать и пустилась вместо того разговаривать с лошадьёю, Исаак нарушил молчание:

— Видала ты разве крестьянский двор без лошади и телеги, без плуга и бороны, и без всего, что полагается? А раз уж ты хочешь знать, так я купил и лошадь, и телегу, и все, что в ней лежит,— ответил он.

Ингер только и могла покачать головой и проговорить:

— Спаси тебя Христос и помилуй!

А Исаак — теперь он не чувствовал себя маленьким и жалким, он словно бы рассчитался с женой за Златорожку и рассчитался по-барски:— Пожалуйте, от нас — лошадку, да еще за наличные денежки!— Он был так возбужден, что потрогал еще раз плуг, приподнял его одной рукой,— отнес к стене избы и поставил там. Ведь здесь распоряжался он! А потом вынул борону, грабли, новые купленные вилы, все — драгоценные земледельческие орудия, сокровище для

новосела. Великолепно, полное оборудование, теперь у него есть все, что нужно.

— Гм. Добудем как-нибудь и станок,— сказал он,— было бы у меня здоровье. Вот ситец, кроме синего, никакого не было.

Он был неисчерпаем и расточал дары. Словно приехал из города.

Ингер говорит:

— Жалко, что Олина не видала всего этого, когда была здесь.

Сушая чепуха и женское тщеславие, и муж только хмыкнул на ее слова. Но, конечно, и он тоже ничего не имел против того, чтоб Олина видела все это великолеpie.

Заплакал ребенок.

— Ступай к парнишке,— сказал Исаак,— лошадь уж успокоилась.

Он отпрягает и ведет лошадь в конюшню — ставит собственную лошадь в конюшню! Он кормит и гладит, и ласкает ее. Сколько он остался должен за лошадь и телегу? Все, всю сумму, огромный долг; но к осени он его заплатит. У него есть на это дрова, немножко прошлогодней бересты и, наконец, порядочный запас хороших бревен. За этим дело не станет. Потом, когда волнение и задор поулеглись в его душе, он пережил много часов горьких опасений и заботы, теперь ведь все дело зависело от лета и осени, от урожая!

Дни уходили на работу над землей, и опять на работу над землей, он расчистил новые небольшие участки от корней и камней, вспахал, унавозил, заборонил, взмотыжил, растирал комья руками, ногами, ухаживал за землей всякими способами и превратил поля в бархатный ковер. Подождал еще дня два,— как будто собирался дождь, тогда он посеял ячмень.

Многие сотни лет деды его сеяли ячмень; то был акт, совершаемый с благоговением в тихий и теплый безветренный вечер, всего лучше перед несомненным мелким дождичком, и как можно скорее после весенней тяги диких гусей. Картофель — это новый овощ, в нем не было ничего мистического, ничего религиозного, его могли сажать и женщины и дети; эти земляные яблоки, вывезенные из чужих краев, как кофе,— сытый и чудесный продукт, но сродни репе. Ячмень же — это хлеб, ячмень или нет ячменя — это жизнь или смерть. Исаак шагал с обнаженной головой, призывая имя Иисуса, и сеял; он был похож на чурбан с руками, но душой был словно младенец. Заботливо и нежно кидал он каждую пригоршню, был

кроток и покорен. Ведь прорастут же эти ячменные глазки и превратятся в колосья с множеством ячменных зерен, и так повсюду на земле, где сеют ячмень. В Иудее, в Америке, в Гульдбрандской долине — ох, как огромен мир, а крошечный кусочек, который засеивает Исаак — в центре всего. Лучистым опахалом сыпался ячмень из его руки, небо было облачно и мягко, предвещало упорный мелкий дождь.

ГЛАВА IV

Время между сенокосом и жатвой проходило, а женщина Олина все не появлялась.

Исаак разделался теперь с землей, приготовил к сенокосу две косы и двое граблей, приделал к телеге длинный кузов, чтоб возить в ней сено, смастерил полозья и оглобли для саней на зиму. Много сделал полезных дел. А что касается до двух полок на стене в горнице, то он устроил и их так, что на них можно было класть разные вещи: и календарь, который он, наконец, купил и мутовки, и поварешки, не находящиеся в употреблении. Ингер говорила, что эти две полки сушая благодать!

Ингер все казалось благодатью. Вот и Златорожка уж не порывалась больше убежать, а преспокойно поживала себе с телятком и быком и целыми днями ходила по лесу. Вот и козы нагуляли тело и чуть что поволочат тяжелое вымя по земле. Ингер сшила длинную рубашку из синего ситцу и такой же чепчик, прелесть какой хорошенький, и это был крестильный наряд. Сам мальчуган лежал тут же и следил глазками за работой; мальчик был хоть куда, и когда она наконец решила назвать его Елисеем, то Исаак не стал возражать. Когда рубашка была готова, оказалось, что она на целых два локтя длиннее, чем надо, а каждый локоть ситца стоил денег, но что ж поделаешь, ребенок то был ведь первенький.

— Если когда-нибудь твои бусы могут пригодиться, так именно в этот раз! — сказал Исаак.

О, Ингер уж и сама подумала о них, о бусах-то, не даром же она была мать и, как все матери — глупая и гордая. Бусы нельзя было надеть на шейку мальчугану, но если нашить их на чепчик, будет очень красиво. Она так и сделала.

А Олина не шла.

Не будь скотины, можно было бы уехать всем вместе и вернуться через три-четыре дня с окрещенным младенцем. А не будь этого самого венчания, Ингер могла бы поехать одна.

— Не отложить ли нам пока венчание?— сказал Исаак.

Ингер ответила:

— Раньше десяти-двенадцати лет Елисея нельзя будет оставить дома одного и поручить ему скотину!

Нет, значит, надо Исааку что-нибудь придумать. Собственно, все началось как-то без начала, может быть, венчание так же нужно, как крестины, почему он знает. Погода стала поворачивать на засуху, на настоящую знойную сушь; если скоро не выпадет дождь, все всходы погибнут; но на все воля Господня. Исаак собрался ехать в деревню за кем-нибудь. Опять надо было проехать много миль.

И вся эта суматоха ради венчания и крестин! Поистине, у людей земли много мелких и крупных огорчений.

Но вот Олина пришла...

Теперь они были повенчаны, ребенок окрещен. Они даже позаботились раньше повенчаться, чтоб ребенка записали законным. А сушь продолжалась и палила маленькие ячменные поля, палила бархатные ковры муравы, а за что? Все в деснице Господней. Исаак скошил свои лужки, немного травы с них набралось, хотя весной он их и унавозил; он выкосил косогоры, дальние луговины, и не уставал косить, сушить и возить домой корм, потому что у него была лошадь и большое стадо. А в середине июля пришлось ему скошить на зеленый корм и ячмень, больше ни на что он не годился. Так что теперь одна надежда на картофель!

Как же обстояло дело с картофелем? Действительно ли он только особый сорт чужеземного кофе, и без него можно обойтись? О, картофель замечательный овощ, он выдерживает засуху, выдерживает сырость, а сам растет. Он не боится никакой погоды и удивительно вынослив, а если человек мало-мальски за ним поухаживает, он отплачивает в раз пятнадцать. Дело в том: кровь у картофеля не та, что у винограда, но мясо такое же, как у каштана, его можно варить и жарить, и он годится на все. Если у человека нет хлеба, но есть картофель, он не осужден на голод. Картофель можно печь в горячей золе и есть за ужином, его можно сварить в воде и подать на завтрак. А каких приправ он требует? Немного, картофель неприхотлив: кринки молока, селедки для него довольно. богачи едят его с маслом, бедняки посыпают солью с блюдечка;

Исаак же по воскресеньям поедал его с доброй кринкой кислого Златорожкина молока. Пренебрегаемый и благо-словенный картофель! Но теперь дело оборачивалось плохо и для картофеля.

Исаак несчетное число раз в день поглядывал на небо, небо было синее. По вечерам частенько смахивало на дождик. Исаак входил в избу и говорил:

— Сдается, что будет-таки дождик!

Часа через два всякая надежда опять исчезала.

Засуха продолжалась уже семь недель, жара стояла невыносимая, картошка всю эту пору цвела сильным цветом, цвела неестественно и чудовишно.

Поля издали казались покрытыми снегом. Чем же все кончится? По календарю ничего нельзя было узнать, теперешние календари ведь не то, что прежние, они ни к чему. Опять стало показывать на дождик, Исаак пошел к Ингер и сказал:

— С божьей помощью нынче ночью будет дождь!

— Разве на то похоже?

— Да. И лошадь мотает головой над кормушкой.

Ингер выглянула в дверь и сказала:

— Да, уж увидишь.

Упало несколько капель. Часы текли, они поужинали, когда Исаак ночью вышел на двор, небо было синее.

— Ах ты Господи!— сказала Ингер.— Но зато к завтраму и последний ягель твой просохнет,— прибавила она и постаралась хорошенько его утешить.

Да, Исаак набирал ягелю, и накопил его очень много самого отборного сорта. Это был драгоценный корм, он сушил его, как сено, и накрывал берестой в лесу. У него оставалась неприкрытой только одна небольшая кучка, оттого он и ответил Ингер с таким глубоким отчаянием и апатией:

— Я все равно не стану убирать его, хоть бы он и просох!

— Что ты врешь!— сказала Ингер.

На следующий день он и в самом деле не убрал ягель, так как было сказано,— не убрал, и все тут. Пусть себе стоит, дождя все равно не будет, пусть себе стоит с богом! Свезет как-нибудь перед Рождеством, если солнце не спалит его до тех пор!

Так сильно и глубоко он чувствовал себя обиженным, совсем не стоило сидеть на пороге и смотреть на землю и владеть ею. Вон, картофельные поля горят безумным цветом и сохнут, так пусть же и ягель лежит, где лежал, сделайте одолжение! Но, может быть, Исаак таил кое-ка-

кую хитренькую мыслишку при всем своем огромном простодушии, может, он делал это из расчета и хотел подразнить синее небо перед новолунием.

К вечеру опять стало показывать на дождь.

— Ты бы убрал ягель,— сказала Ингер.

— Зачем это?— спросил Исаак и притворился чрезвычайно удивленным.

— Да, да, ты все представляешься, а может пойти дождь.

— Ты ведь видишь, что в нынешнем году не будет дождя.

Однако ночью окно вдруг что-то потемнело, похоже стало, будто кто мазал по нему и мочил его. Что бы это такое было? Ингер проснулась и сказала:

— Вот и дождь, посмотри на стекла!

Исаак только хмыкнул и ответил:

— Дождь? Это не дождь. Не понимаю, о чем ты говоришь!

— Перестань врать!— сказала Ингер.

Исаак и в самом деле врал. И обманул только самого себя. Конечно, это был дождь, и даже настоящий здоровый ливень, но, хорошенько промочив Исааку ягель, он перестал. Небо было синее.

— Ведь я же говорил, что не будет дождя,— сказал Исаак упрямо и довольно злобно.

Для картофеля этот ливень был все равно что ничего, а дни приходили и уходили, небо было сине. Тогда Исаак начал работать над дровнями, работал усердно, смилив свое сердце, покорно строгал полозья, о-ох, Господи! Да, дни приходили и уходили, ребенок рос, Ингер била масло и варила сыр, в сущности не так уж оно было страшно, один год неурожая работающим людям в деревне можно пережить. Да кроме того — когда миновали девять недель, дождь полил на славу, зарядил на целые сутки, шестнадцать часов как из ведра, небеса разверзлись. Будь это недели две тому назад, Исаак сказал бы:

— Слишком поздно!

Теперь он сказал Ингер:

— Увидишь, он немножко поправит картошку!

— Если бы,— успокоительно сказала Ингер,— он все поправит!

И действительно, все как будто ожило, дождь поливал каждый день, трава зазеленела, точно по волшебству. А картошка все цвела, даже сильнее, чем раньше, и на ней выросли крупные ягоды; это-то, положим, было правильно,

но никто не знал, что с ней делается в земле, Исаак не решался посмотреть. И вот, однажды Ингер пришла с двадцатью мелкими картофелинками, собранными с одного куста.

— А ей расти еще пять недель!— сказала Ингер.

Ах, эта Ингер, и всегда-то она утешала и говорила ласковые слова своим заячьим ртом. Да и говорила-то плохо, шепелявила и шипела, словно клапан, из которого выходит пар; но приятно было слушать ее утешения в этой глуши. И характер у нее был жизнерадостный.

— Сделал бы ты еще одну кровать!— сказала она Исааку.

— Ну,— стозвался он.

— Хорошо, хорошо, ведь это не горит.

Они начали рыть картошку и выкопали всю к Михайлову дню, по старинному обычаю. Год вышел средний, хороший год, опять оказалось, что картошка не так уж требовательна к погоде, а растет несмотря ни на что и может выдержать, что угодно. Разумеется, не сравнить с настоящим средним годом, хорошим годом, когда дождей выпадает сколько надо, но они и так не могли пожаловаться. Однажды мимо проходил лопарь и подивился, как много у новоселов картошки.

— В деревнях она уродила гораздо хуже,— сказал он.

У Исаака опять выдалось несколько недель на работу над землей до наступления заморозков. Скотина ходила по полям и паслась, где вздумается. Исааку было приятно работать поблизости и слушать колокольчики; правда, это подчас отвлекало его, потому что бык стал баловной, раскидывал кучи ягеля, а козы карабкались и залезали всюду, даже на крышу землянки.

Мелкие и крупные заботы.

Однажды Исаак услышал сердитый крик: Ингер стоит на пороге, держа ребенка на руках, и показывает пальцем на быка и на молоденькую телку Сребророжку — они милуются. Исаак бросает мотыку и бежит к ним, но уж поздно, беда уже случилась.

Исаак уводит ее в хлев, но все равно — уже поздно.

— Ишь ты, дрянь, раненько начала, всего-то год отроду, на полгода раньше, колдовка, девчонка!

— Да, да,— говорит Ингер,— но с одной стороны, оно и хорошо, а то обе коровы отелились бы по осени.

Ох, Ингер, голова у нее не очень толковая, но, может быть, она и знала, что делала, выпуская утром Сребророжку вместе с быком.

Пришла зима. Ингер чесала шерсть и пряла, Исаак возил дрова, огромные возы сухих дров; весь долг был уплачен, лошадь и телега, плуг и борона — все стало его собственностью. Он уезжал с приготовленными Ингер козьими сырами и приезжал то с пряжей, ткацким станком, мотовилом, веретенном, то с мукой и разными припасами, то с досками, тесом и гвоздями; однажды он привез лампу.

— Провалиться мне на месте, ты прямо колдун!— сказала Ингер, хотя давно уже догадывалась, что лампа будет.

Они зажигали ее по вечерам и чувствовали себя, как в раю, а маленький Елисей, наверное, думал, что это солнце.

— Посмотри, как он дивится!— говорил Исаак.

Ингер стала прясть при лампе.

Исаак привез холста на рубахи и новые комаги для Ингер. Она просила привезти разных красок для шерстяной пряжи, он привез. Но однажды он привез часы. Что такое? Часы! Ингер точно с неба свалилась и несколько минут не могла вымолвить ни слова. Исаак осторожно и бережно повесил часы на стену, поставил наобум, подтянул гири и пустил бой. Ребенок повернул глазки на гулкий звук, потом перевел их на мать.

— Да уж, можешь подивиться!— сказала она, взяла мальчика на руки и сама взволновалась. Потому что из всех благ в одинокой жизни ничто не могло сравниться со стенными часами, которые идут себе во всю темную зиму и звонко отбивают каждый час.

Но вот дрова свезены, Исаак опять стал уходить в лес рубить дрова, опять прокладывал улицы и строил город из дров на будущую зиму. Он отходил все дальше и дальше от дома, большой бугор стоял уже совсем лысый и готовый для обработки, и Исаак уже не вырубал дочиста делянки, а сваливал только самые старые деревья с сухими верхушками.

Разумеется, он давно понял, для чего Ингер сказала ему про кровать, надо было поторопиться и не откладывать этого дела в долгий ящик. Раз в темный вечер он вернулся из лесу, а дома уж все было готово, семья прибавилась, опять мальчик, Ингер лежала. И хитрая же эта Ингер, утром она непременно хотела спровадить его в село.

— Ты бы прямял немножко лошадь,— сказала она,— она только стоит и рвет копытом колоду.

— Мне некогда заниматься такой ерундой,— ответил Исаак и ушел.

Теперь он понял, что она просто хотела избавиться от него, а зачем это? Он бы пригодился и дома.

— Почему это ты никогда не можешь знать заранее?— спросил он.

— Теперь сделай кровать для себя, и переходи спать в клеть,— ответила она.

Впрочем, одной кровати было еще мало, надо было и постель для нее. У них было только одно одеяло, а нового нельзя было сделать до осени, когда они собирались колоть барашков, но даже и тогда вряд ли вышло бы целое одеяло из каких-нибудь двух-трех овчин. Исаак здорово мерз по ночам, он пробовал зарываться в сено под выступом скалы, пробовал ложиться к коровам, и чувствовал себя заброшенным и одиноким. Счастье, что стоял май, потом придет июнь, июль...

Удивительно, сколько было сделано в пустыне: жильё для людей, и скотный двор, и возделанные поля, и все в три года. Что такое опять строил Исаак? Новый амбар, кладовую, пристройку к избе. Весь дом сотрясался и гремел, когда он вгонял восьмидюймовые гвозди. Ингер выходила и просила его пожалеть ребят. Ну да, ребята, поболтай с ними пока что, спой что-нибудь, дай Елисею ведерко, пусть постучит в него! Больших гвоздей не так много, вот только здесь их и надо вбить, в пазы, они будут держать всю пристройку. А потом пойдут уж только доски и двухдюймовые гвозди, пустяковая работа.

Разве можно было обойтись без этого стука? Ведь вот, бочки с сельями и муку, и все припасы ставили в конюшне, чтоб не оставлять под открытым небом, но свинина отзывалась навозом, кладовая прямо необходима. А мальчуганы пусть приучаются к ударам молотка по стене. Елисей, правда, стал немножко худенький и бледный, но зато второй, тот сосал, чисто божий ангел, и когда не кричал, то спал. Замечательный парнишка. Исаак не спорил против того, чтоб его назвать Сивертом; пожалуй, это всего лучше, хотя сам он наметил было — Яков. В некоторых случаях Ингер рассуждала правильно: Елисея назвали в честь священника из ее села, а это благородное имя, а Сивертом звали Ингерова дядю, окружного казначея, того самого, что был холостяк, богатей и не имел наследников. Чего ж для ребенка лучше, как назвать его по имени этого дяди?

Опять наступил весенний перерыв в работе, и все на земле готовилось встречать Троицу. Когда у Ингер был только Елисей, она никак не могла урвать время, чтоб помочь мужу, первенец поглощал все ее внимание; теперь, когда у нее стало двое детей, она расчищала землю и

делала многое другое: целыми часами сажала картошку, посеяла морковь и репу. Такую жену не скоро найдешь. А ко всему этому, разве она не ткала? Она пользовалась каждой минутой, чтоб побегать в клеть и спустить пару шпудек, и выходила у нее полушерстяная ткань для нижнего белья на зиму. А потом окрасила пряжу и наткала синего и красного холста себе и ребятам, подбавила еще цветной пряжи и сшила тюфяк Исааку. Все необходимые и полезные вещи, и вдобавок такие прочные!

Ну, и вот семья новоселов стала крепко на ноги, и если урожай выдастся хороший, то им можно будет позавидовать. Чего еще не хватает? Разумеется сеновала, овина с молотильным током, это цель на будущее, и она будет достигнута, как и остальные цели, дай только время! Вот и маленькая Сребророжка отелилась, козы принесли козлят, овцы ягнят; молодняк так и кишел на пастбище. А люди? Елисей уже бойко разгуливал на собственных ножках, а маленького Сиверта окрестили. Ингер? Должно быть опять затяжелела, очень уж раздобрела. Что такое прежде был для нее ребенок? Ничего — то есть очень много, хорошенькие малютки, она гордилась детьми и давала понять, что не всем бог дает таких больших и красивых детей. Ингер усердно наверстывала молодость. У нее было обезображенное лицо, и она прожила молодые годы, как отщепенка, парни не смотрели на нее, хотя она умела и плясать и работать, они пренебрегали ее лаской, отворачивались — теперь настало ее время, она развернулась, зацвела пышным цветом и носила детей. Сам Исаак, хозяин, остался тем же серьезным и угрюмым, но ему везло, и он был доволен. До прихода Ингер он жил смутной и тусклой жизнью, знал только картошку да козье молоко, да смелые кушанья без названия; теперь он имел все, что мог пожелать человек в его положении.

Снова настала засуха, снова неурожай. Лопарь Ос-Андерс, приходивший со своей собакой, рассказывал, что народ в деревнях скопил ячмень на корм скоту.

— Да неужто? Стало быть, совсем уж плохо? — спросила Ингер.

— Да. Но у них был хороший лов сельдей. Дядя твой Сиверт здорово нажился.

— У него и раньше кое-что было! И в котелке и в печке!

— Точь-в-точь, как у тебя, Ингер!

— Да, слава богу, не на что пожаловаться. Что же про меня говорят дома?

Ос-Андерс качает головой и льстит: у него и слов нет, чтоб передать.

— Если хочешь кружку парного молока, так скажи,— говорит Ингер.

— Не беспокойся! Вот разве чуточку собаке.

Появилось молоко, появился корм для собаки. Лопарь услышал музыку из горницы и насторожился:

— Что это?

— Это бьют наши часы,— отвечает Ингер, готовая лопнуть от гордости.

Лопарь опять покачал головой и сказал:

— У вас есть дом, и конь, и деньги, скажи мне, чего у вас нет!

— Да, мы уж и не знаем, как благодарить бога.

— Олина велела тебе кланяться.

— А-а! Как она поживает?

— Ничего. А где твой муж?

— Пашет.

— Говорят, он не купил землю?— бросает лопарь.

— Не купил? Кто это говорит?

— Люди говорят.

— Да у кого ж ее было покупать? Ведь это пустошь.

— Да, да.

— А поту он положил на эту землю немало!

— Они говорят, это государственная земля,

Ингер ничего не поняла и сказала:

— Ну, может быть. Уж не Олина это говорила?

— Не помню, кто,— ответил лопарь, шныряя по сторонам лукавыми глазами.

Ингер удивлялась, что он ничего не выпрашивает, Ос-Андерс всегда что-нибудь выпрашивал, как все лопари; они всегда кланчат. Ос-Андерс сидит ковыряет в своей глиняной трубке и раскуривает ее. Вот так трубка, он курит и дымит так, что все его старое сморщенное лицо превращается в руническую надпись.

— Ну, мне не за чем спрашивать, твои ли это дети,— подлизывается он.— До того они похожи на тебя. Вылитая ты, когда была маленькой!

Ингер была урод и страшилище — разумеется, это глупо; но она все-таки вспыхнула от гордости. Даже лопарь может обрадовать материнское сердце.

— Если б мешок твой был не так набит, я бы дала тебе кой-чего,— сказала она.

— Нет, не беспокойся!

Ингер с ребенком уходит в дом, а Елисей тем временем остается с лопарем. Они отлично ладят друг с другом, мальчик видит в мешке у лопаря что-то чудное, мохнатое, хочет потрогать. Собака возле повизгивает и взлаивает. Когда Ингер выходит с припасами, она слегка вскрикивает и садится на пороге:

— Что это у тебя?— спрашивает она.

— Ничего. Заяц.

— Я видела.

— Парнишка твой захотел посмотреть. Собака подняла его сегодня и прикончила.

— Вот тебе еда!— сказала Ингер.

ГЛАВА V

Старинным опытом установлено, что неурожаи следуют один за другим по крайней мере два года подряд. Исаак набрался терпения и примирился со своей судьбой. Ячмень сгорел, сбор сена был посредственный, но картошка как будто опять выправлялась, так что, хоть и было плохо, но до голода еще далеко. У Исаака же были вдобавок дрова, да бревна для стройки, которые можно было свезти в село, а так как по всему берегу шел лов сельдей, то денег на покупку дров у людей было вдоволь. Уж не перст ли провидения, что ячмень не уродился? Где бы он стал молотить его без овина с током? Пусть хоть перст провидения, в конце концов не беда.

Другое дело, что появились новые загвоздки и тревожили его. Что такое сказал Ингер летом какой-то лопарь — что он не купил землю? Разве ему надо покупать, зачем это? Земля лежала себе полеживала, лес стоял-поставивал, он все обработал, построил жилье в непроходимой глуши, кормил свою семью и свою скотину, никому не был должен и работал, работал без устали. Бывая в селе, он много раз собирался потолковать с ленсманом, но все откладывал; ленсмана не очень хвалили, а Исаак был неречист. Что он скажет, когда придет, как объяснит, в чем дело?

Однажды зимой ленсман сам приехал к новоселам, с ним был человек и пропасть бумаг в портфеле — и был это сам ленсман Гейслер. Он увидел большой открытый бугор, очищенный от леса и ровно круглившийся под снегом, подумал, что все пространство также обработано, и сказал:

— Да ведь это большое поместье; что ж ты думаешь, такую штуку можно получить задаром?

Вот оно! У Исаака сердце захолонуло от страха, и он не ответил.

— Тебе бы следовало приехать ко мне и купить землю,— сказал ленсман.

— Так.

Ленсман говорил об оценке, размежевании, обложении,— сказал: государственный налог — и по мере разъяснения слова его казались Исааку все менее и менее несообразными. Ленсман обратился к своему спутнику:

— Ну, ты, таксатор, как велико угоды?

Но не стал ждать ответа и записал площадь участка наобум. Спросил Исаака о количестве возов сена, мер картофеля. А как же им быть с межеваньем? Ведь нельзя же произвести размежеванье в лесу по пояс в сугробах, а летом сюда не добраться. Во сколько сам Исаак считает лес и выгон?

Этого Исаак не знал; до сих пор он считал своим все, что видел. Ленсман сказал, что казна требует определенного надела.

— Чем больше у тебя участок, тем дороже он стоит,— сказал он.

— Так.

— Да. И дают тебе не все, сколько ты схватишь глазом, а по твоей потребности.

— Так.

Ингер принесла молока, и ленсман с провожатым стали пить. Она принесла еще. Это ленсман-то строгий? Он даже погладил Елисея по голове и спросил:

— Он играет в камешки? Покажи камни. Что это такое? Какие тяжелые, должно быть в них какой-нибудь металл.

— Таких в горах очень много,— сказал Исаак.

Ленсман вернулся к делу:

— Наверно, тебе всего дороже земля на юг и на запад?— спросил он Исаака.— Скажем: четверть мили на юг?

— Целых четверть мили на юг?

— Целых четверть мили!— воскликнул его спутник.

— Не два же аршина обрабатываешь,— оборвал ленсман.

— А что стоит четверть мили?— спросил Исаак.

— Не знаю, да и никто не знает. Я назначу невысокую цену, ведь это глушь, за много миль от жилья, и никаких средств сообщения.

— Да, но целых четверть мили!— опять вмешался спутник.

Ленсман записал четверть мили на юг и спросил:

— А в сторону скал?

— Тут мне надо бы до воды. Там большое озеро,— ответил Исаак.

Ленсман записал:

— А к северу?

— Там-то не так важно,— ответил Исаак.— Там болото и нет порядочного леса.

Ленсман написал по своему усмотрению восьмую мили.

— А на восток?

— Тоже все равно. Там голые скалы вплоть до Швеции.

Ленсман записал. Записав, он с минуту посчитал, потом сказал:

— Разумеется, это большое владенье, и если б оно находилось возле села, ни у кого не хватило бы средств купить его. Я назначу за все про все сто далеров. Как ты думаешь?— спросил он спутника.

Тот ответил:

— Да разве это цена!

— Сто далеров!— воскликнула Ингер.— Не бери такого большого участка, Исаак!

— Нет,— сказал Исаак.

Спутник подхватил:

— И я то же говорю! Что вы станете делать с таким большим участком?

Ленсман сказал:

— Обрабатывать.

Он сидел, трудился и писал, изредка в горнице раздавался детский плач, должно быть ему не хотелось переписывать сызнова, и так он попадет домой не раньше ночи, да нет, не раньше утра! Он решительно сложил бумаги в портфель:

— Ступай запрягай!— сказал он товарищу. Потом повернулся к Исааку и заявил:

— Собственно говоря, следовало бы отвести тебе это место задаром, да еще приплатить за твои труды. Я так и напишу в своем докладе. А там посмотрим, сколько с тебя возьмет казна.

Исаак — бог весть, как он себя чувствовал! Как будто он ничего не имел против высокой оценки своего участка и своих непомерных трудов. Должно быть, он не считал невозможным выплатить с течением времени сто далеров, поэтому ничего и не сказал; он будет работать как раньше, возделывать землю, превращать сухостой и валежник в дрова. Исаак не принадлежал к верхоглядам, не рассчитывал на случайности, он работал.

Ингер поблагодарила ленсмана и попросила его заступиться за них перед казной.

— Да. Но я ведь ничего не решаю, я только сообщаю свое мнение. Сколько лет младшему?

— Ровно полгода.

— Мальчик или девочка?

— Мальчик.

Ленсман был не строгий, но легкомысленный и не очень добросовестный. Своего землемера и таксатора, понятого Бреде Ольсена, он не стал слушать, важную сделку провел кое-как, крупное дело, решающее судьбу Исаака и его жены и судьбу их потомков, быть может, в бесчисленных поколениях, он закрепил письменно наобум, ленсман только писал. Но он отнесся к новоселам очень ласково, достал из кармана новенькую серебряную монету и вложил в ручку маленькому Сиверту, потом кивнул головой и пошел садиться в сани.

Вдруг он спросил:

— Как называется это место?

— Как называется?

— Ну да. Какое у него название? Надо записать название.

Об этом никто и не думал. Ингер и Исаак только переглянулись.

— Селланро?— проговорил ленсман. Слово просто пришло ему в голову, вряд ли даже это было вообще название, но он говорил:

— Так — Селланро!— кивнул головой и уехал.

Все наобум — границы, цена, название...

Несколько недель спустя, будучи в селе, Исаак узнал, что с ленсманом Гейслером неблагополучно; подняли вопрос о каких-то деньгах, в которых он не мог отчитаться, и его вызывали к амтману. Вот как неладно случается: иные люди живут без оглядки, пока не наткнутся на тех, что живут правильно!

Однажды Исаак отправился в село с одним из последних возов дров, и на обратном пути ему довелось подвезти на своих санях ленсмана Гейслера. Ленсман вышел из лесу с ручным чемоданчиком и сказал:

— Подвези-ка меня!

Некоторое время оба ехали молча. Только раз ленсман достал из кармана бутылку и отпил из нее, предложил и Исааку, но тот отказался.

— Боюсь, как бы не застудить живот,— сказал ленсман.

Он заговорил о земельном деле Исаака:

— Я сейчас же препроводил дело и дал очень теплый отзыв. Селланро — красивое название. Собственно, тебе следовало бы отвести участок бесплатно, но если б я так написал, казна непременно заартачилась бы и сама назначила бы цену. Я написал пятьдесят далеров.

— Так. А не сто далеров вы написали?

Ленсман сдвинул брови, припоминая:

— Насколько помнится, я написал пятьдесят далеров.

— Куда вы сейчас едете?— спросил Исаак.

— В Вестерботнию, в семью моей жены.

— Трудно будет добираться туда в эту пору года.

— Как-нибудь. Ты не проводишь меня немножко?

— Извольте. Одному плохо.

Они приехали в усадьбу к Исааку, и ленсман переночевал в клети. Наутро он снова отпил глоток из бутылки и сказал:

— Я непременно расстрою тебе желудок этой поездкой!— Он был такой же, как и в прошлый свой приезд, ласково-властный, но легкомысленный и мало занятый своей судьбой; может, впрочем, она была и не так уж печальна. Когда Исаак, набравшись храбрости сказал, что обработан не весь бугор, а только небольшая часть, несколько маленьких полосок, ленсман дал ошеломляющий ответ:

— Я это отлично знал, когда сидел здесь в прошлый раз и писал. А возница мой, Бреде, тот ничего не понимал, он болван. У них в департаменте имеется таблица. И вот если такое малое количество стогов сена и мер картофеля приходится на такой большой участок, какой мною показан, то департаментская таблица гласит, что это скверная земля. Я играл тебе в руку, и согласен лишиться царства небесного за это плутовство. Нам бы надо иметь тридцать две тысячи таких молодцов, как ты.— Ленсман мотнул головой и обратился к Ингер:

— Сколько времени младшему?

— Ему сейчас девять месяцев.

— Ага. Мальчик?

— Да.

— Но ты не теряй времени и покончи со всеми формальностями как можно скорей,— продолжал он, обращаясь к Исааку.— Один человек хочет купить место на подороге от тебя до села, и тогда твой участок поднимется в цене. Ты купи первый, а там пусть себе поднимается. Так, по крайней мере, тебе хоть что-нибудь останется за твои труды. Ты ведь первый шевельнул эту глушь.

Хозяева поблагодарили его за совет и спросили, не сам ли он оформит сделку. Он ответил, что сделал, что мог, остальное зависит от казны.

— Я сейчас еду в Вестерботнию и не вернусь,— сказал он равнодушно.

Он дал Ингер 24 скиллинга, и это было уж чересчур.

— Не забудь свезти немножко убоины моей семье, когда поедешь в село,— сказал он,— телятины или баранины, что у вас будет. Жена заплатит. Да захватывай с собой кой-когда головки две-три козьего сыру, дети у меня его очень любят.

Исаак проводил его через перевал, на вершине лежал твердый наст, так что идти было не трудно. Исаак получил за это целый далер.

Так и ушел ленсман Гейслер и не вернулся больше в село. «И бог с ним»,— говорили люди, его считали ненадежным человеком и пройдохой. Не то, чтобы он был незнающий, нет, человек он был образованный и много учился, но с чересчур широким размахом, и не церемонился с чужими деньгами. Выяснилось, что Гейслер бежал после строгого письма амтмана Плеюма, но семье его ничего не сделали, и она долго жила спокойно в деревне — жена и трое детей. Впрочем, в скорости недостающие деньги были присланы из Швеции, семья ленсмана перестала считаться как бы заложниками и продолжала жить на старом месте, потому что ей так нравилось.

Для Исаака и Ингер этот самый Гейслер оказался вовсе не плохим человеком, наоборот. бог знает, какой-то еще будет новый ленсман, может, всю сделку с участком придется переделывать наново.

Амтман послал в село одного из своих писцов, это и был новый ленсман. Был он мужчина лет за сорок, сын фохта, по фамилии Гейердаль; по бедности он не мог стать студентом и чиновником, а пятнадцать лет просидел в конторе амтмана и все писал. Не имея средств жениться он остался холостяком; амтман Плеюм получил его в наследство от своего предшественника и платил ему то же нищенское жалованье, что и прежний. Гейердаль получал свое жалованье и писал. Он превратился в угнетенного и изможденного человека, но был надежен, честен, да и работник отличный, поскольку хватало его способностей и знаний. Сделавшись ленсманом, он начал проникаться чувством собственного достоинства.

Исаак набрался храбрости и пошел к нему.

— Дело Селланро — да, вот оно, вернулось из департамента. Они там запрашивают разные сведения, ведь все

это настряпал ваш Гейслер,— сказал ленсман.— Королевский департамент желает знать, нет ли на твоём участке больших и особенно богатых морошковых болот. Есть ли строевой лес? Нет ли руд и разных металлов в окружающих горах? В деле упоминается про большое горное озеро, есть ли в нём рыба? Правда, Гейслер привел кое-какие данные, но он ведь такой человек, что на него нельзя положиться, мне приходится все проверять после него. Я приеду на твой участок, в Селланро, при первой же возможности, и все осмотрю и произведу оценку. Сколько туда миль? Королевский департамент требует настоящего межевания, и, разумеется, нам придется его произвести.

— Это трудно будет раньше второй половины лета,— сказал Исаак.

— Как-нибудь уж придется. Мы не можем оттягивать ответ департаменту до конца лета. Я приеду на днях. Заодно придется продавать от имени казны пахотный участок другому человеку.

— Не тому ли, что хочет купить место на полдороги от меня.

— Не знаю, может быть. Это здешний человек, мой таксатор, мой понятой. Он просил разрешения на покупку у Гейслера, но Гейслер отказал и ответил, что он не может обработать даже двухсот аршин! Тогда человек этот сам написал амтману и теперь это дело перешло для отзыва ко мне. Ох уж, этот мне Гейслер!

Ленсман Гейердаль приехал к новоселам вместе с оценщиком Бреде; они промокли в болотах, и промокли еще больше, когда пришлось обходить границы по тающему весеннему снегу в горах. В первый день ленсман проявлял большое усердие, но на второй двигался утомленно и по большей части стоял под горой и только покрикивал, да показывал. Не было уже речи о том, чтоб «исходить горы вдоль и поперек»,— а морошковые болота,— сказал он,— будут самым тщательным образом обследованы на обратном пути.

Департамент наметил много вопросов, должно быть, опять по какой-нибудь таблице. Единственный толковый вопрос был о лесе. Строевого леса, действительно, было немного, и он рос на участке Исаака, но продажного строевого леса не было, разве что для домашнего употребления. Но даже если б и был здесь строевой лес, кто мог бы его доставить за столько миль? Для этого надо быть таким мельничным жерновом, как Исаак, который в

течение зимы свозил по несколько бревен в село и получал в обмен доски и тес.

Оказалось, что замечательный этот Гейслер представил доклад, которым никак нельзя было пренебречь. И вот новый ленсман старался поймать его и найти какую-нибудь ошибку, но, в конце концов, бросил. Он только чаще, чем Гейслер, советовался со своим спутником и оценщиком, и считался с его словами, а оценщик, должно быть, переменялся и усвоил себе другую точку зрения с тех пор, как сам сделался покупателем казенных земель.

— А какая по-твоему, должна быть цена?— спросил ленсман.

— Пятьдесят далеров за глаза для всякого, кто захотел бы купить,— ответил оценщик.

Ленсман изложил это в затейливых словах. Гейслер писал: «Владельцу придется платить ежегодный налог, и он не видит возможности уплатить, в качестве покупной цены, больше пятидесяти далеров, с рассрочкой на десять лет. Казна вольна или согласиться на его предложение, или лишить его земли и плодов его труда».

Гейердаль написал: «Покупщик почтительно ходатайствует пред высоким департаментом о разрешении сохранить за собой землю, которая не принадлежит ему, но в которую он вложил значительный труд, за цену 50 — пятьдесят — спецедалеров, уплачиваемых в сроки по благоусмотрению департамента».

— Я думаю, мне удастся оставить за тобой участок,— сказал ленсман Гейердаль Исааку.

ГЛАВА VI

Сегодня старого быка уводят со двора. Он превратился в сущее чудовище, да и содержать его стало чересчур дорого; Исаак решил свести его в село, сбыть кому-нибудь и привести вместо него подходящего молодого быка.

Затеяла это Ингер, и Ингер-то, конечно, знала, что делала, выпроваживая Исаака из дому именно сегодня.

— Если уж идти, так ступай сегодня,— сказала она.— Бык откормлен, весной на кормленную убойну хорошая цена, его можно отправить в город, а там платят страсть какие цены.

— Да, да,— ответил Исаак.

— Вот только, не кинулся бы он на тебя, дорогой.

На это Исаак ничего не ответил.

— Впрочем, он целую неделю был на воле, огляделся и приобвык немножко.

Исаак молчал. Но заткнул за пояс большой нож и вывел быка.

Ну уж и бык, здоровенный и страшный, бока у него тряслись на ходу. Ноги короткие, когда он бежал, то ломал кустарники грудью, чисто паровоз. Шея толстая до уродства, в этой шее жила слоновая сила.

— Только бы он на тебя не кинулся,— сказала Ингер.

Исаак ответил, помолчав:

— Ну, что ж, тогда я заколю его дорогой и снесу мясо.

Ингер села на крыльце. Ее мучили боли, лицо было воспаленное, она держалась на ногах до ухода Исаака; но вот он скрылся в лесу с быком, и Ингер могла теперь стонать без опасений. Маленький Елисей спрашивает:

— Маме больно?

— Да, больно.

Он передразнивает мать, хватается за спину и стонет. Малютка Сиверт спит.

Ингер ведет Елисея с собой в горницу, сажает на пол и дает игрушек, а сама ложится в постель. Пришел ее час. Она все время в полном сознании, следит за Елисеем, бросает взгляд на стену, смотрит который час. Она не кричит, почти не шевелится; во внутренностях ее происходит борьба, бремя внезапно выскальзывает из нее. Почти в ту же минут она слышит незнакомый крик в своей постели, тоненький жалкий голосок, и уж не может оставаться спокойной, а встает и смотрит на постель. Что же она видит? Лицо ее мгновенно становится серым и теряет всякое выражение, всякий смысл. Раздается стон, какой-то неестественный, невозможный, словно задушенный вой, вырывающийся из самого нутра женщины.

Она опускается на постель. Проходит минута, но нет ей покоя, слабый писк на постели становится громче, она снова приподнимается и смотрит — О, Господи, хуже нельзя и придумать, пощады нет — ребенок в довершение всего девочка!

Исаак отошел от дому, может быть, с полмили, едва ли миновал час после его ухода со двора. В течение десяти минут дитя было произведено на свет и убито...

Исаак вернулся на третий день, ведя на привязи тощего молодого быка, едва передвигавшего ноги; оттого путь и был так долог.

— Ну, как все обошлось?— спросила Ингер, хотя и сама была очень слаба и больна.

Все обошлось сносно. Бык взбесился на последней полмиле от села, Исааку пришлось привязать его и сбегать за помощью. Когда он вернулся, оказалось, что бык порвал привязь, и его целый час не могли найти. Ну да все устроилось, торговец, скупавший мясо для города, заплатил хорошо.

— А вот и новый бык,— сказал Исаак,— пусть дети подойдут и посмотрят!

Все с тем же интересом к каждому новому животному, Ингер осмотрела быка, ощупала его, испросила о цене; маленького Сиверта посадили ему на спину.

— А мне жалко старого быка,— сказала Ингер,— он был такой гладкий и умный. Хоть бы уж они зарезали его как следует!

Дни были посвящены обычной рядовой работе, скотина гуляла на воле, в пустом хлеву прорастал в ящиках и лукошках картофель, предназначенный для посадки. В этом году Исаак посеял ячменя больше прежнего и приложил все усердие, чтоб хорошенько запахать его в землю, разбил грядки для моркови и репы, а Ингер посеяла семена. Все шло по-старому. Некоторое время носила на животе торбу с сеном, чтоб казаться толще, постепенно она уменьшала количество сена и наконец бросила торбу. В конце концов, Исаак заметил и с удивлением спросил.

— Что же это, разве нынче ничего не будет?

— Нет,— ответила она,— не будет.

— Ну. Отчего же?

— Так уж пришлось. Ты что же, Исаак, думаешь распахать все, сколько от нас видно!

— Скинула, что-ли?— спросил он.

— Да.

— Так. А сама-то ты не хвораешь?

— Нет. Я все думаю, хорошо бы нам завести свинью.

Неповоротливый умом Исаак ответил спустя минуту:

— Да, свинью. Я и сам подумываю о ней каждую весну. Но покамест у нас не будет много картошки, да еще полоски ячменя, нам ее не прокормить. Посмотрим, что бог даст нынче.

— А уж как хорошо бы иметь свинью!

— Да.

Дни проходят, побрызгивает дождь, нивки и луг чудесно зеленеют, нынче будет урожай! Мелкие и крупные события сменяются одно за другим, это — еда, сон и работа, это —

воскресенья с умыванием лица и расчесыванием волос. Исаак сидит в новой красной рубахе, вытканной и сшитой Ингер. Но вот, ровная жизнь потревожена крупным происшествием: одна овца с ягненком затерялась где-то в скалах, остальные овцы пришли домой вечером, Ингер сейчас же хватилась двух пропавших, Исаак отправляется на поиски. И первая мысль Исаака, раз уж случилась беда, хорошо, что она случилась в воскресенье, и ему не нужно отрываться от работы. Он ищет много часов, выгон огромный, он ходит и ходит; дома все в волнении, мать успокаивает детей короткими словами: две овцы пропали, тише, вы! Все принимают участие в тревоге, все маленькое общество, даже коровы понимают, что происходит что-то необычное, и мычат, потому что Ингер по временам выходит во двор и громким голосом кричит по направлению к лесу, хотя скоро уж ночь. Это целое событие в пустыне, несчастье для всей коммуны. Уложив детей спать, Ингер тоже отправляется на поиски. Изредка она аукает, но не получает ответа, должно быть, Исаак зашел очень далеко.

Господи, куда же это девались овцы, что с ними приключилось? Уж не медведь ли задрал их? А может волк забежал из Швеции или Финляндии? Ничего подобного. Когда Исаак находит овцу, оказывается, что она завязла в расщелине, у нее переломана нога и распорото вымя. Должно быть она попала в расщелину давно, потому что, хотя и поранена довольно сильно, выщипала траву кругом себя до самой земли. Исаак поднимает овцу и вытаскивает ее из расщелины, она сейчас же начинает щипать траву. Ягненок тут же принимается сосать мать, и раненому вымени сущее лекарство, что оно опрастывается.

Исаак набирает камней и заваливает опасную расщелину, предательскую расщелину; не придется ей больше переламывать овцам ноги! Исаак носит ременные подтяжки, он снимает их, обвязывает ими овцу, притянув порванное вымя. Потом вскидывает овцу на плечо и идет домой. Ягненок бежит следом.

А дальше? Лучинки и просмоленные тряпки. Через несколько дней овца начинает лягаться больной ногой, потому что рана затягивается, излом срастается. Так все и налаживается — до какого-нибудь нового происшествия.

Повседневная жизнь, события, целиком наполняющие новоселов. О,— это вовсе не мелочи, это судьба, сама жизнь, от этого зависит счастье, радость, благополучие.

В промежуток между полевыми работами Исаак обтесывает новые бревна, которые лежат у него, сложенные в кучу,

наверное, опять что-нибудь задумал. Кроме того, выламывает подходящие камни и приносит во двор; натаскав достаточно камней, складывает их грядкой. Будь это год тому назад, или около, Ингер заинтересовалась бы и стала бы добиваться я что такое затевает муж, но теперь она большей частью занималась своим делом и не задавала никаких вопросов. Ингер работает так же усердно, как и прежде, держит в порядке дом, детей и скотину, но она начала петь, чего раньше за ней не водилось; учит Елисея вечерним молитвам, этого раньше тоже не было,— Исааку не хватает ее вопросов. Ее любопытство и похвалы делали его счастливым и таким необыкновенным человеком, теперь она проходит мимо и не замечает, что он убивается на работе.— Должно быть, она все-таки расстроилась в последний раз!— думает он.

Опять приходит в гости Олина. Будь все как в прошлом году, ее встретили бы с радостью, нынче не то. Ингер с первой же минуты встречает ее недружелюбно; неизвестно, по какой причине, Ингер относится к ней враждебно.

— А я-то думала, что опять попаду кстати,— деликатно сказала Олина.

— Как так?

— Да ведь надо бы крестить третьего. Разве нет?

— Нет,— ответила Ингер,— ради этого тебе не стоило беспокоиться.

— Ну. Вот оно что!

Олина начинает расхваливать мальчиков, как они выросли, какие стали хорошенькие, Исаака, который распахал столько земли и опять как будто что-то строит — просто чудеса, другого такого двора и не найти! Скажи ты мне, что это такое он строит?

— Этого я тебе не могу сказать, спроси у него самого.

— Нет,— сказала Олина,— это мне неудобно. Я только хотела посмотреть, как вы все здесь поживаете, потому что это для меня большая радость и облегчение. Ну, про Златорожку я не стану и спрашивать и поминать, она попала, куда следовало! Проходит некоторое время в дружной болтовне, и Ингер уже не так сердита. Когда часы на стене отбивают свои гулкие удары, у Олины на глазах выступают слезы, она никогда в жизни не слышала такого боя — чисто орган в церкви! Ингер снова преисполняется щедростью и великодушием к своей бедной родственнице и говорит:

— Пойдем в клеть, я покажу тебе свою тканью!

Олина остается весь день. Она разговаривает с Исааком и расхваливает все его дела.

— Я слыхала, что ты откупил по миле во все стороны, неужто нельзя было взять задаром? Кто это тебе позавидовал?

Исаак слышит похвалы, которых ему так недоставало, и опять чувствует себя человеком:

— Я откупил у правительства, — отвечает он.

— Ну да, ну да, только оно могло бы не обдирать тебя так, это самое правительство! Что это ты строишь?

— Не знаю. Так пустяки.

— И все-то ты строишь! У тебя крашенные двери и часы с боем на стене, должно быть, строишь чистую избу?

— Будет тебе врать! — отвечает Исаак. Но он польщен и говорит Ингер:

— Сварила бы ты кашки на кислом молоке для гостя.

— Нету, — отвечает Ингер, — я только что сбила масло.

— Я не вру, я женщина простая и только так, спрашиваю, — спешит ответить Олина. — Ну если это не чистая изба, тогда это огромный амбар для всего твоего добра. У тебя и поля и луга, и все у тебя, чисто в Библии, течет молоком и медом.

Исаак спрашивает:

— А каковы виды на урожай в наших местах?

— Да ничего себе. Если Господь не спалит его и нынче, прости мои согрешенья! Все в Его воле и власти. Но такого замечательного урожая, как у вас здесь, в наших местах нигде и в помине нет, куда там!

Ингер спрашивает про других своих родных, в особенности про дядю Сиверта, окружного казначея, он гордость семьи, у него и сети, и невода, он уж и сам не знает, что ему делать со всем своим богатством. Во время этого разговора, Исаак отходит все дальше на задний план, и его новые строительные затеи забываются. И вот он говорит, наконец:

— Ну, уж раз тебе непременно хочется знать, Олина, так я попытаюсь построить небольшой овин с молотильным током.

— Так я и думала! — отвечает Олина. — Люди, которые настоящие, всегда обдумывают все и наперед и назад, и все держат в голове. Речь, понятно, не о горшке и не о кружке, которые не ты выдумал. Так ты говоришь — овин с током?

Исаак — взрослый ребенок, он не выдерживает лести Олины и попадает на удочку.

— Что касаясь до нового строения, то в нем будет ток, так я себе наметил в мыслях, — говорит он.

— Ток!— восторженно произносит Олина и качает головой.

— На что же нам ячмень в поле, когда его нельзя обмолотить?

— Вот это самое и я говорю: ты все обмозговываешь у себя в голове.

Ингер снова нахмурилась, беседа между мужем и гостьей видимо раздражает ее, она неожиданно говорит:

— Каши на кислом молоке! Где же я тебе возьму кислого молока? Уж не в речке ли?

Олина чувствует опасность:

— Ингер, дорогая, Господь с тобой, о чем ты говоришь? Не говори ты о каше на кислом молоке и не поминай про нее! Это мне-то, которая побирается по дворам!

Исаак сидит некоторое время молча, потом говорит:

— Нет, что же это я расселся, когда мне надó ломать камни для стены!

— Да уж, не мало камней надо на такую стену!

— Камней то?— отвечает Исаак.— Да сколько ни таскай, все, словно, мало!

По уходе Исаака между обеими женщинами воцаряется больше согласия, у них столько разговоров о деревенских делах, часы бегут. Вечером Олине показывают, как разраслось стадо, три коровы с быком, да два теленка, да множество коз и овец.

— Когда же этому конец?— вопрошает Олина, возводя глаза к небу.

Она остается ночевать.

Но на следующий день уходит. Ей опять дают с собой узелок, и так как Исаак работает на каменоломне, она делает небольшой крюк, чтоб не попасться ему на глаза.

Через два часа Олина возвращается в усадьбу, входит в горницу и говорит:

— Где Исаак?

Ингер стоит и стирает. Она знает, что Олина должна была пройти мимо Исаака и детей, которые находятся в каменоломне, и сейчас же чувствует беду:

— Исаак? На что тебе Исаак?

— На что! Да ведь я с ним не попрощалась.

Молчание. Олина вдруг опускается на скамью, словно ноги не хотят держать ее. Всем своим видом, особенно своим полубормочным состоянием, она точно умышленно говорит о чем-то необычайном.

Ингер не в силах больше сдерживаться, лицо ее полно бешенства и страха, она говорит:

— Ос-Андерс принес мне от тебя поклон. Нечего сказать, хороший поклон!

— А что?

— Зайца.

— Что ты говоришь?— с удивительной кротостью спрашивает Олина.

— Не смей отпираться!— кричит Ингер, дико сверкая глазами.— Я заткну тебе глотку вальком! Вот тебе!

Неужели она ударила? Ну да. И когда Олина от первого удара не падает, а, наоборот, вскакивает и кричит:

— Берегись! Я знаю, что я про тебя знаю!— Ингер снова колотит вальком и валит Олину на пол, подминает под себя, давит коленками.

— Что ж, ты хочешь на смерть убить меня?— спрашивает Олина. Прямо над собой она видела ужасный рот с заячьей губой, высокую крепкую женщину с тяжелым вальком в руке. У Олины тело горело от ударов, текла кровь, но она продолжала визжать и не сдавалась:

— Ну, ты хочешь убить меня!

— Да — убить,— отвечает Ингер и опять ударяет.— Вот тебе. Я тебя забью до смерти.

Она совершенно уверена: Олина знает ее тайну, остальное ей безразлично.

— Вот тебе по рылу!

— Рыло? Это у тебя у самой рыло!— простонала Олина.— Господь сам вырезал на твоём лице крест!

Справиться с Олиной трудно, очень трудно, Ингер поневоле перестает бить, удары ее ни к чему, они только утомляют ее саму. Но она грозит — тычет вальком прямо в глаза Олине, она задаст ей еще, еще, так что она и своих не узнает!

— Где у меня косарь, вот я сейчас покажу тебе!

Она встает, как бы затем, чтоб достать нож-косарь, но уж главный пыл ее прошел, и она только ругается. Олина поднимается и садится на скамейку, с желто-синим распухшим лицом, вся в крови, она откидывает с лица волосы, оправляет на голове платок, отплеивается; губы у нее вздулись.

— Тварь ты этакая!— говорит она.

— Ты была в лесу и вынюхивала,— кричит Ингер,— вот на что ты потратила столько часов, ты разыскала могилку. Но лучше бы ты заодно вырыла яму себе.

— Ну, уж теперь погоди!— отвечает Олина, пылая жаждой мести.— Я больше ничего не скажу, но уж не видать тебе горницы с клетью и часов с музыкой!

— Это не в твоей власти!

— А уж об этом я позабочусь!

Обе женщины кричат. Олина не так груба и голосиста, о нет, она почти кротка в своей жестокой злости; но она вьедлива и страшна:

— Где это мой узелок, жалко, оставила его в лесу. Можешь получить назад свою шерсть, я не хочу ее брать!

— А-а, ты, может, думаешь, что я ее украла?

— Ты сама знаешь, что сделала!

Они опять кричат. Ингер считает нужным указать, с которой из своих овец она настригла эту шерсть, Олина спрашивает кротко и ласково:

— Да, да, но почему знать, откуда у тебя первая овца?

Ингер называет место у человека, где кормились ее первые овцы с ягнятами.— Закрыла бы ты лучше свой рот!— грозит она.

— Ха-ха-ха,— усмехается Олина. У нее на все ответ и она не сдается:— Мой рот? Вспомни-как ты лучше про свой!— Она попрекает Ингер уродством и называет пугалом для бога и людей. Ингер вся кипит от ярости, и так как Олина толстая — называет ее тетехой:

— Подлая такая тетеха! И уж получишь ты спасибо за зайца, которого послала мне!

— Зайца? Пусть я во всем буду грешна, как в этом зайце! На кого же он был похож?

— На кого похож заяц?

— На тебя. Вылитый ты. А тебе не следовало бы смотреть на зайцев.

— Убирайся!— кричит Ингер.— Это ты подослала Ос-Андерса с зайцем. Я упеку тебя на каторгу!

— На каторгу? Ты и в самом деле сказала про каторгу?

— Ты завидуешь мне во всем, прямо лопаешься от зависти,— продолжает Ингер.— Ты, можно сказать, глаз не сомкнула с тех пор, как я вышла замуж и заполучила Исаака и все, что у меня есть! Господи Боже, Отец Небесный, и чего тебе от меня надо? Разве я виновата, что твои дети нигде не могут устроиться и никуда не годятся. Ты не можешь видеть, что мои дети здоровы и красивы и у них имена благороднее, чем у твоих, а разве я виновата, что они красивее и лицом и телом, чем твои!

Если что могло взбесить Олину, так именно это. У нее было много детей, вышли они такие, какие уродились, но она превозносила и расхваливала их, приписывала им достоинства, каких они не имели, и скрывала их пороки.

— Что ты говоришь?— ответила Олина.— И как это ты не провалишься сквозь землю от стыда! Мои дети, да они против твоих — все равно, что светлые божьи ангелы! И ты еще смеешь говорить своим языком о моих детях? Все семеро они были божьи созданыя, когда были маленькими, а теперь все стали большие и взрослые. Не беспокойся, пожалуйста!

— А Лиза твоя, разве не попала в тюрьму, не было этого?— спрашивает Ингер.

— Она ничего не сделала, она была невинна, как цветок,— отвечает Олина.— Да к тому же она живет замужем в Бергене и ходит в шляпке, а ты что!

— А что такое случилось с твоим Нильсом?

— Я не желаю отвечать тебе. А у тебя вот один лежит в лесу, что ты с ним сделала? Ты убила его?

— Замолчи и убирайся вон!— вопит Ингер и бросается на Олину.

Но Олина не отступает, она даже не встает. Эта неустрашимость, равная ее упорству, снова парализует Ингер, и она только говорит:— Нет, надо мне разыскать косарь!

— Не беспокойся,— советует Олина.— Я и сама уйду. Но раз уж ты выгоняешь свою собственную родню, так после этого ты тварь!

— Ладно, ступай уж!

Но Олина не уходит. Обе женщины бранятся еще долго, и всякий раз, как часы бьют час или половину, Олина язвительно улыбается и приводит Ингер в бешенство. В конце концов, обе несколько успокаиваются, и Олина собирается уходить.

— У меня длинный путь и ночь впереди,— говорит она.— Жалко, надо бы мне захватить с собой еды из дому.

На это Ингер ничего не отвечает, она пришла в себя и наливает Олине воды в чашку.

— На — оботрись вот, если хочешь!— говорит она.

Олина понимает, что ей надо поправиться перед уходом, но, не зная, где у нее кровь, она моет не те места. Ингер стоит и смотрит, потом указывает:

— Здесь и на виске тоже! Нет, на другом, ведь я же показываю!

— Откуда мне знать, на какой висок ты показываешь!— отвечает Олина.

— И на губах тоже. Да что ты, боишься воды, что ли?— спрашивает Ингер.

Кончается тем, что Ингер умывает избитую противницу и швыряет ей полотенце.

— Что это я хотела сказать,— начинает Олина, вытираясь и совершенно мирным тоном.— Как-то Исаак и дети перенесут это?

— Разве он знает?— спрашивает Ингер.

— Неужто нет! Он подошел и увидел.

— Что он сказал?

— Что он мог сказать! Он лишился языка, как и я.
Молчание.

— Это ты во всем виновата!— жалобно вскрикивает Ингер и раздражается слезами.

— Дай бог, чтоб у меня не было других грехов.

— Я спрошу у Ос-Андерса, можешь быть уверена!

— Спроси, спроси!

Они обсуждают спокойно, и Олина как будто не так уж кипит мстью. Она политик высокого ранга и привыкла находить разные выходы, теперь она выражает даже некоторое сострадание: если это выплывет наружу, очень жалко будет Исаака и детей.

— Да,— говорит Ингер и плачет еще пуще,— Я все думаю и думаю об этом днем и ночью.

Олина представляет себя в роли спасительницы, и заявляет, что может помочь. Она поселится в усадьбе на то время, что Ингер будет сидеть в тюрьме.

Ингер уже не плачет, она сразу прислушивается и соображает:

— Нет, ты не станешь смотреть за детьми.

— Это я-то не стану смотреть за детьми? Да что ты врешь!

— Ну да.

— Если у меня к чему-нибудь лежит сердце, так именно к детям.

— Да, к твоим собственным,— говорит Ингер,— но как ты станешь обращаться с моими? А когда я подумаю, что ты послала мне зайца, чтоб погубить меня, то одно только и могу сказать, что ты большая грешница.

— Кто? Я?— спрашивает Олина.— Это про меня ты говоришь?

— Да, про тебя я говорю,— отвечает Ингер и опять плачет.— Ты поступила со мной, как самая последняя тварь, и я тебе не верю. А кроме того, ты только украдешь у нас всю шерсть, если будешь жить здесь. И все сыры пойдут на твою семью, а не на мою.

— Сама-то ты тварь!— сказала Олина.

Ингер плачет и вытирает глаза, изредка говорит. Олина, разумеется, не хочет навязываться, она может жить у

Нильса, своего сына, у которого жила все время. Но когда Ингер посадят в тюрьму, Исааку и невинным малюткам придется плохо, Олина же могла бы пожить здесь и присмотреть за ними. Она изображает это в заманчивых красках, вовсе не так плохо будет.— Ты подумай об этом пока что,— говорит она.

Ингер убита. Она плачет, трясет головой и смотрит в пол. Как лунатик выходит в кладовку, выносит гостье узелок с припасами.

— Да нет, не беспокойся,— говорит Олина.

— Не идти же тебе голодной через перевал,— отвечает Ингер.

Когда Олина уходит, Ингер крадется за дверь, выглядывает, прислушивается. Нет, от каменоломни ни звука. Она подходит ближе и слышит детей, они играют в камешки. Исаак сидит, зажав лом между колен, и опирается на него, как на посох. Вон он сидит.

Ингер крадется на опушку леса. Она врыла в одном месте крестик, крест повален, а на том месте, где он стоял, дерн приподнят, и земля разрыта. Она садится, сгребает землю руками и утаптывает ее. Потом тоже сидит.

Она пошла из любопытства посмотреть, насколько Олина распала могилку, а сидит оттого, что скотина еще не вернулась на ночь домой. Она плачет, мотает головой и смотрит в землю.

ГЛАВА VII

А дни идут.

Стоит чудесная погода: солнце и перепадающие дожди, по погоде и всходы. Новоселы почти покончили с покосом и собрали пропасть сена, не хватает уж места, они складывают сено под выступами гор, в конюшне, складывают под домом, освобождают сарай от всего, что в нем есть, и набивают и его до крыши. Ингер работает с мужем, как неперменная помощница, с утра до позднего вечера. Исаак пользуется каждым дождем, чтоб вывести крышу на новом сарае и, в особенности, закончить южную стену, чтобы сложить туда все сено. Дело быстро подвигается, авось все будет закончено! Великая забота и событие — да, оно не забылось, деяние совершено и последствия должны наступить. Хорошее большей частью проходит бесследно, злое же всегда влечет за собой последствия.

Исаак отнесся сначала очень разумно, он только сказал жене:— «Как же ты это сделала?»— На это Ингер ничего не ответила.

Через минуту Исаак опять заговорил:

— Что же ты, задушила его?

— Да,— сказала Ингер.

— Не следовало этого делать.

— Нет,— ответила она.

— И не понимаю я, зачем ты это сделала.

— Она была вылитая я,— ответила Ингер.

— Как это?

— Такой же рот.

Исаак долго думал:

— Так, так,— промолвил он.

В тот же день они больше об этом не говорили, и оттого, что дни проходили так же спокойно, как и раньше, а кроме того, столько было сена, которое надо было убирать, да ожидался еще такой необыкновенный урожай, преступление мало по малу отошло в их мыслях на задний план. Но все время оно висело над людьми и над местом. Они не могли рассчитывать на молчание Олины, слишком уж это было ненадежно. Но даже, если б Олина и молчала, заговорили бы другие, обрели бы слова немые свидетели, стены в избе, деревья вокруг маленькой могилки в лесу; Ос-Андерс намекает кое-кому, сама Ингер выдаст себя во сне или на яву. Они приготовились к самому худшему.

А что же мог Исаак сделать, как не принять дело разумно? Он понимал теперь, почему Ингер каждый раз хотела остаться одна во время родов, одна пережить великий страх за нормальное сложение ребенка, одна встретить опасность. Три раза проделывала она это. Исаак качал головой и жалел ее за злую долю, бедняжка Ингер! Он узнал о посылке лопаря с зайцем, и оправдал Ингер. Это привело к великой нежности между ними, к сумасшедшей любви, они льнули друг к другу в опасности, она была полна к нему грубой ласки, а он безумствовал и никак не мог насытиться ею, он-то, мельничный жернов, чурбан! Она носила лопарские комаги, но лопарского в ней ничего не было, она была не маленькая и сморщенная, как лопарки, а, наоборот, стройная и высокая. Сейчас, в летнюю пору она ходила босая, высоко обнажив икры, и от этих голых икр Исаак не мог оторвать глаз.

Она продолжала все лето распевать стихи из псалмов и учить Елисея молитвам, но стала совсем не по-христи-

ански ненавидеть всех лопарей и без стеснения выпроваживала тех, что проходили мимо их жилища:

— Может, вас подослал кто-нибудь, опять у вас, чего доброго, в мешке сидит заяц, ступайте себе мимо!

— Заяц? Какой такой заяц?

— Ну да, ты не слышал, какую штуку выкинул Ос-Андерс?

— Нет.

— Да, уж я скажу тебе: он принес сюда зайца, когда я ходила тяжелая.

— Слыханное ли дело! Что ж, тебе вышел от этого какой-нибудь вред?

— Это тебя не касается, ступай себе. Вот возьми пожевать и ступай по-добру, по-здорову!

— Не найдется у тебя кусочка кожи подкинуть мне под комаги?

— Нет. А вот я съезжу тебя жердью, если ты не уйдешь.

А лопарь, он клянчит смиренно, но если ему откажут, он складывает в сердце зло и мстит. Двое лопарей с двумя детьми проходили мимо хутора и послали детей в избу попросить подавания, те вернулись и сказали, что в избе никого нет. Семья постояла немножко, потолковала по-лопарски, потом мужчина пошел посмотреть. Он долго не возвращался. Жена пошла за ним, потом дети, все забрались в избу и лопотали по-лопарски. Муж сунул голову в клеть, там тоже никого не было. Пробили часы, семья прислушалась, и пораженная замерла на месте.

Ингер должно быть почуяла чужих во дворе, она поспешно сбежала с косогора, и вдруг видит, что это лопари и лопарки, и лопари совсем ей незнакомые, тогда она спросила напрямик:

— Чего вам здесь надо? Разве вы не видели, что в доме никого нет?

— М-да,— говорит лопарь.

— Ступайте прочь!

Семья медленно и неохотно пятится к выходу.

— Мы остановились послушать твои часы,— говорит мужчина,— они так замечательно играют.

— Не найдется ли у тебя ломтика хлеба для нас?— просит жена.

— Откуда вы?— спрашивает Ингер.

— Из-за озера, с той стороны. Мы шли всю ночь.

— А куда идете?

— За перевал.

Ингер идет и отбирает им съестного; когда она выходит, жена выпрашивает лоскуток на шапку, моток шерсти, кусочек сыру, все-то ей нужно! Ингер некогда, Исаак с детьми на сенокосе.

— Ступайте себе,— говорит она.

Женщина льстит:

— Мы видели твою скотину на поле, вот это скотина, чисто звезды на небе!

— Замечательная!— подхватывает и муж.— Не будет ли у тебя парочки старых комаг?

Ингер запирает дверь в избу и возвращается работать на косогор. Тогда мужчина крикнул что-то, она притворилась, будто не расслышала и продолжала идти, но она слышала очень хорошо:

— Правда ли, что ты покупаешь зайцев?

Трудно было не понять. Лопарь, может, спрашивал и без всякой задней мысли, кто-нибудь наврал ему, а может, он спрашивал и со зла; но Ингер, во всяком случае, получила предупреждение. Судьба предостерегала ее...

Дни шли. Новоселы были здоровые люди, пусть будет, что будет, они делали свою работу и ждали. Они жили тесно друг с другом, как звери в лесу, спали, ели; так дотянулось до того, что они испробовали новую картошку, и она оказалась крупной и рассыпчатой. Удар — почему же медлит удар? Стоял уже конец августа, скоро подойдет сентябрь, неужели они благополучно проживут и зиму? Они жили все время на чеку, каждый вечер заползали вместе в свою берлогу, радуясь, что день прошел без событий. Так проползло время до октября, когда приехал ленсман с человеком и с портфелем. Закон шагнул через их порог.

Допрос занял довольно много времени, Ингер допрашивали с глазу на глаз, она ничего не отрицала, могилу в лесу разрыли, труп вынули, забрали для вскрытия. И крошечный трупик был обернутый в крестильное платице Елисея, на голове расшитый бусинками чепчик!

Исаак снова обрел дар речи:

— Да, да, теперь уж нам будет хуже некуда,— сказал он.— Ну, я только говорю свое: тебе не следовало это делать.

— Да,— ответила Ингер.

— Как же это ты сделала?

Ингер молчала.

— И как тебе могло прийти в голову!

— Она была такая же, как я. Тогда я свернула ей лицо на сторону.

Исаак покачал головой.

— Она сразу и померла,— продолжала Ингер и зарыдала.

Исаак помолчал:

— Ну, ну, теперь поздно плакать,— сказал он.

— У нее были темные волосики на затылке,— всхлипывала Ингер.

На этом все опять и кончилось.

И опять пошли дни. Ингер не арестовали, начальство отнеслось к ней милостиво, ленсман Гейердаль допрашивал ее, как стал бы допрашивать всякого другого, и только сказал:

— Печально, что такие вещи могут случаться!

Когда Ингер спросила, кто на нее донес, ленсман ответил, что никто конкретно, многие, он слышал об этом деле с разных сторон. Не выдала ли она себя сама какому-нибудь лопарю?

Ингер вспомнила что, рассказывала каким-то лопарям, как Ос-Андерс пришел к ней среди лета с зайцем, и от этого у ребенка, которого она носила под сердцем, сделалась заячья губа. А это не Олина послала зайца?

Ленсман не знал. Но если даже и так, он не стал бы заносить в протокол такое невежество и суеверие.

— Мать моя тоже увидела зайца, когда меня носила,— сказала Ингер...

Овин был готов, вышло большое строение, с сеновалами по обоим концам и с молотильным током посередине. Амбар и прочие временные места хранения были очищены и сено снесено в овин, ячмень сжали, высушили на жердинах и свезли, Ингер повыдергивала морковь и репу. Все было убрано. Теперь только бы жить да радоваться, у новоселов было всего вдоволь. Исаак опять распахивал до заморозков новь и увеличил ячменное поле, настоящий он был пахарь; но в ноябре Ингер сказала:

— Сейчас ей было бы полгода, и она бы уж всех нас узнавала!

— Теперь уж ничего с этим не поделаешь,— отвечал Исаак.

Зимой Исаак молотил ячмень в новом овине, а Ингер долгими часами работала с ним и действовала цепом не хуже его, пока дети играли на сеновале. Зерно выдалось крупное и полновесное. К новому году установился отличный санный путь. Исаак начал возить дрова в село, у него были уже постоянные покупатели, хорошо платившие за дрова летней сушки. Однажды он сговорился с Ингер взять поенного бычка от Златорожки и свезти его

вместе с козьим сыром мадам Гейслер. Мадам пришла в восторг и спросила, сколько все это стоит.

— Ничего,— отвечал Исаак.— Ленсман заплатил за все.

— Благослови его Господь, неужели заплатил?— сказала мадам Гейслер и совсем растрогалась. Она послала Елисею и Сиверту книжек с картинками, игрушек и печенья. Когда Исаак вернулся домой, и Ингер увидела подарки, она отвернулась и заплакала:

— Что с тобой?— спросил Исаак.

— Ничего. Сейчас ей был бы годик, и она бы уж все понимала!

— Да, да, но ведь ты же знаешь, какая она была — сказал Исаак, желая ее утешить.— А кроме того, может все еще и обойдется. Я разузнал, где сейчас Гейслер.

Ингер подняла голову:

— Разве он может помочь нам?

— Не знаю.

Потом Исаак повез ячмень на мельницу, смолот его и вернулся домой с мукой. А там опять принялся за лес и стал заготавливать дрова на будущий год. Жизнь его текла от одной работы до другой по временам года, от земли к лесу, и от леса опять к земле. Исаак проработал уже шесть лет на своем хуторе, а Ингер пять, все могло бы быть хорошо, если б так продолжалось. Но так не продолжалось. Ингер работала над тканью и ходила за скотом, она усердно пела псалмы, но, Господи, по части пения она была что колокол без языка.

Как только установился путь, ее вызвали в село для допроса. Исааку пришлось остаться дома. Пока он ходил один, он надумал съездить в Швецию и разыскать Гейслера, может добрый ленсман опять пожалует жителей Селланро. Но когда Ингер вернулась, оказалось, что она уж все разузнала, справилась и насчет приговора: по настоящему полагается пожизненное заключение, параграф первый. Да, она встала в самом святилище правосудия и откровенно призналась; двое свидетелей из деревенских смотрели на нее жалостливо, а судья допрашивал очень ласково. Но все равно ей было не устоять перед светлыми головами законников. Высокопоставленные судейские господа такие искусники, они знают всякие параграфы, выучили их наизусть и помнят, вот какие у них светлые головы. Но они тоже и не без здравого смысла, даже и не без сердца. Ингер не могла пожаловаться на правосудие; она не сказала про зайца, но когда она, вся в слезах,

призналась, что пожалела свое дитя и потому лишила ее жизни, судья тихонько и серьезно кивнул головой:

— Но у тебя самой заячья губа,— сказал он,— а ведь ты же хорошо устроилась?

— Да, слава Богу,— ответила Ингер. И ничего не рассказала о тайных страданиях своего детства и юности.

Но судья, все-таки, должно быть, кое-что понял, он сам был хромоногий и никогда не мог танцевать.

— Приговор — да, право, не знаю! Собственно, полагается пожизненное заключение. И я не знаю можно ли нам понизить и на сколько ступеней, вторую ли взять ступень или третью, с 15-ти лет на двенадцать, или с двенадцати до девяти лет. Сейчас заседает комиссия по смягчению уложения о наказаниях, и все никак не покончат с делом. Но будем надеяться на лучшее,— сказал он.

Ингер вернулась в тупом спокойствии, арестовать ее признали ненужным. Прошло месяца два, и вот однажды вечером Исаак, вернувшись с рыбной ловли, узнал, что на усадьбе был ленсман с новым понятым. Ингер радостно встретила Исаака и похвалила его, хотя рыбы он принес мало.

— Что это я хотел сказать? У нас тут были гости?— спросил он.

— Гости? О ком ты спрашиваешь?

— Я вижу свежие следы перед домом. Тут ходили в сапогах.

— Никого не было, кроме ленсмана и еще одного с ним.

— Так. Чего же им было нужно?

— Ты сам знаешь.

— Они приезжали за тобой?

— Ну вот, за мной! Они просто привезли приговор. И я скажу тебе, Исаак, Господь милостив к нам, вышло не так, как я боялась.

— Ну,— в волнении проговорил Исаак,— значит, не так уж надолго?

— Нет, всего несколько лет.

— Сколько же лет?

— Ну, да тебе, наверно, покажется, что много, но я-то благодарна Господу за всю жизнь!

Ингер не сказала точное число лет. Позже вечером Исаак спросил, когда за ней приедут, но этого она не знала или не хотела сказать. Она опять стала задумчива и говорила, что не представляет себе, как все пойдет без нее, наверно придется-таки взять Олину. Исаак тоже

ничего другого не мог придумать. Да, кстати, куда же девалась Олина? Против обыкновения, она в этом году не пришла. Уж не думает ли она всерьез не показываться после того, как все им расстроила? Наступила передышка между работами, но Олина не являлась. Уж не послать ли за ней! Небось, придет побираться, тетеха этакая, тварь!

Наконец, Олина явилась. Господи, вот человек, словно между нею и супругами ничего и не произошло, она даже сказала, что принесла Елисею пару чулок с каемкой.

— Захотелось мне посмотреть, как вы тут поживаете за перевалом,— сказала она.

Оказалось, что она опять оставила мешок со своим платьем и вещами в лесу и приготовилась погостить долго.

Вечером Ингер отвела мужа в сторону и сказала:

— Ты, кажется, хотел попробовать разыскать Гейслера? Сейчас есть время между работами.

— Да, ответил Исаак,— раз Олина здесь, я могу пойти завтра же с утра.

Ингер очень обрадовалась.

— Да захвати с собой все деньги, какие у тебя есть.

— Ну, а ты-то разве не можешь их спрятать?

— Нет.

Ингер сейчас приготовила большую торбу с едой, а Исаак проснулся среди ночи и собрался в путь. Ингер проводила его на крыльцо и не плакала, не жаловалась, а только сказала:

— Дело в том, что за мной могут приехать в любой день.

— Ты что-нибудь знаешь?

— Откуда мне знать! Да, наверно, это и не сейчас еще будет. Только бы ты нашел этого Гейслера, он, наверно, тебе что-нибудь присоветует!

Что мог сделать теперь Гейслер? Ничего. Но Исаак пошел.

Только нет, Ингер, наверно, кое-что знала, может быть, она же и позаботилась послать за Олиной. Когда Исаак вернулся из Швеции, Ингер уже увезли. При детях была Олина.

То была тяжелая весть для Исаака, и он громко спросил:

— Она уехала?

— Да,— ответила Олина.

— В какой день это было?

— На другой день после твоего ухода.

Исаак понял, что Ингер опять хотела удалить его и остаться одной в решительную минуту, оттого-то она и

велела ему взять с собой все деньги. Ох, а Ингер и самой, наверно, понадобилась бы кое-какая мелочь на длинную дорогу!

Но вышло так, что мальчуганы сейчас же занялись маленьким желтеньким поросенком, которого Исаак привез с собой. Впрочем, больше ничего он и не привез! Имейшийся у него адрес Гейслера устарел, Гейслера в Швеции не было, он вернулся в Норвегию и жил в Трондъеме. А поросенка Исаак принес на руках из Швеции, кормил его молоком из бутылки и клал его спать к себе на грудь; он хотел порадовать им Ингер, а вот теперь с ним играют и забавляются Елисей и Сиверт.

Это несколько развлекло Исаака. Притом же Олина передала от ленсмана, что казна, наконец, согласилась продать Исааку Солланро, и ему надо только пойти в контору к ленсману и заплатить деньги. Это было хорошее известие, оно вывело Исаака из угнетенного состояния. Несмотря на страшную усталость, он наложил в торбу припасов и сейчас же отправился в село. Наверное, в нем тлела маленькая надежда, что он еще успеет застать там Ингер.

Сорвалось, Ингер уехала на восемь лет. На душе у Исаака стало пусто и мрачно, он едва слышал, что говорил ленсман; печально, что случаются такие вещи. Он надеется, что Ингер это послужит хорошим уроком, так что она переменится, исправится и не будет больше убивать своих детей!

Ленсман Гейердаль в прошлом году женился. Жена его не хотела быть матерью и решила не иметь детей, благодарю покорно! У нее их и не было.

— Наконец-то я могу покончить с делом Селланро,— сказал ленсман.— Королевский департамент согласился на продажу приблизительно на предложенных мною условиях.

— Так,— сказал Исаак.

— Это тянулось долго, но я имею удовлетворение, что работа моя не пропала даром. То, что я написал, прошло почти точка в точку.

— Точка в точку,— повторил Исаак и кивнул головой.

— Вот купчая, тебе остается засвидетельствовать ее на первом тинге.

— Ладно,— сказал Исаак.— А сколько мне придется платить?

— Десять далеров в год. Да, вот тут департамент внес маленькое изменение; десять далеров в год, вместо пяти. Не знаю, как ты к этому отнесешься?

— Лишь бы мне справиться,— сказал Исаак.

— И в течении десяти лет.

Исаак испуганно поглядел на него.

— Да, департамент иначе не соглашается,— сказал ленсман.— Да это, в сущности, вовсе и не цена за такой большой участок, обработанный и обстроенный, как у тебя.

Десять далеров на этот год у Исаака имелись, он получил их за дрова и за козий сыр, который скопила Ингер. Он уплатил и еще немножко осталось.

— Это прямо счастье для тебя, что департамент не проведал о преступлении твоей жены,— сказал ленсман,— а то он, может быть, передал бы участок другому покупщику.

— Так,— сказал Исаак.— Так, стало быть, она в самом деле на восемь лет уехала?

— Да, этого уж не переделаешь, правосудие должно свершиться. Впрочем, приговор ей вынесли мягче мягкого. Теперь тебе остается сделать одно: проведи точные и резкие границы между своим участком и казной. Выруби лес и кустарник по прямой линии по тем вехам, что я расставил и отметил в протоколе. Дрова пойдут в твою пользу. Я приеду немного погодя посмотреть.

Исаак отправился домой.

ГЛАВА VIII

Быстро ли идут годы? Да, для того кто состарился.

Исаак не был стар и немощен, для него годы потянулись долго. Он работал на своем участке и предоставлял железной бороде своей расти, как заблагорассудится.

По временам однообразие пустынного уголка нарушалось мимоидущим лопарем или происшествием с каким-либо из домашних животных, потом все шло по-прежнему. Один раз прошла целая толпа мужчин, они сделали привал в Селланро, поели и выпили молока, расспросили Исаака и Олину о тропинке через скалы, сказав, что идут проводить телеграфную линию, а в другой раз приехал вдруг Гейслер — сам Гейслер. Он совершенно свободно пожаловал из села, и было с ним двое людей с горными инструментами, заступами и мотыгами.

Ох, уж этот Гейслер! Он был все такой же, как прежде, нисколько не изменился, поздоровался, поговорил с детьми, вошел в избу, опять вышел, оглядел землю, открыл двери в скотный двор, на сеновал, заглянул и туда.

— Превосходно!— сказал он.— Исаак, у тебя еще сохранились те камешки?

— Камешки?— переспросил Исаак.

— Те мелкие тяжелые камни, с которыми твой мальчуган играл в тот раз, когда я как-то был здесь?

Камни попали в кладовую и лежали каждый вместо гирьки на мышеловке, их сейчас же принесли. Ленсман и двое чужих стали их рассматривать и говорить, постукивали по ним, взвешивали на руке.

— Медная лазурь!— сказали они.

— Можешь ты пойти с нами на скалу и показать, где ты нашел эти камни?— сказал ленсман.

Все отправились в скалы, и хоть до места было недалеко, они все-таки проходили по скалам два дня, искали металлоносные жилы, взрывали камни. Домой вернулись с двумя торбами, битком набитыми каменной мелочью. Исааку удалось тут поговорить с Гейслером о своем положении, о покупке участка, который обошелся в сто далеров вместо пятидесяти.

— Ну, это не играет никакой роли,— легкомысленно бросил Гейслер.— У тебя в скале ценностей, может быть, на тысячи.

— Ну!— сказал Исаак.

— Но ты как можно скорее засвидетельствуй купчую в тинге.

— Так.

— А не то, понимаешь, казна начнет с тобой тяжбу.

Исаак понял.

— Но у меня беда с Ингер,— сказал он.

— Да,— отозвался Гейслер и обдумывал что-то неприлично для него.— Пожалуй, можно бы добиться пересмотра дела. Если все как следует выяснится, ей, наверно, немножко сбавят наказание. А то можно подать прошение о помиловании, и тогда мы добьемся того же скорее.

— Ну, вы так полагаете?

— Но просить о помиловании еще нельзя. Надо чтоб прошло некоторое время. Что это я хотел сказать? Да, ты отвез моей семье мяса и сыра,— сколько я тебе должен?

— Ничего, вы мне и так уж много заплатили раньше.

— Я?

— Вы так много помогли нам.

— Нет,— отрезал Гейслер и выложил несколько далеров.— Возьми!— сказал он.

Вот это человек, он ничего не хотел брать задаром, а денег у него в бумажнике опять было как будто вдоволь, он был здорово набит. бог весть, так ли уж на самом деле хорошо ему жилось?

— Но она пишет, что живется ей хорошо,— продолжал Исаак, думавший только о своем.

— А-а, твоя жена-то?

— Да. А после того, как у нее родилась девочка, у нее, ведь родилась большая и здоровенькая девочка...

— Это превосходно!

— Да, и с тех пор все помогают ей и, говорит, относятся к ней хорошо.

Гейслер сказал:

— Я пошлю теперь эти камешки специалистам и узнаю, что в них находится. Если в них порядочно меди, ты получишь много денег.

— Так,— промолвил Исаак.— А через сколько времени, вы думаете, можно подать прошение о помиловании?

— Немного погодя. Я напишу тебе. Я скоро опять приеду. Ты что сказал, твоя жена родила после того, как уехала отсюда?

— Да.

— Значит, ее увезли беременной. Этого они не имели права делать.

— Так.

— Это лишний повод к тому, чтоб выпустить ее через некоторое время.

— Вот хорошо-то было бы!— с благодарностью проговорил Исаак.

Исаак не знал, что начальству уже пришлось сочинять много длинных бумаг по поводу беременности его жены. В свое время ее не арестовали по месту ее жительства по двум причинам: за неимением в селе арестного дома и из желания проявить мягкость. Последствия оказались неожиданными. Позже, когда за Ингер приехали, никто не спросил о ее состоянии, и сама она тоже ничего не сказала. Может быть, она промолчала умышленно, чтоб иметь при себе ребенка в предстоящие тяжелые годы: если она будет хорошо вести себя, наверно, ей позволят иногда видаться с ним. А может быть, она просто отупела и равнодушно примирилась с тем, чтобы ее увезли, несмотря на ее положение...

Исаак трудился — корчевал пни и пахал, прорубил в лесу границы между своим участком и казной, дров опять набралось на целый год. Но так как при нем уже не было Ингер, ради которой стоило бы стараться, то он лез из кожи больше по привычке, чем ради удовольствия. Вот он пропустил уже два тинга, не засвидетельствовав купчей,— не лежало у него к этому сердце,— и только нынче осенью,

наконец, собрался. С ним было не совсем благополучно. Терпеливый и упорный — это-то так, но он был терпелив и упорен, потому что такая уж у него образовалась складка. Он снимал шкуры, потому что это надо было сделать, козьи шкуры, телячьи шкуры, вымачивал их в реке, обкладывал корой, выделывал на изготовку обуви. Зимой, уже с первой молотьбы отбирал семена для будущей весны, чтоб это было сделано, лучше когда это уж сделано, он был человек порядка. Но жизнь стала серой и одинокой, о-ох, Господи, опять он остался без жены и все такое.

Что за радость была ему теперь сидеть по воскресеньям в горнице, умытым, в нарядной красной рубашке, когда не для кого стало наряжаться! Воскресенья тянулись дольше всех дней, они осуждали его на праздность и печальные мысли, ему оставалось только бродить по земле и соображать, что еще осталось сделать. Всякий раз он брал с собой мальчуганов и всегда одного нес на руках. Приятно было слушать их болтовню и отвечать на их вопросы.

Старуху Олину он держал, потому что больше было некого. В сущности, иметь Олину было вовсе не так плохо, она чесала шерсть и прядла, вязала чулки и варежки и тоже варила козий сыр; но рука у нее была несчастливая, и работала она без любви, ничто из того, к чему она прикасалась, не принадлежало ей. Вот, например, купил как-то Исаак еще при Ингер очень хорошенькую коробочку у торговца, она стояла на полке, глиняная такая коробочка с собачьей головой на крышке, собственно, должно быть, табакерка; Олина сняла крышку и уронила на пол. Ингер отсадила несколько отводков фуксии в ящик, они стояли под стеклом, Олина сняла стекла и опять наложила их неловко и слишком тесно — на следующий день все отводки погибли. Исааку, верно, нелегко было это видеть, он, может быть, соорудил гримасу, а так как и вообще-то вид у него был не особенно кроткий, то, пожалуй, гримаса вышла довольно страшной. Олина была упряма и речиста, она буркнула:

— Разве я виновата!

— Не знаю уж,— ответил Исаак,— но ты бы лучше не трогала.

— Я не прикоснусь больше к ее цветам,— сказала Олина.— Но они уж все равно погибли.

И почему это лопари стали теперь захаживать в Селланро гораздо чаще, чем раньше? Ос-Андерс, какие у него тут дела, неужто он не может просто пройти мимо? В одно лето он два раза ходил через перевал, а у Ос-Андерса ведь не

было оленей, за которыми надо присмотреть, он кормился подаянием и жил из милости у других лопарей. Когда он приходил на хутор, Олина бросала всякую работу и принималась сплетничать с ним о знакомых сельчанах, а когда он уходил, мешок у него бывал туго набит всякой всячиной. Исаак угрюмо молчал два года.

Но вот Олине опять понадобились новые башмаки, и тут он уж не стал молчать. Стояла осень, Олина же каждый день трепала башмаки, вместо того, чтоб ходить в комагах или деревянных башмаках. Исаак сказал:

— Сегодня хорошая погода. Хм!— это для начала.

— Да,— ответила Олина.

— Послушай-ка, Елисей, разве не десять сыров было нынче утром на полке?— спросил Исаак.

— Да, десять,— ответил Елисей.

— А сейчас только девять.

Елисей опять пересчитал, порылся в своей головенке и вспомнил:

— Да, а еще тот, что унес Ос-Андерс, вот и будет десять.

Молчание воцарилось в горнице. Маленький Сиверт тоже принялся считать и повторил за братом:

— Вот и будет десять.

Опять молчание. Тогда Олине уж пришлось объясниться:

— Да, я дала ему крошечный сырок, я думала, это ничего. А детям еще рано соваться не в свое дело. Теперь я вижу в кого они уродились! И что не в тебя, Исаак, это я знаю.

Намек, который Исаак не мог не отпарировать:

— Дети такие, как надо. А вот ты-то скажи мне, что это за благодеяния Ос-Андерс оказал мне и моей семье?

— Благодеяния?— переспрашивает Олина.

— Да.

— Он-то, Ос-Андерс?— говорит она.

— Да. За что это я должен давать ему козьи сыры?

Олина успела сообразить и отвечает:

— Господь с тобой, Исаак! Да разве это я привадила Ос-Андерса? Если я когда-нибудь заговаривала с ним, пусть я не сойду живая с места.

Блестяще. Исааку приходится сдаться, как и много раз раньше.

Олина же не сдавалась:

— А если я должна ходить здесь, на зиму глядя, босая и не иметь того, что Господь создал для ног, так ты мне так и скажи. Я говорила про башмаки и три и четыре

недели тому назад, но их и званья нет, и я хожу, как ходила.

— А что такое приключилось с твоими деревянными башмаками, что ты их не носишь?

— Что с ними приключилось?— обиженно спрашивает Олина.

— Да, позволь спросить.

— С деревянными башмаками?

— Да.

— Ты не говоришь о том, что я чешу шерсть и пряду, и хожу за скотиной, и держу детей в чистоте, об этом ты не говоришь! А ведь и жена твоя, которая попала в тюрьму — и та, кажется, не ходила босиком по снегу.

— Нет, она ходила в деревянных башмаках,— ответил Исаак.— А когда шла в церковь или к порядочным людям, надевала комаги,— сказал он.

— Да, да— отозвалась Олина,— на то она и была такая шикарная!

— Да, шикарная. А когда летом ходила в комагах, то вкладывала в них только сухой осоки. Ты же носишь чулки с башмаками круглый год!

— А что до этого касается, то деревянные башмаки мои наверное скоро изнаются. И не думаю я, чтоб мне стоило торопиться стаптывать такие хорошие башмаки ради чужих дел.

Она говорила тихо и ележно, но глаза у нее были полужакрыты, а вид ласковый.

— Эта твоя Ингер,— сказала она,— мы ее звали подкидышем,— она терлась около моих детей и научилась и тому и другому за все те годы. Если моя дочь в Бергене ходит в шляпке, так может и Ингер тоже поехала на юг, в Тронгейм, купить себе шляпку, хе-хе.

Исаак встал и хотел уйти. Но Олина уж дала волю своему сердцу, своей накопившейся черной злобе, она прямо излучала мрак и заявила, что ни у одной из ее дочерей лицо не разорвано словно у мечущего пламя хищного зверя, если можно так сказать, но зато и вышли они простенькие. Не всем ведь дано такое искусство, убивать детей надо умеючи!

— Берегись ты!— крикнул Исаак, и, чтоб не было недоразумений, прибавил.— Этакая чертова баба!

Но Олина не побереглась, о нет — Олина ухмыльнулась, закатила глаза к потолку и намекнула, что, в сущности, это безобразие, если люди с заячьей губой ходят себе, как

ни в чем не бывало, средь других людей. Надо же иметь совесть!

Исаак был рад, когда ему удалось наконец вырваться из дома. И что же ему оставалось делать, как не купить Олине башмаки. Пионер в лесу, он даже не мог, как иные, равные богам счастливец, скрестить руки на груди и сказать своей служанке:— Уйди!— Такая необходимая домоправительница — она была в безопасности, что бы не говорила и не делала.

Ночи стоят прохладные и лунные, болота застывают так, что по нужде могут выдержать человека, за день солнце опять растапливает их и делает непроходимыми. В одну холодную ночь Исаак идет в село заказать Олине башмаки. Он несет с собой два козьих сыра для мадам Гейслер.

На полдороге от села уже поселился новый сосед. Должно быть человек со средствами. Дом ему строили плотники из села, и вдобавок он нанял работника вспахать полоску песчаной земли под картошку; сам он делал мало или и вовсе ничего. Человек этот был Бреде Ольсен, подручный ленсмана и понятой; человек, к которому обращались, когда надо послать за доктором, или когда жена пастора собиралась заколоть свинью. Ему еще не было тридцати лет, а кормить приходилось четверых детей, не считая жены, которая и сама-то была не лучше ребенка. О, средства Бреде были наверно не очень велики, не много наживешь от того, что всем служишь затычкой да разъезжаешь по описям за недоимки; и вот он решил заняться земледелием. Под дом свой на хуторе он взял ссуду в банке. Участок его назывался Брейдаблик — это жена ленсмана Гейердаля придумала такое название.

Исаак быстро проходит мимо хутора, не завернув к соседу, но окно в доме все облеплено детскими лицами, хотя утро еще очень раннее. Исаак торопится, потому что ему хочется дойти до этого же места завтра в ночь. Человеку в пустыне много есть о чем подумать и ко многому приходится приспосабливаться. Как раз сейчас у него не так уж много работы, но он скучает по мальчуганам, оставшимся дома с Олиной.

Дорогой он вспоминает свое первое странствование здесь. Время стерлось, последние два года были длинными; много было хорошего в Селланро, кое-что было и плохого, о-ох, Господи! Так, стало быть, и еще один хуторок появился в пустыне, Исаак признал место, одно из тех удобных мест, которые он сам обследовал во время своего странствования, но потом прошел мимо. Здесь ближе к

селу, это правда, но лес не так хорош; местность ровная, но болото; землю легко поднять, но трудно копать. И что это значит, неужели Бреде не думает устроить навес сбоку сеновала для инструментов и повозок? Исаак заметил, что телега стоит посреди двора, под открытым небом.

Он сделал, что было нужно у сапожника, а мадам Гейслер, оказалось, уехала, потому сыры он продал торговцу. Вечером он отправляется домой. Мороз все крепчает, так что идти легко, но походка у Исаака тяжелая. бог весть, когда придет Гейслер, раз и жена его уехала, может, и никогда не придет. Ингер нету, а время идет.

На обратном пути он тоже не заходит к Бреде, нет, он делает крюк и проходит стороной. Ему не хочется говорить с людьми, только бы идти.

— А телега-то у Бреде все еще стоит на дворе, пожалуй, так и останется!— думает он.— Ну да, каждому свое! Вот у него самого — у Исаака, есть и телега, и навес для нее, а лучше ли ему от этого; дом у него только наполовину дом, когда-то он был целым, а теперь осталась только половина.

Когда среди дня он видит свой дом на откосе, на душе у него светлеет, хотя он устал и измучился от двух суток пути: стоят постройки, из трубы вьется дым, оба мальчика на дворе, едва завидев его, бегут к нему навстречу. Он входит в избу, в горнице сидит два лопаря, Олина в удивлении встает со скамейки и говорит:

— Что это?— ты уж вернулся!— Она варит кофе на плите. Кофе? Кофе!

Исаак и раньше замечал: когда приходил Ос-Андерс или другие лопари, Олина долго спустя варила кофе в маленькой Ингеровой кастрюльке. Она варит его, когда Исаак в лесу или в поле, если же он неожиданно приходит и видит, то молчит. Но он знает, что всякий раз у него становится одним козым сыром или мотком шерсти меньше. И потому хорошо, что Исаак не поднимает руку на Олину и не разрывает ее на куски за ее низость. В общем, Исаак старается быть все добрее и добрее, ради чего бы он это ни делал, то ли ради сохранения мира в доме, то ли в надежде, что бог за это скорее возвратит ему Ингер. У него есть склонность к размышлению и суеверию, даже крестьянская темнота его искренна и простодушна. Вот осенью оказалось, что дерновая крыша в конюшне начала протекать над лошадью, Исаак пожевал-пожевал свою железную бороду, а потом улыбнулся, как человек, сообразивший в чем штука, и заложил крышу тесинами. У него не вырвалось ни одного

сердитого слова. Другая черта: кладовая, в которой он держал съестные припасы, была построена на высоких каменных устоях по углам. Птицы залетали в нее сквозь большие отверстия в каменной кладке и метались, не находя выхода. Олина жаловалась, что птицы клюют провизию, портят и пачкают сало. Исаак сказал:

— Это плохо, что птицы залетают и не могут вылететь!— И в разгаре спешной работы наломал камней и заложил отверстия в устоях.

Бог знает, что он думает при этом, может надеялся, что Ингер скорее вернется к нему, если он будет так хорошо вести себя.

ГЛАВА IX

Опять приехал в Селланро инженер с подрядчиком и двумя партиями рабочих, и опять они собирались проводить телеграфную линию через горы. По тому, как они шли теперь, линия должна была пройти немножко выше домов, в лесу предполагалось прорубить широкую просеку, это ничего, место сделается не так пустынно, мир ворвался сюда и бросал свет.

Инженер сказал:

— Это место становится теперь центральным пунктом между двух долин, тебе, может быть, предложат надзор за линией по обе стороны.

— Так,— сказал Исаак.

— Ты будешь получать двадцать пять далеров в год.

— Так,— сказал Исаак,— а что мне за это придется делать?

— Держать линию в порядке, исправлять провода, если они порвутся, очищать от кустов, которые растут на линии. У тебя будет на стене маленькая машинка, которая показывает, когда надо выходить на линию. И тогда ты должен бросать все, чем будешь занят, и идти.

— Я мог бы взять эту работу на зиму,— сказал Исаак.

— На весь год,— возразил инженер,— разумеется на весь год, и зимой и летом.

— Весной, летом и осенью у меня работа на земле, и на другое нет времени.

Тогда инженер с добрую минуту смотрел на него, прежде чем задал следующий удивительный вопрос:

— Да разве ты так больше выгадаешь?

— Выгадаю?— повторил Исаак.

— Разве ты больше заработаешь на земле за те дни, когда придется обходить линию?

— Этого я не знаю,— ответил Исаак.— Ну, только дело такое, что живу я здесь ради земли. У меня большая семья, много скотины, всех надо прокормить. Мы живем землей.

— Ну, что ж,— сказал инженер,— я могу предложить место другому.

Угроза эта, видимо, принесла Исааку большое облегчение, он не хотел обидеть важного барина и поспешил объяснить:

— Дело в том, что у меня лошадь и пять коров, да еще бык. Потом двадцать овец и шестнадцать коз. Скотина дает нам пищу и шерсть, и кожи, надо же ее кормить.

— Ясно,— коротко промолвил инженер.

— Да, да. И вот я и не знаю, как я добуду ей корм, если в рабочее время буду уходить смотреть за телеграфом.

— Не стоит об этом больше говорить. Надзор будет поручен соседнему новоселу, Бреде Ольсену, он, наверное, с радостью согласится.— Инженер повернулся к своим спутникам:— Идемте дальше, ребята!

Олина по тону, верно, поняла, что Исаак заупрямился, сделал глупость и обрадовалась:

— Что это ты сказал, Исаак: шестнадцать коз? А ведь их сейчас только пятнадцать,— сказала она.

Исаак посмотрел на нее. И Олина посмотрела прямо ему в лицо.

— Разве коз не шестнадцать?— спросил он.

— Нет,— ответила она и беспомощно взглянула на присутствующих, как бы подчеркивая бестолковость.

— Так,— тихонько протянул Исаак. Он закусил зубами кусок бороды и стал грызть ее.

Инженер и его спутники ушли.

Если бы Исаак хотел выразить свое неудовольствие Олине или искалечить ее, то ему представлялся удобный случай, о, чудесный случай, они были в горнице одни, мальчишки побежали провожать прохожих. Исаак стоял посреди комнаты, Олина сидела возле печки. Исаак два раза откашлялся, чтоб показать, что собирается поговорить. Он молчал. В этом была его душевная сила. Неужто он не знает своих коз, как свои пять пальцев, с ума сошла эта баба, что ли! Как это пропадет какая-нибудь животина из хлева, когда он сам ухаживает за всеми и ежедневно со всеми разговаривает, со всеми шестнадцатью козами

наперечет! Значит, Олина стащила одну козу, когда вчера здесь была женщина из Брейдаблика.

— Гм!— сказал Исаак едва сдерживаясь от искушения сказать что-нибудь еще. Что сделала Олина? Может быть, это было не прямое убийство, но не очень далеко от того. Для него вопрос о шестнадцатой козе был очень серьезный.

Но не мог же Исаак век стоять посреди горницы и молчать. Он сказал:

— Гм. Так сейчас всего пятнадцать коз?

— Да,— кротко ответила Олина.— Посчитай сам, у меня больше пятнадцати не набирается.

Сейчас, в эту вот самую минуту он мог бы это сделать: протянуть руку и значительно изменить фигуру Олины одним хорошим движением. Мог. Но не сделал, а храбро произнес, идя к двери:

— Сейчас я больше ничего не скажу!— С этими словами он вышел, с таким видом, как будто в следующий раз за надлежащими словами остановки не будет.

— Елисей!— крикнул он.

Где Елисей, куда девались оба парнишки? Отец хотел задать им вопрос, они были уже большие мальчики, могли видеть, что делается. Он нашел их под овином, они забились в самую глубину, снаружи не видать, и выдали себя боязливым шепотом. И вот они выползли на свет, словно два преступника.

Дело в том, что Елисей нашел цветной карандаш, забытый инженером, но когда он побежал, чтобы отдать его, взрослые широко шагавшие мужчины были уже далеко в лесу, Елисей остановился. У него явилась мысль, что, пожалуй, недурно бы оставить карандаш себе. Он кликнул маленького Сиверта, чтоб вместе решить это дело, и оба заползли под овин со своей добычей. Ах, что за карандашик! Замечательное событие в их жизни, чудо! Они набрали щепок и исписали их значками, а карандаш писал с одного конца красным, с другого синим; ребятишки писали поочередно. Когда отец позвал их так настойчиво и громко, Елисей прошептал:

— Они вернулись за карандашом!— Радость сразу исчезла, ее точно вымело из души, маленькие сердечки их сильно забились и застучали. Братья выползли наружу. Елисей протянул отцу руку с карандашом: вот он, они его не сломали, но лучше бы он никогда не попадался им на глаза!

Никакого инженера не оказалось. Сердца их опять успокоились, они почувствовали райское счастье после волнения.

- Здесь вчера была женщина,— сказал отец.
- Да, а что?
- Соседка с низу. Вы видали, как она уходила?
- Да-а!
- Была с ней коза?
- Нет,— сказали мальчики.— Коза?
- С ней не было козы, когда она уходила домой?
- Нет. Какая коза?

Исаак размышлял. Вечером, когда скотина вернулась с пастбища, он пересчитал коз один раз: оказалось шестнадцать. Он пересчитал еще раз, пересчитал пять раз — было шестнадцать коз. Ни одна не пропала.

Исаак вздохнул с облегчением. Как же это понимать? Олина, тварь этакая, должно быть не умеет считать до шестнадцати. Он с досадой сказал ей:

— Что ты там болтаешь и путаешь — ведь коз шестнадцать?

— Разве шестнадцать?— невинно спросила она.

— Да.

— Ну-уу. Так, так.

— Нечего сказать, хорошо ты считаешь!

Олина ответила тихо и обиженно:

— Раз все козы налицо, значит, слава богу, Олина ни одной не съела. Я рада за нее!

Она удивила его этой загадкой и успокоила. Он не стал больше считать скотину, и ему не пришлось в голову пересчитать овец. Разумеется, Олина вовсе не так уж плоха, как никак, она ведет его дом и хозяйство, ходит за его скотиной, она просто очень глупа и вредит только самой себе, а не ему. бог с ней, пусть живет, что с нее взять. Но серой и безрадостной казалась жизнь Исааку.

Прошли годы. На крыше избы выросла трава, даже крыша овина, которая была на несколько лет моложе, стояла зеленая. Лесные мыши давно уже пробрались в кладовую. На хуторе развелось много синиц и других мелких птичек, на бугре жили тетерки, налетели даже грачи и вороны. Но самое удивительное случилось прошлым летом: вдруг появились чайки с берега, они прилетели за много миль с моря и опустились здесь, на этом участке в пустыне! Вот какую известность приобрел на белом свете хуторок! А, как по-вашему, какие мысли зашевелились у Елисея и маленького Сиверта, когда они увидели чаек? Это были незнакомые птицы из далеких, далеких краев, их было немного, но все-таки шесть штук, беленькие, все

одна в одну, они рассказывали пешечком по земле, изредка пощипывая травку.

— Отец, зачем они сюда прилетели?— спросили ребяташки.

— Оттого, что почуяли угрозу на море,— отвечал отец.

Очень уж чудно и непонятно было с этими чайками!

И много других полезных и хороших знаний преподавал Исаак своим детям. Они уже настолько выросли, что пора было отдать их в школу, но школа находилась за несколько миль в селе, и до нее было не добраться. Исаак сам учил мальчиков азбуке по воскресеньям, но за каким-нибудь высшим образованием он и не гнался, этот прирожденный землепашец за наукой не гнался, поэтому катехиз и священная история спокойненько лежали на полке, рядом с козьими сырами. Исаак, должно быть, полагал, что книжная неученость составляет до известной степени силу человека, и потому предоставлял детям расти свободно. Оба были его радостью и благословением. Исаак часто вспоминал, какие они были маленькими, и как мать не позволяла ему брать их на руки, потому что руки у него в смоле. Ха, смола, чище чего не бывает в жизни! Деготь, козье молоко или, скажем, костный мозг — тоже здоровые и превосходные вещи, но смола, сосновая смола, что и толковать!

И вот дети блаженствовали в грязи и невежестве, но в редкие дни, когда им случалось помыться, они были хорошенькие ребятки, а маленький Сиверт был прямо-таки крепыш. Елисей, тот вышел потоньше и посерьезнее.

— Да, а откуда же чайки могут знать, что собирается гроза?— спросил он.

— Они чувствуют погоду,— отвечал отец.— Но уж если на то пошло, никто так не чувствует погоду, как муха,— сказал он,— бог ее знает, что с ней делается, ревматизм, что ли разыгрывается, или головокружение, или еще что. И муху никогда не надо отгонять, а то она еще хуже пристанет,— сказал он.— Запомните, ребятки. Овод — тот другого нрава, он сам помирает. Овод он так: появится ни с того, ни с сего в какой-нибудь день летом, потом также ни с того, ни с сего и пропадет.

— Куда же он девается?— спросил Елисей.

— Куда девается? Сало в нем свернется, он упадет и не может подняться!

Каждый день приносил новые познания: прыгая с высоких камней, язык надо отводить подальше в рот, а не держать между зубами. Когда дети вырастут и захотят, чтоб в церкви от них хорошо пахло, пусть потрут

листочком бирючины, что растет на бугре. Отец был полон премудрости. Он рассказывал детям про камни и про кремень, что белый камень тверже серого; когда он нашел кремень, пришлось разыскать губу — парост на дереве — сварить ее в щелоке и сделать трут. А потом высек детям из кремня огонь. Он учил их и про луну: когда ее можно взять левой рукой — стало быть, она на прибыли, а когда можно взять правой рукой — стало быть, она на ущербе — запомните, ребятки! Изредка случалось, что Исаак заносился чересчур высоко и говорил мудрено: так, однажды он распространился насчет того, что верблюду труднее попасть на небо, чем человеку пролезть в игольное ушко. В другой, поучая о славе ангелов, сказал, что у них каблучки подбиты звездами, вместо сапожных гвоздей. Школьный учитель в селе наверное посмеялся бы над незлобивой и простодушной наукой, удовлетворявшей хуторян, но фантазии детей Исаака она давала крепкую и здоровую пищу. Они воспитывались и образовывались для своего собственного тесного мира, что же могло быть лучше? Осенью, когда кололи скотину, мальчики преисполнились любопытства, страха и печали за животных, которых ожидала смерть. Исаак держал животное одной рукой, а другой колол, Олина же спускала кровь. Вот вывели старого козла, такого умного и бородатого, ребятишки стояли в уголке и смотрели.

— Чертовски холодный ветер нынче, — сказал Елисей, высморкался пальцами и вытер глаза. Маленький Сиверт заплакал откровеннее и не мог удержаться, закричал:

— Ой, бедненький старенький козлик!

Когда козла закололи, Исаак подошел к детям и преподавал им следующее наставление.

— Никогда не надо говорить «бедная» и жалеть убойную скотину. Она от этого только труднее помирает. Запомните это!

Так шли годы, и вот снова наступила весна.

Ингер опять прислала письмо, что ей живется хорошо, и она многому учится в тюрьме. Девчоночка ее уже большая, и зовут ее Леопольдина, по тому дню, в какой она родилась, 15-го ноября. Она все умеет делать: особенно же мастерица на вязанье и шитье, замечательно хорошо у нее выходит, и по материи и по канве.

Удивительнее всего в этом последнем письме было то, что Ингер сама написала его. Исаак на эти дела был не мастер, ему пришлось отнести письмо в село к торговцу, чтобы тот прочитал ему; но после того, как письмо попало

ему в голову, оно засело там крепко, и, придя домой, он знал его наизусть.

И вот он с величайшей торжественностью сел за стол, разложил перед собой письмо и стал читать детям. Пусть Олина увидит, что он умеет читать по-писаному, но, впрочем, к ней он не обратился ни с одним словом. Кончив, он сказал:

— Ну, вот, слышите, Елисей и Сиверт, мать ваша сама написала это письмо и научилась делать столько разных вещей. А маленькая сестричка ваша знает больше, чем все мы вместе взятые. Запомните это!

Дети сидели и молча дивились.

— Да, это знатно!— промолвила Олина.

Что она хотела сказать? Уж не сомневалась ли она в правдивости Ингер? Или не доверяла чтению Исаака? Не стоило допытываться настоящего мнения Олины, когда она сидела со своим кротким лицом и говорила загадками. Исаак решил не обращать на нее внимания.

— А когда мама ваша вернется домой, вы тоже научитесь писать,— сказал он мальчикам.

Олина перевесила тряпки, сушившиеся у печки, переставила котел, опять перевесила тряпки, вообще засуетилась. Она все время думала.

— Раз уж у вас здесь в лесу пошло такое знатное житье, ты мог бы принести в дом полфунтика кофею,— сказала она Исааку.

— Кофею?— повторил Исаак. Это у него невольно вырвалось.

Олина спокойно ответила:

— До сих пор я сама покупала понемножку на собственные деньги.

Кофе, который был для Исаака все равно, что мечта, сказка, радуга! Олина, разумеется, врала, он не сердился на нее; но в конце концов, мешкотный на мысли человек вспомнил про Олинины проделки с лопарями и сказал с досадой:

— Это чтоб я-то стал покупать тебе кофею! Да никак ты сказала, полфунта? Говорила бы уж — фунт. Этого еще недоставало!

— Будет тебе врать, Исаак! У брата моего Нильса пьют кофий, у соседа Бреде в Брейдаблике тоже пьют кофий.

— Да, оттого что у них нет молока, не водится молока.

— Уж как там ни на есть. А только раз уж ты такой ученый и читаешь по-писаному без запиночки — так ты должен знать, что кофий пьют в каждом доме.

— Тварь!— сказал Исаак.

Тогда Олина села на лавку, отнюдь не собираясь молчать:

— А что касается до Ингер,— сказала она,— раз уж я осмелюсь вымолвить такое святое слово...

— Можешь говорить, что хочешь. Я с тобой не считаюсь.

— Она вернется домой и всему научилась? Чего доброго завела себе ожерелье и шляпку с перьями?

— Да уж наверное.

— Да, да,— сказала Олина,— так пусть немножко отблагодарит и меня за все великолепие, которого достигла.

— Тебя?— спросил Исаак. Он не понимал.

Олина смиренно ответила:

— Потому что это я, по мере слабых сил своих, помогла выпроводить ее отсюда.

На это Исаак ничего не мог сказать, все слова замерли у него на языке, он сидел и смотрел, выпучив глаза. Правильно ли он расслышал? У Олины же был такой вид, как будто она ровно ничего не сказала. Нет, в словесном бою Исаак терпел поражение.

Он вышел, потемнев в лице. Олина, эта тварь, питалась злобой и жирела от нее.

— Эх, жалко, что я не убил ее в первый же год!— подумал он и сам себя испугался.— Вот был бы молодец то,— продолжал он думать.— Молодец — он? Страшнее нельзя себе и представить.

И тут следует забавная сцена: он идет в хлев и считает коз. Они стоят со своими козлятами и все налицо. Считает коров, свинью, четырнадцать кур, два теленка.— А овец-то я и позабыл!— говорит он самому себе вслух, пересчитывает овец и притворяется, будто ему очень важно узнать, все ли они целы. Исаак отлично знает, что одна овца исчезла, знает давно, зачем же разыгрывать комедию? Дело вот в чем: Олина в свое время сбила его и налгала, будто пропала коза, хотя козы были все целы; он тогда разбушевался, но без толку. И никогда у него не выходило проку от споров с Олиной. Осенью, собираясь колоть скотину, он сразу заметил, что одной суягной овцы нету, но у него не хватило храбрости потребовать тут же отчета. Не собрался и позже.

Но сегодня он мрачен, Исаак мрачен, Олина взбесила его. Он опять считает овец, тыкает указательным пальцем в каждую овцу и считает вслух — пусть Олина послушает, если стоит за дверью. И он громко говорит разные скверные

вещи про Олину: что она придумала совсем новый способ кормить овец, так что одна и вовсе пропала, суягная овца, вот какая она дармоедка и воровка! О, пусть себе Олина стоит за дверью и наберется, как следует, страху.

Он входит из хлева, идет в конюшню и считает лошадь, оттуда направляется к дому, пойдет домой и скажет! Но Олина то, должно быть, заметила кое-что из окошка, она тихонько выходит из дверей, в руках у нее лоханка, она направляется в хлев.

— Куда ты девала лопухую суягную овцу?— спрашивает Исаак.

— Суягную овцу?— переспрашивает Олина.

— Будь она здесь, у нее было бы теперь два ягненка, куда ты их девала? Она всегда приносила по два ягненка. Стало быть, я из-за тебя потерял трех овец, понимаешь ты это!

Олина совершенно поражена, уничтожена обвинением, она качает головой, и ноги точно тают под ней, так что она того гляди упадет и расшибется. Голова ее все время работает, изворотливость всегда выручала ее, всегда приносила ей барыш, не изменит она ей и теперь.

— Я краду коз, и я краду овец,— тихо говорит она.— Не знаю вот только, что я с ними делаю? Разве, что съедаю.

— Да уж, черт тебя знает, что ты с ними делаешь.

— Так. Стало быть, ты так плохо кормил меня, Исаак, что мне приходилось красть? Но я и за глаза тебе скажу, что за все эти годы мне не было нужды красть.

— Ладно уж. Куда ты девала овцу? Отдала Ос-Андерсу, что ли?

— Ос-Андерсу!— Олина ставит на земь лоханку и молитвенно складывает руки.— Да спаси меня Господь от греха! О какой овце с ягненком ты толкуешь? Не о яловой ли козе, еще лопухая такая?

— Тварь!— говорит Исаак и поворачивается уходить.

— Ну не чудак ли ты, Исаак! Всего-то у тебя вдоволь, и скотины во дворе, что звезд на небе, а тебе все мало! Почему я знаю, какую овцу и каких двух ягнят ты с меня спрашиваешь? Благодарил бы лучше бога за его милосердие до тысячного колена. Вот пройдет лето да самая малость зимы, и опять овцы пойдут ягниться, и у тебя станет втрое больше, чем сейчас!

Ох, уж эта Олина!

Исаак уходит, рыча, словно медведь.— И болван же я был, что не убил ее в первый же день!— думал он, всячески ругая себя.— Вот простофиля-то, дурак! Ну, да

и сейчас не поздно, подожди, пойди только в хлев! Нынче вечером, пожалуй, уж не стоит с ней возиться, зато завтра посмотрим. Три овцы пропали! Говорит — кофею!

ГЛАВА X

Следующий день принес крупное событие: на хутор пришли гости, пришел Гейслер. Болота еще не просохли, но Гейслер не обращал внимания на дорогу, он пришел пешком, в богатейших сапогах с длинными голенищами и широкими лакированными отворотами; перчатки на нем были желтые; страсть, какой нарядный; человек из села нес его багаж.

Пришел он собственно за тем, чтоб купить у Исаака участок скалы, медную жилу, — какую им назначить за нее цену? А кстати, принес и поклон от Ингер — молодец баба, все ее там полюбили; он приехал из Тронгейма и сам говорил с ней.

— Ну, Исаак, много же ты здесь наработал!

— Да не без того. Так вы говорили с Ингер?

— Что это там такое? Ты поставил мельницу, сам мелешь себе муку? Великолепно. И много поднял целины с тех пор, что я здесь был.

— Так что с ней благополучно?

— Да, благополучно. С твоей женой-то? Да, да, вот послушай! Пойдем в клеть.

— Нет, там не прибрано! — говорит Олина, желая их устранить оттуда по многим причинам.

Они вошли в клеть и затворили за собой дверь, Олина осталась в горнице и ничего не слышала.

Ленсман Гейслер сел, хлопнул себя изо всех сил по коленкам и стал решать судьбу Исаака.

— Надеюсь, ты ещё не продал свою медную скалу? — спросил он.

— Нет.

— Отлично. Так я покупаю ее. Да, я говорил с Ингер, и не с ней одной. Ее, наверное, скоро освободят, дело сейчас у короля.

— У короля!

— У короля. Я был у твоей жены, разумеется, меня пустили без всяких затруднений, мы долго разговаривали:

— Ну, Ингер, ведь ты хорошо поживаешь, совсем хорошо?

— Да, пожаловаться не на что.

— А по дому скучаешь?

— Да уж не без того.

— Ты скоро попадешь домой,— сказал я. И вот что я скажу тебе, Исаак, она молодец баба, никаких слез, наоборот, она улыбалась, кстати, ей сделали операцию и зашили теперь рот, как следует. Прощай, сказал я ей, ты здесь недолго останешься, вот тебе мое слово!

— Я пошел к директору, еще бы недоставало, чтоб он меня не принял! У нас, говорю, есть тут одна женщина, которую надо выпустить и поскорее отправить домой, Ингер Селланро.— Ингер?— сказал он.— Да, она хорошая женщина, я,— говорит,— был бы рад оставить ее еще на двадцать лет.— Ну, из этого ничего не выйдет,— сказал я,— она и так пробыла у вас чересчур долго.— Чересчур долго?— спросил он.— Разве вы знаете ее дело?— Я знаю дело, как нельзя лучше,— отвечал я,— я был у них ленсманом.— Пожалуйста, садитесь,— сказал он тогда (еще бы!).— Да, мы стараемся сделать, что можно, для Ингер и для ее девочки,— сказал директор.— Так она, стало быть, из ваших мест? Мы помогли ей приобрести швейную машину, сделали помощницей заведующей мастерской и многому научили ее: домоводству, ткацкому ремеслу, красильному, шитью, кройке. Так вы говорите, что она пробыла здесь слишком долго?— У меня был готов на это ответ, но я решил подождать и сказал только:— Да, дело ее велось неправильно, оно должно быть пересмотрено; теперь, после пересмотра уголовного дела, ее, может быть, и совсем оправдали бы. Ей послали зайца, когда она была беременна.— Зайца?— спросил директор.— Зайца,— ответил я,— и ребенок родился с заячьей губой.— Директор улыбнулся и сказал:— Ага, вот что. И вы полагаете, что на этот момент было обращено недостаточно внимания?— Да,— сказал я,— об этом моменте совсем даже и не упоминалось.

— Но ведь это и не так уж важно?— Для нее это оказалось довольно важно.— Неужели вы думаете, что заяц может творить чудеса?— спросил он.— Я отвечал:— Может ли заяц творить чудеса или нет, об этом я не стану спорить с господином директором. Вопрос в том, какое влияние мог оказать вид зайца при данных обстоятельствах на женщину с заячьей губой — на жертву.

Он подумал с минуту, потом сказал:— Да, да, но наше дело здесь только принять приговоренных, мы не проверяем приговор. Согласно приговору, Ингер пробыла здесь не дольше, чем полагалось.

Тут я заговорил, о чем следовало:— В самом приговоре о заключении Ингер Селланро допущена ошибка.— Ошибка?— Во-первых, ее не следовало увозить в том состоянии, в каком она находилась.— Директор удивленно посмотрел на меня.— Ах, так,— сказал он.— Однако, ведь не нам же, в тюрьме разбирать это. Во-вторых,— сказал я,— она не должна была целых два месяца отбывать наказание в полной мере, пока тюремное начальство не обнаружило ее состояние.— Это попало в точку, директор молчал долго:— У вас есть доверенность на ведение дела этой женщины?— спросил он.— Да, сказал я.— Как я уже говорил, мы довольны Ингер и обращаемся с нею соответственно,— заговорил директор, и опять стал высчитывать, чему они ее научили,— мы, говорит, научили ее даже читать и писать. И дочку, ее тоже пристроили у кого-то и так далее. Я разъяснил, какова обстановка в семье Ингер; двое малышей, наемная работница для ухода за ними, и так далее.— У меня есть заявление от ее мужа,— сказал я,— оно будет приложено или к заявлению о пересмотре дела или к ходатайству о помиловании.— Покажите мне это заявление,— сказал директор.— Я принесу его завтра в присутственные часы,— ответил я.

Исаак сидел и слушал, это было поразительно, какое-то приключение в чужом краю. Он не отрывал глаз от губ Гейслера.

Гейслер продолжал рассказывать:— Я пошел к себе в гостиницу и написал заявление, писал как будто от тебя и подписался Исаак Селланро. Но ты не думай, что я написал хоть слово насчет того, что они неправильно поступили в тюрьме. Даже и не намекнул. На следующий день я отнес документ.— Пожалуйста, садитесь!— сейчас же сказал директор.— Прочитал мое заявление, изредка кивая головой, и, в конце концов, сказал:— Прекрасно. Но оно не годится для пересмотра дела.— Годится вместе с дополнительным заявлением, которое у меня тоже имеется,— сказал я и опять попал в точку. Директор поспешно ответил:

— Я обдумывал это дело со вчерашнего дня и нахожу достаточные основания для возбуждения ходатайства за Ингер.

— Которое вы, господин директор, при случае, поддержите?— спросил я.

— Я дам отзыв, хороший отзыв.

Тогда я поклонился и говорю:

— В таком случае, помилование обеспечено. Благодарю вас от имени несчастного мужа и покинутой семьи.

— Я думаю, нам незачем запрашивать дополнительные сведения с места ее родины,— спросил директор,— вы ведь все знаете?

Я отлично понимал, почему все должно было происходить, так сказать, втихомолку, и ответил:

— Сведения с места только затянут дело.

— Вот тебе и вся история, Исаак.— Гейслер посмотрел на часы.— А теперь к делу! Можешь ты проводить меня на медную скалу?

Исаак был камень и чурбан, он не мог так мгновенно менять тему, и весь полный мыслей и изумления принялся расспрашивать. Он услышал, что ходатайство направлено к королю и будет рассматриваться в одном из ближайших заседаний государственного совета.

— Чудеса!— проговорил он.

Пошли на скалу, Гейслер, его провожатый и Исаак, и пробыли там несколько часов; за это короткое время Гейслер прошел по месторождению медной жилы, прихватил еще порядочный кусок камня и наметил вехами границы участка, который намеревался купить. Он был торопыга. Но отнюдь не дурак, быстрые суждения его были удивительно уверенны.

Вернувшись на хутор — опять с мешком образцов камней — он достал письменные принадлежности и сел писать. Но он занимался не только писаньем, а по временам и болтал:

— Да, Исаак, очень уж больших денег за скалу ты сейчас еще не получишь, но сотню-другую далеров я тебе дам!— Он опять принялся писать.— Напомни мне посмотреть твою мельницу перед уходом,— сказал он. Потом заметил синие и красные линии на ткацком станке и спросил:— Кто это нарисовал?— А это Елисей нарисовал лошадь и козла; за неимением бумаги он малевал своим карандашом на станке и на других деревянных вещах. Гейслер сказал:— Это совсем недурно сделано!— и дал Елисею мелкую монетку.

Гейслер пописал еще немножко.

— Должно быть здесь скоро появятся и еще новые хуторяне?

На это провожатый его сказал:

— Да, уж начали появляться.

— Кто же?

— Да вот хоть бы первый, в Брейдаблике, как его называют, Бреде из Брейдаблика.

— Ну, уж этот!— презрительно фыркнул Гейслер.

— Да, да, а потом купили участки еще двое.

— Да годятся ли они на что-нибудь!— сказал Гейслер. И заметив в эту минуту, что в комнате двое ребятешек, притянул к себе маленького Сиверта и дал ему монетку. Удивительный человек этот Гейслер! Только вот, глаза у него стали побаливать, края век подернуты как будто красным инеем. Это могло быть от бессонных ночей, а еще бывает и от крепких напитков. Но не похоже, чтоб он находился в упадке; о чем попало, он вероятно все время думал о лежавшем перед ним документе, потому что вдруг схватил перо и опять написал несколько строчек.

Но вот он как будто кончил. Он обернулся к Исааку:

— Да, как я уже говорил, богачом ты от этой продажи не сделаешься. Но впоследствии может оказаться и побольше. Мы так и напишем, что впоследствии ты получишь еще. А две сотни можешь получить сейчас.

Исаак не особенно понимал, в чем дело, но двести далеров, это во всяком случае, опять-таки чудо и огромная сумма. Он соглашался получить ее только на бумаге и не собирался, разумеется, получать наличными, но пусть уж будет так, у Исаака было другое на уме, он спросил:

— А вы думаете, ее помилуют?

— Твою жену? Если б в здешнем селе был телеграф,— ответил Гейслер,— я запросил бы в Тронгеме, может, ее уже выпустили.

Исаак слышал кое-что о телеграфе, чудная штука, проволока на высоких столбах, что-то такое сверхъестественное — у него шевельнулось недоверие к словам Гейслера.

— Ну, а если король откажет?

— В таком случае я пошлю дополнительное заявление, в котором будет сказано все. И тогда твою жену непременно освободят. Можешь не сомневаться.

Затем он прочитал записанное, запродажную на участок скалы: двести далеров немедленно и в дальнейшем порядочный процент при разработке или возможном сбыте медной руды.

— Подпиши вот здесь!— сказал Гейслер.

Исаак подписал бы моментально, но писака он был плохой, всю свою жизнь резал буквы только на дереве. Ох, но тут стояла противная Олина и смотрела во все глаза, он взял перо, чертовски легонькую штучку, номусолил надлежащий конец и подписал — написал свое имя. Затем Гейслер приписал еще что-то, должно быть разъяснение к его подписи, а провожатый Гейслера расписался в качестве свидетеля.

Готово.

Но Олина все еще стояла неподвижно. Она словно окаменела на месте. Что такое происходит?

— Подавай на стол, Олина!— сказал Исаак, пожалуй, немножко громче обычного, оттого что пописал на бумаге.— Уж чем богаты, тем и рады, сказал он Гейслеру.

— Здесь вкусно пахнет мясом и похлебкой,— сказал Гейслер.— Ну, смотри, Исаак, вот деньги!— Гейслер достал бумажник, большой и толстый, вынул из него две пачки кредиток, пересчитал и положил на стол:— Пересчитай сам!

Молчание. Тишина.

— Исаак!— окликнул Гейслер.

— Да. Ну, так, так,— ответил Исаак и пробормотал в крайнем смущении.

— У меня и в расчете такого не было после всего, что вы для нас сделали...

— Здесь должно быть десять десяток, а здесь двадцать пятерок,— отрезал Гейслер.— Надеюсь, со временем тебе придется получить больше.

Наконец, Олина пришла в себя. Чудо свершилось. Она подала на стол.

На следующее утро Гейслер сходил на реку и осмотрел мельницу. Все было маленькое и сделано очень грубо, словно мельница для жителей преисподней, но крепкое и пригодное для людей. Исаак повел своего гостя немного дальше вверх по реке и показал другой порог, на котором он уже немножко поработал, здесь он собирался устроить маленькую лесопилку, если Господь даст здоровья.

— Только дело в том, что очень далеко отсюда до школы,— сказал он,— придется поместить ребятишек в селе.

Легкомысленный Гейслер не усмотрел в этом никакого неудобства:

— Как раз сейчас здесь становится все больше и больше новоселов, так что наверно будет образован школьный округ.

— Ну, это-то будет уж, когда мои ребята вырастут.

— А если даже придется поместить их у кого-нибудь в селе? Свезешь туда мальчуганов и провизии, и будешь брать их домой через три, через шесть недель, разве для тебя это что-нибудь значит!

— Нет,— ответил Исаак.

Ну, да; ничего не значило, если вернется домой Ингер. Дом и земля, пища и всякое богатство — все у него было, есть и большие деньги, и железное здоровье. Ох, а что до здоровья — закаленное и неподорванное во всех смыслах — настоящее мужицкое здоровье.

По отъезде Гейслера Исаак начал обдумывать разные гордые затеи. Да, потому что этот Гейслер, дай ему Господь здоровья, на прощанье сказал такие утешительные слова, что пришлет Исааку весточку с первой же оказией, когда доберется до телеграфа.

— Ты справишься в почтовой конторе недельки через две,— сказал он.

Уже это одно было необыкновенно, и Исаак приступил к устройству сиденья в телеге. Да, да, сиденье, которое будет сниматься во время возки навоза и надеваться для езды. Когда он его сделал, оно оказалось таким белым и новеньким, что следовало бы покрасить его в более темный цвет. А впрочем, чего только не надо было бы сделать! Следовало бы покрасить все постройки. Разве он не думал целыми годами о большом сарае с помостом для сена? И разве не мечтал поскорее закончить лесопилку, обнести оградой весь свой участок, построить лодку на озере? О чем только он ни думал! Но сколько бы сил он ни затрачивал, времени никак не хватало. Не успеет оглянуться, наступало воскресенье, а там, глядишь, немножко погода — опять воскресенье.

Но покрасить он решил непременно, строения стояли такие серые и голые, словно раздетые. Время свободное было, весна не установилась, и мелкий скот гулял на воле, но мерзлота еще нигде не оттаяла.

Он берет с собой несколько дюжин яиц на продажу, идет в село и возвращается с краской. Ее хватило на одну постройку, на овин, он вышел красный. Он приносит еще краски — желтой охры для избы.

— Да уж, видно, так и есть, как я говорила, страсть, как важно здесь будет!— ежедневно бормочет Олина. О, Олина отлично понимала, что житью в Селланро скоро конец, она была достаточно упряма и стойка, чтоб перенести это, но горечь в ней накоплялась. Исаак, со своей стороны, перестал теперь с ней считаться, хотя она здорово тащила и крала на последках. Исаак даже подарил ей годовалого барана, потому что, в сущности, она долго прожила у него за маленькую плату. Впрочем, Олина и для детей была не плоха — она не была строга и справедлива, но умела ладить с детьми, слушала, что они говорили, и позволяла им почти все. Если они приходили к ней, когда она варила сыр, она давала им попробовать, если в воскресенье приставила, чтоб не умываться — она позволяла.

Загрунтовав постройки, Исаак опять отправился в село и набрал краски, сколько мог унести, а это оказалось

немало. Он трижды прокрасил все стены и побелил окна и углы. Когда теперь, возвращаясь из села, он видел на откосе свою усадьбу, ему казалось, что пред ним какой-то волшебный замок. Пустыня сделалась неузнаваемой и обитаемой, благодать покоилась на ней, жизнь восстала из долгого сна, здесь жили люди, вокруг домов играли дети. Вплоть до синих гор стоит большой и ласковый лес.

В последний же раз, когда Исаак пришел за красками, торговец передал ему синее письмо с гербом, и взял за него пять скиллингов. Это была телеграмма, пересланная дальше по почте, и была она от ленсмана Гейслера. Благословен будет этот Гейслер, и удивительный же он человек! Он телеграфировал несколько слов: Ингер свободна, скоро приедет. Гейслер.— Тут лавка завертелась в глазах Исаака, а прилавок и люди уплыли куда-то далеко. Он больше почувствовал, чем услышал, как сам сказал:

— Благодарение и слава тебе, Господи!

— Ты можешь забрать ее пожалуй завтра же,— сказал торговец,— если она успела вовремя выехать из Тронгейма.

— Так,— сказал Исаак.

Он подождал до завтра. Ялик, привозивший почту с пароходной пристани, вернулся, но Ингер на нем не было.

— Ну, так раньше будущей недели не приедет,— сказал торговец.

Отчасти было хорошо, что у Исаака оказалось так много времени впереди, столько еще надо было сделать. Не мог же он все позабыть и забросить свою землю? Он идет домой и принимается вывозить навоз. С этим быстро покончено. Он пробивает ломом землю в полях и день за днем следит за оттаиванием почвы. Солнце большое и яркое, снег сошел, всюду зеленеет, выпущен и крупный скот. И вот в один прекрасный день Исаак пашет, несколько дней спустя сеет ячмень и сажает картошку. Ха, ребяташки сажают картошку, словно ангелы, у них маленькие благодатные ручонки, и они положительно обгоняют отца.

Потом Исаак моет на реке телегу и прилаживает к ней сиденье. Он говорит мальчуганам, что собирается в село.

— А ты разве не пойдешь пешком?

— Нет. Я решил нынче съездить на лошади и в телеге.

— А нам нельзя с тобой?

— Вы будьте умники и оставайтесь покамест дома. Нынче приедет ваша мама и научит вас разным штукам.

Елисею хочется учиться, и он спрашивает:

— Когда ты писал на бумаге, на что это похоже?

— Да ни на что,— отвечает отец,— рука, словно привязанная.

— А оно не хочет раскатиться, как по льду?

— Кто?

— Да перо, которым ты пишешь?

— О-о, ну да! Только надо научиться управлять им.

Маленький Сиверт был другого склада и не интересовался перьями, он хотел посидеть в телеге, только посидеть на сиденьи, помахать кнутом на воображаемую лошадь и ехать во всю прыть. Благодаря ему отец взял обоих мальчиков в телегу, и они проехали с ним порядочный кусок по дороге.

ГЛАВА XI

Исаак едет, пока не доезжает до ржавчика, тут он останавливается. Ржавчик,— дно у него черное, маленькая лужица воды неподвижна. Исаак знает, на что она годится, наверное, в жизни своей он не пользовался никаким другим зеркалом, кроме такого ржавчика. Что ж, сегодня он нарядно одет, в красной рубахе, и вот он достает ножницы и подстригает себе бороду. Этаким фат, этот мельничный жернов, неужели он и впрямь решил прифрантиться и расстаться с своей пятилетней железной бородой? Он стрижет, стрижет и поглядывает в зеркало. Разумеется, он мог бы проделать эту работу сегодня и дома, но он стеснялся Олины, довольно уж и того, что под носом у нее надел красную рубаху. Он стрижет и стрижет, кусочки бороды падают на зеркало. Лошадь не стоит, ему приходится прервать свой туалет и считать его законченным. И что ж! Он чувствует себя положительно моложе. Черт его знает, отчего это, но положительно он стал как будто стройнее. Потом едет в село.

На следующий день приходит почтовый пароход. Исаак встречает его на утесе, возле пристани торговца, но Ингер не видно. Господи, пассажиров много, и взрослых и детей, но Ингер нету. Он отошел назад и присел на утес, теперь сидеть здесь уж незачем, он пошел к пароходу. С борта на берег продолжали выгружать ящики, бочонки, сходили люди, бросали почту, но Исаак не видел своих. Зато он увидел женщину с маленькой девочкой, стоявшую у двери в трюм, но женщина эта была красивее, чем Ингер, хотя Ингер и не была безобразна. Что такое — да ведь это же и есть Ингер!— Хм!— кашлянул Исаак и устремился

наверх. Они поздоровались. «Здравствуй» сказала она и протянула ему руку, немного озябшая, побледневшая от морской болезни и путешествия, а Исаак только стоял молча и под конец выговорил:

— Да, да, погода хорошая!

— Я тебя видела вон там, но не хотела выставляться вперед,— сказала Ингер.— Ты приехал сегодня в село?— спросила она.

— Да. Гм!

— Вы все дома здоровы?

— Да, спасибо.

— Вот это Леопольдина, она гораздо лучше меня перенесла дорогу. А это твой папа, поздоровайся с папой, Леопольдина.

— Гм!— поспешно сказал Исаак, он чувствовал себя так чудно, он был точно чужой среди них.

— Видишь на лодке швейную машину, это моя. И потом у меня еще есть сундук.

Исаак пошел, пошел более чем охотно, матросы нашли ему сундук, но машину Ингер пришлось разыскивать самой. Это был красивый ящик незнакомой формы, с круглым верхом и ручкой — швейная машина в этих-то местах! Исаак навьючил на себя сундук и машину и посмотрел на свою семью.

— Я скоренько сбегаю наверх со всем этим, а потом приду за ней,— сказал он.

— За кем?— улыбаясь спросила Ингер.— Ты думаешь, такая большая девочка не умеет ходить сама?

Они пошли на гору, к лошади и телеге.

— У тебя новая лошадь?— сказала Ингер,— и телега с сиденьем?

— Понятно. Да, что я хотел сказать: не хочешь ли закусить немножко? Я захватил с собой.

— Уж когда выедем в поле,— ответила она.— Как думаешь, Леопольдина, ты можешь ехать одна?

Но отец не допустил:

— Нет, она может упасть под колеса. Сядь ты вместе с ней и правь сама.

Они поехали, а Исаак пошел сзади.

Он шел и смотрел на сидевших в телеге. Вот Ингер и приехала, чужая с виду и по платью, нарядная, без заячьей губы, только с красным рубчиком на верхней губе. Она перестала шепелявить, это было самое замечательное, говорила совсем чисто. Бахромчатый серый с красным

шерстяной платок удивительно шел к ее темным волосам. Она обернулась в телеге и сказала:

— Хорошо если б у тебя было с собой одеяло, вечером ребенку будет, пожалуй, холодно.

— Пусть она наденет мою куртку,— сказал Исаак,— а когда въедем в лес, так там у меня положено одеяло.

— У тебя припасено в лесу одеяло?

— Да. Я не взял его сразу с собой, на случай, если вы сегодня не приедете.

— А! Что ты мне сказал? Мальчики, значит тоже здоровы?

— Да, спасибо.

— Я думаю, они очень выросли?

— Да, не без того. Нынче сами сажали картошку.

— О-о,— сказала мать, улыбаясь, и покачала головой,— неужто они уж умеют сажать картошку?

— Елисей мне до этих пор, а Сиверт вот по этим,— сказал Исаак, показывая на себе.

Маленькая Леопольдина попросила есть. И что за красивенькая малютка, чисто божья коровка в телеге! Она говорила нараспев, на непонятном Тронгеймском наречии, кое-что отцу приходилось даже переводить. Лицом она вышла в мальчиков, карие глаза и овальные щечки, которые все трое унаследовали от матери; дети вышли в мать, и слава богу! Исаак немножко стеснялся своей маленькой дочки, стеснялся ее маленьких башмачков, длинных, тоненьких ножек в шерстяных чулках, короткого платьица; здороваясь с незнакомым папой, она присела и подала ему крошечную ручку.

Въехали в лес и сделали привал, все стали есть, лошади задали корму. Леопольдина бегала по вереску с куском в руке.

— Ты не очень изменился,— сказала Ингер, глядя на мужа.

Исаак отвернулся и ответил:

— Ну, тебе так кажется. А вот ты стала страх какая шикарная!

— Ха-ха-ха, ну нет, я уж теперь старуха,— сказала она шутливо.

Нечего скрывать, Исаак чувствовал себя неуверенным, точно стыдился чего-то. Сколько лет его жене? Наверное не меньше тридцати — то есть не может быть больше, никак не больше. Хотя у Исаака была настоящая еда, он сорвал ветку вереска и стал жевать эту ветку.

— Что это — ты ешь вереск! — смеясь воскликнула Ингер.

Исаак отбросил ветку, сунул в рот кусок хлеба, отошел к лошади и поднял ей передние ноги с земли. Ингер с изумлением следила за этой сценой и увидела, что лошадь встала на дыбы.

— Зачем ты это делаешь? — спросила она.

— Она такая смиренная, — сказал он про лошадь и отпустил ей ноги. Для чего он это сделал? Должно быть, ему непреодолимо захотелось. А может он хотел этим скрыть свое смущение.

Потом двинулись дальше, и все трое некоторое время шли пешком. Подошли к хутору.

— Что это такое? — спросила Ингер.

— Это участок Бреде, который он купил.

— Бреде?

— Называется Брейдаблик. Здесь большое болото, но насчет леса плохо. — Они еще поговорили об этом, пройдя Брейдаблик. Исаак заметил, что телега Бреде все еще стоит под открытым небом.

Но вот девочка захотела спать, и отец бережно поднял ее на руки и понес. Они все шли, Леопольдина скоро заснула, тогда Ингер сказала:

— Давай завернем ее в одеяло и положим в телегу, пусть спит там, сколько хочет.

— Ее там растрясет, — возражает отец и несет девочку дальше. Они минуют болота и опять въезжают в лес, Ингер говорит! — Тпру! — Она останавливает лошадь, берет ребенка от Исаака и просит его переместить сундук и швейную машину, чтобы Леопольдину можно было положить на дно телеги: — Ничего ее не растрясет, что за глупости!

Исаак устраивает все, закутывает дочку одеялом и подкладывает ей под голову свою куртку. Потом едут дальше.

Муж и жена идут и говорят о том, о сем. Солнце долго не садится, погода теплая.

— Олина — где она спит? — спрашивает Ингер.

— В клетки.

— А! А мальчики?

— Они на своих постелях в горнице. Там, в горнице, две кровати, как было, когда ты уезжала.

— Я все смотрю на тебя, ты точь в точь такой же, какой и был, — говорит Ингер. — Сколько тяжестей, небось, перетаскали эти твои плечи, а, видно, не ослабели.

— Не-ет. А что это я хотел сказать: так тебе сносно жилось все эти годы?— О, Исаак был так взволнован, он задал этот вопрос и весь трепетал.

Ингер ответила, что да, она не может пожаловаться. Между ними начался чувствительный разговор, Исаак спросил, не устала ли она, и не хочет ли лучше ехать.

— Нет, спасибо,— сказала она.— Только я не понимаю, что это со мной сделалось; после этой морской болезни я все время точно голодна.

— Тебе хочется поесть?

— Да. Если только это не очень нас задержит.

О, эта Ингер, она, наверно, не сама была голодна, а хотела покормить Исаака, ведь он испортил себе закуску веткой вереска.

И так как вечер был светлый и теплый, а ехать еще с добрую милю, они принялись опять закусывать.

Ингер вынула из сундука пакет и сказала:

— Вот я тут привезла кое-чего мальчишкам. Пойдем за кусты, там солнце!

Они вышли за кусты и она показала подарки: красивые подтяжки с пряжками для мальчиков, тетрадки с прописями, обоим по карандашу, обоим по перочинному ножичку. Себе она везла замечательную книгу:

— Ты только посмотри, здесь написано мое имя, молитвенник! Это подарок директора на память.

— Исаак вполголоса восхищался каждой вещью. Она показала несколько маленьких воротничков, принадлежавших Леопольдине, и дала Исааку черный шарф, блестящий, как шелк.

— Это мне?— спросил он.

— Да, тебе.

Исаак осторожно взял в руки и погладил.

— Красивый, правда?

— О, красивый! В таком можно объездить весь свет!— А пальцы у него стали такие чудные, так и прилипали к этому чудесному шелку.

Вот уж Ингер и нечего показывать, но, укладывая пакет, она сидела, вытянув вперед ноги, так что видны были ее чулки с красными каемками.

— Гм. Это, должно быть, городские чулки?— спросил Исаак.

— Да. Это городская пряжа, только я сама их связала — на спицах. Это очень длинные чулки, выше колена, вот посмотри...

Немного погодя, она услышала свой собственный шепот:

— А ты... ты весь такой же... каким был!

Через некоторое время они опять едут, Ингер сидит в телеге и держит вожжи.

— Я привезла с собой пакетик кофею,— говорит она,— только нынче вечером тебе не придется попробовать, он не жареный.

— Ничего!— отвечает он.

Через час солнце село и стало свежо, Ингер хочет слезть и идти пешком. Вдвоем они плотнее укутывают Леопольдину одеялом и улыбаются тому, что она так долго спит. Муж и жена опять тихонько переговариваются на ходу. Как приятно слушать речь Ингер, никто не говорит чище, чем она сейчас!

— У нас теперь не четыре коровы?— спрашивает она.

— Ох, нет, больше,— гордо отвечает он,— у нас восемь.

— Восемь коров!

— Да, вместе с быком.

— А вы продавали масло?

— Как же. И яйца.

— У нас и куры есть?

— Само собой. И свинья.

Ингер по временам до того удивляется, что не может опомниться и на минутку останавливает лошадь:

— Тпру!

А Исаак гордится и старается еще больше ее огоршить:

— А Гейслер-то,— говорит он,— знаешь Гейслера? Он был у нас недавно.

— И что ж?

— Он купил у меня медную гору.

— Ну? Что за медная гора?

— Из меди. Она вон там, наверху, на северной стороне озера.

— А-а. Так ты же, наверное, немного за нее получил?

— Как бы не так! Не такой он человек, чтобы не заплатил как следует.

— Сколько же ты получил?

— Гм. Ты не поверишь,— целых двести далеров.

— И ты их получил?— восклицает Ингер и опять останавливается на минутку:— Тпру!

— Получил. И за участок выплатил давным-давно,— сказал Исаак.

— Нет, ты прямо какой-то необыкновенный!

Поистине, приятно было удивлять Ингер и превращать ее в богачку; поэтому Исаак прибавил, что у них нет никаких долгов, ни торговцу и никому другому. И у него

припрятаны не только Гейслеровы двести далеров, но и еще сверх того, еще целых сто шестьдесят далеров. Так что он уж и не знает, как им благодарить бога.

Они заговорили о Гейслере, Ингер рассказала, как он потрудился для ее освобождения. Это прошло не так-то для него гладко, он долго приставал к директору и был у него много раз, Гейслер писал даже самим государственным советникам или каким-то другим начальникам, но это он делал за спиной у директора, и когда директор узнал, то очень рассердился, как и можно было ожидать. Но Гейслер его не испугался и потребовал нового допроса, нового суда и все такое. И тут уж королю пришлось подписать.

Бывший ленсман Гейслер всегда хорошо относился к этим двум людям, и они часто думали, за что бы это; он делал все за простую благодарность, это было прямо непонятно. Ингер говорила с ним в Трондъеме, и все-таки не поняла его.— Он никого другого в селе не хочет знать, кроме нас,— объяснила она.

— Он так сказал?

— Да. Он зол на здешнее село. Я, говорит, им покажу — селу-то!

— Так.

— И они, говорит, пожалеют, что остались без меня.

Они выехали на опушку и увидели впереди свой дом. Построек стало больше, чем прежде, они были красиво выкрашены, Ингер не узнавала места и резко осадилла лошадь:

— Да ведь это же не... не у нас!— воскликнула она.

Маленькая Леопольдина, наконец, проснулась и тоже встала, она совсем выпалась, ее спустили на землю и она лошла.

— Мы туда едем?— спросила она.

— Да. Хорошо тут?

У домов двигались маленькие фигурки, это были Елисей и Сиверт, поджидавшие приезжих; они побежали навстречу, Ингер так озябла, такой на нее напал кашель и насморк, что отозвался даже на глазах, они наполнились влагой.— На пароходе так простужаешься, видал ты, до чего можно застудить глаза!

Но, подбежав ближе, мальчики вдруг остановились и вытаращили глаза. Мать свою они позабыли, а маленькую сестрицу никогда не видали. Но папа — его они узнали только, когда он подошел совсем близко. Он остриг свою длинную бороду.

Теперь опять все хорошо. Исаак сеет овес, боронит, заглаживает его катком. Маленькая Леопольдина прибегаёт и просится покататься на катке. Вот выдумала — покататься на катке! Она такая маленькая и ничего не понимает, братья ее лучше знают, на папином катке ведь нет сиденья.

Но папе приятно, что пришла маленькая Леопольдина и что она такая доверчивая, он говорит с ней и просит ее аккуратно ступать по полю, чтоб не набрать земли в башмачки.

— Да что это, на тебе, кажется, сегодня голубенькое платьице? Покажи-ка, ну да, конечно, голубенькое! И поясок и все такое. Ты помнишь большой пароход, на котором приехала? А машины видела? Ну, а теперь иди домой с мальчиками. Займитесь чем-нибудь.

После отъезда Олины Ингер впряглась в свою работу по дому и на скотном дворе. Она, пожалуй, несколько преувеличивает свою чистоплотность и из стремления показать, что она желает придать другой оборот делу, и, действительно, прямо необыкновенно, какая во всем произошла перемена, даже стекла в землянке у скотины начисто вымыты и стойла подметены.

Но это было только в первые дни, в первую неделю, потом она понемножку стала отставать. В сущности, весь этот парад на скотном дворе был совсем не нужен, можно было лучше использовать время, Ингер так многому научилась в городе, и следовало бы извлечь выгоду из этой науки. Она снова взялась за прялку и ткацкий станок и, правда, стала еще мастеровитее и проворнее, чересчур уж даже проворна, ох, ты! Особенно, когда на нее смотрел Исаак; он не понимал, как это человек может так шибко двигать пальцами, длинными, красивыми пальцами на большой руке. Но в разгаре одной работы Ингер вдруг бросала ее и переходила к другой. Правда, у нее теперь стало больше дела, чем прежде, и большой кругозор, может быть, она стала теперь и не так уж терпелива. В ней, как будто, поселилось какое-то беспокойство и подгоняло ее.

Вот взять хоть бы цветы, которые она привезла с собой. Луковицы и отводки, маленькие растеньица, о них тоже надо было позаботиться. Окошка стало мало, подоконник слишком узок для цветочных горшков. Исааку пришлось сделать ей маленькие ящики для бегоний, фуксий и роз.

А кроме того, одного окошка и вообще было мало; что значит одно окно для целой горницы!

— И еще вот что,— сказала Ингер,— у меня нет утюга. Мне нужен утюг, чтоб приглаживать швы, когда я шью белье и платье, а то нельзя сделать настоящего шва; хоть какой-нибудь утюг да нужен.

Исаак обещал заказать кузнецу в селе выковать замечательный утюг. О, Исаак готов был сделать все, готов был исполнить все требования Ингер, потому что, это-то он понимал, она многому научилась и стала совсем особенная. И речь у нее стала другая, лучше, благороднее. Она уж никогда не кричала ему по старому:— Иди поешь!— теперь она говорила:— Пожалуйста, походи покушай! Все стало по-другому. В старину он отвечал самое большое: «ладно» и работал еще с добрый час прежде, чем пойти. Теперь он отвечал: «Спасибо!» и шел сейчас же. От любви умный глупеет, иногда Исаак отвечал: «Спасибо, спасибо!» Но, конечно, все стало по-другому, и не слишком ли уж по-благородному они начинали жить? Когда Исаак говорил «навоз» или выражался на обычном наречии землепашца, Ингер, «ради детей», поправляла «Удобрение».

Она заботилась о детях, учила их всему и двигала вперед; крошка Леопольдина преуспевала в вязании крючком, а мальчуганы в письме и школьных науках, таким образом, они не попадут в сельскую школу неподготовленными. Особенно ученым стал Елисей, маленький же Сиверт был, по-просту сказать, недалек, лентяй, шалунишка, он даже осмелился развинтить что-то на маминой швейной машинке и настругал стружек со стульев и со стола, подаренным ему перочинным ножиком. Ему пригрозили, что отнимут перочинный ножик.

А кроме того, в распоряжении детей были все животные на хуторе, а у Елисея вдобавок еще и цветной карандаш. Он пользовался им очень осторожно и неохотно давал брату, но с течением времени все стены покрылись рисунками, и карандаш укорачивался с угрожающей быстротой. В конце концов, Елисей оказался вынужденным посадить Сиверта на паек и давать ему карандаш только на один рисунок по воскресеньям. Это не совпало с желаниями Сиверта, но Елисей был не такой человек, чтоб с ним можно было торговаться. Не то, чтобы Елисей был сильнее, но руки у него были длиннее, и в драке он был увертливее. А Сиверт-то! То он находил в лесу выводок куропаток, один раз рассказал про какой-то необыкновенный комок из живых мышей и страшно

важничал, а в другой раз — про форель в реке ростом с человека, но это были чистые выдумки, он не прочь был выдать черное за белое, это — Сиверт-то. Но, впрочем, в остальном был славный малый. Когда у киски появились котятки, это он приносил ей молоко, потому что она уж очень фыркала на Елисея, и Сиверту не надоедало стоять и смотреть в ящик, в этот домик, кишивший крошечными лапками.

А куры, которых он наблюдал ежедневно, петух с конской гривой и ярким опереньем, курицы, которые разглевывали по двору, переговариваясь между собой и поклевывая песок, или вдруг принимались страшно оскорбленно кричать, когда снесут яйцо.

А потом старый баран. Маленький Сиверт стал очень образован по сравнению с тем, что было раньше, но он не мог сказать про барана: «Господи, у него совсем римский нос!» Этого он не мог сказать. Зато Сиверт знал больше: он знал барана еще с тех пор, как тот был ягненком, понимал его, составляя с ним одно, был его родня, равное ему существо. Однажды какое-то мистическое первобытное впечатление мелькнуло в его сознании, он никогда не забывал этой минуты: баран щипал траву, вдруг он поднял голову и перестал жевать, а только стоял смиренно и смотрел. Сиверт невольно посмотрел в том же направлении — нет, ничего примечательного. Но тут Сиверт сам почувствовал в душе что-то необыкновенное, словно он смотрит в Эдемский сад!

Были коровы, которых на каждого из детей приходилось по две, большие, медлительные животные, такие добродушные и ласковые, что маленькие человечки в любую минуту могли их поймать и погладить. Была свинья, белая и очень представительная при хорошем уходе, прислушивающаяся ко всем звукам, чудачка, помешанная на еде, щекотливая и пугливая, как девчонка. И был козел — в Селланро всегда жил старый козел, когда один помирал, другой занимал его место. Поискать еще такого козлиного выражения, какое бывает у козла! Как раз нынче под его присмотром находилось очень много коз, но когда ему надоедала и прискучивала вся его компания, тогда он ложился, задумчивый и долбобородый, настоящий праотец Авраам. А потом вдруг вставал на колени и мекал на коз. За ним всегда тянулась струя острого запаха.

Повседневная жизнь на хуторе идет своим чередом. Когда редкий путник, пробирающийся через горы, проходит мимо и спрашивает:

— И хорошо вы тут поживаете?— Исаак отвечает и Ингер отвечает:

— Да, спасибо тебе на спросе!

Исаак все работает и работает, по всем своим делам он совещается с календарем, следит за фазами луны, сообразуется со сменами времен года и работает. Он проложил довольно порядочную дорогу через спуск к низине, так что может ездить в село на лошади и в телеге, но чаще ходит пешком, и тогда несет козий сыр или кожи, кору, бересту, масло, яйца, и продает все эти товары, а вместо них покупает другие. Летом он не часто ездит, между прочим и потому, что дорога от Брейдаблика и дальше необычайно плоха. Он просил Бреде Ольсена тоже подправить немножко дорогу, и Бреде обещал, но так и не сдержал слова. А больше просить Исаак не хочет. И предпочитает таскать тюки на собственной спине. Ингер тогда говорит:

— Я не понимаю, что ты за человек, как ты все это выносишь!

А он выносил все. Сапоги у него были такой феноменальной величины и тяжести, с подметками подбитыми железом, да еще ремни к ним он приколотил заклепками. Уже одно то, что человек мог ходить в таких сапогах, казалось чудом.

В один из своих походов в село он встречается несколько групп рабочих на болоте, они складывают кучки из камней и ставят телеграфные столбы. Частью — это жители здешнего села, Бреде Ольсен тоже с ними, хотя он выселился на хутор и должен бы заниматься земледелием.

— И как это он успевает!— думает Исаак.

Надсмотрщик спрашивает Исаака, не продаст ли он телеграфных столбов. Нет. Даже за хорошую цену? Нет. О, Исаак стал немножко сообразительнее, научился разговаривать. Если он продаст столбы, у него только прибавится немножко денег, несколько лишних далеров, а лесу-то у него не будет, так какая же ему от того выгода? Подходит сам инженер и повторяет предложение, но Исаак отказывается.

— У нас и у самих есть столбы,— говорит инженер,— но удобнее взять из твоего леса, чтоб не возить издалека.

— Мне и для себя-то не хватает бревен,— говорит Исаак,— я собираюсь строить лесопилку, да нет амбара, нет служб.

Тут вмешивается Бреде Ольсен и говорит:

— Будь ты такой же, как я, Исаак, ты продал бы столбы.

Долготерпеливый Исаак посмотрел в упор на Бреде.

— Еще бы!

— Как так?— спросил Бреде.

— Но я не таков, как ты,— сказал Исаак.

Кое-кто из рабочих фыркнули на этот ответ.

Ну да, у Исаака были особые причины немножко осадить соседа. Он как раз сегодня видел на Брейдабликском поле трех овец, и одну Исаак сейчас же признал, ту, лопухую, что утащила Олина.

— Пусть себе Бреде пользуется овцой,— подумал он, идя своей дорогой,— пусть Бреде с женой разбогатеют на одну овцу!

А лесопилку он тоже все время держал в мыслях, это-то правда, и даже по последнему зимнему пути привез домой большую круглую пилу и необходимые принадлежности, которые торговец выписал для него из Тронгейма. Теперь эти машинные части лежали в сарае, смазанные льняным маслом для предохранения от ржавчины. Часть бревен для запруды он тоже свез, и мог начать строить здание в любое время, но все откладывал. Он сам не понимал, почему: стал он уставать, сдавать что ли? Для других в этом не было бы ничего удивительного, ему же самому казалось невероятным. Голова, что ли, у него ослабела? Раньше он не пугался никакой работы, но должно быть он стал немножко другим с тех пор, как построил мельницу на таком же большом водопаде. Он мог бы взять помощника из села, но хотел опять попробовать сам, начать на-днях, Ингер подсобит ему.

Он сказал об этом Ингер:— Гм. Не выберешь ли ты, как-нибудь часок подсобить мне на лесопилке?

Ингер подумала:— Хорошо, если мне будет время. Так ты хочешь строить лесопилку?

— Да, так я думаю и полагаю. В голове то я ее уж обдумал.

— Это труднее, чем мельница?

— Много труднее. В десять раз труднее,— похвастал он.— Господи помилуй, да тут все должно быть прилажено, до самого малюсенького кусочечка, а круглая пила — та должна пройти по самой середине.

— Как-то ты с этим справишься!— рассеянно сказала Ингер.

Исаак обиделся на эти слова и сказал:

— Надо попробовать.

— А нельзя найти какого-нибудь сведущего человека, который помог бы тебе?— спросила она.

— Нет.

— Ну, так значит, не справишься!— сказала она и повернулась.

Исаак тихонько поднял руку и провел по волосам, словно медведь поднял лапу.

— Вот этого-то я и боюсь,— сказал он,— боюсь, что не справлюсь, затем и просил тебя помочь, потому что ты-то понимаешь,— сказал он.

Тут медведь попал, правда, в точку, но только это ни к чему не привело. Ингер вскинула голову, сердито хлопнула себя по бедрам и наотрез отказалась работать на лесопилке.

— Так,— сказал Исаак.

— Уж не прикажешь ли ты мне мокнуть в реке и терять здоровье. А кто же станет шить на машине, ходить за скотиной, заниматься хозяйством и все такое?

— Ну, да ладно, ладно,— согласился Исаак.

А и помощь-то ему требовалась всего на четыре угловых столба да на два средних по обеим продольным стенам,— вот и все! Неужто Ингер стала такая неженка от долгого житья в городе?

Дело же было в том, что Ингер очень изменилась и уже не столько думала о благе своих ближних, сколько о самой себе. Она пустила в ход чесальные доски, прялку и ткацкий станок, но гораздо больше любила шить на машине, когда же кузнец выковал ей утюг, она оказалась вполне вооруженной для выступления в качестве ученой портнихи. Это была ее профессия. Для начала она сшила два платяца Леопольдине. Исааку они очень понравились и он расхвалил их, пожалуй, даже чрезмерно. Ингер дала понять, что это еще ничего по сравнению с тем, на что она вообще способна.

— Только очень уж они коротки,— сказал Исаак.

— У нас в городе носят такие,— ответила Ингер,— ты в этом ничего не понимаешь.

Исаак, стало быть, вмешался, куда не следовало, и потому намекнул на счет какой-нибудь материи для нее самой, для самой Ингер.

— На пальто?— спросила Ингер.

— Да, или какой хочешь.

Ингер согласилась получить материяу на пальто и рассказала, какую ей хочется.

Но когда она сшила пальто, надо же было кому-нибудь показать его, и потому она отправилась с мальчишками в село, когда их повезли в школу. И путешествие оказалось не совсем бесполезным, оно оставило след.

Во-первых, когда они ехали мимо Брейдаблика, хозяйка Брейдаблика с детьми вышли посмотреть на проезжающих. Ингер и оба мальчика сидели в телеге и ехали, словно господа, мальчики прямо в школу. На Ингер было пальто. При виде этого в сердце хозяйки Брейдаблика впиалась змея: без пальто она еще могла обойтись, она, слава богу, была не глупа; но у нее самой были дети, взрослая девочка Варвара, следующий за нею Хельге и третья Катерина — все в школьном возрасте. Разумеется, двое старших учились в сельской школе, но когда семья переселилась на болота, в этот отдаленный Брейдаблик, дети опять превратились в язычников.

— А ты захватила с собой провизию для ребят?— спросила хозяйка.

— Провизии-то? Вот, видишь сундук? Это мой дорожный сундук, который я привезла с собой домой, он полон провизии.

— Что же ты взяла?

— Чего взяла? Да свинины и мяса на варево, масла, хлеба, сыра, да закуски.

— Ну и богато вы живете!— сказала хозяйка, а худенькие и бледные детишки ее слушали и глазами и ушами обо всех этих прелестях.

— У кого же ты их поместишь?— спросила хозяйка.

— У кузнеца.

— Так,— промолвила тоже хозяйка.— Мои тоже скоро отправятся в школу, ну, они-то будут жить у ленсмана.

— Вот как,— сказала Ингер.

— Да, а не то у доктора или у священника. Ведь мой Бреде на короткой ноге со всею знатью.

Тогда Ингер оправила пальто и покрасивее выпустила черную шелковую бахромку.

— Откуда у тебя это пальто?— спросила хозяйка.— Привезла из города?

— Сама сшила.

— Ну вот, я так и говорю, вы там в пустоши того и гляди лопнете от богатства и роскоши.

Когда поехали дальше, Ингер была полна радости и гордости, а въехав в село, может быть слишком уже явно выказала свои чувства, во всяком случае, супругу ленсмана Гейердаля весьма раздосадовало, что она явилась в пальто. Хозяйка Селланро забыла, кто она такая, забыла, откуда приехала после шестилетнего отсутствия. Но как бы то ни было, Ингер показала свое пальто, и ни жена торговца, ни кузнецова жена, ни учительница не имели ничего

против такого же пальто и для себя, но решили пока подождать.

Вскоре у Ингер появились и клиентки. Несколько женщин пришли из-за перевала любопытства ради. Должно быть, Олина нечаянно проговорила одной или другой. Приходившие приносили разные новости из родного села Ингер, а взамен получали угощение и могли полюбоваться швейной машиной. Молоденькие девушки приходили по две со стороны моря, из села, посоветоваться с Ингер. Стояла осень, они скопили денег на обновы. Ингер же могла рассказать им, какие теперь на свете моды, а иной раз и скроить материю. Ингер оживлялась при этих визитах, расцвела, она была приветлива, благожелательна, и вдобавок мастерица своего дела и умела кроить без выкроек; иногда она тут же шивала бесплатно длинные швы на машинке и передавала материю молодым девушкам с шутивными словами:

— Ну вот, а пуговицы можешь пришить сама!

Поздней осенью Ингер получила приглашение приехать в село пошить на начальство. Это невозможно, у нее семья и скотина, разные домашние дела, а прислуги нет. Чего у нее нет? Прислуги! Она сказала Исааку:

— Если б у меня была помощница, я шила бы гораздо больше.

Исаак не понял:

— Помощница?

— Ну да, помощница в доме, служанка.

Тут у Исаака должно быть, пошли круги перед глазами, потому что он усмехнулся в свою железную бороду и принял это за шутку.

— Да, нам следовало бы нанять служанку!— сказал он.

— В городе они есть у всех хозяек,— ответила Ингер.

— Так, так,— промолвил Исаак.

По правде сказать, он был не очень кроток или весел, а скорее не в духе, оттого что начал строить лесопилку, и дело не клеилось. Он не мог держать столб одной рукой, а другой действовать ватерпасом и одновременно укреплять поперечины. Но вот теперь, с возвращением мальчиков из школы, дело пошло на лад. Ребятишки действительно оказались очень полезны, особенно Сиверт был молодчина по части вбивания гвоздей. Елисей же ловчее действовал со шнуром. После недельной работы Исаак и мальчуганы установили-таки столбы и надежно укрепили их толстыми, как балки, поперечинами. Самая трудная работа была сделана.

Лесопилка ладилась, все ладилось. Но по вечерам Исаак начал чувствовать усталость. Ведь надо было не только ставить лесопилку, приходилось делать и все остальное. Сено свезли, ячмень же стоял на корню и наливался, скоро надо жать и убирать, а там, смотришь, поспела картошка. Но Исааку здорово помогали мальчики. Он их не благодарил, это не принято среди таких людей, как он и ему подобные, но он был очень доволен ими. Иногда в разгаре рабочего дня им случалось присесть и разговориться, отец тогда словно всерьез советовался с сыновьями, за что бы им приняться раньше, а что отложить. То были минуты, переполнявшие ребятишек гордостью, и они научились хорошенько думать перед тем, как сказать, чтоб не ошибиться.

— Неладно будет, если нам не удастся покрыть лесопилку до осенней мокроты,— говорил Исаак.

Эх, если б Ингер была такая, как в старину. Но у Ингер, должно быть, здоровье стало уж не прежнее, как и можно было ожидать, после долгого пребывания в заключении. Что характер ее изменился — это само по себе; она стала ужасно невнимательна, как будто пустовата, легкомысленна. Про убитого ею ребенка однажды сказала:

— Я была порядочная дура, ведь рот ей можно было бы зашить, напрасно я ее задушила!— И ни разу не сходила на могилку в лес, где когда-то уминала руками землю и поставила крест.

Но Ингер вовсе не была чудовищем, она продолжала относиться с большой любовью к другим своим детям, заботилась о них, обшивала, просиживала ночи за починкой их платья и белья. Она мечтала вывести их в люди.

Но вот убрали ячмень, выкопали картошку. Пришла зима. Да, а лесопилку так и не удалось покрыть в эту осень, но ничего не поделаешь, не помирать же из-за этого! Сделается летом.

ГЛАВА XIII

А зимой пошла обычная работа: возка дров, починка инструментов и сбруи, Ингер занималась хозяйством и шила. Мальчики опять уехали надолго в село, в школу. У них уже несколько зим была пара лыж на двоих; ее хватало, пока они жили дома: один стоял и ждал, пока другой отбегает свое, или же один становился позади другого. Да, они отлично справлялись и так, они не знали

лучшего, не были еще развращены. Но в селе условия жизни были роскошнее, школа прямо кишела лыжами, оказалось, что даже ребяташки из Брейдаблика имели каждый по собственной паре лыж. Так что Исааку пришлось сделать новую пару для Елисея, а старая досталась в пользование Сиверту.

Исаак сделал больше: он сделал мальчуганов и купил им крепкие сапоги. А после этого Исаак пошел к торговцу и заказал ему кольцо.

— Кольцо?— спросил торговец.

— Да, кольцо, носить на пальце. Я так зазнался, что хочу подарить своей жене, кольцо на палец.

— Какое же, серебряное или золотое, а то, может, медное, только позолоченное?

— Серебряное.

Торговец долго думал:

— Если уж на то пошло, Исаак, и если ты хочешь подарить своей жене такое кольцо, какое ей не стыдно будет носить,— подари уж золотое.

— Что?!— громко проговорил Исаак. Но в глубине души он, конечно, и сам думал о золотом кольце.

Они переговорили о кольце на все лады и столковались на кольце определенного размера. Исаак тяжело сопел, качал головой и находил, что это уж чересчур, но торговец сказал, что, кроме золотого, он другого выписывать не станет. На обратном пути домой Исаак, в сущности, радовался своему решению, но в то же время ужасался расходам, в какие может вводить любовь.

Зима стояла ровна, снежная, и когда к новому году установился хороший санный путь, люди из села начали возить на болота телеграфные столбы и складывать их на известном расстоянии друг от друга. Подвод ехало много, мимо Брейдаблика, мимо Селланро, потом появились другие подводы из-за перевала, и вскоре вся линия была проведена.

Так шла жизнь, день за днем, без крупных событий. Что могло случиться? Весной началась работа по установке телеграфных столбов. Бреде Ольсен действовал и тут, хотя у него были весенние работы и на собственном участке.

— И как это он успевает?— думал Исаак.

Самому Исааку хватало времени на то, чтоб поест да поспать, он едва-едва справился со всеми весенними делами, правда, что земли у него теперь было разделано довольно много.

Но зато, в промежутке до покоса, он покрыл-таки лесопилку и мог приняться за установку механизма.

Конечно, лесопилка вышла не какое-нибудь чудо тонкого искусства, но прочности она была сверхъестественной и дело свое делала, лесопилка действовала, лесопилка пилила. Бывая на лесопилке в селе Исаак хорошенько все высмотрел и все перенял. И смастерил он крошечную лесопилочку, но был доволен ею, вырубил на двери год и поставил свое тавро.

Летом в Селланро случилось все-таки нечто не совсем обыкновенное. Телеграфные рабочие забрались так далеко в пустошь, что однажды вечером передняя партия подошла к хутору и попросилась переночевать. Их положили в овине. По мере того, как шли дни, подходили другие партии, все ночевали в Селланро, работа проходила дальше, за хутор, люди же продолжали возвращаться ночевать в овин. В одну субботу вечером приехал для расчета инженер.

Когда Елисей увидел инженера, у него забилося сердце, и он шмыгнул за дверь, чтоб его не спросили про карандаш. Вот так тяжелая минута, а тут еще Сиверта нет, и не у кого искать поддержки! Елисей, словно злой дух, крался вдоль стен строения, наконец, наткнулся на мать и послал ее за Сивертом. Больше нечего было делать.

Сиверт отнесся к делу гораздо спокойнее, правда, что главная вина лежала не на нем. Братья сели в сторонке и Елисей сказал:

— Если б ты взял это на себя!

— Я?— сказал Сиверт.

— Ты гораздо младше, он тебе ничего не сделает.

Сиверт подумал, понял, что брату приходится плохо, ему польстило, что Елисей в нем нуждается.

— Я мог бы, пожалуй, пособить тебе,— сказал он покровительственно.

— Сделай милость!— воскликнул Елисей и тут же отдал брату огрызок, оставшийся от карандаша.— Возьми его в полную собственность!— сказал он.

Они пошли было вместе домой, но Елисей сказал, что у него есть еще дело на лесопилке или, вернее, на мельнице, надо кое-что посмотреть, а на это потребуется время, вряд ли он управится раньше часа. Сиверт пошел один.

В горнице сидел инженер и рассчитывался бумажками и серебряными монетами, а покончив с расчетом, стал пить молоко из кринки и из стакана, которым угостила его Ингер, и он очень благодарил ее. Потом он поговорил с маленькой Леопольдиной, а увидев на стенах рисунки, сейчас же спросил, кто это их нарисовал.

— Не ты ли?— спросил он Сиверта. Инженер, наверно, хотел выразить свою благодарность за гостеприимство, и порадовать мать, расхвалив рисунки. Ингер, со своей стороны, объяснила очень толково: ребяташки рисовали вдвоем, оба брата. У них не было бумаги; пока она не вернулась домой и не привезла, они царапали на стенах. Но у нее не хватает духу смыть их малеванье.

— И не надо,— сказал инженер.— А бумага?— сказал он и выложил множество больших листов на стол.— Вот, рисуйте себе до следующего моего приезда. А как насчет карандашей? Сиверт выступил со своим огрызком и показал, что остался совсем маленький кусочек. Инженер дал ему новый, неочищенный цветной карандаш:

— Рисуй на здоровье! Только пусть лучше лошадь будет у тебя красная, а козел синий. Ведь, ты не видал синих лошадей, не правда ли?

Потом инженер уехал.

В тот же вечер из села пришел человек с чемоданом, продал рабочим несколько бутылок и ушел. Но после его ухода в Селланро стало уж не так тихо, заиграла гармоника, начался громкий говор, песни, а там немножко и поплясали. Один из рабочих стал приглашать танцевать Ингер, а Ингер, вот пойми ее, она тихонько усмехнулась и прошла с ним несколько кругов. После этого ее стали приглашать и другие, и она порядочно повертелась.

Кто ее поймет, эту Ингер! Быть может она танцевала сейчас первый блаженный танец в своей жизни, ее желали, горячо преследовали тридцать мужчин, она была одна, единственная, кого можно было выбрать, у нее не было соперниц. А как здоровенные телеграфисты поднимали и кружили ее! Почему не потанцевать? Елисей и Сиверт спали, как чурки в клетке под гомон на усадьбе, маленькая же Леопольдина не спала и с изумлением смотрела на ее прыжки.

Между тем, Исаак все время после ужина был на поле, а когда вернулся ложиться, ему поднесли из бутылки, и он тоже выпил немножко. Он сел и смотрел на танцы, держа Леопольдину на коленях.

— Попляши, попляши!— добродушно сказал он Ингер,— ног тут много!

Но немного спустя музыкант перестал играть, и танцы кончились. Рабочие собрались в село на остаток ночи и весь завтрашний день, с тем, чтоб вернуться только в понедельник утром. Вскоре в Селланро все стихло, только двое пожилых мужчин остались и пошли укладываться в овин.

Исаак поискал Ингер, чтоб уложить Леопольдину, но не найдя, сам внес девочку в дом и уложил. И тоже лег спать.

Среди ночи он проснулся. Ингер не было.— На скотном дворе она, что ли?— подумал он, встал и пошел туда.

— Ингер?— позвал он. Никакого ответа. Коровы повернули головы и посмотрели на него, все было спокойно. По старой привычке он пересчитал скотину, пересчитал овец и коз, одну суягную овцу всегда было так трудно загонять, вот и опять она осталась снаружи.— Ингер?— позвал он. Опять никакого ответа.— Не ушла же она с ними в село?— подумал он.

Летняя ночь была светла и тепла. Исаак посидел немножко на крыльце, потом встал и пошел в лес искать овцу. Он нашел Ингер. Ингер здесь? Ингер и еще один человек. Они сидели на вереске, она вертела его фуражку на указательном пальце. Они разговаривали. За ней, должно быть, опять ухаживали.

Исаак тихонько подошел к ним сзади, Ингер обернулась и увидела его, она превратилась точно в тряпку, повалилась наперед грудью, выронила фуражку, сникла.

— Гм. Ты знаешь, что суягная овца опять пропала?— сказал Исаак.— Да нет, где тебе знать!— прибавил он.

Молодой телеграфист поднял свою фуражку и бочком пошел прочь:

— Ну, надо мне догонять остальных,— проговорил он.— Так спокойной ночи,— сказал он и пошел. Никто не ответил.

— Так. Вот ты где сидишь!— сказал Исаак.— Здесь и будешь сидеть?

Он пошел к дому. Ингер поднялась на колени, встала на ноги и пошла за ним, так они и шли, муж впереди, жена сзади, гуськом. Пришли домой.

Ингер выгадала время, успела оправиться:

— Я как раз и пошла за овцой,— сказала она,— я видела, что ее нет. А тут пришел этот парень и помог мне искать. Мы и минутки не посидели, когда ты пришел. Куда же ты идешь сейчас?

— Я? Надо же разыскать животину.

— Да нет же, ложись. А уж если кому искать, так пойду я. А ты ложись, тебе надо отдохнуть. А впрочем, овца может остаться и на поле, она и раньше оставалась.

— Да, чтоб ее сожрали звери!— сказал Исаак и пошел.

— Да нет же, не ходи!— крикнула она, догоняя его.— Тебе надо отдохнуть. Я пойду сама.

Исаак дал уговорить себя. Но не хотел слышать, чтоб Ингер пошла искать овцу. Оба вернулись в дом.

Ингер сразу кинулась смотреть детей, сходила в клеть взглянуть на мальчиков, вела себя так, как будто уходила за самым законным делом, не обошлось даже и без кое-каких любезностей по отношению к Исааку, словно она ожидала нынче вечером ласки горячее обычного, — ведь он же получил самое полное разъяснение. Но нет, благодарю покорно, Исаака не так-то легко было повернуть, ему было бы гораздо приятнее, если б она горевала и не знала, куда деваться от раскаянья. Гораздо приятнее! Что значило, что она съезжилась в лесу, что ей стало чуточку не по себе, когда он наткнулся на нее, что это значило, раз так скоро проходило!

На следующий день, который пришелся на воскресенье, он был не ласковее, ушел из дому на лесопилку, на мельницу, ходил в поле с детьми и один. Когда Ингер попробовала присоединиться к ним, Исаак пошел в сторону:

— Я пойду на реку, посмотреть кой-что, — сказал он.

Что-то его грызло, но он переносил это в молчании и не бушевал. О, Исаак был в своем роде велик, как Израиль, например, — взыскательный и обманутый, но все же верующий.

В понедельник настроение улучшилось, и с днями впечатление от досадной субботней ночи постепенно начало сглаживаться. Время многое исправляет, плевками и чиханьем, едой и сном оно залечивает все раны. С Исааком же ничего особенного не случилось. У него не было даже уверенности в том, что его обидели, а кроме того, столько было другого, о чем подумать: как раз подходил сенокос. А в седьмых и последних, телеграф скоро будет готов, и на хуторе опять настанет мир и тишина. Широкая и светлая большая дорога пересекала лиственный лес, столбы с натянутыми проводами шли по ней вплоть до горного перевала.

В следующий субботний расчет, который был последним, Исаак устроился так, чтоб быть не дома, он сам не хотел. Он понес в село масло и сыр и вернулся только в ночь на понедельник. К этому времени рабочие все ушли из овина, почти все, последний человек выходил со двора с мешком за спиной, почти последний человек. Но что тут не все благополучно Исаак понял по корзинке, стоящей в овине; где ее владелец, он не знал, не хотел знать, но фуражка с козырьком лежала на корзинке, словно досадная улика.

Исаак швырнул корзинку на двор, швырнул вслед за ней фуражку и запер овин. Потом пошел в конюшню и выглянул в окно. Пусть корзинка стоит там, — наверно, думает он, — и пусть фуражка валяется там, мне все равно,

чья она. Он сволочь, и я не желаю его знать,— верно думает он. Но когда он придет за корзинкой, Исаак выйдет, схватит его этак за руку и наделает синяков. А что касается до проводов со двора, так это он тоже увидит!

С этими мыслями Исаак отошел от окошка в конюшне, направился в хлев и выглянул оттуда, не находя покоя. Корзинка была обвязана веревкой, у бедняги не было даже замка для нее, а веревка ослабла — уж не слишком ли круто Исаак обошелся с корзинкой? Как это вышло, только он уже не чувствовал уверенности, что поступил правильно. Как раз в этот поход в село он видел выписанную им новую борону, о, чудеснейшая машина, чисто икона, и она только что прибыла. Теперь важно, принесет ли она благоговение. Может быть, высшая сила, направляющая стоны человека, сейчас смотрит на Исаака, заслуживает он благословения или нет. Исаак всегда уделяет много внимания высшим силам, он ведь собственными глазами видел бога в одну осеннюю ночь в лесу, очень жутко было его видеть.

Исаак вышел во двор и остановился над корзинкой. Еще подумал, сдвинул набекрень шапку и поскреб голову. Вид у него был отважный и развязный. Он стал похож на испанца. Но тут он, должно быть, подумал что-нибудь вроде этого:— Нет, вот я стою, и вовсе я не какой-нибудь замечательный и великолепный человек, а собака я и больше ничего!— Затем покрепче обвязал корзинку веревкой, и поднял фуражку и отнес обратно в овин. Ну, вот все сделано.

Когда он выходил из овина и спускался к мельнице, прочь от двора, прочь от всего, Ингер не стояла у окна в горнице. Ну что ж, пусть стоит где хочет, а впрочем, она, наверное, лежит в постели, где же ей и быть? А в старину, в первые безгрешные годы, здесь, на новом месте, в те-то времена, Ингер не знала покоя, не ложилась спать и встречала его, когда он возвращался домой из села. Нынче стало по-другому, все стало по-другому. Вот хоть бы, когда он подарил ей кольцо — неудачнее нельзя и придумать! Исаак был до необычайности скромнен и не подумал даже сказать, что это золотое кольцо:

— Это так себе, пустяки, но ты надень его на палец и померяй!

— Оно золотое?— спросила она.

— Да, только не очень толстое,— сказал он.

— Ну, что ты!— должна была бы она ответить, а вместо этого она ответила:— Да, да, совсем не толстое.

— Ну, и носи его вроде как бы травинку,— сказал он уныло.

Но Ингер была все же благодарна за кольцо, носила его на правой руке и поблескивала им, когда шила; изредка она давала его надеть деревенским девушкам, и покрасоваться в нем некоторое время, когда они приходили к ней посоветоваться. Неужели Исаак не понимал тогда, что она страшно гордилась кольцом!..

Но жутко и одиноко было сидеть на мельнице и всю долгую ночь слушать водопад. Исаак не сделал ничего плохого, ему незачем прятаться. Он вышел из мельницы и пошел по полю домой, в избу.

И тут Исаак размяк, во истину обрадовался и размяк. В горнице сидел Бреде Ольсен, сосед, не кто другой, как он,— сидел и пил кофе! Ингер не спала, оба сидели, разговаривали и пили кофе.

— А вот и Исаак!— сказала Ингер ласковым голосом, встала и налила чашку и ему.

— Добрый вечер!— сказал Бреде и был так же очень любезен.

Исаак хорошо заметил, что Бреде кутнул на прощанье с телеграфными рабочими, видно было, что он не выспался, но это ничего не значило, он улыбался и был ласков. Разумеется, он прихвастнул:— Собственно говоря, ему некогда возиться с этой телеграфной работой, у него ведь на руках хутор; но никак нельзя было отказаться, до того пристал к нему инженер. А привело это к тому, что Бреде пришлось взять место инспектора на линии. Не ради платы, конечно, Бреде мог зарабатывать во много раз больше в селе, но он не хотел кобениться. И вот ему повесили маленькую блестящую машинку на стену, довольно занятная машинка, что твой телеграф!

Исаак при всем своем желании не мог точить зуб на этого хвастунишку и шалопая, к тому же очень уж полегчало у него на душе оттого, что он застал у себя нынче вечером соседа, вместо чужого человека. Исаак обладал мужицким душевным равновесием, несложными мужицкими чувствами, мужицкой устойчивостью, ленью, он поддакивал Бреде и поматывал головой, слушая его легковесную болтовню.

— Не найдется у тебя еще чашечки кофею для Бреде?— спросил он Ингер. И Ингер налила еще.

Ингер рассказала про инженера, какой он необыкновенно добрый человек, он посмотрел рисунки и тетрадки мальчиков и сказал, что возьмет Елисея к себе.

— Возьмет к себе?— переспросил Исаак.

— Да, возьмет в город. Он хочет, чтоб он писал у него, сделает его конторщиком в своей конторе, так ему понравились его рисунки и писанье.

— Вот что!— сказал Исаак.

— А ты думаешь? Ему уж пора конфирмоваться. По-моему, это хорошо.

— По-моему, тоже!— сказал Бреде. И настолько то я знаю инженера, что ежели он сказал такое слово, то так и делает.

— Нам не обойтись здесь без Елисея,— сказал Исаак.

После этих слов стало как-то тихо и скучно. Разумеется, с Исааком трудно было столковаться.

— А если мальчик сам захочет выбиться!— сказала, наконец, Ингер,— и если у него хватит ума, чтобы выйти в люди!

Снова тишина. Но тут Бреде сказал со смехом:

— Инженер наверное захотел бы взять и кого-нибудь из моих! У меня их много. Но старшая у меня Варвара, а она девочка.

— Да, да, Варвара, она у вас умница,— согласилась Ингер из вежливости.

— Да, уж в грязь лицом не ударит,— сказал и Бреде,— Варвара толковая и расторопная, она поступит теперь к ленсману и будет там жить.

— Она поступит к ленсману?

— Да, пришлось согласиться! Жена ленсмана так ко мне пристала.

Утро давно наступило, и Бреде собрался уходить.

— У меня там в овине корзинка и фуражка,— сказал он,— если только парни не утащили с собой,— пошутил он.

А время шло.

И, разумеется, Елисей попал в город. Ингер настояла на своем. Сначала он пробыл там год, потом конфирмовался, а потом основался в конторе у инженера и все больше и больше преуспевал в писаньи. Ох, да и что же за письма он посылал домой, то черными, то красными чернилами, чисто вывески! А уж как складно, как речисто! Изредка он просил денег, просил поддержки. Ему нужно купить часы с цепочкой, чтобы не просыпать по утрам и не опаздывать в контору, нужны деньги на трубку и табак, как у всех молодых конторщиков; на что-то такое, что он называл «карманными деньгами»; на какую-то вечернюю школу, где он учился рисованию и гимнастике и другим предметам, необходимым в его профессии и положении. В общем, содержать Елисея на службе в городе стоило недешево.

— Карманные деньги?— спросил Исаак,— это что же — деньги, чтоб носить в кармане?

— Должно быть, так,— ответила Ингер,— должно быть, для того, чтоб не казаться уж совсем голышом. Да и не так это много, кое-когда один далер.

— Вот, вот, в аккурат: один далер нынче, один далер завтра,— сердито ответил Исаак. Но сердился он оттого, что скучал без Елисея и хотел, чтоб он был дома.— Этак выйдет много далеров,— сказал он.— У меня на это не хватит средств, напиши ему, что больше он ничего не получит.

— Ну, да ладно уж,— оскорбленно проговорила Ингер:

— Сиверт-то, небось, никаких карманных денег не получает!— сказал Исаак.

— Ты не бывал в городе и не понимаешь, Сиверту не нужно карманных денег. К тому же, Сиверта не придется жалеть, когда помрет дядя Сиверт.

— Ты этого не знаешь.

— Нет, знаю.

И в известном отношении это было верно. Дядя Сиверт заявил, что наследником его будет маленький Сиверт. Дядя Сиверт наслушался о важности и величии Елисея в городе и, сердито мотая головой и поджав губы, клялся, что племянник, которому дано имя в его честь, в честь дяди Сиверта — не останется внакладе! Но что, особенно, имел дядя Сиверт? Имел ли он, кроме разоренной усадьбы и рыболовных снастей, еще и большую кучу денег и всякого богатства, как все думали? Никто этого не знал. К тому же, дядя Сиверт был очень упрям, он требовал, чтоб Сиверт переехал к нему жить. Это для дяди Сиверта являлось вопросом чести: он хотел взять к себе Сиверта, как инженер взял Елисея. Но как мог Сиверт уехать из дома? Это было невозможно. Он был единственным помощником отца. А кроме того, мальчик и сам не имел большого желания жить у дяди, у знаменитого окружного казначея; он попробовал один раз, но вернулся домой. Он тоже конфирмовался, тянулся вверх и рос. На щеках у него появился темный пушок и руки стали большие с тугими мышцами. Работал он, как взрослый мужчина.

Исаак наверное никогда не построил бы нового сарая без помощи Сиверта, а теперь, вот, он стоит, с помостом и отдушинами и всем, что полагается. Большой, не меньше, чем у священника. Разумеется, это было строение из простых жердин, обшитых досками, но сколоченное необыкновенно прочно, на железных крюках по углам и обшитое дюймовыми досками, напиленными на собственной

лесопилке. И Сиверт загнал не один гвоздь, поднял не одно огромное бревно для ворот, чуть не падая под его тяжестью. Сиверт любил бывать с отцом и усердно работал бок о бок с ним. У него была отцовская натура. И он даже настолько не избаловался, что, собираясь в церковь, по-прежнему шел на бугор и натирал себе лицо и руки для хорошего запаха листком бирючины. Зато у Леопольдины появились разные причуды, как и можно было ожидать от девушки и единственной дочери. Нынче летом она вдруг заявила, что не может есть за ужином кашу без патоки. Ну, вот, никак не может! И работница она была плохая.

Ингер не отказалась от мысли о служанке, каждую весну она заговаривала об этом и каждый раз Исаак был непреклонен. Насколько больше она накроила бы материи, нашла, наткала бы тонкого холста, вышила бы туфель, если б у нее было больше времени! И в сущности, Исаак был уже не так несговорчив, как раньше, хотя все-таки еще ворчал. Хо-хо, в первый раз он произнес целую длинную речь, не от справедливости и разума, и не от гордости, а, к сожалению, от слабости, от злости. Но теперь он, как будто, понемножку сдавался и стыдился.

— Если нужна мне в дом помощница, то именно теперь,— сказала Ингер.— Потом Леопольдина подрастет и сможет многое делать.

— Помощницу?— спросил Исаак,— на что тебе помощница?

— На что мне помощница? А у тебя самого нет помощника? А Сиверт-то?

Что мог Исаак ответить на такое неразумие? Он ответил:— Если у тебя будет девка, тогда вы вдвоем, наверное, вспашете, скосите и уберете весь урожай на хуторе? А мы с Сивертом сможем тогда заняться своими делами.

— Ну, уж там видно будет,— ответила Ингер,— но сейчас я могла бы нанять Варвару, она писала об этом домой.

— Какую такую Варвару?— спросил Исаак,— Варвару Бреде?

— Да. Она в Бергене.

— Не хочу я видеть у нас эту Варвару Бреде,— сказал он. И прибавил:— Любую другую.

Стало быть от любой другой он не отказывался. Дело в том, что Варвара из Брейдаблика не пользовалась доверием Исаака. Она была непостоянна и легкомысленна,

как отец. Может быть, как и мать — ветрогонка и несдержанна. Она недолго прожила у ленсмана, всего год; после того, как конфирмовалась, перешла к торговцу и у него прожила тоже год. Там она очень развилась и стала религиозна. И когда в село явилась Армия Спасения, она вступила в ее ряды; ей дали красную повязку на рукав и гитару. В этом обмундировании она уехала в Берген на яхте торговца. Это было в прошлом году. Теперь она только что прислала домой свою фотографию. Исаак ее видел: незнакомая барышня с завитыми волосами и длинной часовой цепочкой на груди. Родители гордились своей Варварой и показывали карточку всем проходившим мимо Брейдаблика; удивительно какая она стала образованная, важная, но красной нашивки на рукаве и гитары в руках у нее уже не было.

— Я брал ее с собой, показать жене ленсмана, она не узнала Варвару,— сказал Бреде.

— Она останется жить в Бергене?— подозрительно спросил Исаак.

— Она останется в Бергене, покуда у нее будет что жевать,— ответил Бреде.— Если только не поедет в Христианию,— прибавил он.— Что ей делать дома? Она получила новое место и состоит домоправительницей у двух богатых конторщиков, холостяков. Жалованье получает огромное.

— Сколько же?— спросил Исаак.

— Этого она так уж точно не говорит. Но что это страшно много, ежели сравнить с тем, что платят у нас в селе, я понял из того, что она получает подарки к Рождеству и в другое время, и с нее за это ничего не вычитают.

— Так,— сказал Исаак.

— Да. А ты не взял бы ее в работницы?

— Я-то?— спросил Исаак. Он не понял.

— Нет, хе-хе, я спросил только так, Варвара останется там, где она сейчас. О чем же я это говорил? Да! Ты никакого такого беспорядка не заметил на телеграфе по дороге сюда?

— На телеграфе? Нет.

— Положим, немного найдешь беспорядку на телеграфе с тех пор, как я взял его под свой присмотр. Да еще на стене у меня висит моя собственная машинка, которая предупреждает меня, когда что-нибудь неблагополучно. Как-нибудь пройду на линию и осмотрю. У меня и так чересчур много дел и хлопот, одному никак не справиться. Но раз я состою инспектором и занимаю общественную должность, придется нести эту работу, покуда хватит сил.

— А ты не думаешь отказаться?

— Не знаю,— ответил Бреде,— я еще и сам не решил. Ко мне все пристают, чтоб я перебирался назад в село.

— Кто же к тебе пристаёт?— спросил Исаак.

— Да все. Ленсман хочет взять меня в понятия, доктор тянет в кучера, а пасторша не раз позвала бы меня помочь, будь не так до нас далеко. А что это, Исаак, правда ли, что ты получил такие большие деньги за свою гору, как говорят?

— Да, это тебе не соврали,— ответил Исаак.

— Да на что же она Гейслеру? Гора-то ведь здесь, у нас. Это что-то чудно. Да и сколько лет уж прошло.

Исаак и сам часто раздумывал над этой загадкой, говорил с ленсманом, спрашивал адрес Гейслера, чтоб написать ему. Правда, что дело было мудреное.

— Я ничего не знаю,— сказал Исаак.

Бреде не скрывал, что интересуется этой продажей горы.

— Говорят, на казенной земле не одна твоя гора такая,— сказал он,— в других тоже могут быть разные сокровища, а мы-то ходим, как бессловесные животные, и ничего этого не видим. Я решил как-нибудь забраться в горы и хорошенько все исследовать.

— Да ты разве знаешь толк в горах и в породах камней?— спросил Исаак.

— Есть малость, да и порасспросил кое-кого. А если так, то надо что-нибудь придумать, я не могу прокормиться на хуторе со всей моей семьей. Это совершенно невозможно. Ты совсем другое дело, ты забрал весь лес и всю удобную землю. А здесь одно болото.

— Болото — хорошая земля,— сухо сказал Исаак.— У меня у самого болото.

— Да его никак не осушить,— ответил Бреде...

Но осушить болото было уж не так невозможно. Сегодня, по дороге к низине, Исаак увидел: расчищают новые участки, два внизу, против села, а один значительно выше, между Брейдабликом и Селланро. О, значит, и тут пошла работа; первое время, когда Исаак поселился здесь, тут была пустыня. А эти три новосела были не здешние, но, должно быть, люди толковые. Они начали не с займа денег для постройки дома, а приехали, пожили немного, покопались в земле и опять уехали, словно умерли. Вот как по-настоящему надо браться за дело: рыть, пахать, сеять. Ближайшим соседом Исаака был Аксель Стрем, молодчина-парень, холостой, уроженец Гельгоlanda, он брал у Исаака плуг — распашать свое болото, и только

на второй год построил сенной сарай да землянку для себя и двух-трех голов скота. Хутор его назывался «Лунное», потому что луна особенно красиво озаряла его. У него не было в доме женщины, и он никак не мог найти летом работницу — далеко от села. Но действовал он совершенно правильно. Не начинать же как Бреде, с постройки избы, а потом приехать с семьей и кучей ребят на хутор, не имея ни земли, ни скотины, чтобы прокормиться? Да что там понимает Бреде Ольсен насчет осушки болот и распашки целины!

Вот убивать время на всякую ерунду, это Бреде Ольсен умел! Разве он не проехал однажды мимо Селланро; как же, ведь он ехал в горы, искать по чьему-то поручению драгоценные металлы! Вечером он вернулся, не найдя ничего определенного, только кое-какие признаки, — сказал и кивнул. Скоро поедет опять и, заодно, обследует горы в сторону Швеции.

И верно, Бреде опять приехал. Должно быть ему понравилось, свалил на телеграф, будто ему надо объехать линию. Тем временем жена с детьми копались дома на земле, или оставляли все на волю Божию. Исааку наскучили его визиты, он уходил из горницы, когда Бреде появлялся, и Ингер с Бреде превесело разговаривали одни. О чем им было говорить? Бреде часто бывал в селе и знал все новости о тамошней знати. Ингер, со своей стороны, могла порассказать о своем знаменитом путешествии в Тронгейм и пребывании там. Она стала ужасно болтлива за те годы, что пробыла вне дома, заводила разговор с кем попало. Нет, она была уж не та простодушная и правильная Ингер, что раньше.

Женщины и девушки постоянно приходили в Селланро, то скроить платье, то сшить в одну минуту длинный шов на машине, и Ингер хорошо их принимала. Приходила и Олина, не могла-таки выдержать, приходила и весной и осенью, мягкая, как масло, и фальшивая.

— Захотелось мне посмотреть, как вы тут поживаете, — говорила она каждый раз. — Да и соскучилась очень по ребятишкам, страсть, как я их полюбила. Уже такие-то они были ангелы. Да, да, они теперь, ведь, взрослые парни, но так уж чудно выходит, никак не могу позабыть, какие они были маленькие и как я за ними ходила. А вы все строите и строите, у вас уж настоящий город! А у вас не будет колокола на новом сарае, как у священника?

Однажды Олина привела с собой другую женщину, и втроем с Ингер они отлично провели вместе целый день.

Чем больше народу собиралось вокруг Ингер, тем лучше она кроила и шила и размахивала ножницами или водила утюгом. Это напоминало ей о днях, проведенных в тюрьме, где было так много женщин. Ингер не скрывала, где она набралась таких знаний — в Тронгейме. Выходило так, как будто она не наказание отбывала, а жила в учении, обучалась портняжному мастерству, тканью, красильному делу, письму, все это она вывезла из Тронгейма. Она говорила о тюрьме, как о родном доме. Там было так много народа, и начальство, и надзирательницы, и сторожа; когда она вернулась домой, ей показалось здесь очень пусто и было тяжело лишиться общества, к которому она так привыкла. Она даже притворялась, будто простужается, потому что отвыкла от холодного воздуха, даже через год после возвращения она боялась выходить в ветер и дождь. Работница ей нужна была собственно для работы вне дома.

— Да Господи ты Боже мой,— сказала Олина,— тебе ли не держать работницу, раз у тебя есть средства, и потом — ведь ты такая образованная и у тебя такой большой дом.

Приятно, что тебя понимают, и Ингер ей не возражала. Она шила с такой быстротой, что кольцо так и сверкало у нее на руке.

— Вот видишь,— сказала Олина другой женщине,— разве не правду я тебе сказала, что у Ингер золотое кольцо?

— Хотите посмотреть?— спросила Ингер и сняла кольцо. Олина взяла кольцо, и как будто не совсем веря, стала рассматривать, как обезьяна орех, разыскала пробу:

— Ну да, так и есть, как я говорила: каких только богатств нет у этой Ингер!

Другая женщина взяла кольцо с благоговением и подобострастно ухмыльнулась.

— Надень его, если хочешь,— сказала Ингер,— надень, ему ничего не сделается!

Ингер была ласкова и радушна. Она рассказала про собор в Тронгейме? Нет, ведь вы там не были!— И словно это был ее собственный собор, она защищала его, хвасталась им, указала его высоту и размеры — чисто сказка! Семь священников служат в нем зараз и один не слышит другого.— Так, стало быть, вы не видали и колодца святого Олафа. Он находится в самом соборе, и колодец этот бездонный. Когда мы туда ходили, то брали с собой по камешку и бросали в колодец, но никогда он не доставал до дна.— Никогда не доставал до дна!— прошептали

женщины, качая головой.— Да и кроме колодца в соборе тысяча других вещей,— восторженно воскликнула Ингер,— вот хоть бы серебряная рака. Это рака Святого Олафа. А мраморная церковь, маленькая церковка из чистейшего мрамора, датчане отняли ее у нас во время войны.

Женщины собрались уходить. Олина отозвала Ингер в сторонку, повела за собой в кладовую, где, она знала, лежат сыры, и затворила за собой дверь.

— Чего тебе нужно?— спросила Ингер.

Олина зашептала:

— Ос-Андерс не посмеет больше приходить сюда. Я ему не велела.

— Ну,— сказала Ингер.

— Я сказала: пусть только посмеет, после того, что он тебе устроил!

— Да, да,— сказала Ингер.— Но он был здесь много раз, да и пусть себе приходит, я его не боюсь!

— Конечно,— сказала Олина,— но я знаю, что знаю, и если хочешь, донесу на него.

— А!— сказала Ингер.— Нет, не беспокойся!

Но ей было приятно, что Олина на ее стороне, это стоило маленькой головки сыра, Олина же прямо рассыпалась в благодарностях:

— Я всегда говорила и говорю: Ингер не очень-то раздумывает, когда дело идет о подарке, тут уж она дает обеими руками! Да, ты, конечно, не боишься Ос-Андерса, но я все-таки запретила ему показываться тебе на глаза. Эту-то малость уж я могла для тебя сделать!

Тогда Ингер сказала:

— Да что же из того, если б он и пришел. Он больше не может мне повредить.

Олина насторожила уши:

— Ну, разве ты узнала какое-нибудь средство против этого?

— У меня больше не будет детей,— ответила Ингер.

И оказалось, что обе на равной ноге и у обеих равные козыри: Олина-то ведь отлично знала, что лопарь Ос-Андерс помер в прошедшем году...

А почему же у Ингер не будет больше детей? С мужем она нельзя сказать, чтоб не ладила, они жили совсем не как кошка с собакой, ссорились редко и никогда надолго, потом опять все шло по-хорошему. Часто Ингер вдруг становилась такою же, как в былые дни, и переворачивала всю работу на скотном дворе или в поле, словно уходила в себя и черпала свежие силы. Тогда Исаак смотрел на

жену благодарными глазами, и будь он из тех, что сейчас же высказываются, он сказал бы:— Что такое? Гм. Да ты врешь!— или что-нибудь вроде этого, выражающее признательность. Но он чересчур долго молчал и слишком запаздывал со своей похвалой. И потому, не видя, должно быть, поощрения, Ингер не старалась проявлять такое трудолюбие постоянно.

Ей было за пятьдесят лет, и она могла бы иметь детей, на вид же ей не было, пожалуй, и сорока. Всему-то она научилась в заведении — не научилась ли она каким-нибудь фокусам и насчет себя самой? Она вернулась такая вымуштрованная и образованная от общения с другими убийцами, а может наслушалась кой-чего и от господ, от смотрителя, докторов. Однажды она рассказала Исааку, что один молодой врач сказал о ее злодеянии:

— Почему наказывают за убийство детей, даже здоровых, даже и нормальных? Ведь они не больше, как кусочек мяса.

— Верно, он был зверь?

— Он то!— воскликнула Ингер и рассказала, как он был ласков к ней, и что это как раз он пригласил другого доктора сделать ей операцию, и благодаря ему она сделалась человеком.

Теперь у нее остался только рубец, и она стала совсем красивой женщиной, высокая и неожирелая, смуглая с густыми волосами, летом по большей части босая, в высоко подоткнутой юбке и с очень смело обнаженными икрами. Исаак их видел, да и кто их не видел.

Ссориться они не ссорились. Исаак был на это неспособен, да и жена стала уж чересчур скоро на ответ. На хорошую основательную ссору этому чурбану, этому мельничному жернову, требовалось много времени, она забивала его и так и этак словами, и он не находил, что сказать, к тому же он любил ее, здорово любил. Да и не так уж часто ему надо было огрызаться, Ингер не нападала на него, он был во всем превосходным мужем, и она оставляла его в покое. На что ей было пожаловаться? По совести, Исаак был не плох, она могла заполучить кой-кого и похуже. Поизносился? Ну да, конечно, в нем сказывались некоторые признаки усталости, но это ничего не значило. Он был полон, так сказать, старого здоровья и неиспользованного запаса сил, как и она, и в осень их совместной жизни он вносил свою долю ласки с меньшей, если не большей горячностью, чем она.

Но был ли в нем какой-либо особый блеск и красота? Нет. И в этом она была выше его. По временам Ингер

думала, что она видела людей и пошкарнее, мужчин в красивом платье и с тросточками, господ с носовыми платками и в крахмальных воротничках. Ох уж эти городские господа! Поэтому она обращалась с Исааком, как и полагалось с таким как он, так сказать, в меру его заслуг, не больше: он был мужик, лесной житель; будь рот у нее с самого начала правильный, она никогда бы за него не вышла, это она теперь знала. Нет, уж тогда-то она вышла бы за другого! Дом и уют, который она получила, все это одинокое существование, уготованное ей Исааком, в сущности, было только-только сносно, во всяком случае, она могла выйти замуж в своем родном селе и водиться с людьми, а не жить, как русалка в глуши. Здесь ей уже не нравилось, она повидала другое, взгляды ее изменились.

Удивительно, как могут меняться взгляды! Ингер уже не могла по-настоящему радоваться какому-нибудь красивому теленку или всплескивать от изумления руками, когда Исаак возвращался с большущим ведром рыбы с горного озера. Нет, она шесть лет провела в более пышной обстановке. Да, миновали и те деньки, когда она была так ласкова и так деликатно звала его обедать.— «Что ты не идешь есть?»— говорила она теперь. Разве так обращаются с мужем? Вначале он дивился этой перемене, этому грубому и сварливому тону и отвечал:— «Я не знал, что обед готов». Но она заявляла, что он должен бы это знать по солнцу, и тогда он перестал возражать и что-либо говорить по этому поводу.

Но один раз он все-таки поймал ее и использовал этот случай. Это было когда она вздумала украсть у него деньги. Не потому, что он был так уж скуп на деньги, но потому, что это были безусловно его деньги. И дело чуть не кончилось для нее большой бедой. Но Ингер вовсе не была такая уж испорченная и безбожница, ведь деньги-то были нужны для Елисея, все для того же Елисея, сидевшего в городе и опять выпрашивавшего себе далер. Неужели же ему жить среди благородных господ и быть всегда без гроша? Разве у нее не материнское сердце? И вот она попросила денег у отца, а когда он не дал, взяла их сама. Как это вышло, подозревал ли ее Исаак или обнаружил случайно, но только проделка ее сразу открылась, и в ту же секунду Ингер почувствовала, как ее схватили за обе руки, подняли с пола и швырнули на землю. Это было что-то необычное, словно она откуда-то свалилась. Руки Исаака позабыли про свою старость и усталость. Ингер застонала, голова ее повисла, она задрожала и протянула ему далер.

И тут Исаак ничего не сказал, хотя на этот раз Ингер не мешала ему говорить, он почти выдохнул то, что хотел сказать:

— Чертова баба, тебя нельзя больше держать в доме!

Он был неузнаваем. Должно быть, дал волю давно накопившемуся раздражению.

То был печальный день и долгая ночь, и еще такой же день. Исаак ушел и не ночевал дома, хотя надо было свозить просохшее сено; Сиверт ушел с отцом. Ингер осталась с Леопольдиной, коровами, козами, но она чувствовала себя совсем одинокой, почти все время плакала и недоуменно мотала головой. Такое сильное душевное волнение она испытала всего раз в жизни; она вспомнила теперь этот один раз, это было, когда она душила крошечного ребеночка.

Куда ушли Исаак с сыном? Они не болтались зря, они украли сутки или около того от сенокосной поры и построили лодку на озере. О, изрядно-таки неуклюжая и неприглядная посудина, но прочная и крепкая, как и все, что они делали. И вот теперь у них была лодка и они могли ловить рыбу неводом.

Они вернулись домой, а сено лежало все такое же сухое. Они доверились небу,— и выгадали, остались в барышах. Сиверт ткнул пальцем.

— Эге, а мама-то убирала сено.

Отец повел глазом на луг.

— Так.

Исаак сразу увидел, что целая куча сена исчезла, Ингер верно ушла сейчас в дом полудировать. Это правильно она сделала, что убрала сено, хотя он обругал и поколотил ее вчера. И сено то было тяжелое, большетравное, ей здорово пришлось поработать, да еще выдоить всех коров и коз.

— Ступай, поешь,— сказал он Сиверту.

— А ты?

— Не хочу.

Через минуту после того, как Сиверт вошел в избу, Ингер ступила за дверь, смиренно остановилась на пороге и сказала:

— Не смилуешься ли ты над собой, не пойдешь ли тоже покушать?

На это Исаак что-то проворчал и хмыкнул. Но кротость Ингер за последнее время стала таким редким явлением, что Исаак начал колебаться в своем упорстве.

— Если б ты вколотил два зубца в мои вилы, я бы скопнила больше,— сказала она.— Она обращалась к хо-

зяину двора, к главе и властелину с просьбой, и была благодарна, когда он ответил ей извинительным отказом:

— Ты и без того довольно наработала,— проговорил он.

— Нет, не довольно.

— Мне сейчас некогда приколачивать тебе зубцы к вилам, видишь, собирается дождь!

С этими словами Исаак принялся за работу.

Должно быть, он хотел избавить ее от работы: несколько минут, которые он потратил бы на починку вил, наверстались бы в десять раз, если б Ингер пришла им помочь. А Ингер все-таки пришла со сломанными вилами и принялась копнить так, что только поворачивайся; приехал Сиверт с подводой, все навалились на работу, пот лил ручьями, и сено, воз за возом, отправлялось на сеновал. Любо-дорого! Исаак же снова задумался о высшей силе, направляющей все наши шаги, от кражи далера и до уборки целой кучи сена. А вдобавок на озере стоит лодка; после тридцати лет размышлений и сборов стоит теперь готовенькая лодка на озере:

— О-ох, Господи,— промолвил Исаак.

ГЛАВА XV

В общем, это вышел замечательный вечер, поворотный пункт. Ингер долгое время как бы выбившаяся из колеи, благодаря простому поднятию с пола, попала опять на надлежащее место. Ни один из них не говорил об этом происшествии, Исаак впоследствии даже устыдился самого себя за этот далер, который не представлял для него больших денег и с которым ему, все-таки, пришлось расстаться, потому что, в конце концов, он дал его Елисею. Да и кроме того: разве этот далер не принадлежал столько же Ингер, сколько и ему? Пришло время, когда покорность стал проявлять Исаак.

Всякие бывали времена, Ингер, должно быть, опять изменила свои взгляды, она опять переменилась, отказалась постепенно от своих благородных замашек и опять сделалась серьезной и заботливой женой и хозяйкой. Подумать только, что мужской кулак может сотворить такие чудеса! Но так и должно было случиться, здесь дело шло о сильной и работающей женщине, изнеженной долгим пребыванием в искусственной атмосфере; она наткнулась на мужчину, слишком твердо стоящего на ногах. Он ни

на минуту не покидал своего естественного места на земле, своей почвы. Его нельзя было сдвинуть.

Всякие бывали времена; на следующий год снова наступила засуха и стала исподволь подтачивать ростки и надежду людей. Ячмень сохнул на корню, картошка — изумительная картошка! — та не сохла, а цвела. Луга начали сереть, картошка же цвела. Высшая сила управляла всем, но луга начали сереть.

И вот однажды явился Гейслер, бывший ленсман Гейслер, наконец-то, он опять явился. Очень удивительно, что он не помер, а опять вынырнул. Зачем это он явился?

На этот раз Гейслер не мог хвастать крупными затеями, покупкой горных участков и документами. Наоборот, он был довольно-таки плохо одет, борода и волосы у него поседел, веки были красные. И вещей за ним теперь уж никто не нес, под мышкой у него был только портфель, даже никакого чемоданчика.

— Здравствуйте, — сказал Гейслер.

— Добрый день, — ответил Исаак и ответила Ингер. — Вот какие к нам пожаловали гости!

Гейслер кивнул головой.

— Спасибо за последний раз в Тронгейме! — особо отметила Ингер.

На это Исаак тоже кивнул головой и сказал:

— Да, спасибо за это от нас обоих!

Но у Гейслера была привычка никогда не впадать в сентиментальность.

— Я пробираюсь через перевал в Швецию.

Хотя хозяева были угнетены засухой, визит Гейслера порадовал их, они радушно угостили его, им было очень приятно как следует принять его, он сделал им так много добра.

Сам Гейслер нисколько не печалился, он сейчас же начал рассуждать обо всем, осматривал землю, кивал головой, по-прежнему держался прямо и имел такой вид, как будто у него в кармане много сотен далеров. И он принес с собой бодрость и оживление не потому, что громко кричал, а потому что речь у него была очень живая.

— Великолепное место Селланро! — сказал он. — А теперь за тобой потянулись в эту пустыню и другие, Исаак. Я насчитал целых пять поселений. Есть и еще, кроме этих?

— Всего семь, двоих не видно с дороги.

— Семь дворов, скажем, пятьдесят человек. В конце концов, здесь получится густо заселенный уголок. У вас нет здесь школьного округа и школы?

— Есть.

— Мне так и говорили. Школа на участке Бреде, потому что он находится почти в центре. Подумать только, Бреде — и вдруг хуторянин-землепашец! — сказал он и зевнул. — Я слышал про тебя, Исаак, ты — основа всего. Это меня радует. Ты завел и лесопилку?

— Да уж какая вышла. Но мне она большая подмога. Я распилил на ней не одно бревно и для нижних соседей.

— Так и следует!

— Хорошо бы послушать, что вы о ней скажете, если вас не затруднит дойти до нее.

Гейслер кивнул головой, как будто он был знаток этого дела, — кивнул — и это значило: ладно, он осмотрит лесопилку, осмотрит все, что сделано. Он спросил:

— У тебя было двое сыновей, где же другой? В городе? В конторе? Гм! — сказал Гейслер. — А этот вот молодчина, — как тебя зовут?

— Сиверт.

— А того?

— Елисей.

— В конторе у какого-то инженера? Чему он там научится? Только помирать с голоду. Он мог бы поступить ко мне, — сказал Гейслер.

— Да, — только и проговорил Исаак из вежливости.

Ему было жаль Гейслера. Да, посмотреть сейчас на Гейслера, так не похоже было, чтоб он мог держать помощника, пожалуй, и одному-то ему приходилось трудненько. Вон и пиджак у него изрядно-таки протерся на локтях, и рукава с бахромой.

— Не угодно ли вам надеть сухие чулки? — спросила Ингер, подавая новую пару из своих, а чулки были из тех, что она завела в свою лучшую пору, с каемкой и тоненькие.

— Нет, спасибо, — кратко сказал Гейслер, хотя, конечно, ноги у него были совсем мокрые.

— Гораздо лучше было бы ему поступить ко мне, — сказал он про Елисея, — у меня нашлось бы для него дело, — прибавил он, вынув из кармана маленькую серебряную табакерку и повернув ее. Может, это был единственный предмет роскоши, оставшийся у него от прошлого.

Но он не мог долго сосредоточиться на чем-нибудь, сунул табакерку обратно в карман и завел разговор о другом:

— Послушай-ка, это луг там такой серый? Я думал, тень. Отчего это земля горит? Пойдем со мной, Сиверт!

Он моментально встал из-за стола, обернулся в дверях, поблагодарил Ингер за еду и исчез. Сиверт пошел за ним.

Они отправились к реке, Гейслер все время упорно высматривал что-то.

— Здесь!— сказал он и остановился. И вдруг прибавил:— Не годится, чтоб земля у вас пересыхала, когда под рукой река, из которой вы можете взять воду! К завтрашнему дню луг должен позеленеть!

Изумленный Сиверт сказал:— Да.

— Ты пророешь отсюда наискосок порядочную канавку, земля ровная, а дальше мы проведем желоб. Раз у вас есть лесопилка, наверно есть и длинные доски? Отлично! Сходи за лопатой и заступом и начинай здесь, а я вернусь и хорошенько намечу линию.

Он опять побежал на усадьбу, в башмаках у него хлопало, до того он промок. Исаака он засадил за работу над желобами, велел сделать побольше, их придется проложить там, где нельзя будет поднять воду в канаву. Исаак попробовал было возразить, что вода, пожалуй, не дойдет сюда, очень уж далеко, сухая земля выпьет ее, прежде чем она дойдет до попаленных мест. Гейслер заявил, что, конечно, это сделается не сразу, земля некоторое время будет впитывать воду, но немного спустя вода пройдет дальше.

— Завтра в этот час поля и луг будут зелеными!

— Так,— сказал Исаак и изо всех сил принялся орудовать над желобами.

Гейслер побежал к Сиверту:

— Ладно,— сказал он,— валяй так и дальше, я сразу увидел, что ты молодчина! Линия должна пойти по этим вешкам. Если на пути попадется большой камень или гора — веди канаву в бок, но в той же плоскости. Понимаешь: на такой же высоте.

И опять к Исааку:

— У тебя готов один, нам понадобится, может быть, шесть; работай, Исаак, завтра все должно зазеленеть, урожай твой спасен.— Гейслер сел на бугорок, хлопнул себя обеими руками по коленкам и заболтал восторженно, перескакивая, словно молния, с одной мысли на другую!

— Есть у тебя смола, есть пакля? Удивительно, все-то у тебя есть! Потому что в начале желоба-то ведь будут протекать, потом замокнут и станут непромокаемы, как бутылки. Ты говоришь у тебя есть смола и пакля, потому что ты строил лодку, где ж твоя лодка? На озере? Надо мне посмотреть и ее!

Чего только ни наобещал этот Гейслер. Он был проворный господин, а сейчас стал, пожалуй, еще легче на подъем. Всякое дело он желал делать рысью, ну а уж тут он носился, как ветер. Да и нужно сказать, умел он приказывать. Разумеется, у него была склонность к преувеличениям, поля и луг никак не могли зазеленеть раньше чем послезавтра, но Гейслер был все-таки молодец, умел видеть и делать нужные выводы, и если урожай в Селланро был спасен, так действительно благодаря этому странному человеку.

— Сколько у тебя сейчас желобов?— Мало. Чем больше будет желобов, тем лучше побежит вода. Если ты сколотишь десять или двенадцать десятиаршинных желобов, то этого хватит. Ты говоришь у тебя есть несколько двенадцати-аршинных досок? Пусти их в ход, они окупятся осенью.

И на этом он не успокоился, вскочил с бугра и побежал опять к Сиверту:

— Великолепно, Сиверт, все идет отлично, отец твой сколачивает желоба, у нас будет больше, чем я мечтал. Ступай, притащи желоба, мы сейчас начнем!

Весь день шла горячка, Сиверту никогда не приходилось работать при такой гонке, в совершенно незнакомом для него темпе. Они едва урвали время пойти закусить. Но вот вода побежала. Местами пришлось прорыть канавку поглубже, кое-где опустить или приподнять желоб, но вода текла!

До позднего вечера трое мужчин ходили по полю, исправляя свою работу, и были серьезно заняты ею, но когда влага начала просачиваться в самые засохшие уголки земли, сердца новоселов затрепетали от радости.

— Я позабыл свои часы,— который час?— спросил Гейслер.— Завтра в этот час все будет зелено!— сказал он.

Сиверт и ночью вставал посмотреть на свои канавки. И встретил отца, вставшего за тем же делом. О, Господи, то-то было волнение и ожидание в глуши!

Но на следующий день Гейслер долго лежал в постели и был вял, весь его пыл прошел. Он не в состоянии был пройти на озеро посмотреть лодку, и уж только от стыда сходил взглянуть на лесопилку. Даже и к оросительным канавкам не проявил прежнего горячего интереса; увидев, что ни луг, ни поле за ночь не позеленели, он утратил бодрость, он не думал о том, что вода все бежит и бежит и распространяется все дальше и дальше по земле. Он ограничился тем, что сказал:

— Может статься, что толк от этого ты увидишь не раньше, чем послезавтра. Но не унывай.

Среди дня притащился Бреде Ольсен и принес с собой образцы камней показать Гейслеру.

— На мой взгляд, это что-то прямо удивительное,— сказал Бреде.

Гейслер не захотел смотреть его камни:

— Это так-то ты занимаешься земледелием — бродишь кругом в погоне за сокровищами?— язвительно спросил он.

Бреде, видимо, не желал выслушивать замечаний от своего бывшего ленсмана, а хорошенько отделал его, стал ему «тыкать».

— Я тебя не уважаю!

— Ты ведь только и делаешь день — деньской, что болтаешься,— сказал Гейслер.

— А ты-то сам,— ответил Бреде,— ты-то чем занят? У тебя ведь есть скала, которая ни к черту не нужна, а только занимает место. Хе-хе, можно сказать, настоящий хозяин!

— Ступай себе с богом!— сказал Гейслер.

И Бреде не задержался, вскинул свой мешочек за спину и, не прощаясь, пошел обратно в свое гнездо.

Гейслер уселся перелистывать какие-то бумаги и основательно задумался над ними. Похоже было, словно он раззадорился и захотел посмотреть, как же обстоит дело с медной сказкой, с контрактом, анализом: да ведь это же почти чистая медь, медная лазурь, он должен что-нибудь делать, а не вешать голову!

— Приехал я сюда собственно за тем, чтобы наладить все это дело,— сказал он Исааку.— Я думаю очень скоро подрядить большую партию рабочих и начать разработку скалы; что ты об этом скажешь?

Исааку опять стало его жалко, и он ничего ему не возразил.

— Это для тебя не безразлично. Хочешь, не хочешь, а здесь появится много народа, и будет страшный шум и трескотня от взрывов, не знаю, как тебе это понравится. С другой же стороны, в округе начнется жизнь и движение, и тебе будет легко сбывать свои продукты. Ты сможешь запрашивать за них, что вздумается.

— Так,— сказал Исаак.

— Не говоря уже о том, что будешь получать большой процент с того, что даст скала. Это будут большие деньги, Исаак.

— Я и так уж получил от вас слишком много.

На следующее утро Гейслер покинул усадьбу и зашагал в восточном направлении, в Швецию. Он ответил кратким:

«Нет, спасибо» на предложение проводить его. Ужасно жалко было смотреть, как он уходит, такой бедный и одинокий. Ингер наложила ему пропасть самых отменных продуктов, напекла даже вафель, но и этого ей показалось мало; она хотела ему дать еще кувшинчик сливок и целую кучу яиц, но он отказался тащить их. Так что Ингер даже немножко обиделась.

Гейслеру, конечно, было тяжело покинуть Селланро, против обыкновения ничего не заплатив; и он притворился, как будто заплатил, как будто и в самом деле выложил крупную бумажку, а потом сказал Леопольдине:

— Теперь я дам тебе одну штучку, поди сюда!

И дал ей табакерку, серебряную табакерку.

— Вымой ее и можешь держать в ней булавки,— сказал он.— А если не пригодится, так стоит мне только добраться домой, и я пришлю тебе что-нибудь другое, там у меня пропасть всякого добра...

Оросительные же канавки остались и после Гейслера, остались и действовали ночью и днем, неделю за неделей; заставили поля позеленеть, заставили картофель отцвести, заставили ячмень выметать колос.

Снизу стали приходиться новоселы посмотреть на чудо, пришел Аксель Стрем, сосед из «Лунного», тот, что был неженат и не имел работницы, но справлялся все-таки сам, пришел и он. Он в этот день был в хорошем настроении и рассказал, что ему обещали на лето девушку, так что придет конец его муке! Он не сказал, кто эта девушка. Исаак тоже не спросил; обещали же ему Варвару Бреде, это будет стоить только телеграммы в Берген. Ну что ж, Аксель выложил деньги на эту телеграмму, хотя человек он был куда какой расчетливый, попросту говоря, скуповатый.

А выманил сегодня Аксея к соседу водопровод, он осмотрел его из конца в конец и страшно заинтересовался. На участке его не было большой реки, но имелся ручей, не было у него и досок для желобов, но он решил прокопать весь ход в земле, это можно было сделать. Пока еще на его низменном участке дело обстояло не так плохо, но если засуха простоит долго, придется и ему подумать об орошении. Осмотрев все, он стал прощаться. Его пригласили зайти в дом, но он отказался за недосугом, он решил еще нынче же вечером начать рыть канаву. И ушел.

Это не то, что Бреде.

А Бреде-то, уж и побегал же он по болотам, рассказывая, что в Селланро завелись водопроводы и всякие чудеса.

Вот и нехорошо очень уж усердствовать с землей,— говорил он,— Исаак-то докопался до того, что пришлось ему начать орошать!

Исаак был терпелив, но частенько желал избавиться от этого человека, от этого сплетника, болтавшегося в Селланро. Бреде ссылаясь на телеграф, что покуда он общественное должностное лицо, он должен содержать линию в порядке. Но телеграф уже много раз делал ему выговоры за упущения и опять предлагал это место Исааку. Бреде был занят не телеграфом, а металлами в скалах, это сделалось у него своего рода болезнью, навязчивой идеей.

Частенько случалось, что он приходил в Селланро, воображая, что нашел сокровище, он кивал головой и говорил:

— Особенно я не буду распространяться, но что я нашел что-то необыкновенное, этого я не стану утаивать!— Он растрчивал время и силы без всякой пользы. Возвращаясь усталый домой, он бросал на пол мешок с обрзчиками камней, тяжело отдуваясь после дневной работы, и заявлял, что никому не приходится так биться из-за куска хлеба, как ему. Он посадил немножко картофеля на кислом болоте, и если скашивал крапиву, буйно растущую вокруг самой его избы, то и это он называл земледелием. Он попал не на свою полочку, хорошего нечего было ждать. Вот уж дерновая крыша его осела, ступеньки на кухню развалились от сырости; точильный камень валялся на земле, телега вечно стояла под открытым небом.

Бреде жилось в том отношении хорошо, что такие мелочи совершенно его не огорчали. Когда дети, играя, катали точильный камень по траве, отец смотрел на это благодушно, а иногда и сам помогал им катать. Легкомысленная и ленивая натура, без всякой серьезности, но и без меланхолии, слабохарактерный, кой-каких винтиков в голове не хватает — он все-таки добывал кое-какое пропитание, жил с своей семьей со дня на день, и все они как-то существовали. Но, разумеется, не мог же торговец вечно кормить Бреде и его семью, он говорил это часто, а теперь заявил строго-настрою. Бреде и сам это понимал и обещал положить этому конец: он продаст свой участок, может быть, хорошо на этом заработает и рассчитается с торговцем!

О, да если он на этом и потеряет, Бреде все равно продаст участок, на что ему земля! Он стремился назад в село, к легкомыслию, шалопайству и мелочной лавоч-

ке — вот куда он стремился, вместо того, чтоб расположиться на покой здесь, работать и позабыть шумный свет. Мог ли он позабыть рождественские праздники, или Семнадцатое мая, или базары в общинном доме! Он любил поговорить с человеком, потолковать о новостях, а с кем ему разговаривать в этих болотах? Правда Ингер из Селланро одно время как будто проявляла к нему некоторую склонность, но теперь она стала другая, опять совсем неразговорчивая. Да к тому же, она сидела в тюрьме, он же был человек общественный — компания не подходящая!

Нет, он сам себя устранил, покинул село. Теперь он с завистью видел, что ленсман нашел себе другого понятого, а доктор другого кучера; он бежал от людей, нуждавшихся в нем, и вот теперь, когда он не находился у них под рукой, они научились обходиться и без него. Но какой же он понятой и какой кучер! В сущности, его — Бреде — следовало бы доставить обратно в село на лошадях!

Теперь другое — Варвара, зачем он надумал пристроить ее в Селланро? Ну, это он затеял после совещания с женой. Если все пойдет правильно, то тут откроется некоторое будущее для девушки, да, может быть, и для всей семьи Бреде. Вести хозяйство у двух конторщиков в Бергене, конечно, штука не плохая, но бог есть, что она за это в конце концов получит; Варвара ведь красивая и из себя статная, пожалуй, дома у нее больше шансов хорошо устроиться. В Селланро-то ведь двое парней.

Потом Бреде понял, что этот план не удастся — и придумал другой. Оно, собственно говоря, нечего особенно гнаться за тем, чтоб породниться с Ингер, побывавшей в тюрьме, парни ведь есть и не в одном Селланро, вот хотя бы Асель Стрем. У него двор и землянка, он человек работающий и бережливый, постепенно накопил себе скотины и добра, а ни жены, ни работницы у него нет.

— И вот что я тебе скажу — будет у тебя Варвара, никаких других помощников тебе и не надо! — сказал Бреде Акселю. — А вот погляди-ка ее карточку! — сказал он.

Прошло две недели, и вот приехала Варвара, Аксель немножко запоздал с сенокосом, приходилось ночью косить, а днем сгребать, и одному все делать — и вот тут приехала Варвара! Суший подарок! Выходило, что Варвара умеет работать, она перемыла посуду, выстирала белье, сварила обед, подоила коров, пришла и на сенокос, даже помогла таскать сено на сеновал, и тут поспела; Аксель решил дать ей хорошее жалованье и оставить ее.

Оказалось, что она не только на фотографии нарядная барышня. Варвара была прямая и тоненькая, голос у нее чуть сипловатый, она в очень многом обнаружила зрелость и опытность и была вовсе не желторотый птенчик. Он не понимал, отчего у нее такое узенькое и худое лицо:

— Я узнал бы тебя по виду,— сказал он,— но на карточке ты не похожа.

— Это с дороги,— отвечала она,— да еще и от городского воздуха.

Но спустя некоторое время, она опять покруглела, похорошела, и сказала:

— Ты не знаешь, как сильно действует такая дорога и городской воздух!— Она намекнула и на искушения в Бергене — вот где надо смотреть в оба!— И пока они сидели и болтали, она попросила его подписаться на газету, Бергенскую газету, чтоб она могла следить за новостями в мире. Она привыкла к чтению, к театру и музыке, а здесь так скучно.

На радостях, что ему так повезло с работницей, Аксель подписался на газету и смотрел сквозь пальцы на то, что семейство Бреде частенько заглядывало к нему на хутор, пило и ело. Он хотел поощрить свою работницу. Ничего не могло быть приятнее воскресных вечеров, когда Варвара перебирала струны гитары и напевала своим сиплым голосом; Аксель положительно приходил в умиление от незнакомых, красивых песен и оттого, что вот кто-то и в самом деле сидит у него на хуторе и поет.

За лето он узнал ее с другой стороны, но в общем все же оставался доволен. Она была не без капризов, случалось, дерзка на язык, пожалуй, даже и чересчур. В тот вечер, в субботу, когда Акселю непременно нужно было сходить в мелочную лавку в селе, Варваре не следовало бросать землянку и скотину и уходить, как ни в чем не бывало. Это произошло из-за маленькой ссоры. А куда же она ушла? Просто домой в Брейдаблик, но все-таки. Когда Аксель ночью вернулся в землянку, Варвары не было, он сходил к скотине, разыскал себе поесть и лег. Утром Варвара пришла.

— Мне захотелось испытать, каково это жить в доме с деревянным полом,— сказала она довольно язвительно.

На это Аксель ничего путного не мог ответить, потому что у него-то была простая землянка, с земляным полом, а ответил только, что лес у него есть, так что когда-нибудь будет и изба с деревянным полом! Тогда она словно бы раскаялась — она, ведь, была не дурная — и несмотря на

воскресенье пошла в лес за новыми можжевельными ветками и выслала ими земляной пол.

Но раз уж она проявила такую старательность и доброту, то и Акселью пришлось вытащить красивый головной платок, который он купил ей вчера вечером; положим, он рассчитывал припрятать его и добиться за него что-нибудь посущественнее. И вот, платочек ей понравился она сейчас же надела его и даже спросила, идет ли он ей. Ну, конечно, он очень ей шел, да надень она на голову хоть его кожаную сумку, и та к ней пошла бы! Тогда она засмеялась и, желая отплатить ему такую же любезностью, сказала:

— Я и в церковь, и к причастию пойду скорее в этом платочке, чем в шляпке. В Бергене мы, ведь, все ходили в шляпках, кроме простых служанок, только что из деревни.

И опять самая нежная дружба.

А когда Аксель достал газету, принесенную с почты, Варвара села читать новости, о том, что творится на свете, о налете на ювелирный магазин на Страндгатан, о драке цыган, о детском трупике, выловленном из морского залива в городе. Он был зашит в старую рубашку, разрезанную наискось у рукавов.

— Кто же выбросил этого ребеночка?— сказала Варвара.— По старой привычке, она прочитала и рыночные цены. Лето шло.

ГЛАВА XVI

Крупные перемены в Селланро.

Да, почти ничего не узнать против того, что было вначале. Теперь здесь стояли всевозможные строения, и лесопилка, и мельница, глухая пустыня превратилась в обитаемую землю. А впереди предстояло еще больше. Замечательнее же всего была Ингер, так она переменялась и такая опять стала работающая.

Прошлогодний кризис не мог сразу побороть ее легкомыслия, вначале у нее бывали рецидивы, она ловила себя на желании поговорить о тюрьме и о Тронгеймском соборе. О, маленькие, невинные штучки, кольцо же сняла с руки, а вольно подоткнутые юбки спустила пониже. Она сделалась задумчива, на усадьбе стало тише, визитов поубавилось, незнакомые женщины и девушки из села приходили реже, потому что она не занималась с ними. Нельзя жить в глухой пустыне и постоянно веселиться. Радость не развлечение.

В глуши каждое время года имеет свои чудеса, но постоянны и неизменны: тяжелый, неизмеримый звук от небес и от земли, ограниченность со всех сторон, лесная тьма, ласки деревьев. Все тяжело и мягко, никакая мысль здесь невозможна. К северу от Селланро находилось маленькое озерцо, лужица, величиной с аквариум. В нем плавала крошечная рыба молодь, никогда не выраставшая, она там жила и умирала и ни на что не годилась, Господи, решительно ни на что. Однажды вечером Ингер стояла около этой лужицы, прислушивалась к коровьим колокольчикам, но ничего не услышала, потому что все было мертво; услышала только песню из аквариума. Она была такая тоненькая, тоненькая, почти не существующая, далекая-далекая. То пели эти крошечные рыбки.

В Селланро радовались и тому, что каждую осень и весну видели диких гусей, тянувшихся караванами над пустыней, и слышали их говор в небесном пространстве, он звучал словно человеческая речь. И казалось тогда, будто мир замирал на минуту, пока вереница не скрывалась. Не чувствовали ли люди в этот миг, что в них будто закрадывалась какая-то слабость? Они снова принимались за свою работу, но сначала глубоко переводили дух, словно услышали чей-то призыв из далекого мира.

Великие чудеса окружали их всегда: зимою — звезды, зимою же часто северное сияние, небесный свод из крыльев, фейерверк у Господа бога. По временам, не часто, не постоянно, а изредка, слышали они гром. В особенности это бывало осенью; кругом — тьма, и люди и животные настраивались торжественно, скот, возвращавшийся с пастбища домой, сбивался в кучу и не двигался. К чему он прислушивался? Ждал ли конца? И чего ждали люди в поле, стоя под громовыми ударами и склоняя головы?

Весна — да, ее резвость и безумие и восторг, но осень! Она порождала боязнь темноты и настраивала на молитвенный лад, чудились призраки и слышались таинственные голоса. В осенний день, случалось, люди выходили и искали чего-то, мужчины искали заклётого дерева, а женщины — скотину, которая бегала, сломя голову, наевшись грибов. Домой возвращались, напятав душу множеством тайн. Вдруг наступят нечаянно на крота и накрепко притопчут заднюю часть его к тропинке, так что ему уже не оторвать верхнюю часть туловища от земли. А то вдруг наткнутся на гнездо горной куропатки, и пред ними вырастет разъяренная самка. И даже больше мухоморы не лишены значения, человек не зря смотрит на них. Мухомор не цветет и не движется, но

в нем есть что-то властное, он чудовище, он похож на обнаженное легкое, что живет и дышит без тела.

В конце концов, сломилась и Ингер, она ударилась в религиозность. Могло ли этого не случиться? Никто в глуши этого не минует, здесь не только земные стремления и бренность, здесь благочестие и богобоязненность и пышное суеверие. Ингер, наверное, думала, что у нее больше, чем у других, есть причин ожидать небесной кары, и кара эта непременно последует. Она ведь знала, что бог ходит по вечерам и озирает всю свою пустыню, а глаза у него сказочно-огромные, ее то он уж найдет! В ежедневной своей жизни она не так много могла исправить; конечно, она могла запрятать золотое кольцо на самое дно сундука и могла написать Елисею, чтоб и он тоже постарался исправиться; но кроме этого ничего больше не оставалось, как побольше работать и не щадить себя. Еще одно она могла сделать: одеваться в скромные платья и только по воскресеньям надевать на шею узенькую голубую ленточку, чтоб отметить праздник.

Эта не настоящая и ненужная бедность являлась выражением своего рода философии самоунижения, стоицизма. Голубая шелковая ленточка была старенькая, Ингер спорола ее с шапочки, которая стала мала Леопольдине, местами она выгорела, и, по совести сказать, порядочно испачкалась — Ингер носила ее теперь в виде смиренного украшения по праздникам. Ну да, преувеличивала и подражала нищете в хижинах, она притворялась бедной, а разве заслуга ее была бы больше, если б она одевалась так бедно из нужды? Оставим ее в покое. Она имеет право на покой!

Она страшно преувеличивала и делала больше, чем следовало. В усадьбе было двое мужчин, но Ингер следила когда они уходили и сама пилила дрова. К чему было это мученье и эта эпитимия? Она была такой незначительный человек, такой ничтожный, ее способности были такие обыкновенные, жизнь ее или смерть пройдут незамеченными в стране. Только здесь, в глуши, она представляет нечто. Здесь она была почти большой, во всяком случае, больше всех, и ей казалось, что она достойна всех кар, какие на себя налагала. Муж сказал ей:

— Мы с Сивертом говорили, что не хотим, чтоб ты пилила за нас дрова и мучила себя.

— Я делаю это ради своей совести, — отвечала она.

Совесь? Это опять навело Исаака на размышления. Он был человек в летах, тяжелый на подъем, но слова его, когда до них доходило дело, были вески. Совесь,

должно быть, что-то очень сильное, раз она опять совсем перевернула Ингер. И как бы то ни было, обращение Ингер подействовало и на него. Она заразила своего мужа, он стал задумчив и кроток. То была удивительно меланхоличная и тягостная зима. Исаак искал уединения, рыская по укромным местам. Желая сберечь свой лес, он купил несколько делянок с хорошими строевыми деревьями в казенном лесу, росшем на склоне, обращенном к Швеции. Для рубки этих бревен он не хотел брать помощника, он хотел быть один, а Сиверту велел оставаться дома и следить, чтобы мать не изводила себя.

И вот, в короткие зимние дни, Исаак впотьмах уходил в лес и возвращался тоже впотьмах; не всегда бывала луна и звезды, порой его собственные утренние следы заносило снегом, и он с трудом находил дорогу. Однажды вечером с ним случилось событие.

Он прошел большую часть пути, в ярком лунном свете уже виднелся на откосе его хутор, такой красивый и чистенький, но маленький и почти что вросший в землю: так глубоко запорошил его снег. Вот опять он наготовил бревен, то-то удивятся Ингер и дети когда узнают на что они ему нужны, какую необыкновенную постройку он задумал. Он сел на снег передохнуть немножко, чтоб придти домой не слишком запыхавшимся.

Кругом тихо, да благословит бог эту тишину и полноту мыслей, она только ко благу! Но Исаак ведь не даром пахарь, он и сейчас прикидывает взглядом, сколько земли ему предстоит расчистить в будущем, мысленно отбрасывает большие камни, у него решительно призвание к раскопкам. Вон там — он это знает — на земле его есть хороший длинный овражек, в нем пропасть руды, на каждой лужице там непременно металлическая пленка, вот его он и распашет. Он делит глазом поле на квадраты; у него свои планы и соображения относительно этих квадратов, он сделает их ярко-зелеными и плодоносными. О, обработанное поле большая благодать. Оно действовало на него, как право и порядок, доставляло наслаждение...

Он встал и не сразу сообразил где он. Гм? Что случилось? Ничего, он просто посидел немножко. А сейчас что-то стоит перед ним, какое-то существо, дух, серый шелк — нет, ничего. Ему стало не по себе, он сделал маленький, неуверенный шаг вперед — прямо на него был обращен чей-то взгляд, пристальный взгляд, два широко раскрытых глаза. Одновременно вблизи зашелестели осины. А ведь всякому известно, что у осин очень неприятная и

жуткая манера шелестеть, во всяком случае, Исаак никогда не слышал такого противного шелеста, как сейчас, и почувствовал, что его пронизывает дрожь. Он протянул вперед руку, и наверно рука эта никогда не делала более беспомощного жеста.

Но что такое стоит перед ним, и настоящее это или нет? Не было дня, чтоб Исаак не мог поклясться, что существует высшая сила. Один раз он даже ее видел, но то, что он видел сейчас, не было похоже на бога. Уж не таков ли видом Святой Дух? Но в таком случае, зачем он стоит здесь, среди чистого поля, два глаза, взгляд, и только? Уж не за тем ли, чтоб взять его, унести его душу? Ну что ж, пускай, ведь когда-нибудь это должно же случиться, а так он обретет блаженство и попадет на небо.

Исаак с волнением ожидал, что будет. Озноб его не прекращался, от призрака исходил холод, мороз, должно быть, это дьявол. Тут Исаак попал, так сказать, на знакомую почву, возможно, что это и действительно дьявол, но что же ему здесь надо? И за что именно он вцепился в Исаака? Ведь он сидел и мысленно распахивал землю — не это же рассердило черта? Никакого иного греха Исаак за собой не знал, просто он шел из леса домой, он, усталый и голодный рабочий человек шел в Селланро, ничего плохого на уме у него не было...

Он сделал еще шаг вперед, но небольшой, и сейчас же попятился обратно. Видение не исчезало, Исаак нахмурился, словно хотел сказать: тут что-то не то. Дьявол так дьявол, но высшей власти у него нет. Лютер чуть не убил его один раз, да и многие прогоняли его крестным знаменем и именем Иисуса. Не то, чтобы Исаак бросал вызов опасности и издевался над ней, но он раздумал умереть и обрести блаженство, как уже было решил перед тем, и вот он сделал два шага по направлению к призраку, перекрестился и крикнул:

— Именем Господа Иисуса!

— Гм? Услыхав свой крик, он сразу очнулся и увидел Селланро вдалеке на откосе. Осины перестали шелестеть. Оба глаза исчезли из воздуха.

Он не мешкал на пути домой и не шутил с опасностью. Но стоя уже на пороге избы, громко и облегченно крикнул и вошел в горницу, полный сознания собственного величия, как настоящий мужчина, даже как человек, повидавший всякое.

Ингер вздрогнула и спросила, почему он так страшно бледен.

Он не стал гаяться, что встретил дьявола.

— Где?— спросила она.

— Вон там. Напротив нас.

Ингер не выразила никакого неудовольствия. Она, правда, не похвалила его, но в выражении лица ее не было ничего похожего на сердитое слово или пинок ногой. Наоборот, за последние дни настроение у Ингер стало несколько светлее, и сама она сделалась ласковее, хоть и неизвестно, отчего; сейчас она только спросила:

— Это был сам дьявол?

Исаак кивнул головой и сказал, что насколько он может судить,— да, сам.

— Как же ты с ним разделался?

— Я пошел на него во имя Иисуса,— ответил Исаак.

Ингер удивленно покачала головой, и прошло порядочно времени прежде, чем она собралась подать ужин.

— Во всяком случае, один ты больше не пойдешь в лес!— сказала она.

Она встревожилась за него, это его обрадовало. Исаак притворился, будто несколько не испугался, и никаких провожатых в лесу ему не нужно, но это он только притворялся, чтобы не перепугать без надобности Ингер своим жутким приключением. Он ведь сам мужчина и глава, защитник их всех.

Ингер видела его насквозь и сказала:

— Ну да, да, ты не хочешь пугать меня, но вперед ты будешь брать с собой Сиверта.

Исаак только хмыкнул.

— Ты можешь захворать или ослабеть в лесу, да, по-моему, ты и так не совсем здоров в последнее время.

Исаак опять хмыкнул.

Нездоров? Устал, измотался — это да. Но болен? Пусть Ингер не смешит его, он и был и есть здоров. Ест, спит, работает, у него прямо несокрушимое, страшное здоровье. Однажды на него обрушилось дерево и сорвало ему ухо, это не особенно его огорчило, он поднял ухо, прижал его к месту шапкой на несколько дней и ночей, оно и приросло. Когда у него бывало неладно внутри — он пил отвар из липового цвета на горячем молоке и потел, еще принимал лакрицу, которую покупал у торговца, и испытанное средство, лекарство древних — терьяк. Если случалось сильно порезать руку, он давал сойти крови присыпал рану солью, и она в несколько дней заживала. Доктора в Селланро никогда не приглашали.

Нет, Исаак не был болен. А происшествие с дьяволом может случиться и с самым здоровым человеком. Исаак не испытывал никаких сомнений по этому поводу. По мере того, как подвигалась зима, и время близилось к весне, он, мужчина и верховный глава, начинал чувствовать себя почти героем: «Я знаю толк в этих вещах, держитесь только меня, при нужде я могу даже и пригрозить!»

А, в общем, дни стали теперь длиннее и светлее, прошла Пасха, бревна уже лежали во дворе, все сияло, люди вздохнули свободно после пережитой зимы.

Ингер опять первая потянулась к солнышку, она уж давно находилась в хорошем настроении духа. Отчего это происходило? Ха, причина была серьезная: она опять затяжелела, опять ждала ребенка. Все в ее жизни заравнивалось, нигде не оставалось трещины. А ведь это было величайшее милосердие после всех ее согрешений, счастье сопровождало ее, счастье ее прямо преследовало! Исаак и тот однажды заметил кое-что и спросил:

— Сдается мне, у тебя опять что-то, как же это так?

— Да, слава богу, наверно будет!— ответила она.

Оба были одинаково удивлены. Разумеется, Ингер была еще не так стара, Исааку и вообще она ни для чего не казалась старой, но все равно, опять ребенок, да, да! Леопольдина несколько раз в год уезжала в школу в Брейдаблик, в доме не было малюток, да и Леопольдина-то уж стала большая.

Прошло несколько дней, и вот Исаак что-то такое решил и отправился в село. Ушел он в субботу вечером, чтобы вернуться утром в понедельник. Он не стал рассказывать за чем идет, вернулся с работницей. Ее звали Иенсина.

— Да что ты выдумал?— сказала Ингер,— она мне не нужна.

Исаак ответил, что теперь-то и нужна.

Во всяком случае, с его стороны это была такая хорошая и заботливая выдумка, что Ингер совсем растрогалась. Новая работница была дочь кузнеца, она проживет лето, а там видно будет.

— А кроме того,— сказал Исаак,— я послал телеграмму Елисею и велел ему приехать.

Внутри у нее что-то дрогнуло — материнское сердце. Телеграмму! Исаак хочет совсем dokonать ее своей добротой! Она ведь так горевала, что Елисей живет в городе, писала ему о боге, говорила, что отец начинает сдавать, а участок становится все больше и

больше, Сиверт всюду не поспевает, да к тому же он должен когда-нибудь получить наследство после дяди Сиверта — все это она написала ему и даже послала денег на дорогу. Но Елисей стал совсем городским жителем и не стремился возвращаться к крестьянской жизни; он отвечал — что же он станет делать дома? Неужто работать по хозяйству и забросит всю свою ученость и знания? «Сказать откровенно, у меня нет к тому никакой охоты,— писал он.— Если же ты можешь прислать мне холста на белье, то избавишь меня от необходимости влезать в долги»,— писал он.— И понятно, мать послала холста, удивительно часто посылала холст на белье; но когда в ней пробудилось религиозное сознание, пелена спала у ней с глаз, и она поняла, что холст Елисей продает, а деньги тратит на другое.

То же самое понял и отец. Он никогда об этом не говорил, он знал ведь, что Елисей у матери — зеница ока, и что она плачет о нем и кручинится; но двурядная тканьина исчезала кусок за куском, и он сообразил, наконец, что ни один человек в мире не может сносить столько белья. Здравое все обдумав, Исаак решил, что он должен снова стать мужчиной и главой и вмешаться в дело. Правда, страшно дорого стоило упросить торговца послать телеграмму, но эта телеграмма должна была особенным образом подействовать на сына, а кроме того, Исааку и самому было занятно прийти домой и рассказать Ингер, что вот послана телеграмма. На обратном пути он нес на спине еще сундучок своей новой работницы, но был полон такой же гордости и таинственности, как и в тот раз, когда возвращался с золотым кольцом...

Чудесное настало время. Ингер прямо не знала что бы ей такое сделать хорошего и полезного, и говорила мужу, как в старину — «Как это ты со всем справляешься!» Или: — «Ты совсем изведешься!» Или же: — «Ну, нет, теперь иди скорей домой и закуси, я напекла тебе вафель!» — Чтoб порадовать его, она спросила:

— Любопытно бы мне знать, на что ты запас эти бревна, и что ты затеваешь строить?

— И сам хорошенько не знаю,— ответил он и напыжился.

Все пошло, как в былые, давние времена. А после того, как родился ребенок, и оказалось, что это девочка, крупная девчонка, хорошенькая и правильного сложения — после

этого Исаак был бы камнем и собакой, если б не возблагодарил бога. Но что же он собирался строить? Вот уж будет теперь Олине о чем порассказать, побегать к соседям: пристройка к избе, еще горница. Что же, народу в Селланро стало много, взяли работницу, да ждут домой Елисея, да прибавилась еще маленькая девчоночка — старая изба будет теперь вместо клетки, больше она ни на что не годится.

И разумеется, в один прекрасный день он должен был рассказать Ингер, ей ведь так хотелось узнать, и хотя Ингер может быть и знала уж тайну от Сиверта — они частенько шушукались друг с дружкой — она все-таки страшно удивлялась, всплеснула руками и сказала:— «Да ты не врешь?»

Весь лоснясь от внутреннего удовольствия, он ответил:— Ты столько натащила новых ребят в усадьбу, что я не знаю, как их и приютить!

Мужчины каждый день уходили ломать камень для новой каменной избы. Они старались перещеголять друг друга на этой работе, один молодой и крепкий, с полным круглым телом, с глазом, быстро определяющим место удара и быстро отыскивающим подходящий камень; другой — пожилой и медлительный, с длинными руками, наваливающийся на лом с чудовищной силой. Наломав большую кучу, они давали себе передышку и сдержанно разговаривали.

— А Бреде-то собрался продавать,— сказал отец.

— Да,— сказал сын.

— Занятно, сколько он просит.

— Ну, да.

— А ты не слыхал ничего?

— Нет. Слыхал, что двести.

Отец подумал с минуту и сказал:

— Как по-твоему, годится этот камень на фундамент?

— Смотря по тому, собьем ли мы с него эту корку,— ответил Сиверт и сейчас же встал, дал отцу держать лом, а сам принялся колотить молотом. Он раскраснелся и вспотел, вытягивался во весь рост и с размаха опускал молот, опять выпрямлялся и опускал молот, двадцать раз подряд, двадцать громов. Он не щадил ни инструмента, ни себя. Работа была тяжелая, рубашка вылезла у него из штанов, живот обнажился, каждый раз он приподымался на цыпочки, чтоб сильнее размахнуться молотом. Двадцать ударов.

— Давай посмотрим,— крикнул отец.

Сын остановился и спросил:

— Есть на нем трещина?

Оба легли на землю и осмотрели камень, осмотрели этого дурня, скотину; нет, трещины не было!

— Давай я попробую одним молотом,— сказал отец, вставая.

Работа еще труднее, вся на силе, молот разогрелся, сталь зазубрилась, рукоятка расшаталась.

— Рукоятка соскочит,— сказал Исаак и остановился.— Сил не хватает.— Только нет, этого он не думал, что сил не хватает.

И отец, этот кряж, непритязательный, полный доброты, предоставил сыну нанести последние удары и расколоть камень.

— Вот он и раскололся на две половинки. Пришлось-таки тебе с ним повозиться!— сказал отец.— Гм. А из Брейдаблика-то ведь может выйти толк.

— И по-моему тоже,— сказал сын.

— Ежели распахать да осушить болото.

— Избу надо поправить.

— Ну, понятно, избу поправить. Да, работы-то там будет много, что и говорить. А что, не собиралась мать на праздник в церковь?

— Да, говорила.

— Так. А вот что: надо хорошенько посмотреть везде, не найдется ли хорошая приступка для новой избы. Ты нигде не видал такой?

— Нет,— сказал Сиверт.

Они опять принялись за работу. Дня через два оба решили, что камней на стену хватит. Был вечер пятницы, они сели передохнуть и опять поговорили.

— Гм. Как по-твоему,— сказал отец,— не прикинуть ли нам насчет Брейдаблика?

— Как так?— спросил сын,— на что он нам?

— Да не знаю. Там школа, и расположен он как раз по середине.

— Так что из этого?— спросил сын.

— Я и сам не знаю, потому что нам-то он ни к чему.

— Ты уж думал об этом?— спросил сын.

Отец ответил:

— Нет. Разве что Елисей согласится на нем поработать.

— Елисей?

— Да уж не знаю.

Оба долго размышляют. Отец начал собирать инструменты и нагружать их на себя, собираясь домой.

— Разве что так,— сказал наконец Сиверт.— Так ты бы поговорил с ним.

Отец закончил разговор, сказав:

— Ну вот, и сегодня мы не нашли хорошей приступки для новой избы.

На следующий день была суббота и надо было выйти из дома спозаранку, чтоб перебраться через перевал с ребенком. Работницу Иенсину взяли с собой, так что одна крестная мать была, других воспитанников решили поискать по ту сторону перевала, среди родных Ингер.

Ингер страх как разоделась; она сшила себе платье с белой оторочкой у ворота и обшлагов. Ребенок был весь в белом, по подолу рубашечки была продернута новая голубая шелковая ленточка, ну, да и малютка-то была совсем особенная, она улыбалась и лепетала что-то свое, прислушиваясь, как бьют в горнице часы. Отец все искал для нее имя. Это было его право, он намеревался настоять на своем — вы только послушайте меня! Он колебался между Якобиной и Ревеккой, оба имени были в том же роде, что и Исаак, а в конце концов пошел к Ингер и робко сказал:

— Гм. Что ты скажешь насчет Ревекки?

— Ну что ж, хорошо,— ответила Ингер.

Услышав это, Исаак почувствовал себя героем и решительно заявил:

— Если ее будут как-нибудь звать, так только Ревеккой! Я буду не я, ежели не так!

И разумеется, он пожелал тоже отправиться в церковь,— помочь нести ребенка и так, вообще, для порядка. У Ревекки да чтобы не было провожатых! Он подстриг бороду и надел красную рубаху, как в молодые годы; дело происходило в самую жару, но у него был новый зимний костюм, и он нарядился в него. Но, впрочем, Исаак был не такой человек, чтоб превыше всего ставить щегольство и изящество, поэтому он надел в дорогу баснословной величины сапожища.

Сиверт и Леопольдина остались дома смотреть за стадом.

Озеро переплыли на лодке, и это было большим облегчением против прежнего, когда приходилось обходить озеро кругом. А посредине озера, когда Ингер стала кормить девочку грудью, Исаак увидел, как у нее блеснуло что-то, висевшее на тесемочке, что бы это такое было? В церкви он заметил, что на руке у нее золотое кольцо. Ох, уж эта Ингер, не могла-таки утерпеть!

Елисей приехал домой.

Он пробыл в отсутствии несколько лет и стал ростом выше отца, руки у него были длинные и белые, а усы маленькие и темные. Он не чванился, а явно старался держаться просто и ласково; мать дивилась и радовалась. Его поместили в каморке вместе с Сивертом, братья ладили между собой, устраивали друг другу разные каверзы — и оба потом весело смеялись. Но, разумеется, Елисею пришлось помогать строить новую избу, и тут он скоро утомлялся и совсем раскисал, потому что не привык к физической работе. Совсем плохо вышло, когда Сиверт отстал от работы и оставил ее только на тех двоих — тогда помощи отцу все равно что и не было.

А куда же девался Сиверт? Да вот, явилась в один прекрасный день из-за перевала Олина гонцом от дяди Сиверта, что он лежит при смерти! Разве Сиверту младшему не надо было пойти? Вот так положение, нельзя было придумать времени неудобнее, чтоб оторвать Сиверта; но делать нечего.

Олина сказала:

— Мне некогда было идти, уж так некогда, да что поделаешь, я привязалась ко всем здешним детям и к Сиверту, и мне захотелось помочь ему получить наследство.

— Так дядя Сиверт очень болен?

— О, Господи, да он тает с каждым днем!

— Он лежит?

— Лежит ли? Не смейтесь над смертью перед престолом Всевышнего! Дяде Сиверту уж не придется попрыгать и побегать в этом мире!

Из этого ответа они должны были заключить, что дела дяди Сиверта плохи, и Ингер настояла, чтоб Сиверт-младший шел сейчас же.

А дядя-то Сиверт, этот шутник и бездельник, вовсе и не лежал при смерти, он даже и не все время лежал в постели. Придя к нему, Сиверт-младший нашел в его маленькой усадьбе страшный беспорядок и запустение, даже и весенние работы не были как следует сделаны, даже зимний навоз не вывезен; смерти же как будто так скоро вовсе и не предвиделось. Дядя Сиверт был уж старик, лет за семьдесят, он очень исхудал, бродил полуодетый по горнице и часто прикладывался отдохнуть, он нуждался в помощнике для разных дел, вроде починки сельдяных

сетей, которые висели в сарае и рвались; но от конца он был настолько далек, что преисправно ел соленую рыбу и курил носогрейку.

Пробыв с полчаса и ознакомившись с положением дел, Сиверт собрался обратно домой.

— Домой?— сказал старик.

— Мы строим избу, и отцу некому помочь.

— Ну, а Елисей-то разве не дома?— спросил старик.

— Дома, да только он совсем не привычен.

— Тогда зачем же ты пришел?

Сиверт рассказал, с какой вестью пришла к ним Олина.

— При смерти?— спросил старик.— Так она думала, что я при смерти? Черт возьми!

— Ха-ха-ха-ха,— засмеялся Сиверт.

Старик сердито посмотрел на него и сказал:

— Ты смеешься над умирающим, а назвали тебя Сивертом в честь меня.

Сиверт был слишком молод, чтоб вешать голову, он никогда не интересовался дядей и теперь стремился поскорее попасть домой.

— Так, значит, и ты поверил, что я лежу при смерти и побежал?— сказал старик.

— Олина так сказала,— отвечал Сиверт.

Помолчав с минуту, дядя предложил:

— Если ты починишь мои сети в сарае, я тебе кое-что покажу.

— Ну,— сказал Сиверт,— а что?

— Нет, это тебя не касается,— отрезал старик и опять улегся в постель.

Переговоры грозили затянуться, и Сиверт сидел и вертелся. Он вышел на двор и оглянулся по сторонам: все было запущено, неприглядно, руки не поднимались приниматься здесь за работу. Когда он вернулся в горницу, дядя уже встал и сидел у печки.

— Видишь это?— сказал он, указывая на дубовый ларец, стоявший на полу между его ногами. То был денежный ларец. Собственно это был обыкновенный винный погребец с многими отделениями, из тех какие начальство и разные господа в старину брали с собой в дорогу; теперь бутылок в нем не было, старый окружной казначей держал в нем деньги и счета. Ох, этот погребец! Ходили слухи будто в нем хранятся все богатства мира, люди на селе говорили:— «Будь у меня хоть те денежки, что только полежали в ларце у Сиверта!»

Дядя Сиверт вынул из ларца бумагу и торжественно проговорил:

— Ты ведь умеешь читать по писаному? Прочитай этот документ.

Сиверт младший насчет чтения по писаному был не мастер, далеко нет, но все-таки прочитал, что он назначается наследником всего дядиного имущества.

— А теперь можешь делать, как хочешь!— сказал старик и положил бумагу обратно в ларец.

Сиверт не особенно растрогался: в сущности, документ сказал только то, что он знал и раньше, он еще с самого раннего детства только и слышал, что со временем получит наследство после дяди. Другое дело, если б он увидел в ларце какие-нибудь драгоценности.

— Наверное, в ларце много всяких диковинок,— сказал он.

— Да уж больше чем ты думаешь!— сухо отвечал старик.

Он был так разочарован и раздосадован поведением племянника, что запер ларец и опять лег в постель. И лежа, бросал оттуда племяннику разные новости:

— Я был уполномоченным от села и распоряжался его деньгами и богатствами больше тридцати лет, и мне нет надобности выпрашивать у кого-нибудь помощников. От кого это Олина узнала, что я при смерти? Как будто я не могу послать троих человек в тележке за доктором, ежели захочу! Не воображайте, что меня надуете! А ты, Сиверт, неужто, не можешь подождать, покуда я умру? Я только вот что тебе скажу: документ ты прочитал, и он лежит у меня в ларце, больше я ничего не скажу. Но если ты от меня уйдешь, так скажи Елисею, пусть придет сюда. Его при крещении не нарекли в честь меня, и он не носит мое земное имя — но все равно, пусть придет!

Несмотря на угрожающий тон этих слов, Сиверт взвесил их и сказал:

— Я передам Елисею!

Олина все еще была в Селланро, когда вернулся Сиверт. Она успела за это время сделать не малый крюк, побывала на хуторе у Аксея Стрема и Варвары, и вернулась полная сплетен и тайн:

— А Варвара-то потолстела,— зашептала она,— уж не значит ли это что-нибудь? Только никому, смотри, не передавай. А, ты уж вернулся, Сиверт? Ну стало быть, не о чем и спрашивать, дядя твой упокоился? Ну что ж, он был уже старый человек, на краю могилы. Что — ну! Так он не умер? Слава тебе Господи, вот чудеса? Ты говоришь,

я наболтала? Вот уж в чем не грешна, так не грешна: откуда ж мне было знать, что дядя твой обманывает бога? Он тает, вот какие были мои слова, и я готова еще раз подтвердить их под присягой. Что ты говоришь, Сиверт? Ну, да, а разве твой дядя не лежал в постели и не хрипел, скрестив руки на груди, и не говорил, что он только лежит и мучается?

Невозможно было спорить с Олиной, она забивала противника словами и выматывала у него душу. Услышав, что дядя Сиверт требует к себе Елисея, она ухватилась и за это обстоятельство и повернула его в свою пользу.

— Вот послушайте сами, как это я наболтала! Старик Сиверт созывает свою родню и тоскует по своей плоти и крови, видимое дело, это уж перед самым концом! Не отказывай ему, Елисей, ступай сейчас же, и застанешь своего дядю еще в живых! Мне тоже надо в ту сторону, нам по пути.

Но перед уходом из Селланро Олина все-таки отозвала в сторонку Ингер и пошептала ей еще про Варвару:

— Только не передавай никому, но уж есть признаки. И теперь, верно, располагают так, что она сделается хозяйкой на хуторе. Иные люди страсть как высоко мстят, хоть сами-то они не больше песчинки с морского берега. Кто бы подумал такое про Варвару! Аксель-то работающий парень, а таких больших угодий и поместий, как здесь у вас, в нашей стороне не водится, это ты и сама, Ингер, знаешь, ты ведь из нашей деревни и нашего рода. У Варвары было несколько фунтов шерсти в ящике, простая зимняя шерсть, я у нее не просила, и она мне не предлагала, мы только и сказали, что «здравствуй» да «прощай», хотя я знала ее еще девчонкой, в то время, когда жила в Селланро, а ты, Ингер, уезжала в ученье.

— Маленькая Ревекка плачет, — сказала Ингер, прерывающая Олину, и дала ей моток шерсти.

Олина рассыпалась в благодарностях:

— Ну вот, разве она только сейчас не сказала Варваре, что другой такой по части подарков, как Ингер, нет. Она столько дает, что уж и пальцы-то у нее начинают болеть, и никогда потом не попрекнет. Иди, иди к своему ангелочку, и никогда-то не видывала я ребеночка, так похожего на мать, как твоя Ревекка. А помнишь, Ингер, как ты раз сказала, что у тебя больше не будет детей? Вот видишь! Нет, надо слушать стариков, у которых у самих были дети, потому что пути Господни неисповедимы, — сказала Олина.

И она поплелась за Елисеем по лесу, съезжившаяся от старости, сухонькая, серая и любопытная, неугомная.

Она направлялась к старику Сиверту сказать, что это она — Олина — уговорила Елисея пойти.

Елисея же не надо было принуждать, уговорить его не стоило никакого труда. Он, в сущности, был лучше, чем казался, этот Елисей. И был он по-своему ловкий парень, добрый и смывленный от природы, только не очень крепкого сложения. То, что он не особенно стремился из города в деревню, имело свои причины. Он ведь знал, что мать его отбывала наказание за убийство, в городе об этом ему никто не говорил, ну, а в деревне все это помнили. Недаром же он несколько лет прожил с товарищами, научившими его большей вдумчивости и деликатности, чем у него было раньше. Разве вилка не так же необходима, как нож? Разве день деньской он не пишет «кроны» да «зре», а здесь по-прежнему в ходу старинный счет на далеры. И он очень охотно отправился за перевал, в другую обстановку, — ведь дома он должен был все время держать в узде свое превосходство. Он старался приспособиться к другим, и это удавалось, но приходилось все время быть настороже. Вот например, когда он пришел в Селланро две недели тому назад: он привез с собой свое светло-серое весеннее пальто, хотя лето перевалило уж за половину, и, вешая его на гвоздь в горнице, мог бы, конечно, повернуть наружу шелковую подкладку со своим вензелем; однако он этого не сделал. То же и с палкой, с тросточкой. Правда, это был всего лишь остов дождевого зонта, у которого он отодрал спицы, но он не ходил с ним, как в городе, и не помахивал, — куда там, а нес, смиренненько, прижав к бедру.

Нет, нечего было удивляться, что Елисей пошел на ту сторону. Он не годился в плотники, он годился писать буквы; на это способны не все и не каждый, но дома никто не мог оценить его замечательную ученость и искусство, кроме, разве, матери. Он весело шел по лесу впереди Олины, решив подождать ее повыше, бежал, как теленок, торопился. Елисей некоторым образом удрал из дому тайком, он боялся, что его увидят, а все потому, что захватил с собой весеннее пальто и тросточку. Он надеялся повидать на той стороне людей и себя показать, может быть, попасть и в церковь. И вот он радостно мучился на солнцепеке в ненужном весеннем пальто.

На постройке же о нем никто не пожалел, наоборот, отец получил обратное Сиверта, а Сиверт был во много раз полезнее, и мог работать с утра до вечера. Они недолго провозились с избой, это была пристройка, три стены; рубить бревна им не надо было, они пилили их на лесопилке; из

верхних отрезков у них сразу получались стропила для крыши. В один прекрасный день изба уж красовалась готовая пред их глазами, покрытая, с настланным полом и врезанными окнами. Больше до полевых работ они не успели сделать, обшить тесом и покрасить придется уж после.

И вдруг появился из-за гор со стороны Швеции Гейслер с большой свитой. А свита была верхом, на блестящих конях, седла желтые,— должно быть, богатые господа, такие они были толстые да тяжелые, лошади подгибались под ними; среди этих важных господ Гейслер шел пешком. Всего было четверо господ и пятый Гейслер. Да кроме того, два конюха вели каждый по вьючной лошади.

Всадники спешили во дворе, и Гейслер сказал:

— Вот это, Исаак, сам маркграф. Здравствуй, Исаак! Видишь, я опять приехал, как сказал.

Гейслер был все такой же. Хотя он и пришел пешком, но не видно было, чтоб он чувствовал себя хуже других; поношенное пальто уныло и сиротливо болталось на его исхудалой спине, но выражение лица его было властно и надменно.

— Мы с этими господами собираемся немножко побродить по скалам, они так разжирели, надо им поубавить сала.

Господа, впрочем, оказались ласковые и не гордые, они улыбнулись на слова Гейслера и попросили Исаака извинить их за то, что нагрянули на его хутор словно войной. У них есть с собой провизия, так что они не объедят его, но если им дадут переночевать под крышей, они будут очень благодарны. Может быть, они поместятся в новом доме?

Когда они немножко отдохнули, а Гейслер побывал у Ингер и поболтал с детьми, все гости ушли в лес и проходили до вечера. По временам на усадьбе слышны были странные громкие выстрелы в горах, и компания вернулась с новыми образцами камней в мешках.— Медная лазурь,— говорили они, кивая на камни. Они завели длинный ученый разговор и рассматривали карту, которую сами же набросали. Среди них был один инженер-горняк и один механик, другого называли областным начальником, третьего — помещиком; они говорили: воздушная дорога, канатная дорога. Гейслер изредка вставлял одно-два слова, и каждый раз как будто направлял их беседу, они прислушивались к его словам с большим вниманием.

— Кому принадлежит земля на юг от озера?— спросил Исаака областной начальник.

— Казне,— быстро ответил Гейслер. Он не задремал, был все время начеку, в руке он держал документ, который

Исаак когда-то подписал своими каракулями.— Я ведь сказал тебе, что казне, а ты опять спрашиваешь!— сказал он.— Желаете меня контролировать, так пожалуйста!

Позже вечером Гейслер позвал с собой Исаака в отдельную комнату и сказал:

— Продать нам медную скалу?

Исаак ответил:

— Да ведь вы один раз уж купили у меня скалу и заплатили.

— Верно,— сказал Гейслер,— я купил скалу. Но дело обстоит так, что ты имеешь проценты с продажи или разработки, так хочешь ты отказаться от этих процентов?

Этого Исаак не понял, и Гейслер должен был объяснить: Исаак не может разрабатывать руду, он землепашец, расчищает и распахивает землю; Гейслер тоже не может разрабатывать руду. Деньги, капитал? О, сколько угодно! Но у него нет времени, такая уйма дел, он все время в разъездах, должен присматривать за своими поместьями на севере и на юге. И вот Гейслер задумал продать этим шведским господам; они все родственники его жены и богатые люди, знатоки дела, они могут разработать скалу. Понимает теперь Исаак?

— Я хочу так, как хотите вы!— заявил Исаак.

Замечательно — это большое доверие доставило потрепанному Гейслеру видимое удовольствие:

— Да, вот я уж и не знаю, как быть,— сказал он и задумался. Но вдруг точно решил и продолжал.— Если ты предоставишь мне свободу действий, я, во всяком случае, сделаю лучше, чем сделал бы ты сам.

Исаак начал было:

— Гм. Вы и с самого начала сделали нам столько добра...

Гейслер нахмурился и оборвал:— Хорошо, хорошо!

Утром господа уселись за писанье. Писали они серьезные вещи: во-первых, купчую на сорок тысяч крон за скалу, потом документ, в котором Гейслер отказывался от всех этих денег до единого скиллинга в пользу своей жены и детей. Исаака и Сиверта позвали подписаться под этими бумагами в качестве свидетелей. После этого господа пожелали откупить у Исаака его проценты за безделицу, за пятьсот крон. Гейслер остановил их словами:— Шутки в сторону!

Исаак не очень-то понимал в чем дело, он уж продал один раз и получил, что следовало, вдобавок же речь шла о кронах — стало быть, чепуха, не то, что далеры. Сиверт

же понял гораздо больше, тон переговоров удивлял его: здесь, несомненно решалось семейное дело. Один из господ сказал:— «Дорогой Гейслер, жалко, что у тебя такие красные глаза!» На что Гейслер резко, но уклончиво ответил:— «Действительно, жалко. Но в здешнем свете воздается не по заслугам!»

Уж не так ли обстояло дело, что братья и родственники госпожи Гейслер хотели купить ее мужа, да заодно уж избавиться от его посещений и его беспокойного родства? Скала же, надо полагать, представляла кое-какую ценность, этого никто не отрицал; но она находилась в отдаленной местности, господа говорили, что покупают только за тем, чтоб сбыть ее другим людям, у которых будет гораздо больше возможностей разработать ее, чем у них.

В этом не было ничего несообразного. Еще они открыто говорили, что не знают, сколько выручат за скалу в том виде, в каком она сейчас: если начнется разработка, то сорок тысяч, может быть, вовсе и не цена, если же скала останется, как есть,— так это брошенные деньги. Но на всякий случай они желали иметь руки развязанными и потому предлагали Исааку за его долю пятьсот крон.

— Я — уполномоченный Исаака,— сказал Гейслер,— и я продам его право не дешевле, чем за десять процентов покупной суммы.

— Четыре тысячи!— воскликнули господа.

— Четыре тысячи,— сказал Гейслер.— Скала принадлежала Исааку, он получает четыре тысячи. Мне она не принадлежала, я получил сорок тысяч. Предлагаю вам побеспокоиться и обдумать это!

— Да, но четыре тысячи!

Гейслер встал и сказал:

— Иначе никакой продажи!

Они подумали пошептались, вышли во двор, стали тянуть время.

— Седлайте лошадей!— крикнули они конюхам.

Один из господ пошел к Ингер и по-княжески рассчитался за кофе, несколько штук яиц и помещение. Гейслер похаживал с виду равнодушный, но по-прежнему не дремал:

— Ну, а как вышло в прошлом году с орошением?— спросил он Сиверта.

— Спасли весь урожай.

— Вы распахали еще вон ту можечину с тех пор, как я был здесь в последний раз?

— Да.

— Вам надо завести еще одну лошадь,— сказал Гейслер. Все-то он видел!

— Пойди сюда и давай же покончим дело!— позвал его помощник.

Все опять пошли в пристройку. И Исааку выплатили его четыре тысячи крон. Гейслер получил бумагу и сунул ее в карман, словно она ничего не стоила.

— Спрячь же ее!— сказали ему господа,— а жена твоя через несколько дней получит банковскую книжку.

Гейслер нахмурился и сказал:— Хорошо!

Но они еще не развязались с Гейслером. Он не раскрыл рта для какой-нибудь просьбы, но он просто стоял, и они видели, как он стоит; может быть, он выговорил сколько-нибудь деньжонок и для себя лично. Когда помещик выдал ему пачку кредиток, Гейслер только кивнул и опять сказал:— Хорошо.

— А теперь давайте выпьем по стаканчику с Гейслером,— сказал помещик.

Выпили и все было кончено. Потом простились с Гейслером.

В эту минуту появился Бреде Ольсен. Что ему было надо? Бреде, конечно, слышал вчера громовые взрывы и понял, что в скалах что-то происходит. Вот он и явился и тоже пожелал продать гору. Он прошел мимо Гейслера и обратился к господам: он открыл замечательные породы камней, прямо невероятные породы, одни, как кровь, другие, как серебро; он знает каждый самый маленький закоулочек в окрестных скалах и ходит по ним, как по полу, он знает длинные жилы с тяжелым металлом, какой это может быть металл?

— Есть у тебя образцы?— спросил горняк.

— Да. Только не лучше ли вам пройти самим в скалы? Это недалеко. А образцы-то? Как же, много мешков, много ящиков, Бреде не захватил их с собой, но они у него дома, он может сбегать домой за образцами. Но скорее будет сбегать за ними в горы, если господа согласятся подождать.

Господа покачали головой и уехали. Бреде обиженно посмотрел им вслед. Если надежда на минуту вспыхнула в нем, то теперь она погасла, он работал под несчастливой звездой, ничего ему не удавалось. Хорошо еще, что у него был легкий характер, помогавший ему выносить такую жизнь; он посмотрел вслед всадникам и сказал наконец: «Скатертью дорожка!»

Тут он опять стал вежлив с Гейслером, своим прежним ленсманом, уже не «тыкал» ему, а поздоровался и

заговорил на «вы». Гейслер под каким-то предлогом вытащил бумажник и показал, как туго он набит деньгами.

— Не можете ли вы помочь мне, ленсман?— сказал Бреде.

— Ступай домой и перекопай свое болото!— ответил Гейслер, не дав ему ни гроша.

— Я мог бы, конечно, притащить с собой целый мешок образцов, но разве не лучше было бы им самим осмотреть горы, раз уж они были здесь?

Гейслер пропустил это мимо ушей и спросил Исаака:

— Ты не видел, куда я девал тот документ? Он очень важный, стоит много тысяч крон. Ага, вот он, в пачке кредиток!

— Что это были за люди? Просто приехали прокатиться?— спросил Бреде.

Гейслер, должно быть, все время очень волновался, теперь у него наступила реакция. Но все-таки у него еще оставались силы и охота на кое-какие дела: он позвал с собой в скалы Сиверта, и там Гейслер разостлал большой лист бумаги и начертил карту местности с южной стороны озера. Зачем-то ему это понадобилось. Когда он через несколько часов вернулся на хутор, Бреде сидел еще там, но Гейслер не стал отвечать на его расспросы, он был утомлен и только помахал ему рукой.

Он проспал без просыпу до раннего утра, потом встал вместе с солнцем, свежий и бодрый.

— Селланро!— сказал он, вышел на двор и оглянулся по сторонам.

— Все эти деньги, что я получил,— сказал Исаак,— неужто они мои?

— Чепуха!— ответил Гейслер.— Разве ты не понимаешь, что должен был бы получить еще больше. И, собственно, тебе следовало бы получить их от меня, согласно нашему договору; но, как ты видел, вышло иначе. Сколько ты получил? Всего тысячу далеров по старому счету. Я вот стою и думаю, что надо бы тебе завести лошадь.

— Да.

— У меня есть на примете одна лошадь. Теперешний понятой у ленсмана Гейердаля забросил свою усадьбу. Ему, кажется, больше нравится разъезжать по торгам. Он распродал свою скотину, теперь собирается продать лошадь.

— Я с ним потолкую,— сказал Исаак.

Гейслер широким жестом указал на лежавшую перед ними местность:

— Все это принадлежит маркграфу! У тебя есть дом и скот, и обработанная земля, никто не может уморить тебя голодом!

— Нет,— отвечал Исаак,— у нас есть все, что создал Господь!

Гейслер побродил по двору, потом вдруг пошел к Ингер:

— Не дашь ли ты мне и сегодня немножко провизии?— спросил он.— Несколько штук вафель, без масла и сыра, в них и так много здобы. Нет, сделай, как я говорю, больше я ничего не возьму.

И опять вышел. В голове у него, должно быть, было тревожно, он пошел в пристройку и сел писать. Все продумал он, верно, уж заранее, потому что писал очень недолго.

— Это заявление в казну,— важно сказал он Исааку,— в департамент внутренних дел,— сказал он.— У меня столько всяких хлопот.

Забрав узелок с провизией и простившись, он как будто вдруг что-то вспомнил:

— Да, вот что, в последний раз, когда я уходил, я, должно быть, позабыл — я вынул бумажку из бумажника, а потом сунул ее в жилетный карман. Там и нашел. У меня столько хлопот.— С этими словами он сунул что-то в руку Ингер и пошел.

Да, так и пошел Гейслер, и с виду казался даже довольно бравым. Он совсем не опустил и умер не скоро. Он приходил в Селланро еще раз и умер только много лет спустя. Всякий раз, когда он уходил с хутора, о нем скучали; Исаак думал было спросить его на счет Брейдаблика и посоветоваться, но как-то не вышло. Да Гейслер, наверное, и отсоветовал бы ему покупать этот участок — покупать совсем не устроенную землю для такого заядлого конторщика, как Елисей.

ГЛАВА XVIII

А дядя Сиверт все-таки помер. Елисею пришлось прожить у него три недели, но под конец старик таки помер. Елисей распорядился похоронами и проявил в этом большую расторопность, выпросил у соседей несколько горшков фуксий и флаг, который вывесил на спущенной штанге, купил у торговца черной тафты для спущенных штор. Послали за Исааком и Ингер, и они приехали к похоронам. Елисей выступал в роли хозяина, устроил

угощение для всех приглашенных, а когда покойника выносили, произнес даже несколько прочувствованных слов над гробом, так что мать его полезла за носовым платком от гордости и умиления. Все сошло блестяще.

На обратном пути домой Елисею пришлось нести свое весеннее пальто на виду, тросточку же он спрятал в один из его рукавов. Все шло хорошо до переправы в лодке через озеро, тут отец нечаянно наступил на пальто, и послышался треск.

— Что это?— спросил он.

— Ничего.

Но сломанную палку не выбросил, а по возвращении домой стал придумывать, как бы починить ее.

— А нельзя ее скрепить как-нибудь?— сказал Сиверт, большой шутник.— Посмотри-ка, если приладить с обеих сторон по здоровой щепке да обмотать просмоленными нитками?..

— Вот я тебя самого обмотаю просмоленными нитками,— ответил Елисей.

— Ха-ха-ха. А тебе лучше хотелось бы обмотать палку красной подвязкой?

— Ха-ха-ха,— засмеялся и Елисей, но потом пошел к матери, выпросил у нее старый наперсток, спилил с него доньшко и устроил настоящую аккуратную заклепку на своей тросточке. О, длинные белые руки Елисея были не так-то уж бестолковы!

Братья постоянно дразнили друг друга:

— А что, получу я то, что осталось после дяди Сиверта?— спросил Елисей.

— Получишь ли? А сколько там?— спросил Сиверт.

— Ха-ха, ты раньше хочешь знать, сколько, скупердй ты этакий.

— Да бери, пожалуйста!— сказал Сиверт.

— Там от пяти до десяти тысяч.

— Далеров?— воскликнул Сиверт. Он не мог удержаться.

Елисей никогда не считал на далеры, но на этот раз так было выгодней, и он кивнул головой. И оставил Сиверта в этом убеждении до следующего дня.

Потом опять вернулся к той же теме:

— Наверно, ты жалеешь о своем вчерашнем подарке?— сказал он.

— Дурак ты!— ответил Сиверт, но пять тысяч далеров как ни как — пять тысяч далеров, а не какая-нибудь мелочь; если брат не жулик и не цыган, он должен отдать ему половину.

— Так я скажу тебе одно,— заявил, наконец, Елисей,— я не думаю, что разжирею с этого наследства.

Сиверт с удивлением посмотрел на него:

— Ну, неужто?

— Да, не очень-то, не очень-то я с него разжирею!

Елисей ведь научился разбираться в счетах; дядин ларец, знаменитый винный погребец, был показан и ему, и он должен был посмотреть все бумаги, проверить итоги и подсчитать кассу. Дядя Сиверт не представил своего племянника к работе на земле или к починке сетей в амбаре, он задурманил ему голову страшным хаосом цифр и всяких отчетных статей. Если какой-нибудь плательщик налога десять лет тому назад заплатил, что с него причиталось, козой или несколькими пудами вяленой трески, то коза или треска не значились в ведомости, но старик Сиверт рылся в своей памяти и говорил:— Этот заплатил!— «Ну, тогда эту цифру мы вычеркнем»,— говорил Елисей.

В этом деле Елисей оказался настоящим человеком, он был ласков и подбадривал старика, говоря, что дела неплохи. Они отлично ладили друг с другом, даже шутили понемножку. Кое в чем Елисей был, правда, глуповат, но таким же был и старик Сиверт. Они просто-напросто состряпали документы в пользу не только Сиверта младшего, но и в пользу самого села, той общины, которой старик служил тридцать лет. Поискать таких чудесных дней, как те, что прошли!

— Лучше тебя, Елисейка, мне никого не найти,— говорил дядя Сиверт.

Он послал купить баранью тушу,— это среди лета,— рыбу ему приносили свежего улова с моря. Елисею был отдан приказ платить из ларца. Жилось хорошо. Они залучили к себе Олину, и нельзя было выискать никого лучше для участия в пирушке, а также для распространения громкой славы о последних днях старика Сиверта. И удовольствие было обоюдное.

— Я думаю, нам следует чуточку позаботиться и об Олине,— сказал дядя Сиверт,— она вдова и с малым достатком. Сиверту младшему и так много достанется.

Это стоило опытной руке Елисея нескольких черточек пером,— в добавление к последней воле,— и Олина тоже очутилась в числе наследников.

— Я позабочусь о тебе,— сказал ей старик Сиверт.— В случае, если я не поправлюсь и не останусь на здешней земле, я постараюсь, чтоб ты не пропала с голоду,— сказал он.

Олина воскликнула, что у нее нет слов, но они все-таки нашлись,— она была растрогана, плакала и благодарила; никто не сумел бы найти такую связь между земным даром и, например, «великим воздаянием небесным на том свете», как Олина. Нет, дара слова она не утратила.

А Елисей? Если вначале он, может быть, и имел блестящие представления о положении дяди, то впоследствии начал задумываться о нем и заговаривать. Он попробовал было намекнуть:— ведь касса-то не совсем в порядке,— сказал он.

— Да, а еще все то, что останется после меня!— ответил старик.

— И потом у тебя, наверно, есть деньги в каких-нибудь банках?— спросил Елисей; потому что такие ходили слухи.

— Ну, это-то там видно будет,— сказал старик.— А сети-то, а усадьба и постройки, а стадо, рыжие коровы, да белые коровы! Ты что-то тут путаешь, Елисейка!

Елисей не знал, сколько могут стоить сети, но скотину он видел: все стадо состояло из одной коровы. Корова была красно-белая. Дядя Сиверт, должно быть, бредил. Да и в счетах старика Елисей не очень-то разбирался, в них была порядочная каша, особенно с того года, когда счет перешел с далеров на кроны; областной казначей частенько засчитывал мелкие кроны в полные далеры. Не диво, что он воображал себя богачом! Но Елисей очень боялся, что когда все разберется, вряд ли много останется. Да пожалуй, что ничего. Может, даже не хватит. Да, Сиверт мог с легким сердцем обещать ему то, что останется после дяди.

Братья подшучивали над этим, Сиверт нисколько не приуныл, наоборот, наверно, его больше грызло бы, если б он и в самом деле проморгал пять тысяч далеров. Он прекрасно понимал, что его назвали в честь дяди из чистого расчета, сам он ничего не заслужил от дяди. И теперь он уговаривал Елисея принять наследство:

— Понятно, ты должен его взять, давай заключим письменное соглашение!— сказал он.— Я разрешаю тебе разбогатеть. Смотри, не упускай случая!

Вдвоем им бывало весело. Сиверт больше всех помогал Елисею выносить жизнь здесь, дома; без него многое было бы гораздо мрачнее.

А тут вдобавок Елисей опять словно испортился; три недели безделья, проведенные по ту сторону перевала, не принесли ему пользы, он ходил там в церковь и франтил, встречался с девушками. Дома, в Селланро, не было

никого: Иенсина, новая служанка, не в счет. Простая работница — она больше подходила Сиверту.

— Мне хочется посмотреть, какая стала Варвара из Брейдаблика с тех пор, как выросла,— сказал он.

— Сходи к Акселю Стрему и посмотри!— ответил Сиверт.

Елисей пошел однажды в воскресенье. Он побывал на людях, набрался бодрости и веселья, разохотился и, придя, внес оживление в землянку Акселя. Да и Варвара сама была не из таких, чтоб ею стоило пренебречь. Во всяком случае, в глуши она была единственная, она играла на гитаре и бойко разговаривала, вдобавок и пахло от нее не бирючиной, а настоящими духами, одеколоном. Елисей, со своей стороны, дал понять, что он приехал домой только на побывку, в отпуск, скоро его опять потребуют в контору. Да, все-таки приятно побывать дома, на старом пепелище, и сейчас ему одному отвели всю светелку. Но, конечно, это не город!

— Да, об этом что и говорить, деревня уж не то, что город!— поддержала Варвара.

— Аксель совсем ступевался перед этими двумя горожанами, он заскучал и пошел смотреть землю. Они остались одни, и Елисей совсем осмелел. Он рассказал, как был в соседнем селе и похоронил своего дядю, не забыл рассказать и о том, что держал речь над гробом.

Уходя, он попросил Варвару проводить его немножко. Ну, нет, извините!

— Разве в городе принято, чтоб дамы провожали кавалеров?— спросила она.

Елисей покраснел и понял, что оскорбил ее.

А в следующее воскресенье опять отправился в Лунное и на этот раз захватил с собой тросточку. Они разговаривали, как и в прошлый раз, и опять Аксель остался не при чем:

— У твоего отца большая усадьба, и он страсть как застроился,— сказала она.

— Да, да, он и сейчас строит. Отцу-то что!— ответил Елисей и прибавил, чтоб похвастать:— вот нам, беднякам, хуже!

— Как так?

— А разве вы не слышали? У него недавно были шведские миллионеры и купили медную скалу.

— Что ты говоришь? Так он получил много денег?

— Ужасно много. Не подумай, что я хвастаю, но только целую кучу тысяч. Да, так что я хотел сказать? Ты говоришь: строит? Я вижу, у тебя тоже лежат бревна, а ты сам когда будешь строить?

Варвара ответила за Акселя:

— Никогда!

Никогда!— это просто задор и преувеличение. Аксель наломал камней еще в прошлую осень и перевез их на хутор зимой, в этом году в промежутках между полевыми работами он сложил фундамент с подвалом и всем, что полагалось, оставалось только склототить сруб. Он надеялся подвести избу под крышу еще осенью и собирался попросить Сиверта прийти на несколько дней помочь ему,— что скажет на это Елисей?

— Ну, что ж. Но ты можешь взять и меня,— с улыбкой сказал Елисей.

— Вас?— почтительно спросил Аксель, вдруг переходя на «вы».— У вас талант на другое.

Как приятно быть признанным даже и в глуши!

— Боюсь только, что руки мои не очень на это годятся,— жеманно сказал Елисей.

— Покажи-ка!— промолвила Варвара и взяла его руку.

Аксель опять остался вне разговора и вышел, они снова остались одни. Они были ровесники, вместе учились в школе, вместе играли, целовались и бегали, теперь они с бесконечной важностью освежали свои детские воспоминания, и Варвара немножко кокетничала. Понятно, Елисей был не то, что важные конторщики в Бергене, носившие очки и золотые часы, но здесь, в глуши, и он был барином, этого у него не отнимешь! Она вынула и показала ему свою бергенскую фотографию, вот какая она была тогда, а теперь!

— А чем же ты плоха теперь?— спросил он.

— Ну, так по-твоему я не очень подурнела?

— Подурнела! Скажу тебе раз навсегда, что по-моему ты стала вдвое красивее,— сказал он,— во всяком случае, полнее. Подурнела? Нет, это великолепно!

— А ты не находишь, что на мне здесь красивое платье, с вырезом у шеи и сзади? И я носила серебряную цепочку,— видишь? Она стоила очень дорого, мне подарил ее один из конторщиков, у которых я служила. Но потом ее потеряла. Не то что потеряла, а мне понадобились деньги на дорогу домой.

Елисей спросил:

— Можно мне взять эту карточку?

— Взять? А что ты мне дашь за нее?

О, Елисей отлично знал, что на это ответить, но не посмел.

— Я тоже снимусь, как приеду в город, и поищу тебе свою,— ответил он.

Она спрятала карточку и сказала:

— Нет, у меня только одна эта и осталась.

Тогда мрак заволок его юное сердце, и он протянул руку за карточкой.

— Ну, тогда дай мне за нее что-нибудь сейчас!— смеясь сказала она. Он обнял ее и крепко-крепко расцеловал.

Стеснение между ними исчезло. Елисей совсем расцвел и превзошел самого себя. Они любезничали, шутили и смеялись. Он предложил перейти на «ты».

— Когда ты взяла меня за руку, ты была прелестна, словно лебедь,— сказал он.

— Да, да, вот ты скоро уедешь в город и никогда больше сюда не вернешься,— ответила Варвара.

— Неужели ты такого плохого мнения обо мне?— спросил он.

— Ну да разве у тебя никого нет, кто бы тебя там задержал?

— Нет. Между нами говоря, я ни с кем не помолвлен,— сказал он.

— Как же! Наверно, помолвлен.

— Нет, говорю тебе, это истинная правда.

Они долго любезничали, Елисей окончательно влюбился:

— Я буду писать тебе,— сказал он.— Можно?

— Да,— ответила она.

— Я не хочу быть назойливым и делать это без разрешения.— Вдруг его охватила ревность и он спросил.— Я слышал, что ты помолвлена с Акселем, правда это?

— С ним-то, с Акселем!— сказала она так презрительно, что он успокоился.— Пусть себе походит!— сказала она. Но тут же раскаялась и прибавила:— Но сам по себе он ничего, Аксель-то. И он выписал для меня газету и часто делает подарки, это уж надо сказать.

— Боже сохрани!— согласился Елисей,— он может быть самым выдающимся и замечательным человеком в своем роде, но суть не в этом.

Однако, при мысли об Акселе Варвара, должно быть, забеспокоилась, она встала и сказала Елисею:

— А теперь тебе пора уходить, потому что мне надо на скотный двор!

В следующее воскресенье Елисей пошел значительно позднее, чем в те разы, и захватил с собой письмо. Вот-то было письмо! Целая неделя восторга и головоломной работы; он выносил его, вызубрил наизусть: «Фрекен Варваре Бредесен, вот уже два или три раза имел я невыразимое для меня счастье видеть тебя...»

Вечер был такой поздний, что Варвара наверное уже управилась на скотном дворе, а, может, даже и легла спать. Не беда, так даже лучше. Но Варвара не спала и сидела в землянке. И вид у нее был такой, как будто она совсем не хотела быть ласковой, ни капельки, у Елисея создалось впечатление, что Аксель оттер его и пожалуй, пробрал ее.

— Пожалуйста, вот письмо, которое я обещал тебе!

— Спасибо!— сказала она, распечатала письмо и прочла без видимой радости.— Хотела бы я уметь так хорошо писать, как ты!— сказала она.

Он был разочарован. Что он сделал? Что с ней? И где Аксель? Ушел. Может быть, ему надоели эти настойчивые воскресные визиты, и ему захотелось уйти из дому, а, может быть, нашлось нужное дело, потому что он ушел в село еще вчера.

— Что ты сидишь в душной землянке в такой прелестный вечер? Пойдем погуляем!— сказал Елисей.

— Я дожидаюсь Акселя,— ответила она.

— Акселя? Что же, ты не можешь жить без Акселя?

— Могу, но ведь надо же его покормить, когда он вернется.

Время шло, пропадало даром, близость между ними не устанавливалась. Варвара продолжала капризничать. Он попробовал опять рассказать о соседнем селе и опять не забыл про свою речь над гробом.

— Сказал-то я немного, но кое у кого вызвал слезы.

— Ну,— промолвила она.

— А в воскресенье был в церкви.

— Что тебе там понадобилось?

— Ну, понадобилось? Просто пошел посмотреть. Священник, по моему скромному мнению, неважный проповедник, у него нет никаких хороших приемов.

Время шло.

— Как по-твоему, что подумает Аксель, если он застанет тебя здесь и нынче вечером?— сказала вдруг Варвара.

О, если бы она ударила его прямо в грудь, он был бы не менее ошеломлен. Неужели она забыла их прошлое свидание? Разве у них не было условлено, что он придет сегодня вечером? Он страшно огорчился и пробормотал:

— Я могу ведь и уйти!

Она, по-видимому, нисколько не испугалась.

— Что я тебе сделал?— спросил он дрожащими губами. Он был очень огорчен, страдал.

— Сделал, мне? Нет, ты мне ничего не сделал.

— Так что же с тобой сегодня случилось?

— Со мной? Ха-ха-ха. А в прочем, я не удивляюсь, что Аксель сердится.

— Я уйду!— повторил Елисей.— Но это опять ее не испугало, она не обращала внимание на то, что он сидел и боролся со своими чувствами. Она была совсем деревянная.

Тогда в нем стало нарастать раздражение, сначала он выразил его довольно тонко: что она не очень-то приятная представительница женского пола! Когда же это не помогло — о, лучше бы он молчал и терпел,— она сделалась только еще хуже. Но и он тоже стал не лучше.

— Если б я знал, что ты такая, я бы не пришел сегодня.

— Ну, так что ж?— ответила она.— Ты не проветрил бы свою палку, с которой сейчас сидишь.

О, ведь Варвара побывала в Бергене, она видала настоящие тросточки, потому она и могла так язвительно спрашивать, каким это ободренным зонтиком он так помахивает?

Он стерпел это.

— Наверное, ты хочешь получить обратно свою карточку?— сказал он.

Если не подействует это, то не подействует ничто, это самое крайнее, что можно представить себе в деревне — взять подарок обратно!

— Мне все равно,— уклончиво ответила она.

— Отлично,— дерзко заявил он,— я пришлю ее тебе при первой оказии. Тогда отдай мне мое письмо!

Он встал.

Ну что ж, она отдала ему письмо, но тут у нее выступили на глазах слезы. Да, да, она переменялась, горничная растрогалась, дружок покидал ее, прости навеки!

— Не уходи,— сказала она,— мне нет дела до того, что подумает Аксель.

Но тут уж он решил воспользоваться своим преимуществом, простился и сказал: покорно благодарю.

— Когда дама ведет себя так, как ты, я удаляюсь,— сказал он.

Он тихонько вышел из землянки и направился домой, похвистывал, помахивал тросточкой и держался молодцом. Черт возьми! Через минутку вышла и Варвара, окликнула его два раза. Ну что ж, он остановился, отчего же,— но он был, как раненый лев. Она села на вереск с видом

раскаяния, стала вертеть веточку вереска, понемножку, и он начал смягчаться и попросил поцелуя — напоследок, на прощанье, — сказал он. Нет, она не хотела.

— Ах, будь такая же очаровательная, как в прошлый раз! — умолял он, обхаживая ее со всех сторон и напирая все решительнее, чтоб скорее добиться своего.

Но она не желала быть очаровательной, а встала. И стояла. Тогда он молча кивнул головой и ушел.

Когда он скрылся, из-за кустов вдруг вынырнул Аксель. Варвара вздрогнула и спросила:

— Что это, разве ты пришел сверху?

— Нет, я пришел снизу, — ответил он. — Но я видел, как вы вдвоем здесь прогуливались.

— Ах, видел! Ну, что ж, растолстел ты от этого?! — крикнула она, сразу разозлившись. Она и сейчас капризничала не меньше: — Чего ты ходишь и шпионишь? Какое тебе дело!

Аксель тоже был не в кротком настроении:

— Ну, он нынче был здесь?

— Так что ж? Чего тебе от него надо?

— Чего мне от него надо? Нет, ты скажи, чего тебе от него надо? Постыдилась бы!

— Стыдиться? То ли нам помолчать об этом, то ли поговорить, — ответила Варвара старинным присловьем. — Я не обязана сидеть в твоей землянке, как межевой столб, так ты и знай! Чего мне стыдиться? Как только ты найдешь себе другую экономку, я сейчас же уеду. Попридержи лучше свой язык, если можно тебя об этом попросить. Вот тебе мой ответ. А теперь я пойду домой, подам тебе поесть и сварю кофе, а потом могу делать, что мне угодно.

Они пришли домой в полной ссоре. Нет, Аксель и Варвара не всегда жили дружно. Она прожила у него уже два года и изредка между ними происходили ссоры, большей частью из-за того, что Варвара хотела уехать. Он упрашивал ее остаться навсегда, переехать к нему совсем, разделить с ним по-настоящему землянку и жизнь; он ведь знал, как плохо оставаться одному без помощницы — и она много раз обещала согласиться, в минуты нежности она даже не могла себе представить, что не останется. Но как только они ссорились, она сейчас же грозила, что уедет. Если уж не совсем, то она говорила, что поедет в город полечить зубы, они все изболелись. Уехать, уехать! Необходимо было наложить на нее какие-нибудь узы.

Узы? Она смеялась над всякими узами.

— Ну что ж, ты и теперь хочешь уехать?— сказал он.

— А что?— спросила она.

— А ты можешь уехать?

— А почему же не могу? Ты думаешь мне некуда податься, потому что дело идет к зиме, но я могу получить место в Бергене в любое время.

Тогда Аксель сказал довольно твердо:

— Теперь уж не может быть, как раньше. Разве ты не ждешь ребенка?

— Ребенка? Нет. О каком ребенке ты говоришь?

Аксель вытаращил на нее глаза. Помешалась что ли, Варвара?

Другое дело, что он сам — Аксель — может, был слишком нетерпелив: связав ее этими узами, он начал действовать чересчур уж уверенно, это было неразумно, незачем было так часто ей противоречить и раздражать ее, не нужно было приказывать ей весной сажать картошку, в крайности, он мог бы справиться и один. Он успел бы проявить свою власть после того, как они поженились бы, а до тех пор надо было бы действовать умно и уступать.

Но тут вышла эта неприятность с Елисеем, с этим конторщиком, который припутался с своими благородными речами и тросточкой. Разве это поведение для помолвленной девушки, да еще в ее положении! Можно ли представить себе что-нибудь хуже! До сих пор Аксель не имел соперника в глуши, а тут положение переменялось.

— Вот тебе последние газеты,— сказал он.— И вот еще одна вещичка, которую я раздобыл для тебя. Посмотри, понравится ли тебе.

Она осталась равнодушна. Хотя оба сидели и пили страшно горячий кофе с блюдечка. Она ответила с ледяной холодностью:

— Бьюсь об заклад, что это золотое кольцо, которое ты обещал мне больше года.

Но тут она промахнулась, потому что, действительно, это было кольцо. Но не золотое, и такого он ей никогда не обещал, это она сейчас выдумала; а серебряное с двумя изображенными на нем позолоченными руками, значит, тоже хорошее и с пробой. Но, ах эта злополучная поездка в Берген! Варвара видела там настоящие обручальные кольца, попробуй-ка втереть ей очки!

— Это кольцо можешь оставить себе,— сказала она.

— Да чем же оно плохо?

— Плохо? Ничем оно не плохо,— ответила она, встала и принялась убирать со стола.

— Для начала ты возьми это,— сказал он,— соберемся с деньгами, куплю другое.— На это она промолчала.

Но, все равно, в этот вечер Варвара была ужасная злока. Неужто за новое серебряное кольцо не стоило хоть сказать «спасибо»? Должно быть, это щеголь конторщик перевернул ей мысли. Аксель не мог удержаться, чтоб не сказать:

— Да расскажи ты мне, зачем этот Елисей сюда бегаёт? Чего он от тебя добивается?

— Добивается от меня?

— Ну да, неужто он не понимает, в каком ты положении? Неужто не видит по тебе?

Варвара резко повернулась к нему лицом и сказала:— Ага, ты думаешь, что привязал меня к себе, но вот увидишь, это окажется вздором.

— Ну да?— сказал Аксель.

— Да. И увидишь, что я уеду!

Аксель только усмехнулся на это, и даже не очень широко и открыто, чтоб не задеть ее. Потом сказал успокоительно, как ребенку:

— Ну будь же умница, Варвара. Ведь мы же с тобой знаем.

И разумеется, поздно ночью кончилось тем, что Варвара смирилась и даже заснула с серебряным кольцом на пальце.

Все опять наладилось.

Для тех-то двоих в землянке наладилось, но с Елисеем было хуже, он никак не мог пережить нанесенную обиду. Не имея понятия об истерии, он решил, что его обманули по чистой злобе, Варвара из Брейдаблика вела себя чересчур уж дерзко, пусть она хоть десять раз был в Бергене!

Фотографию Варваре он отослал таким способом, что сам отнес ее однажды ночью и просунул на сеновал, где спала Варвара. Он сделал это вовсе не в грубой и невежливой форме: долго возился с дверью, чтоб разбудить Варвару, а когда она приподнялась на локте и спросила:— Что же, ты нынче и дороги не найдешь?— то семейный характер этого вопроса кольнул его, как иголка или как шпага, но он не закричал, а только тихонько подбросил карточку на пол. А потом пошел своей дорогой. Пошел? Собственно, он прошел несколько шагов, но потом побежал. Он был так взволнован, так расстроен, сердце у него колотилось. У кустов он остановился и оглянулся назад. Нет она не вышла, А он почти не надеялся! И если б с ее стороны хоть чуточку ласки! Да и какой черт побежал бы, если б она погналась за ним по пятам, в одной рубашке и юбке, в отчаянии, убитая тем, что наделала, и своим чисто семейным вопросом, предназначенным не для него.

Он пошел домой без палки и не похвастывая, нет, он был уже не молодцом. Кинжал в груди — не безделица.

На том все и кончилось.

В одно воскресенье он опять пошел, только посмотреть. С болезненным и невероятным терпением он лежал в кустах, прислушивался и вглядывался в сторону землянки. Когда жизнь и движение наконец проявились там, то словно для того, чтоб совсем доконать его. Аксель и Варвара вышли из землянки и вместе направились в хлев. Они были сегодня очень нежны друг с другом, переживали блаженные минуты, шли обнявшись. Он собрался помочь ей в хлеву. Скажите, пожалуйста!

Елисей смотрел на парочку с таким видом, будто все потерял, все пропало. Может быть, он думал: она идет рука об руку с Акселем Стремом; как она до этого дошла, я не знаю, когда-то она обнимала меня! Вот они скрылись в хлеву.

Ах, так?— сделайте одолжение! Наплевать! Неужели он будет лежать в кустах и страдать? Этого еще не доставало,— лежать носом в траве и позабыть самого себя. Кто она такая? Он же, во всяком случае, то, что он есть. Наплевать еще раз!

Он вскочил на ноги. Потом отряхнул вереск и сор со штанов, выпрямился и еще постоял. Гнев и задор его разрешились странной выходкой. Он впал в отчаяние и запел довольно неприличную песенку. И у него было совсем особенное выражение лица, когда он усердно старался петь, как можно громче, самые непристойные куплеты.

ГЛАВА XIX

Исаак вернулся из села с новой лошастью.

Ну да, так и вышло, что он купил лошадь у понятого, она была, как и сказал Гейслер, заморенная, но стоила двести сорок крон, стало быть — шестьдесят далеров. Цены на лошадей стали нынче совсем несообразные; когда Исаак был ребенком, самую великолепную лошадь можно было купить за пятьдесят далеров.

Но почему же он сам не разводил лошадей? Он думал об этом, представлял себе, как у него будет породистый жеребенок, только его пришлось бы дожидаться год, а то и два года. Это хорошо для тех, у кого есть время на передышку в земледелии, кто может не распахивать целину

на болоте, пока у него не заведется лошадь, чтоб свозить на ней урожай. Понятой так и сказал:— Мне незачем кормить лошадь; то сено, какое у меня есть, бабы мои перетаскают на себе, покамест я езжу по делам службы.

Новая лошадь — это была старая мечта Исаака, многолетняя мечта, и внушил это ему не Гейслер. Поэтому он и подготовился к ней надлежащим образом: лишняя перегородка в конюшне, лишняя привязь на лето; телеги и сани у него были, осенью сделает еще. Про самое важное — корм — он, конечно, не забыл: для чего же потребовалось распахать последнее болото еще в прошлом году?— да, конечно, для того, чтоб не урезывать корм коровам и все же иметь запас на зиму и для лошади. И вот теперь болото засеяно клевером. Он предназначался для стельных коров.

Да, все было обдуманно. У Ингер опять был повод изумляться и всплескивать руками, как в старину.

Исаак привез из села новости: Брейдаблик продается, об этом объявляли у церкви. Пустяковый урожай, который там имеется, кое-какое сено и картошка тоже поступают в продажу, также и скотина, несколько штук коз и овец.

— Неужто он хочет весь распродаться и остаться голышом?— воскликнула Ингер.— И куда он денется?

— В село.

Оно так и было, Бреде перебирался в село. Но сначала он попробовал пристроиться на житье у Акселя Стрема, у которого все еще жила Варвара. Но неудачно. Бреде ни за что на свете не хотел портить отношений между дочерью и Акселем, так что поостерегся проявлять назойливость, но это все-таки перевернуло все его расчеты. Ведь, Аксель к осени предполагал поставить новую избу, и если он с Варварой переберется туда, отчего бы Бреде с семьей не поселиться в землянке? Нет. В том то и дело, что Бреде мыслил не как хозяин, он не понимал, что Аксель решил выселиться, потому что землянка ему нужна была для скотины, которой прибавилось; землянку предполагалось превратить в хлев. Даже и тогда, когда ему все объяснили, соображения эти остались чужды Бреде:

— Ведь люди важнее скотины,— сказал он.

Аксель же думал совсем по-другому: «Скотина важнее, потому что люди всегда сумеют найти себе пристанище на зиму».

Тут вмешалась Варвара.

— Вот как, твоя скотина тебе важнее нас, людей? Хорошо, что я это узнала!

Конечно, Аксель воспротивился против себя всю семью тем, что у него не нашлось для нее места. Но он не

сдавался. К тому же он был вовсе не глуп и не прост, а, наоборот, становился все скупее; он отлично знал, что этот переезд означает несколько лишних ртов, которые ему же придется кормить.

Бреде успокоил дочь, дав понять, что он и сам предпочитает переехать в село; он не может жить в пустыне. Только оттого он и решил продать землю.

В сущности же, продавал вовсе не Бреде Ольсен, а банк и торговец продавали Брейдаблик за долги, и только для виду продажа совершалась от имени Бреде. Он полагаю, что этим спасется от позора. Но Бреде вовсе не был угнетен, когда его встретил Исаак, он утешался тем, что по-прежнему оставался инспектором телеграфной линии, это был верный доход, а со временем он, наверное, добьется и прежнего своего положения в селе и опять будет самым нужным человеком и правой рукой ленсмана. Разумеется, Бреде был до некоторой степени растроган: ведь как ни как приходилось расставаться с местом, где он жил и работал много лет, и которое полюбил! Но добрый Бреде никогда не позволял себе впадать в уныние. Это было в нем всего лучше, самая главная его прелесть. В один прекрасный день ему пришлось в голову осесть на земле; опыт оказался неудачным, но с такой же легкостью он поступал и в других вопросах, и выходило лучше: да и почем знать, может быть, из образцов камней, которые у него хранятся, еще получится огромное дело! Потом: взять хоть Варвару, которую он поместил в Лунном, ведь она уж никогда не расстанется с Акселем Стремом, за это он может поручиться, это и всякому видно.

Нет, дела еще не так плохи, пока у него есть здоровье, и он может работать на себя и на своих!— говорил Бреде Ольсен. Да и дети сейчас уж подросли настолько, что могут уехать на сторону и позаботиться о себе сами. Вот, Хельге уж пристроился на лове сельдей, а Катерина поступает к доктору. Так что у них осталось только двое младших — да, да, положим, третий наготове.

Исаак привез из села еще одну новость: у жены ленсмана родился ребенок. Ингер сразу заинтересовалась: мальчик или девочка?

— Этого не слыхал,— ответил Исаак.

Так у ленсмана родился ребенок!— а не она ли постоянно восставала в женском кружке против непомерного числа детей у бедняков: дайте лучше женщинам право голоса и влияние на их собственную судьбу!— говорила она. А теперь и сама попалась! «Да,— сказала пасторша,—

уж она ли не пускала в ход свое влияние, ха-ха-ха-, а вот все-таки не избежала своей судьбы!» Эта острога о госпоже Гейердаль ходила по всей деревне и многим была понятна. Ингер, может быть, тоже ее поняла, только Исаак не понял ничего.

Исаак понимал, как надо работать, как вести хозяйство. Он стал теперь богатым человеком, имел большой участок с отличной усадьбой. Но из крупных денег, случайно попавших к нему, он извлек мало пользы: он их спрятал. Его прельщала земля. Если бы Исаак жил в селе, общение с людьми, может быть, несколько повлияло бы и на него, там было столько соблазнов, такая тонкость обращения. Он тоже накопил бы ненужной дребедени и ходил бы в красной праздничной рубаше по будням. Здесь, в глуши, он был застрахован от всяких излишеств, он жил на чистом воздухе, умывался по воскресеньям и купался, когда бывал на озере. А тысяча далеров — ну, что ж, это божий дар: разве не надо было спрятать их до последнего скиллинга? А зачем? Исааку хватало на необходимые расходы только от одной продажи того, что ему давали скот и земля.

Елисей понимал больше, он советовал отцу отдать деньги в банк. Может быть, это было умнее, но во всяком случае, Исаак все откладывал, да может так никогда и не отдал бы. Нельзя сказать, чтобы Исаак всегда пренебрегал советами сына. Елисей был вовсе не так глуп, он доказал это впоследствии. Нынче, во время сенокоса, он попробовал косить — нет, на это он был не мастер, и ему приходилось все время держаться поближе к Сиверту, чтоб тот точил ему каждый раз косу; но у Елисея были длинные руки и сгребал и копнил он сено так, что любо-дорого. Сиверт, он, Леопольдина и работница Иенсина копнили сено после первого покоса, и Елисей тут не щадил себя, работал граблями до того, что руки у него все покрылись волдырями, и пришлось ему замотать их тряпками. Недели две он плохо ел, но работал не меньше. Что-то новое, должно быть, стряслось с парнем, похоже, ему пошла на пользу некоторая неудача в известном любовном деле, — или нечто вроде того, — он изведал чуточку вечной скорби или разочарование. А тут еще он докурил последний табак, привезенный из города, а это при других обстоятельствах могло бы заставить иного конторщика хлопать дверями и грубо выражаться о том и о сем; но нет, Елисей переносил это, как стойкий парень, даже осанка у него стала тверже, одно слово — настоящий мужчина. И что же придумал тогда шутник Сиверт, чтоб подразнить его? Нынче оба брата легли на

камни у реки, чтоб напиться, и Сиверт был так неосторожен, что предложил брату насушить какого-то замечательного моху на табак.— Или, может, ты покуришь его сыром?— сказал он.

— Вот я тебе дам табаку!— ответил Елисей, схватил брата за голову и окунул по самые плечи в воду.— Ха, вот и получил!— Сиверт так и пошел с мокрыми волосами.

«Сдается, будто из Елисея начинает вырабатываться настоящий человек!»— думал иногда Исаак, видя сына за работой.

— Гм. Как думаешь, Елисей навсегда останется дома?— спросил он Ингер.

Она посмотрела на него с любопытством и осторожно сказала:

— Не знаю, как сказать. Нет, не останется.

— А ты говорила с ним?

— Нет. Неможко-то говорила. Но я так думаю.

— Ну, а если у него будет свой собственный клочок земли?

— Как так?

— Станет он на нем работать?

— Нет.

— Ну, так ты, значит, спрашивала?

— Спрашивала? Я не понимаю Елисея!

— Нечего тебе его порочить,— беспристрастно сказал Исаак.— Я вижу только одно, что он отлично справляется с работой.

— Ну это, пожалуй,— неохотно согласилась Ингер.

— Не понимаю, чего ты нападаешь на парня,— с досадой сказал Исаак.— Он работает все лучше день ото дня, чего же еще желать?

Ингер пробормотала:

— Он не такой, каким был. Ты бы поговорил с ним о жилетках.

— О жилетках? О каких жилетках?

— Он рассказывает, что летом ходил по городу в белых жилетках.

Исаак подумал и ничего не понял:

— А разве ему нельзя дать белую жилетку?— спросил он.

Исаак был сбит с толку, все это, разумеется, бабьи глупости, он находил, что парень имеет право на белую жилетку, да, кроме того, не понимал, в чем дело, и потому решил просто перескочить через это:

— А что ты скажешь, если его посадить работать на участок Бреде?

— Кого?— спросила Ингер.

— Да Елисея же.

— В Брейдаблик?— спросила Ингер.— И не думай.— Дело в том, что она уж обсуждала этот план с Елисеем, знала же его хорошо от Сиверта, который не вытерпел и проболтался. А впрочем — зачем же Сиверту было замалчивать этот план, сообщенный ему отцом единственно для того, чтоб его обсудили. Не первый раз он пользовался Сивертом в качестве посредника. Ну, а что же ответил Елисей? Как и раньше, как в своих письмах из города: «Нет, я не хочу забрасывать свою науку и превращаться опять в ничтожество!» Вот что он ответил. Мать стала приводить ему разные разумные доводы, но Елисей на все отвечал отказом, и говорил, что у него другие планы на жизнь. У молодого сердца свои тайны, может быть, после того что случилось, ему казалось невозможным стать соседом Варвары. Этого никто не мог знать. С видом превосходства он возражал матери: он может получить в городе службу лучше той, что у него была, может поступить в конторщики к амтману или окружному судье, а там и еще будет повышаться, через несколько лет он, может быть, сделается ленсманом или смотрителем маяка, или попадет в таможню. Перед ученым человеком так много возможностей.

Как бы то ни было, но мать переменяла мнение, он увлек ее, она и сама была очень неустойчива. Свет имел над нею такую большую власть. Зимой она еще читала известный замечательный молитвенник, подаренный ей при выходе из тюрьмы в Тронгейме; но теперь-то! Неужели Елисей может сделаться ленсманом?

— Да,— ответил Елисей,— кто такой Гейердаль?— самый обыкновенный старый конторщик, служивший в конторе амтмана.

Огромные перспективы. Мать готова была прямо отсоветовать Елисею менять жизнь и губить себя. Что стал бы такой человек делать в глуши!

Но тогда почему же Елисей вдруг вздумал так усердно работать на отцовской земле? Бог знает, может быть, у него и были кое-какие задние мысли. Наверное, примешивалось и немножко мужичьей чести, не хотелось отставать от других; кроме того, не мешает подружиться с отцом на случай отъезда из дома; по правде сказать, у него были кое-какие долгишки в городе, и хорошо бы их заплатить, это открыло бы ему новый большой кредит. А дело шло не о какой-нибудь сотне крон: кое о чем поущественнее.

Елисей был не только не глуп, но, наоборот, по-своему довольно хитер. Он видел, что отец приехал, и знал, что в эту минуту он сидит в горнице у окошка и смотрит на поляну. И если Елисей приналяжет на работу как раз сейчас, то, может, от этого только выиграет, а повредить это никому не повредит.

Что-то неладное было в Елисее, Бог знает, что: не то расслабленность, не то уныние; он был не дурной, но избалованный. Распустился он, что ли, за последние годы. Что могла теперь сделать для него мать? Единственно, оказать ему поддержку. Она могла увлечься видами на блестящее будущее сына и замолвить за него слово отцу,— это она могла.

Но Исаак, в конце концов, стал сердиться на ее отрицательное отношение: план насчет Брейдаблика, по его мнению, был вовсе не так плох. Нынче, по дороге домой, он даже остановил лошадь и наспех осмотрел заброшенный участок: в настоящих рабочих руках из него мог получиться толк.

— Почему мне об этом не думать?— спросил он у Ингер.— Мне жалко Елисея, и я хочу помочь ему устроиться.

— Ну, если тебе жалко Елисея, так не поминай больше про Брейдаблик!— ответила она.

— Вон что.

— Да, потому что в голове у него мыслей побольше, чем у нас с тобой.

Исаак и сам не вполне уверен, поэтому он не может говорить решительно, но его сердит, что он выдал свой план и говорил с такой неосторожной ясностью, оттого он и не хочет теперь отказаться от этого плана:

— Он сделает так, как хочу я!— заявляет вдруг Исаак.

И он угрожающе возвышает голос, на случай, если б Ингер не расслышала.

— Да вот, смотри на меня, больше я ничего не скажу. Ведь там школа и участок находится в самой середине округа, и все такое, и какие это у него мысли? С таким сыном, как он, того и гляди помрешь с голоду, лучше это, что ли? А теперь я спрашиваю, как это моя собственная плоть и кровь может идти против... против моей собственной крови и плоти?

Исаак умолк. Он понимал, что чем больше он говорил, тем дело становилось хуже. Он собрался было переменить праздничное платье, в котором ездил в село, но потом раздумал и остался, как был — чего это ради?

— Попробуй, поговори с Елисеем,— сказал он.

— Лучше поговори сам. Меня он не послушает.

Ну, конечно, Исаак — над всеми глава, он и сам это знает, пусть только Елисей попробует поворчать! Но опасаясь, быть может, поражения, Исаак сейчас уклоняется и говорит:

— Это-то я, конечно, могу и сам поговорить. Но помимо всяких дел, у меня есть и кое-что другое, о чем подумать.

— Вот что? — изумленно промолвила Ингер.

Исаак уходит, только на окраину своего участка, но, во всяком случае, уходит. Он так полон тайн, он хочет спрятаться. Дело вот в чем: ведь он привез из села и третью новость, она крупнее всех остальных, прямо неизмерима, он спрятал ее на опушке леса. Вот она стоит закутанная в парусину и бумагу, он раскутывает ее и оказывается, что это большая машина. О, она красная и синяя, чудесная, с множеством зубцов и ножей, с руками, колесами, винтами — косилка. Разумеется, новая лошадь была приведена именно сегодня только из-за косилки.

Он стоит с глубокомысленным видом и припоминает с начала и до конца описание, которое ему прочитал торговец; он укрепляет в одном месте стальную пружину, подвигает в другом шкворень, потом смазывает каждое колесо, каждое отверстие, осматривает весь механизм. Никогда не переживал Исаак такой минуты. Взять в руки перо и написать на документе свою фамилию — да, это тоже большая ответственность. Все равно, что борона для разделки нови, у которой надо подгонять так много кривых ножей. Или большая круглая вила на лесопилке, та, что должна проходить точка в точку в центре, не отклоняясь ни на запад, ни на восток, не отскакивая, чего доброго, в потолок! Но косилка — этакая махиница из стальных прутьев и крюков, и всяких приспособлений, и сотен винтов, да швейная машина Ингер против нее простая безделица!

И вот Исаак сам впрягается в оглобли и пробует машину. Это самая торжественная минута. Потому-то он и решил притаиться с машиной и сам выступить в роли лошади.

А что если машина неверно собрана и не станет работать, а с треском развалится на куски! Этого не случилось, машина стала резать траву. Да и как же иначе, Исаак изучал ее здесь много часов, солнце уже закатилось. Он опять впрягается и пробует, машина режет траву. Еще бы не резала!

Когда после жаркого дня пала обильная роса, и сыновья точили косы, готовясь к завтрашней работе, Исаак подошел к дому.

— Повесьте на сегодня косы. Возьмите новую лошадь и отведите ее на опушку!

Сказав это, Исаак не вошел в избу и не сел ужинать, как поужинали все, а покрутился по двору и опять ушел.

— Запрягать телегу?— спросил Сиверт.

— Нет,— ответил отец и пошел дальше.

Он был до того преисполнен тайны и гордости, что даже как-то приседал на каждом шагу,— с такой многозначительностью он выступал. Если он шел на смерть и погибель, то шел, как смелый человек, в руках у него ничего не было для защиты.

Сыновья пришли с лошадей, увидели машину и остановились. Это была первая косилка в местности, первая в селе, красная с синим, радующая человеческий глаз. Отец, глава дома, сказал совсем обыкновенным голосом:

— Запрягайте-ка в эту косилку!— сказал он. Они запрягли.

И вот поехали, правил отец. Брр!— говорила машина, срезая траву, сыновья бежали за ней, с пустыми руками, не работая, улыбаясь. Отец остановился и оглянулся:— «Ну, надо бы почище!» Он подвинчивает два винта, чтоб спустить ножи ближе к земле, и пробует, как выйдет теперь. Нет, ряд неровный, нехороший, рычаг и все ножи с ним подсакивают, отец и сыновья перебрасываются несколькими словами, Елисей нашел описание машины и читает:

— Здесь сказано, что надо садиться на сиденье, когда пускаешь в ход, тогда она устойчивее,— говорит он.

— Ну да,— говорит отец.— Я и сам знаю, я все изучил.

Он садится на сиденье и едет, машина идет устойчивее. Вдруг машина перестает косить, все ножи сразу останавливаются. Тпру! Что такое? Отец соскакивает с сидения, он уже утратил свое высокомерие, он с перепуганным и вопросительным лицом наклоняется над машиной. Отец и сыновья смотрят: что-то неверно, Елисей держит в руках описание.

— Вот тут на траве маленький болтик!— говорит Сиверт, поднимая его с земли.

— Ну хорошо, что ты нашел его,— говорит отец, как будто только этого винтика и не хватало для полного порядка.— Я как раз его и искал.

Но они никак не могут найти для него дырку, куда к черту девалась дырка для болтика?

— Вот здесь!— говорит Елисей и показывает отверстие. И тут, должно быть, Елисей начал чувствовать свое превосходство, его способность понимать книжное описание была несомненна, он излишне долго показывал отверстие для болта и сказал:

— Судя по рисунку, болт этот надо вставить сюда!

— Ну понятно, сюда,— сказал отец,— он здесь и был.— И чтоб придать себе форсу, приказал Сиверту поискать, нет ли в траве еще болтов.— Тут должен быть еще один,— сказал он с необыкновенно важным видом, словно помнил все наизусть.— Больше нет? Ну, стало быть, теперь все на месте!

Отец опять хочет ехать.

— Да нет, это неверно,— кричит Елисей. О, Елисей стоит с рисунком в руке, с законом в руке, его никак не обойдешь:— Вот эта пружина должна быть наверху.

— А?— спрашивает отец.

— У тебя она внизу, ты привинтил ее снизу. Это стальная пружина, она должна находиться наверху, а то болт опять выскочит и ножи останятся. Вот тут на рисунке видно.

— Я не закатил очков и не вижу рисунка,— говорит отец, значительно смиреннее.— Возьми и перевинти пружину, как надо. Но только сделай правильно! Не будь так далеко, я сходил бы за очками.

Все в порядке, отец опять залезает на сиденье. Елисей кричит:

— И поезжай поскорее, тогда ножи режут лучше. Тут так написано.

Исаак едет и едет, и все идет хорошо. Брр!— говорит машина. Он оставляет за собой широкий ряд подрезанной травы, она лежит так ровно, по ниточке, готовая к сушке и уборке. Вот его увидели из дома, и все женщины выходят к ним, Ингер несет на руках маленькую Ревекку, хотя та давно уже научилась ходить. Вот они подошли, четыре женщины широко раскрытыми глазами впиваются в чудовище и останавливаются тесной кучкой. О, как могуч и истинно горд теперь Исаак, он сидит на высоком сиденье, в праздничном платье и полном уборе — в куртке и шляпе, хотя пот льет с него ручьями. Он огибает четыре больших угла, объезжает большую поляну, поворачивает, едет, косит траву, проезжает мимо женщин, а те словно упали с неба, ничего не понимают, машина же говорит: Брр!

Но вот Исаак останавливается и слезает. Ему хочется послушать что говорят люди на земле, что-то они скажут. Он слышит сдержанные восклицания, они не хотят ему мешать на его высоком посту, но задают друг другу робкие вопросы, и эти вопросы он слышит. И вот, желая быть для всех ласковым и отечески заботливым главою и всех подбодрить, Исаак говорит:

— Ну вот, я скошу этот участок сейчас, а завтра вы скопните!

— Неужто ты не пойдешь даже ужинать?— спрашивает Ингер, совсем подавленная.

— Нет. У меня сейчас другие дела!— отвечает он.

Потом он снова смазывает машину и дает понять, что это не простое дело, а настоящая наука. Потом едет и опять косит траву. Некоторое время спустя женщины уходят домой.

Счастливым Исаак! Счастливые жители Селланро.

Он уверен, что очень скоро к нему придут соседи, Аксель Стрем интересуется всеми новинками, он придет, может, завтра же. А Бреде из Брейдаблика — тот способен прийти еще нынче ночью. Исаак не прочь объяснить им устройство косилки и показать, как ею надо действовать. Он укажет, что такого ровного и гладкого ряда не сделать никакой косе и никакому человеку. Но чего стоит такая первоклассная синяя с красным косилка — об этом лучше и не говорить!

Счастливым Исаак!

Но когда он в третий раз останавливает машину и смазывает ее, из кармана его выпадают очки. И хуже всего, что ребята видели. Уж не было ли в этом участия высшей силы, напоминания о том, чтоб он поменьше гордился. Ведь очки все время были при нем, и на обратном пути он то и дело надевал их и разбирал описание, но ничего не понял, пришлось вмешаться Елисею. О-ох, Господи, хорошо быть ученым! В наказание себе Исаак решает отказаться от мысли сделать Елисея землепашцем в пустыне, он больше не будет об этом говорить, и не потому, что ребята придрались к этому несчастью с очками, наоборот. Проказник Сиверт правда не мог удержаться, но он только потянул Елисея за рукав и сказал:

— Ну пойдём-ка домой да сожжём свои косы, отец за нас покосит!

Эта шутка пришлась очень кстати.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

ГЛАВА I

Селланро уже не пустынное место, здесь семь человек детей и взрослых. А за короткое время сенокоса появлялось немало и чужих, приходивших посмотреть косилку; из них первый, разумеется, Бреде. Пришел и Аксель Стрем, и соседи снизу, почти что от самого села. А с той стороны, из-за перевала, пришла Олина. Эту ничто не брало.

Олина и в этот раз явилась из своего села не без новостей, она никогда не приходила с пустыми руками: наконец-то старика Сиверта обревизовали и после него не осталось никакого состояния! Как есть ничего!

Тут Олина поджала губы и поочередно обвела всех глазами: что такое, неужто никто не вздохнул в горнице? Неужто потолок не обрушился?— Первым улыбнулся Елисей.

— Как же это так? Ведь, как будто, тебя называли в честь дяди Сиверта?— вполголоса спрашивает он.

Сиверт-младший отвечает погромче:

— Да. Но все, что после него останется, я подарил тебе.

— Сколько там было?

— От пяти до десяти тысяч.

— Далеров?— воскликнул вдруг Елисей и задорно посмотрел на Сиверта.

Олина, должно быть, находила, что сейчас не время шутить, ее самое так обошли, но все-таки у гроба старика Сиверта она напрягла все свои слабые силы и плакала горькими слезами. Елисей ведь сам отлично знал, что он написал: столько-то и столько-то Олине — на опору и поддержку в старости.— Куда же девалась опора? Сломали, как палку, коленом!

Бедняжка Олина, маленькое наследство ей не помешало бы, оно было бы единственным золотым лучом в ее жизни! Судьба не баловала ее. Она наторела в злобе — это да! Привыкла перебиваться со дня на день разными уловками и мелкими плутнями, сильна лишь умением распускать сплетни, вселять страх перед своим языком — это да! Но ничто не могло ее испортить, а наследство меньше всего. Всю жизнь она трудилась, рожала детей и учила их своим собственным немногим приемам, кланчила для них, может быть, и крала, но заботилась о них — при всей своей бедности была настоящей матерью. Способности у нее были

не меньше, чем у иного политического деятеля; она действовала ради себя и своих, жила только интересами минуты и спасала свою шкуру, зарабатывала на этом — где головку сыра, где горсточку шерсти, и тоже могла жить и умереть в пошлой и неискренней готовности к бою. Олина... быть может, старик Сиверт на минуту вспомнил ее молодой, красивой и румяною, но теперь она стара и безобразна, это портрет разрушения, ей давно бы следовало умереть. Где ее похоронят? У нее нет откупленного для себя места на кладбище, наверное, ее закопают где попало, с совершенно чужими и незнакомыми костями, там она и упокоится. Олина... родилась и умерла. Была когда-то молода. Наследство ей! Теперь, на краю могилы? Ну да, единственный золотой проблеск, и руки каторжницы передохнули бы на минутку. Справедливость бы настигла ее своей запоздалой наградой за то, что она выклянчивала для своих детей, может быть, и крапа для них, но, во всяком случае, берегла их. Мгновение — и тьма снова воцарится в ней, глаза станут косить, пальцы шарить: «Сколько?» — скажет она, — а не больше? — Она опять будет права. Она рожала много раз, дала жизнь нескольким человеческим существам, это стоит большой награды.

Все лопнуло. По проверке Елисея, ведомости старика Сиверта порядочно хромали, но усадьба и корова, сарай и невода могли с избытком покрыть дефицит в кассе. И то, что в общем все обошлось так благополучно, произошло отчасти благодаря Олине, она была очень заинтересована в том, чтоб сохранить кое-какие остатки для себя, и поэтому восстановила позабытые статьи прихода и расхода, известные ей как старой сплетнице, или же такие статьи, которые ревизия умышленно пропускала, не желая опорочить уважаемых односельчан. Пройдоха Олина! Она и теперь ругала не самого старика Сиверта. Он, конечно, завещал ей от доброго сердца, и после него остался бы кругленький капиталец, но двое молодчиков из окружного управления, что вели дело, объегорили ее. Но когда-нибудь все дойдет до ушей Всевышнего! — с угрозой говорила Олина.

Удивительно, она не видела ничего смешного в том, что попала в завещание: несмотря на все, это была честь, в завещании не упоминался никто из ей подобных!

Обитатели Селланро приняли несчастье спокойно, да отчасти они были к нему подготовлены. Правда Ингер никак не могла этого понять:

— Это дядя Сиверт? Который всю свою жизнь был таким богачом! — сказала она.

— Он и предстал бы правым и богатым пред агинцем и престолом, но его ограбили!— ответила Олина.

Исаак собирался идти в поле, и Олина сказала:

— Жалко, ты уходишь, Исаак, значит, я не увижу косилку. Ты ведь завел косилку, правда?

— Да.

— Да, да, говорят. И будто она косит скорее сотни косцов. Чего только ты ни заведешь, Исаак, с твоими-то средствами и золотом! Священник у нас тоже завел новый плуг о двух лемехах, но что такое против тебя наш священник! Это я скажу ему и прямо в глаза.

— Сиверт покосит тебе машиной, он управляется с ней теперь гораздо лучше меня,— сказал Исаак и пошел.

В Брейдаблике назначен аукцион как раз в полдень, и он пошел туда,— пока он решил только это. Не то, чтобы Исаак все еще думал купить хутор, но аукцион — первый в этой местности и обидно пропустить его.

Подойдя к Лунному и увидев Варвару, он только кланяется и хочет пройти мимо, но Варвара заговаривает с ним и спрашивает, не вниз ли он идет.

— Да,— отвечает он и хочет идти. Ведь продается место, где она провела детство, оттого он и отвечает так кратко.

— Ты на аукцион?— спрашивает она.

— На аукцион? Нет, просто иду вниз. А где Аксель?

— Аксель-то, не знаю, право. Пошел на аукцион. Наверно, и он хочет заполучить что-нибудь на даровщинку.

Какая толстая стала Варвара и какая заноза, страсть!

Аукцион начался, он слышит выкрики ленсмана и видит много народа. Подойдя ближе, он узнает не всех, много здесь и чужих людей, но Бреде щеголяет в полном параде, оживлен и болтлив:

— Здравствуй, Исаак! Как, и ты оказал мне честь и уважение, пожаловал на мой аукцион? Спасибо тебе. Мы много лет были соседями и добрыми друзьями, и никогда не слыхали друг от друга худого слова!— Бреде умиляется:— Чудно подумать, что приходится покидать место, где жил и трудился и которое полюбил, но что поделаешь, когда так складывается.

— Потом тебе будет много лучше,— утешает Исаак.

— Да, знаешь,— подхватывает Бреде,— я и сам так думаю. Я нисколько не раскаиваюсь, ничего подобного. Выгоды я тут никакой не получил, потом, наверно, будет лучше, дети растут и вылетают из гнезда. Да, да, жена вот скоро принесет еще одного, но все равно!— и вдруг Бреде ни с того, ни с сего говорит:— Я отказался от телеграфа.

— Что?— спрашивает Исаак.

— Я отказался от телеграфа.

— Отказался от телеграфа?

— С нового года. На что он мне! А если я поступлю на должность и буду разъезжать с ленсманом или доктором, неужели телеграф должен идти у меня на первом месте? Нет, так не может продолжаться! Это хорошо для тех, у кого много времени: а бегать из-за какой-то телеграфной линии по горам и долам за пустячную плату, а то и вовсе задаром Бреде не станет! А кроме того, я не поладил с управлением, оно все пристаёт ко мне.

Ленсман продолжает выкрикивать цены на хутор, дошло уже до нескольких сот крон, каких и стоит, по общему мнению, участок, поэтому надбавки делают всего по пяти, десяти крон.

— Кажется, это Аксель набавил!— говорит вдруг Бреде и, загоровшись любопытством, бежит к нему:— Ты хочешь купить мой участок? Разве тебе своего мало?

— Я покупаю для другого человека,— уклончиво отвечает Аксель.

— Ну, мне-то ведь все равно, я не к тому спросил.

Ленсман поднимает молоток, новая надбавка, сто крон сразу, никто не предлагает больше, ленсман несколько раз повторяет цену, ждет с минуту, держа молоток на весу, потом ударяет.

— За кем цена?

— Аксель Стрем. Для другого...

Ленсман заносит в протокол: «Аксель Стрем, по поручению».

— Для кого это ты покупаешь?— спрашивает Бреде.— Меня это не касается, а все-таки...

Но тут сидящие за столом ленсмана господа нагибают друг к другу головы, там представитель банка, торговец со своим приказчиком, что-то произошло, кредиторы не покрыли своего. Призывают Бреде, и Бреде, легкомысленный и беспечный, только кивает, что он согласен, но,— «кто бы поверил, что за усадьбу больше не дадут!»— говорит он. И вдруг возвещает во всеуслышание:

— Раз у нас здесь происходит аукцион, и я уж обеспокоил ленсмана, так заодно я продаю то, что у меня еще имеется: телегу, скотину, вилы, точильный камень, мне это больше не понадобится, распродаюсь в пух и прах!

Мелкие предложения. Жена Бреде, такая же легкомысленная и беспечная, хотя и с огромным животом, тем временем вздумала продавать за столиком кофе; ей

нравится разыгрывать из себя торговку, она улыбается, и когда сам Бреде подходит за чашкой кофе, она шутки ради, требует плату и с него. А Бреде и в самом деле вытаскивает засаленный кошелек и платит.

— Посмотрите-ка на мою супружницу,— говорит он присутствующим.— Эта не пропадет!— говорит он.

Телега недорого стоит, она слишком долго стояла под открытым небом, но Аксель Стрем под конец набавляет целых пять крон, и телега тоже остается за ним. Больше Аксель ничего не покупает, но все и без того удивляются, как это такой осторожный человек столько накупил.

Теперь очередь за скотиной. Ее не выпустили на пастбище, чтоб она была под рукой. К чему Бреде скотина, раз у него нет для нее земли! Коров у него не было. Он начал свое хозяйство с двумя козами, сейчас у него четыре. Да еще шесть овец. Лошади тоже не было.

Исаак купил известную лопухую овцу. Когда дети Бреде вывели эту овцу из хлева, Исаак сейчас же стал набавлять на нее цену. Это возбудило внимание, ведь Исаак из Селланро был богатый и уважаемый человек, да и овец ему, как будто, не требовалось. Жена Бреде приостановила на минутку свою кофейную торговлю и говорит:

— Да, эту овцу стоит купить, Исаак, она старая, но каждый божий год приносит по два, по три ягненка.

— Знаю,— ответил Исаак и посмотрел на нее,— овца эта мне знакома.

На обратном пути он идет с Акселем Стремом, ведя свою овцу на привязи. Аксель неразговорчив, и его как будто что-то грызет. У него нет особенных причин унывать, думает, вероятно, Исаак, луга у него хорошие, корм он почти весь уж убрал, и начал собирать избу. Все идет, как и должно у Акселя Стрема, не торопко, но верно. Теперь есть и лошадь.

— Ты купил участок Бреде,— сказал Исаак,— будешь его обрабатывать?

— Нет, не буду. Я купил для другого.

— Так.

— Как по-твоему, не очень дорого я дал?

— Нет. Там хорошее болото если им как следует заняться.

— Я купил для одного из своих братьев, который живет в Гельголанде.

— Так.

— А теперь думаю, не поменяться ли мне с ним.

— Поменяться? Да неужели станешь меняться?

— Может, Варваре там будет повеселее.

— Разве что так,— сказал Исаак.

Порядочное расстояние они идут молча. Потом Аксель говорит:

— Ко мне все пристают с телеграфом.

— С телеграфом? Так. Да, я слышал, что Бреде отказался.

— Ну,— с улыбкой отвечает Аксель,— это не совсем так, не Бреде отказался, а ему отказали.

— Да, да,— говорит Исаак и про себя оправдывает Бреде,— на телеграф много уходит времени.

— Его оставили только до нового года, с тем, чтоб он исправился.

— Так.

— Как думаешь, не брать мне это место?

Исаак долго думал.

— Да, да, конечно, как ни как — деньги.

— Мне они прибавят.

— Сколько?

— Вдвое.

— Вдвое? Ну тогда, по-моему, тебе надо подумать.

— Но они немножко увеличили расстояние. Просто не знаю, что делать. У меня меньше продажного леса, чем было у тебя, и нужно прикупить кое-что из домашней утвари, а то у меня почти что ничего нет. Деньги и наличные средства требуются постоянно, а скот мне дает не так много, чтоб хватало на продажу. Выходит так, что для начала надо мне попытаться с годик на телеграфе...

Ни одному не пришло в голову, что Бреде может исправиться, и место останется за ним.

Когда они приходят в Лунное, оказывается, что и Олина тоже там. Олина — она удивительная, круглая и жирная, ползает, словно червяк, и перевалило-то ей уж за семьдесят, но куда нужно она доберется. Она сидит в землянке и пьет кофе, но, увидя мужчин, бросает все и выходит на двор:

— Здравствуй, Аксель, добро пожаловать с аукциона! Ты ведь не сердись, что я заглянула к вам с Варварой? А ты все трудишься, строишь избу и все богатеешь! Что это, ты купил овцу, Исаак?

— Да,— отвечает Исаак,— узнаешь ее?

— Узнаю ли? Нет...

— Видишь, она ведь лопухая.

— Лопухая,— как это? Ну, так что ж? Что это я хотела сказать. Кому же достался участок Бреде? Я как раз говорила Варваре: кто-то, говорю, будет теперь твоим соседом? А

бедняжка Варвара только плачет, как и можно ожидать; но Всемогущий Господь послал ей другой дом в Лунном. Лопухая — я много видывала лопухих овец в своей жизни. А уж правду сказать, Исаак, это твоя машина такая штука, что не моим старым глазам смотреть. А сколько она стоит, я даже и спрашивать не хочу, все равно мне не сосчитать. Если ты ее видел, Аксель, так понимаешь, о чем я говорю, ведь это все равно, что огненная колесница Ильи-пророка, прости Господи мои согрешенья...

По окончании уборки сена, Елисей стал собираться обратно в город. Он написал своему инженеру, что едет, но получил удивительный ответ, что времена стали тугие, приходится экономить, инженер вынужден упразднить его должность и быть сам своим секретарем.

Вот так черт! Но, собственно говоря, зачем какому-то окружному инженеру конторщик? Когда он брал мальчика Елисея из дому, он, должно быть, хотел разыграть из себя большую персону в глуши, и если он кормил и одевал его до конфирмации, так имел за это некоторую помощь по части письменных работ. Теперь мальчик вырос, это все меняло.

«Но, писал инженер, если ты приедешь, я постараюсь поместить тебя в другую контору, хотя, пожалуй, это будет и трудно. Здесь чрезвычайно много молодых людей, ищущих работы. Будь здоров».

Разумеется, Елисею хотелось вернуться в город, разве можно было в этом сомневаться? Неужели ему губить себя? Ведь он хотел выбиться в люди! И Елисей ничего не сказал домашним об изменившемся положении, это было ни к чему, а кроме того, на него напала какая-то вялость, он и промолчал. Жизнь в Селланро оказывала на него свое действие, это была немудреная и серенькая жизнь, но спокойная и сонная, она развивала мечтательность, не за кем было тянуться, незачем рисоваться. Жизнь в городе расколола его как-то надвое и сделала чувствительнее, чем все прочие, слабее, в сущности, он стал всюду чувствовать себя чужим. Что ему опять начал нравиться запах бирючины — это еще куда ни шло! Но уж никакого смысла не было для крестьянского парня слушать по вечерам, как мать и девушки доят коров и коз, и впадать в такие вот мысли: они доят, слушай хорошенько, ведь это прямо удивительно, каждая отдельная струйка, словно песенка, не похожая на духовую музыку в городе, ни на оркестр Армии Спасения, ни на пароходный свисток. Струится песенка в подойник...

В Селланро не очень-то показывали свои чувства, и Елисей сдерживался в ожидании момента разлуки. Снаряжение у него теперь было хорошее, ему опять дали новой тканины на белье, и отец через третье лицо даже передал ему денег, при чем сам вышел на это время из комнаты. Деньги — неужели Исаак и в самом деле решил расстаться с деньгами? Иначе никак нельзя было, Ингер заверила, что это в последний раз, Елисей сейчас же пойдет в гору и выбьется на дорогу сам.

— Так, — сказал Исаак.

Настроение сделалось торжественным, в доме все притихло, на последний ужин всем дали по яйцу в смятку, и Сиверт уж стоял на дворе, готовый проводить брата и нести его вещи. Настало время прощаться.

Он начал с Леопольдины. Она тоже сказала «прощай» и вела себя отлично. Тоже и работница Иенсина, чесавшая шерсть, ответила «прощай»; но обе они смотрели на него во все глаза, должно быть, потому, что веки у него были что-то красноваты. Он протянул руку матери и она, разумеется, громко заплакала, пренебрегая тем, что он ненавидел слезы.

— Дай тебе Бог всего хорошего! — всхлипнула она.

С отцом вышло всего хуже, по многим причинам: он был такой старый и бесконечно доверчивый, носил детей на руках, рассказывал о чайках и других птицах и зверях и разных чудесах на земле, это было ведь так недавно, всего несколько лет тому назад... Отец стоит у окошка, потом вдруг круто поворачивается, хватая сына за руку и говорит быстро и сердито:

— Ну так, прощай! А то я вижу молодая лошадь отвязалась! — И моментально отворачивается и выбегает из комнаты.

О, но ведь он сам только перед этим нарочно отвязал молодую лошадь, и шутник Сиверт это отлично понял, потому что посмотрел вслед отцу и улыбнулся. Да к тому же молодая лошадь ходила по отаве.

Но вот Елисей готов.

Мать вышла за ним на крыльцо, опять всхлипнула и сказала: «Господь с тобой!» — и передала ему что-то, — «вот это — и не благодари его, он не хочет. Да непременно пиши почаще».

Двести крон.

Елисей посмотрел вниз по откосу: отец изо всех сил старался вбить в землю прикол для привязи, и кажется, никак не мог, хотя вбивал-то он его в мягкий луг.

Братья вышли в поле, дошли до Лунного, Варвара стояла на крыльце и позвала их зайти:

— Что это, ты уж уезжаешь, Елисей? Ну так найди же и выпей хоть чашку кофе!

Они заходят в землянку, и Елисей уже не так терзается любовью и не собирается выпрыгнуть из окна и принять яду. Нет, он кладет свое светлое летнее пальто на колени, стараясь, чтоб шелковая подкладка была на виду, потом приглаживает волосы носовым платком и наконец говорит совсем уж по благородному:

— Классическая у нас стоит погода!

Варвара тоже не останется в долгу, она играет серебряным кольцом на одной руке и золотым на другой, — да, она таки получила золотое кольцо — и на ней передник, закрывающий ей всю фигуру от шеи и до ног, так что кажется, будто это не она такая толстая, а кто-то другой. А когда кофе сварился, и гости стали пить, она сначала пошила белый платочек, потом повязала крючком воротничок и занялась еще каким-то дамским рукодельем. Варвара не взволнована визитом, и это хорошо, тон от этого естественный, Елисей может опять пофорсить.

— Куда ты девала Акселя? — спрашивает Сиверт.

— Где-нибудь ходит, — отвечает она и выпрямляется. — Верно ты уж никогда больше не приедешь в деревню? — спрашивает она Елисея.

— Это в высшей степени неправдоподобно, — отвечает он.

— Здесь не место для человека, привыкшего к городу. Хотела бы я уехать с тобой.

— Ну это ты не серьезно?

— Не серьезно? Я попробовала, каково жить в городе и каково жить в деревне, а жила я не в таком городе, как ты, — куда побольше. Так как же мне здесь не скучать?

— Я не то хотел сказать, ты ведь была в самом Бергене! — поспешно сказал Елисей; она ведь была ужасно раздражительна!

— Я-то знаю, что не будь у меня газеты, я бы уж давно сбежала отсюда, — сказала она.

— А как же Аксель и все прочее, вот что я имел в виду?

— Ну, насчет Акселя это не мое дело. А тебя самого, скажешь, никто не ждет в городе? Тут уж Елисей не мог не порисоваться немножко, закрыл глаза и прищелкнул языком, чтоб показать, что да, совершенно верно, в городе его кое-кто ждет. О, но он использовал бы это совсем по-другому, не будь здесь Сиверта, теперь пришлось только ответить:

— Что ты болтаешь!

— Ах, — обиженно сказала она, и прямо непозволительно, до чего она стала сварлива: — Болтаю, — повторила

она.— Да, от нас, в Лунном, иного нечего и ждать, мы люди не очень знатные.

Елисей, впрочем, не очень-то за ней гнался, она сильно подурнела лицом, и ее беременность стала наконец заметна даже и для его детских глаз.

— Поиграй нам немножко на гитаре,— попросил он.

— Нет,— отрезала она.— Что это я хотела сказать тебе, Сиверт: не придешь ли ты на несколько дней помочь Акселю собрать новую избу? И нельзя ли завтра, когда пойдешь назад из села?

Сиверт подумал:

— Ну что ж. Только у меня нет одежды.

— Я сбегая нынче вечером за твоей рабочей одеждой, так что к твоему приходу она здесь будет.

— Ну что ж,— сказал Сиверт,— разве что так.

Варвара необычайно оживилась:

— Вот бы хорошо-то! А то лето проходит, а избу надо бы покрыть до осенней непогоды. Аксель много раз собирался попросить тебя, да все не выходило дело. Вот хорошо, если бы ты оказал нам эту услугу!

— В чем смогу помочь— помогу,— сказал Сиверт.

На том и порешили.

Но тут, по совести, настала очередь Елисея обидеться. Он, конечно, понимает: Варвара молодец, что так заботится о себе и Акселе и старается найти помощника для стройки, но слишком уж это явно, ведь она здесь не хозяйка и не век же тому назад он сам целовал ее, эту самую Варвару. Совсем она бесстыжая что ли?

— Да,— вдруг говорит он,— я еще приеду и буду крестить у тебя.

Она метнула в него взглядом и с досадой ответила:

— Крестить? А еще говоришь, что я болтаю. А впрочем, когда мне понадобится крестный отец, я пошлю за тобой.

Что оставалось Елисею, как не улыбнуться пристыжено и не убраться поскорей из землянки!

— Спасибо за кофе!— сказал Сиверт.

— Да, спасибо за кофе!— повторил Елисей, но не встал и не поклонился,— как же, очень нужно, злючка она, дрянь!

— Покажи-ка!— сказала Варвара.— Да, у тех конторщиков, у кого я жила, тоже были серебряные пластинки на пальто, только гораздо шире и длиннее,— сказала она.— Ну так, значит, ты придешь нынче, Сиверт, и переночуешь у нас? Я принесу твою одежду.

На этом и распрощались.

Братья ушли. Елисею наплевать на нее, да сверх того — у него в кармане две крупных бумажки. Братья старались не затрагивать никаких печальных тем, ни странного прощанья отца, ни слез матери; они обошли Брейдаблик стороной, чтоб их там не задержали, и весело пошутили над этим плутовством. Но когда спустились настолько, что впереди завиднелось село, и Сиверту надо было поворачивать назад, оба немножко сплеховали. Сиверт даже сказал:

— А ведь, пожалуй, без тебя будет скучновато!

Елисей засвистел и стал рассматривать свои сапоги, а в пальцах у него начался зуд, и он принялся шарить по карманам:— «Бумаги,— сказал он,— куда это они запропались!»— Но все равно вышло бы нехорошо, если б Сиверт не вынул их обоих.

— Счастливо!— крикнул он, дал брату тумака и побежал. Это помогло, они издали обменялись прощальными словами и пошли каждый своей дорогой.

Судьба или случай. Вопреки всему Елисей возвращался в город на должность, которой у него уже не было, а при том же экстренном случае Аксель Стрем заполучил помощника. Они начали ставить избу 21-го августа, а через десять дней она была уже и покрыта. Изба-то, правда, небольшая, всего несколько локтей в высоту; одно только, что она была деревянная, а не землянка, но зато на зиму для скотины получится великолепный хлев из того помещения, где до сих пор жили люди.

ГЛАВА II

Третьего сентября Варвара исчезла. Совсем-то она не ушла, но ни дома, ни на дворе ее не было.

Аксель изо всех сил плотничал, старался приладить окно и дверь к новой избе, так что был очень занят; но когда подошло время полудновать, а его еще не звали есть, он пошел в землянку. Никого. Он разыскал себе закусить и за едой увидел, что все Варварины платья висят на месте, стало быть, она просто куда-то вышла. Он вернулся к своей работе и продолжал еще некоторое время строгать, потом опять заглянул в землянку — нет, опять никого. Должно быть, она где-нибудь прилегла. Он пошел искать.

— Варвара!— зовет он. Нету. Ищет кругом построек, обходит кусты по краю участка. Ищет долго, пожалуй, с час, зовет — нету. Он находит ее очень далеко, она лежит

на земле, скрытая кустами, у ног ее бежит ручей, она простоволосая и босая, и вдобавок вся спина у нее мокрешенька.

— Чего ты здесь лежишь?— говорит он.— Отчего не откликнулась?

— Я не могла,— прошептала она, почти неслышно от хрипоты.

— Что это — ты упала в воду?

— Да. Я поскользнулась. О-ох!

— Тебе нехорошо?

— Да. Все уж кончено.

— Кончено?— спрашивает он.

— Да. Ты помоги мне добраться домой.

— А где же..?

— Что?

— А ребенка разве нет?

— Нет. Он был мертвый.

— Мертвый?

— Да.

Аксель медлителен и туго соображает, он стоит не двигаясь.

— Где он?— спрашивает Аксель.

— Тебе незачем знать,— отвечает она.— Проводи меня домой. Он был мертвый. Я дойду сама, если ты поддержишь меня под руку.

Аксель несет ее домой и сажает на стул. Вода струится с нее.

— Он был мертвый?— спрашивает Аксель.

— Ты же слышал,— отвечает она.

— Куда ты его девала?

— Тебе его надо понюхать? Ты нашел чего поесть, пока меня не было?

— А зачем ты попала к ручью?

— Зачем я попала к ручью? Искала можжевельника.

— Можжевельника?

— Для посуды.

— Там нет можеевельника,— говорит он.

— Ступай работать!— сипло и раздраженно обрывает она.— Зачем я попала к ручью? Мне нужно было осоки, чистить кастрюли. Я тебя спрашиваю, ты поел?

— Поел?— повторяет он.— Тебе очень плохо?

— Нет.

— По-моему, надо позвать доктора.

— Попробуй только!— отвечает она, встает и начинает искать сухое платье, переодеться.— Тебе больше не на что швырять деньги?

Аксель возвращается к своей работе, дело подвигается у него слабо, но он все-таки кое-как поколачивает и постругивает, чтоб она слышала; в конце концов, он прилаживает раму, проконопатив ее мхом.

Вечером Варвара не садится ужинать, а хлопочет по хозяйству, доит коз и корову и только осторожнее обычного переступает через пороги. Легла она как всегда, на сеновале, и в те два раза, что Аксель ночью заходил ее проведать, спала крепко. Ночь она провела хорошо.

На следующее утро она была почти такая же, как всегда, только охрипла до того, что не могла произнести ни слова, и обвязала шею длинным чулком. Они не могли разговаривать. Дни проходили, происшествие это стало забываться, другие события выдвинулись на передний план. Новой избе, собственно, полагалось выстояться и просохнуть, да надо было ее проконопатить, чтоб не дуло и не протекало, но времени на это не было, приходилось сейчас же перебираться в нее, привести в порядок хлев. Когда с этим покончили, и переселение состоялось, подоспела картошка, а после нее взялись за ячмень. Жизнь шла своим чередом.

Но по многим мелким и крупным признакам Аксель понимал, что положение изменилось, Варвара чувствовала себя в Лунном такой же чужой, как и всякая другая работница, совсем не связанной, его власть над ней порвалась со смертью ребенка. Он-то думал: «Подожди, дай только родиться ребенку!» Но ребенок родился и его не стало. В конце концов Варвара даже сняла кольца и не стала носить ни одного, ни другого.

— Что это значит?— спросил он.

— Что значит?— ответила она и потрянула головой.

Но, конечно, это не могло означать ничего, кроме коварства и измены с ее стороны.

Он разыскал-таки маленький трупик у ручья. Не потому, чтобы очень уж искал, он и так чуть не в точности знал, где он находится, но не трогал. Случаю было угодно, чтоб он не совсем забыл о нем: над тем местом стали собираться птицы, каркающие вороны и галки, а немного погодя появилась и пара орлов в головокружительной вышине. Как будто сначала одна ворона увидела, как там внизу что-то положили, и не могла этой новости удержать про себя, не хуже человека, и подняла шум. Тогда и Аксель очнулся от своего равнодушия и только ждал удобного часа, чтоб прокрасться туда. Он нашел тельце под мхом и ветками, прижатыми двумя камнями; оно было в узле, завернутое в большую тряпку. С любопытством и страхом он слегка

отогнул матерью: закрытые глаза, темные волосы, мальчик, ножки накрест,— больше он ничего не видел. Узелок был мокрый, он начал просыхать, и имел вид скомканного после стирки белья.

Аксель не мог оставить его так, на виду. В глубине души он, должно быть, побаивался за себя и за свою землю; он побежал домой за лопатой и выкопал ямку поглубже, но так как место находилось совсем у ручья, и вода просачивалась в ямку, пришлось перенести могилку повыше на пригорок. Во время работы страх, что Варвара придет и застанет его, исчез, наоборот, он не на шутку разозлился, пусть приходит, он заставит ее хорошенько завернуть и запеленать ребеночка, все равно, мертворожденный он или нет! Он отлично понимал, что потерял со смертью этого ребенка: ему грозит снова остаться на своем хуторе без помощницы, и это в то время, когда скотины прибавилось больше, чем втрое. Сделайте одолжение, очень даже хорошо, если она придет! Варвара же — может быть, догадалась, чем он занят, но во всяком случае она не пришла, и ему пришлось самому завернуть тельце и положить в новую могилку. Сверху он заложил ямку дерном, как раньше, и старательно скрыл все следы, так что ничего не было заметно, кроме маленькой зеленой кочки среди кустов.

Вернувшись домой, он встретил Варвару на дворе.

— Где ты был?— спросила она.

Ожесточение его, должно быть, уж прошло, он ответил только:

— Нигде. А ты сама где была?

Но Варвара, может быть, уловила какое-то особенное выражение в его лице и прошла, не сказав больше ни слова. Он пошел за нею.

— Отчего это,— начал он и спросил напрямик:— что это значит, что ты перестала носить свои кольца?

Вероятно, она сочла полезнее сделать маленькую уступку, потому что улыбнулась и ответила:

— Ты такой сердитый, что мне прямо смешно! Но если тебе хочется, чтоб я снашивала кольца по будням, изволь!— С этими словами она вынула кольца и надела.

Но увидела его глупо-довольное лицо она дерзко спросила:

— Ты еще чем-нибудь недоволен?

— Ничем я не недоволен,— ответил он.— Будь только такая, какой была раньше, все прежнее время, как пришла. Только это я и хотел сказать.

— Не так-то легко постоянно быть одной и тою же.

Он продолжал:

— Когда я покупал участок твоего отца, я думал ты захочешь лучше жить там, и мы могли бы туда переехать. Что ты скажешь?

Ха, на этом он проиграл; ага, он боялся потерять помощницу и остаться один со скотиной и хозяйством, она отлично это понимала:

— Да, ты так говорил раньше,— уклончиво ответила она.— Не желаю больше об этом слушать!

Акселю казалось, что он и так зашел очень далеко: он разрешил семье Бреде жить в Брейдаблике, и хотя купил вместе с участком и весь урожай, но к себе свез лишь несколько охапок сена, картошку же оставил семье. Страшно несправедливо со стороны Варвары сердиться, но она ни с чем не считалась и спросила, словно глубоко оскорбленная:

— Нам переехать в Брейдаблик, чтобы вся моя семья осталась на улице!

Правильно ли он расслышал? Он посидел сначала разинув рот, потом забормотал что-то, готовясь к странному ответу, но ничего не вышло, и он спросил:

— Разве они не переедут в село?

— Не знаю,— ответила она.— Уж не ты ли нанял им квартиру в селе?

Аксель все еще не хотел с ней препираться, но не мог подумать про себя, что она удивляет его, немножко удивляет:

— Ты становишься все непокладистее и сварливее,— сказал он,— но это ты только так.

— Что я говорю, я говорю серьезно,— ответила она.— И почему это мои родные не могли переехать сюда, скажи, пожалуйста? По крайней мере, мать помогала бы мне хоть сколько-нибудь. Но по-твоему, конечно, у меня вовсе не так много работы, чтоб мне нужна была помощница.

Кое-что в этом было, разумеется верно, но много было и несообразного; ведь семье Бреде пришлось бы жить в землянке, и Акселю по-прежнему некуда было бы девать скотину. Куда она клонит, и неужто у нее нет ни смысла, ни разума?

— Я скажу тебе одно,— промолвил он,— возьми лучше в помощь работницу.

— Это на зиму-то глядя, когда мне и без того меньше дела? Нет. Работницу можно было взять, когда она была мне нужна!

Опять она была отчасти права: когда она была беременна и больна, можно было взять работницу. Но ведь Варвара никогда не мешкала на работе, все время оставалась такой же работающей и проворной, делала все,

что нужно, и ни разу не обмолвилась насчет работницы. Но ей нужна была работница.

— Ну, тогда я не понимаю,— уныло промолвил он.

Молчание. Варвара спросила:

— Я слышала, ты поступишь на телеграф после отца?

— Как это? Кто тебе сказал?

— Говорят.

— Да,— отвечал Аксель,— может статься.

— Так.

— Почему ты спрашиваешь?

— Потому я спрашиваю,— ответила Варвара,— что ты отнял у моего отца дом и угол, а теперь отнимаешь и хлеб.

Молчание.

Но тут уж Аксель не захотел больше уступать:

— Я скажу тебе одно,— воскликнул он,— ты не стоишь всего того, что я делаю для тебя и для твоих родных!

— Ну-у,— сказала Варвара.

— Нет!— крикнул он и стукнул кулаком по столу.

Потом встал.

— Не воображай, пожалуйста, что запугаешь меня!— завизжала она и подвинулась ближе к стене.

— Запугать тебя!— повторил он и презрительно засопел.— Но теперь я всерьез хочу знать, что ты сделала с ребенком. Ты его утопила?

— Утопила?

— Да. Он был в воде.

— А, так ты его видел?— закричала она.— Ты ходил,— она чуть не сказала: понюхать, но не посмела, не такой у него был вид, чтоб с ним можно было сейчас шутить.— Ты ходил смотреть?

— Я видел, что он побывал в воде.

— Да,— сказала она,— это-то ты мог видеть. Он родился в воде, я не могла встать, я поскользнулась.

— Вот что, поскользнулась.

— Да. И в ту же минуту ребенок родился.

— Так,— сказал он.— Но ты захватила из дому узел. Должно быть на тот случай, что поскользнешься?

— Узел?— повторила она.

— Большую белую тряпку, ты разрежала одну из моих рубах.

— Да,— сказала Варвара,— эту тряпку я взяла с собой, чтоб завязать в нее можжевельник.

— Можжевельник?

— Ну да, можжевельник. Разве я тебе не говорила что пошла за можжевельником?

— Как же. Или за осокой.

— Ну да, все равно за чем...

Но даже и после такого крупного столкновения отношения между ними опять наладились, то-есть не совсем наладились, а стали сносными. Варвара была разумнее и покладистее, она чуяла опасность. Но при таких условиях жизнь в Лунном стала еще более натянутой и неприятной, без доверия, без радости, вечно настороже. Жизнь эта тянулась день за днем, но пока она, в общем кое-как тянулась, Акселью приходилось быть довольным. Он взял к себе эту девушку, она была ему нужна, он был ее возлюбленным и связал с нею свою жизнь. Ведь нелегкое это дело — переделать и себя и жизнь. Варвара знала все, что касалось его хозяйства: где стрят чашки и котлы, когда понесут козы и коровы, много ли корму на зиму или в обрез; что это молоко на сыр, а это — на еду; чужой человек ничего этого не будет знать, да чужого, пожалуй, еще и не найдешь.

Но много раз Аксель Стрем подумывал о том, чтоб заменить Варвару другой работницей, временами она становилась настоящей ведьмой, и он почти боялся ее. Даже в ту пору, когда он был с ней счастливым, его иногда отпугивала ее необычайная жестокость и грубость, но она была красива, у нее бывали и ласковые минуты, и она так горячо прижимала его к своей груди. Это было раньше, теперь все миновало. Нет, спасибо, она не желает опять попасть в ту же историю! Но не легко переделать себя и жизнь:

— Давай повенчаемся сейчас же!— говорил Аксель и приставал к ней.

— Сейчас?— отвечала она.— Нет, сначала я съезжу в город полечить зубы, они скоро все вывалятся.

Итак, приходилось оставить все по-старому, а Варвара теперь даже не получала жалованья, но имела гораздо больше и каждый раз, когда она просила денег и получала их, она и благодарила за них, как за подарок. Впрочем, Аксель не понимал, на что она может тратить деньги, зачем ей деньги в глуши? Копит она, что ли? Но зачем она копит? Только и делает, что копит круглый год?

Аксель не понимал очень многого: разве он не подарил ей обручальное кольцо, не подарил даже золотое? Правда, после этого последнего крупного подарка между ними довольно долго были хорошие отношения, но на веки-вечные его не хватило,— куда там! А не мог же он постоянно покупать ей кольца. Словом: мил он Варваре или не мил? Чудные эти бабы! Можно подумать, что ее где-то

дожидается готовенький муж со скотиной и полным хозяйством! С досады на бабьи глупости и капризы Аксель частенько доходил до крайности и стучал кулаком по столу.

Бросалось в глаза, что в голове у Варвары как будто ничего не было, кроме городской жизни в Бергене. Ладно. Но зачем же, черт побери, вздумала она приезжать сюда, на север? Телеграмма от отца сама по себе не сдвинула бы ее ни на шаг, наверное у нее была какая-нибудь другая причина. А теперь ходит недовольная с утра до вечера, год за годом. И котлы-то деревянные, а не жестяные или медные, и горшки-то вместо кастрюль, и вечная дойка, вместо прогулок на фермы, и мужичьи сапоги, серое мыло, мешок с сеном в изголовьи; и ни военной музыки, ни людей, так и живет...

После того крупного столкновения они ссорились часто, очень часто.

— То ли нам говорить, то ли нам молчать об этом!— говорила Варвара,— а ты вот не очень-то помнишь, как обошелся с моим отцом.

— Ну, а что такое я сделал?

— Ты отлично знаешь,— отвечала она.— Ну да впрочем, тебе все равно не быть инспектором.

— Ну?

— Да, я не поверю, пока не увижу.

— По-твоему, у меня не хватит на это ума?

— Счастье твое, если у тебя есть ум, но читать и писать ты не умеешь, и никогда не возьмешь в руки газету.

— Я умею читать и писать для себя,— сказал он,— а ты просто халда!

— Вот тебе для начала!— сказала она и швырнула на стол серебряное кольцо.

— Так, а другое?— спросил он, подождав с минуту.

— А, если ты хочешь отобрать у меня свои кольца, можешь получить,— сказала она и стала снимать золотое кольцо.

— Не уважаю твой характер!— заявил он и ушел.

И, разумеется, спустя немного она опять надела оба кольца.

В конце концов, ее переставало смущать даже и то, что он высказывал подозрения относительно смерти ребенка. Наоборот, она только посмеивалась и становилась задиристей. Она не то, чтобы прямо сознавалась, а говорила:

— Ну, что ж! А если б я даже и задушила его? Ты живешь в глуши и ничего не знаешь о том, что творится в других местах.

Когда они однажды обсуждали этот вопрос, ей, видимо, захотелось заставить его понять, насколько преувеличенно серьезно он относится к этому, сама она придавала детоубийству не больше значения, чем оно того стоило. Она знала двух девушек в Бергене, которые убили своих детей. Одна попала на несколько месяцев в тюрьму, потому что была глупа и не убила ребенка, а положила на улице, где он и замерз. Другую же оправдали.

— Нет, закон теперь вовсе не так бесчеловечно строг, как раньше,— сказала Варвара.— А кроме того, это вовсе не всегда выплывает наружу. Одна девушка, служившая в Бергенской гостинице, убила двоих детей, она была из Христиании и ходила в шляпке, да еще с перьями. За последнего ребенка ее посадили на три месяца, а про первого так ничего и не открылось,— рассказывала Варвара.

Аксель слушал и начинал все больше и больше ее бояться. Он пытался понять, разобраться хоть немножко в этом мраке, но в сущности, это чересчур серьезно. Со всей своей банальной испорченностью, она не стояла ни одной серьезной мысли. Ведь для нее детоубийство было лишено всякой идеи, всякой необычайности, в ней просто сказывались вся моральная нечистоплотность и распушенность, которых можно ожидать от прислуги. Это и обнаружилось в последующие дни: ни одного часа раздумья, она была ровна и естественна, такая же, как прежде, неизменно полна безразличного вздора, до мозга костей — прислуга.

— Надо мне поехать полечить зубы,— говорила она,— и потом мне непременно нужно купить сак.

Сак — это короткое пальто чуть-чуть ниже талии, бывшее в моде несколько лет тому назад. Варвара желала иметь сак.

Если она принимала все с таким откровенным хладнокровием, что же оставалось Акселю, как не успокоиться в свою очередь? Впрочем, он не всегда подозревал ее, и сама она ни в чем не сознавалась, напротив, каждый раз отрицала всякую вину, без гнева, без упрямства, но с дьявольским самообладанием — как прислуга отрицает, что разбила тарелку, хотя в действительности это так и было. Прошло недели две, и Аксель все-таки не выдержал. Однажды он остановился внезапно посреди комнаты и его точно осенило откровение:

— Да, Господи Боже мой, ведь все же видели ее положение, видели, что она беременна, вот-вот родит, а теперь она опять похудела — где же ребенок? А если все придут искать? Когда-нибудь спросят же объяснение! Ведь если ничего не было плохого, так гораздо проще было бы

похоронить ребенка на кладбище. Тогда он не лежал бы в кустах, не было бы в Лунном...

— Нет. Я только попала бы в переплет,— сказала Варвара.— Ребенка стали бы вскрывать и учинили бы допрос. Этого я вовсе не желала.

— Только бы потом не вышло хуже,— возразил Аксель.

Варвара весело спросила:

— Чего ты все ходишь и думаешь? Пусть себе лежит в кустах!— Она даже улыбнулась и прибавила,— уж не думаешь ли ты, что он начнет ходить за тобой? Ты только молчи и никому не разболтай.

— Ну, что ты!

— Не утопила же я ребенка! Он сам захлебнулся в воде, когда я упала. Просто удивительно, чего только ты не выдумаешь! А кроме того, это не узнается,— сказала она.

— Насчет Ингер из Селланро, говорят, узналось же,— возразил Аксель.

Варвара подумала:

— Мне все равно!— сказала она.— Закон нынче изменился, если бы ты читал газеты, ты бы сам увидел. Столько женщин родят детей и убивают их, и ничего им за это не бывает.

Варвара откровенно объясняет ему все, обнаруживая большую широту взглядов, не даром она побывала в свете, много видала и слыхала, многому научилась, она была гораздо развитие его. У нее было три главных аргумента, которые она постоянно приводила: во-первых, она этого не делала. Во-вторых — вовсе не так страшно, если она и сделала. А в-третьих — ничего не узнается.

— По-моему, все узнается,— возразил он.

— Хм... нет, совсем не все!— И для того ли, чтоб ошеломить его, или подбодрить, или же просто из тщеславия, хвастовства она бросила в него словно разорвавшейся бомбой:

— Да я сама сделала одну вещь, которая так и не узналась.

— Ты?— недоверчиво протянул он.— Что же ты сделала?

— Что же я сделала? Я убила!

Может быть, она не рассчитывала зайти так далеко, теперь приходилось идти дальше, ведь он сидел и смотрел на нее, вытаращив глаза. О, это была даже не огромная и непобедимая наглость, а просто озорство, бравада. Ей захотелось поразить его, оставить слово за собой:

— Ты не веришь?— воскликнула она.— А помнишь детский трупик в городском заливе? Это я его бросила туда!

— Что?— проговорил он.

— Да тот трупик-то. Ты ничего не помнишь. Мы читали про него в газете.

Помолчав, он закричал:

— Ты просто сумасшедшая!

Но его растерянность, должно быть, поддала ей жару, придала какую-то особенную силу, так что она смогла рассказать и подробности:

— Я положила его в ящик — он был мертвый, я убила его как только он родился. И когда мы выехали в городской залив, я его выбросила.

Он сидел мрачный и безмолвный, а она продолжала говорить:— Это было давно, несколько лет тому назад, когда она уезжала в Лунное. Так что он видит, что не все узнается, далеко не все. Как он думает: что было бы, если б узнавалось все, что делают люди? А что делают замужние женщины в городах? Они убивают детей еще до того, как те родятся, для этого имеются специальные доктора. Там не хотят иметь больше одного, в крайнем случае, двоих детей, и тогда доктор просто чуточку вскрывает им матку. Так что Аксель может ей поверить, — там это вовсе не бог весть какая штука.

— Так, значит, и последнего ребенка ты тоже прикончила?— спросил Аксель.

— Нет!— ответила она с величайшим равнодушием.— Да мне и не надо было,— сказала она. Но еще раз возвратилась к тому, что это было бы не так страшно. Казалось, она привыкла постоянно иметь этот вопрос перед глазами, потому и стала так равнодушна. В первый раз ей, может быть, было все же немножко жутко, немножко страшно убивать ребенка; а во второй? Она рассматривала самое деяние с какой-то исторической точки зрения: это сделано, и так делается.

Аксель вышел из избы с тяжелой головой. Его не столько занимало, что Варвара убила своего ребенка,— его это не касалось. И то, что она вообще имела этого ребенка, тоже не стоило особенного разговора. Невинностью она не была, да и не притворялась. Наоборот, она не скрывала своей осведомленности и даже научила его некоторым запретным забавам. Ладно. Но последнего ребенка он отнюдь не желал терять, маленький мальчик, беленькое тельце, завернутое в тряпку. Если она была виновна в смерти этого ребенка, она причинила зло ему, Акселю. Разорвала связь, имевшую для него большую цену, и притом такую, какой он уже не мог создать. Но возможно, что он обвиняет ее и напрасно: может быть, она действительно упала в ручей и не успела подняться. Хотя узел-то ведь был с ней, половина рубашки, которую она взяла с собой...

Но часы шли, наступил полдень, потом вечер. Аксель улегся в постель, долго пролежал, глядя в темноту, наконец, заснул и проспал до утра. А там настал новый день, а после него другие.

Варвара оставалась все такая же. Она знала многое из того, что делается на свете, и равнодушно относилась к мелочам, представлявшим опасности и страха в деревне. С одной стороны, это было утешительно — она была бодра за обоих, беспечна за обоих. Да и вообще-то, она вовсе не представляла из себя ничего страшного. Варвара — чудовище? Ничего подобного. Наоборот — красивая девушка, голубоглазая, чуточку курносая, золотые руки — как работает! Она постоянно скучала, ей надоели и хутор, и деревянные горшки, требовавшие усиленного мытья, надоел, может быть, и сам Аксель, и проклятое затворническое житье, но она не убивала ни одно живое существо и по ночам не стояла над Акселем с занесенным ножом.

Только один раз еще заговорили они о детском трупике в лесу. Аксель опять сказал, что лучше было бы похоронить его на кладбище и закидать землей, но Варвара, как и раньше, утверждала, что ее способ действия гораздо лучше. После чего сказала нечто, указывавшее, что и она тоже рассуждала, проявляла изворотливость ума, думала маленьким, жалким мозгом:

— А если откроется, я поговорю с ленсманом, я у него служила, госпожа Гейердаль мне поможет. Не у всех такая протекция, а их все-таки оправдывают. И кроме того, отец мой в ладу со всеми властями, и сам понятой, и все такое.

Аксель только покачал головой.

— Ты не веришь?

— Что же по-твоему может сделать твой отец?

— Не твоего ума дело! — сердито крикнула она, — думаешь погубил его тем, что отнял у него дом и кусок хлеба!

По-видимому у нее было представление, что репутация отца несколько пошатнулась за последнее время, и что это может повредить ей самой. Что мог ответить на это Аксель? Молчать. Он был миролюбивый и работающий человек.

ГЛАВА III

К началу зимы Аксель Стрем остался опять один в Лунном, Варвара уехала. Да, все было кончено.

Она говорила, что поездка ее в город будет непродолжительна, ведь это не в Берген, но она не хочет оставаться

здесь и терять один зуб за другим, пока они не вывалятся все до единого.

— Сколько же это будет стоить?— спросил Аксель.

— Почему я знаю!— ответила она.— Во всяком случае, тебе это ничего не будет стоить, я заработаю.

Она объяснила, почему лучше предпринять эту поездку именно теперь: сейчас доятся только две коровы, к весне понесут две другие, да и все козы будут с козлятами, потом начнутся полевые работы, дела будут по горло до июня.

— Делай, как хочешь,— сказал Аксель.

Это ничего ему не будет стоить, ровно ничего. Но ей нужно денег, самые пустяки, на дорогу и на зубного врача, еще на сак и разные другие вещи, но если он не согласен, она обойдется и без них.

— Ты и так забрала уж много денег,— сказал он.

— Ну, так что ж,— ответила она.— Они уже все разошлись.

— Разве ты не копила?

— Копила? Можешь поискать в моем сундуке. Я не копила и в Бергене, а там я получала жалованье гораздо большее.

— У меня нет для тебя денег,— сказал он.

Он не очень верил, что она вернется из этой поездки, к тому же она так долго мучила его всяческими капризами, что, в конце концов, он стал охладевать к ней. И на этот раз приличной суммы ей не удалось выманить, но он посмотрел сквозь пальцы на то, что она забрала с собой огромное количество провизии, и свез ее вместе с ее сундуком на пароход.

Вот и наступила развязка.

Оно бы ничего остаться одному на хуторе, он к этому привык, но скотина очень его связывала, и когда ему приходилось отлучаться из дому, она оставалась без ухода. Торговец посоветовал ему взять на зиму Олину, она когда-то несколько лет прожила в Селланро, правда теперь она старая, но все-таки хлопотунья и работящая. Аксель послал за Олиной, но она не пришла, и он не имел от нее известий.

В ожидании Аксель работает на рубке дров, обмолачивает свой маленький скирд ячменя и ходит за скотиной. Было одиноко и тихо. Изредка проезжал по пути в село или из села Сиверт из Селланро. В село он возил дрова или кожи, или молочные продукты, оттуда же возвращался почти всегда порожняком, хуторянам из Селланро мало что нужно было покупать.

Изредка проходил мимо Лунного Бреде Ольсен, и за последнее время чаще, чем раньше — чего это так

зачастил? Он старался в последние недели стать необходимым на телеграфной линии и таким образом сохранить за собой место. Со времени отъезда Варвары он ни разу не зашел к Акселю, а проходил мимо, и это с его стороны заносчиво,— ведь он все еще жил в Брейдаблике и не выселился оттуда. Однажды, когда он намеревался пройти, даже не поздоровавшись, Аксель остановил его и спросил, когда он собирается освободить место.

— Как ты расстался с Варварой?— спросил вместо ответа Бреде.

Слово за слово:— Ты отправил ее без всяких средств, она насилу добралась до Бергена.

— А, так она в Бергене?

— Да, она пишет, что наконец-то попала туда, но это без твоей помощи.

— Вот я возьму и сейчас же выделю тебя из Брейдаблика,— сказал Аксель.

— Сделай одолжение!— насмешливо ответил тот.— После нового года мы и сами выслемся,— сказал он и пошел своей дорогой.

А-а, Варвара уехала в Берген. Значит, так и вышло, как Аксель думал. Он не горевал,— горевать! Чего ради? Она была просто ведьма; но до сих пор он еще не терял надежды, что она вернется. Черт его поймет! Должно быть, он все-таки очень уж привязался к этому человеку, к этой негоднице. Но у них были и хорошие минуты, незабвенные минуты, именно для того, чтоб она не убежала в Берген, он и поспешил на деньги при прощании. И вот она все равно удрала. Правда, вон висят кое-какие ее платица, да на полке лежит в бумаге соломенная шляпка с крылышками. Но она не вернется за ними. Ох, да, может быть, он и горевал немножко. Словно в насмешку, ее газета продолжала приходить и, наверное, не прекратится до нового года.

Но как бы то ни было, у Акселя было и другое о чем подумать,— надо быть мужчиной.

К весне он собирался пристроить амбарчик к северной стене новой избы. На зиму надо нарубить бревен и напилить досок. У Акселя не было сплошного строевого леса, но в разных местах его участка росли поодиночке толстые сосны, и он решил срубить те, что находились по дороге в Селланро, чтоб сократить провоз до лесопилки.

Однажды утром он особенно тщательно накормил скотину, чтоб она выстояла до вечера, запер за собой двери и ушел в лес; кроме топора и котомки с едой он захватил с собой лопату для отгребания снега. Погода

мягкая, вчера была сильная буря с метелью, но сегодня тихо. Он идет все время по телеграфной линии пока не доходит до места, потом стаскивает куртку и принимается рубить. Срубив дерево, очищает его от сучьев, превращает в бревно, а верхушку и ветки складывает в кучу.

В гору проходит Бреде Ольсен, значит на линии после вчерашней бури беспорядок. А может быть, Бреде пошел и так себе, он стал очень усерден к службе. Ха, вот до чего исправился! Мужчины не сказали друг другу ни слова и не поздоровались.

Аксель замечает, что погода меняется, ветер все усиливается, но он продолжает работать. Давно перевалило за полдень, а он не ел. И вот он срубает большую сосну, которая при падении задевает его и валит на землю. Как это произошло? Беда подкарауливала. Стоит сосна и качается на корню, человек хочет повалить ее в одну сторону, а ветер в другую, человек оказывается слабее. Оно бы может обошлось, да снег прикрыл неровную почву, Аксель оступился, шагнул в бок, попал ногой в расщелину и застрял в горе, придавленный сосной.

Ну да! Оно бы и сейчас еще обошлось, но он упал так удивительно неловко, — как будто и руки, и ноги целы, но необыкновенно неловко, и никак не мог выбраться из-под огромной тяжести. Через некоторое время он высвободил одну руку, на другой он лежит, и до топора никак не достать. Он оглядывается и думает, как всякое другое животное, попавшее в капкан, оглядывается, думает и барахтается под деревом.

— Наверно, немного погодя Бреде придет обратно, — думает он и отдувается.

В начале он относится к своему приключению легко и только сердится, что оно ему помешало, он ничуть не опасается за свое здоровье, а тем более за жизнь. Правда он чувствует, что рука, на которой он лежит, точно замирает под ним, а нога, увязшая в расщелине, стынет и тоже немеет, но это ничего. Бреде наверное скоро придет.

Но Бреде не шел.

Буря усиливалась, снег сыпал Акселю прямо в лицо. — Смотри-ка, теперь пошло по-настоящему! — думает он еще довольно беспечно, и точно сам себе подмигивает сквозь снег, что, вот теперь надо смотреть в оба, теперь-то и начинается по-настоящему! Спустя некоторое время он издает крик. Его недалеко слышно в бурю, но он несется по линии, к Бреде. Аксель лежит и предается бесполезным думам: если б достать топор, он мог бы высвободиться! Хоть бы выпростать руку, она лежала на чем-то остром, на камне,

и камень тихонько и вежливо въедался в руку. Хоть бы убрался этот проклятый камень, но никто еще не слышал, чтоб от камня можно было дожидаться любезности.

Время идет, снег метет жестоко, Аксель совсем заносит, он совершенно беспомощен, снег невинно и бездумно ложится на его лицо, сначала тает, потом лицо остывает, и снег перестает таять. Вот теперь-то начинается по-настоящему!

Он громко кричит два раза и прислушивается.

Вот занесло и топор, он видит только кусочек топорича. Неподалеку висит на дереве сумка с едой, если б достать, он бы съел кусочек, этаким изрядный ломтище! А уж раз он так смел в своих требованиях, то хорошо бы заодно раздобыть и куртку, становится холодно. Он опять громко кричит.

Вон стоит Бреде. Он остановился, смотрит на кричащего, стоит всего секунду и шарит глазами в том направлении, словно выискивая, что там происходит.

— Подойди и подай мне топор!— жалобно кричит Аксель.

Бреде отводит глаза, он понял, что произошло, и вот он смотрит вверх, на телеграфный провод и как будто собирается засвистать. Спятил он, что ли!

— Подойди и дай мне топор!— повторяет Аксель громче,— я лежу под деревом!

Бреде ужасно исправился и стал усерден к службе, он смотрит только на провода и вот-вот засвищет. И обратите внимание, что, пожалуй, он засвищет весело и мстительно.

— Что ж, ты хочешь убить меня и даже не подаешь мне топора!— кричит Аксель.

Тогда оказывается, что Бреде как будто надо спуститься по линии немножко дальше, осмотреть провода и там. Он исчезает в метели.

Так, да, да. Но теперь очень было бы хорошо, если б Аксель как-нибудь высвободился сам и достал топор! Он напрягает живот и грудь, чтоб приподнять придавившую его огромную тяжесть, толкает дерево, трясет его, но добивается только того, что его еще больше засыпает снегом. После нескольких тщетных попыток он успокаивается.

Начинает смеркаться. Бреде ушел, но как далеко? Не особенно далеко, Аксель опять кричит и тут же говорит одним духом:

— Что ж, ты так и оставишь меня валяться тут, убийца?— кричит он,— неужто тебе не дорога твоя душа и вечное блаженство? Ты знаешь, что можешь получить корову, если поможешь мне, но ты пес, Бреде, ты хочешь

погубить меня. Но я же зато донесу на тебя, так же истинно, как я сейчас лежу здесь, помяни мое слово! Неужто ты не можешь подойти и дать мне топор?

Тишина. Аксель опять барахтается под деревом, чуть-чуть приподнимает его животом, снег засыпает его еще больше. Потом сдается и вздыхает, он устал и ему хочется спать. Скотина стоит теперь в землянке и мычит, она с утра не пила и не ела, Варвара ее уж не кормит, Варвара удрала, удрала с обоими кольцами. Смеркается, ну да, наступает вечер и ночь, но это-то еще куда бы ни шло, только вот холодно, борода обмерзла, глаза, должно быть, тоже смерзаются, хорошо бы достать куртку с дерева, и — возможно ли! Нога его совсем отмерзла до бедра.— Все в руке Божьей!— говорит он, и звучит это так, как будто он и впрямь может говорить по-божественному, когда захочет. Темнеет, ну что ж, он может умереть и без зажженной лампы! Он становится таким кротким и добрым, и ради пущего смирения, ласково и глупо улыбается непогоде, это божий снег, невинный снег! Да, он даже готов не доносить на Бреде.

Он затихает, сонливость все более и более овладевает им, он точно парализован от всепрощения, он видит так много белого перед глазами, леса и равнины, большие крылья, белая пелена, белые паруса, белое, белое — что это такое? Чепуха, он отлично знает, что это снег, он лежит на земле, похоронен под деревом, и в этом нет никакого колдовства.

И вот он опять кричит наудачу, вопит; под снегом лежит его сильная, волосатая грудь и вопит, вопит так, что должно быть слышно до самой землянки, у скотины, вопит раз за разом.

— Не свинья ли ты, не зверь,— кричит он Бреде,— подумал ли ты, что делаешь, оставил меня погибать? Не можешь ты подать мне топор, спрашиваю я, подлая ты тварь или человек? Ну да скатертью тебе дорога, если ты и вправду задумал уйти от меня.

Должно быть, он спал, он совсем окоченел и безжизнен, но глаза у него открыты, скованы льдом, но открыты, он не может моргнуть; что же, он спал с открытыми глазами? Бог знает, может быть, он дремал всего минуту, а может и час, но вот перед ним стоит Олина. Он слышит, как она спрашивает:

— Иисусе Христе, жив ты или нет?— И опять спрашивает, зачем он тут лежит, с ума сошел он, что ли? Во всяком случае, Олина стоит над ним.

В Олине есть что-то от ищейки, от шакала, она выныривает, где случится беда, нюх у нее очень острый.

Как бы выкарабкалась Олина в жизни, если б она везде не шныряла и не обладала острым нюхом? И вот она, стало быть, узнала, что Аксель посылал за ней, перебралась, в семьдесят лет, через перевал, чтоб пойти к нему. Переждала в тепле в Селланро вчерашнюю бурю, сегодня пришла в Лунное, никого не застала, накормила скотину, постояла на крыльце, послушала, вечером подоила коров, опять послушала,— что-то непонятное.

Но вот Олина слышит крики и кивает головой: Аксель это или духи преисподней? В обоих случаях стоит разнюхать, поискать вечной мудрости Всемогущего в такой тревоге в лесу.— А мне он ничего не сделает, потому что я не властна развязать ремень у его обуви.

И вот она стоит над Акселем.

— Топор?— Олина роется в снегу и не находит топора. Она хочет обойтись без топора и пытается приподнять дерево, но сил у нее, как у малого ребенка, и ей удастся потрясти только верхние сучья. Она опять ищет топор, темно, но она роет руками и ногами. Аксель не может показать, он может только сказать, где топор лежал раньше, но там его теперь нет.

— Жалко, что так далеко от Селланро!— говорит Аксель.

Олина начинает искать по собственному соображению, Аксель кричит ей, что нет, там не может быть.

— Нет, нет,— говорит Олина,— я хочу только посмотреть везде! А это что?— говорит она.

— Неужели нашла?— спрашивает Аксель.

— Да, с помощью Всемогущего!— высокопарно отвечает Олина.

Но Аксель настроен особенно возвышенно, он допускает, что, может быть, не совсем ясно соображает, он почти что умер. Да и на что Акселю топор? Он не мог шевельнуться, Олине пришлось рубить самой. О, Олина много поработала топором, нарубила за свою жизнь не одну вязанку дров.

Аксель не может идти, одна нога его совсем отмерла до бедра, спина окоченела, от сильного колотья он громко вскрикивает, в общем он чувствует себя полуживым, какая-то часть его осталась под деревом.

— Что-то уж очень чудно,— говорит он,— я не понимаю!

Олина понимает и объясняет ему все удивительными словами,— ну да, потому что она спасла человека от смерти и это знает: Всемогущий пожелал воспользоваться ею, как смиренным орудием, а не пожелал посылать небесное воинство. Неужели Аксель не видит его мудрого указания

и решения? А если б он захотел послать червя, пресмыкающегося в земле, то мог послать и его.

— Да, это-то я знаю,— говорит Аксель,— но что-то очень уж чудно я себя чувствую!

Чудно? Надо подождать немножко, подвигаться, согнуться и выпрямиться, вот так, понемножку. Руки и ноги у него онемели и обмерли, пусть он наденет куртку и согреется. Но никогда она не забудет господня ангела, который вызвал ее давеча на крыльцо, и тут-то она услышала крики из лесу. Точно как в райские времена, когда ангелы трубили в трубы на Иерихонских стенах.

Чудеса. Но во время этой речи Аксель приходит в себя, расправляет члены и учится ходить.

Потом они полеگونьку подвигаются к дому, Олина выступает в роли спасительницы и поддерживает Акселя. Дело идет на лад. Пройдя немного, они встречают Бреде.

— Что это?— говорит Бреде.— Ты захворал? Не помочь ли тебе?— говорит он.

Аксель недружелюбно молчит. Он обещал Богу не мстить Бреде и не доносить на него, но на этом и остановился. И чего это Бреде вздумал возвращаться? Видел он, как Олина пришла в Лунное, и понял, что она услышит крики о помощи?

— А, да это ты, Олина!— словоохотливо начинает Бреде.— Где ты его нашла? Под деревом? Да, это с нами, людьми, неудивительно!— восклицает он.— Я ходил осматривать телеграф, и вдруг слышу крики. Уж кто не станет мешкать, так это Бреде, где нужна помощь, я тут как тут. И вдруг оказывается, это ты, Аксель! Ты лежал под деревом?

— Ты это и видел и слышал, когда шел вниз,— отвечает Аксель,— но ты прошел мимо.

— Господи помилуй меня грешную!— восклицает Олина, ужасаясь такой черствости.

Бреде объясняется:— Я тебя видел! Видеть-то видел. Но ты мог бы позвать, отчего ты не позвал? Я отлично тебя видел, но я думал, ты прилег отдохнуть.

— Молчи уж!— обрывает Аксель,— ты хотел, чтоб я там и остался!

Тем временем Олина соображает, что Бреде не должен вмешиваться, это умалит ее собственную необходимость и делает ее спасение не таким безусловным, она мешает Бреде помогать, не дает ему даже понести сумку с провизией или топор. О, в эту минуту Олина всецело на стороне Акселя; когда впоследствии она придет к Бреде и будет сидеть за чашкой кофе, она будет на его стороне.

— Дай же мне понести хоть топор и лопату,— говорит Бреде.

— Нет,— отвечает Олина за Акселя,— он и сам донесет.

Бреде продолжает:— Ты мог бы позвать меня, мы ведь уж не такие враги, чтоб ты не мог сказать мне слова. Ты звал? Ну? Надо было кричать погромче, мог бы сообразить, что на дворе метель. А кроме того, мог бы поманить рукой.

— Нечем мне было манить,— отвечает Аксель,— ты видел, что я лежал, точно припечатанный замком.

— Нет, этого я не видел. Вот никогда не слышал чепухи! Ну дай же мне понести твою поклажу, слышишь!

Олина говорит:— Оставь Акселя в покое. Ему нехорошо.

Но тут, должно быть, заработал мозг и у Акселя. Он слышал про старуху Олину; он соображает, что в будущем она обойдется очень дорого и замучает его, если будет считать, что одна спасла ему жизнь, Аксель решает разделить триумф. Бреде получает котомку и инструменты. Аксель даже говорит, что это его облегчило, ему стало лучше. Но Олина не желает с этим мириться, она тянет котомку и заявляет, что все, что нужно, понесет она, а не кто другой. Хитрая глупость вступает в форменный бой, Аксель на минуту остается без поддержки, тогда Бреде выпускает котомку и подхватывает Акселя, хотя тот уже не шатается.

Дальше они идут так: Бреде поддерживает ослабевшего Акселя, а Олина несет ношу. Она несет, но полна злобы и мечет искры: ей навязали самую малую и самую тяжелую часть спасения. За каким чертом принесло сюда Бреде!

— Послушай-ка, Бреде,— говорит она,— что это толкуют, будто у тебя отобрали и продали хутор?

— Кого это ты допрашиваешь?— дерзко отвечает Бреде.

— Допрашиваю? Я не знала, что ты хочешь держать это в тайне?

— Жалко, ты сама не пришла и не поторговала хутор, Олина.

— Я? Что ты смеешься над нищей!

— Как, разве ты не разбогатела? Говорят будто тебе достался в наследство сундучок дяди Сиверта, хе-хе-хе.

Напоминание об улыбнувшемся наследстве не содействовало умиротворению Олины:

— Да, старик Сиверт хотел меня благодетельствовать, иного не могу сказать. Но когда он умер, его очистили от земных благ. Ты сам знаешь, Бреде, что значит быть очищенным и зависеть от другого; но старик Сиверт пирует теперь под райскими сенями, а мы с тобой, Бреде, ходим по земле на самых обыкновенных ногах.

— Я тебя не уважаю,— говорит Бреде и обращается к Акселю:— Я рад, что подошел во-время и могу помочь тебе дойти до дому. Я не слишком быстро иду?

— Нет.

Спорить с Олиной, препираться с Олиной? Невозможно! Она никогда не сдавалась и никто не мог сравниться с нею в искусстве сплести небо и землю в единый корень доброжелательства и злости, чепухи и яду. И вот она слышит, что, собственно, это Бреде помогает Акселю дойти домой!

— Что это я хотела сказать,— начинает она:— Да! Про важных господ, что были намерены в Селланро — ты показал им свои мешки с камнями?

— Если хочешь, Аксель, я возьму тебя на спину и понесу,— говорит Бреде.

— Нет,— отвечает Аксель.— Спасибо тебе!

Они все идут, и до дома остается уж недалеко, Олина понимает, что если хочет чего-нибудь добиться, то надо использовать время.

— Было бы лучше, если б ты спас Акселя от смерти,— говорит она.— И неужели же, Бреде, ты видел его гибель и слышал его предсмертные крики и прошел мимо?

— Попридержи-ка язык, Олина!— отвечает Бреде. Это было бы гораздо удобнее и для нее, она спотыкалась в снегу, нести было тяжело, она задыхалась; но она отнюдь не желала молчать. По-видимому, она приберегала на конец закуску, опасную тему, не пустить ли ее сейчас?

— А Варвара-то,— говорит она,— уж не сбежала ли она?

— Да,— беспечно отвечает Бреде.— И благодаря этому, ты получила работу на зиму.

Но это оказалась вода на мельницу Олины, она намекнула, как все ее ищут, как у всех на селе она прямо нарасхват: разве она не могла пойти в два места, да хоть бы и в три? Ее приглашали и к священнику. И в то же самое время она дала понять и еще одну вещь, которую не мешало послушать и Акселю: ей предлагали столько и столько-то за зиму, кроме того, новые башмаки да еще барашка по окончании срока. Но она знала, что в Лунном она попадет к несбыкновенно хорошему человеку, который щедро вознаградит ее, и потому она предпочла прийти сюда. Нет, пусть Бреде не беспокоится, до сих пор ее небесный отец раскрывал перед нею одну дверь за другой и приглашал войти. И похоже, как будто Господь имел особый замысел, посылая ее в Лунное. Она спасла нынче вечером жизнь человеку.

Но Аксель вдруг начинает чувствовать страшную слабость, ноги совсем перестают его слушаться. Это

удивительно, до сих пор он шел все бодрее и бодрее, по мере того, как теплота и жизнь возвращались в его члены, теперь Бреде ему совершенно необходим для того, чтоб держаться на ногах! Началось это, как будто, с той минуты, как Олина заговорила о своем жалованьи, а когда она опять сказала, что спасла ему жизнь, дело стало совсем скверно. Неужели он захотел еще раз умалить ее торжество? Бог знает, но мозг его, должно быть, совсем оправился. Когда они находились уже совсем близко от жилища, он останавливается и говорит:

— Нет, должно быть мне не дойти до дому!

Бреде, ни слова не говоря, сажает его себе на спину. Так они идут, Олина полна желчи, Аксель во всю длину висит на спине Бреде.

— Но как же это так,— спрашивает Олина,— разве Варвара не ждала ребенка?

— Ребенка?— стонет Бреде под тяжестью своей ноши.

Это в высшей степени странная процессия, но Аксель предпочитает, чтоб его донесли до самого дома и посадили на крыльце.

Бреде страшно пыхтит.

— Да, а разве у нее не было ребенка?— спрашивает Олина.

Аксель поспешно прерывает, обратившись к Бреде:

— Не знаю, как бы я добрался нынче живым до дому, если б не ты!

Но он не забывает и Олину.— Спасибо тебе, Олина, ты первая нашла меня! Спасибо вам обоим!

Это и был тот вечер, когда Аксель спасся от смерти...

В следующие дни Олина не хотела говорить ни о чем, кроме великого события. Акселю стоит больших трудов удержать ее. Олина показывает место в горнице, где она стояла, когда ангел господень вызвал ее на крыльцо, чтоб она услышала крик о помощи. У Акселя другие мысли в голове, и он должен быть мужчиной. Он возобновляет свою работу в лесу, а покончив рубку, принимается возить бревна на лесопилку в Селланро.

Ровная и, пока что, неутомительная зимняя работа: в гору — бревна, под гору — нарезанные доски. Но надо торопиться, чтоб кончить к новому году, когда наступят большие морозы и скуют льдом лесопилку. Дело подвигается, все идет хорошо: когда Сиверту Селланро случается порожняком возвращаться из села, он тоже захватывает бревно-другое на свои сани и помогает соседу. Тогда они заводят беседу и развлекают друг друга.

— Что слышать в селе?— спрашивает Аксель.

— Так, пустыки,— отвечает Сиверт.— К нам в пустошь приезжает новый поселенец.

Новый поселенец — о, это вовсе не пустык, просто, такая у Сиверта манера говорить. Новые поселенцы появлялись в пустоши с промежутками в целые года; теперь ниже Брейдаблика было уже пять хуторов, выше, в горы, заселение шло медленнее, хотя земля по направлению к югу все более и более переходила из болота в чернозем. Выше всех хуторян забрался Исаак, когда основал Селланро, он был всех смелее и умнее. За ним появился Аксель Стрем; а теперь, стало быть, объявился еще новый покупатель. Новый покупатель отхватил большой кусок плодородного болота и леса пониже Лунного — отхватить было от чего.

— Ты не слышал, что это за человек?— спрашивает Аксель.

— Нет,— отвечает Сиверт.— Он привез с собой готовые постройки, соберет и поставит их в одну минуту.

— Так. Значит,— богатый?

— Должно быть. Приехал с семьей, жена и трое ребят. И лошади, и скотина.

— Ну, так, стало быть, богат,— говорит Аксель.— А больше ничего не слышал?

— Нет. Ему тридцать три года.

— Как его зовут.

— Говорят, Арон. А участок свой он назвал «Великое».

— Так, «Великое». Да, кусочек не маленький.

— Он родом с побережья. Говорят, будто занимался рыболовством.

— Значит, все дело в том, годится ли он в землепашцы,— говорит Аксель.— Ты на этот счет ничего не слышал?

— Нет. По купчей он заплатил чистоганом. Больше ничего не слышал. Говорят, он здорово нажился на рыбе. А теперь поселится здесь и откроет торговлю.

— Ну, откроет торговлю?

— Да, так говорят.

— Вот что — откроет торговлю!

Это была самая важная новость, и оба соседа обсуждали ее на все лады, пока ехали остававшуюся до Селланро милю. То была большая новость, пожалуй, величайшая во всей истории этих мест, было о чем поговорить. С кем станет торговать новосел? С восемью хуторами на казенной земле? Или же он рассчитывает на покупателей из села? Во всяком случае, торговое место приобретает значение,

может быть, оно ускорит рост заселения, участки, вероятно, поднимутся в цене, почем знать.

Они обсуждали и так и этак и не могли наговориться! Интересы и цели этих двоих людей были столь же важны, как интересы и цели других людей; пустошь была их мир, труд, времена года и урожай — переживаемые ими события и приключения. Разве в такой жизни не бывает волнений? О, еще сколько! Частенько приходилось им спать одним глазом, частенько забывать за работой о еде. Они справлялись с этим, здоровья у них хватало, чтобы пролежать семь часов под огромным деревом, это не вредило их жизни, если руки и ноги оставались целы. Мир без широкого простора, без перспектив? Так! Но какой мир перспектив открывало это «Великое» с торговой лавкой посреди пустоши!

Люди обсуждали это событие до Рождества...

Аксель получил письмо, большое письмо со львом, от казны: ему предлагалось отобрать у Бреде Ольсена телеграфные провода и телеграф, материалы и инструмент и принять на себя надзор за линией с нового года.

ГЛАВА IV

По болотам тянется целый обоз, это везут в пустошь постройки новоселу, воз за возом, много дней. Вozy сваливают на месте, которое будет называться «Великое»; со временем оно, пожалуй, таким и будет: четверо рабочих уже сейчас трудятся в горах, выбирая камни на ограду и два погребца.

А возы все едут и едут. Каждое бревно пригнано заранее, весной их останется только собрать, все рассчитано до тонкости, бревна помечены номерами, не забыта ни одна дверь, ни одно окно, ни одно цветное стеклышко для веранды. А однажды привезли огромный воз кольев. Это еще что? Один из соседей ниже Брейдаблика знает, он родом с юга и видал там такое:

— Это садовая решетка,— говорит он.

Стало быть, новосел хочет развести в пустоши сад, большой сад.

Признак хороший, никогда не бывало такой езды по болотам, и многие, у кого были лошади, зашибли на возке порядочную деньгу. Обсуждали и это: появились виды на заработок и в будущем, торговец будет получать товары, и местные и из-за границы, ему придется возить их к себе с моря на многих подводах.

Похоже было, что здесь все становится на широкую ногу. Приехал молодой начальник или доверенный, распорядившийся возкой, он был франт, и ему все казалось, что мало лошадей, хотя возить оставалось совсем не так уж много.

— Да ведь, возить осталось не много,— сказали ему.

— А товары-то!— отвечал он.

Сиверт из Селланро ехал домой, по обыкновению, порожняком, и доверенный крикнул ему:

— Ты едешь порожняком? Почему ты не взял клади до «Великого»?

— Я бы взял, да не знал,— отвечал Сиверт.

— Он из Селланро, у них две лошади!— шепнул кто-то.

— У вас две лошади?— спросил доверенный. Тащи обеих сюда, повози нам, зарабатываешь денег!

— Оно бы неплохо,— ответил Сиверт,— да как раз сейчас нам недосуг.

— Недосуг заработать деньги!— воскликнул доверенный.

Да, в Селланро не всегда могли свободно располагать временем, дома было столько дела. А теперь они впервые даже наняли работников, двух каменщиков-шведов, которые взрывали камень для постройки скотного двора.

Этот скотный двор много лет был мечтой Исаака, землянка стала плоха и тесна для скотины, надо было построить каменный скотный двор с двойными стенами и хорошим подпольем для навоза. Но на очереди стояло так много дел, одно постоянно тащило за собой другое, стройке не предвиделось конца. У него имелась лесопилка и мельница, и летний хлев, а кузница разве не нужна? Хоть совсем маленькая, на случай, на самый крайний случай; покривится лемех или потребуется перековать пару подков — до села так далеко. Стало быть, уж это-то ему надо было завести; горн и маленькую кузницу. В общем, в Селланро набралось очень много больших и маленьких строений.

Хозяйство растет и растет, никак не обойтись без работницы, и Иенсина живет у них и лето и зиму. Отец ее, кузнец, время от времени спрашивает, скоро ли она вернется, но не слишком настаивает, он очень уступчив, и, должно быть, не без задней мысли. Селланро расположено высоко в горах, надо всеми хуторами, и все растет, растет по части строений и разделанной земли, а люди все те же. Лопари больше не проходят здесь и не располагаются хозяевами на усадьбе, это прекратилось давным-давно. Лопари проходят не часто, они предпочитают сделать большой крюк и обойти усадьбу стороной, и, во всяком

случае, никогда уже не заходят в избу, а останавливаются снаружи, если вообще останавливаются. Лопари бродят по окраинам, впотьмах, дайте им свет и воздух, и они зачахнут, как черви и нечисть. Изредка теленок и барашек пропадают с выгона в Селланро, где-нибудь на далекой опушке. С этими ничего не поделать. Разумеется, Селланро может выдержать потерю. А Сиверт, если б и умел стрелять, так у него нет ружья, да он и не умеет стрелять, он совсем не вояка, а весельчак, большой шутник:

— Да ведь, лопари-то наверно заколдованные!— говорит он.

Селланро может выдержать мелкие пропажи скотины, потому что оно велико и сильно, но и там не обходится без забот и огорчений, о нет! Ингер на весь год одинаково довольна собой и жизнью; она когда-то совершила большое путешествие и тогда, должно быть, подхватила что-то вроде злой тоски. Тоска эта проходит, потом опять возвращается. Ингер усердно работает и весела, как в лучшую свою пору, она красивая и здоровая жена для своего мужа, для мельничного жернова, но разве она не сохранила воспоминаний о Тронгейме? Никогда не мечтает? Как же, особенно зимою. Временами в ней вспыхивает чертовское веселье и живость, но танцевать одна она не может, и бала никакого не выходит. Мрачные мысли и молитвенник? Ох да, еще бы! Но Богу известно, что и кое-что другое тоже великолепно и превосходно. Она научилась быть неприхотливой, шведы-каменщики как ни как — чужие люди и незнакомые голоса на усадьбе, но они — пожилые и тихие мужчины, не играют, а работают. Но все-таки это лучше, чем ничего, они вносят оживление, один чудесно поет, сидя на камне. Ингер иногда выходит и слушает. Его зовут Яльмар.

Но и помимо этого не все хорошо и благополучно в Селланро. Вот, например, большая незадача с Елисеем. От него получилось письмо, что место его у инженера упразднено, но он должен получить другое, надо только подождать. Потом пришло письмо о том, что пока он дожидается большого места в конторе, он не может жить святым духом, а когда ему послали бумажку в сто крон, он написал, что этого только-только хватило расплатиться с мелкими долгами.

— Так,— сказал Исаак.— Но теперь у нас каменщики и много расходов, спроси-ка Елисея, не хочет ли он лучше приехать домой помочь нам!

Ингер написала, но Елисей не желал возвращаться домой, нет, он не желал вторично проделывать зря это путешествие, он предпочитал голодать.

Но, должно быть, свободного места в конторе не было во всем городе, а, может, и сам Елисей был не мастер добиваться своего. Бог знает, может, он и вообще-то был не ахти какой работник. Усидчив и искусен написание, да, но был ли у него ум и сметка? А если нет, что же с ним будет?

Когда он вернулся из дома с двумястами крон, город встретил его старыми счетами, а расплатившись, должен же он был купить тросточку, вместо палки от зонтика. Надо было купить и разные другие вещи: меховую шапку на зиму, какие были у всех его товарищей, пару коньков для катания на городском катке, серебряную зубочистку, ковырять в зубах и изяшно жестикулировать ею во время беседы за стаканчиком. И пока он был богат, он угощал, по силе возможности; за пирушкой по случаю его возвращения, при самой строгой бережливости, пришлось-таки раскупорить полдюжины пива.— Что это, ты даешь барышне двадцать эре?— спрашивали его;— мы даем десять.— Не надо быть мелочным!— отвечал Елисей.

Он был не мелочен, ему это не подобало, он сын богатых землевладельцев, помещиков, его отец, маркграф, обладает невообразимыми пространствами строевого леса, у него четыре лошади, тридцать коров и три сенокосилки. Елисей был не лгун, и это не он распространил выдумку про поместье Селланро, а окружной инженер в свое время наплел это в городе. Но Елисей ничего не имел против того, чтоб этой сказке верили. Так как сам по себе он ничего не представлял, то лучше было быть сыном богатых родителей, это создавало ему кредит, и он выпутывался из затруднительных обстоятельств. Но вечно это не могло продолжаться, пришлось, наконец, платить и тут он сорвался. Когда один из его товарищей определил его на службу к своему отцу, в деревенскую лавку, торговавшую всякими товарами, это было все-таки лучше, чем ничего. Такому взрослому молодому человеку, конечно, неподходящее дело поступать на жалованье младшего подручного в мелочную лавочку, в то время, как он готовился занять пост ленсмана, но это давало кусок хлеба и, как временный выход, было не так уж глупо. Елисей и здесь проявил расторопность и добродушие, хозяева и покупатели его полюбили, и потому он написал домой, что решил перейти к занятию торговлей.

Вот это-то и было большим разочарованием для его матери. Если Елисей стоит в мелочной лавке, то, значит, он не на волос не больше, чем приказчик у торговца в их селе; раньше он был несравненно выше: никто, кроме

него, не уезжал в город и не служил конторщиком. Неужели он потерял из виду свои высокие цели? Ингер была неглупа, она знала, что существует расстояние между обычным и необычным, но, может быть, не всегда умела точно определить это расстояние. Исаак был глупее и проще, он все меньше и меньше принимал в расчет Елисея, старший сын ускользал за пределы его власти, он переставал представлять себе Селланро разделенным между своими сыновьями, когда самого его уже не станет.

В середине весны приехал инженер с рабочими из Швеции, прокладывать дороги, строить бараки, делать съемки, взрывать горы, заводить сношения с поставщиками съестных продуктов, возчиками, прибрежными землевладельцами — и еще, бог весть, зачем — но для чего все это? Разве мы не в глуши, где все мертво? А затем, что решили приступить к пробным разделкам на медной скале.

Так значит, дело все-таки вышло, если не просто наболтал.

То были не прежние важные господа, что приезжали в первый раз, нет; судья отсутствовал, помещик отсутствовал, он был старый горняк и старый инженер. Они купили у Исаака все напиленные доски, какие он согласился уступить, купили провизии и хорошо заплатили, потом поговорили ласково и расхвалили Селланро.

— Канатная дорога! — сказали они, — воздушная дорога с вершины горы к морю! — сказали они.

— Через все эти болота? — спросил Исаак, очень плохо соображавший.

Тут они засмеялись: — На той стороне, — сказали они, — не с этой стороны, отсюда ведь несколько миль, нет, с той стороны скалы прямо к морю, там отвесное падение, а в продольном направлении — почти ничего. Мы будем спускать руду по воздуху в железных бадьях, увидишь, как это великолепно; но для начала мы свезем руду вниз, проложим дорогу и свезем руду гужем — на пятидесяти подводах, это тоже неплохо. И нас ведь не столько, сколько ты сейчас видишь, мы что? Ничего! С той стороны идет еще больше, целый транспорт рабочих с готовыми бараками и провиантом, с материалами и всяческими инструментами и машинами, — сказали они, — мы встретимся на вершинё. Увидишь, какие тут разыграются дела, на миллионы, а руда пойдет в Южную Америку.

— А судья в этом не участвует? — спросил Исаак.

— Какой судья? А, тот! Нет, он продал.

— А помещик?

— Он тоже продал. Так ты их помнишь? Нет, они продали. А те, что у них купили, тоже перепродали. Теперь медной горой владеет большое общество, страшные богачи.

— А где сейчас Гейслер?— спросил Исаак.

— Гейслер? Не знаю такого.

— Ленсман Гейслер, который тогда продал вам гору?

— А, этот! Так его зовут Гейслер? Бог его знает, где он! Ты и его тоже помнишь?

И вот, все лето, с большой партией рабочих, они палили и работали на скале, местность очень оживилась; Ингер завела обширную торговлю молоком и молочными продуктами, и было весело торговать и суетиться, видеть много народу; Исаак шагал своей громоподобной поступью и обрабатывал свою землю, ему ничто не мешало; оба каменщика и Сиверт строили скотный двор. Он выходил очень большой, но подвигался медленно, троих на такую работу было слишком мало, а Сиверт, кроме того, часто отрывался помогать отцу на земле. Вот и хорошо было иметь сенокосилку и трех проворных женщин на жнивье.

Все было хорошо, пустыня оживилась, зацвела деньгами.

А торговое местечко «Великое», разве там не развилось крупное дело? Этот Арон, должен быть, черт и пройдоха, он пронюхал о предстоящей работе на руднике и моментально пожаловал со своей мелочной лавочкой, он торговал, как само правительство, да прямо как король. Во-первых, самое главное, он продавал всякого рода хозяйственные предметы и рабочее платье; но рудокопы, если они при деньгах, не очень-то считают гроши, они покупают не только необходимое, а покупают все. В особенности, вечерами по субботам лавочка в «Великом» кишела народом, и Арон загребал деньги; за прилавком ему помогали доверенный и жена, да и сам он отпускал, сколько успевал, но лавочка не пустела до поздней ночи. Сельчане, имевшие лошадей, оказались правы, подвоз товаров в «Великое» был огромный, во многих местах дорогу пришлось перемостить и привести в надлежащий вид, получилось уже далеко не то, что первая узенькая Исаакова тропа через пустынную равнину. Благодаря своей торговле и своей дороге Арон явился настоящим благодетелем этой местности. Звали его, впрочем, не Арон, это было только его имя, фамилия же его была Аронсен, так называл себя он сам, и так звала его жена; семья этим важничала и держала двух работниц и конюха.

Земля в «Великом» временно оставалась нетронутой, на земледелие не хватало досуга, кто стал бы копать в болоте! Но Аронсен развел сад с решеткой и смородиной,

с астрами и рябиной и другими посаженными деревьями, важнецкий сад. В нем была широкая дорожка, по которой Аронсен разгуливал по воскресеньям, покуривая длинную трубку; в глубине сада виднелась веранда с красными, желтыми и синими окнами. Трое хорошеньких ребятешек бегали по саду, девочку предполагалось воспитать настоящей купеческой дочкой, мальчишки пойдут по торговой части, о, это были дети с будущим!

Если бы Аронсен не заботился о будущем, он бы сюда и не переехал. Он мог бы продолжать рыбачить и, может быть, удачно, и тогда порядочно зарабатывал бы, но это не то, что торговля, не такое благородное занятие, оно не давало уважения, перед ним не снимали шапок. До сих пор Аронсен плавал на веслах, в будущем он хотел плавать под парусами. У него было словечко: «бум констант». Он говорил, что его детям должно житья «бум константнее», и подразумевал под этим, что хочет обеспечить им жизнь, свободную от тяжелого труда.

И вот, дело складывалось хорошо, люди кланялись ему, его жене, даже детям. А не так-то уж мало значит, когда люди кланяются детям. Пришли со скалы рудокопы, давно не видевшие детей; во дворе их встретили дети Аронсена, рудокопы сейчас же ласково заговорили с ними, словно увидели трех пуделей. Они хотели было дать детям денег, но, узнав, что это дети самого торговца, поиграли им вместо этого на губной гармонике. Пришел Густав, молодой повеса в шляпе набекрень и с веселыми словами на устах, и долго потешал их. Дети каждый раз узнавали его и выбегали к нему навстречу, он сажал всех троих к себе на спину и плясал с ними.— Ху!— кричал Густав и плясал. Потом достал губную гармонику и стал играть танцы и песенки, обе работницы вышли из дома, смотрели на Густава и слушали его игру со слезами на глазах. А повеса Густав отлично знал, что делал!

Немного погодя он зашел в лавочку стал швырять деньгами и купил полный мешок всякой всячины, так что, уходя домой на скалу, потащил на спине целую мелочную лавку; в Селланро он ее раскрыл и все показал. Там была почтовая бумага и новая трубка-носогрейка, и новая рубашка, и шарф с бахромой; были леденцы, которые он роздал женщинам, были блестящие вещицы, часовая цепочка с компасом, перочинный ножик; да пропасть вещей, даже ракеты, он купил их на воскресенье, повеселить самого себя и других. Ингер угостила его

молоком, он пошутил с Леопольдиной и подбросил маленькую Ревекку высоко к потолку.

— Ну, скоро вы кончите скотный двор?— спросил он своих земляков-каменщиков и по-приятельски поболтал с ними.

— Мало нас народу,— отвечали каменщики.

— Так возьмите меня,— пошутил Густав.

— Вот бы хорошо-то было!— сказала Ингер,— потому что двор должен быть готов к осени, когда скотину загоняют на зиму.

Густав пустил одну ракету, а пустив вторую, решил сжечь и все шесть, женщины и дети затаили дыханье, смотря на колдовство и на колдуна, Ингер никогда не видела раньше ракет, но эти сумасшедшие блестяшки напомнили ей о жизни в свете. Что значит теперь швейная машина! Когда же Густав заиграл напоследок на губной гармонике, Ингер с радостью пошла бы за ним от одного только сильного умиления...

Разработка рудника идет своим чередом, руду свозят на лошадях к морю, один пароход нагрузился и ушел в Южную Америку, на его место пришел новый. Огромное движение. Все обитатели округа, которые могут ходить, перебивали на скале и полюбовались чудесами, приходил и Бреде Ольсен со своими образцами, но их у него не взяли, потому что горняк как раз уехал обратно в Швецию. По воскресеньям из села устраивалось целое паломничество на скалу, даже Аксель Стрем, у которого нет лишнего времени, и тот направлял свой путь на рудник в те два раза, что ходил осматривать телеграфную линию. Скоро не найдется никого, кто не видал бы этих чудес! Тогда, конечно, и Ингер Селланро тоже надевает нарядное платье и золотое кольцо и отправляется на скалу.

Что ей там нужно?

Ей ничего не нужно, ее даже не интересует посмотреть, как вскрывают скалу, она хочет показаться сама. Видя, что другие женщины ходят на скалу, она почувствовала, что и ей хочется пойти туда. У нее безобразный рубец на верхней губе и взрослые дети, но она тоже хочет пойти. Ее огорчает, что другие молоды, но ей хочется попробовать потягаться с ними, она еще не начала жиреть, она высока ростом, стройна и красива и может постоять за себя. Разумеется, она не бела и не румяна, золотистая свежесть ее кожи давно поблекла, но пусть-ка посмотрят, придется им кивнуть головой и сказать:— Она еще годится!

Ее встречают с величайшим радушием, рабочие выпили у Ингер не одну кринку молока и узнают ее, показывают ей рудник, бараки, конюшни, кухню, погреб, кладовую, те, что посмелее подходят и легонько берут ее за руку. Ингер — ничего, ей приятно. Поднимаясь или спускаясь по каменным ступенькам, она высоко поднимает юбку и показывает свои икры, но вид у нее при этом спокойный, как будто она ровно ничего не сделала. — «Она еще годится!» — верно думают рабочие.

Старуха положительно трогательна: видно было, что взгляд каждого из этих разгоряченных мужчин был для нее неожиданностью, она была за него благодарна и отвечала таким же взглядом. Ага, ее подмывало попасть в переделку, она была такая же женщина, как все другие. Она была добродетельна за отсутствием искушений.

Старуха.

Пришел Густав. Он оставил двух девиц из села на товарища только для того, чтоб прийти. Густав отлично знал, что делал, он необыкновенно горячо и нежно пожал руку Ингер и поблагодарил за прошлый раз, но не навязывался.

— Ну, Густав, что же не придешь помогать нам достроить скотный двор? — говорит Ингер и краснеет, как пион.

Густав отвечает, что — как же, скоро придет. Товарищи его слышат и говорят, что наверно скоро придут все вместе.

— Как, а разве вы не останетесь на зиму? — спрашивает Ингер.

Рабочие сдержанно отвечают, что нет, на это не похоже.

Густав смелее, он говорит, смеясь, что, пожалуй, скоро они выцарапают отсюда всю медь, какая есть.

— Да что ты говоришь? — восклицает Ингер.

— Нет, — отвечали другие рабочие, — Густав напрасно это говорит.

Но Густав полагает, что не напрасно, а, смеясь, прибавляет еще больше того; а что до Ингер, то он заметно старался отвоевать ее для себя одного, хотя и ненавязывался. Другой парень заиграл на гармонии с мехами, но это было совсем не то, что губная гармоника, когда на ней играл Густав; третий парень, тоже франт, попытался привлечь ее внимание, пропев наизусть песню под гармонию, но и это тоже вышло не ахти, как хорошо, хотя голос у него был богатырский. А минутку спустя, Густав уж надевал на мизинец золотое кольцо Ингер. Да как же это вышло, если он совсем не навязывался? О, он очень даже навязывался, только делал это исподтишка, так же как и она, они не

говорили об этом, она притворялась, будто ничего не замечает, когда он тискал ей руку. Несколько позже, сидя в бараке, где ее угощали кофеем, она услышала шум и брань снаружи и поняла, что это, так сказать, в ее честь. Это польстило ей, старая тетеря сидела и жадно слушала сладостный шум.

Как же она вернулась домой со скалы в этот вечер? О, великолепно, такую же добродетельной, как и ушла, не больше и не меньше. Ее провожало много мужчин, эти многие мужчины не хотели отставать, пока с ней был Густав, они не сдавались, не желали сдаться. Ингер даже и в Тронгейме не бывало так весело.

— А Ингер ничего не потеряла?— спросили они напоследок.

— Потеряла? Нет.

— А золотое колечко?— сказали они.

Тут Густаву пришлось отдать его, против него была целая армия.

— Вот хорошо, что ты нашел его!— сказала Ингер и поспешила проститься с провожатыми.

Она приближается к Селланро и видит множество крыш, там внизу ее дом. Она снова чувствует себя хорошей женой и хозяйкой, какую и была, и хочет зайти взглянуть на скотину в летнем загоне, по пути туда она проходит мимо хорошо знакомого ей места: здесь когда-то был похоронен маленький ребеночек, она уминала землю руками и поставила маленький крестик. О, это было так давно. А вот подоили ли девочки коров и коз и успели ли убраться?..

Работа на руднике идет своим чередом, но поговаривают, будто в горе не оказалось того, что ожидали. Горняк, уезжавший домой, приехал опять и привез с собой другого горняка, они бурят, взрывают, основательно все обследуют. В чем собственно дело? Медь хороша, но ее мало, она не идет в глубину, толщина жилы увеличивается по направлению к югу, она становится мощной и великолепной как раз там, где проходит граница участка, а дальше опять казенная земля. Первые покупатели не придавали особого значения своей сделке, то был семейный совет, несколько родственников, покупавших для спекуляции, они не обеспечили за собой всей скалы, всю ту милю, которая шла до ближайшей долины, нет, они купили у Исаака Селланро и Гейслера маленький кусочек и перепродали его.

Что же теперь делать? Начальники, подрядчики и горняки отлично это понимают, надо немедленно вступить в переговоры с казной. И вот они посылают домой, в

Швецию, нарочного с письмами и картами, а сами едут вниз, к ленсману, чтоб законтрактовать всю скалу к югу от озера. Но тут начинаются затруднения: в дело вмешивается закон, они иностранцы, не могут купить непосредственно. Это они знали и приняли меры. Но южная часть скалы уже продана, этого они не знали.

— Продана?— говорят господа.

— Давным-давно, много лет тому назад.

— Кто же ее купил?

— Гейслер.

— Какой такой Гейслер? Ах, тот!

— Купчая утверждена тингом,— говорит ленсман.— Это была голая скала, она досталась ему почти даром.

— Черт возьми, что же это за Гейслер, о котором мы то и дело слышим? Где он?

— Бог знает, где он!

Господам придется посылать в Швецию другого нарочного. Да и надо же им узнать, кто такой Гейслер. Пока что, они уже не могли работать с полным составом рабочих.

И вот Густав пришел в Селланро, таща на спине все свое земное достояние, и сказал, что вот он пришел! Да, Густав расстался с компанией, то-есть в последнее воскресенье он несколько неосторожно выразился насчет медной горы, слова его передали подрядчику и инженеру, и Густав получил расчет. Счастливо оставаться, да, кстати, ему, пожалуй, как раз этого и хотелось; теперь приход его в Селланро ни в ком не возбудит подозрения. Он сейчас же получил работу на постройке скотного двора.

Они выводят кладку, и когда немного спусться со скалы приходит еще один человек, его тоже определяют на стройку, образуется две смены, и работа подвигается быстро. К осени скотный двор непременно будет готов.

А с горы приходят все новые и новые рабочие, им отказывают, и они отправляются на родину, в Швецию; разведки приостановлены. Словно горестный вздох вылетел из всех грудей в селе; эх, люди были глупы, они не понимали, что пробная разведка, это значит разведка, которая делается на пробу, так оно и оказалось. Уныние и дурные предчувствия охватили жителей села, деньги стали реже, заработки уменьшились, в лавке в «Великом» наступило затишье. Что все это значит? Все шло так хорошо, Аронсен завел уже флагшток и флаг, завел полость из шкуры белого медведя для санок на зиму и разрядил свою семью в пух и прах. Это все были, конечно, мелочи, но случились и крупные события: двое новых людей купили участки совсем в горах,

между Лунным и Селланро, и вот это было совсем не безразлично для маленького уединенного уголка. Оба новосела построили землянки, расчистили землю, распахали болото, они были работающие люди и за короткое время достигли многого. Все лето они покупали съестные припасы в «Великом», но когда они пришли в последний раз, там почти ничего нельзя было достать. Товары — к чему Аронсену товары, когда работа на руднике остановилась? Из всех жителей округи больше всего недоволен был, пожалуй, Аронсен, его расчеты оказались совсем неверными. Когда кто-то предложил ему заняться обработкой земли и жить хозяйством, Аронсен ответил:

— Копаться в земле? Мы сюда не за тем приехали!

В конце концов, Аронсен не выдержал, пошел сам на рудник посмотреть, что там делается. День был воскресный. Дойдя до Селланро, он решил позвать с собой Исаака, а Исаак еще ни разу не побывал на скале с тех пор, как началась разработка. Пришлось вмешаться Ингер.

— Неужто ты не можешь пойти с Аронсеном, если он тебя просит!— сказала она.

Ингер ничего не имела против того, чтоб Исаак ушел, было воскресенье, ей хотелось избавиться от него часика на два. Исаак пошел.

На скале они увидели много чудного, Исаак никак не мог разобраться в этом городе из барачков, тачек, повозок и зияющих ям. Водил их сам инженер. Может, у него самого, у славного инженера-то, не легко было на душе, но он старался рассеять тяжелое настроение, охватившее хуторян и жителей села, случай сейчас представлялся хороший, явились сам маркиграф из Селланро и торговец из «Великого».

Он называл им породы камней:— Колчедан, медный колчедан, содержит медь, железо и серу. О, они до тонкости знают, что содержится в горе, в ней есть даже немного золота и серебра. Нельзя ведь заниматься горным делом, не зная над чем работаешь!

— А правда, что теперь все остановится?— спросил Аронсен.

— Остановится?— изумленно повторил инженер.— Южная Америка нас за это не поблагодарила бы. Разведки на время приостановятся, это верно, но вы ведь видели, что здесь сделано, а потом построят воздушную дорогу и начнут разрабатывать всю скалу, с южной стороны. Не знает ли Исаак, куда девался этот Гейслер?

— Нет.

— Ну, разыщется. Тогда работа пойдет всерьез. Вот выдумали — остановится!

Исаак пришел в большое удивление и волнение при виде маленькой машинки, которая приводилась в движение ногой, он сразу стал смотреть, что это такое. И оказалось, что это маленькая кузница, которую можно возить на тележке и ставить, где угодно!

— Что стоит такая машина?— спрашивает Исаак.

— Это? Походный горн? Недорого.— У них есть несколько штук, но есть и совсем другие машины и сооружения, на берегу, там огромные машины, Исаак и сам понимает, что такие глубокие долины и пропасти в скале ногтями не проделаешь, ха-ха-ха!

Они продолжают обход и осмотр, дорогой инженер рассказывает, что на днях собирается в Швецию.

— Но вы, ведь, вернетесь?— спрашивает Аронсен.

— Разумеется.— Он не знает за собой ничего такого, чтоб правительство или полиция задержали бы его на родине.

Исаак устроил так, чтобы еще раз пройти мимо маленькой кузницы.

— А сколько же может стоить такой горн?— спрашивает он.

Сколько стоит? Этого инженер, правду сказать, не помнил. Наверное, порядочно, но в бюджете большого рудного дела это ровно ничего не составляет. Бедный инженер, может быть в эту минуту ему было совсем невесело, но он соблюдал видимость и был важен и шедр до конца:

— Исааку нужен походный горн? Возьми вот этот! Компания его богата, она дарит ему походный горн!

Час спустя Аронсен и Исаак идут домой. Аронсен несколько успокоился, у него появилась маленькая надежда, Исаак спускается со скалы, таща на спине драгоценный походный горн. Старый паром привык таскать тяжести! Инженер вызвался прислать сокровище в Селланро завтра с кем-нибудь из рабочих, но Исаак поблагодарил и попросил его не беспокоиться. Он подумал о своих, как они удивятся, когда он придет с целой кузницей на спине.

А удивляться-то пришлось Исааку.

Во двор как раз въезжала лошадь, запряженная в высшей степени странный воз. Возница был человек из села, а рядом с ним шел господин, на которого Исаак уставился с изумлением: это был Гейслер.

У Исаака могли бы быть причины подивиться кое-чему другому, но он был не мастер думать о многих вещах зараз.

— Где Ингер?— сказал он только, проходя мимо кухни. Он подумал, что Гейслера надо хорошенько попотчевать.

Ингер? Она ушла по ягоды, ушла по ягоды с самого того времени, как Исаак ушел на скалу, ушла вместе с Густавом, со шведом. Старуха совсем одурела и влюбилась, время шло к осени и зиме, но она снова чувствовала в себе жар, снова зацвела.

— Пойдем, покажи мне, где у вас тут морошка— сказал Густав.

Как тут устоять! Она побежала в клеть, несколько минут простояла в набожном раздумье, но он ведь стоял под окном и ждал; мир гнался за ней по пятам. Кончилось тем, что она пригладила волосы, заботливо посмотрелась в зеркало и вышла. Ну, что ж, а разве не все поступили бы так же? Женщины не отличают одного мужчину от другого, во всяком случае, не всегда, не часто.

Они ходят по ягоднику и рвут ягоды, рвут морошку на болоте, перебираются с кочки на кочку, она высоко поднимает юбку и показывает свои заманчивые икры. Кругом тихо, птенцы у куропатки выросли, и она уже квохчет, попадаются мягкие местечки, с кустиками по болоту. Не прошло и часу, а они уж садятся отдохнуть.

— Так вот ты какой!— говорит Ингер.

О, она так и млеет от него, улыбается блаженно, потому что совсем влюблена. О, Господи, как сладко и как больно быть до такой степени влюбленной, и сладко и больно! Конечно, обычай и приличие требуют защищаться. Да, чтоб сдать. Ингер так влюблена, смертельно и бесповоротно, она готова для него на все и полна к нему нежности и ласки.

Старуха.

— Когда скотный двор отстроят, ты уедешь,— говорит она потом.

Нет, он не уедет. Ну, конечно, когда-нибудь придется уехать, но не раньше, чем недели через две.

— Не пора нам домой?— спрашивает она.

— Нет.

Они собирают ягоды, немного погода опять попадаетеся мягкое местечко, и Ингер говорит:

— Ты с ума сошел, Густав!

Часы бегут, батюшки, да никак они заснули в кустах! Неужто заснули? Это поразительно, посреди пустыни, в раю. Но вот Ингер садится прямо, прислушивается и говорит:

— Как будто едут по дороге?

Солнце закатывается, вересковые холмы слегка потемнели от тени, когда они направляются домой. По пути попадаетеся много мягких местечек, Густав их видит, и Ингер тоже видит, но ей все время кажется, что впереди

них едут. Да, но извольте-ка идти и всю дорогу защищаться от такого сумасшедшего! Ингер так слаба; она только улыбается и говорит:

— Нет, я такого, как ты, не видала!

Домой она приходит одна. И хорошо, что она пришла именно сейчас, замечательно хорошо, приди она минутой позже, вышло бы нехорошо. И Исаак как раз вошел во двор со своей кузницей и с Аронсеном; а перед домом стоит лошадь и тележка.

— Здравствуйте!— говорит Гейслер и здоровается с Ингер.

Все стоят и смотрят друг на друга. Лучше не могло и выйти...

Гейслер опять приехал. Он не показывался несколько лет, но вот опять явился, постаревший и поседевший, но как всегда бодрый и подвижный, и нынче он нарядный, в белой жилетке и при цепочке. Черт поймет этого человека!

Проведал он, что ли, о том, что на медной скале не все благополучно, и решил сам расследовать дело? Как бы то ни было, вот он, здесь. Вид у него в высшей степени оживленный, он осматривает место и землю, тихонько выгибая голову и водя глазами, видит большие перемены, маркграф расширил свои владения. Гейслер удовлетворенно кивает головой.

— Что это ты тащишь?— спрашивает он Исаака.— Ведь это лошади впору!— говорит он.

— Кузнечный горн,— объясняет Исаак.— Он мне не раз сослужит службу на хуторе,— говорит он, наконец, называя Селланро хутором.

— Где ты его достал?

— На скале. Инженер взял да и подарил мне.

— Разве там есть инженер?— спрашивает Гейслер, будто не знал.

А неужто Гейслер уступает какому-то инженеру на скале!

— Я слышал, что у тебя есть сенокосилка, так вот, я привез тебе жнейку,— говорит он и указывает на воз.

Она стояла, красная с синим — огромный гребень, сенные грабли на конном ходу. Жнейку сняли с телеги, осмотрели, Исаак впрягся в нее и попробовал. Неудивительно, что рот у него был разинут, столько чудес скопилось в Селланро!

Заговорили о медной скале, о руднике:

— Они спрашивали про вас,— сказал Исаак.

— Кто спрашивал?

— Инженер и все господа. Говорили, что им непременно нужно вас разыскать.

Исаак зашел, пожалуй, чересчур далеко, Гейслеру это, видно, не понравилось, он вздернул голову и сказал:

— Я здесь, если им что-нибудь от меня нужно!

На следующий день оба курьера вернулись из Швеции, и с ними приехали двое из владельцев рудника, они были верхом, важные и толстые господа; судя по виду, страсть какие богатые. Они почти не остановились в Селланро, а, не слезая с лошади, спросили про дорогу и поехали дальше по направлению к скале. Гейслера они как будто не заметили, хотя он стоял довольно близко. Курьеры с вьючными лошадьми отдохнули с часок, потолковали с каменщиками у скотного двора, узнали, что старый господин в белом жилете и с золотой цепочкой — Гейслер, и тоже отправились дальше. Но один из курьеров вернулся в тот же вечер с устным приглашением Гейслеру пожаловать к господам на скалу.

— Я здесь, если им что-нибудь от меня нужно! — приказал ответить Гейслер.

Должно быть, он стал очень важен, думал, пожалуй, что владеет всем миром, и находил устное приглашение слишком небрежным? Но как же случилось, что он попал в Селланро как раз тогда, когда был нужен? Значит, он умел быть всеведущим, и много кое-чего знал. Ну, а господам на скале, когда они получили ответ Гейслера, пришлось побеспокоиться и самим пожаловать в Селланро. Их сопровождали инженер и два горняка.

Да, стало быть, много было крючков и обходов, прежде чем свиданье состоялось. Хорошего это не предвещало, нет, Гейслер ужасно как разважничался.

Господа были на этот раз очень вежливы, они извинились, что присылали за ним вчера, они так устали от дороги. Гейслер был тоже вежлив и ответил, что он тоже устал с дороги, иначе он бы пришел.

— Ну, а теперь к делу: не продаст ли он скалу по южной стороне озера?

— Вы — покупатель? — спросил Гейслер, — или я говорю с посредниками?

Это было только ехидство со стороны Гейслера, он сразу должен был видеть, что важные и толстые господа не посредники. Пошли дальше:

— Какая цена? — сказали они.

— Да, цена! — сказал и Гейслер и задумался. — Два миллиона, — сказал он.

— Вот как, — сказали господа и улыбнулись.

Гейслер не улыбнулся.

Инженер и горняки поверхностно исследовали гору, заложили несколько буровых скважин, взорвали в нескольких местах породу, и вот данные: месторождение вулканического происхождения, неровного залегания, согласно предварительным разведкам мощность его всего больше на участке между владениями компании и Гейслера, потом постепенно уменьшается. На протяжении последней полу-мили годной к разработке руды не попадает.

Гейслер слушал этот доклад с величайшим равнодушием. Он достал из кармана какие-то документы и внимательно смотрел в них, но это были не карты, и Бог знает, были ли то вообще документы, касавшиеся медной горы.

— Вы недостаточно глубоко пробурили!— сказал он, словно вычитал это из бумаг.

— Это верно,— сейчас же согласились господа; а инженер спросил:

— Откуда же Гейслер может это знать? Ведь вы совсем не бурили?

Тогда Гейслер улыбнулся, словно пробурил земной шар на двести метров в глубину, но потом засыпал скважины.

Они пробыли до полудня и все толковали и так и этак, и уж начали посматривать на часы. Они заставили Гейслера спустить цену до четверти миллиона, но ни на волос больше. Должно быть, они довольно серьезно обидели его, они исходили из того, что он рад продать, вынужден продавать, но это было совсем не так, ха-ха, разве они не видят, что он сидит перед ними, почти такой же важный и богатый, как они!

— Пятнадцать, двадцать тысяч тоже хорошие деньги,— сказали господа.

Гейслер не отрицал этого, особенно, когда эти деньги нужны, но двести пятьдесят тысяч больше.

Тогда один из господ сказал, и сказал, должно быть, для того, чтоб пригнуть немножко Гейслера к земле:

— Между прочим, мы привезли вам поклон от родных госпожи Гейслер из Швеции.

— Благодарствуйте!— ответил Гейслер.

— А propos,— сказал другой господин, видя, что ничто не помогает.— Четверть миллиона! Ведь это же не золото, это руда.

Гейслер кивнул:

— Это руда.

Тогда все господа сразу потеряли терпение, пять часовых крышек раскрылось и снова захлопнулось, и теперь уж некогда было шутить, настало время обедать. Господа

не пожелали обедать в Селланро, а поехали обратно на рудник, кушать свой собственный обед.

Так окончилось свиданье.

Гейслер остался один.

Каковы были занимавшие его мысли? Может быть, их и не было, может быть, он был равнодушен и ни о чем не думал? Отнюдь нет, он думал, но не проявлял никакого беспокойства. После обеда он сказал Исааку:

— Мне надо бы пройти на мою скалу, и я хотел бы взять с собой Сиверта, как в прошлый раз.

— Хорошо,— моментально сказал Исаак.

— Нет. У него другие дела.

— Он сейчас же пойдет с вами!— сказал Исаак и позвал Сиверта.

Гейслер поднял руку и кратко сказал:— Нет.

Он рассказывал всюду по двору, несколько раз подходил к каменщикам и оживленно говорил с ними. Как это он мог собой так владеть, ведь только что его занимало такое важное дело! Может быть Гейслер так долго жил на авось, что для него уже ни в чем не могло быть риска, во всяком случае, никакого стремительного падения с ним уже не могло больше случиться.

Все было дело случая. Продав маленький рудный участок родственниками своей жены, он сейчас же купил всю прилегающую к нему скалу. Зачем он это сделал? Хотел ли посердить владельцев, сделавшись их ближайшим соседом? Первоначально он, вероятно, думал обеспечить за собой маленькую полоску на южной стороне озера, где, вероятно, расположился бы рудничный поселок, в случае разработки руды; владельцем же всей скалы он сделался потому, что она почти ничего не стоила, и потому, что ему не хотелось возиться с размежеваньем, которое затянулось бы надолго. Он сделался горным королем из равнодушия, маленький участок под бараки и машины превратился в целое царство вплоть до моря.

В Швеции первый маленький рудный участок переходил из рук в руки, и Гейслер следил за его судьбой. Разумеется, первые владельцы купили глупо, до безобразия глупо, семейный совет ничего не понимал в горном деле, они не обеспечили за собой достаточного пространства скалы, им хотелось только откупиться от некоего Гейслера и избавиться от его близости. Новые же владельцы были не меньшие забавники, то были крупные люди, они могли позволить себе шутку и купить ради развлечения, купить за пирушкой, Господь их знает! Когда же произвели

разведки и дело оказалось серьезным, перед ними вдруг встала стена: Гейслер.

— Они дети!— думал, может быть, Гейслер, он ужасно расхрабрился и держал голову очень высоко. Правда, господа старались охладить его, они думали, что перед ними стоит нищий, и намекнули о каких-то пятнадцати, двадцати тысячах,— они дети, они не знают Гейслера. Вот он стоит!

В этот день господа больше не приехали со скалы, верно, решили, что умнее не проявлять слишком большой горячности. На следующее утро они приехали и с ними были выючные лошади, они направлялись в обратный путь. Но тут оказалось, что Гейслер ушел.

— Разве Гейслер ушел?

Господа не могли ничего решить, сидя на конях, пришлось слезть и подождать. Куда же ушел Гейслер? Никто не знал, он ходил повсюду, он очень интересовался хозяйством в Селланро, в последний раз его видели у лесопилки. Послали за ним курьеров, но Гейслер, должно быть, ушел далеко, потому что не откликался, когда его звали. Господа смотрели на часы и сначала очень сердились и говорили:— Не ходите же нам здесь дураками и ждите! Если Гейслер хочет продавать, так он должен быть на месте!— Но великая досада господ улеглась, они стали ждать, даже начали забавляться; это становится невозможно, они заночуют где-нибудь на пограничных скалах!— Блестяще!— говорили они,— наши семьи когда-нибудь найдут наши кости!

В конце концов, Гейслер явился. Он отправился прогуляться, сейчас пришел прямо с летнего загона.

— Похоже, что летний загон для тебя мал,— сказал он Исааку.— Сколько у тебя там всего скотины?

Вот как он мог говорить в то время, как господа стояли с часами в руках! Гейслер был заметно красен в лице, словно выпил спиртного:

— Пфу-у, как я разогрелся от прогулки!— сказал он.

— Мы были почти уверены, что застанем вас дома,— сказал один из господ.

— Вы об это меня не просили,— ответил Гейслер,— иначе я был бы на месте.

— Ну, а как же сделка? Согласен Гейслер принять сегодня разумное предложение? Ведь не каждый же день ему предлагают пятнадцать, двадцать тысяч крон, что?

Этот новый намек сильно задел Гейслера. Да и что это за манера! Но господа верно не говорили бы так, если бы не были сердиты, а Гейслер не побледнел бы моментально,

если б раньше не побывал в укромном месте и там не покраснел. Теперь же он побледнел и холодно ответил:

— Я не хочу назвать цену, какую, может быть, удобно было бы заплатить господам, но я знаю цену, какую хочу получить сам. Я не желаю больше слушать детскую болтовню о горе! Моя цена та же, что и вчера.

— Четверть миллиона крон?

— Да.

Господа сели на коней.

— Теперь я скажу Гейслеру вот что,— начал один из них:

— Мы прибавили до двадцати пяти тысяч.

— Вы продолжаете шутить,— ответил Гейслер.— Зато я намерен предложить вам нечто очень серьезное: хотите продать ваш маленький рудник?

— Да,— несколько растерянно сказали господа,— об этом можно подумать.

— Тогда я покупаю его,— сказал Гейслер.

Вот так Гейслер! Двор был полон народа и все слышали, все жители Селланро, и каменщики, и господа, и курьеры, он, пожалуй, и гроша не мог достать на такую покупку, а впрочем, бог знает, может быть, и мог, черт его поймет. Во всяком случае, он совсем сбил с толку господ своими немногими словами. Что это — ловушка? Или он хотел придать этим приемом еще больше значения своей горе?

Господа думали, господа начали тихонько переговариваться между собой, опять сошли с лошадей. Но тут вмешался инженер; оборот этот ему, видимо, очень не нравился и, должно быть, у него были некоторые права, а то и власть. Двор был полон народа, и все слушали.

— Мы не продаем!— сказал он.

— Нет?— спросили господа.

— Нет.

Они еще пошептались, потом сели на коней всерьез.

— Двадцать пять тысяч!— крикнул один из господ.

Гейслер не отвечал, повернулся и пошел к каменщикам.

Так окончилось последнее свиданье.

Гейслер казался равнодушным к последствиям, расхаживал взад-вперед, говорил то с тем, то с другим, в данную минуту ему было интересно смотреть, как каменщики кладут толстые стропила через весь двор. Им хотелось кончить постройку на этой же неделе, Крыша только временная, потом сверху надо всем двором предполагалось надстроить особое помещение для корма.

Исаак отпустил Сиверта с работы; это он сделал для того, чтоб Сиверт в любую минуту был свободен для путешествия с Гейслером на скалу. Напрасная забота, Гейслер или отказался от этой затеи, или забыл о ней. Он взял у Ингер кое-чего перекусить, пошел по направлению к равнине, и проходил до вечера.

Он зашел на два новых хутора, ниже Селланро, поговорил с хозяевами, потом добрался до Лунного и пожелал узнать, что сделал за эти годы Аксель Стрем. Дело у Акселя подвигалось не очень быстро, но землю он обработал хорошо. Гейслер интересовался и этим хутором и сказал Акселию:

— Есть у тебя лошадь?

— Да.

— У меня на юге есть косилка и плуг для новины, совсем новые, я пошлю их тебе.

— Как?— спросил Аксель, не понимая такого великодушия и прикидывая в уме насчет платы.

— Я подарю тебе эти орудия,— сказал Гейслер.

— Да разве ж то возможно?

— Но ты должен помочь двоим своим соседям и поднять новину и для них.

— Это уже само собой — заявил Аксель, все еще не понимая толком Гейслера:— так у вас на юге есть поместье и машины?

Гейслер ответил:— У меня так много всяких дел.

Ну, этого-то у Гейслера, пожалуй, не было, но он часто делал вид, будто есть. А косилку и плуг он мог ведь просто купить в каком-нибудь городе и послать на север.

Он разговорился с Акселем Стремем, расспрашивал о других хуторянах на равнине, о торговом местечке «Великом», о брате Акселя, молодожене, который недавно переехал в Брейдаблик и начал прокапывать болота и отводить из них воду. Аксель жаловался, что никак не найти работницы, у него живет только одна старуха, по имени Олина, от нее мало проку, но приходится радоваться, что есть хоть она. Одно время летом Акселию приходилось работать день и ночь. Пожалуй, можно бы выписать работницу с его родины, из Гельголанды, но тогда надо оплатить ей дорогу, помимо жалованья. Куда ни посмотри — все расходы. Потом Аксель рассказал, что он взял место надсмотрщика на телеграфной линии, но немножко об этом жалеет.

— Такие вещи для людей, вроде Бреде,— сказал Гейслер.

— Вот уж правда, так правда!— согласился Аксель.— Да ведь все из-за денег.

— Сколько у тебя коров?

— Четыре. И бык. А то далеко было водить коров к быку в Селланро.

Но на душе у Аксея было дело много поважнее, и ему очень хотелось поговорить о нем с Гейслером: против Варвары возбуждено следствие. Разумеется, все открылось: Варвара была беременна, но уехала как ни в чем не бывало и без ребенка, как же это так вышло? Услышав, в чем дело, Гейслер кратко сказал:

— Пойдем!

Он повел Аксея от построек, причем держал себя очень важно, совсем как начальство. Они сели на опушке и Гейслер сказал:

— Ну, я слушаю!

Разумеется, все открылось, как могло быть иначе! Людей развелось много, да, кроме того, у них на хуторе бывала Олина. Какое имеет касательство к делу Олина? Она-то? Да еще вдобавок Бреде Ольсен с ней поссорился. Теперь Олину уж никак не обойти, она поселилась в самом месте действия и по мелочам выспросила все у самого Аксея, она ведь жила ради темных дел, отчасти ими и кормилась, как опять не сказать, что у нее удивительно верный нюх. В сущности, Олина стала слишком стара и слаба, чтоб смотреть за домом и скотиной в Лунном, ей следовало бы отказаться, но как же она могла? Разве она могла спокойно оставить место, где была такая огромная неразъясненная загадка? Она справила зимние работы, мучилась и все лето, сил у нее не хватало, Но она держалась надеждой разоблачить одну из дочерей Бреде. Не успел весной сойти снег, как Олина принялась всюду шнырять, она нашла маленький зеленый холмик у ручья и сразу увидела, что холмик обложен аккуратно срезанным дерном; ей даже посчастливилось однажды застать там Аксея, когда он утапывал и заравнивал маленькую могилку. Стало быть, Акселею тоже обо всем известно. Олина кивнула седой головой — теперь, значит, ее черед!

Нельзя сказать, чтоб у Аксея было плохо жить, но он был изрядно скуповат, считал головки сыра и помнил наперечет каждый моток шерсти; у Олины руки были далеко не свободны. А взять его спасение в прошлом году, что же, разве Аксель показал себя настоящим хозяином и отблагодарил ее как следует? Наоборот, он все время упорно старался умалить ее торжество: — Ну да, — говорил он, — если б Олина не пришла, ему пришлось бы всю ночь пролежать в лесу и мерзнуть; но Бреде тоже оказал ему большую помощь,

доставив его домой! Вот и вся благодарность. Олина находила, что Всевышний, должно быть, разгневался на людей! Как будто Аксель не мог взять в хлеву корову, подвести ее к Олине и сказать:— Это твоя корова, Олина!— Так нет же!

А теперь вопрос, не обойдется ли ему это подороже коровы!

Все лето Олина подкарауливала проходящих мимо хутора, шушукалась с ними, кивала и поверяла свои тайны.— Только никому не передавай!— говорила она. Раза два Олина ходила и в село. И вот по всей округе пошли слухи, они ползли, как туман, ложились на лица, набивались в уши, даже у детей ходивших в школу в Брейдаблике, и у тех завелись тайны. В конце концов пришлось пошевелиться ленсману, пришлось ему составить рапорт и получить приказ. И вот, однажды, он явился в Лунное с понятым и протоколом, снял допрос, записал что надо и уехал. Но через три недели приехал опять, допрашивал дальше и записал больше. И на этот раз раскопал маленький зеленый холмик у ручья и извлек оттуда детский трупик; Олина оказалась для него незаменимой помощницей, в награду он должен был отвечать на ее многочисленные вопросы и тут-то, между прочим, он и сказал, что, может быть, будет возбужден вопрос об аресте Акселя. Тогда Олина всплеснула руками, ужасаясь гнусностям, в какие она попала, и пожалела, что не находится далеко, очень далеко отсюда.

— Ну а Варвара?— зашептала она.

— Девушка Варвара,— сказал ленсман, арестована в Бергене; правосудие пойдет своим чередом, прибавил он. Потом забрал мертвое детское тельце и уехал...

Немудрено поэтому, что Аксель переживал большое волнение. Он все рассказал ленсману и не думал запираяться: в чем он причастен, так это в самом ребенке, да еще в том, что собственноручно выкопал для него могилку. И вот он спрашивал Гейслера, как ему вести себя дальше. Наверное, его повезут в город на более строгий допрос и пытки?

Гейслер держался уже не таким молодцом, как раньше, длинный рассказ утомил его, он осовел — Бог знает, отчего — может быть, утренний дух уж выдохся. Он посмотрел на часы, встал и сказал:

— Это надо основательно обмозговать, я подумаю. И дам тебе ответ до своего отъезда.

С этими словами Гейслер ушел.

Вернувшись вечером в Селланро, он слегка поужинал и лег. Проспал очень долго, спал, отдышал, должно быть, устал от свиданья со шведскими владельцами коней. Только

через два дня он собрался уезжать. Он опять был важен и величав, щедро расплатился и дал маленькой Ревекке новенькую крону.

Исааку он держал целую речь:

— Ничего не значит, что сейчас сделка не состоялась, это еще придет со временем; пока я приостанавливаю работы на скале. Эти люди — дети, вздумали меня учить! Ты слышал, как они мне предлагали двадцать пять тысяч?

— Да, — ответил Исаак.

— Ну, — продолжал Гейслер, отмахивая головой всякие обидные предложения и пылинки, — здешнему округу не повредит, если я задержу разработку, наоборот, это научит людей ценить свою землю. Но в селе это почувствуют. Ведь за лето туда притекло порядочно денег, у всех появились нарядные платья и всякие разносолы; теперь этому конец. Да, а если бы село относилось ко мне по-хорошему, могло бы быть иначе. Теперь власть-то у меня!

Однако, когда он пошел, никто не сказал бы по его виду, что он такой уж властный человек, в руке он нес маленький узелок с провизией, и жилетка на нем была далеко не белоснежной чистоты. Может быть, заботливая жена собрала его в эту поездку на остатки от сорока тысяч, которые когда-то получила. Бог знает, не так ли оно на самом деле и было. И вот теперь он вернется домой ни с чем!

На обратном пути он не забыл зайти к Акселю и дать ему ответ:

— Я обдумал, — сказал он, — следствие ведется, и, стало быть, ты ничего сейчас сделать не можешь. Тебя потребуют к допросу, и ты должен будешь дать показания...

Просто обыкновенный разговор. Гейслер, наверное, вовсе не думал об этом деле.

Аксель на все уныло говорил: «Да».

В заключение в Гейслере опять проснулся важный барин, он нахмурил брови и сказал раздумчиво:

— Вот разве если б я смог в это время быть в городе и лично явиться в суд?

— Ах, если бы вам можно было! — воскликнул Аксель.

Гейслер моментально решил:

— Посмотрю, успею ли, у меня столько дела на юге. Но я постараюсь выбрать время. До свиданья, пока. Я пришлю тебе орудия!

Гейслер ушел.

Последний ли то был его приход в эти места?

Остатки рабочих спускаются со скалы, разработка приостановлена. Скала снова стоит мертвая.

Готов и скотный двор в Селланро. На зиму его покрыли временной дерновой крышей, большое строение разделено на комнаты, светлые комнаты, посредине огромная гостиная, на обоих концах по большому кабинету,— словно для людей. Когда-то Исаак жил здесь в дерновой землянке вместе с козами: теперь в Селланро уже нет ни одной дерновой землянки.

Устраивают колоды, стойла и закрома. Для скорости к этой работе привлекли обоих каменщиков, Густав же говорит, что не умеет столярничать, и собирается уезжать. Густав великолепно работал за каменщика и ворочал бревна, как медведь; по вечерам он веселил и забавлял всех, играл на губной гармонике, а кроме того, помогал женщинам носить тяжелые ведра с реки и на реку; но теперь он собирается ехать. Нет, столярная работа не по нем, говорит он. Похоже, как будто, он во что бы то ни стало хочет уехать.

— Остался бы до завтра,— просит Ингер.

Нет, работы для него здесь больше нету, а вдобавок до пограничных скал будут попутчики, последние рудокопы.

— Кто-то теперь поможет мне носить ведра?— говорит Ингер и печально улыбается.

На это у проворного Густава сейчас же готов ответ: он называет Яльмара. А Яльмар— это младший из двух каменщиков, но ни один из них не был так молод, как Густав, и ни один не похож на него.

— Ну, Яльмар!— презрительно отзывается Ингер. Но вдруг спохватывается и, желая раззадорить Густава, говорит:— Да, да, Яльмар не так плох. И как он славно поет за работой.

— Ищейка!— заявляет Густав, не раззадориваясь.

— Неужто не можешь остаться до утра?

Нет. Попутчики уйдут тогда без него.

Да, должно быть, Густаву все это уже прискучило. Чудесно было выхватить ее из-под носа у всех товарищей и побаловаться с ней две недели, что он прожил здесь; но теперь ему пора уходить, к другим рабочим, может, к невесте на родине, перед ним раскрывались новые планы. Неужели ему торчать здесь ради Ингер. У него были настолько веские причины к разрыву, что она и сама должна бы понять его; но она стала так смела, так беззастенчива, ни на что не обращала внимания. Любовь их продолжалась не очень долго, нет, но она продолжалась до конца каменных работ.

Ингер печальна, она так безумно искренна в своем увлечении, что горюет. Ей приходится плохо, она без

притворства и без жеманства влюблена. И она этого не стыдится, Ингер сильная женщина, полная слабости, она повинуется окружающей ее природе, у нее осенний пыл. Она собирает Густаву провизию, а грудь ее ходит ходуном от волнения. Она не думает о том, имеет ли на это право, и есть ли в этом опасность, а просто отдается своим чувствам, она стала жадной на лакомое, на наслаждение. Исаак мог бы еще раз подкинуть ее к потолку и швырнуть на пол — ну что ж, она и не защищается.

Она выходит с узелком и отдает его.

Она приготовила у лестницы лоханку, не снесет ли ее Густав с нею в последний раз на реку. Может быть, она хочет сказать ему что-то, сунуть чтонибудь в руку, золотое кольцо, Бог знает, она сейчас на все способна. Но когда-нибудь да надо же положить конец, Густав благодарит за узелок, прощается и уходит. Уходит.

А она стоит.

— Яльмар! — зовет она громко, ах, совсем излишне громко. Словно радуется на зло — или мечется в отчаянии.

Густав уходит...

Осенью по всей равнине, вплоть до села происходит обычная работа, копают картошку, свозят ячмень, крупный скот выпущен на поля. Восемь хуторов, и всюду спешка, в торговом же местечке «Великом» нет скота и нет зеленых полей, там только сад; торговли, впрочем, теперь тоже нет, никто там и не торопится.

В Селланро посадили новый корнеплод, который называется турнепс, он стоит огромный и зеленый на своей полосе и колышет листьями, но невозможно отогнать от него коров, они ломают все загородки и с ревом несутся туда. Леопольдине и маленькой Ревекке приходится стеречь турнепсовое поле, и Ревекка рассказывает с огромной хворостиной, старательно отгоняя коров. Отец работает неподалеку, изредка подходит к ней, пробует ей руки и ноги и спрашивает, не озябла ли она. А Леопольдина, которая скоро будет совсем взрослой, тоже ходит за пастуха, а сама тем временем вяжет чулки и варежки на зиму. Она родилась в Тронгейме и приехала в Селланро пяти лет, воспоминание о большом городе с множеством людей и о долгом путешествии на пароходе отходит все дальше и дальше, она дитя полей и не знает никакого иного света, кроме села, где несколько раз бывала в церкви и где в прошлом году конфирмовалась...

Потом подвертываются случайные дела, например, дорога внизу в двух местах стала почти непроезжей. Однажды,

пока земля еще не замерзла, Исаак и Сиверт отправляются чинить дорогу. Там два болотца, их надо осушить.

Аксель Стрем обещал принять участие в этой работе, потому что он тоже обзавелся лошастью и пользуется дорогой, но Акселию понадобилось непременно поехать в город — неизвестно зачем, он только сказал, по очень важному делу. Но он прислал вместо себя своего брата из Брейдаблика. Зовут его Фредрик.

Фредрик молод и недавно женился, веселый малый, умеет пошутить и не полезет за словом в карман; они с Сивертом похожи друг на друга. Утром, по дороге сюда, Фредрик заходил к своему ближайшему соседу Аронсену в «Великое» и сейчас поглощен тем, что торговец ему говорил. Началось с того, что Фредрик спросил у него пачку табаку.

— Я подарю тебе пачку табаку, когда у меня будет, — сказал Аронсен.

— Как, разве у вас нет табаку?

— Нет, и не будет, некому его покупать. Сколько, по-твоему, я зарабатываю на одной пачке табаку?

Аронсен был в скверном настроении, он считал, что шведская компания прямо-таки его обманула: он поселился в деревне, чтоб торговать, а они взяли да и прекратили разработку.

Фредрик потешается над Аронсеном и не очень-то лестно о нем отзывается:

— Да, ведь он к своей земле и не притронулся! — говорит он, — у него нет даже корма для скотины, он его покупает! Он и у меня хотел купить сена, но только нет, у меня продажного сена не имеется. — Как, тебе не нужно денег? — сказал Аронсен. Он думает, что деньги — это все, выложил на прилавок бумажку в сто крон и говорит: — Деньги! — Да, деньги — штука хорошая! — говорю я. Это «бум констант!» — говорит он. Он аккурат, словно бы немножко помешался, а жена его и по будням ходит при часах — Бог ее знает, какие такие часы ей непременно надо помнить.

Сиверт спрашивает: — А не говорил Аронсен об одном человеке по имени Гейслер?

— Как же. Это тот, что не захотел продать свою скалу, сказал он. Аронсен страсть, как злился: выгнанный ленсман, говорит, может у него за душой нет и пяти крон, его, говорит, надо пристрелить! — А вы подождите немножко, говорю я, — может, он потом продаст. — Нет, — говорит Аронсен, — и не думай этого. Я то ведь купец, и понимаю, что когда одна сторона запрашивает двести пятьдесят тысяч, а другая дает двадцать пять, так тут расстояние слишком

велико, и никакой сделки не может выйти. Ну, да скатертью дорожка!— сказал Аронсен,— я рад был бы, если б ноги моей никогда не бывало в этой проклятой дыре!— Но вы ведь не собираетесь продавать?— спрашиваю я.— Да, ответил он, как раз это я и собираюсь сделать. Ох, уж это мне болото, эта дыра и эта пустыня! Я не выручаю за день и одной кроны,— сказал он.

Они смеялись над Аронсеном и нисколько его не жалели.

— Ты думаешь, он продаст?— спросил Исаак.

— Да, он так говорил. Он уж отпустил работника. Да, можно сказать, деликатный и мудреный человек этот Аронсен! Отпускает работника, который мог бы заготовить ему на зиму дрова и свозить сено на собственной лошади, но оставляет доверенного. А это правда, он сейчас не выручает в день и одной кроны, потому что у него нет товаров в лавке, ну тогда на что же ему доверенный? Разве что для гордости и величия: вот, мол, у него за конторской стоит человек и пишет в больших книгах. Ха-ха-ха, нет, он просто-напросто малость помешался, этот Аронсен!

Трое мужчин работают до обеда, закусывают из своих котомок и некоторое время беседуют. У них есть, о чем поговорить, полевые и хуторские горести и радости, это не мелочь, но они обсуждают их здраво, они спокойны, нервы их не издерганы и они не делают того, что не следует. Вот подходит осень, леса смолкают, стоят горы, стоит солнце, вечером зажгутся луна и звезды, все прочно и твердо, полно ласки, как нежное объятие. Здесь людям есть когда отдохнуть на вереске, подложив под голову руку вместо подушки.

Фредрик рассказывает про Брейдаблик: он там еще немного сделал.

— Нет,— говорит Исаак,— ты уж много наработал, я видел, когда проходил мимо.

Эта похвала от старейшего в округе, от самого великана, радует Фредрика, он почтительно спрашивает:

— Вы находите? Нет, потом будет лучше. В этом году было много помех, пришлось проконопатить избу, она протекала и совсем разваливалась, сломать и поставить заново сеновал, хлев был чересчур мал, у меня ведь корова и телка, а у Бреде не было,— горделиво говорит Фредрик.

— Нравится тебе здесь?— спрашивает Исаак.

— Да, нравится, и жене тоже нравится, почему же не нравится? Место у нас открытое, видно и вверх и вниз по дороге. Рошица за постройками очень красивая, там березы и вербы, я посажу еще по ту сторону двора, если успею. Просто удивительно, до чего болото просохло только с весны,

как я прокопал его, интересно, что-то на нем нынче вырастет! Как же не нравится? Раз у нас с женой есть и дом, и свой угол, и земля?

— Так, а разве вас только двое и будет?— лукаво спрашивает Сиверт.

— Нет, знаешь, может случиться, что будет и больше,— весело отвечает Фредрик.— А раз уж мы заговорили о том, хорошо ли нам здесь живется, так я скажу, что никогда жена моя не толстела так, как теперь.

Они работают до вечера; изредка распрямляют спины и переговариваются:

— Что ж, так ты и не достал табаку?— спрашивает Сиверт.

— Нет, да это-то мне все равно,— отвечает Фредрик.— Я ведь не курю.

— Не куришь?

— Нет. А мне просто хотелось зайти к Аронсену и послушать, что он скажет.

Оба проказника захохотали.

На обратном пути домой отец и сын по обыкновению молчаливы, но Исаак надумал что-то и говорит:

— Послушай, Сиверт.

— Что?— отзывается Сиверт.

— Да нет, ничего.

Они идут долго, потом отец опять заговаривает:

— Как же Аронсен может торговать, когда у него нет товаров?

— Да,— отвечает Сиверт.— Но и людей-то здесь не так много, чтоб для них держать товары.

— Ну, ты так думаешь? Да, да, наверное оно так!

Сиверт немножко удивляется этим словам. Отец продолжает:

— Здесь всего восемь хуторов, но может быть гораздо больше. Да нет, не знаю.

Сиверт дивится еще больше: о чем думает отец? Ни о чем? Отец с сыном опять идут долго и почти доходят до дому.

— Гм. Как думаешь, сколько Аронсен запросит за свой участок?— спрашивает старик.

— Вот оно что!— отвечает Сиверт.— Ты хочешь купить?— спрашивает он шутки ради. Но вдруг его сразу осеняет, куда клонит отец: старик думает об Елисее. О, наверное он никогда не забывал о нем, а думал так же упорно, как мать, только по-своему, ближе к земле, ближе и к Селланро.

— Цена наверно сходная,— говорит тогда Сиверт.

Из этих слов Сиверта отец заключает, что его поняли, и, словно испугавшись своей чрезмерной откровенности, сейчас же переводит на другое и говорит о починке дороги, о том, как хорошо, что они с нею развязались.

Дня два Сиверт с матерью присаживались друг к дружке, совещались, шушукались и даже написали письмо; а в субботу Сиверту вдруг надумалось пойти в село.

— Зачем это тебе опять понадобилось в село, только трепать подметки?— спросил с досадой отец,— и лицо у него было неестественно сердитое: он отлично понял, что Сиверт собрался на почту.

— Хочу пойти в церковь,— ответил Сиверт.

Лучшей причины не подыскать, сказал отец:— Да уж за чем ни на есть!

Но если Сиверт собрался в церковь, так пусть запряжет лошадь и возьмет с собой маленькую Ревекку. Маленькой Ревекке можно доставить это удовольствие в первый раз в жизни; она была такая умница, помогала отгонять коров от турнепса, и, вообще, была для всех на хуторе, что солнышко в небе. Запрягли телегу, Ревекке дали в провозатые Иенсину, чему Сиверт не противился.

Пока они ездят, на хутор неожиданно является доверенный из «Великого». Что случилось? Да ничего, просто пришел пешком некий доверенный, некий Андресен, он направляется в скалы, хозяин послал его... Только и всего. Это событие не вызывает среди жителей Селланро никакой особой суматохи, это не то, что в былые дни, когда гость представлял редкое зрелище на хуторе, и Ингер приходила в большее или меньшее волнение. Нет, Ингер опять ушла в себя и притихла.

Необыкновенная вещь этот молитвенник, прямо путеводная звезда, рука, обвивающая шею! Когда Ингер пришла в разлад с самой собой и заблудилась в ягольнике вывело ее на путь воспоминание о горенке и о молитвеннике; сейчас она опять сосредоточенна и богобоязненна. Она вспоминает давние годы, когда, бывало, за шитьем уколёт палец иглой и скажет: Черт! Этому она научилась от своих товаров за большим портняжным столом. А теперь уколется до крови, и высасывает кровь молча. Немало требуется борьбы с собой, чтоб так перемениться. А Ингер пошла еще дальше. Когда все рабочие ушли и каменный скотный двор был готов, а хутор опять опустел и затих, Ингер очень мучилась, много плакала и страдала. Она никого не винила в своем отчаянии, кроме себя самой, и была полна смирения. Поговорить бы с Исааком и облегчить свою душу! Но в Селланро никогда

не водилось, чтобы кто-нибудь говорил о своих чувствах и в чем-либо каялся. И потому она только необыкновенно ласково звала мужа обедать и ужинать, а если он бывал не дома, шла к нему, а не кричала с порога, по вечерам же осматривала его платье и прикрепляла пуговицы. Но Ингер пошла и еще дальше. Однажды ночью она приподнялась на локте и сказала мужу:

— Послушай, Исаак!

— Чего тебе?— спросил Исаак.

— А ты не спишь?

— Ну?

— Нет, ничего,— говорит Ингер.— А только я была не такая, как надо.

— Чего?— спрашивает Исаак. Он не понял и тоже приподнялся на локте.

Они стали разговаривать лежа. Она все-таки отличная женщина, и на сердце у нее тяжело:

— Я была для тебя не такою, как надо,— говорит она.— Мне так жалко!

Эти простые слова умиляют его, умиляют мельничный жернов: ему хочется утешить Ингер, он не понимает, в чем собственно дело, понимает только, что другой такой, как она, нет.

— Об этом тебе нечего плакать,— говорит Исаак,— никто не бывает таким, как надо.

— Ах! Нет, нет,— с благодарностью отвечает она.

О, у Исаака были такие здравые понятия о вещах, он умел выпрямить, где что покосится. Кто из нас таков, каким бы должен быть? Исаак был прав; даже бог сердца, который ведь все-таки бог, пускается на приключения, и мы видим, какой он буйан: один день он зарывается в грудь роз, облизывается и все помнит, а на следующий день он занозил ногу шипом и вытаскивает его с гримасой отчаяния. Что же, умирает он от этого? Ничего подобного, остается таким же, как был. Нечего сказать, хорошо бы было, если б он умер!

Обошлось дело и с Ингер, она пережила свое горе, но осталась верна своим благочестивым размышлениям и находит в них верное утешение. Ингер неизменно прилежна, терпелива и добра, она ставит Исаака выше всех других мужчин и смотрит на все его глазами. Разумеется, с виду он не щеголь и не певун, но он еще хоть куда, ха! Спросите-ка ее! И опять подтверждается, что набожность и нетребовательность — большое благо.

И вот явился этот маленький доверенный из «Великого», этот Андресен; явился он в Селланро в воскресенье, и Ингер не взволновалась, совсем напротив, она даже не удостоила подать ему крынку молока, а так как работницы не было дома, послала вместо себя Леопольдину. И Леопольдина отлично сумела подать крынку и сказала: «Пожалуйста», и вся вспыхнула в лице, хотя одета была по праздничному, и ей не в чем было извиняться.

— Спасибо, зачем ты это!— сказал Андресен.— Отец твой дома?— спросил он.

— Должно быть, вышел куда-нибудь.

Андресен выпил, вытер носовым платком рот и посмотрел на часы.

— Далеко отсюда до рудника?— спросил он.

— Нет. Час ходьбы, а то и меньше.

— Мне надо пройти туда по поручению Аронсена, я его доверенный.

— Так.

— Разве ты меня не узнала? Я доверенный у Аронсена. Ты была у нас за покупками?

— Да.

— Я тебя хорошо помню,— сказал Андресен.— Ты была два раза и покупала у нас.

— Не ожидала я, что вы меня вспомните,— ответила Леопольдина, но тут силы ей изменили, и она ухватилась за стул.

Андресену силы не изменили, он повернулся на одной ножке и сказал:

— Как же мне тебя не запомнить!— И прибавил:— Ты не можешь пойти со мной на скалу?

Через минуту у Леопольдины замелькали какие-то чудные красные круги перед глазами, пол поплыл из-под ног, а голос доверенного Андресена донесся откуда-то издалека:

— Тебе некогда?

— Да,— ответила Леопольдина.

Бог знает, как она добралась до кухни. Мать взглянула на нее и спросила:

— Что с тобой?

— Ничего.

Ничего — ну, конечно! А дело в том, что и для Леопольдины настал черед волноваться, начинать свой бег по кругу. Она весьма для этого годилась, вытянулась, похорошела, только что конфирмовалась, жертва хоть куда. В юной груди ее трепыхается птичка, длинные руки ее, как и у матери, полны нежности, женственности. А разве она не умеет

танцевать? Еще как! Удивительно, где они научились, но в Селланро все умели танцевать, и Сиверт, и Леопольдина танцевали местную деревенскую пляску с разными коленцами, шотландку, мазурку, рейнлендер и вальс. А наряжаться, влюбляться и грезить на яву — разве Леопольдина всего этого не умела? Точь в точь, как другие! Когда она стояла в церкви, мать дала ей надеть золотое кольцо, какой же тут грех, только красиво, к тому же, на следующий день, когда она должна была причащаться, кольца ей уже не дали до окончания всей церемонии. Отчего же ей и не надеть в церковь золотое кольцо, она ведь дочь богатого человека, самого маркграфа.

На обратном пути со скалы доверенный Андресен застал Исаака дома, и его пригласили зайти. Угостили обедом и кофе. Все домашние были в горнице и приняли участие в беседе. Доверенный рассказал, что Аронсен послал его на скалу разузнать, в каком положении дело на руднике, есть ли признаки, что разработка возобновится. Бог знает, доверенный, может, сидел и врал, что его послали, он мог и сам по себе затеять эту прогулку, и во всяком случае за короткое время, что он проходил, он не мог добраться до самого рудника.

— Снаружи-то не очень разглядишь, собирается компания работать или нет,— сказал Исаак.

— Да,— согласился доверенный, но Аронсен послал его, да и потом, четыре глаза увидят все-таки больше, чем два.

Но тут Ингер не удержалась и спрашивает:

— Правду ли говорят, будто Аронсен собирается продавать?

Доверенный отвечает:— Он так поговаривает. А ведь такой человек, как он, может делать, что захочет, у него на все хватит средств.

— Ну, у него так много денег?

— Да,— отвечает доверенный и кивает головой,— уж не без того!

Ингер опять не может смолчать и спрашивает:

— А сколько же он хочет за свой участок?

Исаак вмешивается, любопытство разбирает его, может быть, еще больше, чем Ингер; но мысль о покупке «Великого» отнюдь не должна исходить от него, он отмахивается от нее и говорит:

— Зачем ты спрашиваешь, Ингер?

— Да нет, я только так,— отвечает она.

Оба смотрят на доверенного Андресена и ждут. Тогда тот отвечает.

Он отвечает очень сдержанно, что цены он не знает, но, со слов Аронсена, знает, во сколько ему обошлось «Великое».

— Сколько же?— спрашивает Ингер, не в силах удержать язык за зубами.

— Тысячу шестьсот крон,— отвечает доверенный.

— Неужто!— Ингер мгновенно всплескивает руками, потому что, если есть такое, в чем женщины не знают никакого толку, так это именно в ценах на земельные участки. Но, впрочем, тысяча шестьсот крон и сами по себе для деревни сумма не маленькая, и Ингер боится одного: что Исаака она отпугнет. Но Исаак — аккурат скала и говорит только:

— Постройки-то там большие!

— Да,— соглашается доверенный Андресен,— много разных служб!

Перед самым уходом доверенного Леопольдина потихоньку выскользнула за дверь. Чудно, должно быть, подать ему руку. Но она выискала себе хорошее местечко: стоит в каменном скотном дворе и выглядывает из окошка. На шее у нее голубая шелковая ленточка, раньше ее не было, и замечательно, что она как-то успела ее надеть. Вот он проходит,— чуточку низковат ростом, кругленький, с тугими икрами, болокурая бородка, лет на восемь, десять старше ее. Как будто он ничего!..

А поздно в ночь на понедельник возвращается из села Сиверт с Ревеккой и Иенсиной. Все сошло хорошо, Ревекка последние часы спала, и так, сонную, ее вынимают из телеги и вносят в дом. Сиверт узнал много новостей, но когда мать спрашивает:

— Что слышал нового?— он отвечает:

— Да ничего особенного. Аксель завел косилку и борону для целины.

— Что ты говоришь?— с интересом спрашивает отец.— Ты видел?

— Видел. Стоят на пристани.

— Ага, так вот зачем он ездил в город!— говорит отец.

А Сиверт сидит, полный еще более любопытных вестей, но не говорит больше ни слова.

Пусть отец думает, что необходимое дело, за которым Аксель Стрем ездил в город,— покупка косилки и бороны; пусть и мать тоже так думает. Но никто из них этого не думал, они довольно наслушались, что поездка эта имела отношение к недавнему детоубийству, раскрытому в их местности.

— Ну, ступай, ложись!— говорит, наконец, Исаак.

Сиверт уходит и ложится, его раздражает от новостей. Акселя вызвали на допрос по важному делу, с ним поехал и ленсман. Дело было настолько важное, что даже жена ленсмана, у которой опять родился маленький, оставила ребенка и тоже поехала с ними в город. Она заявила, что хочет сказать словечко присяжным.

По селу ходили всякие сплетни и слухи, и Сиверт отлично заметил, что вспомнили и про другое, старое детоубийство. При его приближении разговоры у церкви смолкли, и будь он не тем, кем был, люди, может быть, отвернулись бы от него. Хорошо быть Сивертом: во-первых, сын богатого человека, владельца большого поместья, а потом и сам по себе толковый парень, работяга, его ставили в пример и уважали. И все время он пользовался общей любовью. Только бы Иенсина не наслушалась лишнего до их отъезда домой! У Сиверта тоже было свое, чем он дорожил, ведь и деревенские люди тоже могут краснеть и бледнеть. Он видел, как Иенсина вышла из церкви с маленькой Ревеккой, она тоже его видела, но молча прошла мимо. Он подождал немножко, потом подъехал к избе кузнеца, чтоб забрать Иенсину и сестренку.

Все сидят за обедом. Сиверта тоже приглашают, но он уже закусил, спасибо! Они знали, что он придет, могли бы немножко подождать; у них, в Селланро подождали бы, здесь — нет!

— Ну, конечно, это не такая еда, к какой ты привык дома, — говорит кузнечиха.

— Что слышал у церкви? — спрашивает кузнец, хотя и сам был там.

Когда Иенсина с Ревеккой уселись в телегу, кузнечиха говорит дочери:

— Да, да, Иенсина, теперь надо тебе поскорее возвращаться домой!

Это можно понять на-двое, верно подумал Сиверт, потому что не вмешался. Но скажи она немножко пояснее — и он, может быть, ответил бы! Он хмурит брови и ждет — нет, больше ничего.

Они едут домой, и маленькая Ревекка одна разговаривает, она полна впечатлений от виденного в церкви: священник в ризе с серебряными крестами, паникадило, орган. Некоторое время спустя Иенсина говорит:

— Какой стыд, с Варварой-то!

— На что это твоя мать намекала, когда сказала, что тебе надо поскорее возвращаться домой? — спрашивает Сиверт.

— На что намекала?
— Ты хочешь от нас уехать?
— Когда-нибудь придется же вернуться домой.
— Тпруу!— говорит Сиверт и останавливает лошадь.—
Хочешь, чтоб я повернул и отвез тебя сейчас же?

Иенсина смотрит на него, он бледен, как мертвец.

— Нет,— отвечает она. Через минуту она начинает плакать.

Ревекка с удивлением посматривает то на одного, то на другую. О, маленькая Ревекка оказалась очень кстати при такой поездке, она заступилась за Иенсину, погладила ее и заставила улыбнуться. А когда пригрозила брату, что прыгнет с телеги и принесет для него хорошую розгу, невольно улыбнулся и Сиверт.

— А теперь я спрошу, на что намекал ты?— сказала Иенсина.

Сиверт, не раздумывая, ответил:

— Я хотел сказать, что если ты хочешь от нас уехать, мы попробуем обойтись и без тебя.

Некоторое время спустя Иенсина говорит:

— Да, да, Леопольдина уж подросла и может исполнять мою работу.

Обратный путь вышел очень печальный.

ГЛАВА V

По равнине идет человек. Ветрено, льет дождь, началась осенняя мокрота, но человеку это все равно, и он весел с виду, и на душе у него весело, это Аксель Стрем, он возвращается с допроса, его оправдали. И он рад: во-первых, на пристани стоит для него косилка и борона для целины, а во-вторых, его оправдали. Он не принимал участия в убийстве ребенка. Вот как бывает на свете!

Но что за часы он пережил! Когда он стоял перед судом и давал показания, ему, неумоимому труженику, эта работа показалась самой тяжелой в его жизни. Ему не было никакого расчета усугублять вину Варвары, поэтому он всячески старался не сказать лишнего, он рассказал даже не все, что знал, каждое слово пришлось из него вытягивать, и большей частью он отвечал только «да» и «нет». Разве этого не довольно? Разве надо было раздувать дело еще больше? О, много раз казалось, что оно принимает серьезный оборот, высокое начальство в

черных, пречерных, сюртуках смотрело так грозно, оно могло немногими словами повернуть все на плохое и, пожалуй, добиться его осуждения. Но они оказались добрыми людьми, не захотели его погубить. Да кроме того, над спасением Варвары работали могущественные силы, а это должно было пойти на пользу и ему.

Господи помилуй, что же его ожидало?

Ведь сама Варвара не могла показать против своего бывшего хозяина и возлюбленного, ему была известна и эта история, и другая, что была раньше,— не так же Варвара глупа. Нет, Варвара оказалась достаточно умна, она расквалила Акселя, сказала, что он решительно ничего не знал о родах, до того, как все кончилось. Он был немножко чудной, и они между собой не ладили, но он человек смирный и, вообще, замечательно хороший человек. А что он выкопал новую могилку и переложил в нее тельце, так случилось это уже некоторое время спустя, и сделал он это оттого, что ему показалось, будто прежняя могилка сыровата, хотя она и была сухая, а только Аксель такой уж чудной.

Так что же грозило Акселю, раз Варвара принимала на себя всю вину? За Варвару же действовали могучие силы. Действовала госпожа ленсманша Гейердаль.

Она обошла и высших и низших, не щадя себя, потребовала, чтоб ее допросили в качестве свидетельницы и произнесла на суде целую речь. Когда настала ее очередь, она вышла к решетке с видом важной дамы; она поставила вопрос о детоубийстве во всем его объеме и прочитала суду целую лекцию; похоже было, как будто она предварительно добилась разрешения на это. Можно было иметь о ленсманше какое угодно мнение, но говорить она умела, и в политике и в общественных вопросах разбиралась очень хорошо. Просто удивительно, откуда у нее брались слова. По временам председателю заметно хотелось вернуть ее к существу дела, но, должно быть, не хватало духу ей помешать, и он не прерывал ее. А в заключение она привела даже два практических разъяснения и сделала суду, возбудившее всеобщий интерес, предложение.

Все произошло — откинув специально юридические тонкости — следующим образом:

— Мы, женщины,— говорила ленсманша,— несчастная и угнетаемая половина человечества. Законы создают мужчины, мы, женщины, не имеем в этой области никакого влияния. Но разве мужчина может понять, что значит для женщины родить дитя? Переживал ли он страх, чувствовал ли ужасные страдания и боли,

испускал ли стоны и вопли? В данном случае ребенка родит служанка, наемная работница. Она не замужем, следовательно, она должна, нося в себе ребенка, все время стараться это скрыть. Почему она должна скрывать? Ради общества. Общество презирает незамужнюю женщину, ожидающую ребенка. Оно не только не охраняет ее, а преследует ее презрением и позором. Разве это не ужасно? Ведь это должно бы возмутить всякого человека с сердцем! Девушка не только должна родить на свет ребенка, что и само-то по себе, казалось бы, довольно тяжело, но, сверх того, с ней обращаются за это как с преступницей. Я готова сказать, что для девушки, сидящей на скамье подсудимых, редкая удача, что ребенок ее, благодаря несчастной случайности, родился в ручье и захлебнулся. Это было счастьем для нее самой и для ребенка. Пока общество остается таким, каково оно сейчас, незамужнюю мать следовало бы освобождать даже за убийство своего ребенка.

Со стороны председателя слышится слабое ворчанье.

— Или, во всяком случае, назначить лишь самое незначительное наказание,— продолжала ленсманша.— Разумеется, мы все согласны в том, что жизнь детей надлежит охранять,— говорила она,— но неужели абсолютно ни один из законов гуманности не должен распространяться на несчастную мать?— спросила она.— Попробуйте представить себе, что она пережила за время беременности, какие муки вытерпела, скрывая свое состояние и не зная, что ей делать с собой и будущим ребенком. Этого ни один мужчина себе не может представить. Во всяком случае, ребенка она убивает из желания ему добра. Мать не настолько жестока к себе и к своему дорогому малютке, чтоб оставить его жить, ей слишком тяжело нести свой позор, под его давлением в ней созревает план убить дитя. И вот она родит где-нибудь тайком и в течение двадцати четырех часов находится в таком расстройстве, что во время самого убийства совершенно невменяема. Она, так сказать, почти не совершила его, до того велико ее расстройство. У нее еще болит после родов каждая косточка, каждый суставчик, а она должна поскорее убить ребенка и убрать труп — подумайте, какое напряжение воли требуется для этой работы! Но, натурально, мы все хотим, чтоб дети оставались живы, и можем только жалеть, что некоторых из них убивают. Но это вина самого общества, этого тупого, жестокого, зараженного сплетнями, жадной преследования, злобного общества, которое стоит на страже, чтоб всеми средствами душить незамужнюю мать!

Но даже и после такого обращения со стороны общества злополучные матери могут подняться и оправиться. Часто бывает, что в таких девушках именно после их социального проступка начинают развиваться лучшие и благороднейшие качества их души. Присяжные могут спросить заведующих приютами, принимающих таких матерей и детей, правда ли это. И опытом дознано, что именно девушки, которые... которых общество вынудило убить свое дитя, становятся образцовыми нянями. Обстоятельство, думается нам, представляющее для всякого человека материал для размышлений.

Другая сторона дела такова: почему оставляют на свободе мужчину? Мать, совершившую детоубийство, бросают в тюрьму и тиранят, но отца ребенка, настоящего соблазнителя, подстрекателя, того не трогают. Однако, будучи виновником зачатия ребенка, он несет известную долю участия в его убийстве, и даже наибольшую долю: не будь его — не было бы и несчастья. Так почему же он остается неприкосновенным и правым? Потому что законы сочиняются мужчинами. Вот вам ответ. Положительно приходится молить небо о защите от этих мужских законов! И всегда так и будет, до тех пор, пока мы, женщины, не получим права голоса при выборах и в тинге.

— Но если,— продолжала ленсманша,— эта жестокая судьба поражает виновную — или более виновную — незамужнюю мать, совершившую детоубийство, то что сказать о невинной, только подозреваемой в убийстве и его не совершившей? Какую компенсацию дает общество этой жертве? Никакой компенсации! Я удостоверяю, что знаю сидящую здесь подсудимую с детства, она служила у меня, отец ее состоит понятым у моего мужа. Мы, женщины, позволяем себе думать и чувствовать как раз наперекор мужским обвинениям и преследованиям, мы позволяем себе иметь собственное мнение о вещах. Сидящая здесь девушка арестована и лишена свободы по подозрению в том, что, во-первых, родила тайком, а затем в том, что убила своего ребенка. Она — я в этом не сомневаюсь — не совершила ни того, ни другого; присяжные сами придут к этому ясному, как солнце, заключению. Соккрытие родов? Она родит средь бела дня. Правда, она одна, но кому же быть при ней? Она живет в глуши, в пустынном месте, единственный человек, живущий там же кроме нее — мужчина, неужели же ей призывать его в такой момент? Нас, женщин, подобная мысль возмущает. Затем она, якобы, убила дитя? Она родила его в ручье, она лежит в ледяной воде и родит. Каким

образом она попала в ручей? Она наемная работница, следовательно, рабыня, каждый день у нее определенные дела. Сегодня ей нужно пойти в лес за можжевельником для мытья деревянной посуды; переходя через ручей, она оступается и падает в воду. Она лежит, не в силах подняться. Ребенок рождается и захлебывается в воде.

Ленсманша останавливается. По лицам присяжных и слушателей она видела, что говорила необыкновенно хорошо, в зале царил полная тишина, только Варвара изредка вытирала глаза от волнения. Ленсманша закончила следующими словами:

— У нас, женщин, есть сердце. Я бросила своих детей на чужих людей, чтоб приехать сюда и дать показания в пользу сидящей здесь, несчастной девушки. Мужские законы не могут запретить женщинам думать: я думаю, что эта девушка достаточно наказана за то, что не сделала ничего дурного. Оправдайте же ее, я возьму ее к себе. Она будет самой лучшей няней из всех, какие у меня были.

Ленсманша кончила.

Председатель заметил:

— Но ведь, по словам свидетельницы, именно из детоубийц и выходят такие замечательные няни?

Но председатель вовсе не был несогласен с ленсманшей Гейердаль, отнюдь нет, и он даже был чрезвычайно гуманен, чисто пастырски сострадателен. Во время вопросов, обращенных затем прокурором к ленсманше, председатель большей частью сидел молча и делал какие-то отметки на бумагах.

Судебное разбирательство происходило утром, свидетелей было мало, и самое дело, в сущности, очень просто. Аксель Стрем надеялся уже на благоприятный исход, как вдруг ленсманша и прокурор словно соединились, чтоб создать ему неприятности за то, что он похоронил ребенка, вместо того, чтоб заявить о смерти. Его стали довольно строго допрашивать, и, может быть, он не так-то легко справился бы с этим пунктом, если б не заметил в конце залы Гейслера. Совершенно верно: там сидел Гейслер. Это дало Акселю некоторую опору, он почувствовал себя не одиноким пред лицом начальства, задумавшего его погубить. Гейслер кивнул ему.

Да, Гейслер приехал в город. Он приехал не для того, чтоб выступить в качестве свидетеля, но присутствовал на суде. Он употребил два дня до разбирательства на ознакомление с делом и на записывание того, что запомнил из рассказа Акселя в Лунном. Большинство документов

были в глазах Гейслера вздорными, этот ленсман Гейердаль был весьма ограниченный человек, в протоколе допроса он старался изобразить Акселя соумышленником детоубийства. Дурак, идиот, он не имел никакого понятия о жизни в деревне, не понимал, что именно ребенок и был теми узами, которые должны были привязать к хутору Акселя, необходимую помощницу!

Гейслер переговорил с прокурором, но получил впечатление, что это было не нужно: он хотел помочь Акселю вернуться обратно на хутор, но Аксель не нуждался в помощи. Нет, потому что шансы самой Варвары были самые блестящие, а с ее оправданием отпадал вопрос и о соучастии Акселя. Все зависело от показаний свидетелей.

Допросили немногих свидетелей — Олину не вызывали, — ленсмана, Акселя, эксперта, двух девушек из села; после их допроса наступил обеденный перерыв; и Гейслер опять пошел к прокурору. Нет, прокурор по-прежнему ожидал благоприятного для девицы Варвары решения. Показания ленсманши Гейердаль оказались чрезвычайно вескими. Все зависело от присяжных.

— Вы очень интересуетесь этой девушкой?— спросил прокурор.

— Отчасти,— ответил Гейслер.— Или скорее — мужчиной.

— Так, мужчина. А девушка? Сочувствие суда на ее стороне. Она у вас тоже служила?

— Нет, она у меня не служила.

— Мужчина гораздо подозрительнее,— сказал прокурор.— Он отправляется совершенно один и хоронит детский трупик в лесу. Это подозрительно.

— Наверное, он просто хотел, вообще, хоронить его,— сказал Гейслер,— ведь это делалось не в первый раз.

— Ну, она женщина и не обладала мужской силой, чтоб как следует выкопать могилу. А в таком состоянии, в каком она находилась, большего она не могла сделать. В общем,— сказал прокурор,— мы дожили, наконец, до более гуманных воззрений на эти дела о детоубийстве. В качестве присяжного, я не решился бы вынести обвинительный приговор этой девушке, а после того, что выяснилось на суде, я не стану требовать ее обвинения.

— Это очень утешительно!— сказал Гейслер и поклонился.

Прокурор продолжал:

— Как человек и частное лицо, я пошел бы даже дальше: я не приговорил бы к наказанию ни одну незамужнюю мать, убившую своего ребенка.

— Это интересно,— сказал Гейслер,— господин прокурор и дама, дававшая сегодня показания, придерживаются совершенно одинаковых взглядов.

— Ну, она-то! Но, впрочем, она очень хорошо говорила. Нет, в самом деле, к чему же все эти приговоры? Незамужние матери уже заранее перенесли такие неслыханные муки и низведены на такую низкую ступень человеческого существования жестокостью и грубостью света, что это само по себе уже достаточное наказание.

Гейслер поднялся и сказал:— Но как же дети?

— Да,— ответил прокурор,— по отношению к детям это очень прескорбно. Но если все принять в расчет, то, в конце концов, это божье благословенье и для детей. И в особенности такие незаконнорожденные дети — какова бывает их судьба? Что из них выходит?

Гейслеру, должно быть, захотелось подразнить кругленького человечка, а может вздумалось разыграть из себя мистика и философа, и он сказал:— Эразм был незаконнорожденный.

— Эразм?

— Эразм Роттердамский.

— Неужели?

— Леонардо был незаконнорожденный.

— Леонардо да Винчи? Вот как! Да, разумеется, бывают исключения, иначе не было бы и правила. Но в общем и целом...

— Мы охраняем птиц и зверей,— сказал Гейслер,— как будто, немножко странно не охранять младенца.

Прокурор медленно и величественно потянулся за лежащими на столе бумагами в знак окончания беседы:— Да,— рассеянно проговорил он,— да, о, да, да, конечно.

Гейслер поблагодарил за необычайно поучительную беседу, которой удостоился, и вышел.

Он опять сел в зале суда, чтоб своевременно выступить. Наверное ему было забавно сознавать за собой такую силу: ведь ему было известно о разрезанной рубашке, взятой с собой для... для того, чтоб увязать в нее осоку, о детском трупике, выловленном однажды из городского залива, он мог бы здорово одурачить суд, одно его слово сейчас стоило тысячи мечей. Но Гейслер, видимо, не намеревался произносить это слово без особой необходимости. Все ведь складывалось отлично, даже общественный обвинитель стоял на стороне обвиняемой.

Зала наполнилась публикой и суд занял свои места.

Началась интересная для маленького городка комедия: грозная торжественность прокурора, взволнованное красноречие защитника. Присяжные сидели и слушали о том, что им надлежит думать о девице Варваре и о смерти ее ребенка.

Да и то сказать: разобраться в этом было не совсем просто. Прокурор был красивый мужчина и, несомненно, добрый человек, но, должно быть, его перед этим что-то рассердило, или он вспомнил, что должен защищать определенную позицию норвежского правосудия, Господь его знает! Это было непонятно, но он уже не проявил такой снисходительности, как утром, порицал злодеяние, если оно было совершено — разумеется, сказал он, это была бы мрачная страница, если б можно было с уверенностью сказать, что она действительно так мрачна, как позволяют думать и полагать свидетельские показания. Это должны решить присяжные. Он хочет обратить их внимание на три пункта: первый пункт — имеется ли налицо сокрытие рождения ребенка, ясен ли этот вопрос для судей. Он сделал несколько замечаний от себя. Второй пункт — тряпка, эта половина рубашки: для чего взяла ее с собой обвиняемая? В предположении ли, что она ей понадобится? Он подробно развил эту мысль. Третий пункт — это поспешное и подозрительное погребение, без сообщения о случае смерти пастору и ленсману. Здесь главным действующим лицом является мужчина, и присяжным чрезвычайно важно составить себе ясное суждение именно в этом вопросе. Ибо ведь ясно, что если мужчина был сообщником, и потому предпринял погребение по собственному почину, то работница его совершила, несомненно, преступление, которого он сделался сообщником.

— Гм! — пронеслось по зале.

Аксель Стрем опять сообразил, что он в опасности, он поднял голову и не встретил ни одного взгляда, все следили глазами за оратором. Но в конце залы сидел Гейслер, вид у него был чрезвычайно важный, словно он вот-вот лопнет от гордости, нижняя губа выпячена, голова закинута к потолку. Это невероятное равнодушие к громам правосудия и это — «Гм!» — брошенное к потолку, подбодрили Акселя, и он опять почувствовал себя не одиноким против своего света.

Но вот все стало поправляться; прокурор, видимо, решил, что, пожалуй, довольно, — он посеял столько недоверия и злобы против Акселя, сколько было возможно, и перестал. Он даже повернул довольно круто, прокурор-то, он не потребовал обвинения. В заключение он напрямик сказал,

что на основании имеющихся улики он, с своей стороны, не решается настаивать на обвинительном приговоре.

— Да, ведь это отлично!— подумал, наверное, Аксель,— сейчас, значит, конец!

Но тут выступил защитник, молодой человек, учившийся на юриста и получивший защиту в этом великолепном деле. И речь же вышла, век не найти другого, который так умел бы защищать невинность, как он! В сущности, это ленсманша Гейердаль опередила его и утром предвосхитила у него несколько аргументов, он был недоволен тем, что она уже использовала общество — о, он и сам так много имел что сказать этому самому обществу! Он сердился на председателя, что тот не остановил ее во время речи, ведь, в сущности, она произнесла реплику, это нарушение судебной процедуры, что же осталось для него?

Он начал с самого начала жизненной карьеры девицы Варвары Бреде. Она была родом из бедной семьи, впрочем, дочь работающих и почтенных родителей; вынужденная в ранней юности служить, она поступила сперва в семью ленсмана. Мы слышали сегодня отзыв ее хозяйки, госпожи Гейердаль, блестящее нельзя себе ничего представить. Варвара переехала в Берген. Защитник остановился на глубоко прочувствованной рекомендации двух конторщиков, у которых она занимала доверенное положение в Бергене. Варвара снова вернулась домой, чтоб вести хозяйство у холостого мужчины на отдаленном хуторе. Здесь начались ее несчастья.

— Она забеременела от этого холостого мужчины. Почтенный прокурор упомянул — впрочем, самым наиразумнейшим и осторожнейшим образом — на сокрытие родов. Разве Варвара скрывала свое состояние, разве она отрицала его? Две свидетельницы, две девушки из ее родного села, показали, что считали ее беременной, но когда они спросили Варвару, она не отрицала, а пропустила мимо ушей. Так обыкновенно и поступают в этом деле молодые девушки, — пропускают мимо ушей. Больше Варвару никто не спрашивал. Пошла ли она к своей хозяйке и призналась ли ей? У нее не было хозяйки. Она сама была хозяйка. У нее был хозяин, но молодая девушка не пойдет с такого рода тайной к мужчине, она несет крест сама, она не поет, она не шепчет, она траппистка. Она не скрывается, но ищет уединения.

Рождается ребенок; это доношенный и нормального сложения мальчик, он жил и дышал после рождения, но захлебнулся. Присяжным известны обстоятельства этого рождения, оно произошло в воде, мать упала в ручей и

родила, она не в состоянии спасти ребенка, она лежит и сама лишь долго спустя может выбраться на берег. И что же, никаких признаков насилия на теле ребенка не обнаружено, нет никаких следов, никто не хотел его смерти, он захлебнулся водой, невозможно найти более естественного объяснения.

Почтенный прокурор намекал на тряпку: это темный пункт. Зачем она взяла с собой эту половину рубашки? Нет ничего яснее этой неясности: она взяла с собой тряпку, чтоб увязать в нее можжевельник. Она могла бы взять — ну, скажем, наволочку, но она взяла тряпку. Что-нибудь ей нужно было взять, она не могла нести можжевельник просто в руках. Нет, в этом отношении присяжные могут быть совершенно спокойны!

Но есть другой пункт, уже не такой ясный: имела ли обвиняемая ту поддержку и заботу, каких в то время требовало ее состояние? Проявлял ли ее хозяин по отношению к ней заботливость? Хорошо, если так! На допросе девушка отзывалась о своем хозяине с благодарностью, это указывает на доброту и благородство ее характера. Сам мужчина, Аксель Стрем, в своих показаниях, тоже не прибавил камня к бремени обвиняемой и не порочил ее — положим, в этом случае он поступал правильно, чтобы не сказать умно: ведь спасти ее может только он. Взвалить на нее вину значило бы, в случае ее осуждения, самому разделить с ней кару.

Невозможно погрузиться в материалы настоящего дела, не испытывая живейшего сострадания к этой молодой девушке, такой покинутой и заброшенной. И все же, она нуждается не в милосердии, а лишь в справедливости и понимании. Она и ее хозяин некоторым образом помолвлены, но несходство характеров и глубокая разница интересов исключают возможность брака. С этим мужчиной эта девушка не может связать своего будущего. Неприятно, что приходится это делать, но необходимо вернуться к моменту о принесенной тряпке: если говорить все, то ведь девушка взяла не одну из своих рубашек, а рубашку своего хозяина. Мы сами спрашивали себя вначале: была ли эта рубашка ей дана? Здесь, думалось нам, возможно допустить, что мужчина, что Аксель тоже замешан в игре.

— Гм! раздалось в конце залы. Оно было так громко и твердо, что остановило оратора, все стали искать глазами виновника этой заминки. Председатель метнул строгий взгляд.

— Но,— продолжал защитник, оправившись,— и по отношению к этому пункту мы можем быть спокойны, благодаря самой подсудимой. Хотя, казалось бы, в ее интересах разделить здесь вину, она этого не сделала. Она самым решительным образом отрицала, что Аксель Стрем знал о том, что, отправляясь к ручью — я хочу сказать, в лес, за можжевельником,— она взяла его рубашку, вместо своей. Нет ни малейших оснований сомневаться в словах обвиняемой, они все время выдерживали критику, таковы же они и в данном случае: если бы она взяла рубашку из рук мужчины, это предполагало бы уже совершение и самого дотоубийства, обвиняемая же не хочет своей правдивостью содействовать обвинению этого человека за несуществующее преступление. В общем, она вела себя на допросе чистосердечно и откровенно и не пожелала набросить на других и тени вины. Эта черта благородства сказывается у нее во всем. Так, она тщательнейшим образом запеленала маленький детский трупик, и, видимо, приложила в этом большое старание. В таком виде его нашел в могилке ленсман.

— Председатель обращает порядка ради — ваше внимание на то, что ленсман нашел могилу номер второй, а ведь там похоронил ребенка Аксель.

— Да, это так, и я очень благодарен господину председателю!— говорит защитник со всей почтительностью, подобающей по отношению к юстиции.— Да, это было бы так. Но ведь Аксель сам заявил, что он только перенес тельце в новую могилу и закопал его там. И не подлежит также сомнению, что женщина может лучше спеленать ребенка, нежели мужчина, а кто же спеленает его лучше всех? Конечно, мать, нежными материнскими руками!

Председатель кивает головой.

— И дальше, разве не могла эта девушка — будь она такого склада — разве не могла она похоронить ребенка голеньким? Я готов даже допустить, что она могла бы бросить его в мусорный ящик. Могла бы оставить на земле под деревом, чтоб он замерз — конечно, в том случае, если б он не был уже мертв. Она могла, улучив минуту, сунуть его в горящую печь и сжечь. Могла отнести на речку в Селланро и бросить в воду. Ничего такого эта мать не сделала, она запеленала мертвого ребеночка и похоронила его. Если же он был аккуратно запеленут, когда его нашли, то запеленала его женщина, а не мужчина.

— Теперь,— продолжал защитник,— присяжным предстоит решить, что же осталось от преступления девицы

Варвары. По совести, немного, по глубокому убеждению защитника, не осталось ничего. Правда, присяжные могут обвинить ее за то, что она не заявила о смертном случае. Но ведь ребенок уж умер, произошло это в глуши, в пустыне, за много миль от пастора и ленсмана, пусть он спит вечным сном в уютной могилке в лесу. Если было преступлением похоронить его там, то обвиняемая разделяет это преступление с отцом ребенка: но это преступление во всяком случае можно простить. Мы все более и более отходим от мысли карать преступление, мы исправляем преступников. Это в старину полагалось наказывать за что угодно, тогда царил мстительное учение Ветхого Завета: око за око, зуб за зуб! Но нет, дух современного законодательства не таков. Современное правосудие гуманно, оно старается приспособиться к более или менее преступному душевному складу, обнаруженному подсудимыми.

— Не судите же строго эту девушку!— говорил защитник.— Дело не в том, чтоб заполнить лишнего преступника, а в том, чтоб вернуть обществу доброго и полезного сочлена.

Защитник указал, что обвиняемая будет пользоваться тщательным присмотром на новом, предложенном ей месте. Супруга ленсмана Гейердаля, на основании своего многолетнего знакомстве с Варварой и на основании своего богатого материнского опыта, широко раскрыла перед ней двери своего дома; с сознанием тяжести своей ответственности присяжные должны теперь или осудить или оправдать ее. В заключение защитник выразил благодарность господину прокурору за то, что он не настаивал на обвинительном приговоре, проявив тем глубокое и гуманное понимание.

Защитник сел.

Остальная часть процедуры заняла немного времени; резюме председателя было повторением пройденного, рассматриваемого с двух точек зрения: краткое извлечение из содержания всей пьесы, сухое, скучное и весьма почтенное. Сошло оно очень гладко, потому что ведь и прокурор и защитник оба забирались в область председателя и облегчили ему задачу.

Зажгли огонь, две лампы засветили под потолком скупым светом, при котором председатель едва ли мог разглядеть свои заметки. Он очень строго порицал, что о смерти не было сообщено властям; но,— сказал он,— при данных обстоятельствах это должно быть поставлено в вину скорее отцу, чем матери, так как она была чересчур слаба. Таким образом, присяжным предстоит решить, имеется ли в данном деле сокрытие родов и детоубийство. Он еще раз

объяснил все с самого начала. Затем последовали обычные внушения о сознании своей ответственности, чем присяжных и без того уже напитали раньше, и, наконец, небезызвестное указание, что, в случае расхождения во мнениях, решение принимается в пользу обвиняемого.

Теперь все было ясно.

Судьи удалились из залы в соседнюю комнату. Они должны были совещаться по бумаге с вопросами, которую один из них захватил с собой. Пробыв в отсутствии пять минут, они вернулись с отрицательным ответом на все вопросы.

Нет, девица Варвара не убивала свое дитя.

Затем председатель произнес еще несколько слов и сказал, что девица Варвара свободна.

Публика покинула зал, комедия кончилась...

Кто-то трогает Акселя Стрема за руку, это Гейслер. Он говорит:

— Ну, вот ты и развязался с этим делом!

— Да,— проговорил Аксель.

— Но ведь тебя оторвали от дела совершенно зря.

— Да,— опять ответил Аксель. Но он уже немного оправился и прибавил:

— Но я рад, что выкарабкался.

— Этого еще недоставало!— сказал Гейслер, напирая на каждое слово.

Из этого Аксель заключил, что Гейслер принимал какое-то участие в деле, что и он в него вмешался. Бог знает, может быть, в сущности, Гейслер и направлял весь суд и добился того результата, какого хотел. Дело темное.

Но, во всяком случае, Аксель понимал, что весь день Гейслер был на его стороне.

— Спасибо вам, уж такое большое спасибо!— сказал он, протягивая руку.

— За что?— спросил Гейслер.

— Да уж — да уж за все!

Гейслер остановил его:

— Я ничего не сделал. Даже и не старался, не стоило того.

Но Гейслер, пожалуй, все же ничего не имел против этой благодарности, он словно дожидался ее и, вот, наконец, получил:

— Мне сейчас некогда поговорить с тобой,— сказал он.— Ты едешь домой завтра? Это хорошо. Ну, будь здоров!— Гейслер пошел по улице...

На пароходе Аксель встретился с ленсманом и его женой, с Варварой и двумя девушками-свидетельницами.

— Ну,— сказала ленсманша,— рад ты результату?

Аксель ответил, что да, как же не радоваться,— уж теперь, наверное, конец.

Ленсман тоже заговорил и сказал:— Это второе детоубийство в моем округе, в первом была замешана Ингер из Селланро, теперь я развязался со вторым. Нет, в таких случаях бесполезно проявлять мягкость, правосудие должно осуществляться в полной мере!

Но ленсманша, должно быть, понимала, что Аксель не особенно благодарен ей за ее вчерашние показания, она захотела смягчить их, загладить:

— Ты ведь понял, почему я говорила против тебя?

— Да. Как же,— ответил Аксель.

— Надеюсь, понял. Или ты думаешь, что я хотела тебя погубить? Я всегда считала тебя превосходным человеком, я только это и хочу тебе сказать.

— Так,— только и промолвил Аксель, но взволновался и обрадовался.

— Да,— продолжала ленсманша.— Но я была вынуждена взвалить на тебя часть своей вины, потому что иначе Варвару приговорили бы, а вместе с ней приговорили бы и тебя. Я это делала из самых лучших побуждений.

— Так, так, спасибо вам за это!

— Это я, а не кто другой, пошла в городе к Ироду и Пилату и хлопотала за вас. И ты, ведь слышал, что всем нам, произносившим речи, пришлось сваливать часть вины на тебя, чтоб добиться оправдания вас обоих.

— Да,— проговорил Аксель.

— Но ведь ты же ни одной минуты не думал, что я настроена против тебя, не правда ли? Против тебя, которого я считаю таким превосходным малым!

Как это было приятно после стольких унижений! Во всяком случае, Аксель так растрогался, что ему захотелось подарить ленсманше что-нибудь, все равно что, лишь бы выразить свою благодарность и сделать какой-либо подарок, пожалуй, отвезти убоины осенью. У него был молодой бычок.

Ленсманша Гейердаль сдержала слово: она взяла к себе Варвару. И на пароходе она заботилась о ней, не давала ей забнуть или голодать, не позволяла и болтать с бергенским штурманом. Когда это случилось в первый раз, ленсманша ничего не сказала, только позвала Варвару к себе. Но смотрите-ка, Варвара опять стоит и болтает с штурманом, и выгибает головку на бочок, и говорит на

бергенском наречии, и улыбается. Тогда ленсманша подозвала ее и сказала:

— Я думаю, тебе не следует сейчас стоять с мужчинами и вести с ними разговоры, Варвара. Вспомни, что ты только что пережила и от чего спаслась.

— Я только услышала, что он из Бергена, оттого с ним и заговорила,— ответила Варвара.

Аксель с ней не разговаривал. Он заметил, что она похудела и побледнела, а зубы у нее стали хорошие. Ни одного его кольца на ней не было...

И вот Аксель идет по равнине. Ветрено и льет дождь, но он рад и весел. Он видел на пристани косилку и борону для целины. Вот так Гейслер! И ведь ни слова не сказал в городе об этом огромном подарке. Что за мудреный барин.

ГЛАВА VI

Акселю недолго пришлось отдохнуть дома: с осенними бурями начались новые заботы и неприятности, которые он сам навязал себе: телеграф на его стенке извещал, что на линии беспорядок.

Это за то, что он пожадничал на деньги, принимая эту должность. И с самого начала это было неприятно, Бреде Ольсен прямо грозил ему; когда он пришел и за телеграфным имуществом и аппаратом, тот сказал:

— Не очень-то ты помнишь, что я спас тебе жизнь зимой.

— Мне спасла жизнь Олина,— отвечает Аксель.

— Так, а разве я не тащил тебя домой на своей несчастной спине? А за это ты подстроил так, чтоб купить у меня в летнюю пору кутор и выкинуть на улицу, на зиму глядя!— Бреде был оскорблен до глубины души, он сказал:— Но сделай одолжение, забирай и телеграф и весь этот хлам. Я переезжаю с семьей в село и примусь за одно дело, что это за дело — тебе и не снилось, а будет у меня гостиница и такое место, куда люди смогут приходиться пить кофей. Ты думаешь, мы не справимся? Жена моя будет продавать всякие угощения, а сам я стану разъезжать по делам, и заработаю гораздо больше тебя. Но только вот что я тебе, Аксель, скажу: я могу наделать тебе много каверз, я ведь до тонкости знаком с телеграфом, я могу повалить столбы, порвать проволоку. Вот тебе и придется отрываться в рабочую

пору. Только это я и хотел тебе сказать, а ты постарайся запомнить...

И вот Аксель мог бы привезти с пристани машины — о, они были такие раззолоченные и цветистые, словно вывески, он мог бы привезти их сегодня, любоваться ими и поучиться, как ими действовать, — а теперь им приходится стоять. Обидно откладывать необходимую работу и бегать по телеграфной линии. Но, ведь, вот деньги.

На вершине скалы он встречает Аронсена. Торговец Аронсен стоит и смотрит куда-то в бурю, сам он точно призрак. Чего ему здесь надо? Должно быть, не находит покоя, его тянет на скалу самому осмотреть рудник. Да, торговец Аронсен полон беспокойства за себя и за судьбу своей семьи. И вот он стоит перед полным разорением и опустошением на покинутой скале: машины валяются и ржавеют, материалы, повозки, многое под открытым небом, все без призора, в отчаянном виде. Кое-где на стенах барачков прибиты рукописные плакаты, запрещающие уносить или портить инструменты, экипажи и строения, принадлежащие обществу.

Аксель останавливается поболтать с помешанным лавочником и спрашивает:

— Уж не на охоту ли вы собрались?

— Да, мне непременно надо добыть его! — отвечает Аронсен.

— Кого вам надо добыть?

— Кого? Того, кто разоряет, и меня и всех остальных в округе. Кто не захотел продать свою скалу, прекратил движение и отнял у людей торговлю и деньги.

— Вы говорите про Гейслера?

— Именно про него. Его следовало бы расстрелять!

Аксель смеется и говорит:

— А ведь Гейслер был на днях в городе, вы могли бы его там встретить. Только, по моему слабому разумению, не думаю я, чтоб вам стоило связываться с этим человеком.

— Почему это? — резко спрашивает Аронсен.

— Я боюсь, что он окажется для вас чересчур непонятен и высокопоставлен.

Они заспорили и Аронсен все больше и больше сердился. Под конец Аксель спросил, шутки ради:

— Ведь вы не собираетесь оставить нас здесь совсем не при чем, и не уедете от нас?

— Уж не воображаешь ли ты, что я стану гнить в ваших болотах, когда я не могу заработать даже на табак

для трубки?— злобно вскричал Аронсен.— Если ты достанешь мне покупателя — непременно продам!

— Покупателя?— спросил Аксель.— У нас хорошая земля, если б вы занялись ею, как следует; на таком участке, как ваш, смело можно прокормиться.

— Ты же слышишь, что я не желаю в ней копать!— опять закричал Аронсен прямо в бурю.— Я могу найти занятие получше!

Аксель сказал, что может достать ему покупателя, но Аронсен язвительно засмеялся над подобной мыслью:

— Здесь в округе нет ни одного человека, который мог бы купить мой участок.

— Нет, как раз здесь. Но могут найтись и другие.

— Здесь только дрянь и нищие,— с бешенством продолжал Аронсен.

— Уж какие есть. А только Исаак из Селланро может купить ваш участок в любой день,— обиженно сказал Аксель.

— Не думаю,— сказал Аронсен.

— Мне все равно, что вы думаете,— отвечал Аксель и повернулся уходить.

Аронсен крикнул ему вслед:

— Подожди немножко! По твоему, Исаак мог бы избавить меня от «Великого», так, что ли?

— Да,— отвечал Аксель,— и от пяти таких «Великих», если говорить о средствах и деньгах!

Идя на рудник, Аронсен прошел мимо Селланро стороной, ему не хотелось, чтоб его видели; на обратном пути он зашел на усадьбу и имел беседу с Исааком.

— Нет,— сказал Исаак и только покачал головой,— я об этом не думал и не собираюсь.

Но когда к Рождеству приехал домой Елисей, Исаак стал уже не так несговорчив. Правда, он никогда не слышал ничего глупее, как покупать «Великое», во всяком случае, фантазия эта исходила не от него; но если Елисей находит, что лавка — дело для него подходящее,— надо об этом подумать.

Сам Елисей относился к этому так себе, середка на половинке, совсем не против, но и не равнодушен. Если он оснуется здесь, дома, то ему, до известной степени, конец: деревня не город. Осенью, когда в городе происходила регистрация жителей их местности, он избегал показываться, не желая встречаться с земляками, они принадлежали к другому миру. Неужели теперь ему самому предстоит вернуться в этот мир?

Мать его настаивала на покупке, Сиверт тоже, они уговаривали Елисея, и однажды все втроем поехали в «Великое» осмотреть «поместье».

Но, очутившись пред перспективой лишиться участка, Аронсен вдруг стал точно другим человеком: ему нет надобности продавать!

Если он уедет, участок может оставаться и без него, это бумконстантный участок, роскошный участок, он всегда успеет его продать.

— Вы не дадите столько, сколько я за него хочу,— сказал Аронсен.

Обошли комнаты, бывали на скотном дворе, в складе, осмотрели жалкие остатки товаров: несколько губных гармоник, часовые цепочки, коробочки с розовой бумагой, всякие лампы с стеклянными подвесками — все вещи неходкие среди хуторян. И в заключение — немножко бумазеи и несколько ящиков гвоздей.

Елисей ломался и осматривал все с видом знатока.

— Таких товаров мне не нужно,— сказал он.

— Их можно не брать,— ответил Аронсен.

— А за участок, как он есть, со всеми товарами, скотиной и всем прочим, я могу предложить вам полторы тысячи крон,— сказал Елисей.— Ему было все равно, что ни сказать, предложение его было просто своего рода озорство, ему хотелось показать себя.

Поехали домой. Сделка не состоялась, Елисей предложил Аронсену слишком дешевую цену и страшно оскорбил его:

— Я считаю недостойным слушать тебя,— сказал Аронсен, переходя на «ты»,— этакий городской шелкопер, вздумал учить торговца Аронсена, какие должны быть товары!

— Насколько мне известно, я не пил с вами на «ты»,— проговорил Елисей, не менее оскорбленный. Того и гляди, между ними вспыхнет вражда не на живот, а на смерть.

Но почему Аронсен с первой же минуты оказался так неговорчив и не захотел продавать? Этому были причины. У Аронсена снова пробудились некоторые надежды.

В селе состоялось собрание для обсуждения положения, создавшегося вследствие отказа Гейслера продать свою скалу. Страдала от этого не только их местность, весь округ совершенно замер. А почему люди не могли жить так же хорошо или так же плохо, как жили до пробных разведок медной скалы?

Не могли!

Они привыкли к манной каше и белому хлебу, к фабричной ткани для платья, к высоким заработкам, к

расточительности, привыкли к большим деньгам, сделались людьми. А теперь деньги опять исчезли, ушли, словно стая сельдей в море, Господи помилуй, опять нужда, что делать?

Не подлежало никакому сомнению, что бывший ленсман хотел отомстить селу за то, что оно помогло амтману сместить его, и не подлежало также сомнению, что село не сумело оценить этого человека. Он не ушел. Самым простым средством, одним только бесстыдным требованием четверти миллиона за какую-то скалу, он приостановил развитие села. Разве он не был силен? Об этом мог порассказать Аксель Стрем из Лунного, недавно встретивший Гейслера. У Варвары Бреде было дело в городе, и она вернулась домой оправданная, а Гейслер присутствовал в суде во время разбора дела. Те же, кто думали, что Гейслер покатылся под гору не хуже иного нищего, пусть посмотрят дорогие машины, которые он прислал Акселю в подарок.

Итак, этот человек держал в своих руках судьбу округа, приходилось с ним считаться. За сколько, в крайнем случае, продаст Гейслер свою скалу? Это надо выяснить. Шведы предлагали ему двадцать пять тысяч, Гейслер отказался. Ну, а если село, если община доложит остальное для того, чтоб сделка все-таки состоялась? Если сумма будет не слишком несообразная, это стоит сделать. Торговец на берегу и торговец Аронсен в «Великом» тайно согласились сделать дополнительные взносы: лишний расход, который они понесут теперь, с течением времени окупиться.

Кончилось тем, что двоих уполномоченных отправили для переговоров с Гейслером. И теперь ожидали их возвращения.

Вот потому-то у Аронсена и появились некоторые надежды, и он полагал, что может упрямиться с покупателями на «Великое». Но упрямиться ему пришлось недолго.

Через неделю уполномоченные вернулись с решительным отказом. И с самого начала плохо вышло то, что один из уполномоченных был не кто иной, как Бреде Ольсен, а все оттого, что у него было много свободного времени. Уполномоченные разыскали Гейслера, но он только покачал головой и усмехнулся.— Поезжайте домой,— сказал он. Но Гейслер оплатил им обратную дорогу.

Стало быть, так округу и погибать!

Побесновавшись некоторое время и совсем растерявшись, Аронсен в один прекрасный день отправился прямо в Селланро и заключил сделку. Вот что сделал Аронсен. Елисей поставил на своем, участок с постройками, скотом и товарами достался ему за тысячу пятьсот крон. Правда, при сдаче

оказалось, что жена Аронсена припрятала большую часть ситцев, но на такие пустяки люди, подобные Елисею, не обращают внимания.— Не надо быть мелочными,— сказал он.

В общем же, Елисей был вовсе не в восторге: отныне жизненная карьера его была припечатана, деревня похоронит его! Приходилось отказаться от блестящих планов: конторщиком он уже не был, ленсманом не будет, не будет даже городским жителем. Перед отцом и домашними он гордился, что сторговал «Великое» как раз за ту цену, какую сказал, пусть видят, как хорошо он во всем разбирается! Но этот маленький триумф недорого стоил. Кроме этого, ему льстило, что он мог взять доверенного Андресена, составлявшего в некотором роде придачу к лавке,— Аронсен, до открытия новой торговли, не нуждался в своем доверенном. Елисею очень приятно пощекотало, когда Андресен пришел и попросил не увольнять его; в первый раз Елисей почувствовал себя начальником и хозяином.

— Можешь оставаться!— сказал он.— Мне понадобится доверенный здесь, на месте, на то время, когда я буду уезжать по делам и завязывать сношения в Тронгейме и Бергене,— сказал он.

И Андресен был неплохим доверенным, это он доказал сейчас же; он много работал и следил за всем, когда хозяин Елисей находился в отсутствии. Только вначале своего пребывания здесь доверенный Андресен разыгрывал из себя важную персону, в этом был виноват его хозяин Аронсен. Теперь стало по другому. Весной, когда болота оттаяли немножко и в глубину, Сиверт из Селланро приехал в «Великое» и стал мотыжить землю у своего брата, и тогда вышел мотыжить и доверенный Андресен — чего ради, неизвестно, это вовсе не входило в его обязанности; но, во всяком случае, вот какой он был человек! Земля оттаяла еще настолько мало, что как следует измотыжить нельзя было, но, пока что, они сделали половину работы, и это уже было много. То была мысль старика Исаака — осушить болота в «Великом» и заняться там земледелием; мелочная же торговля пусть будет только чем-то побочным, просто ради того, чтоб людям не ездить в село, если понадобится катушка ниток.

И вот Сиверт и Андресен мотыжили рядом, по временам останавливаясь передохнуть и весело разговаривая. Андресен каким-то образом раздобыл золотой и двадцать крон, и Сиверту очень хотелось приобрести эту блестящую монетку, но Андресену было жалко с ней расстаться, он держал ее в

сундуке, завернутой в папиросную бумагу. Сиверт предложил побороться на монету, кто одолеет, тому она и достанется, но Андресен побоялся рискнуть; Сиверт предложил двадцать крон бумажками и кроме того вызвался один взмотыжить все болото, если Андресен отдаст ему монету; но тогда доверенный Андресен обиделся и сказал:— Да, чтоб ты потом рассказал у себя дома, что я не могу работать на болоте!— В конце концов, они сошлись на двадцати пяти кронах бумажками за золотой, и Сиверт побежал ночью домой в Селланро и выпросил бумажки у отца.

Причуды юности, прекрасной юности жизни! Бессонная ночь, миля туда да миля назад, а день опять за работой — пустяк для сильного молодого человека, а золотой был красивенький. Андресен вздумал было посмеяться над Сивертом по случаю этой странной сделки, но против этого у Сиверта было хорошее средство, ему стоило только сказать словечко о Леопольдине:

— Да, кстати, Леопольдина просила тебе кланяться!— И Андресен сейчас же смолк и покраснел.

То были веселые дни для обоих, они стояли не болоте и в шутку перебранивались, работали и опять перебранивались. Изредка к ним выходил Елисей и помогал, но он скоро уставал, он не отличался ни сильным телом, ни сильной волей, но был милейший человек.

— Вон идет Олина,— говорил Сиверт,— ступай, продай ей еще полфунтика кофею!

И Елисей охотно повиновался. Шел в лавку и отпускал Олине какую-нибудь мелочь. Так он на время избавлялся от копанья в болоте.

А бедняжка Олина изредка приходила за горсточкой кофею, когда, бывало, иной раз получит деньжонок от Акселя или выручит их за украденную головку сыра. Про Олину уж нельзя было сказать, что она совсем не меняется, служба в Лунном была в сущности слишком тяжела для старухи и подточила ее силы. Но она ни за что не хотела признавать своей старости и немощности, о, она изрядно взъерепенилась бы, если б ей отказали. Она была вынослива и непреклонна, делала свою работу и находила время бродить по соседям, чтоб отвести душу за беседой, которой ей не хватало дома. Аксель был совсем не говорун.

Она была недовольна процессом, разочарована судом. Оправдание по всей линии! Что Варвара Бреде вышла сухой из воды, когда Ингер из Селланро засадили на восемь лет,— этого Олина не могла понять, она чувствовала совсем не христианскую злобу по поводу того, что

ближнему ее сделали добро.— Но Всемогущий еще не сказал своего слова!— подмигивала Олина, как бы провидя возможный небесный приговор в будущем. Разумеется, Олина не могла удержать про себя свое недовольство процессом, и, в особенности, когда ссорилась из-за чего-нибудь с своим хозяином, непременно принималась за свое и изощрялась в язвительности:

— Да, да, мне, конечно, неизвестно, как смотрит теперь закон насчет содомских грехов, но я-то живу согласно собственным словам божим, такая уж я глупая!

Ах, как надоела Акселью его ключница и как он желал от нее избавиться! А тут опять наступила весна, и все работы приходилось делать одному; потом подойдет сенокос, и он будет все равно, что без рук. Вот каковы были виды. Невестка его в Брейдаблике написала своим в Гельголанд, чтоб ему прислали хорошую работницу, но до сих пор никого не могли найти. Да и во всяком случае ему пришлось бы оплатить дорогу.

Нет, нехорошая и подлая это была проделка со стороны Варвары, что она убила ребенка и сама сбежала! Две зимы и лето пришлось ему обходиться с Олиной, и похоже, что так и впредь будет. А Варваре хоть бы что, дрянь такая! Ему случалось поговорить с ней однажды зимой, в селе, и хоть бы слезинка выкатилась у нее из глаза и замерзла на щеке.

— Куда ты девала кольца, которые я тебе подарил?— спросил он.

— Кольца?— проговорила она.

— Ну да, кольца.

— У меня их нет!

— Так у тебя их больше нет?

— Ведь между нами все кончилось,— сказала она,— значит, мне нельзя было их носить. Так никогда не делается, чтоб носить кольца, когда все кончено.

— Мне желательно знать, куда ты их девала?

— Ты рассчитывал взять их обратно?— спросила она.— Мне не хотелось выставлять тебя таким скаредом.

Аксель подумал немножко и сказал:— Я мог бы заплатить тебе за них. Ты отдала бы их не задаром!

Так нет же, Варвара сбыла куда-то кольца и не дала ему даже возможности получить задешево золотое кольцо и серебряное.

Но, впрочем, Варвара была вовсе не груба и не неприятна, этого нельзя сказать! На ней был длинный передник с помочами и складочками, а у ворота белая

обшивочка, это было очень красиво. Поговаривали, что она завела себе дружка на селе, но, может, это просто болтали, ленсманша держала ее строго, и так и не пустила танцевать на святках.

Да, ленсманша и в самом деле следила строго: когда Аксель стоял на дороге и разговаривал с своей бывшей работницей о кольцах, барыня вдруг появилась между ними и сказала:

— Ведь, кажется, я послала тебя в лавку, Варвара?

Варвара ушла. Барыня обратилась к Акселю и сказала:

— Нет ли у тебя продажной убоины?

— Гм!— ответил Аксель и поклонился.

А ведь как раз ленсманша нынче осенью расхваливала его, что он такой великолепный парень, самый замечательный из всех парней, это ведь стоит кое-какой любезности в оплату. Аксель знал старинное обхождение народа с господами, с начальством, оттого у него сразу же мелькнула мысль об убоине, о молодом бычке, которым он мог бы пожертвовать. Но дни проходили, прошла осень, и месяц за месяцем, а бычок оставался в экономии. Как будто нечего ждать плохого, если бычок и впредь останется при нем, во всяком случае, отдав его, он станет на одного бычка беднее, а бычок прямо золото.

— Гм. Здравствуйте! Нету,— сказал Аксель и помотал головой в знак того, что у него нет убоины.

Барыня словно стояла и подстерегала его потаенные мысли:

— А я слыхала, будто у тебя есть бычок,— сказала она.

— Есть-то есть,— отвечал Аксель.

— Он тебе нужен?

— Да, нужен.

— Так,— сказала ленсманша,— а барана нет?

— Нет, сейчас нету. У меня ведь в аккурат столько скотины, сколько я могу прокормить.

— Да, да, ну, так больше ничего,— барыня кивнула головой и пошла.

Аксель поехал домой, но задумался об этом разговоре и испугался, не наделал ли глупостей. Ленсманша в свое время оказалась важной свидетельницей, она показывала и за него и против него, но свидетельница она была важная. Сейчас-то он уж немножко позабыл, но во всяком случае, он выкарабкался из тяжелого и неприятного дела,

в котором был замешан детский трупик в его лесу. Пожалуй, лучше все-таки пожертвовать одного барана.

Удивительно, что эта мысль имела отдаленную связь с Варварой: когда он придет к ее хозяйке с бараном, Варвара должна будет проникнуться к нему некоторым уважением.

Но опять прошли дни, и ничего дурного оттого, что они прошли, не случилось. Поехав опять в село, Аксель не взял с собой барана, однако в последнюю минуту прихватил ягненка. Впрочем, ягненок был крупный, вовсе не какой-нибудь заморыш, и, придя с ним, Аксель сказал:

— У баранов очень уж жесткое мясо, а мне хотелось подарить вам что получше.

Но ленсманша и слышать не хотела ни о каких подарках:

— Говори, почем хочешь за фунт?— сказала она.

Гордая барыня, нет, спасибо, она не принимает подарков от простонародья! Кончилось тем, что Аксель выручил хорошие деньги за ягненка.

Варвару он не видал. Нет, ленсманша, должно быть, заметила, как он подходил и отослала ее куда-нибудь. Что ж, скатертью дорожка, Варвара на целых полтора года оставила его без работницы!

ГЛАВА VII

Весной случилось нечто весьма неожиданное и важное: на медном руднике собирались возобновить разработку, Гейслер продал свою скалу. Неужели невероятное все-таки случилось? О, Гейслер был непостижимый господин, он мог продавать или не продавать, трести головой отрицательно или кивать утвердительно. Он мог заставить целое село вновь заулыбаться.

Так, значит и в нем заговорила-таки совесть, он не захотел дольше наказывать свой бывший округ доморощенной кашей и безденежьем? Или же он получил свои четверть миллиона? А может быть и так, что Гейслер сам начал нуждаться в деньгах и вынужден был спустить скалу за что придется? Двадцать пять или пятьдесят тысяч тоже, ведь, деньги. А, впрочем, ходили слухи, что продажу совершил от имени отца его старший сын.

Но как бы то ни было, разработка возобновилась, приехал тот же инженер с разными рабочими и началась

та же работа. Та же работа, да, но совсем другим способом, чем раньше, как-то задом наперед.

Все казалось так просто: приехали шведы с рабочими, с динамитом и деньгами, в чем же дело? И даже Аронсен вернулся, торговец Аронсен, желавший во что бы то ни стало купить обратно «Великое».

— Нет, — сказал Елисей, — я не продаю.

— Нет?

Нет, Елисей не хотел продавать «Великое». Дело в том, что положение торговца в деревне уже не представлялось ему таким жалким, у него была красивая веранда с цветными стеклами, был доверенный, который за него работал, а сам он мог путешествовать. О, путешествовать в первом классе, с благородными господами! Хорошо бы когда-нибудь прокатиться в самую Америку, он частенько об этом подумывал. Даже деловые поездки в южные города для завязывания сношений и те каждый раз давали ему столько впечатлений, что он долго жил ими. Не то, чтобы он очень форсил и разъезжал на собственном пароходе или задавал оргии. Он и оргии! В сущности, он был какой-то удивительный, совсем перестал интересоваться девушками, он бросил их, утратил к ним интерес. Но, естественно, он был сын маркграфа, ездил в первом классе и покупал много товаров. Из поездок своих он каждый раз возвращался все наряднее и важнее, в последний раз приехал в галошах.

— Что это, ты носишь две пары сапог? — спрашивали его.

— Да, у меня очень зябкие ноги, — отвечал Елисей.

И все жалели его, что у него такие зябкие ноги.

Счастливые дни, барская жизнь и безделье! Нет, он не хотел продавать «Великое». Неужели ему возвращаться в маленький городишко и опять стоять в мужичьей лавчонке и не иметь под своим началом доверенного! К тому же, он намеревался развить огромную деятельность в «Великом». Вернулись шведы и опять наводнят местность деньгами, он будет болваном, если продаст. Аронсен каждый раз уходил с отказом, все более и более ужасаясь своей глупости, что бросил это место.

Но Аронсен мог бы умерить свои муки, а Елисей мог бы точно так же умерить свои чрезмерные надежды; самое же главное, хуторянам и селу следовало бы поменьше надеяться и не ходить, улыбаясь и потирая руки, словно ангелы, сознающие свое блаженство; хуторянам и селу совсем не следовало бы так поступать, потому что разочарование оказалось громадным. Кто бы мог поверить:

работа в руднике-то началась, совершенно верно, но на противоположном конце скалы, в двух милях оттуда, на южном конце Гейслеровой скалы, в другой, чужой волости, и совсем в стороне. Оттуда работа должна была медленно подниматься к северу, к первой медной скале, и сделаться благословением для хуторов и села. В лучшем случае, на это потребуются много лет, потребуются десятилетия.

Весь эта грянула, словно страшнейший взрыв динамита, всех затуманила и оглушила. Жители села погрузились в глубокую скорбь. Одни обвиняли Гейслера, что этот чертов Гейслер опять сыграл с ними штуку, другие прилелись на сход и послали опять депутацию из доверенных лиц, на этот раз к рудничной компании, к инженеру. Это ни к чему не привело, инженер объяснил, что работу надо начать на южной стороне, потому что там сразу море, не требуется воздушной дороги, почти никакой перевозки. Нет, работа должна начаться на южной стороне. Это решено.

Тогда Аронсен моментально переехал на место новых работ, на новые золотые россыпи. Он даже хотел взять с собой доверенного Андресена.

— Чего тебе торчать в этой пустыне?— сказал он.— Тебе гораздо лучше быть со мной!

Но доверенный Андресен ни за что не хотел покидать «Великое»; это было непостижимо, но его точно что привязывало к месту, видимо, ему здесь нравилось, он словно прирос здесь. Должно быть, это Андресен так переменялся, потому что место осталось, как и было. Люди и условия были аккурат такие же, как прежде: горные работы отошли от этих мест, но ни один из хуторян не потерял из-за этого головы, у них было земледелие, были посевы, был скот. Денег, правда, водилось немного, но все необходимое для жизни было, решительно все. Даже Елисей не пришел в отчаяние от того, что денежный поток устремился мимо него, хуже всего было то, что в первом пылу он накопил множество неходких товаров, но они могли пока полежать, они украшали лавку и создавали ей славу.

Поселянин не потерял головы. Он не находил, что местный воздух ему нездоров, публики для его новых нарядов у него было довольно, о брильянтах он не тосковал, вино знал по Браку в Кане Галилейской. Поселянин не горевал о прелестях, которых не имел: искусство, газеты, роскошь, политика стоят ровно столько, сколько люди готовы за них платить, не больше; продукты земли же, наоборот, приходится доставать по какой угодно цене, они — создатель всего, единственный источник. Жизнь

поселянина пуста и печальна? О, что угодно, только не это! У него свои высшие силы, свои грезы, свои увлечения, свое пышное суеверие. Однажды вечером Сиверт идет берегом реки и вдруг останавливается: на воде покачиваются две диких утки, самец и самка. Они заметили его, увидели человека и испугались, одна говорит что-то, отрывистый звук, мелодия в три тона, вторая отвечает ей в лад. В ту же секунду птицы снимаются, чиркают словно два маленьких колесика по воде и опять садятся на расстоянии брошенного камня. Тогда одна опять что-то говорит, а другая отвечает, это та же фраза, что и в первый раз, но полная такого облегчения, что звучит почти блаженством: она построена двумя октавами выше! Сиверт стоит и смотрит на птиц, смотрит мимо них и куда-то далеко, в грезу. Какой-то звук пронизал его, нежность, в нем проснулось слабое и легкое воспоминание о чем-то буйном и чудесном, пережитом когда-то раньше, но изгладившемся. Он идет домой, притихший, не говорит об этом, не болтает, это было не похоже на земные слова. То был Сиверт из Селланро, молодой и самый обыкновенный; он вышел однажды вечером и вот что он пережил.

Это было не единственное его приключение, у него были и другие. Но было и такое приключение, что Иенсина покинула Селланро. Это создало большой беспорядок в душевной жизни Сиверта.

Да, вышло так, что она уехала, сама захотела. О, Иенсина была не первая встречающая, этого никто бы не сказал! Сиверт однажды предложил свезти ее домой, при этом случае она, к сожалению, расплакалась, потом она раскаялась в своих слезах и доказала, что раскаялась, отказалась от места. Ну что ж, очень просто.

А Ингер из Селланро ничто не могло прийти больше по душе, как то, что Иенсина уехала, Ингер перестала быть довольной своей работницей. Удивительно, она ни в чем не могла упрекнуть ее, но, казалось, смотрела на нее с отвращением, едва-едва выносила ее присутствие в усадьбе. Наверное это находилось в связи с душевным состоянием Ингер: она была мрачна и религиозна всю зиму, и это не прошло для нее бесследно.

— Ты хочешь уехать? Ну что ж,— сказала Ингер.

Это было счастье, исполнение ночных молитв. Их и так две взрослых женщины на усадьбе, к чему же еще эта пышущая свежестью и созревшая для замужества Иенсина? Ингер с неудовольствием смотрела на эту

брачную зрелость и думала, должно быть:— Точь в точь такой была когда-то и я!

Религиозность ее не ослабевала. Она была так мало порочна от природы, она отведала сладкого, полакомилась, но не собиралась заниматься тем же на старости лет, об этом и речи не могло быть, Ингер с ужасом отгоняла эту мысль. Не стало работы на руднике и рабочих — с, Господи, да чего же лучше! Добродетель была не только сносна, она была необходима, необходимое благо, милость.

А мир был безумен. Вот посмотреть на Леопольдину, на маленькую Леопольдину, зернышко, ребенок, а и она до краев полна здоровья и греха; обнять ее за талию, она уж готова упасть на землю, фу! У нее появились на лице прыщички, это указывало на буйство в крови, о, мать отлично это помнила, — так начинается буйство в крови. Мать не осуждала свою дочь за эти прыщички, но она хотела с ними покончить, Леопольдина должна была прекратить эти прыщички. И чего этот доверенный Андресен таскается в Селланро по воскресеньям и болтает о сельском хозяйстве с Исааком? Неужели оба они воображают, что малютка Леопольдина ничего не понимает? О, молодежь была безумна в старину, лет тридцать, сорок тому назад, но теперь она стала еще хуже.

— Ну, уж как там будет, — сказал Исаак, когда они заговорили об этом. — А вот теперь весна на дворе, а Иенсина уехала, кого же нам взять на летние работы?

— Мы с Леопольдиной станем работать, — сказала Ингер. — Скорей я готова работать день и ночь! — проговорила она взволнованно и со слезами в голосе.

Исаак не понял этой страстной вспышки, но у него были свои собственные мысли, и вот он пошел на опушку с заступом и ломом и принялся работать над камнем. Нет, по совести, Исаак не понимал, как это работница Иенсина уехала, она была отличная девушка. Вообще он понимал только самое простое и явное: работу, законные и естественные поступки. Торс у него был круглый и могучий, нельзя было отыскать менее астрального человека, он ел, как настоящий мужик, и это шло ему на благо, поэтому он очень редко выходил из равновесия.

Так вот этот камень. Камней-то было много и разных, но для начала был этот один. Исаак предвидит день, когда ему придется строить здесь маленькую избушку, уголок для себя и Ингер, он хочет расчистить место, пока Сиверт в «Великом», а то придется объяснять сыну, а этого он хочет избежать. Разумеется, придет день, когда Сиверту

понадобятся все строения на усадьбе, стало быть, родителям нужно запасти себе избу. Собственно говоря, стройка в Селланро никогда не прекращалась, вот большой сеновал над каменным скотным двором до сих пор еще не поставлен. Но бревна и доски для него готовы.

Так вот этот камень. Он не особенно выступал землей, но не подавался от ударов, значит, наверно, он здоровенный. Исаак окопал его кругом и попробовал приподнять ломом, камень не двинулся. Он покопал еще и опять попробовал — нет. Пришлось Исааку сбегать домой за лопатой, чтоб откидать землю, опять покопал, попробовал — нет. Вот так дядя! — терпеливо подумал Исаак про камень. Он покопал порядочно времени, а камень только все дальше и дальше уходил в землю, и никак нельзя было за него ухватиться. Досадно, если придется взрывать его. Удары по буру услышат из дому, и все сбегутся. Он продолжал копать. Сходил за вагой и попробовал — нет! Опять покопал. Исаак начал немножко сердиться на камень, сдвинул брови и глядел на него так, словно пришел сюда произвести осмотр здешним камням, и как раз этот камень был особенно глуп. Он критиковал его, камень был такой круглый и дурацкий, никак за него не ухватиться, Исааку почти казалось, что он глупо создан. Взорвать? Тратить на него порох! Так неужто отказаться, проявить своего рода страх, что камень одолеет его?

Он стал копать. Устал ужасно, это да, но куда же девался страх? Наконец, он подсунул под него конец ваги и попробовал — камень не двинулся. В смысле техники ничего нельзя было сказать против этого приема, но он не подействовал. Что же это, разве Исаак не ломал раньше камней? Состарился, что ли? Чудно, хе-хе. Смешно. Правда, он еще недавно заметил признаки некоторого уменьшения силы, то есть, вовсе он не заметил, и даже не обратил внимания, просто ему представилось. И вот он опять принимается за камень с твердым решением стащить его с места.

А это не пустяк, когда Исаак ложится на вагу и старается давить на нее изо всех сил. Вот он лежит и давит, и давит, ужасно страшно, как циклоп, и кажется, что туловище у него вытягивается до самых колен. В нем была известная пышность и великолепие, экватор его был невероятен.

Но камень не сдвинулся.

Делать нечего, надо еще покопать. Взорвать камень? Молчок! Нет, — надо еще покопать. Он вошел в азарт, камень надо вытащить! Нельзя сказать, что в этом

сказывалась какая-то извращенность Исаака,— нет, это была старая любовь землероба, но совершенно лишенная нежности. С виду это казалось глупо, сначала он словно припадал к камню со всех сторон, прежде чем навалиться на него, потом оказывал с боков и обнимал, счищал с него землю обеими руками, вот что он делал. Но все это были не ласки. Он разогрелся, но разогрелся от упрямства.

Что если опять попробовать вагой? Он подсунил ее, где было всего легче — нет. Что же это за необыкновенное упрямство и настойчивость у камня! Но дело, как будто, пошло на лад, Исаак опять пробует и проникается надеждой. Землепашец чутьем угадывает, что камень уже не так непобедим. Вдруг вага соскальзывает и бросает Исаака на землю.— Черт!— восклицает он. Шапка его съехала и едва держится на боку, вид у него разбойничий, испанистый. Он плюет.

Вот идет Ингер.

— Иди же, покушай, Исаак!— говорит она мягко и ласково.

— Сейчас,— отвечает он, но не хочет, чтоб она подходила ближе и не хочет разговаривать.

Ах, Ингер, она ничего не понимала, она подошла:

— Что это ты опять выдумал?— спрашивает она, желая умиротворить его тем, что он чуть не каждый день придумывает что-нибудь необыкновенное.

Но Исаак мрачен, ужасно мрачен, он отвечает:

— Да нет, не знаю.

А Ингер, та ужасно глупа, уф, она спрашивает и пристаёт к нему и не уходит.

— Раз уж ты увидала,— говорит Исаак,— так я хочу вытащить этот камень!

— Ну, неужто ты хочешь его вытащить?

— Да.

— А я не могу тебе помочь?— спрашивает она.

Исаак качает головой. Но во всяком случае, очень хорошо со стороны Ингер, что она захотела ему помочь, и он уже не может на нее огрызнуться:

— Пожалуй, подожди немножко!— сказал он и побежал домой за молотом и шкворнем.

Если он отколет от камня осколок. Он будет не такой ровный. И тогда у ваги будет больше упора. Ингер держит шкворень, а Исаак колотит. Бьет, бьет. Ага, вот отлетел осколок.

— Спасибо за помощь,— говорит Исаак.— И не приставай ко мне пока с едой, я хочу вытащить этот камень.

Но Ингер не уходит. И, в сущности, Исааку очень приятно, что она стоит и смотрит, как он работает, он любил это еще смолodu. И вот смотрите-ка у ваги получился надлежащий упор, он налегает и — камень шевелится!

— Он шевелится!— говорит Ингер.

— А ты не врешь?— спрашивает Исаак.

— Ну вот, вру! Шевелится!

Вот чего он достиг, камень приподнялся-таки, черт бы его побрал, он привлек к делу самый камень, между ними началась совместная работа. Исаак наваливается на вагу и пыхтит, а камень шевелится, но и только. Так продолжается насколько минут, нет, ни к чему. Исаак вдруг понимает, что дело не только в тяжести его тела; у него уже нет прежних сил, в этом вся суть, он утратил стойкую упругость в теле. Тяжесть? Не шутка навалиться и сломать толстую вагу. Он ослабел, вот оно что, вот в чем суть. Это преисполняет терпеливого человека горечью: хоть бы Ингер не стояла тут и не смотрела!

Вдруг он бросает вагу и хватается за молот. На него напал гнев, он в настроении пустить в ход насилие. Шапка у него по прежнему набекрень, вид разбойничий, крупными шагами и грозно обходит он камень, как бы для того, чтоб показаться ему в настоящем свете, так и кажется, что он хочет превратить этот камень в щебень. А почему ему этого не сделать? Раздавить камень, который смертельно ненавидишь, ведь это только формальность. А если камень окажет сопротивление, если он не даст себя раздавить? Еще посмотрим, кто из двоих останется в живых!

Но вот Ингер начинает чуть-чуть боязливо, потому что понимает, что клокочет в душе мужа; она говорит:

— А если мы оба наляжем на бревно?— Под бревном она подразумевает вагу.

— Нет!— с бешенством кричит Исаак. Но после минутного раздумья он говорит:— Ну, что ж,— раз ты все равно здесь, но я не понимаю, почему ты не идешь домой. Давай попробуем!

И вот они выворачивают камень на ребро. Вышло.

— Пфу-у!— говорит Исаак.

Но тут перед их глазами открывается нечто неожиданное: нижняя сторона камня — плоскость, страшно широкая, аккуратно срезанная, ровная, гладкая, как пол. Камень только половина камня, вторая половинка где-нибудь поблизости. Исаак отлично знал, что две половинки того же камня могут залегать в земле в разных пластах, должно

быть, мерзлая земля в течение огромного промежутка времени отделила их друг от друга; но открытие удивляет и радует его, это великолепнейший камень для поделки, приступка к двери. Крупная сумма денег не преисполнила бы сердце хуторянина такой радостью.

— Чудесная приступка!— гордо говорит он.

Ингер наивно восклицает:

— Не понимаю, как ты мог это знать!

— Гм!— отвечает Исаак,— ты думаешь, я стал бы зря рыть землю!

Они вместе идут домой; Исаак наслаждается незаслуженным восхищением. Он рассказывает как все это время гонялся за порядочной приступкой, и вот, наконец, нашел. Отныне в его работе не будет ничего подозрительного, он может копать, сколько угодно, под предлогом поисков другой половины приступки. Когда Сиверт вернется, он даже ему поможет.

Но если дело обстоит так, что он уже не может один выкорчевать камень из земли, значит, многое изменилось; это неладно, значит, надо поторопиться с расчисткой для стройки места. Старость нагнала Исаака, он уже созрел для богадельни. Торжество, которое он испытал, когда нашел дверную приступку, с течением дней растаяло, оно было ненастоящее и непрочное. Исаак стал горбиться на ходу. Разве не было в его жизни времени, когда он становился внимателен и настораживался, если кто-нибудь заговаривал с ним о камнях и о пахоте. Это было не так давно, всего несколько лет тому назад. И тогда тому, кто взглянул бы косо на осушенное болото, пришлось бы от него плохо. Теперь он начал принимать подобные вещи с относительным спокойствием, о-ох, Господи! Ничто не осталось, каким было, вся здешняя местность переменялась, этой широкой телеграфной дороги через лес не было, горы у озера не были взорваны вдоль и поперек. А люди? Разве они говорили «мир вам!» когда приходили,— и «оставайтесь с миром!» когда уходили? Они просто кивали головой, а то даже и не кивали.

Но ведь раньше не существовало и Селланро. Была просто дерновая землянка. А что на этом месте теперь? И не было раньше и маркграфа.

Да, но что такое маркграф теперь? Просто унылый и отживший человек. Какой прок глотать пищу и иметь здоровые кишки, когда от этого не образуется сил? Силы теперь у Сиверта, и слава Богу, что у Сиверта они есть; ах, но если б у Исаака они тоже были! Что хорошего в

том, что колесо его начало замедлять ход? Он работал, как настоящий мужчина, спина его выдерживала тяжести, впору вьючной скотине, после всего он проявит выносливость в том, что даст ей отдыхать на деревянном стуле.

Исаак недоволен, Исаак печален.

Вот лежит на пригорке старая шляпа-зюдвестка и гниет. Сюда, на опушку, загнала ее, должно быть, буря или, может быть, ребятишки, когда были маленькими. Она лежит здесь год за годом и все больше и больше разваливается, а была когда-то отличная зюдвестка, и вся желтая. Исаак помнит, как он пришел в ней от торговца, и Ингер сказала, что это очень красивая зюдвестка. Года через два он зашел на селе к маляру и попросил его хорошенько вычернить зюдвестку, а поля выкрасить зеленым. Когда он вернулся домой, Ингер сказала; что зюдвестка стала еще красивее, чем была. Ингер всегда все нравилось, ах, то было хорошее время, он колол дрова, а Ингер смотрела, то была его лучшая пора. А когда наступали март и апрель, они с Ингер сходили с ума друг о друге, аккуратно, как птицы и звери в лесу, в мае же он сеял ячмень и сажал картошку и хлопотал круглые сутки. Тогда были работа и сон, любовь, грезы, он был словно первый его бык, а тот был чудовище, большой да гладкий, и выступал, словно король. Но в нынешние года такого мая больше не бывает.

Нету.

В течение нескольких дней Исаак был очень угнетен. То были мрачные дни. Он не чувствовал в себе ни сил, ни охоты приняться за новый сеновал, пусть уж об этом позаботится в свое время Сиверт; что нужно построить, так это избушку на покой. В конце концов, он не мог долго скрывать от Сиверта, что расчищает на опушке место для стройки, и однажды он это прямо и сказал:

— Там есть хороший камень, на случай, если нам когда-нибудь придется строить,— сказал он.— И есть и еще один такой же хороший камень.

Сиверт не дрогнул ни одним мускулом, но ответил:

— Отличные камни для фундамента!

— А что ты думаешь,— говорит отец,— мы столько времени шарили здесь из-за второй приступки, что здесь вышел бы отличный двор. Только, вот, не знаю...

— Что ж, здесь место для двора неплохое,— отвечает Сиверт и обводит глазами площадку.

— Ну, в самом деле? Можно бы поставить маленькую избушку, куда помещать в случае, если кто придет.

— Да.

— С горницей и клетью, как думаешь? Помнишь, как было, когда приезжали к нам шведские господа, а теперь у нас нет для них отдельного строенья. Нет, а ты вот скажи: не надо ли и кухоньку, на случай, если они захотят что приготовить?

— По-моему, как же они будут без кухни, еще поднимут нас на смех,— сказал Сиверт.

— Ну, ты так думаешь.

Отец замолчал. Но этот Сиверт удивительный парень, как он ловко соображает, что за изба требуется для шведских господ, и никогда ведь даже ничего и не спросит, а сам вдруг говорит:

— Будь я на твоём месте, я сделал бы маленький чуланчик у северной стены, ведь иной раз им может понадобиться повесить просушить мокрую одежду.

Отец сейчас же подхватывает:

— Это ты дело говоришь!

Оба молчат и возятся с камнями. Через минуту отец говорит:

— Елисей еще не вернулся, нет?

Сиверт отвечает уклончиво:— наверно скоро приедет.

Чистая беда с Елисеём, так он любит быть где-то не дома, разъезжать. Неужто нельзя выписать товары, вместо того, чтоб самому ездить и покупать их на месте? Правда, так они обходятся ему гораздо дешевле; ну, а во сколько обходится самые разъезды? Чудно как-то он рассуждает. И на что ему еще бумазeya и разные шелковые ленточки на крестильные чепчики, и черные и белые соломенные шляпы, и длинные чубуки для трубок? Никто из хуторян таких вещей не покупал, а покупатели из села приходили в «Великое» только тогда, когда у них не бывало денег. Елисей по своей части толковый парень, посмотреть только, как он пишет на бумаге или подсчитывает счет мелом!— Хотел бы я иметь твою голову!— говорили ему люди.

Это-то все верно, но он слишком много тратит денег. Ведь сельские покупатели никогда не платили своих долгов, а даже такие голыши, как Бреде Ольсен, приходили зимой в «Великое» и получали в кредит и бумазeyю, и кофей, и патоку, и керосин.

Исаак передавал уж много денег Елисею на его торговлю и разъезды; от богатства, полученного за медную скалу, немного оставалось, ну, а дальше что?

— Как, по-твоему, идут дела у Елисея?— спрашивает вдруг Исаак.

— Дела-то?— переспрашивает Сиверт, чтоб выгадать время.

— Непохоже, чтоб хорошо.

— Он надеется, что пойдут.

— А, так ты говорил с ним об этом?

— Нет. Андресен сказывал.

Отец думает, качает головой:— Нет, не пойдут!— говорит он.— А жалко Елисея!

И все мрачнее и мрачнее становится отец, а он и раньше-то был не очень веселый.

Тогда Сиверт раздражается новостью.

— А у нас в пустоши прибавилось людей.

— Как так?

— Еще двое новоселов. Они купили напротив нас.

Исаак останавливается, держа на весу лом, это большая новость и хорошая новость, одна из самых лучших:

— Стало быть, нас будет десятеро в пустоши,— говорит он.

Исаак спрашивает подробнее, где именно купили новоселы, вся география местности у него в голове, он кивает:

— Да, это они правильно сделали, там хороший дровяной лес, да попадаются и строевые сосны. Земля обращена на юго-восток.

Так, стало быть, новоселов ничто не устрашало, людей все прибавлялось. Работа на руднике прекратилась, но это пошло только на пользу земледелию; неправда, что пустошь замирала, наоборот, она начинала кишеть жизнью, еще двое новых поселенцев, четыре лишних руки, поля, луга, дома. Ах, как хороши зелененькие полянки в глубине леса, избушка, колодец, дети, скотина! На болотах, где торчал чертополох, колышется ячмень, кивают на межах голубенькие колокольчики, солнечное золото пылает на лютиках у домов. И ходят люди, разговаривают, думают и составляют одно с небом и землей.

А вот стоит первый в пустоши человек. Он пришел однажды, увязая по колена в болота и путаясь в вереске, нашел откос и поселился там. За ним пришли другие, протоптали тропинку по пустынной земле, потом пришли еще люди, тропинка превратилась в дорогу, теперь по ней ездили в телегах. Исаак должен чувствовать себя довольным, душа его должна трепетать от гордости: он был основателем этого поселения, он маркиграф.

— Да, да, нельзя нам все время возиться над этим двором, если мы хотим нынче поставить сарай для фуража,— говорит он.

Он сказал это, должно быть, с внезапно проснувшейся веселостью, с новым порывом жизнерадостности.

ГЛАВА VIII

В гору, по пустоши поднимается женщина. Льет ровный летний дождь, она промокла, но не обращает внимания, ей есть о чем подумать, она взволнована — это Варвара, а не кто другая, Варвара Бреде.

Конечно, она взволнована: она не знает, чем кончится ее затея, но она ушла от ленсмана и покинула село. Вот как обстоит дело.

Она обходит стороной все хутора на пустоши, потому что не хочет попадаться на глаза людям; ведь всякий поймет, куда она направляется — на спине у нее узел с платьем. Ну да, она направляется в «Лунное» и хочет опять поселиться там.

Она прослужила у ленсмана десять месяцев, и это срок немалый, если перевести на дни и ночи, но это целая вечность, в переводе на постоянное стеснение и скуку. Вначале все шло отлично, госпожа Гейердаль была очень заботлива, подарила несколько передников и придела ее, приятно было ходить за покупками в лавочку в таких красивых платьях. Ведь Варвара девочкой жила в этом селе, знала всех еще с того времени, как играла на улице, ходила в школу, целовалась с мальчиками и играла в разные игры, в камешки и раковины. Месяца два все шло хорошо. Но тут госпожа Гейердаль стала еще заботливее, а когда подошли рождественские праздники, госпожа Гейердаль стала просто-напросто строгой. К чему это могло повести, как не к порче добрых отношений! Варвара не выдержала бы такой жизни, если б определенные ночные часы не оставались в ее распоряжении: с двух часов до шести утра она могла быть до известной степени спокойной, и в эти часы она разрешила себе не мало запретных развлечений. Но какого же склада была кухарка, что не выдавала ее? Да самая обыкновенная девушка на свете: кухарка сама уходила без спросу. Они соблюдали очередь в дежурствах.

И открылось это не скоро. Варвара была вовсе не так легкомысленна, что каждый мог прочитать это у нее на

лбу, ее никак нельзя было заподозрить в какой-либо развращенности. Развращенность? Она оказывала все сопротивление, какое полагалось. Когда на святках парни приглашали ее на танцы, она отвечала «нет» один раз, два раза, но на третий ответила:— Попробую прийти от двух до шести!— Ну что ж так отвечает всякая порядочная женщина, не выставляя себя хуже, чем она есть, и не кичась своей дерзостью. Она была служанка, служила всю жизнь и не знала иных развлечений, кроме как повесничать. Да больше ничего она и не желала. Ленсманша приходила к ней, читала нотации и давала книжки — вот дурища! Это Варваре-то, которая жила в Бергене, читала газеты и ходила в театр! Она не какая-нибудь неотесанная деревенщина.

Но, должно быть, у ленсманши зародились подозрения. Однажды утром в три часа она подходит к двери комнаты, где спали девушки, и зовет:

— Варвара!

— Что угодно?— отвечает кухарка.

— А разве Варвары нет? Отопри!

Кухарка отпирает дверь и дает условленное объяснение: Варваре пришлось опрометью побежать домой.

— Домой, опрометью? Да ведь три часа ночи,— говорит барыня и развивает это подробнее.

На утро длинный допрос, призвали Бреде и барыня спросила:

— Была у вас Варвара нынче ночью в три часа?

Бреде не подготовлен, но отвечает:

— Да. В три часа? Нынче ночью. Да, да, мы засиделись так долго, потому что надо было кое о чем поговорить,— отвечает Варварин отец.

Ленсманша торжественно возвещает:

— Варвара больше не будет выходить по ночам!

— Нет, нет,— отвечает Бреде.

— Пока она у меня в доме — нет!

— Нет. Ты слышишь, Варвара, я говорил тебе!— подтверждает отец.

— Можешь ходить к своим родителям кое-когда по утрам!— решает барыня.

Но благодетельная ленсманша, вероятно, все же не совсем освободилась от своих подозрений, она выждала неделю и опять отправилась на разведку в четыре часа утра.

— Варвара!— позвала она.

Но на этот раз нет кухарки, а Варвара дома, стало быть, девичья полна невинности. Барыне пришлось наспех придумать что-нибудь:

— Ты внесла вечером белье в дом?

— Да.

— Это хорошо, потому что поднимается сильный ветер. Покойной ночи!

Впрочем, для самой ленсманши это было хлопотливо: упрашивать ленсмана, чтоб он будил ее по ночам, и потом самой шлепать через весь дом к девушкам и подслушивать, дома ли они. Пусть делают, что хотят, она перестала следить за ними.

И если бы счастье не изменило, Варвара, пожалуй, выжила бы у своей хозяйки на таких условиях целый год. Но вот, несколько дней тому назад между ними вышло полное расстройство.

Случилось это ранним утром в кухне. Сначала Варвара слегка повздорила с кухаркой, да, впрочем, не так уж слегка, а порядочно; они говорили все громче и громче и позабыли, что барыня может прийти. Кухарка вела себя подло, и нынче ночью удрала не в очередь, потому что это было воскресенье. И что же она привела в свое оправданье? Ей необходимо было проститься с любимой сестрой, уезжающей в Америку? Ничего подобного, кухарка вовсе и не оправдалась, а только говорила, что хорошо повеселилась в эту ночь.

— И как это у тебя нет за душой ни совести, ни чести, скотина ты этакая!— сказала Варвара.

А барыня стояла в дверях.

Может быть, идя к ним, она имела в виду спросить объяснения этому крику, но, ответив на приветствие девушек, она вдруг стала как-то по особенному смотреть на Варвару, на бюст Варвары, наклонилась и стала смотреть еще пристальнее. Это становилось очень неприятным. И вдруг барыня вскрикивает и отшатывается к двери.

— Господи, что такое?— думает Варвара и смотрит себе на грудь. Ох, Господи, вошь! Варвара невольно улыбается, и так как она привыкла не теряться в чрезвычайных обстоятельствах, стряхивает с себя вошь.

— На пол?— кричит барыня.— Ты с ума сошла! Подними эту гадость!

Варвара начинает искать, и опять действует очень ловко: делает вид будто нашла вошь и широким жестом бросает ее в плиту.

— Откуда она у тебя?— взволнованно спрашивает барыня.

— Откуда она у меня?— переспрашивает Варвара.

— Да, я желаю знать, где ты была, где ее подцепила. Отвечай!

И вот Варвара сделала постыдную ошибку, не ответила: «В лавке!» На этом бы все и кончилось. А она сказала, что не знает, откуда у нее вошь, но намекнула, не от кухарки ли.

Кухарка моментально подскочила:

— От меня? Ты и сама мастерица притаскивать вшей!

— Да, ведь, нынче-то ночью уходила ты!

Опять ошибка, ей никак не следовало упоминать об этом. Кухарке не было больше смысла молчать, и тут все и выплыло на божий свет о злополучных ночных странствиях. Ленсманша пришла в страшнейшее волнение, до кухарки ей нет дела, но Варвара, девушка, к которой она так хорошо относилась! И может быть, все обошлось бы еще хорошо, если б Варвара поникла головой, как тростинка пала бы на землю и поклялась бы какими-нибудь удивительно крепкими клятвами, что впредь этого не будет. Так нет же. В конце концов, барыне пришлось напомнить своей горничной обо всем, что она для нее сделала, и тут Варвара принялась отвечать, возражать, вот до чего она была глупа. А может, и очень умна, если хотела довести дело до точки и вырваться отсюда? Барыня сказала:

— Я вырвала тебя из львиных когтей.

— Что до этого,— ответила Варвара,— то мне и без вас было бы не хуже.

— Вот твоя благодарность!— воскликнула барыня.

— То ли нам говорить об этом, то ли молчать,— сказала Варвара.— Если б меня и приговорили, то все равно не больше, как на несколько месяцев, и тем бы все и кончилось!

Барыня мгновенно лишается языка, некоторое время стоит и только открывает рот и опять закрывает. Первое слово, какое ей удается произнести — расчет!

Варвара только и ответила:

— Да, да, как вам будет угодно!

Следующие за этим дни Варвара прожила дома, у родителей. Но там ей нельзя было оставаться. Мать, правда, торговала теперь кофеем, и к ней приходило много народу, но Варвара не могла на это прожить, а может, у нее были и другие веские причины желать прочного положения. И вот, сегодня она вскинула на спину узел с платьем и пустилась в путь. Теперь все зависит от того, примет ли ее Аксель Стрем! Но она устроила так, что в прошлое воскресенье их огласили в церкви.

Льет дождь, дорога грязная, но Варвара идет. Вечерет, но так как до дня Святого Олафа далеко, еще светло. Бедняжка Варвара, она не жалеет себя, она идет за своим делом, и ей надо идти в определенное место и начинать очередную борьбу. Собственно говоря, она никогда не жалела себя, никогда не линилась, зато она и красива и тонка станом. У Варвары быстрое соображение, и она часто пользуется им на собственную погибель, но чего же иного можно ожидать? Она научилась перебиваться из кулька в рогожку, но сумела сохранить много хороших качеств, смерть ребенка для нее ничто, но живому ребенку она способна дать конфетку. Потом у нее замечательный музыкальный слух, она чувствительно и верно тренькает на гитаре и поет сипловатым голосом, ее очень приятно и чуть-чуть грустно слушать. Нет, жалеть себя так мало, что давно уже выбросила всю себя за борт и не замечает при этом никакой потери. Изредка она плачет, и сердце у нее разрывается над тем или иным случаем в ее жизни; так полагается, это от песен, которые она поет, это говорит в ней поэзия и милый дружок, она обманывала этим и самое себя и многих других. Будь у нее сегодня с собой гитара, она нынче же вечером поиграла бы Акселью.

Она подгоняет так, чтобы прийти попозже, и когда входит во двор, в Лунном все тихо. Ага, Аксель уже выкосил двор и убрал часть сена! Она соображает, что Олина по старости лет, наверное, спит в горнице, а Аксель — на сеновале, где когда-то спала она сама. Она подходит к знакомой двери, волнуясь, как вор, потом тихонько окликает:— Аксель!

— Что это!— сразу отвечает Аксель.

— Ничего, это только я,— говорит Варвара и входит.— Пожалуй, ты не пустишь меня ночью?— говорит она.

Аксель смотрит на нее:

— А, так это ты,— говорит он, наконец.— Куда ты собралась?

— Это зависит прежде всего от того, нужна ли тебе помощница на лето,— отвечает она.

Аксель думает с минуту, потом спрашивает:

— А ты разве ушла оттуда, где жила?

— Да, я рассчиталась у ленсмана.

— Мне, пожалуй, понадобится работница,— говорит Аксель.— Но что это значит: ты разве надумала вернуться?

— Да нет, не беспокойся,— отвечает Варвара.— Я завтра пойду дальше, я иду в Селланро и за перервал, у меня там есть место.

— Разве тебя там наняли?

— Да.

— Мне, пожалуй, понадобится работница,— повторяет Аксель.

Она совершенно промокла, но в узле у нее белье и платье, и она хочет переодеться.

— Ты не обращай на меня внимания,— говорит Аксель, слегка отодвигаясь к двери.

Варвара снимает мокрое платье, и во время разговора Аксель часто поворачивает к ней голову.

— Ну, а теперь выйди на минутку!— говорит Варвара.

— На улицу?— отвечает он.

И правда, погода была не такая, чтоб выходить на улицу. Он стоит и смотрит, как она обнажается все больше и больше, прямо глаз не оторвать; да и Варвара такая рассеянная: она отлично могла бы надевать сухую одежду по мере того, как снимала бы мокрую, но она так не делала. Рубашка ужасно тоненькая и прилипла к телу, вот она расстегнула ее на одном плече и отворачивается, какая она ловкая. Он замолкает в эту минуту, как мертвый, и видит, что она делает всего одно или два движения и спускает с себя рубашку, «Вот замечательно-сделано,» подумал он. А она стоит себе, как ни в чем не бывало.

Немного погодя, они лежат и разговаривают. Да, ему нужна работница, это верно.

— Да, я слыхала,— говорит Варвара.

Он начал косить, ведь запастись сеном надо на целый год, а он совсем один, Варвара сама может понять, как ему трудно.

Да, Варвара все понимала.

С другой стороны, ведь Варвара сама удрала в тот раз и оставила его без работницы, он не забыл ей этого, да еще прихватила с собой кольца. И в довершение издевательства газета ее продолжала получаться, эта бергенская газета, от которой он никак не мог отделаться; ему пришлось потом заплатить еще за целый год.

— Вот-то бесстыжая газета!— сказала Варвара, соглашаясь с ним во всем.

Но в виду такой огромной уступчивости, и Аксель не мог же вести себя, как зверь; он признал, что у Варвары были основания сердиться на него за то, что он отнял место у ее отца на телеграфе.

— Да впрочем, отец твой может опять забрать свой телеграф,— сказал он,— я не гонюсь за ним, это только трата времени.

— Правда,— согласилась Варвара.

Аксель подумал с минуту, потом спросил напрямик:

— Так как же, ты проживешь только лето?

— Нет,— ответила Варвара,— будет, как ты захочешь.

— Ну, это ты всерьез?

— Да. Как ты хочешь, так хочу и я. Ты больше во мне не сомневайся.

— Ну?

— Да, да. И я сказала, чтоб нас огласили.

Вот что. Выходило совсем неплохо. Аксель долго лежал и думал. Если на этот раз это всерьез, а не опять какой-нибудь подлый обман, он заполучит работницу и обеспечен на вечные времена.

— Я мог бы выписать себе женщину с родины,— сказал он,— и она написала, что согласна выйти за меня. Но только приходится оплатить ей проезд из Америки.

Варвара спрашивает:

— Как, разве она в Америке?

— Да. Уехала в прошлом году, но ей там не нравится.

— Нет, ты о ней не думай!— заявляет Варвара.— Что же тогда будет со мной?— спрашивает она и начинает беспокойно двигаться.

— Оттого-то я и не порешил с ней окончательно.

Варваре, наверное, тоже не захотелось отстать, она призналась, что могла выйти замуж за одного молодого человека в Бергене, он служил возчиком в огромной пивной, так что пользовался большим доверием.

— И, конечно, он до сих пор вздыхает обо мне,— всхлипывая, говорит Варвара.— Но ты знаешь, когда между двумя людьми было столько, сколько между нами с тобой, Аксель, то я не могу забыть этого. Ну, а ты можешь забывать меня, сколько тебе угодно!

— Кто, я?— отвечает Аксель.— Нет, из-за этого тебе нечего плакать, потому что я никогда не забывал тебя.

— Ну?

Это признание прекрасно действует на Варвару, и она говорит:

— А раз так, зачем тебе выписывать ее из Америки, если можешь без этого обойтись!

Она отговаривает его от этой затеи, это выйдет слишком дорого, да совсем ему и не нужно. Варвара, по-видимому, вбила себе в голову, что сама составит его счастье.

За ночь они договорились. Они ведь были чужие друг другу, а очень часто обсуждали все и раньше. Даже и необходимое венчание могло произойти до дня Св. Олафа

и жатвы, им незачем было притворяться, и Варвара сама торопила еще усерднее Акселя. Акселя не оскорбляла настойчивость Варвары и не возбуждала в нем никаких подозрений, наоборот, ее поспешность ему льстила и подогревала его. Ну да, он был человек земли, камень, не очень разборчивый, чертовски мало щепетильный, ему приходилось мириться и с тем и с другим, он соображал свою выгоду. К тому же, Варвара казалась ему опять такой новой и красивой, чуть ли даже не красивее и милее прежнего. Она была словно яблоко, и он запустил в него зубы. Да и в церкви их уже огласили!

Мертвого ребенка и процесс оба обошли молчанием.

Зато они поговорили об Олине: как им от нее избавиться?

— Да, ее нужно выпроводить!— сказала Варвара.— Нам ее не за что благодарить. Она только разводит сплетни и злость.

Но выпроводить Олину оказалось не легко.

В первое же утро, увидев Варвару, старуха Олина, должно быть, почувяла свою судьбу. Она сразу обозлилась, но затаила злость и приbedнилась, придвинула Варваре стул. Жизнь в Лунном шла потихоньку, Аксель таскал воду и дрова, делал за Олину всю самую тяжелую работу, а Олина справлялась с остальным. С течением времени она решила про себя, что останется на хуторе до конца своих дней, но вот появилась Варвара и разом уничтожила ее планы.

— Если бы в доме было хоть зернышко кофею, я бы сварила тебе,— сказала она Варваре.— Ты идешь куда-нибудь дальше?

— Нет,— ответила Варвара.

— Вот что, так ты не в горы?

— Нет.

— Ну да, это меня, конечно, не касается,— сказала Олина.— Опять, значит, вниз?

— Нет, и не вниз. Я останусь здесь, как раньше.

— Вот что. Будешь здесь жить?

— Да, наверно к этому придет.

Олина молчит с минуту, работает своей старой головой; у, она тонкий политик:

— Да,— говорит она,— в таком случае, я, значит, освобожусь. И рада же я буду!

— Ну,— шутливо говорит Варвара,— разве Аксель был для тебя так плох?

— Плох? Он-то? Не смейся над несчастной старухой, которая только и ждет отпущения! Аксель был мне все равно, что отец и посланец божий во всякий день и час,

иного я не могу сказать. Но дело в том, что у меня здесь нет никого из родных, я живу одинокая и покинутая на чужой стороне, а все мои близкие живут за перевалом.

Но Олина осталась. Они не могли отпустить ее, пока не повенчаются, и Олина хорошо на этом сыграла, заставила себя упрашивать, но под конец сказала, что хорошо, она окажет им эту услугу, присмотрит за скотиной и за домом, пока они будут венчаться. Это заняло два дня. Но когда новобрачные вернулись домой, Олина все-таки не ушла. Она тянула время, один день она была нездорова, на другой — собирался дождь. Она подлизывалась к Варваре: теперь все стало по другому в Лунном, другая еда, а уж про кофей нечего и говорить! О, Олина ничем не пренебрегала, она советовалась с Варварой о вещах, которые сама знала лучше ее:

— Как думаешь, подоить мне коров, раз уж они стоят в стойлах, или сначала приняться за Борделину?

— Делай, как хочешь.

— Да разве я о том говорю! — восклицает Олина. — Ты побывала в свете, обращалась среди богатых и знатных людей и всему научилась. Не то, что мы, бедные!

Нет, Олина ничем не пренебрегала, она круглые сутки политиканствовала. Разве она не сидела с Варварой и не рассказывала, как была дружна с ее отцом, с Бреде Ольсеном! О, не один приятный часок провели они вместе, он был такой почтенный и обходительный человек, этот Бреде, никогда-то не услышишь плохого слова из его уст!

Но так не могло продолжаться; ни Аксель, ни Варвара не желали больше держать Олину, и Варвара отобрала у нее всю работу. Олина не жаловалась, но провожала свою хозяйку недобрыми взглядами и постепенно изменила тон:

— Да, вы теперь стали страх какие важные! — говорила она. — Аксель-то в прошлом году осенью ездил в город, ты с ним там не встречалась? Да нет, ты была в Бергене. А ездил он по какому-то делу и купил косылку и борону. Что теперь против вас хозяева Селланро? И равнять нельзя!

Она изошрялась в мелких уколах, но и это не помогало; хозяева перестали ее бояться, однажды Аксель прямо сказал ей, чтоб она уходила.

— Уходить? — спросила Олина. — Как это; что же мне, ползти, что ли?

Нет, она отказалась уходить под предлогом, что совсем нездорова и не в состоянии шевельнуть ногами. И ведь как нехорошо вышло: когда у нее отобрали работу и лишили всякой деятельности, она сразу опустилась и действительно

захворала. Все-таки она протаскалась еще с неделю. Аксель смотрел на нее с бешенством, но Олина продолжала жить у них из злости, а под конец совсем слегла.

И вот она лежала и вовсе не ждала отпущения, а наоборот, часами говорила о том, что поправится. Она требовала доктора, роскошь, неизвестную в пустоши.

— Доктора?— спросил Аксель,— из ума ты выжила?

— Как это?— кротко спросила Олина, притворяясь, будто ничего не понимает.

Она была так кротка и умильна, так счастлива тем, что никому не в тягость, она может заплатить доктору сама.

— Ну, разве можешь?— спросил Аксель.

— А что же?— сказала Олина.— И потом, не лежать же мне здесь и помирать, как скотине без призора.

Тут вмешалась Варвара и неосторожно спросила:

— Чего тебе не хватает? Разве я тебе не приношу еду? А кофею я тебе не даю для твоей же пользы.

— Это ты, Варвара?— говорит Олина и поворачивает на нее глаза. Она очень плоха, и перекошенные глаза придают ей жуткий вид:— Оно, может, и так, как ты говоришь, Варвара, может мне станет хуже от капельки кофею, от чайной ложечки кофею.

— Будь ты такая, как я, ты бы думала сейчас кое о чем другом, а не о кофее,— сказала Варвара.

— А я что же говорю,— ответила Олина.— Ты никогда не желала смерти человеку, а желала, чтоб он исправился и жил. Что это,— я, вот, лежу и смотрю,— никак ты в тягостях, Варвара?

— Я?— кричит Варвара и яростно прибавляет:— ты стоишь того, чтоб я выбросила тебя на навоз за твой язык!

Тут больная молчит с добрую минуту, но губы ее дрожат. Будто она силится непременно улыбнуться и не может.

— Нынче ночью я слышала, как кто-то звал,— говорит она.

— Она бредит!— говорит Аксель.

— Нет я не брежу. Будто кто-то звал. Слышалось из леса или от ручья. Удивительно, точь в точь, будто кричал маленький ребенок. Что, Варвара ушла?

— Да,— сказал Аксель,— ей надоело слушать твою чепуху.

— Это вовсе не чепуха, я не брежу, как вы думаете,— говорит Олина,— нет, Всемогущий не допустит, чтоб я предстала перед престолом и агнцем со всем тем, что мне известно про Лунное. Я еще поправлюсь; а ты должен

позвать ко мне доктора, Аксель, тогда это пойдет скорее. Какую-то корову ты мне подаришь?

— Какую еще корову?

— Корову, которую ты мне обещал. Не Борделину ли?

— Ты просто городишь, сама не знаешь что,— говорит Аксель.

— Ты ведь помнишь, что обещал мне корову, когда я спасла тебе жизнь.

— Нет, не помню.

Тогда Олина поднимает голову и смотрит на него. Она совсем седая и лысая, голова торчит на длинной птичьей шее, она страшна, как сказочное чудовище; Аксель вздрагивает и нащупывает за спиной дверную ручку.

— Ага,— говорит Олина,— так вот ты какой! Значит, пока что, мы об этом больше не будем говорить. С этого дня я проживу и без коровы и не заикнусь об ней. Но хорошо, что ты показал себя аккурат таким, каков ты есть, Аксель, вперед я буду знать, что ты за птица!

Но однажды ночью Олина умерла, как-то среди ночи; во всяком случае, когда утром они вошли к ней, она уж похолодела.

Старуха Олина — родилась и умерла...

И Аксель и Варвара были рады похоронить ее навеки, теперь некого было остерегаться, они повеселели. Варвара опять жалуется на зубную боль, в остальном же все хорошо. Но этот вечный шерстяной платок у рта, который ей приходится отнимать всякий раз, когда она хочет сказать слово,— не малое мученье, и Аксель не понимает, как это могут у человека так долго болеть зубы. Правда он замечал, что она жует всегда очень осторожно, но ведь у нее все зубы целы.

— Разве ты не вставила себе новые зубы?— спрашивает он.

— Да.

— Что же, и они тоже болят?

— Ты все представляешься и врешь!— сердито отвечает Варвара, хотя он спросил вполне искренно. И в раздражении своем она дает более толковый ответ:

— Ведь ты отлично понимаешь, что со мной.

Что же с ней? Аксель смотрит внимательнее, и ему кажется, будто у нее вырос живот.

— Да ведь не в тягостях же ты?— спрашивает он.

— Я думаю, ты и сам отлично знаешь,— отвечает она.

Он смотрит на нее немножко бессмысленно. В медлительности своей он сидит довольно долго и считает: неделя, две недели, третья неделя.

— Разве я знаю?— говорит он.

Варвара приходит в страшное раздражением от этого спора и начинает громко и обиженно плакать:

— Нет, закопай лучше и меня в землю, тогда ты от меня избавишься!— говорит она.

Удивительно, из-за чего только женщины ни плачут!

Но Аксель вовсе не желал закапывать ее в землю, он великий мастер видеть свою выгоду, у него совсем нет потребности ходить по цветочным коврам.

— Так, значит, ты не сможешь лето работать?— спрашивает он.

— Я не смогу работать?— с ужасом воскликнула она.

О, Господи, и как же женщина может вдруг заулыбаться! Когда Варвара увидела, как принял это событие Аксель, ее обуяло какое-то истерическое счастье, и она воскликнула:

— Я буду работать за двоих! Вот увидишь Аксель, я буду делать все, что ты велишь, и даже гораздо больше. Я разобьюсь в лепешку и буду рада, лишь бы ты был доволен!

Опять полились слезы, пошли улыбки и ласки. В пустыне их было только двое, некого бояться, открытые двери, летнее тепло, жужжанье мух. Она была так покорна и преданна, смотрела на все его глазами.

После заката солнца он запрягает косилку, хочет скосить маленькую луговинку на завтра. Варвара поспешно выходит, будто за делом, и говорит:

— Послушай, Аксель, как это ты мог думать выписывать кого-то из Америки? Ведь она бы приехала не раньше зимы, а на что она тебе тогда?

Вот что подумала Варвара, и прибежала теперь сказать ему, как будто это было нужно.

Но это было совсем не нужно, Аксель с первой же минуты понял, что если возьмет Варвару, то выгадает вместо летней работницы годовую. Этот человек не знает шатаний и парит не в облаках. Теперь, когда он залучил в дом надежную работницу, он может на некоторое время оставить за собой и телеграф. Это дает в год много денег и очень кстати, пока он не может особенно много продавать со своего участка. Все складывается очень хорошо, он весь в реальности. А от Бреде, который сделался его тестем, ему теперь нечего опасаться каких-либо покушений на телеграфную линию.

Счастье начинает улыбаться Акселю.

А время идет, зима миновала, опять наступает весна. Разумеется, однажды Исааку понадобилось в село. Его спросили, зачем.

— Да не знаю, — ответил он.

Но хорошенько вымыл телегу, приладил сиденье и поехал. И, разумеется, повез с собой разной провизии. Елисею в «Великое». Ведь ни разу никто не уезжал из Селланро без той или иной посылки Елисею.

Выезды Исаака были вовсе не заурядным событием, он ездил очень редко, обыкновенно посылал вместо себя Сиверта. На двух первых хуторах хозяева стоят в дверях землянки и говорят друг другу:

— Это сам Исаак, зачем он едет сегодня?

Когда он проезжает мимо Лунного, у окна стоит Варвара с ребенком на руках, смотрит на него и думает:

— Это сам Исаак!

Он подъезжает к «Великому» и останавливается:

— Тпру! Елисей дома?

Елисей выходит. Да, он дома, еще не уехал, но собирается в весеннюю поездку по южным городам.

— Вот, тут мать что-то такое тебе прислала, — говорит отец, — не знаю, что, но, верно, пустяки.

Елисей вынимает горшки, благодарит и спрашивает:

— А письмеца или чего-нибудь такого нет?

— Как же! — отвечает отец и начинает шарить по карманам, — должно быть, от маленькой Ревекки.

Елисей берет письмо, его-то он и ждал, он чувствует, что оно плотное и толстое, и говорит отцу:

— Жалко, что ты приехал так рано, лучше бы денька через два. Но, может, ты подождешь немножко, и свезешь мой чемодан.

Исаак слезает и привязывает лошадь. Он обходит участок. Маленький доверенный Андресен неплохой землепашец за счет Елисея, конечно; Сиверт приезжал ему помогать с лошадью из Селланро, но он и сам осушил порядочный участок болота и нанял человека обложить камнями канавки. Нынче в «Великом» не придется покупать корма для скотины, а на будущий год Елисей сможет, пожалуй, держать лошадь. Этим он обязан интересу Андресена к сельскому хозяйству.

Некоторое время спустя Елисей кричит, что он уложил чемодан и готов. Сам он тоже стоит на крыльце готовый

к отъезду, на нем красивый синий костюм, белый воротничок, на ногах галоши, в руках тросточка. Правда, он приедет за два дня до отхода парохода, но это не беда, он может подождать в селе, ему все равно, где быть.

И вот отец с сыном едут. Доверенный Андресен стоит в дверях лавки и говорит:

— Счастливого пути!

Отец заботится о сыне и хочет предоставить сиденье ему одному, но Елисей сейчас же отказывается и садится сбоку. Они проезжают мимо Брейдаблика. И Елисей вдруг вспоминает, что позабыл одну вещь.

— Тпру! Что такое?— спрашивает отец.

О, зонтик, Елисей позабыл дождевой зонтик, но не решается сказать и говорит только:

— Ну, делать нечего. Поезжай!

— Не повернуть ли?

— Нет, поезжай дальше!

Но, во всяком случае, чертовски досадно, что он стал так забывчив! Это второпях, оттого, что отец ходил по участку и ждал. Теперь Елисею придется купить второй зонтик, чтоб ходить с ним в Тронгейме, когда туда приедет. Ведь то, что у него будет два зонтика, никакой разницы не составит. Однако он так сердит на себя, что соскакивает на землю и идет позади телеги.

Так им не удается особенно много побеседовать, потому что отцу придется каждый раз оборачиваться и говорить через плечо. Он спрашивает:

— Ты надолго уезжаешь?

Елисей отвечает:

— Недели на три, самое большее на месяц.

Отец удивляется, как это люди не путаются в больших городах и не попадают невесть куда. Но Елисей отвечает, что если говорить о нем, то он привык к городам и ни разу не плутал, с ним этого никогда не случалось.

Отцу совестно сидеть одному, он говорит:

— Нет, теперь поезжай ты, мне надоело!

Но Елисей ни за что не хочет согнать отца с сиденья и предпочитает сесть сам. Но сначала они закусывают из большой отцовской котомки. Потом едут дальше.

Они подъезжают к двум нижним хуторам, и сразу видно, что они приблизились к селу, в обеих усадьбах белые занавески на маленьких оконцах, выходящих на дорогу, а на коньке сеновала укреплен жердь для флага в честь Семнадцатого мая.

— Это сам Исаак!— говорят люди на обоих хуторах, увидя проезжающих.

Наконец, мысли Елисея настолько отходит от его собственной особы и его собственных дел, что он спрашивает;

— Зачем ты едешь сегодня?

— Гм!— отвечает отец,— да ни зачем!— Но Елисей ведь уезжает, так что не беда, если он и узнает:— Да вот, еду за кузнецовой Иенсиной,— признается отец.

— Стоило ли тебе ехать из-за этого самому, разве не мог бы съездить Сиверт?— спрашивает Елисей.

Вот тебе и раз, Елисей ничего не понимает; он думает, значит, что Сиверт поехал бы за кузнецовой Иенсиной после того, как она так заважничала, что уехала из Селланро!

Нет, в прошлом году насчет сенокоса у них было неважно. Правда, Ингер здорово работала, как и обещала, Леопольдина тоже делала свое, да, кроме того, у них были конные грабли. Но сено — частью тяжелая тимофеевка, а покос большой. В Селланро теперь большое хозяйство, у женщин много другой работы, помимо уборки сена: сколько скота, кушанье надо приготовить во-время, да варить сыр, да сбивать масло, да стирать, да печь хлеба; мать и дочь выбивались из сил. Исаак не хотел пережить второе такое лето, он заявил, что Иенсина должна вернуться, если она свободна. Теперь Ингер тоже ничего не имела против, она опять образумилась и отвечала:

— По мне, делай, как хочешь!

Ингер стала теперь рассудительнее, немалая штука вернуть себе разум, когда его потеряешь. Ингер уже не нужно тушить внутренний жар, не нужно держать в узде какое-то особенное буйство, зима остудила ее, жар у нее остался для домашнего употребления, она начала понемножку полнеть, стала красивая, статная. Удивительная она была женщина: она не увядала, не отмирала по частям; может быть, это происходило оттого, что цвести она начала так поздно. Бог знает, отчего все происходит, ничто не имеет одной единственной причины, все имеет целый ряд причин. Разве Ингер не пользовалась величайшим уважением у кузнецих? За что кузнецихи могли ее осуждать? Благодаря обезображенному лицу, она пропустила зря свою весну, потом ее посадили в искусственную атмосферу и на шесть лет оторвали от лета; так как в ней оставалась жизнь, осень ее по неволе должна была дать буйные побег. Ингер была лучше всяких кузнецих, немножко поврежденная, немножко искривленная, но хорошая от природы, добродетельная от природы...

Отец и сын едут, подъезжают к гостинице Бреде Ольсена и ставят лошадь в сарай. Уж вечер. Они входят в дом.

Бреде Ольсену удалось снять этот дом; это был нежилой дом, принадлежавший торговцу, сейчас в нем устроены две комнаты и две каморки, он не плох и стоит на хорошем месте, заведение охотно посещается любителями кофе и жителями соседних сел и деревень, приезжающими к пароходу.

Кажется, на этот раз Бреде повезло, он попал на свое настоящее место, и этим обязан своей жене. Действительно, мысль о кофейне и гостинице пришла жене Бреде, когда она продавала кофе на аукционе в Брейдаблике, очень уж весело было торговать, чувствовать между пальцами скиллинги, наличные деньги. С тех пор, как они попали сюда, дела идут отлично, жена продает теперь кофе всерьез и дает приют многим, у кого нет крыши над головой. Проезжие ее благословляют. Конечно, ей помогает дочь, Катерина, она уже взрослая девушка и отлично прислуживает; но, конечно, это вопрос времени, потому что Катерине недолго придется пробыть в родительском доме и прислуживать. Но, пока что, оборот очень приличный, а это самое главное. Начало было очень хорошо и было бы еще лучше, если б торговец не подвел с крендельками и печеньем к кофе; а то в праздник Семнадцатого мая весь народ сидел и тщетно требовал хлеба к кофе, печенья! Это научило торговца запасаться печеньем к сельским торжествам.

Семья Бреде и сам он, как ни как, кормятся своим предприятием. Частенько обед состоит из кофе с черствым хлебом и печеньем, но это все-таки поддерживает жизнь, а дети приобретают благородную, можно даже сказать, изысканно благородную наружность.— Не у всех есть хлеб и кофе!— говорят сельчане. Семья Бреде, по-видимому, живет хорошо, они даже держат собаку, которая обходит гостей, ластится, получает лакомые куски и жиреет. Такая жиренная собака еще как может рекламировать кухню и стол в гостинице!

Сам Бреде Ольсен играет в этом доме роль хозяина; попутно он успел упрочить свое общественное положение. Он снова состоит понятым и постоянным спутником ленсмана, и одно время к услугам его очень часто прибегали; но в последнюю осень дочь его Варвара не поладила с ленсманшей из-за безделицы, попросту сказать, из-за вши, и с того времени Бреде стали недолго любить в доме ленсмана. Но Бреде от этого не очень в накладе, есть и другие господа, которые теперь обращаются к нему

как раз для того, чтоб позлить ленсманшу; таким образом он в большом фаворе у доктора, а пасторша, «так у той свиной-то столько нет, сколько раз она посылала за Бреде, их колоть»,— это его собственные слова.

Но, конечно, частенько семье Бреде приходится туговато, они не все такие жирные, как собака. Ну да, слава Богу, у Бреде характер легкий:— Дети все растут и растут!— говорит он, хотя постоянно появляются новые малютки. Те, что выросли и уехали, заботятся о себе сами и изредка посылают кое-что домой: Барвара живет замужем в Лунном, а Хельге служит в сельдяной артели; они уделяют родителям немножко провизии или денег, когда могут. Даже Катерина, прислуживающая дома, и та умудрилась сунуть отцу в руку пять крон как-то зимой, когда им пришлось очень туго.

— Вот так девчонка!— сказал Бреде, и не спросил откуда у нее бумажка и за что она ее получила. Так ведь и следует, дети должны любить родителей и помогать им!

В этом отношении Бреде недоволен сыном Хельге. Частенько Бреде стоит в мелочной лавке, окруженный слушателями, и развивает свои взгляды на обязанности детей к родителям.

— Взять для примера сына моего — Хельге: если он курит табак или выпьет рюмочку, я против этого ничего не скажу, все мы были молоды. Но не порядок, что он посылает нам письмо за письмом с одними поклонами. Не порядок, что он заставляет мать свою плакать. Это безобразие. В старину было по-другому: дети не успевали вырасти, как сейчас же поступали на службу и начинали помаленьку помогать родителям. Да так и должно быть! Разве не отец и мать носили их сначала под своим сердцем и трудились до кровавого пота, чтоб прокормить их, пока они не вырастут? А они это забывают!

И Хельге словно услышал речи отца, потому что вдруг пришло от него письмо с бумажкой, целых пятьдесят крон. И тут семья Бреде закутила во всю, купили мяса и рыбы для варева, и лампу с подвесками для парадной комнаты в гостинице.

День прошел, чего же больше? Жила и семья Бреде, жила, перебиваясь с хлеба на квас, но без больших трудов. Чего же больше желать!..

— Вот так гости!— сказал Бреде, провожая Исаака и Елисея в комнату с висячей лампой.— Нет, что я вижу! Ведь ты, надеюсь, не уезжаешь, Исаак?

— Нет, я только к кузнецу, по делу.

— Так, значит, это Елисей опять собрался на юг, по городам?

Елисей привык к гостиницам, он располагается, как дома, вешает пальто и палку на стену и заказывает кофе; закуска у отца с собой в котомке. Катерина приносит кофе.

— Нет, пожалуйста, не платите!— говорит Бреде.— Я так часто бывал в Селланро, и вы меня угощали, а у Елисея я и посейчас записан в книгах. Не бери ни одной эре, Катерина.

Но Елисей платит, вынимает кошелек и платит, а потом дает еще двадцать эре. Не безделица!

Исаак уходит к кузнецу, а Елисей остается.

Он говорит, что нужно, Катерине, только самое необходимое, не больше; разговаривать же предпочитает с ее отцом. Нет, Елисей не гоняется за девицами, его точно оттолкнуло от них когда-то, с тех пор он утратил к ним интерес. Может быть, в нем никогда и не было заложено любовного влечения, о котором стоило бы говорить, раз он живет, так, зря. Редкий экземпляр в деревне, господин с тонкими руками и женской страстью к франтовству, зонтикам, тросточкам и галошам. Испортили, что ли, подменили этого непонятого холостяка? И усы-то у него не хотят как следует расти. Но может быть и так, что поначалу он и был правильно устроен для продолжения рода, а потом попал в искусственную обстановку и превратился в кастрата? Или же он так усердно занимался в конторе в мелочной лавке, что вся его непосредственность исчезла? Может быть и так. Во всяком случае, он живет, добродушный и бесстрастный, немножко слабый, немножко апатичный, и уходит все дальше по своему ложному пути. Он мог бы завидовать любому человеку в деревне, но не способен даже на это.

Катерина привыкла шутить с гостями и поддразнивает Елисея, что, наверно, он опять едет на юг к своей душеньке.

— У меня другое на уме,— отвечает Елисей,— я еду по делам, завязывать сношения.

— Не приставай с глупостями к приличным гостям, Катерина!— останавливает ее отец.

О, Бреде Ольсен так вежлив с Елисеем, так почтителен, что прямо удивительно. Да ему и приходится быть таким, это очень умно, он должен в лавку в «Великом», он стоит сейчас перед своим кредитором. А Елисей? Ха, ему нравится эта вежливость, и он милостиво отвечает на нее:— Ваше благородие!— называет он Бреде в шутку и ломается. Рассказывает, что позабыл свой дождевой зонт:

— Мы как раз проезжали мимо Брейдаблика, и в эту минуту я и вспомнил про зонт.

Бреде спрашивает:— Ведь вы, наверное, пойдете к нашему торговцу вечером на стаканчик пунша?

Елисей отвечает:

— Да, будь я один. Но со мной отец.

Бреде настроен приятно и продолжает разговор:

— Послезавтра приезжает сюда один человек, который возвращается в Америку.

— Он приезжал домой на побывку?

— Да. Он из верхнего села. Уезжал бог знает на сколько лет, а теперь прожил зиму дома. Чемодан его привез сюда подводчик, вот это так чемодан!

— Я сам частенько подумываю об Америке,— откровенно говорит Елисей.

— Вы?— восклицает Бреде.— Да разве вам это нужно!

— Я, может быть, не остался бы там на вечные времена, не знаю. Но я уж много путешествовал, хотелось бы побывать и там.

— Разве что так. А они зарабатывают там пропасть денег, в этой Америке. Вот, взять хоть этого парня, с которым я разговаривал: он устраивал эту зиму пиры за пирами у себя в селе, а когда приходит ко мне, то говорит:— Дай мне целый кофейник кофе и все, говорит, печенье, какое у тебя есть. Хотите посмотреть его чемодан?

Пошли в коридор и осмотрели его чемодан. Чудо на земле, так и горит со всех сторон от металла и блях, с тремя пряжками, не считая замка.

— Не вскрыть отмычкой!— говорит Бреде, словно пробовал.

Они вернулись в комнату, но Елисей вдруг притих. Этот американец из верхнего села уничтожил его, он совершал свои путешествия, как самый важный чиновник; ясно было, что Бреде увлечен этим субъектом. Елисей спросил еще кофе и попробовал тоже разыграть богача, потребовал к кофе печенье и покормил им собаку, но чувствовал себя ничтожным и обескураженным. Что такое его чемодан перед тем чудом! Вон он стоит: черная клеенка, углы потерялись и побелели, ручной саквож,— ей, ей, он купит себе великолепный чемодан, как только приедет на юг, вот посмотрите!

— Вы напрасно беспокоитесь кормить собаку,— сказал Бреде.

И Елисей опять почувствовал себя до некоторой степени человеком и закривлялся:

— Прямо колоссально, до чего жирна эта собака,— сказал он.

Одна мысль перегоняла у него другую, он прервал беседу с Бреде и вышел, пошел в сарай к лошади. Здесь он вскрыл конверт, лежавший у него в кармане. Он просто сунул его тогда не посмотрев, сколько в нем денег; он уж раньше получал такие письма из дома, и в них всегда лежало несколько кредиток, пособие на поездку. Что-то в нем теперь? Большой лист серой бумаги, разрисованный маленькой Ревеккой для брата Елисея, потом записочка от матери. А еще что? Ничего? Больше ничего. Никаких денег.

Мать писала, что не решилась больше просить денег у отца, потому что сейчас от капитала, который они получили за медную гору, почти ничего не осталось, все пошло на покупку «Великого», а потом на товары и на поездки Елисея. Придется ему на этот раз справиться как-нибудь самому, потому что деньги, какие еще есть, должны пойти сестрам, а то они останутся совсем уж безо всего. Счастливого пути, и с любовью низкий поклон.

Никаких денег.

Своих денег на поездку на юг Елисею не хватало, он выскреб кассу в своей лавке и собрал не очень много. Ах, как же он сгупил, послав недавно своему поставщику в Бергене денежное письмо в уплату по нескольким счетам. Это могло бы подождать. Разумеется, он поступил очень легкомысленно: пустился в путь, не распечатав предварительно письма; он мог бы избавить себя от поездки в село со своим несчастным чемоданом. А вот теперь, извольте радоваться...

Отец возвращается от кузнеца, удачно покончив дело: Иенсину отпустят с ним завтра. Иенсина не упрямила, не заставила себя упрашивать, она сразу поняла, что им в Селланро нужна работница на лето, и согласилась поехать. Опять правильное поведение.

Пока отец рассказывает, Елисей сидит и думает о своем. Он показывает отцу чемодан американца и говорит:

— Как бы я хотел быть там, откуда приехал этот чемодан!

Отец отвечает:— Да оно бы не плохо!..

На утро отец собирается в обратный путь, запрягает лошадь и едет к кузнецу за Иенсиной и ее сундучком, Елисей стоит все время и смотрит им вслед; когда они скрываются за опушкой леса, он расплывается в гостинице и дает на чай:

— Пусть чемодан мой постоит у вас до моего возвращения,— говорит он Катерине и уходит.

Елисей,— да куда же он идет? У него только одно место, куда пойти,— он поворачивает назад: приходится опять постучаться домой. Он идет по пустоши, прежней дорогой, стараясь держаться на таком расстоянии позади отца и Иенсины, чтобы они его не увидели. Так идет он дальше и дальше. И теперь начинает завидовать каждому хуторянину.

Жаль Елисея, он совсем сбился с толку!

Разве у него нет торговли в «Великом»? Да ведь, не на чем разыгрывать барина, он совершает слишком много интересных поездок для завязывания сношений, они обходятся слишком дорого, он ездит недешево.

— Не надо быть мелочным,— говорит Елисей и дает двадцать эре, когда мог бы обойтись десятью. Торговля не может прокормить этого расточительного человека, ему необходимы прибавки из дому. Сейчас участок в «Великом» дает картофель, ячмень и сено для домашнего обихода, но остальные припасы приходится посылать из Селланро. Это все? Сиверт возит товары Елисею бесплатно с пристани. Все ли? Мать должна добывать ему денег от отца на разъезды. А теперь-то все ли?

Самое худшее осталось.

Елисей действует, как безумец. Ему так льстит, что люди приходят из села за покупками в «Великое», что он с радостью отпускает им в кредит; когда об этом узналось, народу стало приходиться все больше и больше, и все забирают в кредит, творится черт знает что; Елисей очень добр и отпускает, лавка опустошается снова наполняется. Все это стоит денег. Кто же платит? Отец.

Вначале мать его была верным адвокатом: Елисей считался в семье светлой головой, ему надо дать настоящий ход; вспомни, как дешево он купил «Великое», и как он точка в точку угадал, сколько за него дать! Когда отец говорил, что из его торговли выходит чепуха, мать отвечала:

— Что ты понимаешь!— Она даже сердилась за такие грубые выражения, выходило чуть ли не так, что почтенный Исаак слишком неуважительно относится к Елисею.

Ну да, мать сама путешествовала, повидала свет, она понимала, что, в сущности, Елисей пропадает в деревне, он привык к лучшим условиям жизни, стал общительнее и подвижнее, ему неоставало здесь общества равных ему по развитию. Он слишком много тратил на нестоящих людей, но это он делал не по испорченности и не для того, чтоб разорять родителей, а исключительно из

благородства и доброты характера, ему хотелось помочь людям, стоящим ниже его. Господи, да ведь во всей округе только у него одного и есть белые носовые платки, которые постоянно приходится стирать. Когда люди доверчиво обращались к нему за кредитом, если бы он ответил: нет, это поняли бы так, что он не такой добрый человек, каким его все считали. Кроме того, в качестве местного горожанина и гения, у него были особые обязанности.

Все это мать принимала во внимание.

Но отец, не понимавший по этой части ни аза, раскрыл ей однажды глаза и уши:

— Посмотри, вот что осталось от денег, какие мы получили за медную гору!

— Так,— сказала она,— а остальные где?

— Их забрал Елисей.

Она всплеснула руками и воскликнула:

— Нет, пора ему взяться за ум!

Бедный Елисей, он так изболтался, стал таким никчемным. Ему следовало бы все время оставаться деревенским жителем, теперь он человек, научившийся писать буквы, у него нет инициативы, нет глубины. Но он вовсе не злодей и не исчадие ада, он не влюблен и не честолюбив, он почти ничто, даже и ничтожество-то не очень большое.

На этом молодом человеке словно лежит печать какого-то несчастья и обреченности, словно заложена в нем какая-то порча. Пожалуй, было бы лучше, если б добрый окружной инженер не заметил его в детстве и не брал к себе в город, чтоб сделать из него человека; должно быть, у мальчика подрезали корни, и он зачах. Все, что он затевает, указывает на какой-то таящийся в нем дефект, какую-то черноту на светлом дне...

Он все идет и идет. Телега проезжает мимо «Великого», Елисей сворачивает в сторону и тоже обходит «Великое»; что ему делать дома, в своей лавке? Телега подъезжает к Селланро ночью, Елисей подходит следом за нею. Он видит, как Сиверт выходит во двор, и удивляется при виде Иенсины; они здороваются за руку и оба улыбаются, потом Сиверт берет лошадь и уводит ее в конюшню.

Елисей отваживается подойти ближе; гордость семьи теперь отваживается подойти. Он не идет, он крадется, застаёт Сиверта в конюшне.

— Это я,— говорит он.

— И ты тоже!— говорит Сиверт и опять удивляется.

Между братьями начинается тихий разговор: не упросит ли Сиверт мать, чтоб она дала сколько-нибудь денег на

дорогу, пусть выручит его. Так как сейчас, больше не может продолжаться, Елисей устал, он давно уже об этом думал, это должно случиться сегодня же ночью, большое путешествие, Америка, сегодня же в ночь.

— Америка?— громко произносит Сиверт.

— Тише! Я давно об этом думал, теперь ты должен уговорить мать. Так больше нельзя, и я давно об этом думал.

— Но в Америку — как же так?— говорит Сиверт.— Нет, не надо этого делать!

— Непременно. Я сейчас же уйду и захвачу пароход.

— Тебе верно надо поесть?

— Я не голоден.

— А поспать?

— Нет.

Сиверт любит брата и отговаривает его, но Елисей стоек, раз в жизни он стоек. Сиверт совсем сбит с толку, сначала он взволновался при виде Йенсины, а теперь вдруг Елисей хочет покинуть родину, все равно, что этот свет.

— А как же «Великое»?— спрашивает Сиверт.

— Пусть достанется Андресену,— отвечает Елисей.

— Как же оно может достаться Андресену?

— Разве он не женится на Леопольдине?

— Не знаю. Да, наверно, женится.

Они говорят шепотом и не могут наговориться. Сиверт предлагает позвать отца, чтоб Елисей поговорил с ним сам, но...— Нет, нет!— шепчет Елисей, он не может, у него никогда не хватало храбрости встречаться лицом к лицу с подобными опасностями, ему всегда был нужен посредник.

Сиверт говорит:

— А мать, ты ведь знаешь, какая она. Тебе не избежать слез и уговоров. Она не должна знать.

— Нет,— соглашается Елисей,— она не должна знать.

Сиверт уходит, пропадает на целую вечность, потом возвращается с деньгами,— много денег:

— Вот, больше у него нет. Как думаешь, довольно? Сосчитай, он не считал.

— А что отец сказал?

— Да ничего особенного. Подожди минутку, я сейчас оденусь и провожу тебя.

— Не надо, ложись спать.

— Ну, ты что же, боишься остаться один в темноте, в конюшне?— спрашивает Сиверт, со слабой попыткой подбодриться.

Он уходит на минуту и возвращается одетый, на плече у него отцовская котомка с припасами. Когда они выходят из конюшни, их встречает отец:

— Я слышал, ты собираешься уехать очень далеко?— говорит он.

— Да,— отвечает Елисей,— но я вернусь.

— Ну, ну, что же это я тебя задерживаю,— бормочет старик и круто поворачивается.— Счастливого пути!— как-то странно взлаивает он и поспешно уходит.

Братья спускаются по направлению к равнине, пройдя немного садятся и закусывают, и оказывается, что Елисей очень голоден, он никак не может наесться. Стоит чудесная весенняя ночь, на холмах во многих местах токуют тетерева, и этот родной звук на минуту сжимает изгнаннику сердце:

— Какая хорошая погода,— говорит он.— А теперь иди домой, Сиверт!

— Ну,— говорит Сиверт и идет дальше.

Они проходят мимо «Великого», мимо Брейдаблика, все время то тут, то там, на холмах токуют тетерева, это не духовая музыка, как в городах, нет, но это голоса, благовест, весна пришла. Вдруг слышится с вершины дерева первая пташка, она будит другую, со всех сторон несутся вопросы и ответы, это больше, чем песнь, это славословие. Должно быть, изгнанник чувствует что-то вроде тоски по родине, какую-то безнадежность, он едет в Америку, и никто не созрел для этого путешествия так, как он.

— Ну, а теперь, Сиверт, тебе пора поворачивать!— говорит он.

— Хорошо, хорошо,— отвечает, брат,— раз тебе так хочется.

Они садятся на опушке и видят впереди село, торговую площадь, пристань, гостиницу Бреде; несколько человек копошатся возле парохода, готовясь к отплытию.

— Однако, мне, пожалуй, некогда сидеть,— говорит Елисей, вставая.

— Жалко, что ты так далеко уезжаешь,— говорит Сиверт.

Елисей отвечает:

— Да ведь я вернусь. И тогда у меня будет не какой-нибудь клеенчатый чемодан для разъездов!

Прощаясь, Сиверт сует брату в руку какую-то вещичку, завернутую в бумагу.

— Что это?— спрашивает Елисей.

Сиверт отвечает:

— Пиши почаще!— И уходит.

Елисей разворачивает бумажку и смотрит: это золотая монета, те двадцать крон золотом!

— Нет, не надо, зачем ты это!— кричит он.

Сиверт не останавливается.

Пройдя немного, он поворачивает назад и опять садится на опушке. Внизу у парохода становится все оживленнее, он видит, как люди поднимаются по трапу, вот поднимается брат, пароход отчаливает. И Елисей уезжает в Америку.

Он так и не вернулся.

ГЛАВА X

По направлению к Селланро поднимается удивительная процессия, пожалуй, немножко смешная, если смотреть на нее, как на процессию, но не только смешная: три человека с огромными ношами, с мешками, свисающими у них вдоль груди и спины. Они идут гуськом и шутливо перекликаются между собой, но нести им тяжело. Первым в процессии идет маленький доверенный Андресен, да, впрочем, и процессия-то — его: он снарядил самого себя, Сиверта из Селланро и еще третьего, Фредрика Стрема из Брейдаблика, в эту экспедицию. Чертовски забавный человек этот доверенный Андресен, одно плечо у него перегнулось совсем к земле, а куртка съехала чуть не до пол-спины, так он идет, но упорно тащит свою ношу.

Он не купил по-настоящему «Великое» и торговлю после отъезда Елисея, на это у него нет средств; но у него есть средство получше: выждать время и, может быть, получить все задаром. Андресен далеко не дурак; пока что, он арендовал участок и понемножку торгует.

Он обревизовал товарную наличность и нашел множество непроданных предметов в лавке Елисея, вроде зубных щеток, невышитых дорожек для стола, даже птичек на стальной проволоке, которые пищат, если их подавить в надлежащем месте.

Со всеми этими товарами он пустился в странствие, он надумал продать их рудокопам за скалой. Еще со времен Аронсена он знает по опыту, что рудокопы при деньгах покупают все на свете. Сейчас его сердит только то, что

пришлось оставить дома шесть деревянных лошадок-качалок, купленных Елисеем в последнюю поездку в Берген.

Караван входит во двор Селланро и снимает с себя вьюки. Отдыхают недолго; напившись молока и предложив, для потехи, свои товары всем обитателям хутора, они скидывают вьюки на плечи и идут дальше. Затеяли-то они не одну только потеху. Они шагают по лесу в южном направлении.

Идут до полудня, обедают и идут до вечера. Потом ужинают и ложатся, спят часок-другой. Сиверт спит сидя на камне, который он называет мягким креслом. О, Сиверт в таких делах очень умен. Ведь солнце за день накалило камень, сидеть и спать на нем очень приятно, товарищи его не так сведущи и не слушаются советов, они ложатся на вереск и просыпаются с ознобом и насморком. Проснувшись, они завтракают и идут дальше.

Идут и прислушиваются, не услышат ли шума взрыва; они рассчитывают среди дня набрести на людей и шахты, работы наверное отошли уже далеко от моря по направлению к Селланро. Взрывов не слышно. Они идут до полудня, не встретив людей, но изредка проходят мимо больших ям в земле, выкопанных людьми для разведки. Что же это значит? Должно быть, на том конце скалы руда необыкновенно богата, они работают в чистойшей полновесной меди и почти не двигаются вверх от моря.

После полудня они натываются на несколько шахт, но народа не видать. Идут до вечера и уже внизу видят море, проходят пустыней покинутых шурфов и не слышат ни единого взрыва. Это поразительно, но надо поужинать и лечь соснуть — вторая ночь под открытым небом. Они совещаются: уж не кончились ли работы? Не повернуть ли им назад со своими товарами?

— И речи быть не может! — говорит доверенный Андресен.

Утром к месту их ночлега подходит человек, бледный, изнуренный человек, он хмурит брови и смотрит на них, пронизывает их взглядом:

— Это ты, Андресен? — говорит человек.

Это Аронсен, торговец Аронсен. Он не прочь выпить с караваном горячего кофе и закусить и присаживается:

— Я увидел ваш дым и захотел посмотреть, что это такое, — объясняет он. — Я подумал: вот увидишь, они взялись за ум и возобновили работу. А оказывается, это только вы! Куда вы собрались?

— Сюда.

— А что несете?

— Товары.

— Товары?— кричит Аронсен.— Вы пришли сюда продавать товары? Кому? Здесь нет народу. Все уехали в субботу.

— Кто уехал?

— Все. Здесь никого нет. А если бы и были, так у меня довольно товаров. У меня полная лавка. Вы можете купить товары, если хотите.

Ах ты, Господи, опять торговцу Аронсену не повезло: работа на руднике прекратилась.

Они успокаивают его второй кружкой кофе и распрощивают.

Аронсен подавленно мотает головой:

— Этому слов нету, это просто непонятно!— говорит он.— Все шло хорошо, он продавал свои товары и копил деньги, поселки вокруг благоденствовали, обзавелись манной кашей, новыми школами, лампами с подвесками и городской обувью. И вдруг господа находят, что больше не стоит работать и прекращают. Не стоит? Ведь до сих пор стоило же? Разве медная лазурь не выходит на белый свет после каждого взрыва? Это просто обман.

— И они не думают о том, что ставят такого человека, как я, в величайшее затруднение. Но, должно быть, оно так и есть, как они говорят, и опять всему виноват этот Гейслер. Не успел он приехать, как работа прекратилась, точно он пронюхал.

— Разве Гейслер здесь?

— Еще бы не здесь! Его следовало бы пристрелить. Он приехал однажды с пароходом и сказал инженеру:— Ну, как дела?— На мой взгляд, хорошо,— ответил инженер. А Гейслер стоит и опять спрашивает:— А! Так вы говорите — хорошо?— Да. Насколько мне известно,— ответил инженер. Но, благодарю покорно, когда распечатали почту, в ней оказались письмо и телеграмма инженеру о том, что больше не стоит, извольте прекратить работу!

Члены каравана переглядываются, но предводитель, карлик Андресен, видимо, не потерял мужества.

— Поворачивайте-ка домой!— советует Аронсен.

— Этого-то мы не сделаем,— отвечает Андресен, запакующая кофейник.

Аронсен смотрит поочередно на всех троих:

— Вы сумасшедшие!— говорит он.

Но доверенный Андресен не очень обращает внимание на своего бывшего патрона, он сам теперь патрон, это он

снарядил экспедицию в дальние края, повернуть обратно здесь, на скале, значило бы потерять весь свой престиж.

— Да куда же вы пойдете?— раздраженно спрашивает Аронсен.

— Не знаю,— отвечает Андресен. Но у него есть план, он верно думает о туземцах: вот он пришел втроем с большим запасом стеклянных бус и колец.

— Ну, пойдёмте,— говорит он товарищам.

Собственно говоря, выйдя нынче утром, Аронсен намеревался пройти подальше, может быть, ему хотелось посмотреть, все ли шахты опустели, правда ли, что ушли все до единого человека; но эти разносчики своим упрямым желанием непременно идти дальше расстроили его планы; он во что бы то ни стало должен отговорить их. Андресен бесится, он забегает вперед каравана, сразу поворачивается и кричит, вопит на них, защищает свою область. Так они доходят до поселка из барачков.

Пусто и уныло. Главные инструменты и машины внесены в помещения, но бревна, доски, ломаные повозки, ящики и бочки валяются повсюду без призора; кое-где на стенах построек прибиты плакаты, воспрепятствующие вход.

— Видите!— кричит Аронсен.— Ни души! Куда вы идете?— И грозит каравану великими бедами и ленсманом; сам он пойдет за ними по пятам и посмотрит, не торгуют ли они запрещенными товарами.— А за это тюрьма и каторга, бум констант!

Вдруг кто-то окликает Сиверта. Поселок не совсем покинут, не совсем мертв; у одного из домов стоит человек и манит рукой. Сиверт шагает к нему со своей ношей и сразу узнает его: это Гейслер.

— Вот удивительная встреча!— говорит Гейслер. Лицо у него красное, цветущее, но глаза, должно быть, болят от весеннего света, он в темном пенсне. Речь у него такая же живая, как прежде:— Чудесная встреча!— говорит он,— это избавляет меня от путешествия в Селланро, у меня так много хлопот. Сколько у вас теперь хуторов в пустоши?

— Десять.

— Десять хуторов? Это я одобряю, я доволен! Нам надо бы иметь 32 тысячи таких молодых, как твой отец! Говорю я, и опять одобряю, я это высчитал.

— Ты идешь, Сиверт?— кричит караван.

Гейслер слышит и резко отвечает:— Нет!

— Я догоню,— кричит Сиверт и снимает свои тюки.

Оба садятся и разговаривают; на Гейслера снизошел дух, и он смолкает лишь на то время, когда Сиверт дает краткий ответ, потом опять раздражается:

— Исключительный случай, я не забуду его! Вся эта моя поездка была замечательно удачна, а тут еще я встречаю тебя, и мне не надо делать крюк, чтоб попасть в Селланро! У вас все благополучно дома?

— Да, спасибо на спросе.

— Построили вы новый сеновал над скотным двором?

— Да.

— А я так занят, у меня дел скоро будет выше головы. Видишь, например, Сиверт, где мы сейчас сидим? На развалинах города. Люди построили его прямо на свою беду. В сущности, во всем виноват я, то есть, я был одним из посредников в маленькой игре судьбы. Началось с того, что отец твой нашел несколько камешков на скале и дал их тебе поиграть, когда ты был маленьким. С этого и началось. Я хорошо знал, что эти камни имеют только ту цену, какую люди захотят заплатить за них, ну, что ж, я назначил за них цену и купил. Потом камни стали переходить из рук в руки и производили свое разорительное действие. Время шло. Теперь я приехал сюда несколько дней тому назад, и знаешь зачем? Я хочу купить эти камни обратно!

Гейслер умолкает и смотрит на Сиверта. Он замечает мешок и вдруг спрашивает:

— Что это ты несешь?

— Товары, — отвечает Сиверт, — мы идем с ними в село.

Ответ видимо не интересует Гейслера, да, может быть, он и не слышал, он продолжает:

— Стало быть, купить обратно камни. Последний раз я велел моему сыну продать их, он молодой человек твоих лет и, в общем, ничего больше. В семье нашей он — молния, я — туман. Я из тех, что знают, как надо поступать, но не поступают. А он — молния; сейчас он поступил на службу промышленности. Это он в последний раз продал вместо меня. Я — нечто, про него этого не скажешь, он только молния, быстрый, современный человек. Но молния сама по себе бесплодна. Возьмем вас, обитателей Селланро: вы смотрите каждый день на какую-нибудь синюю скалу, это не выдуманные вещи, это древние скалы, они стоят, глубоко зарытые в прошлое; но для вас они — товарищи. Вы живете вместе с землей и небом и составляете с ними одно, составляете одно с этой ширью и неподвижностью. Вам не нужен меч в руку, вы проходите жизнь с пустыми руками и обнаженной головой среди великой ласки. Смотри, вот

природа, она твоя и всех твоих! Человек и природа не палят друг в друга из пушек, они воздают друг другу должное, не конкурируют, не состязаются ни в чем, они следуют друг за другом. Среди всего этого вращаетесь вы, обитатели Селланро, и существуете. Скалы, лес, болота, луга, небо и звезды — о, это не бедно и не отмерено, это беспредельно. Послушай меня, Сиверт: будь доволен! У вас есть все, чем жить, ради чего жить, все, во что верить; вы рождаетесь и производите, вы необходимы на земле. Вы поддерживаете жизнь. Из поколения в поколение вы живете в неустанном строительстве, и когда вы умираете, на ваше место заступают новые строители. Вот это-то подразумевается под вечной жизнью. Что жизнь в простом и правильном положении по отношению ко всему. Что вы за это имеете? Никто не дергает вас и не командует вами, вы имеете покой и авторитет, вы окружены великой лаской. Вот что вы за это имеете. Вы лежите у груди, играете теплой материнской рукой и сосете. Я думаю о твоём отце, он один из тридцати двух тысяч. Что такое многие другие? Я — кое-что, я — туман, я здесь и там, я плаваю, иногда я — дождь на пересохшую почву. А другие? Мой сын — молния, которая — ничто, он — бесплодное сверканье, он может действовать. Мой сын — тип нашего века, он искренно верит в то, чему век научил его, в то, чему научили его евреи и янки; я на все это качаю головою. Но во мне нет ничего загадочного, только в своей семье я — туман. Там я сижу и качаю головой. Дело в том: мне не дано способностей для нераскаянного поведения. Будь у меня эта способность, я и сам мог бы быть молнией. Теперь я — туман.

Вдруг Гейслер словно опять приходит в себя и спрашивает:

— Вы поставили сеной сарай над скотным двором?

— Да. А отец построил новую избу.

— Еще избу?

— Он говорит, на случай, если кто приедет, на случай, говорит, если приедет Гейслер.

Гейслер думает и решает:— В таком случае, я непременно приду. Да, приду, так и скажи отцу. Но у меня так много дел. Вот я приехал сюда и сказал инженеру:— Передайте от меня господам в Швеции, что я — их покупатель! Увидим, что из этого выйдет. Мне-то ведь все равно, я не тороплюсь. Но посмотрел бы ты на инженера: он работал здесь, возился с людьми и с лошадьми, с деньгами, с машинами, с разорением, был убежден, что делает настоящее дело. Чем больше камней

он превратит в деньги, тем лучше; он думает, что делает этим нечто весьма почтенное, доставляет деньги селу, деньги стране; гибель подходит к ним все ближе и ближе, а он не понимает положения; стране нужны не деньги, у страны денег более, чем достаточно; чего мало, так это таких людей, как твой отец. Подумать только — превратить средство в цель и гордиться этим! Они больны и безумны, они не работают, они не знают плуга, знают только игральные кости. Разве они достойны уважения, разве они не изводят себя своим безумием? Посмотри на них, ведь они ставят на карту все! Ошибка только в том, что игра вовсе не зазор, она даже не мужество, она ужас. Знаешь, что такое игра? Это страх, когда лоб холодеет от пота, вот что это такое. Ошибка в том, что они не хотят идти в такт с жизнью, а хотят идти скорее ее, они несутся, вламываются в жизнь, как клинья. Но тут бока их говорят — стоп, что-то трещит, ищи лекарство, остановись, бока! А жизнь давит их, вежливо, но решительно. И тут начинаются жалобы на жизнь, ожесточение против жизни! Каждому свое; у одних, пожалуй, есть причины жаловаться, у других нет, но никто не должен бы злобствовать на жизнь. Не надо быть строгим, справедливым и жестоким к жизни, надо быть милосердным к ней и брать ее под свою защиту: надо помнить, с какими игроками приходится возиться жизни!

Гейслер смолкает на минуту, потом говорит:— Ну, да пусть будет, как будет!— Он, видимо, устал, начинает зевать.— Ты идешь вниз?— спрашивает он.

— Да.

— Ну, торопиться некуда. За тобой еще большая прогулка по скалам, помнишь, Сиверт? Я все помню. Я помню себя полтора-годовалым мальчонкой: я стоял и качался на помосте у сеного сарая в поместье Гармо в Ломе и чувствовал определенный запах. Я и сейчас чувствую этот запах. Ну, да и это все равно; но мы могли бы пройтись сейчас по скалам, не будь у тебя этого мешка. Что у тебя в мешке?

— Товары. Это Андресен понес их продавать.

— Стало быть,— я человек, знающий, как надо поступать, но так не поступающий,— говорит Гейслер.— Это надо понимать буквально. Я — туман. Вот на днях я, может, куплю эту скалу, это не невозможно; но и в таком случае я не стану смотреть в небо и говорить: воздушная дорога! Южная Америка! Это для игроков. Здесь народ думает, что я, должно быть, сам дьявол, раз я знал, что

здесь будет крах. Но тут нет ничего таинственного, все очень просто: новые залежи меди в монтане. Янки игроки похитрее нас, они забивают нас конкуренцией в Южной Америке; наша руда слишком бедна. Мой сын — молния, он получил сообщение, и я приплыл сюда. Вот как это просто. Я опередил шведских господ на несколько часов, вот и все.

Гейслер опять зеваает и говорит:— Если тебе надо вниз,— пойдём!

Они идут вниз, Гейслер плетется сзади и раскис. Караван остановился у пристани, веселый Фредрик Стрем дразнит Аронсена во всю:

— У меня вышел весь табак, есть у вас табак?

— Вот я дам тебе табаку!— отвечает Аронсен.

Фредрик смеется и утешает его:— Да вы не огорчайтесь так, не принимайте так близко к сердцу, Аронсен! Мы только продадим у вас на глазах эти товары, а потом уйдем домой.

— Пойди, вымой свою харю!— озлобленно кричит Аронсен.

— Ха-ха-ха, зачем же вы подпрыгиваете так некрасиво, вы должны стоять, как на картине!

Гейслер устал, ужасно устал, даже темное пенсне не помогает, глаза его смыкаются от яркого весеннего света:

— Прощай, Сиверт!— внезапно говорит он.— Нет, мне все-таки не удастся в этот раз побывать в Селланро, скажи отцу: у меня столько хлопот. Но я приеду попозже!

Аронсен плюет ему вслед и повторяет:

— Его бы следовало пристрелить!..

В три дня караван распродает свои мешки и по хорошей цене. Дело оказалось блестящим. У людей в селе еще осталось много денег после краха, и они всячески старались поскорее спустить их; им понадобились даже птички на проволоке, они поставили их на комоды в горнице; накупили и красивых ножей, разрезать календари. Аронсен неистовствовал:

— Как будто у меня нет точно таких же великолепных вещей в лавке!

Торговец Аронсен переживал страшные муки, ему следовало бы хорошенько последить за этими разносчиками, но они разделились и пошли в село поодиночке, и он разрывался на части, бегая за всеми троими. И вот он сначала бросил Фредрика Стрема, который был всех неприятнее на язык, потом Сиверта, потому что тот никогда не отвечал ни слова, а только продавал; Аронсен решил сопровождать своего бывшего доверенного и бороться против него в избах. Но доверенный Андресен отлично

знал своего бывшего хозяина и его неосведомленность по части торговли и запрещенных товаров.

— А, так, значит, английские катушечные нитки не запрещены?— спросил Аронсен, притворяясь знатоком.

— Как же,— ответил Андресен.— Но я и не принес сюда катушек, их я могу продать на равнине. У меня нет ни одной катушки ниток, посмотрите сами.

— Ладно уж. Но ты видишь, я знаю, что запрещено, а что нет, не тебе меня учить!

Аронсен выдержал один день, потом бросил и Андресена и ушел домой. Разносчики остались без надзора.

А дело шло великолепно. Это было в те дни, когда женщины носили локоны, и доверенный Андресен оказался великим мастером продавать локоны, он в одну минуту мог продать белокурые локоны черноволосым девушкам и только жалел, что у него не было локонов посветлее, седых, потому что те ценились всего дороже. Каждый вечер приятели сходились на условленном месте, делились сообщениями и пополняли, занимая друг у друга, запасы товаров; потом Андресен присаживался с напильником и вычищал германскую фабричную марку с охотничьего рога или соскабливал клеймо «Фабер» с пеналов. Андресен был мастер на все руки.

Зато Сиверт оказался не на высоте. Не то, чтобы он ленился или не сбывал товары, нет, он продавал больше всех, но выручал слишком мало денег.

— Ты мало разговаривашь,— сказал Андресен.

Нет, Сиверт не болтал, как за язык повешенный; он был хуторянин, скуп на слова и спокоен. О чем было болтать? Кроме того, Сиверту хотелось отделаться к празднику и попасть домой, там ждали полевые работы.

— Это Иенсина его зовет!— говорил Фредрик Стрем.

У самого Фредрика, впрочем, тоже были весенние работы, и некогда было терять время, но в последний день он все-таки отправился к Аронсену, поругаться!

— Я хочу продать ему пустые мешки,— сказал он.

Андресен и Сиверт тоже пошли и подождали, пока Фредрик был у Аронсена. Они слышали отборнейшую ругань из лавки и по временам смех Фредрика; вдруг Аронсен распахнул дверь и стал выпроваживать гостя. Но Фредрик не уходил, нет, он не торопился и продолжал говорить; они слышали, как он напоследок пытался всучить Аронсену деревянных лошадок.

Потом караван направился домой — три парня, полных молодости и здоровья. Они шли и пели, прспали несколько часов на скале и опять пошли. Когда в понедельник они

подходили к Селланро, Исаак как раз начал сеять. Погода была подходящая: влажный воздух, изредка проглядывало солнце, огромная радуга перекинулась через все небо.

Караван расходится. Прощай, прощай...

Исаак ходит и сеет, мельничный жернов фигурой, чурбан. Он ходит в домотканном платье, шерсть от его собственных овец, сапоги из кож его собственных телят и коров. Он ходит с набожно обнаженной головой и сеет, темя и макушка у него лысые, но ниже он по-прежнему страшно волосат, волосы и борода кольцом окружают его голову. Это Исаак, маркграф.

Он редко знал точное число месяца, зачем оно ему! У него не было бумаги на записи: кресты в календаре указывали время отела коров. Но осенью он знал день святого Олафа, к этому времени у него бывало свезено все сено, знал весной Благовещенье, и что через три недели после Благовещенья медведь выходит из берлоги: к этому времени все семена должны быть в земле. Он знал все, что было нужно.

Он — деревенский житель и телом, и душой, и землепашец, не знающий пощады. Выходец из прошлого, прообраз будущего, человек первых дней земледелия, отроду ему девятьсот лет, и все же он сын своего века.

Нет, у него ничего не осталось от денег, полученных за медную гору, они улетели! Да и у кого они были после того, как скала опустела? На пустоши же выросло десять хуторов, и она ждет сотни других.

Разве здесь ничего не растет? Здесь растет все, люди, животные и растения. Исаак сеет. Вечернее солнце озаряет ячмень, дугою сыплется он из его руки и золотым дождем падает на землю. Вот идет Сиверт и заборонит его, прикатает катком, потом опять заборонит. Лес и скалы стоят и смотрят, все — высь и ширь, здесь есть связь и цель.

Клинг-линг! — говорят колокольчики высоко на откосе, все ближе и ближе: скотина пробирается к вечеру домой. Пятнадцать коров и сорок пять штук мелкого скота, всего шестьдесят голов. Вон идут к летнему загону женщины со множеством подоюников, они несут их на коромысле через плечо, — Леопольдина, Иенсина и маленькая Ревекка. Все три босиком. Маркграфиня не с ними. Сама Ингер дома, готовит обед. Она расхаживает по дому, высокая и статная, весталка, поддерживающая огонь в кухонной плите. Ну, что ж, Ингер поплавала по бурному морю, побывала в городе, теперь она опять дома; мир велик, он бурлит от множества мест, Ингер тоже бурлила. Она была почти никем среди людей, ничтожная единица. Наступает вечер.

**ЖЕНЩИНЫ
У КОЛОДЦА**



Жители больших городов не имеют понятия о величинах и масштабах маленьких городов. Им кажется, что вот они придут, станут на базарной площади и с улыбкой превосходства начнут рассматривать дома и мостовую — вот как они обычно представляют себе дело! Но разве старожилы городка не помнят времени, когда дома были еще меньше, а мостовая еще хуже? Город вырос на их глазах. Во всяком случае, К. А. Ионсен выстроил себе огромный дом — Ионсен с пристани — настоящий барский дом, с верандой в нижнем этаже и балконом на верхнем, и резным карнизом вокруг всей крыши. Выросло немало и других дорогих сооружений — школа, парходная пристань, разные торговые строения, таможня, сберегательная касса — тут смеяться не над чем! Городок имеет нечто даже в роде пригорода, предместья, — в нем живет несколько десятков семейств на каменных пригорках возле верфи — все нарядные домики, выкрашенные в желтый, красный или белый цвет, соответственно вкусу владельца, — домики, которые в свое время поглотили немалую толику сбережений. Впрочем, времена упадка и процветания приходят и для больших городов — без этого не обходится! Но слышал ли кто-нибудь, чтобы Ионсен с пристани стоял, разводя руками, и не знал, за что приняться?..

В городишке имеются свои сильные мира, своя знать, свои солидные дома с живущими в них нарядными барчуками и барышнями, свое постоянство и свой авторитет. И городишко занято своими сильными мира; добрые провинциалы по ним измеряют свое горе и радости, они живут под сенью власти и процветают в ней, — да так оно и должно быть. Люди помнят тот день, когда Ионсен с пристани стал консулом; в ту пору каждого,

кто заходил в его лавку, потчевали печеньем и выпивкой, и находились даже такие бесстыдники, что забегали и выпивали по два раза!

Рыбак Йорген в то утро сидел в своей лодке совершенно так же, как и сейчас, и ловил рыбу для большого званого обеда. Это был день торжества и блеска, новый консул был так еще молод, что всем широко раскрывал объятия, он и вообще-то был человек обходительный, любил вино, девушек и песни, устроил пирушку и созвал весь город. И как все отлично вышло! Народ помнит, что о ней писали в газете, женщины до сих пор вспоминают об этом, когда сходятся у колодца. Иногда поднимается спор из-за какого-нибудь пустяка. Лидия, например, скажет: — Мне ли не знать, когда я работала в этот день на кухне? Другая женщина упрется на своем: — Иди, спроси самого Йонсена! — А мне и этого не нужно, — говорит третья. — Ведь я сохранила номер газеты!

Но этот великий день был добрых шесть-восемь лет тому назад.

Кузнец Карлсен не хуже женщин помнит этот день. Он весьма почтенный человек, к тому еще вдовец со взрослыми детьми, не какой-нибудь молодой вертопрах, — да, так он стоял себе смиреннько в своей кузне и благодарил бога за этот праздник, как и за все другие дни, которые ему довелось прожить. Такой уж он был человек — богобоязненный! Каждое крупное и радостное событие в городке он понимал так, что ему и прочим людям надлежит благодарить бога! Он не очень на этот счет распространялся, да его не особенно и слушали; но обыватели уважали его: это был ожесточенный и неблагодарный люд, как всюду, кузнец же Карлсен был во всяком случае примерный гражданин городка.

Было тут немало и других типов и любопытных фигур: Олав с лужайки, рыбак Йорген, столяр Маттис, почтмейстер — много их было. Жизнь не так уж быстро изнашивает их, иные с годами совершенно не меняются, так они выносливы. Почтмейстер также набожен на свой лад — кузнецу Карлсену под стать; но весь прочий люд в городе полон мирской суеты и неглубок. Нельзя сказать, чтобы община не имела пастора; но он только крестит, причащает, венчает и отпевает обывателей, больше он ни на что им не нужен, и о нем даже не говорят.

О, этот крохотный муравейник! Все заняты своим, пересекают друг другу пути, отпихивают друг друга в

сторону, иногда даже наступают друг на друга. Иначе это быть не может, иногда они наступают друг на друга...

И теперь рыбак Иорген сидит совершенно так же, как шесть-восемь лет тому назад, и ловит рыбу для званого обеда. Хотя настало уже воскресное утро, он сидит; ему хочется вернуться домой с изрядным запасом. В других местах началось уже движение, подувает утренний бриз, Иорген натуживается, он должен безостановочно грести, чтобы сообразоваться с береговыми сигнальными вежами. Он сидит с двух часов ночи!

Наверху, в городе, не видно ни души. Иорген нанизывает рыбу на шнур и несет ее по улицам. Он стучит тяжелыми сапожищами, это коренастый сутуловатый человек в исландской фуфайке и зюйдвестке, в общем малорослый, скорей худощавый, с короткой нижней частью туловища. Но Иорген упруг и вынослив, никогда не бывает настолько болен, чтобы лежать в постели, никогда не бывает в угнетенном состоянии духа; простуду он лечит тем, что не обращает на нее никакого внимания.

Он подходит к большому дому К. А. Ионсена, вешает связку рыбы на кухонную дверь и шагает домой.

Из трубы его домика вьется дымок — стало быть, Лидия уже на ногах; она, конечно, завидела его челнок и спешит сварить кофе. Лидия — это его жена; у нее темные курчавые волосы, и она своенравный человек, но очень дельная женщина, настоящая хозяйка его дома.

Иорген входит в дом.

— Тише! — шипит Лидия и с выражением тревоги указывает на детей, мальчика и двух девочек, которые зашевелились спросонок. Иорген стаскивает сапоги и исландскую фуфайку, пьет кофе, съедает завтрак и уходит в каморку спать. — Не скрипи дверь! — шипит Лидия сквозь стиснутые зубы.

Ну, так и есть: старшая из девочек просыпается и встает! Так это всегда бывает! За ней проснулась и вторая, лежавшая рядом. Мать пришла в ярость, распахнула дверь и крикнула мужу:

— Смотри, ты их всех разбудил на мою напасть! — И она кричала до тех пор, пока не разбудила и мальчика.

Лидия вспылчива, но гнев ее непродолжителен; пока дети болтали между собою, она убрала в доме и принялась мурлыкать песенку. Она тихонько приотворила дверь в каморку и спросила:

— Ну, ты не спал? То есть, я хотела сказать: удался ли лов? Не слышал ли ты, кто приглашен в гости?

Нет, он не заходил туда.

— Ну, теперь молчи и спи,— говорит Лидия, закрывая дверь. И громко, на весь дом, начинает забавлять детей, чтобы их успокоить.

Продолжая прибираться в доме и напевать под работу, она не перестает думать: ее занимает вопрос о гостях. В прежние годы Ионсен с пристани умел устраивать пирушки, к ним готовились за несколько дней, и приглашали народ помогать на кухне. Лидия сама получала такие приглашения; на сегодня она его не получила,— вероятно, гостей будет немного, наверное, только сын, Шельдруп Ионсен, пригласил к себе нескольких сверстников.

Позже утром стало известно, что в этот день отойдет пароход К. А. Ионсена. Лидия уже не сомневается, что предстоит сногшибательное торжество для капитана и именитых лиц города; но в кухне обойдутся без нее. Ладно, счастливой дороги! Она принарядила детей, смыла с них грязь, начистила их башмачки жиром с сажей, и сама надела приличное платье.

Настал полдень, к пристани потянулись люди. Была уже весна, и горожане были одеты в легкие светлые платья, так что смотреть приятно было. «Фиа» уже приняла груз и была готова к отплытию.

Это был уже не новый корабль, он был построен в те времена, когда приличный грузовой пароход можно было купить за двести тысяч крон, не дороже; теперь он куплен в Гетеборге Ионсеном с пристани, который перекрасил его и назвал «Фиа» — в честь своей дочурки. Во что должно было обойтись купить такой корабль, выкрасить его, обновить! Рассказывали, что одна только перемена названия обошлась в крупную сумму. Но что такое деньги для Ионсена с пристани? И вот стоит «Фиа», единственный пароход городка, его чудо!

Разумеется, и сама маленькая Фиа находилась на своем пароходе в тот час, когда он должен был отвалить; она сидела в каюте со своими родителями и капитаном. Был на борту, разумеется, и ее брат, юный Шельдруп. Он большого роста и почти уже взрослый парень, в светлом костюме, с черным бархатным воротником на куртке, согласно тогдашней моде. Это был бойкий парень, наследник дома Ионсенов, темноглазый, как и его отец, и с пушком на щеках. Перед ним слетали шапки, и он отвечал на поклоны, пройдя с обнаженной головой почти весь путь к каюте.

Пары были разведены, из трубы валил дым. На палубе царила тишина, штурман с экипажем стояли у бортов, поплеывая в море, и вполголоса переговаривались со знакомыми на берегу. Парень Оливер Андерсен знал свое место и держался поодаль, впереди. Он много плавал на парусной шхуне и был матрос — рядовой голубоглазый юноша из народа, сильный и смелый, сын вдовы. Он был ниже среднего роста, но хорошо сложен, он смахивал на портреты Наполеона; но теперь у него появилась борода, и он был сам по себе. Именно в этом году он собирался обзавестись собственным домиком из красного камня и расширить его пристройкой — он уже думал о своем будущем! — Ладно, — говорит он своей вдове-матери, которая стоит на пристани, спрятав руки под платок, — ладно, я напишу из Средиземного моря!

Хорошо он это сказал, совсем как взрослый! И так он в сущности говорит со всеми на суше: с девушками, с Петрой, которую он теперь должен покинуть. Вот она стоит с обручальным кольцом на пальце!

— И не забудь же поливать сад! — говорит он дальше. Но это Оливер просто пошутил: богу и людям известно, что у него нет сада. Мать его только сажает морковь и репу у стенки дома. Она ответила ему понимающей улыбкой; она знала своего сына, в его шутке не было ничего дурного. И за что он мог бы на нее сердчать? Она хорошего мнения о своем сыне: у него добрые наклонности, и он умеет проявлять их кстати.

Второй штурман на минуту пробирается вперед — на пристани стоит и его милая. — Бросай! — кричит он с преувеличенной деловитостью и указывает на конец каната.

Оливер бросает. Ему, впрочем, нужно бы на одну минутку на берег, — чтобы передать своей милой сверток с изюмом, лежащий у него в кармане. Ему необходимо сойти на берег! Впрочем, он устроит дело и с того места, где находится.

— Карлсен! — кричит он, окликая кузнеца. — Как хорошо, что я вас увидел! Я вам еще должен за железные листы к моим кровельным желобам!

Карлсен смущается, чувствуя, что на него устремлены все глаза, и отвечает:

— Брось это дело, не задерживайся; будет время, когда вернешься!

Но Оливер уже вынул свой кошелек и протягивает деньги через поручни.

— Так, что-ли? — спрашивает он.

Оливеру очень приятно, что он показал себя таким платежеспособным на глазах у всей собравшейся публики. Кто тут стоит свидетелем его поступка? Петра и весь мир! Тут же стоит и Лидия со своими детьми, а язычок у нее преострый! Поодаль стоит ее муж, рыбак Иорген; но когда именитые лица города начинают проходить, и как раз мимо его уголка, он отодвигается подальше вдоль пристани и находит себе более спокойное местечко.

Вот пришли великие мира — судовладельцы, доктор, наиболее уважаемые из купцов, некоторые даже прямо от обеденного стола у консула — все с цветами в петличках, и в цилиндрах! Был тут и адвокат Фредриксен; час отплытия наступил, но адвокат Фредриксен должен еще сказать несколько торжественных слов в напутствие. Он привык держать речи, он устраивал в городе митинги и говорил на них.

Из каюты вынырнуло семейство Ионсенов, сам К. А. Ионсен с живыми карими глазами и брюшком богатого купчика, и фру Ионсен с маленькой Фией, которую она вела за ручку. Все уступали им дорогу, ни одного ребенка не осталось по пути их шествия. Люди, владеющие пароходами, должны иметь свободный проход на собственной пристани, это ведь только справедливо!

Капитан быстро поднялся на мостик и позвонил в машинную.

— Пускай! — Канаты подняты на борт. Он снимает шапку, семья и друзья с пристани кланяются в ответ, корабль дрожит и подается назад. Оливер в последний момент бросает на пристань свою бакалейную лавочку, и видит, что она упала, где нужно.

Настал, настал момент: адвокат Фредриксен выступает вперед, высоко поднимает свой цилиндр и желает здоровья и счастья кораблю, хозяину и экипажу. — Ура! — раздается на пристани.

И «Фиа» поплыла в Средиземное море.

Бакалейный кулек попал на сушу; но это был неудачливый и бесстыдный кулек, он лопнул, когда упал, и изюм рассыпался по доскам пристани. В наступившем молчании Петра с досадой улыбалась, готовая расплакаться, мать Оливера принялась собирать изюм в платок, останавливала детей, уговаривала их не топтать божьего дара. Городская знать и самое семейство Ионсенов прошли мимо этого маленького поля сражения; молодой Шельдруп Ионсен отделился, проходя мимо, улыбнулся и тихо сказал Петре:

— Собери же свой изюм!

Петра стала краснее крови, потупилась и чуть не провалилась сквозь землю...

Женщины у колодца долго вспоминали этот день! Они могли расхотиться насчет мелочей, но фру Йонсен во всяком случае была тогда в красивых черных шелках, а на плечах у нее красовалось манто с шелковыми бахромками. Шляпа была совсем особого рода, с широкими тонкими полями, которые покачивались вверх и вниз, когда она двигалась, и с одним единственным большим пером.

Дальнейшего же никто не вспоминал, потому что все были заняты своими делами. Оливер осенью вернулся домой без «Фии». Да, он сильно расшибся, его чуть не убило насмерть, он сделался калекой. Иначе не бывает! Когда падаешь с такелажа и ломаешь себе ребро, то пережить это можно, но памятка остается во всяком случае. А на Оливера ведь свалилась бочка с ворванью и сломала ему и тазовую кость, и бедро; он стал калекой и пережил это. Его положили в больницу итальянского портового городка, но, видно, плохо лечили, и ногу пришлось отнять. Прошло семь месяцев, и он вернулся домой.

Петра, его любезная, держала себя молодцом и с твердостью встретила это страшное испытание. Она была самая обыкновенная девушка, как все другие; но у нее были и хорошие качества.

Маттис с большим носом, который был в учениках у столяра и теперь служил подмастерьем, отправился к Петре и сказал ей:

— Это несчастье!

— Какое несчастье? — спросила она.

— Что Оливер вернулся домой в таком виде. Разве ты этого не знаешь?

Петра с досадой, но спокойно ответила: — Еще бы мне этого не знать; разве я не получала письмо за письмом?

— Его повредило, — промолвил Маттис.

— Да, — отвечала Петра.

— Значит, теперь он один из тех, которые не могут прокормить себя, не говоря уже о других; и как же теперь будет?

— Не твоя забота, — коротко ответила Петра.

Она не проявила сильного горя, по-видимому, не жалела себя, да, пожалуй, не очень жалела и своего милого.

— С приездом. Добро пожаловать! — сказала она ему.

Оливер промолчал, но за него ответила мать: — Да, видишь — вот он приехал...

— У тебя деревянная нога? — промолвила Петра.

Оливер глянул в сторону и проговорил:— Это нетрудно заметить.

— И костыль,— прибавила мать.

— Это я только поначалу еще слаб...

— Больно? — спросила Петра про ногу.

— Ничего подобного!

— Ну, хоть это хорошо! — Петра стала собираться домой.— Я хотела только заглянуть на минутку.

Так он и не успел вручить ей привезенных для нее подарков: белого ангелочка и подноса с инкрустациями из дерева разных сортов. Отчего она была так суха и неразговорчива? Она ведь знает, что он всегда привозит ей что-нибудь, когда возвращается из дальних стран; и на этот раз он тоже не забыл ее. Правда, деревянная нога, наверное, произвела на нее невыгодное впечатление, другого и ожидать нельзя было; но она была холодна, неразговорчива — неужели Петра могла быть холодна к нему? Она была совсем другою раньше! Послушайте-ка Маттиса, который каждому, кто его хочет слушать, начинает говорить: — О, Петра — да я не хочу ее! Если девушка все прихорашивается и трепещет ноздрями — благодарю покорно!

Оливеру пора было подумать, чем бы заняться. Пока в доме была еда, он аккуратно обедал, окреп, туловище его стало здоровым, как прежде, и сильным; но так как мать уже не получала его жалованья, то мука и мясо стали истощаться в доме. Он, пожалуй, был еще довольно молод, чтобы изучить ремесло, он мог сделаться часовщиком или портным, или поступить в семинарию и сделаться школьным учителем. Но для его ли рук эта бабья работа? И чем мать будет жить, пока он будет учиться? К тому же его родная стихия — это море, а не иное что-нибудь!

Он был молод, и непривычна ему была его неожиданная беспомощность; большей частью он смиренно сидел на одном месте, а если нужно было передвинуться по комнате, он действовал руками и перебрасывал себя со стула на стул. Он постоянно был занят мыслью о том, как создать себе новое положение в жизни; странное было это занятие для природного моряка, иногда он даже сам останавливался перед собою в изумлении. Он — хилый, он — калека? На время он раздобыл себе лодку и ловил помаленьку рыбу для домашних надобностей. Он получил сильное увечье, несомненный, бесспорный телесный изъян; но после того, как он сбросил с себя свою воспаленную ногу и пережил

последствия этого, у него все же остался немалый чистый запас силы.

С рыбной ловлей не особенно спорилось; наступили морозы, и бухта покрылась льдом до самого моря, даже почтовый пароход не мог пробиться во льду и застрял в нем. Оливер мог бы сделать то, что делали другие рыбаки — сделать во льду прорубь и ловить в ней рыбу как бы с суши — так поступал Иорген, и даже старый Мартин с пригорка. Но Оливер был еще неискушен в этом деле, да и не хотел пускаться на такую крайность. Пусть люди думают, что он ловит рыбу не по нужде, а для развлечения, чтобы скоротать время!

Наступило суровое время, поистине страшные святки. Но к новому году погода переменилась, на море разразился шторм, и лед в бухте стал ломаться. Оливер стал выезжать в море и рыболовничал изо дня в день; он все дальше оставался на море, иногда до самого вечера, и возвращался домой с рыбой. Но он ведь ловил рыбу не из нужды — о, нет!

Мать равнодушным голосом проговорила: — Да, ведь этот Ионсен с пристани просил меня, чтобы ты наловил им немного рыбы!

— Я? — сказал Оливер. — Может быть, и просил. Но только я не ловлю рыбы для посторонних!

— Так я и сама думала, — ответила мать, и больше не поднимала этого вопроса, совсем нет, и как бы предоставила Ионсенам самим ловить для себя рыбу. Но она прибавила: — И за хорошую плату!

Молчание. Оливер задумался. — Пусть этот Ионсен с пристани заплатит мне сначала за мою ногу, — промолвил он.

За все это время Петра редко показывалась, она забегала раза два, забрала подарки, поболтала о разных пустяках и ушла. Она все еще носила на пальце кольцо и не подавала виду, что хочет разойтись с Оливером — нет, этого она не делала; но Оливер про себя, втихомолку, вероятно, кое-чего побаивался. Если хорошенько подумать, то цена ему была теперь невелика — получеловек, род чудовища, не имеющего гроша за душой; даже платье его начало уже изнашиваться. Видите-ли, он в дни своего матросничанья был беспечен, как и все прочие, и мало скопил денег про черный день. Единственное, что он сделал для будущего, и чем он, во всяком случае, мог бы гордиться, пожалуй, теперь было ни к чему: пристройка к дому, новая комната и каморка по ту сторону коридора. Бог знает, понадобится ли ему теперь вся эта пышность!

Зиме не было видно конца, можно было с ума сойти и окончательно упасть духом. В одно воскресенье после обеда пришла Петра и была с ним ласковее обыкновенного.

— Я видела, как твоя мать уходила в город, и решила заглянуть к тебе!

Оливеру стало не по себе, его любимая имела такой странный вид, она проговорила так нежно:

— Бедный Оливер! — и заговорила о том, как тяжело посетил их обоих господь.

— Да, — сказал и Оливер.

— Такая нам, значит, была судьба, — промолвила она и вздохнула.

— Что ты хочешь сказать? — спросил он тогда.

— А что ты хочешь сказать? — ответила она вопросом.

Он тотчас же сдался, частью из привычного высокомерия, частью потому, что в глубине души понимал, что она права. Немыслимо было закрывать глаза на положение вещей!

Они разговорились, и она шадила его словами, но смысл их был ясен. — Я не удивляюсь тебе, — сказал он, опустив глаза и уставился глазами в пол.

Когда она уходила, худшее, по-видимому, у нее еще оставалось на языке; она пошла к дверям, потом вернулась, погладила его по обоим щекам и приподняла его голову: — Ты не будешь нам врагом, не скажешь «нет»? Я об этом думала. Ведь тебе приходится содержать не только себя, но и мать. Это не так-то легко тебе!

Он смотрел на нее, не понимая; ведь они уже обо всем переговорили, он не хочет больше слышать об этом... — Я это знаю, — сказал он.

— А без здоровья и всего прочего...

— И это я знаю! — прервал он ее раздраженно.

— Не нужно сердиться, Оливер, — ласково говорила она. Но когда она заметила, что он собирается сказать что-то еще более резкое, она тоже нахмурила брови и сразу перешла к делу: — Слова бесполезны, с тобой дело обстоит не очень хорошо, но будет лучше. Вот я кладу; говори что хочешь, но тебе это пригодится для чего-нибудь, я кладу на стол! Это тяжелая и дорогая штука; я уверена, что многие захотят купить ее.

— Что это? А, это кольцо. Положи его, — проговорил он и уронил голову на грудь.

Она могла избавить себя от всяких хлопот, он в этот момент, по-видимому, ничего не имел против того, чтобы получить обратно кольцо, оно, во всяком случае, пред-

ставляло денежную ценность. Когда Петра ушла, он надел его на крайний сустав своего мизинца и повертел в руках.

Но что-то шевельнулось в нем: как, продать, обратить кольцо в деньги? Никогда! Он может оставить его себе на память на всю жизнь, он будет вынимать его по воскресеньям и глядеть на него. Впрочем, не так уже долго придется ждать конца жизни...

ГЛАВА II

Оливер не выезжал уже каждый день в море и не ловил рыбы. Нет, не каждый день! Это, конечно, происходило от того, что разрыв с Петрой немного взбудоражил его, он отложил работу, не принимал никакого решения. Мать могла спрашивать его: — Выедешь ты нынче? — А Оливер, бывало, отвечал: — Разве у тебя уже нет рыбы? — Я не потому, — отвечала мать и умолкала.

Но у нее мало оставалось муки, и кое-чего другого — мыла, кофе, керосину, дров, масла, спичек, патоки, предметов первой необходимости.

Маттис, столярный подмастерье, весь поглощен был постройкой своего нового дома, он радел о своем будущем. Однажды Оливер приковылял к нему, завязал с ним беседу и поиграл кольцом на мизинце. Они ничего не имели друг против друга!

Оливер промолвил: — Я заказал две двери к моей новой пристройке, и заказал их твоему хозяину.

— Помню, — отвечал Маттис. — Это было прошлой зимой.

— Ты мог бы откупить у меня двери и навесить их здесь!

— А ты их хочешь продать?

— Да. Ведь они мне теперь не нужны! Я переменял свое решение.

— Я хорошо помню эти двери, ведь я сам делал их, — молвил Маттис. — Так ты переменял решение? Ты не изменишь его больше?

— Безусловно нет!

— Что ж ты хочешь получить за свои двери?

Они скоро договорились, двери уже были подержанные и некрашенные, но Оливер потратился на замки и железные петли к ним, и соответственно этому была назначена цена.

Больше Оливеру уже нечего стало продавать; не мог же он продать лестницы! Он жил с матерью некоторое

время на деньги, вырученные за двери. Стала приближаться весна. Оливер был молод, а платье его износилось; он большего мог бы добиться в новом платье, и так как он стал теперь, к сожалению, навсегда сухопутным человеком, то охотно надел бы и соломенную шляпу. Мать все с большей тревогой глядела на будущее и намекала, что им следовало бы, пожалуй, сдать пристройку жильцам, потому что...

Да, против этого Оливер не стал особенно возражать. — Но ведь к ней нет дверей!

Подумав с минутку, он беспечно ответил: — Дверей? Я могу же заказать пару дверей!

Мать покачала головой: — Там нет и печки.

— Печки? На что печка летом?

— Разве жильцам не нужно варить, не нужна плита?

Да, Оливеру, верно, и голову повредило; у него уже не было прежней ясности в мыслях.

Он опять поплелся к Маттису, долго говорил с ним, и наконец сказал: — Да, ты строишь дом и красишь его, и вставляешь двери и окна,— значит, ты решил жениться!

— Не знаю, что ответить тебе на это,— проговорил Маттис.— Но я как-то этого не выбил у себя из головы!

— Я это понимаю,— кивнул Оливер и стал смотреть, как столяр работает. Они по-прежнему ничего не имели друг против друга! Оливер продолжал: — Каков ты ни есть и каким не будешь, ей будет у тебя хорошо. Я вот что хотел сказать: ты купил уже золотое кольцо?

— Золотое кольцо? Нет.

— Ну, так когда твой день настанет, у меня есть кольцо!

— Покажи его,— молвил Маттис.— Но ведь на нем наверное выгравировано твое имя!

— Да, но его можно стереть!

Маттис осмотрел кольцо, взвесил его в руке и назначил ему цену. Кончилось тем, что он купил его. Лишь бы оно только подошло,— сказал он.

Оливер ответил значительно: — Об этом я меньше всего беспокоюсь! Ведь я понимаю!

Маттис вдруг посмотрел на него и сказал: — А что ты обо всем этом скажешь?

— Что я скажу? — ответил Оливер.— Что ж, это уж не мое дело! Найдется и для меня дело, ведь я еще не умер.

— Ну, конечно, нет! — обязательно ответил Маттис.

— А что ж ты думаешь? — спросил Оливер польщенный.— Разве я уже никуда не гожусь?

— Ты шутишь, Оливер, у тебя такие же данные, как и у меня!

Маттису явно стало легче на душе. Они продолжали беседу, льстя друг другу без стеснения, но и без доверия.

— Как это с тобой случилось? — спросил Маттис. — Упал ты, что ли?

— Я? — обиженно переспросил Оливер. — Я слишком бывалый человек, чтобы упасть!

— А я думал, ты упал!

— Нет, это на меня обрушился вал.

— И здоровый, верно, был вал, если мог свалить такого человека, как ты!

— Да, было так, словно сам Отче наш на тебя обрушился, — хвастливо отвечал Оливер. — Волна сорвала весь груз, лежавший на палубе, и швырнула мне на руки целый бочонок ворвани; он летел по воздуху и как ядром сразил меня.

— Летел по воздуху?

— Я слышал, как меня окликали товарищи!

— А сам ты не закричал?

— Зачем бы я кричал? Какой в этом был бы толк?

Маттис с улыбкой покачал головой и промолвил: — Ты, каким был, таким и остался!

У Маттиса так легко было теперь на душе — разговаривать с Оливером стало одно удовольствие. Можно ли быть сговорчивее этого человека? Потерял половину нижней части туловища, всего лишился — и все же держится Наполеоном! Посади его в коляску с кожаным верхом — безукоризненный молодец будет!..

Оливер с матерью безбедно живут опять некоторое время; рыбу он также полавливает, так что ее хватает и им, и кошке; кольцо принесло с собою муку и керосин. Но вот Оливеру уже нечего стало продавать — не продавать же дымовую трубу с крыши!

Мать становилась все мрачней и угрюмее — как же иначе? Начала запускать намеки насчет того, что пора бы уже за что-нибудь приняться; потом осмелела настолько, что начала даже дуться.

— Ведь ты мог бы заняться вязаньем — разве этому нельзя научиться? — говорила она. Но Оливер ничего не умел делать, он ничему не учился, не думал даже никогда об ученье, он плавал в море вместо того, чтобы учиться.

— Мне так нужна мутовка, — сказала мать. — Ты бы мне смастерил мутовку, если бы был половчей руками!

Оливер принял это, как неуместную шутку со стороны матери, и ответил: — Не желаешь ли ты, чтобы я занялся вязаньем рукавиц?

Он долго раздумывал, взвесил все за и против, за что-нибудь надо было приняться! И все думал.

С домом ничего больше нельзя было предпринять, все уже было сделано, и он давно был заложен адвокату Фредриксену. Правда, новая пристройка не была заложена, и Оливер тотчас же по приезде обратился к Фредриксену с просьбой о займе под пристройку, но Фредриксен отклонил это предложение. Пристройка! На нее Фредриксен смотрел как на естественное продолжение дома! — А новая черепичная крыша? — Это также принадлежность! — объявил Фредриксен. Когда же Оливер заметил, что он может получить деньги под пристройку в другом месте, то Фредриксен пригрозил, что он подаст ко взысканию и немедленно пустит дом с молотка. Они еще поговорили о том, о сем, и адвокат с удивлением спросил: — Разве ты в самом деле так прожился? — Я? — спросил Оливер, и напыжился. И что только пришло в голову адвокату! Но так как только теперь, в виде пристройки и черепичной крыши, адвокат получил обеспечение своих денег, то Оливер должен подписать заявление, что все, что есть в доме нового, входит в закладную — неужели он этого не сделает, как честный человек? Оливер, только что вернувшийся домой, привыкший держаться молодцом в портовых городах, и к тому же благодушный по натуре — подписал заявление! Он расстался с адвокатом вполне дружелюбно.

Так это было в тот раз.

После он раскаивался в своей глупости, но переделать уже нельзя было. Да и как? Может ли он просто продать дом, выплатить адвокату следуемое и расквитаться? Хватит ли вырученной суммы? Единственный верный результат будет тот, что он останется без крова!

Оливер взвешивает, думает, размышляет. Иногда ему приходит в голову: зачем он не пошел по духовной части — он получил бы, пожалуй, карету и разъезжал по прихожанам!

Мать приносила ему вести из города, она слышала гораздо больше новостей, чем он, подхватывала слухи на улице, у колодца — сплетни, сообщения, правду и выдумки; она все это запоминала и приносила домой. Иногда это оставалось у нее в голове и ничем не кончалось; временами же какой-нибудь мелкий факт оказывался

полезным. Так, она рассказала Оливеру об Адольфе, сыне кузнеца Карлсена, молодом парне, которого они знали, и который теперь нанялся на корабль и собирался отплыть в море.

— Куда он нанялся? — спросил Оливер.

— На барку Гейберга. Он хочет заказать себе сундук.

Помолчав, Оливер промолвил: — Он может ведь купить мой сундук!

— И сундук! — вздохнула мать.

— А на что он мне? Я выезжал с ним и привозил его назад всякий раз, и вот он стоит без дела! Нет, ты скажи Адольфу, что он может купить сундук; я видеть его не могу!

Он был уверен, что Адольф пожелает купить сундук, который сделал столько поездок и привык к морю — подержанный корабельный сундук, который может еще принести счастье! Оливер всякий раз, как уезжал из дому, просто тосковал по своему сундуку. Правда он был неживой, но все же — товарищ и верный слуга, прямо сказать — дорогой друг! Но делать нечего, пусть уходит, счастливой дороги! В последний раз, когда он возвращался из Италии, сундук был для него сущим мучением: он стал ведь калекой и не мог управляться с ним так свободно, как раньше; а на железной дороге в нем оказался перевес, и пришлось заплатить лишнее! Он съедал его хлеб, чудовище — вон его!

Однако, когда мать пришла с Адольфом, Оливер не был так равнодушен к сундуку. Вот стоит его корабельный сундук, он, в сущности, некрасив и тяжеловесен, но преползшая штука! На нем следы сапог и толчков, в зеленой окраске его немало трещин, на его крышке даже крошили табак; но, боже, какой же это все-таки чудесный сундук!

— Вот он, каким видишь его! — сказал Оливер Адольфу. — Он ни во что не ставил ни чванных капитанов, ни маклеров, ни консулов, а стоял себе на своем месте и никогда не трогался с него, разве что над ним учиняли насилие!

Адольф купил сундук, присел и стал поучаться у Оливера. Отставной матрос мог-таки порассказать парню о жизни, которая его ожидает: вольная, здоровая жизнь, но с ней не шути! Безбожие, беспутство и обильные происшествиями отпуска на сушу в иноземных городах и рощах. Не без того, у него самого были хорошенькие девушки каждый раз; но не всегда дело обходится без

борьбы и драки! Но это делается просто: кладешь одну руку противнику на затылок, другую пониже, прошибаешь им окно — и раз-два-три, бух его в канаву! О, не всегда он сидел на стуле калекой!

Оливер пустился в философию, матросская болтовня его была бессодержательна и пошла, не хуже, не лучше, чем у других матросов; правда и бахвальство, ханжество, лганье. Распространялся насчет соблазнов, вставлял в разговор английские слова, предостерегал от пьянства: — Видишь, Адольф, каким я вернулся домой? Этому просто поверить трудно! Но ты думаешь, это произошло от попок и распутства? Я был трезв, вот, как ты сейчас! Господи, ведь это было среди бурного моря, и что я сделал такого? Никогда не предавайся разгулу, как многие другие, и бог сотворит с тобой всю свою волю, с этим ты ничего не поделаешь! А если они заметят, что у тебя есть денюжки, если ты будешь вынимать из кармана английские фунты, они набросятся на тебя, как чайки на рыбу; ты лучше вшей себе внутренний карман в куртку перед тем, как поедешь!

— А у тебя был такой? — прервала Оливера мать.

— Был ли у меня такой! — Оливер расстегивает куртку — и... в ней не оказывается кармана!

— Он был, должно быть, в другом платье, для отпусков на сушу, — говорит он.

— Платье для отпусков на сушу? — переспрашивает мать.

Оливер пропускает эти слова мимо ушей и продолжает: — Как бы там ни было, Адольф пусть руководится хорошими, а не дурными примерами. Да, ты только помни, что я тебе сказал, Адольф, и не забывай бога, когда ночью стоишь на вахте или у руля! Ты научись говорить по-английски, с этим языком ты будешь как дома во всякой стране в мире, куда бы ты ни попал. Тебя будут понимать, зайдешь ли ты в кабак выпить стаканчик пива, или в церковь, или в консульство! Но возьми мой сундук и поступай с ним честно в жизни, — он к другому не привык!

— Что это было за отпускное платье? — снова спрашивает мать. — У тебя есть другое платье, кроме того, в котором ты сидишь?

— Есть ли у меня другое платье! — отвечает Оливер. — Оно едет из Италии! О чем ты болтаешь?

Но мать в присутствии третьего лица была смелее, она насмешливо улыбнулась. — Ах, в кладовой так пусто стало!..

Больше Оливеру уже нечего стало продавать, корабельный сундук был последним ресурсом, и мечта о новом платье и соломенной шляпе так и осталась мечтой. Но день проходил за днем, и однажды он словно проснулся и намекнул на возможность продать лодку.

— Лодку! — вскричала мать.

Он поправился: — Да ведь это же не лодка, он ничего за нее не получит, это старый ящик, сдерживаемый только смолой, которой он обмазан; он сам купил его за ничтожную сумму!

— Я сама ее испробую и выведу на ней! — пригрозила мать.— Прежде, чем ты успеешь предпринять что-нибудь...

С величайшим равнодушием и презрением к словам матери Оливер взял свой костыль и заковылял на улицу.

Погода была чудесная, он втянул воздух и узнал запах моря. Стайка голубей спустилась на дорогу, дети прыгали через веревочку. Он сам когда-то играл в веревочку!

Он стал заходить в лавки.— О, какой гость! — говорили ему всюду и подавали калеке что-нибудь, на чем присесть. Ему приходилось без конца рассказывать, как с ним произошла катастрофа; он наловчился в этом повествовании и рассказывал все лучше и лучше; особенно интересные подробности он прибавлял к рассказу о том, как он лежал в больнице; в этом отношении его не мог проконтролировать ни один из его товарищей по «Фие». Одна из сиделок была даже не прочь выйти за него замуж!

— Отчего ж ты от этого отказался?

— Что ж, разве я мог остаться там и сделаться католиком?

Но постепенно им перестали интересоваться в лавках; новизна рассказа выдохлась, ему приходилось самому разыскивать себе ящик, чтобы присесть на нем, или же стоять, опираясь локтем на прилавок. И никто уже не расспрашивал его о сиделке!

Время шло, визиты в лавки прекратились как-то сами собою, он опять принялся за ловлю рыбы. Ионсен с пристани самолично просил его уступать ему, сколько он сможет, из своего улова.

— Хорошо! — сказал Оливер, чтобы не отказать сразу. Ионсен хорошо знал, что он делает: он судовладелец, у которого есть человек из экипажа, вернувшийся домой калекой; он может еще использовать его на пароходе! Но нет, благодарю покорно, Оливер сам будет есть свою рыбу!

На воде он встретил рыбака Иоргена, они сблизили лодки и завели разговор. О чем им, впрочем, было

разговаривать? О погоде, ловле, заработках. Иорген был рабом своего ремесла.

— Ты плаваешь по бухте,— сказал Оливер,— но если бы у меня была твоя хорошая лодка, я поплыл бы дальше. Сколько ты можешь заработать в день?

— Это как когда. Иногда много, иногда мало, бывают плохие и хорошие дни.

— Вот что я скажу тебе, Иорген: ты сидишь тут в бухте, как мы, простые любители. О себе я не буду говорить, я слабосильный, и никуда не гожусь. Но если бы ты выезжал в открытое море, ты мог бы ловить камбалу и крупную рыбу!

— Да,— прибавил Иорген,— и китов!

Оба засмеялись, ведь это была просто шутка — болтовня Оливера насчет открытого моря. Для этого у Иоргена не было ни судна, ни снасти; но ведь он был один.

— А что, если бы мы соединились и раздобыли себе морскую лодку? — продолжал шутить Оливер.

Иорген, как и все, был терпелив с калеккой, он сидел и калякал с ним на разные темы: о морской лодке, о ловле в крупном масштабе, о глубоководных снастях,— они могли бы создать себе положение на рыбном рынке! У Оливера была бездна идей, они приходили к нему в снастях и не многого стоили; он, правда, поездил по чужим краям и видел и слышал невероятные вещи — неудивительно, что у него в голове сделалась каша! — Вот я сижу и болтаю, а в конце концов придется мне поискать себе службы в маячном управлении!

— Да,— прибавил Иорген.— Это было бы неплохо!

— Не знаю. Увечный должен же что-нибудь делать!

— Смотреть за фонарем, вести журнал, направлять мореходов в темные ночи! Если только есть кому замолвить за тебя словечко!

— Мне нетрудно попросить Ионсена с пристани замолвить за меня слово. Что ж, не поехать ли нам домой?

— Нет, мне еще нужно часок посидеть: я обещал писарю наловить рыбы к угощению, а у меня еще немного ее.

— Что ты получаешь за рыбу у писаря?

Иорген назвал какую-то скромную цифру.

Оливер покачал головой, узнав об этом, и сам принялся удить. Он посидел полчаса и поехал домой с тем, что успел наловить.

Он греб, как бравый мужчина. Пожалуй, он сможет теперь показать себя и удивить рыбака Иоргена своей

силой! В сущности Оливер был как бы создан для жизни в рыбацкой лодке; он сидел над веслами как тяжелый груз, покачивавшийся взад и вперед; те конечности, которые ему нужны были, у него имелись. Вероятно, это сознание открылось ему как некая истина, Оливер стал прилежен, он выезжал рано утром и ловил целый день, забирался все дальше и дальше и находил новые рыбные местечки; он возвращался домой ежедневно с двумя-тремя связками рыбы и продавал рыбу в городе. Деньги он откладывал.

— Ты загибаешь, что твой пароход! — говорил рыбак Иорген. То же самое говорил и Мартин с пригорка — старейший рыболов в городе.

— Вы думаете? Ну, что ж. Ведь я поплавал-таки по разным морям и кое-чего рассмотрелся!

Иорген ответил на это в своей обычной манере: что, мол, много есть сокрытого в природе, чему можно было бы поучиться.

— Хорошо, что я умею работать веслом, — говорил Оливер, — я задумал большую поездку на этих днях.

Оливер не сказал, куда он собирается ехать; это была не совсем легальная затея: сбор яиц на островах. Может быть, ему удастся при этом наловить для дома и плывучего лесу. Это была двойная спекуляция. И легальная поездка за лесом должна была прикрыть собою незаконный сбор яиц.

ГЛАВА III

Нет, рыбак Иорген не был спекулянт; он был рыбак, довольствовался малым заработком и по нему выравнивал свои потребности. У него был собственный дом и еще кое-что, трое его детей были славные, послушные дети. Иоргену жилось хорошо во всех отношениях.

Лидия, со своей стороны, была горяча и вспыльчива, но она была работящая; бритва, терка, пила, струг, скобель, — но незаменима для мужа и детей! Люди втихомолку над нею посмеивались, она была очень тщеславна, это доходило до глупости: дети ее красивее других, она сама лучше всех женщин в околотке! Эту зарезу она принесла с собою из своих девических лет; она служила только в знатных домах, сперва у купца Гейберга, потом несколько лет у Ионсенов — еще когда была молода; так разве она не лучше других? Разве сам К. А. Ионсен

не заглядывался на нее в молодые годы? Она помнит это очень хорошо; он ничего от нее не добился,— о, нет; но это была уж не его вина!

Она познакомилась с Иоргеном, тянула канитель четыре года, но наконец обвенчалась с ним. Он не очень был казист для глаз, но у него были мелкие, обыкновенные черты, и он был не урод лицом, а его мягкая темная борода была совсем прелесть в своем роде. У него тот недостаток, что он тяжел на подъем, не умеет танцевать, всем и каждому походка его слышна еще издали, неподвижная жизнь в рыбацкой лодке не могла способствовать подвижности его ног. Но Иорген был надежный и преданный малый, Лидия ни одного дня не жалела, что вышла за него.

Иорген работал; он даже плохо себя чувствовал в те дни, когда погода не позволяла выехать. Весна и начало лета были отвратительным периодом, с бесконечными праздниками — Пасха и Троица были сущим испытанием. Это бы еще ничего, если бы не было сбыта для рыбы; но как городок ни был мал, он всегда страдал от рыбного голода, и цена на рыбу с каждым годом росла. Оливер мог пренебрегать заработком сколько угодно — мелкое рыбацкое ремесло было хорошим ремеслом, отличным ремеслом! Кроме того, Иорген вычитал в газете, что рыболовство — такое же благословенное занятие, как земледелие на суше: это собирание жатвы! Он, стало быть, тоже служил земле!

Но теперь приходилось оставаться на суше. Прошли, наконец, большие праздники: и Вознесение Господне, и семнадцатое мая, и день поста,— но бог наслал непогоду на море, бог не хотел дать трехнедельной передышки для сбора морского урожая; к чему же он теперь? Иорген разгуливал, держа за руку своего сынишку, они промокали под дождем до костей, они поднимались навстречу ветру на высокие пригорки, смотрели на море, считали на нем пароходы, спускались вниз, смотрели, хорошо ли привязана лодка, не нужно ли из нее вычерпать воду. Иорген сильно томился своим бездельем.

Он встретил Оливера. Делать обоим было нечего, и они могли укрыться под навес и беседовать. Оливер не томился, он чувствовал себя физически хорошо, непогодь позволяла ему оставаться в бездействии, прилежание оставило его. Это была рука Провидения: только он начал зарабатывать деньги на новое платье и действительно входить во вкус работы,— как наступило длительное безделье, и его добрые намерения вновь испарились! Единственное, о чем он теперь горевал,

это — что он не может предпринять далекой поездки и вынужден изо дня в день сидеть дома и ссориться с матерью.

Он стал большим любителем философствовать. Он был молод, и порою умел долго и с жаром рассуждать о своей жизни.— В самом деле, разве все уже так хорошо и ладно складывается, как сказано в писании? Вот, Олав с лужайки получил в лицо заряд взорвавшейся мины, и теперь оно у него синее! Через год после того, как он начал работать на верфи, ему оторвало руку машиной! Теперь он льет в себя водку, как прорва, и дерется с женой! — Кого хочешь, возьми, Иорген,— несчастье может погубить и изменить каждого из нас, словно мы и не божьи создания!

— Да,— говорит Иорген.

— Что, неправда разве? И если ты, с твоей доброй душой, получишь пушечное ядро в спину, лучше тебе от этого не станет! Далеко не станет лучше! Думаешь ты, станет лучше?

— Может быть, это в наказание,— кротко говорит Иорген.

— Овца ты, вот что! Наказание! Это ты себе будешь рассказывать, когда попадешь в такую переделку!— Оливер даже побледнел от возбуждения; но когда Иорген сделал вид, что хочет уйти, он опомнился и полез в карман за своей трубкой:— Хочешь получить ее? Я думал отдать ее тебе!

— Разве ты бросил курить?

— Давно уже. С больницы! Я купил ее за границей. Так что, если ты хочешь взять ее...

— Нет. Спрячь ее!

Они направились домой.

— Ну, что ты напускаешь на себя благолепие и поджимаешь губы, Иорген! Нечего напускать на себя! — раздраженно промолвил Оливер.— Со мной совершенно так, как ты говоришь, а у тебя свое — каждому свой крест. Вот, например, ты не выезжаешь в море: что ж это, оттого что ты богат и большего не хочешь, что ли? А я скажу тебе, господь хорошо рассчитывает, он чуть что не обворовывает тебя!

Иорген нахмурился и раскрыл было рот, словно хотел ответить, что придало ему в этот момент выражение разозлившегося человека. Но он остался при приготовлениях и не произнес ни слова.

Оливер остыл и опять начал:— Но все в его руке, это я хорошо знаю! И когда мы пробуем ходить по слову его, то тут уж ничего не поделаешь! Не хочешь взять трубку?

Иорген уклончиво ответил: — Ты не должен отдавать ее! — Но когда он увидел умоляющее выражение на лице калеки, он переменял тон и промолвил:

— Зачем мне эта дорогая трубка?

— Ты должен взять ее! — объявил Оливер. — Мне хочется этого, я все время думал о тебе! Ты во многих отношениях можешь мне ответить услугой, и я знаю, что ты не откажешь в ней!

Семейство Оливеров и в самом деле за последнее время обращалось не раз к сердобольным соседям за одолжениями. Сам Оливер держался в стороне от этого; но мать выходила по вечерам, когда запирались лавки, и выпрашивала взаимы горсточку кофейных зерен или глубокую тарелку ржаной муки «до завтра». Чего только не занимала старуха! Однажды вечером ей пришлось даже занять у рыбака Мартина мелкую навагу.

Она часто ссорилась с сыном: — Скажи, ради бога, куда ты девал деньги, заработанные на рыбе перед штормами? — спрашивала она.

— Так я тебе и сказал! — отвечал он.

Но мать была настойчива, она не сдавалась, пока хорошенько не прижала его к стене; и в один прекрасный день он пришел и швырнул деньги на стол; единственное, что он успел спасти для себя, был голубой галстук! Впрочем, деньги-то и вообще были невелики, — жалкие сбережения, с трудом накопленные рыбка по рыбке; однако, мало ли, много ли — это были деньги на платье и соломенную шляпу, а теперь их пришлось отдать! Разумеется, он бы не отдал их, если бы сам бог не вмешался в это дело со своей непогодой и не остановил его в его добрых намерениях, — пропадай же теперь все пропадом! Он надулся и сказал матери: — Оставь меня теперь на время в покое!

Мать не была в особенном восторге: — И это все? Да, я, конечно, оставляю тебя в покое, — промолвила она. — Но если я расплачусь со своими долгами, денег далеко не хватит, ты это знаешь.

И тут он бросил то, что давно уже вертелось у него в голове: — За себя одного я не беспокоюсь, можешь мне поверить! Если ты сможешь прокормить себя, то я и подавно!

— Что ты хочешь этим сказать? — спросила она.

— Что я хочу сказать? Я хочу сказать именно то, что я инвалид, и лишен прежней трудоспособности! Где твои глаза?

— Что же мне, пойти по миру? — раздраженно выкрикнула мать.

— Не то, чтобы по миру — о, нет! Но разве ты не можешь получить небольшого пособия из кассы?

— Вот что! — промолвила она и сжала губы.

— Разве это так уж невысказано? Для такого инвалида, для человека, как я?

— Инвалида? — с бешенством крикнула она. — Ну, так я скажу тебе: ты не желаешь работать, ты не желаешь делать того, что посылает господь! Почему ты не выехал вчера, когда погода была хорошая? Сегодня опять волна!

— Вчера тоже была волна.

— Так. Но ты скажи мне, почему Иорген выезжал?

— Иорген выезжал? Иоргену это ничего, у него новая и хорошая лодка.

Молчание. Но мать уже разгорячилась и не хочет молчать: — Ты продаешь двери из дому, хорошо еще, что стен не продал! Лучше бы мне под землей лежать!

— И мне!

— Тебе? — вскипела она. — Нет, ты лежишь в доме! И я уверена, что если бы начала получать пособие из кассы, то должна была бы кормить и тебя!

Оливер громко расхохотался над глупыми словами матери: — Лучше уж молчи! Ха-ха-ха! Порадуй меня, ради Господа, говори остальное сама с собой!

Спустя некоторое время опять не стало ни рыбы к картошке, ни дров для печки. За это время выпадали и хорошие дни для рыбной ловли, но Оливер не использовал их, а на другой день опять начиналось волнение, погода даже скорей портилась, чем улучшалась. И что это будет? Небо было безжалостно, никогда еще над городом не грохотало столько гроз!

Оливер перекидывался в своей комнате со стула на стул, дремал и спал над столом, закрыв лицо руками. Время от времени он пинал своей деревянной ногой кошку. Однажды он забрался на крышу дома. Оливер был старый матрос — ему захотелось проветриться, он стал возиться с громоотводом, поправил пару кирпичей и слез назад.

Он терпел жестокую нужду, регулярным приемам пищи наступил конец. Однажды мать ушла из дому и не возвращалась весь день; когда она не пришла и на следующий день, Оливер отправился к мастеру и сказал ему: — Сделай мне одолжение, посмотри мой громоотвод, я боюсь, что повредил его, когда поправлял черепицы. — Думаешь, это спешно? — спросил тот. — Ты бы хорошо

сделал, если бы сейчас пошел со мною! — ответил Оливер. — Теперь непогодь, и я боюсь грома!

Мастер пошел; он, как и все, должен был помочь калекс.

Он полез на крышу, Оливер остался внизу. Мастер крикнул ему сверху: — Если бы случилось несчастье, то виноват в нем был бы ты!

— Как так?

— Господи, да ведь провод порван! Он доходит до крыши, и там останавливается. Он отводит молнию прямо в печку!

— Как хорошо, — отвечал Оливер, — что матери не было дома все это время! Катастрофа коснулась бы только меня!

Мастер сделал новое соединение, и когда он кончил, Оливер спросил, сколько стоит работа. — Ничего! — Я хочу заплатить! — Ну, это может подождать. Если случится у тебя лишняя навага, ты мне дашь. — Получишь целую связку! — сказал Оливер.

О, Оливер говорил громко и весело, его должен был слышать всякий прохожий, и Петра, которая ходила мимо. Все должны слышать, что он и предлагал плату, и хочет заплатить хорошо! Петра и впрямь прошла мимо, она шла к Маттису в его новый дом, в его собственный новый дом. Оливер стоял и смотрел. У него положительно должна быть новая соломенная шляпа, чтобы было чем раскланиваться! А у него ничего нет...

Мать не являлась. Что она сделала с собой, неужели в самом деле пошла по миру? Оливер возобновил свои странствия по лавкам; он давно уже не бывал в них, теперь ему опять пододвигали ящик, чтобы он мог сесть, а кое-когда давали поглотать морских галет. Да, он ел эти твердые, как камень, галеты для забавы, никто этому не удивлялся, у старого матроса сохранился вкус к корабельной еде, а зубы у него были великолепные!

Обойдя лавки, он расширил область своих скитаний, он поднялся на холм и получил чашку кофе с хлебом у рыбака Мартина. Они потолковали о погоде, а женщинам Оливер рассказал о своем пребывании в больнице и о сиделке: дурак он был, что не взял ее с собою! Но ведь каждому хочется, с другой стороны, жить и умереть в той вере, которой обучался! Кроме того, у него в ту пору дома была девушка, которой он верил... — Разве между тобой и Петрой все кончено? — спросили женщины. — Не говорите мне о ней! — отвечал Оливер.

Он заковылял к новой стройке, сел и там тоже побалагурил:— Да, постройка стоила денег, это уж наверное. Дом строить еще было бы ничего; но от окон и дверей с ума сойти можно, просто кровь стынет в жилах — так это дорого! Если хотите купить пару новых дверей, так у него есть новехонькие!

На холме Оливер свернул к дому Маттиса. Столяр, как всегда, был занят работой, но уронил рубанок, чтобы достать стул калеке. Они заговорили о продолжительной непогоде на море и на суше, убогому стало нечем уж прокормиться! Но не один он так — и рыбак Иорген, и Мартин с пригорка тоже не выезжают.

— Будь у меня моя трубка, я подарил бы ее тебе, — молвил Оливер.

— Ты этого не должен был бы делать!

— Обязательно! Но ее получил Иорген.

— Иорген получил ее?

— Новехонькую, с иголки, трубку! Я купил ее где-то за границей. Вот что я хотел сказать: когда ты венчаешься?

— Ты ведь знаешь, — ответил Маттис смущенно. — В самом скором времени.

— Ага, — сказал Оливер и успокоился. О, Оливер умел быть кротким и необычайно рассудительным, он мирился с неизбежным! Столяр жалел его, ведь он был в сущности Наполеон! Вот сидит Оливер, уставившись глазами в пол, ему, наверное, тяжело, он почти закрыл глаза. Вдруг спокойная поверхность подернулась рябью, он не оторвал глаз от пола, но ткнул костью и проговорил:

— Я хочу получить обратно двери!

Маттис разинул рот и спросил: — Что такое?

— Я хочу получить обратно двери!

— Двери? Ага!..

Оливер медленно поднял глаза и ответил:— Ты можешь вернуть их мне!

Они устали друг на друга.

— Я выкрою как-нибудь время и сделаю тебе пару дверей, — проговорил Маттис.

— Нет, — промолвил Оливер, — или эти двери, или никаких!

Что это было, угроза? Оливер поднялся и стал прямо, он пользовался костью только как тросточкой для ходьбы, растерянное выражение появилось в его лице. Столяр не знал, что подумать о калеке; Маттис смотрел на него, ничего не понимая, у него даже нос как будто вытянулся. Ему явно было не по себе!

— Можешь взять двери,— сказал он.

— Ты делаешь мне благодеяние,— сказал теперь Оливер. Он оставил Маттиса в раздумье и ушел.

Опять началось сиденье у стола, дремота и сон, время от времени пинки кошке и глазение на мертвую улицу. Потянулись долгие дни. Двери прибыли и стояли в сенях, они еще не были навешены, но стояли в полной готовности; Маттис сам принес их на голове, одну за другой. Столяр был молчалив, и это было не особенно приятно. Оливер проговорил: — Изумительно, сколько в тебе силы, Маттис!

Немного погодя вернулась мать. Она вошла, не поздоровалась, не протянула руки, но нельзя сказать, чтобы вид у нее был недружелюбный.— Ты получил обратно двери? — сказала она, и дом показался ей уже немного приятнее.

— Где ты была? — спросил сын.

— О, я ходила пособирать немножко!

— Видишь,— сказал Оливер,— когда тебя нет дома, я успеваю раздобыть для дома то, другое,— вот, получил двери!..

— По мне, делай что хочешь, будут двери в доме или нет — мне все равно! — проговорила мать и поджала губы.

— Ах, вот как, тебе все равно, что делается у нас в доме? В таком случае, пусть же черт достает тебе двери!

Оливер поднялся, взял костыль и заковылял вон. О, он воспользуется случаем и приведет себя в настоящее бешенство! Он направился к холму, опять к новой стройке. Пока он отсутствовал, мать поела, старуха спрятала кое-какую еду, которую принесла с собой, под платком — вафли, кровавый пудинг, копченую сельдь, яйца, свинину и хлеб. Она хорошенько упаковала все это и спрятала в кровати.

Когда Оливер вернулся, с ним был посторонний человек. Человек этот ушел и унес на своей голове дверь. Мать и сын не разговаривали. Человек опять пришел, за другую дверью, и ее тоже унес, он направился к новой стройке. Теперь Оливер увидел, что он, пожалуй, слишком далеко зашел, и ему хотелось успокоить мать; он сказал: — Когда хочешь купить дверь, это стоит тебе крови, когда же хочешь снова продать ее, то получаешь за нее столько, что и хорошего обеда на эту сумму не купишь!

— Ты ведь не продал дверей, не правда ли?

— А что мне делать с ними? — воскликнул Оливер.— Да ведь и ты ими совершенно не интересовалась!

— Ах, спаси меня теперь бог от тебя! — вырвалось у матери.

Он собирался вспылить и все свалить на мать; он без надобности быстро метался по комнате и стучал деревянной ногой. Но он образумился — ведь голова-то у него на плечах была:

— Вот выручка за двери! — сказал он и положил деньги на стол.— Можешь забрать все!

Мать опять-таки не пришла в восторг: она покосилась на деньги и покачала головой.

Оливер спросил огорченно: — Как — ты, может быть, думаешь, что я остальное пропил? Я немного отложил на дальнюю поездку.

— На какую дальнюю поездку?

— И когда я собираюсь в дальний путь, мне нужно иметь немного деньжонок для покупки провизии!

— Как раз-таки теперь погода для дальних поездок! — недоверчиво промолвила мать.

— Море спокойно, ветер начинает стихать. Впрочем, — пробормотал он, и снова стал человеком с умом, который знает, как им раскидывать, — я не стану препираться с тобой!

— Еще бы! — обиженно проговорила мать.

— Нет; глупо и то, что я до сих пор делал это!

Черт побери Оливера, если он не чувствовал себя теперь еще обиженным в истории с дверьми!

ГЛАВА IV

Наконец-таки наступила хорошая погода, и такая, что обещала долго продержаться. Оливер отправился к рыбаку Иоргену и сказал ему: — Не можешь ли ты поменяться со мной лодками на завтрашний день?

— Зачем это тебе?

— Мне нужно выехать подальше, и я не доверяю моей лодке. Эге, ты куришь трубку, как я вижу! Это как?

— Трубка хорошая вещь!

— Да, ты должен курить, потому что ты получишь ее!

Лидия хотела угостить его кофе, но у него были деньги в кармане, и он мог отказаться от угощения: — Я только что пил, перед уходом из дому. Ну, что ж, Иорген, окажешь ты мне эту услугу?

Иоргену ничего не оставалось, как ответить: — Придется сделать это. Но береги лодку!

И Оливер отправился в свою дальнюю поездку.

То, что произошло затем, старики хорошо помнят до сего дня, ибо вещь была нешуточная: Оливер не погиб и не попал в новую беду, он вернулся домой с судном, потерпевшим аварию, и хотел получить деньги за спасение его! Он не один участвовал в этом деле: когда он открыл судно, носившееся без экипажа за островами, ему пришлось поплыть к ближайшему берегу за помощью; но Оливер открыл судно, и, как искусный моряк, сумел взять дело спасения в свои руки. Он распорядился откачкой воды, он собрал обрывки парусов и канаты, потом распорядился, чтобы судно отбуксировали, и сам стоял у руля. Никто не сказал бы теперь, что он калека!

Если бы только он привез груз кофе! Дело сложилось не так удачно, судно везло кирпич, и можно сказать, везло его как балласт — это было датское судно, вероятно, плывшее в ближайшее местечко с этим строительным материалом и застигнутое в пути бурей. Этот старый сундук едва ли многого стоил, но, во всяком случае, это была находка и дар, какой ни на есть, разрушенный, без спасательных лодок, без украшений, вонючая старая калоша, но во всяком случае не развалина. Вероятно, судно долго лежало в воде в непогоду; оно, по-видимому, было брошено экипажем за недостатком продовольствия, на борту не оказалось почти ничего съестного.

Это было редкое зрелище, и весь городок высыпал глазеть на гладкую как зеркало бухту. Что это такое? Нечто вроде каравана — буксирный пароход и судно, а за ним на привязи лодка! Публика собралась понемножку на пристань, пришел Йорген и узнал свою лодку; судно было чужое, но на борту его стоял Оливер.

Оливер стоял на борту прямо и чопорно и не щеголял слишком крепкими словами, но отдавал приказания двум рыбакам, которых он взял с собой на помощь во время спасения судна. Потом он отправил на сушу гонца за консулом. Йорген кротко обратился к Оливеру с вопросом, что это за судно, но не получил ответа, ибо Оливер слишком был занят. Олав с лужайки, который всегда шатался у пристани и не был воздержан на язык, громко проговорил: — Он украл эту посудину!

Оливера возмутило, что пришел не сам консул, а его сын, молодой Шельдруп. — Где твой отец? — спросил Оливер.

— Отец? Что это за судно?

— Пойди за отцом! Нужно, чтобы он составил протокол и опечатал все на борту!

— Что это за судно,— спрашиваю я?

Оливер крикнул мальчишкам, находившимся на пристани, чтобы они сбежали за консулом, и только после этого он обратился к молодому Шельдрупу и объявил: — Это датчанин, иностранное судно, как я сужу по различным приметам!

Явился консул, К. А. Ионсен собственной персоной, и толпа расступилась. Он шел медленно, как человек, за которым не всякий может послать; но у него был смущенный вид и он скоро понял все, пары вопросов с него было достаточно.— Я вернулся с редким гостем! — говорил Оливер. Консул устремил на судно свои карие глаза и видимо не был подавлен впечатлением — ведь это не был пароход, это не была его «Фиа». Он велел юному Шельдрупу принести письменные принадлежности, взошел на борт и принялся составлять протокол.

Это отняло целый час, но толпа ждала. Полгорода сошлось на пристань, пришла Петра, пришел адвокат Фредриксен. Он спросил:— Кто герой? Кто спас судно? — Юный Шельдруп позволил себе шутку и ответил: — Оливер — на тот случай, если вы хотите держать речь! — Молодой Шельдруп шутил также с Петрой, мальчик стал уж что-то слишком смахивать на взрослого! — По-моему, это подвиг, достойный моряка! — сказал адвокат Фредриксен.

Да, это был моряцкий подвиг, Оливер попал в газеты, и о нем много говорили. Сам Оливер не раздувал происшествия, ему приходилось рассказывать этим сухопутным крысам все подробности, но он не зазнавался, не обезьянничал почетных лиц города и не выставлял себя в глупом свете. Разумеется, Оливер был чрезвычайно доволен своим подвигом, он тотчас же отправился приторговывать себе новый костюм — это он заработал; шелка и бархат не по его части, но синий матросский костюм никто не запретит ему носить.— Как это было? — говорил он сухопутным крысам.— Совершенно так, как если бы ты гулял по улице и нашел золотое кольцо!

А они смеялись его шутке: нет, не так совершаются мореходные подвиги! Он теперь был как король, сошедший к народу и всем ставший доступным — о, он не важничал перед теми, которые просто сидели дома, в то время как он спасал корабль!

Но уже через несколько дней ему пришлось стать немножко словоохотливее на этот счет, он сказал рыбаку Иоргену:— Знаешь, я ведь искал наплавного леса! И словно

какой-то голос шептал мне: плыви дальше, плыви дальше! Ну, точно как если бы меня осенило наитие!

И Иорген благодарно кивнул в ответ, ибо каких чудес не бывает в природе!

— Я не хочу делать из этого большего, чем оно есть на самом деле: я всегда мечтал о каком-нибудь корабле, потерпевшем аварию в открытом море! И когда я сидел в лодке да греб, мне что-то сказало: плыви дальше, плыви дальше! К тому же, ты знаешь, я повидал-таки божий свет, я плаваю с четырнадцати лет. Я видел ту сторону земного шара, так что порой мне кажется, что я даже не происхожу из этого городишки, можно сказать! Но теперь, по воле божьей, мне приходится жить и умереть здесь, с этим ничего не поделаешь!

Поразительно, насколько Оливер стал жизнерадостнее! От случайной удачи с судном начали меняться его взгляды, желчность его исчезла, он стал кроток, терпелив! Не то, чтобы он взял себя в руки и стал трудолюбив и прилежен; он расхаживал в своем новом костюме, штанина болталась вокруг его деревянной ноги, но он уже не проклинал своего несчастья.— Купи мне, что хочешь,— сказал он матери, и стал с нею очень уступчив. Раз он встретил старуху, которая разыгрывала свою скатерть.— Посмотрим! Да это хорошая скатерть!— промолвил Оливер, и купил билеты, сделал доброе дело. На него напало нечто вроде благочестия!

Неделю все шло хорошо,— но не больше недели. Консул Ионсен дал ему аванс под деньги, причитавшиеся за спасение судна; но консул не мог сразу продать корабль, груз и выплатить всю сумму сполна. Неужели Оливер думает, что можно без конца получать авансы? Он, во всяком случае, думал, что это продлится больше; теперь дело шло хорошо, стояла превосходная погода, Оливер мог каждый день ходить на спасенное судно, каждый день откачивал на нем воду и смотрел на него почти как на свою собственность.

Но откуда-то появился экипаж. Экипаж прибыл издалека, с юга, приехал на север — шкипер и три матроса, хозяйева судна. О том, чтобы бросить его, и речи не могло быть, они тотчас же принялись починять судно. Так как они добрались до самой Норвегии, то не хотели везти назад кирпича, они продали его консулу и вместо того нагрузились досками. За все рассчитались и уплыли.

Золотые деньки кончились. Оливер опять остался на бабах. Как это собственно вышло? Разумеется, сумма за

спасение судна не могла пропасть, но Оливер должен был разделить ее с двумя другими, с двумя рыбаками, так что состояния ни для кого не получилось.— Разве я не имею права на половину? — спросил Оливер. Он получил половину и еще некоторую сумму за откачку воды. Но он все уже получил в виде аванса,— вот что из этого вышло!

Он чудесно жил короткое время удачи, но теперь всему этому пришел конец. Он почувствовал себя обиженным. Что подумает Иорген, что подумает Мартин с пригорка? Он отправился к Маттису узнать его мнение.

Маттис был какой-то странный, прямо загадочный! Он не ответил на приветствие Оливера и не подал калек стула. Он казался враждебно настроенным — когда человек стискивает зубы и ерзает на месте, то не может быть сомнения, что он не в духе!

Оливер был поглощен своим: что его оставили в дураках, что он получил форменную оплеуху! — Подумай, ведь это я нашел корабль и спас его, а что я за это получил? Я жалею, что взял хоть грош, и право, брошу им эти деньги обратно в рожу!

— Брось вздор молоть! — вдруг крикнул столяр.

Оливер посмотрел на него: он похож был на сумасшедшего, руки у него дрожали от возбуждения. Что он, пьян, что ли? Если он хочет ссоры — что ж, пускай! — И Оливер выпрямился верхней половиной тела.

— Я хочу получить обратно свои двери! — объявил Маттис.

— Вот как! — сказал Оливер.— Вот в чем дело. Двери?

— Хочу получить их назад! — прошипел столяр.— Я тебе за них заплатил, они мои. Понимаешь ты меня: двери!

Оливер онемел на мгновение перед такой глупостью, но ответил: — Ты отдал мне двери. И ты должен был это сделать после всего, что было между нами.

Маттис бросил инструмент и выпрямился: — Было между нами? Я не желаю иметь с тобою общего вот ни на столечко! Нет! Ни гвоздика! Что я за это получаю? Нет, я сказал: когда у человека раздуваются и трепещут ноздри, уходи от него подальше! Но как бы то ни было, я не хочу, черт возьми, чтобы ты сюда больше шлялся, и двери мои ты мне отдай!

Какая нелепость! Оливер пришел с мирными намерениями и хотел участия,— и вместо того его выгоняют! Должно быть, что-нибудь вышло с Петрой, подумал Оливер. И он сказал: — Тебе приходится терпеть какой-то

позор и обиду от бабы, и ты хочешь сорвать это на мне. Но я здесь, право, ни при чем!

Столяр снова принялся за работу, насмешливо покачивал головой и чертыхался на каждом шагу.— Можешь сам брать ее,— сказал он наконец.— Ведь это ты ее настроил! — прибавил он.

Оливер ничего не понимал, но его ведь почти что выгоняли из мастерской, поэтому он встал и заковылял к дверям.

— Нет, это неслыханно! — проговорил столяр и громко засмеялся про себя.— Они вообразили, что могут топтать меня в грязь!

— О чем ты мелешь? — спросил Оливер.

— Нет, как это хитро подстроено всеми! — продолжал столяр.— Но у Маттиса еще есть глаза. Это свято! Маттис не хочет, нет, черта с два!

Оливер постоял с минуту, положив руку на дверную щеколду, и ждал, что еще ему скажут; к изумлению своему он увидел, что столяр плачет, все тело его содрогалось. Когда он отворил дверь, он услышал за собой какой-то неузнаваемый голос: — Теперь ты можешь ее брать! А я приду забрать двери.

За последнее время Оливер привык к тому, что калек шадят, и вот с ним вдруг стали разговаривать, словно у него нет деревянной ноги! Поведение столяра изумляло его, и он сдерживался, но теперь он вспылал и проговорил: — Ты можешь сделать со мною что хочешь, но не думай, что я боюсь тебя!

Столяр опять стал мужчиной, он снял со стены свою куртку и промолвил: — Я сейчас иду с тобой и заберу их!

Перед столь серьезными намерениями Оливер спасовал, он приотворил дверь и быстро проговорил: — У меня нет дверей, я их продал на пригорке!

Настала тишина, столяр молча застыл на месте. Пусть стоит, пусть стоит у своей двери и не находит, что сказать!

Но Оливер не чувствовал себя в безопасности, он долго шатался по улицам, пока решил повернуть домой; ведь столяр, может быть, ищет его, он не задумается напасть на калеку!

По улице прошла Петра, она взглянула на него и кивнула головой. Да, с Петрой что-то делается, она не хочет столяра, не хочет Маттиса с его носом! И разве он не стоял и не плакал на глазах у людей, вместо того, чтоб держать себя мужчиной? Оливер решил, что он в самом деле молодец-мужчина, который может еще раз

совершить дальнюю поездку, столь чудесным образом прерванную. Но Иорген опять, верно, заупрямится дать ему лодку — люди иногда бывают такие странные! Если б только совершить далекую поездку за острова! Яйца собирать теперь уже было поздно, но он может найти наплавной лес! Да и вообще как знать, что может встретиться? Может быть, его ждет удача!

Вечером он опять встретил на улице Петру, и она опять кивнула ему. Удивительное дело: в последние дни он встречал ее все чаще и чаще, а раньше ее не видно было по неделям и месяцам! Он сам ничего не предпринимал, чтобы встретиться с нею — это была чистая случайность.

Теперь он больше стал походить на мужчину, он спас корабль, попал в газеты, ходил в новом костюме и раскланивался желтой соломенной шляпой; но он не становился на пути девушек и не лез им на глаза. Напротив, теперь он занят был мыслью о дальней поездке в море.

Он опять начал понемногу вздорить с матерью; однажды ссора получила даже серьезный характер, когда мать спросила: — Ты, верно, хочешь, чтоб я опять обратилась в кассу?

— А что мне делать с тобой? — крикнул он в ответ.

— Если бы услышал это твой покойный отец! — проговорила она, готовая расплакаться.

— Еще что!

— Да; он был не из тех, что валяются дома и бездельничают. Он трудился с утра до ночи, и вдобавок был ласков...

Оливер засмеялся про себя. Отец был ласков! Ну, ну! Такая уж манера у женщин: когда человек умер и лег в могилу, тогда они начинают плакать по том, кого утратили! Оливер с малых лет помнил драки между отцом и матерью, и это были не шутки, ого!..

— Вот ты сидишь и посвистываешь, в смушковой шапке набекрень, и горюшка тебе мало, — проговорила она. — А я хотела бы знать, как ты думаешь: что будет с нами дальше?

— О себе лично я не беспокоюсь, — ответил он. — Ни капельки! Я опять еду в море. Впрочем, я решил хлопотать о месте на маяке.

Провизии на этот раз удалось взять немного, но Иорген ссудил ему лодку, он взял с собою рыболовные снасти и котелок и поплыл в море. Он надеялся прокормиться рыбой,

которую собирался ловить по дороге. Те три дня, что его не было дома, мать также отсутствовала; она решала вопрос: куда ей деваться,— и когда Оливер вернулся, он застал дом пустым.

На этот раз ему не особенно повезло, он даже не наловил достаточно рыбы для пропитания. На очаг он поставил котелок с картошкой.

Правда, он вернулся не с пустыми руками; в лодке он привез дрова, а под мышкой, кроме того, добрую охапку гагачьего пуху, и время он провел за островами приятно и беззаботно. Поев картофеля, он насытился, отправился к лодке и продал почти все свои дрова людям, которые не хотели торговаться с калеккой. Опять у него в кармане завелись денешки!

Так проходил день за днем.

Однажды вечером пришла Петра. Он в первую минуту решил, что она зашла ошибкой; на ней была новая серая накидка, и, кроме того, Петра не могла ведь придти к нему, бывшему жениху, с которым она порвала!

— Какой гость!— смущенно проговорил он.

— Я хотела только забежать на минутку... Где твоя мать?

— Ты спрашивашь меня, а я хочу спросить тебя!

— Вот как! А кто же стряпает тебе?

— Кто может стряпать? — уклончиво ответил он.— Какое тебе до этого дело? — подумал он, может быть. Она сидит тут в своей накидке, но он не станет вилять перед нею!— Что у тебя вышло с Маттисом? — спросил он.

— С Маттисом? Каким образом?

— Он плакал из-за тебя,— сказал Оливер и насмешливо улыбнулся.

— Из-за меня? Ты шутишь. Из-за меня некому плакать!

Ясно, что он поставил ее в затруднение, это доказывало ее лицо, и он еще более недружелюбно засмеялся над нею и ее серой накидкой.

— Отчего это ты так? — тихо молвила она и поднялась.

— Ну, да это ведь меня не касается,— сказал он, чтобы показать ей, как далеки от него она и ее дела.

— Я читала о тебе в газете,— заметила она.

Он должен быть ей благодарным за то, что она читала о нем в газете; но нет! Что случилось с Оливером? Он так переменялся, так изменился, стал почти совсем другим человеком! Она пришла в замешательство, пробовала с

ним и так, и этак, и, наконец, попросила одолжить ей газету. Она хочет прочесть еще раз!

Оказалось, что он носил газету с собой, он вынул ее из кармана, завернул в бумажный мешок и сказал:— Ты можешь взять ее; но верни!

Дня через два она опять пришла к Оливеру, и так как это был воскресный вечер, то она была еще наряднее. Вероятно, он ждал ее — он сделал кое-какие приготовления: вытер пол и вымыл плиту, потом он вынес немытые чашки и горшки в пристройку. Случай пришел ему на помощь: он нашел в одном из карманов несколько мелких итальянских монет и разложил их в виде украшения по столу. Потом он сел дремать к столу. Когда Петра вошла, он беспечно потянулся и зевнул.

— Я принесла газету,— проговорила она. Она знала статью наизусть и читала ее; пусть он знает, что говорит о нем газета; это прекрасная статья, с нею можно далеко пойти!

— Я довольно поездил по белу свету,— сказал он и надулся.

— Да, я это знаю. Кто вымыл у тебя пол?

Что ей за дело! Неужели она пришла издеваться над ним? Он лукаво ответил: — Девушки!

— Какие девушки?

— О ком ты спрашиваешь? — молвил он предостерегающе.

— Я тоже могла сделать это,— сказала Петра. Вид у нее, впрочем, был не здоровый и не свежий, а скорей недомогающий — о, нет, совсем не блестящий.— Если хочешь, я сварю тебе кофе,— смиренно промолвила она.— Я принесла с собой кофе на всякий случай.

Нельзя сказать, чтобы это вызвало в нем неудовольствие, но...— Нет, ты не хлопочи,— сказал он.

— Великий боже, неужели я этого не сумею сделать! — воскликнула она и тотчас же принялась за дело.

Он обратил внимание на то, что она опирается на стул и раза два отвернулась и сплюнула.— Зачем ты в накидке, разве ты не можешь снять ее? — спросил он.

— Это ведь легкая весенняя накидка. Какие у тебя странные деньги — что это за деньги?

— Это из-за границы.

— В каких ты только местах не бывал! — промолвила она.

— Это из Италии. Это там такие деньги, сольдо. Хочешь взять их?

— Нет, не надо отдавать их!

Он собрал монетки и бросил в карман ее накидки.

Они заговорили о его матери — она, конечно, скоро вернется; о его последней поездке за острова, о том, как дерзко было пускаться так далеко в открытой лодке. Он принес из пристройки чашки, и она перемыла их, налила ему кофе; сама она только что пила кофе, и сейчас ей больше не хочется. Она села на стул, пот выступил у нее на лице.

Оливер, напротив, чувствовал себя хорошо, он подразнил ее немножко столяром, но без злости; он ничего не имел ни против нее, ни против него: — Значит, что-то, таки вышло у тебя с Маттисом!

— Ты говоришь вздор с Маттисом!..

— Да разве ты не выходишь за него?

— За Маттиса? — Петра всплеснула руками. Она избавилась от Маттиса, она отрекается от Маттиса, она даже посмеялась над Маттисом и его длинным носом!

— Изумительно! — промолвил Оливер, и ему не было неприятно слушать ее уверения. — А я иначе понимал дело, — сказал он.

Петра глядела вниз, вдоль своей мантильи, и бормотала: — Есть только один в моей жизни, которого я бы хотела иметь...

Оливер задумался и вдруг спросил: — Служишь ли ты еще у Ионсенов? Как поживает Шельдруп?

— Шельдруп как поживает?

— Я просто так спросил... Он держал себя как мальчишка, когда я приплыл со спасенным судном и нужно было составить об этом протокол.

— Ага! — Петра подлила ему кофе и опять села. Потом она начала: — Нет, Оливер, ты скажи, что бы ты подумал, если бы...

— Что именно?

Молчание.

— Нет, я не знаю, — говорит она, покачав головою, садится и начинает перебирать итальянские монетки. — Но думаешь ли ты, что между нами опять могло бы быть по-прежнему?

Этот вопрос не произвел на Оливера особенного впечатления; может быть, он ожидал его. Он продолжал думать свое. — Как это тебе пришло в голову? — спросил он.

— Я об этом думаю все время.

— Я теперь никуда не похужу, — сказал он.

— Не говори так! Ты можешь пригодиться как-нибудь консулу.

— Консулу! — вспыхнул он. — Нет, я немножко хлопочу насчет места в маячном управлении.

— Или так. Что-нибудь, во всяком случае, выйдет!

Молчание.

— Об этом нечего думать, — сказал он. — Инвалид и пустой дом! Да, я мог бы достать пару дверей, чтоб поселиться, но...

Она слышала, что такие вещи бывают, и больше не настаивала, но намекнула, что у нее самой есть пара дверей. И показала ему, что еще носит его кольцо, все осталось по-прежнему. Оливер, без сомнения, следил за нею, и зевнул, когда она заговорила о кольце; он тоже был немного смущен, и если бы сказал что-нибудь, то, наверное, что-нибудь отчаянное:

— Ха, ха, да ведь теперь там стоит, конечно, другое имя!

— Нет, я его велела стереть. Хочешь взглянуть?

Эта Петра была во многих отношениях чертовски ловкая девка, и работающая притом! Но это уже было слишком! — Разве ты ему не вернешь кольца? — спросил он.

— Вернуть! Так я это и сделала!

Оливер добродушно рассмеялся, чтобы вывести и себя, и ее из затруднительного положения.

— Отдать кольцо! — повторила она. — Попробуй, какое оно тяжелое! Ведь это накладное золото.

Оливер возмутился: — Что ты городишь! Не думаешь ли ты, что я купил тебе за границей медное кольцо? Это настоящее каратовое золото!

— Я так и думала. Кольцо никогда не сойдет с моего пальца!

Но не так-то оно легко шло! Она воображала, что еще остается помолвленной с ним, но не следовало ли им еще подумать над этим, поразмыслить? Столяр, конечно, от этого не умрет; ведь он сам пошел на попятный, — кроме того, это будет хороший сюрприз столяру, который обидел калеку. Но, во всяком случае, многое еще следовало взвесить!

— А я сижу! — вскричала она и побежала посмотреть за чайником. — Я и не заметила, что ты допил кофе!

И Оливер позволил ей налить ему еще чашку, — это был хороший, крепкий кофе; в общем, ему выпал приятный часок. Петра принесла с собой милый уют — уже тем, что опиралась на его плечо, когда наливала ему. — Там, где

продается этот кофе, есть еще такой! — проговорила она и села к нему на колено.— Ты можешь еще держать меня?

— Еще бы я не мог держать тебя! — молодцевато ответил он.— Я могу носить тебя на руках совершенно так же, как и прежде!

— Вот видишь! Почему ж бы этому не бывать? — Она прильнула к нему с накидкой и со всем, целовала его и настойчиво шептала:— Что ж, Оливер, хочешь ты меня?

Ну, это было положительно слишком, но пусть уже: хорошенько подумав, в этом не было ничего особенно безумного! Как ей этого хочется, как ей этого хочется!

— Гм...— промолвил он.— Когда я вот так сижу и думаю, то мне кажется...— здесь он остановился, и с минуту царила мертвая тишина,— мне кажется, что это, пожалуй, могло бы еще сбыться...

— Да,— шепнула она.

— Раз ты этого хочешь...

— Да,— шепнула она.

ГЛАВА V

Опять пошел день за днем, хуже не становилось, чем прежде, а скорей лучше; Петра приносила с собой то одно, то другое, когда забегала в дом, а Оливер ловил рыбу с большим усердием, чем прежде. Некоторая жажда приключений не оставляла его; в хороший день он мог засесть далеко в море на своем углу суденышке, оставаться там целые сутки, и затем возвращаться домой. В этом отношении он был своенравный человек.

Нет, хуже чем прежде, не было; и так как перед глазами не стояла нужда, то Оливер был доволен. Когда его мать вернулась домой из своей поездки, она также явилась не с пустыми руками, но с мешком на спине, в котором были съестные припасы и кое-что из одежды. Еще недавно такой мешок послужил бы яблоком раздора между ними; теперь же их было трое в доме, они делились всем, хотя бы уже потому, что иначе было бы стыдно. Оливер был безупречен в роли жениха.

Однажды пришла старуха, Оливер узнал ее и мог бы взять у нее билеты; но он, оказывается, выиграл, и старуха принесла ему скатерть! — Видишь,— сказал Оливер со смехом,— господь не забыл меня! — У них были скатерти, а Петра приладила двери к пристройке; у них уже было кое-что из хозяйства. В прежние годы, когда Оливер

возвращался из странствий, он привозил своей невесте подарки; эти украшения также появились в доме, и стояли теперь на ее комодe, от фарфоровой собачки и зеркала до белого ангелочка и подноса с деревянными инкрустациями.

После венчания он позволил себе двухдневное безделье и кормился остатками праздничного ужина, потом мать вспомнила свою старую привычку и посоветовала ему выехать на работу. И он поехал! Он бы сделал это и без напоминаний, ведь он сам знает свое дело! Право, жизнь была так хороша, что и сказать этого нельзя было; Оливер не жаловался, он был женатый человек и так далее, все было решено раз навсегда, никаких сомнений, никакой нерешительности. Какое счастье, что он в свое время не сдал пристройки; теперь он сам в ней поселился!

Но вот однажды пришел Маттис и послал мальчишку сказать, что он хочет говорить с Оливером. Но Оливеру не о чем было говорить с этим человеком, решительно не о чем! — Спроси его, что ему нужно от меня. Скажи ему, чтоб он не околачивался около моего дома!

Видно было, как столяр прохаживается взад и вперед перед окнами и набирается духу; можно было подумать, что ему не в первый раз выступать против Наполеона! — Он совсем с ума сошел, что собирается напасть на калеку, — решил Оливер. — Пусть говорят с ним те, у кого было что с ним делить! — говорит он, обращаясь в дом. Петра пригладила волосы, принарядилась, сделалась неотразимой и вышла на улицу.

Из окна видно было, что столяр весь как-то осел. Куда девался его воинственный вид? Они обмениваются вопросами и ответами, ничего особенного с ними не происходит; если они говорят о дверях — сделай одолжение; но они, напротив, говорят о кольце! Оливер далеко забился вглубь комнаты и только вытягивает нос вперед, наблюдая происходящее. Вот столяр оживился, он приближается и смотрит Петре в лицо, начинает бегать вокруг нее, не переставая говорить; он описывает вокруг нее круги. А Петра — хотя у нее угри на лице, и она не особенно хороша собой — она укрощает разгоряченного человека тихими, печальными словами. А вот она стоит и улыбается так мило, пленительно! Наконец, Маттис угрюмо устался в землю посреди улицы, и когда Петра протягивает ему руку, он берет ее, не поднимая глаз; постояв так некоторое время, он уходит. Маттис уходит. Оливер сидит в комнате, и ему почти жалко Маттиса.

В остальном никаких неприятностей больше не обнаруживалось.

Никаких больше?

О, время идет, и разное приходит; какая-нибудь непогода осенью мешает рыбной ловле, Петра связана ребенком, мальчиком, которого она родила; старуха-мать сложила с себя все заботы по дому, она не уходила уже из дому и не возвращалась с полным мешком.

Тем не менее, Оливер не терпел нужды,— и он, и кошка благоденствовали. О, этот старый кот, он уже ни на что не годился, он умел только лежать в комнате и объедаться рыбой, отрачивать себе брюхо, так что женщины, в конце концов, начали думать, что это кошка! А разве Оливер тоже не сидел в полном удовольствии дома, не качал ребенка и не глазел на улицу? Руки его стали меньше и блее цветом, лицо также стало пригожее. Ему досадно было, что он не может купить себе к зиме меховой шапки; разве зимой выедешь в соломенной шляпе?

— Что ж, ты не можешь достать себе зюйдвестки? — спросила мать.

— Сама купи себе зюйдвестку! — ответил сын, — так я смогу купить себе бобровую шапку! — Он был очень тщеславен. Нарядный в свое время голубой галстук утратил свой блеск, он никуда уже не годился, но ведь его можно было перелицевать; разве его нельзя переделать, чтобы Петра могла им пользоваться? Но оказалось, что и внутренняя сторона полиняла. Оливеру стало досадно, и он промолвил: — Мне кажется, ты однажды намекнула, что я мог бы получить заработок у Ионсена с пристани: как обстоит в этом отношении дело?

Бедная Петра! Она готова опять переговорить с консулом...

— Почему ты постоянно называешь его консулом? — раздраженно спросил он.

— Мы зовем его консулом с той поры, как я попала в этот дом.

— Но ведь с тех пор многие стали консулами, — сказал Оливер; — вон, Гейберг консул, Грюн-Ольсен консул. Нечего, в самом деле!

Это была правда; консулов появилось много — о, сколько их было, этих вице-консулов и консульских агентов, просто хоть пруд пруди, портовый городок кишел ими! Не всегда обходилось без ссор и неудовольствий, они постоянно друг под дружку подкапывались, ни один купец не выносил того, что его сосед благоденствует. Ионсен с пристани дожил до того, что у него стало много коллег, а что пережила фру Ионсен! Бог ей в том свидетель!

Петра, должно быть, попала к Ионсенам в особенно неудачный час — у него не оказалось работы для ее мужа. Или, может быть, толку вышло бы больше, если бы она выглядела чуточку лучше или наряднее. Бедная Петра, она теперь была какая-то серая, отошала, и консул прямо так и сказал «нет», пусть уж его извинят! Ей бы толкнуться к кому-нибудь из новоиспеченных консулов, которые бог их знает как попали в консула! Не может разве ее муж развешивать крупу у Ольсена? Но она хорошо сделала, что прежде всего пошла к нему, К. А. Ионсену; он попытается найти Оливеру работу впоследствии, — но не сейчас. Не нужно глядеть такой убитою! Не она одна попала в затруднительное положение в последнее время; времена настали трудные, пароход «Фиа» тоже не сделал блестящих дел. А почему Оливер не ловит рыбы?

Консул смотрел на Петру добрыми карими глазами и отказал ей не без сожаления; но ей пришлось уйти несолоно хлебавши.

Что ж дальше? Да ничего: Оливер опять взял себя в руки и начал ловить рыбу, как путный, каждый день с утра до ночи! Он им покажет! И никогда он не заходил с рыбой к Ионсену с пристани — он демонстративно проходил мимо. Впоследствии, когда рыбы стало ловиться больше, чем ему нужно было, он из пары ящичков на набережной устроил род рундука и на нем склад рыбы, пустился в авантюры! Тут он стоял, что твой купец! Несколько дней хозяйки ворчали на длинную дорогу к пристани, но так как рыбы была нехватка, то им пришлось смириться и быть благодарными и за это. У Оливера потускнели глаза, он казался немного ожиревшим и даже как будто слабоумным, но не всегда: когда дело касалось какой-нибудь штуки или проделки, он был довольно подвижен! Он стоял со своей рыбой, не зазывал покупателей, но твердо держался своей цены, и цены назначал неслыханно высокие. Хотите взять ее? Нет? Пусть лежит! Оливер знал, что может продать рыбу на пароходы; впрочем, он знал и то, что порядочные люди не станут торговаться с калеккой.

Всю эту осень Оливер и его семейство прожили лучше, чем когда бы то ни было; женщины холили своего кормильца и отдавали ему лучшие куски, кормилец получал паток у вечерней каше, кормилец получал вафли к воскресному завтраку. Это было только справедливо! Положение его улучшилось, он выплатил помаленьку старые долги лавочникам и получил возмож-

ность покрасить двери в пристройке, он начал пользоваться профессиональным уважением других рыбаков, Иоргена и Мартина. Они вот все годы безропотно таскали рыбу на своей спине из дома в дом, а Оливер научил их стоять спокойно у своего лотка на пристани и назначать за рыбу цены. Они были ему благодарны за то, что он додумался до этого.— Это потому, что я поплавал немножко по белой свету! — говорил Оливер.

Возрастающее уважение семейных и посторонних людей сделало и его добрее. Возвращаясь с дневной работы и проходя мимо окна своего дома, он слышал, как в доме поднимается суматоха и Петра говорит ребенку: — Папа идет! Поразительно, как эти выдуманные слова успокаивали ребенка; и Оливер утверждал даже, что ребенок, лежавший в колыбельке, понимал их! Возможно, что он действительно понимал их; слова эти изо дня в день повторялись в определенное время и регулярно сопровождались скрипом дверей, холодной струей воздуха и появлением человека, который склонялся над колыбелью. Когда мальчик подрос и мог уже сидеть и играть один, он без сомнения следил за всем, что делалось в доме, с полной сознательностью. Посмотрите только на это чудо: как только мать начинает расстегивать грудь, он уже чмокает губками! А когда мать говорит: — Вот идет папа! — ребенок устремляет свои карие глазки на дверь! И вот, начиналась потеха между Оливером и мальчиком. То, что ребенок протягивал ручонки и тянулся к нему, умиляло калеку. Это крохотное создание — найдите-ка еще такого! — этот червячок, этот маленький бездельник — что это за мальчик, господи! Просто ужас, как мальчик плачет, когда папа уходит; папа не выносил этого, он сам готов был заплакать и кричал на Петру: — Дай ему грудь, говорю я тебе! — После чего Оливер убегал вприпрыжку на своей деревяшке.

Он часто вступал с женщинами в спор насчет того, понимает ли ребенок или не понимает; часто он держал об этом пари, показывал ребенку картинки и буквы, давал ему разные предметы для игры. Оба они были дети, глупые и добрые.

— Ну, ты совсем с ума сошел! — кричали женщины. — Как это ты даешь ребенку для игры кофейник? — А на чем он будет барабанить? — спрашивал Оливер. Он снимал для ребенка разные безделушки с комода, и когда ребенок бросал на пол какое-нибудь зеркальце, Оливер говорил, что это он уронил его, и брал вину на себя.

Какие это были хорошие дни! Петра опять похорошела и любила выходить из дому по воскресеньям. Пусть идет, Оливер ничего не имел против, бабушка тоже может уйти; он не понимает, как здоровые и подвижные люди могут сидеть в комнате! Сам он оставался дома, и когда ребенок засыпал, он тоже дремал у стола. Грезил ли он? Проходили ли воспоминания прошлого в его мозгу? У него были причины задумываться над своей страшной судьбой,— но она, кажется, принесла ему и некоторое отупение.

В сумерки вернулась Петра, да и пора было; маленький уже визжал как поросенок. Дело в том, что Оливер вздумал учить ребенка читать, но посреди этих занятий ребенок разревелся, папа начал его подбрасывать и разговаривать с ним: — Ну, ну, не надо реветь, ты научишься, это так же верно, как то, что я Оливер Андерсен! — Но мальчик просил молока, и знать ничего не хотел.

Если бы Петра обнаружила смирение и раскаялась в том, что так долго задержалась приходом — ничуть не бывало! Тяжелый для нее был удар — вернуться с улицы, от жизни, к детскому крику! Она так молода — и так связана, так угнетена! — Ну, молчи, вот я пришла! — сказала она ребенку. Но она медлила снимать свое воскресное платье, она стояла перед зеркалом и осматривала себя; в общем это было очень скверно, и Оливер был больше, чем терпелив, если не тронул ее костылем.

Он долго наблюдал ее и наконец крикнул с яростью: — Черт побери, почему ты не берешь мальчика?

— Почему я не беру его? Вот я беру его!

— Да, после того, как он посинел от крика!

— Пусть покричит. Не умрет!

Не оставалось сомнения, что Оливеру нужно было пустить в ход костыль! Не умрет! Господи, что за дура! Но его нужно было накормить. Это ясно было: получив то, что ему нужно было, ребенок тотчас же умолк! — Нужно же шевелить мозгами! — промолвил Оливер, и почувствовал себя правым.

Но Петра вскидывала голову, Петра ворчала. Что с ней сделалось? Не понимает она, что ли, своего положения? Она уже не девушка, она замужем — теперь дело пропащее, оставьте всякую надежду! Бедная Петра; попав между двух огней, она должна была сдаться,— и как тяжел крест, который она на себя возложила! Она не может этого больше выносить, у других девушек нет такого креста, черт побери! У консула ей очень доверяли, дважды ей

повышали жалованье, и Шельдруп был влюблен в нее, и хорошо это было. А теперь — куда она попала?..

— Похоже, что ты совсем не думаешь о ребенке, — проговорил Оливер тоном судьи.

— Я думаю о нем днем и ночью. Что ж, брать его с собой на спину, когда я выхожу?

Петра издевалась. Оливер все внимательнее смотрел на нее, и когда уловил носом ее дыхание, ему все стало понятно: она была в гостях и выпила. Это было неслышанно: вот откуда у нее смелость и словоохотливость!

— Где ты была? — спросил он.

— О, я была во многих местах!

— Во всяком случае, ты куда-то заходила и выпила!

— Ты это заметил? Да, я была у консула. У них были гости, и я немного помогла по хозяйству. Мне поднесла хозяйка...

Петра не была пьяницей, и объяснение ее было удовлетворительно — если оно было правдиво. Если только это была правда! Она не боялась лжи, неискренности, — напротив; и так как она не отличалась изобретательностью, то она начала заигрывать, кокетничать, дерзить, и этим отдалась. Оливер мог верить или не верить, что она была у консула, ведь это не меняло дела! Вот она сидит и кормит ребенка грудью, — дурочка, но молодая и хорошенькая, может быть легкомысленна, — что с того! Ну, она не бог весть какое сокровище, обыкновенное и малозначительное существо, просто девчонка в башмачках; но у нее есть и хорошие качества: теплое тело и чертовски много женственности!

Вот она пришла и сидит дома, она принадлежит Оливеру, она кормит, в ней молоко, он смотрит на ее полные груди...

Но Петра чересчур опьянела; может быть, она была голодна, когда пила, поэтому ей и ударил в голову стаканчик, и она осмелела. От вина она стала груба и заносчива. Смотрите, как она укачивает маленького Франка, укачивает ребенка; она знает, что Оливеру это не понравится! Началась ссора, Петра не осталась в долгу, ей плевать было на то, что старая бабушка вошла с улицы и слышит все. — Что это? — подумала, конечно, бабушка. — Неужели они ссорятся всерьез? Она слышала, как молодая женщина бросила мужу: — Что ты так расходишься?

— Я?

— Да, ты! И не стыдно тебе?

— Я такой, как ты меня видишь, — промолвил он.

Она засмеялась и ответила:

— Хоть бы ты был таким!

Мать ничего не понимала, но удивлялась сыну, что он не выходит из себя. Сидит на месте! Петра говорит такие странные слова — на что она намекает? Оливер молчит.

— В чем дело? — спросила старуха.

Никто ей не ответил.

Вдруг Оливер спросил зловещим голосом:

— Зачем же ты пришла и навязалась мне? Вот чего я не понимаю!

Петра ответила на это: — Ты хорошо понимал!

— Что я понимал?

Молчание.

Старуха шагала по комнате, потом тоже сняла воскресное платье и развесила его, но все время прислушивалась. Что еще могла знать Петра о своем муже такого, чего не знали о нем все? Что тут за тайна? Что он, сидел в тюрьме или должен попасть туда? Старуха вспомнила теперь, как Петра давно уже язвила своего мужа, полусуто, полунасмешливо, она при этом смеялась и делала какие-то непристойные намеки: что от него столько же толку, как от кота в доме, что он только поедает рыбу...

В комнате наступило молчание. Ребенок спал, и на людей также снизошел мир.— Что слышно в городе? — спросил Оливер примирительно.

Так как Петра молчала, то ответила мать: — Я-то ничего не слыхала. Да, у нас будет высшая школа!

— Вот как, высшая народная школа!

— Так говорят. Для нее построят громадный каменный дом.— Но так как Оливеру хотелось вовлечь в разговор свою жену, то он обратился прямо к ней:

— Какие были гости?

Ну, этого она не помнит! — Значит, это была выдумка? — Он решил разузнать правду поутру.

— Ты думаешь, у консула? Все важная публика!

— Были с ними и дамы?

— Нет. Этого я не знаю.

— Стало быть, ты не прислуживала?

— Что ты меня допрашиваешь? — воскликнула она, посмеиваясь.— Ты мне, может быть, не веришь? — Но она была не совсем спокойна, смех ее прозвучал глухо. Оба они балансировали, ходили по краю пропасти. Вдруг она овладела собою, погладила его по волосам и пошутила: —

Нет, тебе надо было взять сиделку из Италии, Оливер. Тогда бы ты стал мужчиной!

Оливер ответил ей полусерьезно, полушутя:— Да, конечно, я жалею о сиделке!

ГЛАВА VI

Зима тянулась день за днем.

Разумеется, Оливер не выдержал характера; его трудолюбие было искусственным, ему надоело ловить рыбу. Он в свое оправдание ссылался на ребенка.

Понемножку у него вошло в правило, по возвращении с рынка демонстративно исследовать ребенка в колыбели, удостовериться, дышит ли он еще, прислушиваться к нему. И он задавал обидные вопросы:— Тебя, наверное, не кормили, Франк, об этом не вспомнили?— Вначале женщины этому смеялись и обращали все в шутку, но Оливер всерьез заявил, что он боится за ребенка. Впоследствии он уже открыто прятался за ребенка, когда не хотел выезжать в море: ребенок душу раздирает криком, когда он его оставляет!

Он уступил свое место на пристани рыбаку Иоргену, он сам предложил его Иоргену:— Это лучшее местечко, и ты его получишь! Ты ведь знаешь: ты, да я, Иорген!

Разве он больше не будет ловить рыбы?

Не для продажи; он будет ловить лично для себя! Иорген во всяком случае получит местечко на всю зиму,— весною оно, пожалуй, снова понадобится Оливеру. Он подробно объяснил Иоргену, в чем дело: у него не хватает духу покинуть маленького Франка; что там ни делай, ребенок хочет быть с ним да и только!

Просто чудеса творились с этим маленьким человеком — и не может ли Иорген указать ему причину, почему ребенок предпочитает отца матери и всем прочим?

— Может быть, это заложено в ребенке природой...

Вот это самое и он думал: отец — настоящий родитель, а мать только земля, в которую посажен этот росток. Разве это не так? Трава растет, вода носит корабли, небо усеяно звездами — все это так понятно! — Но тут совсем другое дело, и разумеется, никто на свете не мог бы объяснить ему, как это Франк — ребенок, не больше ладони,— и все понимает!..

Пустые слова, болтовня от нечего делать — как бабий разговор за прялкой. Но Иорген, не отличавшийся

говорливостью, прибежал к своему обычному объяснению: в природе, мол, много скрытого!

Город понимал Оливера иначе; город как будто был того мнения, что Оливера следовало посадить на хлеб и на воду за его бездельничество. На что это похоже — сидеть привязанным к ребенку!

Но многое скрыто в природе — в том числе и в Оливеровой. На этот раз он свое отлынивание от работы объяснял уже иначе, совсем особенным образом! Правда, он ленив; но разве у него нет для этого причин?

В одно утро он обратил внимание, что у Петры, хлопотавшей над кофейником, проступил холодный пот на лбу. — Тебе нездоровится? — спросил он. — Да, — отвечала она. Он этим ограничился, съел свой завтрак, выехал на ловлю и вернулся домой вечером. Петра не в себе, словно у нее болят зубы, Оливер видит, как она осторожно прожевывает пищу, на кофе и смотреть не хочет, уходит в угол и отплевывается. — Ты нездорова? — спрашивает он. — Нездорова, ты ведь слышал! — отвечает она с раздражением.

Теперь он с рассчитанной манерой смотрит на нее, медленно проводит по ней взглядом сверху вниз, не украдкой, но так, чтобы она видела это. Сделав это, он опускает долу глаза и вздыхает.

О, у Петры есть глаза, она поняла! — Хочешь еще кофе? — спрашивает она и наливает.

Он ничего не отвечает, он так глубоко погружен в свои думы, что ничего не слышит. Растрогал ее, что ли, его вздох? Во всяком случае, она притихла и молча возилась по хозяйству. — Пей же кофе, пока он не простыл, — говорит она.

Оливер приходит в себя из далеких краев, из страны апельсинов, — а может быть, из преисподней; он встает с места. Теперь все пошло бы мирно и гладко, но случай опять портит дело: — Ну, Франк, я уйду! — говорит он спящему младенцу. До этого момента все шло хорошо.

Но он начал искать в своих карманах и не нашел чего-то. — А вечером я вернусь к тебе, Франк! — говорит он. Он роется на полке, выдвигает ящик комода и не находит. И наконец — находит в колыбельке: карманный нож, этот ужас, этот меч, которым он режет рыбу на пристани! Вчера вечером он дал ребенку поиграть им и забыл об этом. И ничего не поделаешь — Петра уже всплеснула руками и залилась смехом! Вздох Оливера пропал незамеченным, он выполз из дому на работу, как побитый.

Но к чему была вся эта сцена? Ведь это холодная игра. Разве не бывает, что замужней женщине неможется, и ей противен кофе? О, как все это вдруг показалось Оливеру непереносным, какой тяжестью и отчаянием это налегло на него, бог не сделал его рассудительнее! Он пал духом. Не то, чтобы он с этого дня стал на других сваливать вину за свою лень — нет, этого он не сделал, но он стал прикрываться ребенком. У него явилась причина отлынивать от работы.

Так прошла зима.

И так прошла не одна зима — в безделье и семейных ссорах, на дурном питании, в грязи, во мраке.

По веснам Оливер просыпался и начинал усердно ловить рыбу до осени, дома опять жилось лучше, он выплачивал за взятую зимой у лавочников муку и маргарин и без труда перебивался. Так это и шло. Уважение, которое он когда-то снискал, он утратил, люди о нем забыли и мало с ним считались, чего он, пожалуй, и заслуживал, о господи!

На этот раз у Франка явился братишка, темноглазая белка в колыбельке; папа принял это как должное и не приходил в отчаяние, он был ласков с обоими детьми, но Франк, первенец, был и остался его мальчиком, вторым же, Абелем, он не занимался. Даже мать отдавала предпочтение Франку — может быть потому, что он был пригожее; когда платья становились на Франка малы, они переходили к младшему, Абель годами бегал в протертых штанишках. Это не огорчало Абеля — напротив, он обычно находил что-нибудь в карманах платья, которое переходило к нему, — складной нож, трубку, обломок карандаша, пуговицы, крючки, гвозди, и эти вещи он моментально променивал на другие и ловко подкладывал их законному владельцу платья. Такова была манера Абеля пользоваться земными благами! Впрочем, у него были и другие способы; он постоянно бегал вместе с Эдевартом, сыном рыбака Йоргена, который был немного старше его, и от которого он многому научился. Эти мальчики зарабатывали иногда деньжонки, бегая на посылках, помогая кое в какой работе и порою делая удачные «находки». Однажды они нашли даже кофе в кладовой при лавке Грюн-Ольсена — и как можно было этого избежать! Он стоял там прямо на полу — должно быть, был забыт кем-нибудь, целый мешок, недавно открытый; дети решили, что он представляет некоторую ценность. Карманов тут собственно было недостаточно, но никогда еще карманы не оказались так

кстати! По дороге Эдеварта стали немного разбирать сомнения: стоит ли идти домой с находкой; но Абель прямо пошел домой со своим кофе. Когда Абель на другой день пришел к кладовой с посудой, товарищ рассказал ему позорную историю: Эдеварта сперва заставили вернуться назад с кофе к мешку, а когда он вернулся домой из этого путешествия, ему задали взбучку. Эдеварт даже сомневался, хочется ли ему теперь жить со своими родителями!..

Таким образом, кофе, который мог стать источником благополучия, вместо того причинил Абелю огорчения, мать нарушила свое обещание и ничего не дала ему за кофе. Он пробовал действовать на нее и добром, и угрозами, — никакого толку. Тогда он отправился к Оливеру, к папе, и расплакался.

— Когда человек обещает что-нибудь, он должен сдерживать обещание, — резонно заметил Оливер.

— Выходит, — сказала Петра, — что я должна покупать кофе, который он украл? Хорошим ты его делам учишь!..

Но отцу польстило то, что сын обратился к нему; и когда однажды ему удалась ловля, он дал Абелю новенькую крону. — Пусть они не обижают тебя! — сказал он во всеуслышание. Благодаря такому великодушному образу действий, Абель получил возможность купить себе на другой день подержанный удильный снаряд. Он купил его у Олава с лужайки, того самого Олава, который получил заряд мины в лицо, и с того дня потерял красоту и ходил с синими пятнами на лице. Позднее он потерял и руку. Он пил как безумный и продал все, что имел, — теперь он продал Абелю свой рыболовный снаряд.

— Есть у тебя деньги? — спросил Олав.

— Да, — ответил Абель, — крона.

— Одна крона! Я и за пять не продам его.

Они поглядели на удочку, Олав закурил и сплюнул.

— Она не прогнила? — спросил Абель и пощупал лесу.

— Прогнила? Что ты, новехоньякая леска! Можешь на ней хоть повеситься. Но только знай: за крону — ни-ни!

— У меня нет больше.

— Тогда уходи. Какого черта ты торчишь тут со своей кроной?

Абель двинулся.

Олав закричал ему вслед: — Эй, ты — как там тебя, разве у тебя нет больше?

— Нет.

— Ну, иди, забирай! Но только он стоит пятерки!

Абель добился своего. Мальчики мечтали больше всего о рыбной ловле — вот что засело им в голову. Оба они выезжали с Эдевартовым отцом на ловлю, они знали рыбные местечки, но у них не было снаряда, отцы не решались им дать свои снасти и пустить ребят удить на свой страх.

Теперь они имели что нужно, и вечером выехали в лодке Оливера.

Какой напряженный момент! Пригнувшись, осторожно, как воры, они скользили вдоль берега, торопясь обогнуть мысок и скрыться из виду, это были совсем малыши, ростом не больше аршина, но они были предприимчивы и строили планы. Неизвестно, сколько они наловили в первый раз, но то, что они добыли, должно было пойти на удочку для Эдеварта так, чтобы у каждого была своя. К лодке они оба привыкли, они умели грести и править чуть ли не с того дня, как начали ходить, плакать из-за Белки и Эдеварта никому не придется! Абель в этот день был особенно хорошо снаряжен, на нем были большие сапоги с голенищами; он очень гордился ими, хотя они первоначально принадлежали отцу, а затем их стоптал Франк.

И вот они удили рыбу! Это значит, что они спускали удочку на дно и тотчас же поднимали ее на несколько сажен. Эдеварт удерживал лодку на месте. Они все знали, эти ребята — ого! Время от времени Абель снова бросал грузило на дно и приподнимал его на сажень — это всякий раз было необходимо делать, чтобы держать наживку на должной глубине. Вот он опять опустил удочку на дно, и когда хотел потянуть ее, она застряла. — Что за черт — гребни, табань! Пробуй грести на восток, на запад! Шнурок крепко сидел на дне. — Стой, возьми весло, я посмотрю, — сказал Эдеварт, как старший. Они гребут и правят, и, наконец, леса свободна: — Сейчас вытащу, — говорит Эдеварт. Он тащит, но на лесе ничего нет, она лопнула по самой середине, грузило и крючок остались на дне моря!

Они уставились друг на друга, ни о чем не думают и ничего не замечают, леса ушла! — Черт! — восклицает Эдеварт, как старший. Абель не ругался, но когда Эдеварт выругался, то этим он выразил и сокровенное настроение Абеля. Свалить вину за несчастье друг на друга они не могли — но ведь это Олав с лужайки продал им гнилой шнурок! Ничего не оставалось, как ехать домой.

— Ты получишь обратно свою крону, — утешает Эдеварт.

— Я не получу ее, — уныло бормочет Абель.

— Получишь. Я с тобой пойду!

— В самом деле? — О, Абель полагается на своего товарища, верного, испытанного товарища; он ободрился духом. Вот он сидит и мрачно сжимает губы и кивает в знак того, что он, Эдеварт, надумал пойти с ним и взяться за это дело! Завтра они застукают Олава, когда он придет на пристань, он постоянно там околачивается.

Да, но Олав не хочет расторгнуть сделки, марш отсюда, мышенята! Абель ударился в слезы, но и это не помогло.— Это была леска не для того, чтобы оставлять ее на дне морском, а для того, чтобы удить ею. Прочь отсюда, говорю я!

Но маленький Эдеварт, старший из двух, бывал в разных переделках. Товарищи посоветовались, и решили насыпать порохи в трубку Олава и еще раз подпалить его! О, эти городские мальчишки, они еще не выше аршина, а уже в них сидит семь чертей! И вот Эдеварт купил табаку,— табак ему все равно был нужен, так что это была не бесцельная трата; порядочную горсточку пороху он достал у дорожных рабочих. Теперь он был вооружен, товарищи направились на пристань и стали ждать.

На виду лежит чудесная пачка табаку, в серебряной бумаге с украшениями, страшно дорогая и соблазнительная, вскрытая и готовая к употреблению. Порох лежит в табаке.

Приходит Олав.— Что это у тебя за сор лежит? — спрашивает он.

— Мой табак, думаешь ты?

— Это табак? Дай-ка мне набить трубку!

— Нет, ты попробуй только взять! — говорит Эдеварт, готовый наострить лыжи.

— Кто вам, маленьким паршивцам, позволил иметь табак?

— Впрочем, куда тебе, однорукому, набивать себе трубку!

Олав видит, что может ничего не получить, и говорит:— Ну, так ты сам набей. Что это за дурачество!

Пока Эдеварт набивает трубку табаком до самого верху, Олав продолжает калякать:— Разве можно маленьким вшивцам иметь табак? Где ты его достал?

— Я купил его.

— Ты украл его! Был бы ты моим мальчишкой! Смотри, набей поплотнее, не скупись!

Эдеварт вручает Олаву трубку, и тот готовится зажечь ее.

Ребята отступают шагов на десяток и смотрят на лошадь, привязанную к столбу. В этой лошади наверное было что-то особенное; она совершенно походила на всякую другую лошадь, была она темногнедая, и ничего такого на ней не замечалось, но мальчики обменивались вопросами и ответами насчет этой лошади и высказывали о ней свое мнение. Вдруг послышалось шипение, вспыхнуло пламя на Олаве с лужайки, и мальчики увидели, что он подпрыгнул вверх. Потом случилось что-то другое интересное, это они поспешили смотреть на другом конце города. Но за собой они слышат бешенные вопли: — Подать их сюда, а там они увидят! — Абель на беду был в тяжелых сапогах, и его чуть было не поймали.

Это была не последняя проделка товарищей, и не в последний раз они ездили на рыбную ловлю; в скором времени они обзавелись хорошими лесками и пользовались лодкой с полного ведома Оливера. Воскресенья были чудесными днями для мальчиков; так как между ними не было религиозных разногласий, то они легко договаривались насчет того, чтобы удить в праздник, когда лодка свободна с утра до вечера. Им случалось и в самом деле привозить домой по маленькой связке рыбы. Сбывать рыбу было вовсе нетрудно, у доктора охотно давали за нее хорошую цену, да еще с прибавкой — мальчики предпочитали семью доктора Ионсенам с пристани, к которым они несомненно питали некоторую враждебность. Иногда дети получали и по большому бутерброду — лучшее, что можно было им предложить после восьмичасового поста; иногда их спрашивали в докторской кухне, позволяют ли им удить по воскресеньям, когда люди ходят в церковь; но это, по-видимому, не было известно обывателям в городе.

Славные, богатые это были дни! Необузданные дикари и бессовестные мальчуганы на разнообразнейших поприщах деятельности! Круглые сутки, как наяву, так и во сне, с головой, полной переживаний! Была ли в Абеле мечтательность или чувство собственного достоинства? Ни капельки! Это была маленькая, проворная Белка, какой-то дикарь, все его члены были в вечном движении. Его в одно и то же время видели и наверху, в церкви, и внизу, у фиорда, он не ходил, если была малейшая возможность бежать, вечно куда-то торопился, его большие сапоги постоянно стучали по улице. Такой уж он был! Эдеварт тоже был не хилый парень, но он был старше и нес ответственность; кроме того, он всегда лучше питался дома,

поэтому и был круглее на теле. Его упитанность ни в чем не создавала ему помехи, он мог проявлять изумительное проворство, когда аптекарь в ярости выбежал в сад и кричал: — Какого ты тут черта делаешь на яблоне? Когда Эдеварт начал серьезно посещать училище, он немного сбавил в весе, но не настолько, чтобы ему это повредило; скорее Абелью и в этом отношении пришлось хуже, Абель остался бледным и худым мальчиком. По старой привычке он продолжал околачиваться у рыбака Йоргена, и там за несколько лет появилась маленькая девочка, с которой он иногда устраивал игры; но Эдеварта, мужчины, эта маленькая девочка не могла ему заменить, далеко нет. Она звалась Лидией, и как мать, также Лиллелидией — «крошкой Лидией», — была она славной девочкой, но только невыносимой из-за вечного плача по разным пустякам.

Да, Абель стал одинок; Франк, его брат, также ходил в школу, и кроме того вообще был слишком учен для Абеля, между ними было мало общего. Они не сходились между собой во взглядах на жизнь; чем для одного была рыбная ловля, тем для другого были книги, газеты и разные тонкости. Франк рано начал ходить в школу, и теперь был блестящим учеником. Ему предстояло сделаться телеграфистом или банковским поверенным, мать лелеяла честолюбивую мечту, что Франк поступит в среднюю школу вместе с детьми лучших семейств и научится разным премудростям. У каждого свое честолюбие; думаете ли вы, что его не было у Лидии, жены рыбака Йоргена? О да; и что было хуже всего, ее честолюбие было глупое, и город посмеивался над ним: она записала своих девочек на танцевальные курсы! Разумеется, Лидия хотела прыгнуть выше себя!

Это привело лишь к тому, что Генриксены с верфи, семья таможенного надсмотрщика, и фру Ионсен с пристани нашли необходимым взять своих детей с курсов — не из-за детей рыбака; но вот, например, Фиа Ионсен, у нее бледная немочь, она стала такой худой и длинной, что жалко было смотреть! Это была политика... Бедная приезжая учительница танцев ломала руки и задумывалась; риск был большой, наконец она нашла выход: первый курс был полон — как она не сообразила этого раньше? — но она откроет еще один, спрос на ее уроки оказался неожиданно велик; пожалуй, придется открыть даже два новых! И тогда все будет в порядке.

Танцы получили в городе большую популярность, над Лидией уже ни одна женщина не посмеивалась, дети

стекались на курсы. Если дети Лидии учатся, почему бы не учиться детям бочара и цирюльника Гольте? Никогда учительница танцев не потирала так руками, она получила вкус к жизни и научилась танцевальной политике! Эдеварт тоже записался на курсы, Франк тоже записался, ибо Оливер, его отец, в то время ловил рыбу и зарабатывал деньги.— Да,— говорил Оливер,— ты должен изучить все, чему можно выучиться!— Но что касается Эдеварта, то он только один раз пошел на урок, потом он отправился к Абелю и попросил его танцевать за себя. О, Абель охотно согласился оказать товарищу услугу; но так как у него не было приличного костюма, и, кроме того, он был не умыт, то его попросту выпроводили. И оба получили свободу от танцев.

ГЛАВА VII

Городок ходуном ходил от танцев. Наступило ли время делового оживления, появились ли огромные косяки сельди у побережья, или неслыханные количества наплавного леса? Ничего подобного! За городом все было спокойно!

Это приезжая дама развратила всю общину! Она встретила благочестивое сопротивление, в зале молитвенных собраний устраивались митинги, направленные против нее; но было уже поздно, болезнь получила слишком большое распространение. Она не только захватила родителей в интересах детей, но угрожала поразить и самих родителей. Что за зараза! Вначале она захватила лишь служащий люд, а потом пошла все выше и выше, заразила лучших людей города, так что в конце концов вальсировали и в столовой консула Грюн-Ольсена, и у Генриксена с верфи; именитые горожане ходили по улицам, напевая плясовые мотивы.

Перед школой танцев постоянно виднелись заглядывавшие в окна люди, которые покачивались в такт танцам и воображали себя там, внутри; и Карлсен из полиции ничего не предпринимал, никого не арестовывал! Петру нашли раз на темной лестнице залы; там она сидела грустная, бесстыдно уставив руки в бедра, мечтая под музыку и топот ног, доносившийся изнутри, и не могла успокоиться. Да, но Петра мечтала совершенно напрасно; она была ведь замужняя, погибший человек! К тому же она очень отяжелела в последнее время, стоять ей было трудно, она могла только сидеть. Долгие годы ей удавалось следить за

собою, она была стройна как девушка и приятно сложена; теперь и это все кончилось. Ей бы сидеть дома и никуда не показываться, а вместо того она оказалась на лестнице; пришел Шельдруп Ионсен и застал ее там.

— Ты здесь, Петра?— участливо промолвил он.

— Да,— ответила она,— проходи, Шельдруп!

Но Шельдруп становится еще более участлив, и тогда Петра поднимается на ноги и дает ему хорошую оплеуху, хотя он и Шельдруп Ионсен! Да, она сделала это! На лестнице оказался еще кое-кто, слышавший оплеуху и поднявшийся, чтобы видеть остальное: что Шельдруп прокрался в залу, а Петра с плачем спустилась по лестнице и выскочила на улицу.

Все это была вина учительницы танцев; она могла поселиться в соседнем городке! И тревога, которую она с собою принесла, не улеглась — напротив: не одна гадость произошла в семействах местечка в тот вечер, в который ученикам устроены были прощальные танцы; слепая зависть к тюлевым и шелковым платьям ослепляла души, и одни родители завидовали детям других.

Семья доктора шла с Ионсенами к пристани, направляясь домой. Фиа приятно провела вечер, но у нее устали ноги, и ей нужно было лечь, взрослые же могли еще посидеть. Впрочем, с ними пошли и другие, в том числе адвокат Фредриксен, к которому благоволила фру Ионсен, так как он ухаживал за нею. Был приглашен Генриксен с верфи, хотя это выходило за пределы обыкновенного: — Да, приходите за вашей женой, Фредриксен, и посидите с нами! И вы тоже, почтмейстер! — Но докторская чета получила особенно теплое и формальное приглашение, без нее нельзя было обойтись, это были сливки, консул хорошо понимал это.

О, эта скрытая вражда между друзьями, закадычными друзьями! Она никогда не обнаруживалась, но она существовала; она лежала и бродила в сердцах. Они шли домой, оживленно беседуя, они шли четверо в ряд, подметая улицу; время от времени они останавливались, загораживая дорогу, так что прохожим приходилось протискиваться между ними. Стоял чудесный летний вечер.

— Поздравляю вас за Фию! — проговорила докторша. Ей легко было быть беспристрастной, этой докторше, которая не дружила ни с кем в особенности из жителей городка; у самой у нее не было детей в школе танцев, — нет, у доктора совсем не было детей! — Фиа была сегодня такая хорошенькая! Но не кажется ли вам, фру Ионсен, что изящное светлое платье было бы ей больше к лицу?

— Ей хотелось шелкового,— отвечает фру Ионсен,— а кроме того, дешевых платьев и так довольно. Вы видели, как Гейберги вырядили свою Алису?

Другой сказал:

— Это та, что была с тяжелой часовой цепочкой?

— Это одна из дочерей консула Ольсена.

— О, бедняжка, Грюн-Ольсены немножко взмечтали о себе,— снисходительно проговорила фру Ионсен. Она никак не могла простить Грюн-Ольсену, что он тоже консул,— и притом богат. Не странно ли это было? Казалось, фру Ионсен должно было бы быть очень приятно, что в городе встречается все больше и больше дам одного с нею ранга,— но нет, она этого не выносила! И откуда у нее желтый цвет лица? Она была страшно желта — наверное у нее тяжкая желудочная болезнь!

— От одного к другому,— проговорил народный оратор, адвокат Фредриксен, и вся компания остановилась. Он так громко говорил в вечерней тишине, как какой-нибудь матрос в пивной лавке.— От одного к другому: что, возвращается ваш пароход домой, консул?

И Ионсен с пристани не без удовольствия ответил так: — Да, «Фия» возвращается. Она давно уже ушла в плавание!..

— О, если бы мне те деньги, которые она заработала! — помечтал вслух Генриксен с верфи. Он понимал, что это не пустяки какие-нибудь!

Консул Ионсен приосанился, но сказал:

— Я потому отвечаю на это, что мое молчание могло бы дать повод к недоразумениям. «Фия», в сущности, вовсе не заработала много. Не раз мне приходилось радоваться, что есть хоть чем оплатить ее плавание. Но в последние годы, конечно...

— О! — воскликнул Генриксен и покачал головою.

— Деловая мораль несомненно и незаслуженно пользуется дурной репутацией,— вымолвил вдруг доктор.

— Каким это образом?

Доктор продолжает, словно он не слышал вопроса: — Ибо когда ею пользуется такой человек, как консул Ионсен, то она имеет право на существование!

— Деловая мораль! Как это так?

Последовало долгое, значительное молчание, доктор не хотел говорить ничего, что могло бы вызвать насмешку. Доктор не желал, впрочем, пускаться в споры с Генриксеном с верфи, поэтому он сказал собравшимся: — Клевещут, будто дела — сродни эксплуатации!

— Ну, я никогда...— изумленно восклицает Генриксен. И он сдвигает брови совершенно так, как если бы услышал что-нибудь замечательное.

К. А. Ионсен был таков, каким его знали — нельзя сказать, чтобы образец во всех отношениях, но большой, предприимчивый человек. Городские остряки называли его первым консулом, в отличие от консулов, которые появились позднее и не пользовались большим престижем.

Консул Ионсен ответил: — Дела — это работа, стоящая своей наградой!

— Я тоже так думаю. Поэтому и неправильно называть дела спекуляцией!..

— Да, разумеется! Мы все спекулируем,— т. е. рассчитываем наперед. Прежде, чем доктор становится доктором, он также спекулирует на то, что это будет его хлебным занятием, и готовится к нему. Вы качаете головой?

— Да, всей головой!

— Ха-ха,— засмеялась докторша.

— Медицина — это наука,— объясняет доктор.— Но зарабатывает ли «Фиа» мало, или много...

— Может быть, вы не будете продолжать?

— Но ведь вы только подумайте: вот этакое деловое плавание «Фии» люди называют спекуляцией! По моему мнению — несправедливо!

— Значит, все на этот счет согласны,— делает попытку примирения почтмейстер, неизменно находчивый.

— Дал бы я тебе по твоей паскудной роже! — хотелось ответить консулу. Он подошел к фру Генриксен с верфи и заговорил с нею; она была молодая и хорошенькая женщина, родом, как и муж ее, из народных низов, мать двух девочек, учившихся в школе танцев, сама едва тридцати лет. Консул Ионсен был очень разговорчив с нею и держал себя рыцарем, иногда он даже понижал голос, чтобы другие не слышали. В повседневной жизни консул не был так обаятелен и цветист, ему приходилось напускать на себя вежливость. Разве он не образец здоровья и силы, немножко седоват, но еще мужчина хоть куда! Ему досадно стало, что его великовозрастный сын Шельдруп околачивается здесь и подслушивает: — Ступай вперед, и распорядись, чтобы все приготовили! — говорит он Шельдрупу.

А фру Генриксен — как необычайно она была польщена своим кавалером в этот вечер, и всеми прелестями, которые ей пришлось увидеть, когда она пришла к первому консулу — это было переживание, это было сверхторжество!

— Не дадите ли вы мне одно обещание? — спрашивает она.

Какой-то бес подтолкнул консула, он стал проказничать с дамой и ответил ей: — Обещание? Я не смею давать вам обещаний!

— Но... почему же?

— Обещание? Вам? Но ведь я должен буду сдерживать его!

Дама засмеялась и нашла, что он очень милый, этот первый консул — милый! И высказала свою просьбу: не заглянет ли к ним консул когда-нибудь, с женою, — к ним, Генриксенам с верфи?

— А разве вы не зайдете? — крикнула в ответ фру Ионсен, и стала в ожидании ответа.

Делать нечего, пришлось подойти друг к другу! Но консул про себя решил, что он обстоятельно поговорит с фру Генриксен после, когда ее муж хорошенько займется приготовлением пунша. Ему хотелось показать себя гостеприимным хозяином; он скажет: — Пожалуйста, Генриксен, будьте как дома! — а потом будет беседовать с его женой...

Почтмейстер заговорил о потомстве. Это был тощий и бедный человек, он слыл, кроме того, неудачником. Он слыл еще набожным человеком и любил говорить с многозначительным видом:

— Да, во что только не поверишь! — Молодым студентом он больше мечтал об искусстве, о дворцах и соборах, об архитектуре, но так и не успел выбрать себе профессию и нашел тихую пристань в почтовом ведомстве. Теперь он вычерчивал в свободные часы храмы и жилые дома, он же начертил план высшей народной школы для города, — красивое каменное здание с колоннами, видное издали, с фиорда; он ничего не взял за эту работу, но городское управление осыпало его комплиментами. Жена его не была неудачницей, но не была и красавицей; это была добрая женщина, благословение своего дома. Она была старше мужа, но не настолько, чтобы это бросалось в глаза. Среди чужих людей она была молчалива; так это было и здесь; по собственной инициативе она не заговаривала.

— Потомство, — говорил почтмейстер. Его теория сводилась к тому, что родители сами по себе мало чего стоят без детей: — Безусловно так! Все вертится вокруг потомства: в этот вечер родители сидели вдоль голых стен на дрянных скамейках и получали удовольствие и радость от

своих детей. Матери не были наряжены, это дети щеголяли! В свое время так же нарядны были эти матери — когда они были маленькими дочурками, так думаю я. Лет тридцать тому назад дамы носили чудовищно широкие кофты. — Господи! — подумал я, когда вспомнил...

— Элегия! — промолвил адвокат, холостяк Фредриксен.

— Совершенно верно! — подхватил и бездетный доктор. И так как безобидный почтмейстер в сущности был благородный человек, то и доктор хотел вставить пару слов: — Потомство, — сказал он, — что вы хотите этим сказать? Разве наш мир таков, чтобы в нем можно было оставить потомство? Сколько времени гостим мы в этой жизни, и для какой цели, если не для себя самих? Будем ловить момент, почтмейстер, смерть стоит у нас за плечами и скоро раздавит нас! Мы лежим между верхним и нижним жерновом. Одни из нас мягки и податливы, они дают себя перемолоть без протестов; другие ворочаются, как вы, почтмейстер, откидывают шею, опасаясь за свое лицо, но через секунду и их перемалывает. Это, должно быть, необыкновенное ощущение, и всем нам придется его изведать когда-нибудь; если оно начинается снизу, то можно почувствовать, как ноги и живот одно за другим исчезают...

Удостоившись одобрений, доктор продолжал шутить, остряк, и нагнал на всех дрожь: — Наконец, остается только какой-нибудь большой палец, который, может быть, еще шевелится бессмысленно. Все это даже прекрасно, все закончено!

Молчание.

— Неутешительные, однако, мысли, — говорит почтмейстер. — Но даже и в этом случае хорошо оставить после себя...

— Потомство? Которое также будет раздавлено? И утешительно ли это? Я не знаю. Что касается меня, то я не теряю мужества, я даже иногда ловлю себя на том, что глажу себя по плешинам моей шевелюры, и таким образом восстанавливаю свои разрушенные места. И посвистываю!

— Да, да! — говорит почтмейстер, не желая продолжать разговора.

Но консул Ионсен схватил приманку, и не желает уступать кому-нибудь в споре: — Если не будет потомства, то все люди вымрут!

— Сделайте милость! Это уж меня не касается!

— Но ведь вы именно тем и занимаетесь, что спасаете людей от смерти, неправда ли?

— Господин консул, господин первый консул, и вы хотите с логикой подойти к людям, находящимся между двумя жерновами? — хихикает доктор, несколько смущенный. — Где логика жизни, логика мироздания?

И консул отвечает: — Я констатирую, что лично доктор стоит за искоренение человечества; но ваше ремесло, ваша профессия заключается в том, чтобы препятствовать этому искоренению!

Доктору не хочется обнаруживать своего ума перед малообразованным человеком, но первый консул стал таким важным барином, он слишком высоко залетел, и доктор вынужден ответить ему:

— Ведь это несколько выходит из рамок понятия «дел», неправда ли? Это вопрос жизнепонимания! Когда человек стоит у одра больного, то он это делает большей частью из сострадания к бедному человечеству.

— О, да!

— Да, вздыхайте сколько угодно! Он-то во всяком случае не спекулирует!..

Консул ответил беспечно: — Он стоит и зарабатывает свои пять крон! Врач так же, как и мы: он спекулирует на пятикрановики, как я спекулирую на тысячи, в этом только и состоит разница... — После этого консул с улыбкой оглядывается на прочих и этим еще более колет их.

Доктору пришлось ответить тоже смехом: — Вы нас разгорячили всех, почтмейстер! — говорит он.

— Я?

— Вашим потомством!

Почтмейстер опять начинает: — Но, мой дорогой доктор, ведь нам нужно потомство. Говорите, что угодно, о жерновах, это не может быть нашей целью!

— Цель мы носим в себе самих. Когда я умираю, умирает и все, что меня касается. Верите вы в бога, почтмейстер?

— Как не верить! А вы верите?

Доктор качает головой: — Не встречался с ним. Думаете ли вы, что он здешнего происхождения?

— Ха-ха! — смеется докторша.

Почтмейстер спрашивает: — Какую такую цель мы можем носить в себе?

— Человек устраивает свою жизнь как можно лучше. Пользу, например!

— Убогая цель, недолговечная цель! С такой целью конец всякому «я». Но можно представить себе более долговечную цель: продолжение в вечность при помощи

потомства. Seriously, что вы думаете об этом? Я исхожу из того, что до сих пор вы с нами шутили.

— Нисколько!

— Возьмите для примера меня: я почтмейстер здешнего города. Одно место может быть не хуже другого. Но с какими надеждами может умереть бездетный человек, из которого ничего особенного не вышло? Мне не доставляет уже удовлетворения мысль о том, чтобы сделаться чем-нибудь выдающимся, но я сохранил мои дарования для моих детей! И если я, умирая, замечу признаки того, что мои дети превзойдут меня во всех отношениях, то я, вполне естественно, почувствую глубокую признательность к всемогущему! Поэтому, самое печальное зрелище для меня в жизни — это сыновья и дочери великих людей, дети знаменитых родителей! Обо мне, благодарение богу, можно еще предположить, что если бы я стал вдвое более видным человеком, чем сейчас, то мои дети все же будут крупнее меня! Вот именно это и будет моей надеждой, когда я стану умирать! Что я, таким образом, сам поднялся вместе со своими детьми! Что у меня не было детей, подобных Гете!

Теория почтмейстера никому ничего не сказала, это была теория в утешение неудачникам, которые малого достигли в жизни, это не для людей с большим положением — о, нет! — Вы благочестивый человек! — дружелюбно проговорил доктор. А консул Ионсен, черт побери, сам по себе кое-что представляет, не только как отец своих детей; он может достигнуть еще большего, чем достиг, он стоит на широком пути, и глаз у него зоркий! Но консулу Ионсену также хотелось быть ласковым с почтмейстером, а не только снисходительным; он кивнул головой и промолвил: — По моему скромному суждению, в том, что вы сказали, много есть справедливого, почтмейстер!

— По суждению! — подчеркнул доктор.

Адвокат Фредриксен, которого до этой поры донимал Генриксен с верфи, вмешался: — Конечно, по суждению! Но у нас, холостяков, и у бездетных, есть свои суждения!

И в тот же момент все испугались, что спор кончился, что больше уже никто не захочет сказать ни одного слова. Консул ускорил шаг, раскрыл свою дверь и пригласил войти: — Мы попробуем, во всяком случае, придти к соглашению насчет стаканчика вина! — проговорил он с улыбкой.

Одновременно с тем, как гости входили, молодой Шельдруп вышел из квартиры черным ходом. Его не интересовали бесцельные разговоры вроде того, какой завел почтмейстер. Да в этом и не было ничего удивительного — в его возрасте жизнь не представляется загадкой, летние ночи принадлежат молодежи.

ГЛАВА VIII

Пожилые люди охотно вспоминают дни и даты прошлого, ведь это приятно — ходить и прятать в голове разные мелочи, как некую ценность, как нечто такое, что может когда-нибудь пригодиться. Они прячут вырезки из газет!

Вот публика услышала незнакомый пароходный свисток с бухты. Это не почтовый пароход и не маленький грузовой пароходик, который раз в неделю подъезжает к дверям каждого дома; поэтому люди вылезают на крыши своих домов посмотреть, в чем же дело. — Это «Фия»! — говорят они; — да как она расцвечена флагами!

И при этом они вспоминают большое стечение народа к пристани в то далекое воскресенье; они перебирают мысленно события, и по возрасту своих детей высчитывают, сколько лет тому назад это было. Это было настоящее переселение народов, вспоминается им, и тогда — «Фия» собиралась плыть в Средиземное море! Теперь она возвращается из долгих странствий, на борту ее полное парадное убранство, и во всех сердцах гордость. Матрос Оливер Андерсен также был на ее борту в ту пору.

Теперь Оливер ковыляет на пристань, подпрыгивает на своей деревяшке, натуживается, в сердечной простоте он полагает, что товарищи ищут его глазами на пристани, что они ждут его, как первого человека. Нет, они его не ждут, он забыт! Они смотрят с перил на этого калеку, и узнают его, но не проявляют ни малейшего восторга; он первый вынужден поклониться им и приблизиться к старым приятелям. И вот стоит Оливер, он немного поседел и волосы его поредели, хотя он еще молодой человек; но зато он сильно растолстел, щеки его так и отвисают. Повезло ему что ли, на божьей земле? Или его несчастье было замаскированным счастьем?

С парохода ему бросают несколько сочувственных слов, потому что он калека; но парни не задерживаются с ним, у них ведь времени нет, они смотрят вверх, на улицу, —

вот-вот подойдут их девушки, мать или жена с ребенком, им надо наскоро привести себя в порядок, пока те еще не пришли.

Разумеется, тут как тут и Олав с лужайки со своей трубкой во рту, и он такой как всегда: пьяный и болтливый! Если матросы «Фии» мечтали немножко порисоваться в городе по возвращении из неслыханно дальних стран, то Олав испортил им это удовольствие; у него никакого респекта ни к чему решительно!

— Откуда приехали? — спрашивает он.

— Из страны, которую зовут Китаем.

Для Олава это пустяки: — Подумаешь, из Китая! Да, мир уж не так велик, как прежде, — говорит он; — в старое время моряк мог-таки сказать, что он побывал в далеких странах! На прошлой неделе тут шаталось двое парней, выпрашивали хлеба и грошей. Я спросил их, откуда они. Из Персии, сказали они! А о Персии мы читали в библии, и ни один черт не знает, где она находится! Есть у тебя табак в мою трубочку?

Он немедленно получает полную чашечку табаку, не благодарит, но отдает должное качеству табака, проговорив: — Случалось курить и хуже! — Перебрасывая своими полутора руками сходню на пароход, он командует: — Так, хватай и привязывай крепче!

Такой уж он, Олав! Судьба погналась и за ним, одноруким, с вечно синей физиономией; но черт его побери, если он повеселел и растолстел от этого! Он не был толст и мертвен, как зверь, не был он также тонок и бледен лицом, как дворянчик; но оно у него было полное и блестящее. Он съедает свои запасы. А для чего же и существуют запасы, как не для того, чтобы их съедать?

Оливер всходит на борт. Ему, собственно, не следовало этого делать — никто к нему не бросился, матросы только брали его руку и ограничивались необходимыми словами. Они были заняты каждый своим. И Оливеру ли удивляться людям, которым удалось побывать в Китае? Ведь там и он побывал, бывалый матрос, для него не существует ничего нового. Нет, не нужно ему было ходить на пароход; он, оказывается, забыл свой английский, и не мог уже принять настоящего участия в матросской беседе. Бак остался таким же, как и был — темной, зловонной ямой; но его вымыли, как перед праздником. Он сел у знакомого стола и все говорил да говорил о своих делах, его слушали вначале; но матросам хотелось лучше спросить о своих

близких на суше и об именитых персонах города; они опять вышли на палубу и стали искать своих близких.

Оливер говорит: — Возьми, к примеру, что я стал инвалидом!

— Да, ведь тебе отбило нижнюю половину тела.

— Вовсе мне не отбило нижней половины тела! Я женат и у меня много детей. Бочка ворвани не может отбить человеку внутренностей!

— Какая бочка ворвани? — спрашивает Каспер.

Оливер опомнился и смущен.

— Разве ты не упал и не получил балкой промеж ног?

— Нет.

Оливер так долго рассказывал об этой бочке с ворванью, что, кажется, сам поверил в нее, но в действительности никакой бочки с ворванью не было. Чего он хотел достигнуть этой ложью, хотел ли он скрыть что-нибудь? Оливер овладел собой и продолжал болтать; капитана он даже не увидел, а ребята были сдержаны — о, они, наверное, в письмах из дому получили сведения о его жизни, которая сложилась неплохо; довольно с них болтовни о нем и его доме! Бедный Оливер теперь уже не произвел сенсации, даже когда вынул из кармана и показал газету — с описанием его морского подвига. Уже начали являться близкие матросов.

У Оливера зарябило в глазах. Да, он разжирел и стал как будто немножко слабоумен, но иногда в нем прорывалось какое-то грубое лукавство. Он приблизился к Касперу, своему старому другу и ровеснику, и промолвил: — Разве твоя жена не пришла, Каспер?

— Придет, — ответил Каспер.

— Да, теперь она опять дома.

— А где она была?

— Этого я не знаю. Она отсутствовала целый год. Говорят, она ездила за границу.

— Что ты говоришь! — с тревогой спрашивает Каспер.

— Я-то? Нет, ты лучше не слушай такого беднягу, как я. Но для тебя и других должно быть все равно, бочка ли с ворванью, или балка погубила меня.

— Да, это все равно! — говорит и Каспер. — Но что она делала за границей?

— Говорят, она была каютной горничной на пароходе.

— Нет! Ведь я получал от нее письма из этого города каждый год!

— Да, да, — говорит Оливер.

По дороге домой он встречается жену Каспера; она принаряжена, вид у нее невинный, она хочет спуститься к морю и забрать своего мужа. Проходя мимо, Оливер говорит, что муж ожидает ее; но была ли она слишком пышно одета, или слишком невинна — она ничего не отвечает Оливеру и спешит своей дорогой.

Оливер идет домой, к своим, к своему дому и своей семье. Посещение «Фии» было положительно промахом! А что касается Каспера и его жены, то с этой стороны он ничего больше не ждет: весь город знает! Кроме того, калека защищен своим убожеством, даже если он и разозлил эту супружескую чету.

Он садится к краю стола и начинает изливать свою злобу на экипаж «Фии»; это все сволочь, он мог каждого из них вздуть тогда, когда был еще здоров!

Петра не отвечает, не смотрит даже в его сторону, так устала она от него и его болтовни. О, этот кусок сала на стуле, который отдувается, на котором платье, и пуговицы на платье; на верхнем конце его шляпа набекрень! Она знает все наизусть, его торчащую деревянную ногу, которая загораживает весь маленький пол, его речи, его лганье, бахвальство, голос, который все больше становится похожим на бабий голос, тусклые водянисто-голубые глаза, вечно мокрый рот. Он словно разлагается с каждым годом все больше и больше; только аппетит у него в порядке. И не всегда еще ему довольно еды!

Удивительно! Жизнь в городе идет своим ходом, и стала даже шире в размахе. Когда учительница танцев сделала свое дело и уехала восвояси, в зале городского управления каждую субботу устраивались танцевальные вечера, одновременно с этим заметно усилилась среди жителей страсть к нарядам и пышному образу жизни. Но у Оливера и Петры дело не шло в гору, только вниз, только на дно. Разве этот безумец не хотел продать украшений с комода, белого ангелочка и копилки-поросенка, привезенной из-за границы? В один прекрасный зимний день Оливер вышел в город и продал дом, в котором он жил! Это был безумный поступок.

Он не раз хотел продать дом: адвокат Фредриксен, которому дом принадлежал, отнесется же по-человечески к калекке! Но адвокат Фредриксен полагал, что он достаточно помог ему, когда прославил его своей заметкой за мореходный подвиг; почему он не совершил новых подвигов? Продать дом, дом, принадлежащий другому...

К Оливеру, проще говоря, предъявили иск.

В сущности, этих Оливеров Андерсонов давно уже следовало выгнать; но город защищал калеку. Теперь, наконец, он сам поставил себя вне общества своим преступлением.

Оливер заковылял к адвокату и просил пощады, сделку можно еще отменить, как будто ее и не было. Ничего не помогало, адвокат решил воспользоваться этим случаем и очистить дом от жильцов. Не помогало до тех пор, пока Петра не пошла к адвокату и не умолила его, как следует; да и Петра не с одного разу уломала его.

Положение было такое, словно семья стояла перед пропастью. Удивительно ли, что Петра выкралась из дому и села немного помечтать на лестнице танцевального зала, чтобы хоть на один вечерок создать себе иллюзию счастья! Оливер, мужчина, не проваливается сквозь землю от стыда и нужды; напротив, он важничает и ругает адвоката, этого живодера, который не хочет быть гуманным с калеккой. Это не беда, если Оливера надуют с деньгами за дом — ему это будет не большее разорение, чем прежде; у него ведь нет недостатка в планах, когда он сидит дома и беседует с семьей! Мысль о месте в маячном ведомстве он оставил; но что мешает ему устроить себе тележку и разъезжать по обывателям? А отчего бы ему не переехать в большой город и не заняться игрой на шарманке?

— О,— ответила Петра;— сделай же это!

— А чем будешь жить ты и семья?

Да, чем они будут жить! Может быть, он будет столько зарабатывать, что сможет посылать домой деньги! Но на этот счет у Петры имелись сомнения. Сомневалась и бабушка; она даже напрямик высказалась, что Оливер на одного себя будет проедать весь свой заработок.

Из поездки кормильца не вышло ничего, и образ жизни семьи оставался таким же. Но они жили, перебивались со дня на день, и даже пережили тяжелое время!

Отчего им было так плохо? Оттого, что кормилец был физически калека? Но вот, Ганнибал был одноглаз, Александр хромал! Оливер не совсем лишен хороших качеств, что там ни говорите. В сущности он смирный человек, он не ходит с налитыми кровью глазами и страшно оскаленными зубами, дожидаясь момента, когда дети разжиреют и станут готовы в пищу,— нет, он ласков с детьми. Калска, правда; ужасна была эта пустая штанина, болтавшаяся на деревяшке, когда он шел куда-нибудь! Но он ведь не горбатый, который кажется несущим самого себя на спине! Без добрых качеств? Но он не пьет,—

никогда,— он бросил курить,— нет, в этом отношении он смирен как женщина.

Разумеется, их положение не улучшилось, а скорей ухудшилось, когда явился третий ребенок — крохотная девочка, которая кричала по ночам и будила усталого кормильца. Оливер снова мог предаться своей страсти к бродяжничеству, исчезал из дому, уплывал в море и не являлся целые дни и ночи напролет. Господь ведаёт, чего он искал, и что находил! Эти поездки он совершал главным образом после бури на море — может быть, он питал детскую надежду снова найти потерпевшее аварию судно? Впрочем, однажды ему попался носившийся по морю чемодан, в котором оказалось лишь немного нижнего белья и немного дамских принадлежностей; но Оливер принес его домой и создал из этого целую историю, и в тот день уже и не подумал взяться за какую-нибудь работу! В другой раз он нашел закупоренный, но пустой бидон для парафина; время от времени он приходил с горстью гагачьего пуха, украденного из гнезд на птичьих островках. Он знал, что этот пух очень ценится, но не решался сбывать его в городе; его нужно было прятать.

Всего досаднее было то, что Петра очень мало ценила его находки; она издевалась над ними. Он крадетсЯ с пристани, чтобы никому не попасться на глаза, и вваливается в дом с оттопыренной грудью, кладет свою добычу на стол — право, есть чем полюбоваться! — Но не угодно ли: Петра ворчит только: — И это заработок трех дней? На что нам гагачий пух? И на что нам пустой бидон из-под парафина?

Оливер сваливается с небес на землю и отвечает обиженно: — У тебя опять припадок!

Петра вспыхивает: — Как, у меня припадок? Посмотри-ка в колыбельку — ты думаешь, она лежит на гагачьем пуху?

Оливер смотрит на ребенка, он лежит в тряпках; но он ни в чем не нуждается, а если кричит, так это от зубов. Вдруг Оливер встает и внимательнее присматривается; он впервые, как следует, разглядел ребенка.

— Что за черт! — говорит он, — у нее голубые глаза! — Петра вздрагивает и отвечает: — Ведь ты это видишь!

— Отчего это?

— Отчего! Разве я знаю? И какие ты вопросы задаешь!

Оливер стоит на месте, тупо уставившись. Он смущен; да и как же он глуп: у ребенка голубоглазых родителей — и чтоб не было голубых глаз! Но у тех, у мальчиков,

ведь карие глаза... Тут что-то неладно. О, Оливер во все эти годы таил в себе свои мысли, переворачивая их в мозгу с тупым равнодушием — теперь он стоит перед загадкой. Где бывала Петра? Дома! Дома! Женщина, которая надала Шельдрупу Ионсену пощечин, не бывала вне дома!

Она не бывала вне дома — да...

Безумная, сверхъестественная ревность загорается в душе калеки; в первый раз он испытал это жгучее ощущение, оно так могуче, что искажает его лицо, и это пугает Петру, она загораживает ребенка. Оливер, шатаясь, подходит к окну и выглядывает наружу. Если карие глаза — правильные, фамильные глаза, то как объяснить голубые? Ему хорошо известны все сплетни, которые ходят про него и его семью, он не настолько младенец, чтобы не замечать их; последнее, что он услышал, имело тот смысл, что Петра не всегда давала Шельдрупу Ионсену только пощечины. Ну, так что ж, у Шельдрупа Ионсена карие глаза; а у малышки в колыбели голубые!

Змея заползла к Оливеру в сердце и стала точить его. Теперь он пропал, ему уже не удастся отогнать от себя этой тревоги. Тревоги? Нет, это была беда, это была мука! Он начал подстерегать на перекрестках, он способен броситься, схватить Петру за грудь и спрашивать: где ты была? День и ночь он караулил и не знал уже покоя, голова у него сохла. Единственное место, куда Петра могла свободно ходить, — это к Ионсенам с пристани, в их дом и бакалейную лавку; туда она могла уходить беспрепятственно. Но он крался за нею, и следил, чтобы этим дело и ограничивалось.

Безумие его продолжалось, он забывал ездить в море и подкарауливал Петру, он выпрашивал рыбу у других рыбаков, чтобы хоть немножко принести домой. А глупая Петра не умела облегчить его недуга, она скорей разжигала его! Когда прошло некоторое время, и она убедилась, что для ее жизни и членов опасности не предвидится, она стала доводить его до полной потери самообладания, до белого каления. Голубые глаза могли быть от столяра Маттиса, думал он, и не находил достаточно уничижительных слов для этого человека, для этого носорога, этого юбочника.

— Ну, разве у него не ужасный нос!

— Нет. Ему идет этот нос!

— Молчи уж! Он столяр — пусть и выстроит себе стойло для своего носа!

Любопытно, что нашлись еще люди, которые, можно сказать, приревновали голубые глаза; но только консул Ионсен пошутил и высказался, когда говорил об этом с Петрой:

— Я слышал, что у тебя родилась девочка, Петра?

— Да.

— С небесно-голубыми глазами на этот раз?..

Петра потупилась и молчала.

— Не у всех бывают небесно-голубые глаза,— продолжал шутник.— Нет! — объявил он вдруг,— у меня нет места для твоего мужа, слышишь? Толкнись к Грюн-Ольсену!

Опять пришлось Петре идти домой несолоно хлебавши — домой, к семье и неудачам. Положение было ужасное, никогда еще судьба так жестоко их не испытывала. Иногда она плакала, и ей так жалко было себя! Но она была слишком молода и здорова, чтобы отчаиваться; не так уж редко случалось видеть, как она стояла в дверях своего дома, пересмеиваясь и болтая с людьми, проходившими по улице; нужда не так уж глубоко задевала ее.

Менялись времена года, проходили годы; оба мальчика учились в школе, Франк отличался, был освобожден от платы за учение и получал лучшие отметки в классе; Белка Абель был тоже не глуп, но — невероятный бандит, живший совсем другими интересами. Так это и шло, привычка многое смягчала, и рок наделил семью какой-то цепкой волей к жизни. Что касается маленького Абея, то он прокармливал и одевал себя сам, шатаясь по городу. Впрочем, с маленькой Белкой иногда случались и скандалы: однажды, выбравшись за город, он важно потребовал, чтобы его накормили; и когда он не получил этого, а также не мог «подарить» себе фуфайки, развешенной на бельевой веревке, то он спросил, не продадут ли ему чашку кофе!.. Но хуторяне оказались настолько бесстыдны, что спросили его, позволяют ли ему пить кофе. Ишь ты, позволяют! Больше ноги его не будет на этом хуторе, пока он не вырастет!

Братец Франк не занимался авантюрами — для этого он был чересчур взрослый. Он тоже получал в городе то прокорм, то что-нибудь из одежды, раз в год он даже получал в лавке Ионсена полный костюм и приходил домой во всем новеньком с головы до ног. Такой уж это был человек, этот Ионсен с пристани: сам любил жить и жить давал другим!

Так оно и шло. Иногда и бабушка отправлялась в некое путешествие и возвращалась домой с разными хорошими вещами: картофелем, салом, мешком муки, кругом сыра. О, с бабушкой не шутите: если только можно было миновать кассу, и ее не высмеивали другие женщины у колодца, она могла обойти много приходов, и ее деревенские приношения были очень кстати! В сущности, не раз бывало так, что если семья имела еду и топливо, то только благодаря бабушке — такая она стала усердная.

Лично Оливеру пришлось хуже чем всем. Болезнь его не проходила. Он на короткое время занялся было рыбной ловлей, да и то потому, что у него появилась новая лодка. Он, видите ли, совершил поездку по морю, и нашел пустую лодку, которая носилась по волнам; это был неслыханный случай, она, верно, где-нибудь была привязана и сорвалась, она приплыла издалека, может быть — из-за границы. Ему, собственно, следовало официально заявить о находке — в этом никто не сомневался; но как бы то ни было, он удержал ее за собою, и не попал из-за этого в неприятности. Никто не предъявлял к нему иска, калека беспрепятственно владел лодкой; ведь в своем жалком суденышке он мог когда-нибудь пойти ко дну! Вначале он подумывал было продать лодку и выручить за нее денюжки, но это город запретил, это было бы уже слишком: нет, сказали горожане, ты нашел ее — пусть так это и остается! И Оливер ловил рыбу во все свободные часы, и пользовался новой лодкой.

Во все свободные часы!

Но он не часто бывал свободен, его болезнь приковывала его к суше, привязывала его к дому. Петра опять начала проявлять некоторое отвращение к кофе, и слезка за нею почти в конец подорвала его здоровье. Не стоял ли он разве по углам и на перекрестках целыми месяцами, не шпионил ли, не подслушивал ли? Он был одет в лохмотья, отвратительно питался, но ревность держала его целыми часами на посту; он стоял с замирающим сердцем и терпел свою пожирающую муку, ветер хлопал его штаниной на деревяшке, как флагом, обвившимся вокруг древка. В сущности он никогда не был свободен: ночью он был в такой же тревоге, как и днем, он работал сверхурочное время, он стал рабом. Если бы это хоть бросило его на одр болезни, и он умер бы,— но нет! Подкарауливать бабу? Не давать ей уходить, запирает ее дома? Но что поделаешь с дерзкой,

у которой всегда невинный взгляд, которая никогда не устает лгать? Он мог ожидать ее с одной стороны, а она появлялась с другой — как это выходило? Она приходила с песенкой, ей этого нельзя было запретить; но о чем она думает, когда ходит, сжав губы, о чем вспоминает?

— Что ты тут стоишь и подсматриваешь? — так просто выговаривает Петра, и не проваливается сквозь землю!

— Откуда ты? Теперь ночь!

— Что ж, я разве не у консула была? Что это у тебя в руках, нож?

— Сама видишь!

— Рыбацкий нож. Зачем он тебе здесь?

— Я им работал на пристани.

— Нет, ты хочешь застрашать меня им!

— Молчи!

— Но ты напрасно стараешься!

Нет, Петра была беспечна; она трусливая, противная, — но она не ставит его в грош, она издевается над ним. Она просто проходит мимо него и входит в дом; муж следует за нею. Она останавливается в сенях и хочет его пристыдить; она хочет показать ему, что она, полуночница, ведет себя безукоризненно и по-хозяйски: смотрите, не она ли заперла дверь за ним и за собой!

— Как, ты уже запираешь? — говорит Оливер. — Я уверен, что Абеля еще нет дома.

— Пусть ночует на улице.

— Он не будет ночевать на улице! — возбужденно кричит Оливер, делает нажим своим тяжелым туловищем и отпихивает ее к стенке.

По ней пробегает судорога, и она говорит: — Зачем ты не убьешь меня сразу?

Начинается ссора, они входят в дом и продолжают ссориться. Бабушка лежит в старой половине дома, она приподымается на локте и прислушивается, все это так старо, она все это знает. Ревность Оливера на время улеглась, и кроме того, он доволен своим шагом: она как ребенок отлетела к стенке, он мужчина — ого, он силен в туловище!

Ночная схватка между родителями оказалась на руку Абелю: он потихоньку прокрадывается с улицы и, укладываясь спать, не слышит ни слова упрека ни от отца, ни от матери.

Трудно представить себе более дикую и мучительную вещь, как жизнь в этом вечном напряжении. Оливер целыми днями слонялся без дела, бродил по улицам и не знал ни минуты покоя. Теперь окна его дома завешены рубашками и передниками, и он не может заглянуть внутрь, поэтому он прохаживается взад и вперед перед домом и чувствует себя крайне глупо.

Наконец ему удастся поймать бабушку, и та говорит: — Опять девочка!

Это его не интересует — о, ему это все равно; но он продолжает беседу, чтобы еще что-нибудь выудить. — Что у нее, все члены на месте, она хорошо сложена?

— Да, насколько мне удалось разглядеть.

— Так что она не одноногая?

— Нет!

— Значит, нужно радоваться и этому! Нехорошо жить с деревянной ногой. Что я хотел сказать: что, она смотрела? Вскидывала глазами?

— Что ты хочешь сказать?

— Я просто спрашиваю. Почему она не кричит? Ведь она не мертвой родилась! Дай мне посмотреть на нее!

— Она спит.

Опять Оливеру приходится ждать, он забыл о рыбной ловле, шатается по улицам и ждет. Вечером ему удастся увидеть девочку в бодрственном состоянии; он подносит ее к окну, чтобы увидеть, какие у нее глаза. Петра лежит и спокойно смотрит на это, все в порядке: у ребенка карие глаза!

Удивительно, до чего это незначительное обстоятельство успокоило измученного отца. Он хвалит ребенка и даже отваживается на шутку по адресу Петры: — Ты молодец, когда хочешь этого! — Хотя дело под вечер, он выезжает в море. Все эти месяцы он ярился на Петру в сердце своем, она, вероятно, опять поступала подло и гнусно; теперь он уж настроен иначе, она была вовсе не такая безумица, а скорей молодец, помилуй бог! И знаете что? Рыба будет теперь — так уж именно рыба! Опять карие глазки, те самые фамильные глаза, природа победила, все пришло в норму!

О слабоумный! Бог его ведает, как он пришел к этим выводам...

Однажды он встретил Шельдрупа Ионсена и сказал ему: — Скоро зима, и ты должен подумать обо мне.

— Как это, подумать о тебе? — спрашивает Шельдруп.
— Да, я ведь калека!
— А какое мне до этого дело?
— И у меня много детей!..
— Какой вздор может выдумать человек! — растерянно говорит Шельдруп.

Оливер почтительно улыбается и смотрит в землю.— Да, да, это так,— говорит он.— Но ты должен постараться достать мне работу!

— Я? Какую работу?

— В складе.

— Об этом ты должен поговорить с отцом!

Оливер медленно поднимает глаза кверху, впивается в Шельдрупа пристальным взглядом и отвечает: — Нет, это должен сделать ты!

Угрожает Оливер, что ли? Юный Шельдруп подается назад, смотрит на калеку, но взгляд его угас. Удивительно; вначале у него был быстрый и гневный взгляд, а теперь он пустой, угасший. Он подумал немного, вспомнил свои похождения, вспомнил пощечину, все сплетни; ему неприятно было вызывать все это в памяти, и он говорит поэтому:— Мммда!.. Я уж спрошу отца, раз ты этого хочешь...

— Это правильно! — отвечает Оливер.

Несколько дней спустя он встречается Шельдрупа, который спрашивает: — Можешь ты взять в заведывание склад, как ты думаешь?

Взять склад! Это было просто важничанье и хвастовство со стороны Шельдрупа; до сих пор в складе Ионсена не было постоянного служащего, а просто кто-нибудь из приказчиков забегал туда между делом — почему же бы и Оливеру не управиться с этим маленьким делом?

— Отец хочет говорить с тобой,— сообщает Шельдруп.

Оливер идет домой, словно он уже заведомый хранитель большого склада.— Как это было? — спрашивает он Петру;— Ионсен с пристани отказался дать мне работу?

— Да. И больше я не стану просить его об этом!

Молчание — о, какое молчание! Оливер силится придать ему могучий, роковой характер.— Нет, я сам поговорю с ним! — произносит он и выходит вон.

Женщины переглядываются. Ну, это ничего не значит, что Оливер вышел, может быть, он туда и не пойдет! Петра даже презрительно качнула головою.

По приходу домой Оливер долго хранил молчание, напустив на себя величественный вид. Женщины не

решались задавать ему вопросов, только пересмеивались, и Петра даже сказала:

— Хотела бы я знать, кто это ходил и разговаривал с консулом!

Наконец Оливер нарушает молчание и произносит: — Нужно заштопать сегодня вечером мою исландскую фуфайку. Иначе мне будет холодно в складе...

Петра чуть не вскрикнула: — Ты будешь работать в складе?

И даже бабушка застыла на месте и разинула рот!

Оливер же оглядывается на них с величайшим изумлением и ничего не понимает: право, женщины для него неразрешимая загадка! — Ну, конечно? — отвечает он вопросительным тоном.

Они всплескивают руками.

— Разумеется, я буду работать в складе, — говорит он. — Когда мне угодно будет начать. Я начинаю завтра!

Пошли разговоры: ведь это значит — перемена жизни, постоянный оклад, удача, — о, это так много значит! И вот сидит тот, кто это устроил, господин, надутый важностью, щеголеватый, с шапкой набекрень, отдувающийся. Он опять говорит: — Ведь я же сказал, что пойду и потолкую с ним!

— Да, но сколько раз я просила консула! — возражает Петра.

— Это не то, что мужчина пошел бы...

Да, это означает перемену в обстоятельствах. Но Оливер, который сидит тут и знает, на что он пошел, думает так: сберегательной кассы и райского эдема это не даст; этот Ионсен с пристани не очень тароват; но с другой стороны — он первый консул, так что для семьи Оливера он сделан в известном смысле спасителем!

Особенной работы в складе не было, Оливеру иногда случалось целый день только околачиваться там. Самые занятые дни наступали для него тогда, когда у маленькой пристани останавливался товарный пароход, выгружавший муку и патоку, кофе, парафин и льняное масло, и забиравший рыбу и ворвань. Оливеру приходилось тогда принимать товары под навес, в кладовую и в погреб, и к вечеру он даже немного уставал. Вообще же на его обязанности лежало подметать склад и содержать его в порядке. Развязанный мешок с кофе не должен оставаться на полу, чтобы мальчики приходили и обращали его в свою находку! Когда являлись покупатели с запиской из лавки, Оливер прочитывал записку и на ее основании

отпускал мешок муки, двадцать сажений каната или рыбу. Заведующий складом обязан был также каждое утро наполнять ящики лавки колониальным товаром из склада; наконец, он обязан был отмечать, каких товаров убавляется, чтобы контора могла своевременно заказать новый запас.

В общем это было вовсе не маленькое дело, которое консул Ионсен устроил Оливеру; и публика получила новый повод восхищаться его великодушием. Правда, Оливер стал калекой на судне Ионсена, но это не налагало на того никаких обязанностей: просто обыкновенное милосердие и снисходительность. А этого у первого консула было много, он был крупный человек и благодетель!

Что же было плохо? Ничего! Правда, в складе скверно пахло старой рыбой и гниющей печенкой, особенно летом в нем стояла ужасная вонь, — но стоило ли говорить о таких мелочах! В общем Оливер теперь, как и прежде, был нетребовательным человеком; он зарабатывал на маргарин к хлебу, на воскресный отдых, на кое-какие украшения, на красивый галстук, хорошо начищенные ботинки; он на мелочах видел, что город уже не пренебрегает им, от прочих не отставал и адвокат Фредриксен, который молчал насчет дома.

О, это пришла удача! Но лучше всего было то, что Оливер сделался управляющим склада, своей маленькой области — право, чем-то очень недалеким от хозяина, и, так сказать, персоной с рангом! Ему это нравилось, его щекотало, словно его брали под мышки, когда городские жители являлись в качестве покупателей и здоровались с ним, прежде чем вручали записку.

— Добрый день! — отвечал он им; он был такой, что никого не мог пропустить. Не без того, чтобы внимание, оказанное калеке, вознаграждалось — он ведь мог при случае сделать что-нибудь в ту или иную сторону, отпустить полной или неполной мерой, дать походу или недовесить!

Рыбак Иорген пришел с запиской, Каспер, — тот, что был матросом на «Фие» и теперь не решался оставить свою жену, чтобы не дать ей повода соблазниться новой поездкой за границу — да, так и этот Каспер пришел с запиской. Мартин с пригорка приходил, приходил и столяр Маттис, и Карлсен из полиции, потом многие другие из «света» — и всех их у дверей встречал Оливер, выслушавший их нужды! Право, он был как Иосиф, когда тот вошел в милость к фараону в Египте!

— О, теперь ты высоко залетел! — говорил ему рыбак Иорген со всем присущим ему добродушием.

— Да, жаловаться не смею! — отвечал Оливер. — Провидение посадило меня здесь и не забывает меня! — Он теперь навсегда уступил Иоргену свое место на так называемом рыбном базаре: — Ты должен взять все, местечко и ящики, и торгуй себе на здоровье! Ты не раз давал мне рыбу, когда мне приходилось плохо, и я не мог выехать в море, — прибавляет он растроганно. — Что касается меня, то я, благодарение богу, имею для себя и семьи хлеб насушенный, а чего же больше нужно, например, человеку? И твои дети, и мои дети, Иорген, хорошо успевают, Франк ходит в высшую школу и все больше научается уму-разуму; это просто чудо: он читает по-немецки, как только заглянет в книжку!

Иорген кивает в знак того, что и его мальчики и девочки с величайшим уважением отзываются о Франке.

— О, это все изумительно, просто скала какая-то! Он может получить любое место, поступить в банк или в контору, это ему нетрудно будет! Если ты подождешь немного, Иорген, мы вместе пойдем домой...

Оливер вынул носовой платок и отер ленту-потничок в своей шляпе, счистил с лица грязь и муку, обмахнул башмаки, почистил платье, и заставил-таки Иоргена ждать! Ему очень хотелось показать Иоргену, что он уже не такой, как прежде, что его новое место не всякому могло бы достаться! Иорген терпеливо ждет. И вот Оливер запирает дверь склада на ночь, она пронзительно скрипит на петлях, — но Оливеру приятен этот звук, ежевечерняя лебединая песнь двери склада. Он кладет тяжелый ключ в карман и готов идти.

Они шагают домой, Иорген спокойно несет свою жестянку со льняным маслом и слушает речь Оливера, простую и в сущности смиренную, но полную бахвальства: — Ты собираешься красить свой дом?

— Да.

— Счастлив ты, что можешь делать это сам! Мне приходится нанимать для этого маляров, сам я не имею для этого времени...

— Нет?

— Но ничего не поделаешь: так сложилось для меня, я могу красить и убирать по мере надобности. Это стоит денег, но иначе нельзя!

У Иоргена что-то на уме, и он говорит: — Мы могли бы попробовать больше держать наших мальчиков дома...

— Мальчиков? Зачем это?

— Сегодня они опять выехали на ловлю. Я боюсь за них иногда.

— Это за Эдеварта и за Абеля-то? Нет, Иорген, не думай об этом! — отвечает Оливер с видом превосходства. — Эти парни умеют постоять за себя!

— Иногда они возвращаются домой так поздно. Я бы хотел, чтобы ты не давал им лодки...

— Пусть себе мальчики забавляются, — говорит Оливер. — Когда я разъезжал по заграницам и бывал в разных городах мира, я повсюду видел в лодках маленьких парнишек. Ты побывал бы в Тихом океане; там они бросаются с лодок и плавают, что твои угри!

— Но ведь этак они не будут учить уроков!

Оба родителя рассудительно беседуют на эту тему, Оливер к тому же более опытен и кругосветный путешественник, которого Иорген охотно слушает. Вдруг Иорген говорит: — Да, но нехорошо, что они воруют рыбу.

— Вот как! — говорит Оливер. Ему приходит в голову, что воровство несовместимо с его новым положением, и он останавливается: — Да полно, уж крадут ли они рыбу?

— У меня нет. Но Мартин с пригорка жалуется на них.

— Так я переговорю с мальчиками, — объявляет Оливер и кивает в знак того, что он с ними обстоятельно поговорит.

Эта пара, Иорген с Оливером, много имели бесед в течение года; они так хорошо знали друг друга, и всегда расставались не сказав друг другу «спокойной ночи», не кланяясь даже. Но в этот вечер Оливер промолвил: — Ты не заглянешь к нам?

Иорген тугодум и немного мешкотен: что хочет сказать его сосед, кладовщик?

— Не знаю, может быть Петра устроит нам чашку кофе с печеньем — попробуем!

— Спасибо, но уже поздно, — отвечает Иорген на это явное преувеличение.

— Ну, ладно. Так кланяйся домашним!

Иорген никогда не слышал ничего подобного: кланяться домашним!

Придя домой, он рассказал об этом происшествии своей жене, и Лидия, этот острый ум, не замедлила разглядеть главную суть: — Они с ума сошли! — объявила она. — Ну, за кофе они вряд ли платят дорого, раз они могут найти его в складе; но печенье! Эта Петра была у самого

заведующего школой и спрашивала, не может ли Франк сделаться пастором!..

Эта простоватая Лидия не свободна была от завистливых чувств. Петре, вероятно, было от чего задирать нос — может быть, от того, что у нее много детей с карими глазами, ха-ха! Нет, пусть она лучше не чванится! Серую мантилью, которую она получила до замужества, теперь она, конечно, носить не может; но замужней женщине не приходится носить и светлой красно-коричневой накидки, которую ей только что подарила фру Ионсен; это непристойно, над ней будут смеяться!

Бедная Петра; все ополчались на нее, а она была в сущности несчастное создание, стреноженная скотина, с ума сходящая от своих уз. Хуже всего и для нее, и для других было то, что она по натуре была ненасытна, ее трудно было удовлетворить. У нее был дом и пропитание, муж и дети, — стало быть, она вовсе не так плохо устроилась в жизни, не так ли? Заслуживает ли она большего?

Есть ли у нее причины не быть счастливой с таким мужем, как Оливер, который возвысился до поста заведующего складом у консула Ионсена?

Приходит Оливер и вешает тяжелый ключ на свой гвоздь у оконного косяка. Он сам дал деньги на сладкий сдобный хлеб и потребовал, чтобы его купили; вот он и поставлен на стол — немного, всего одна кучка для него, кормильца; кроме того, Петра не заботится ни капли о приличиях и кладет его на голый стол! Чтобы научить ее правилам, Оливер приподнимает свою чашку и кладет хлеб на блюдечко, потом поднимает глаза. Но Петра вполне равнодушна к этому и говорит: — Я и не знала, что ты бывал в обществе! — Оливер знает себе цену, он не ссорится, если этого можно избежать, он дает девочкам по хлебцу, и потом берет себе. Да, он стал лакомкой, как женщина, потихоньку наслаждается своим сдобным хлебом и попивает кофе; потом он набрасывается на свой ужин — хлеб с маргарином.

— Что это Иорген нес в большой банке? — спросила Петра.

— Малярное масло.

— Что он, собирается красить?

— Да, собирается.

— Да, есть люди, которые красят и убирают свой дом! — говорит Петра.

Оливер молчит.

Немного погодя она начинает: — Маттис теперь пойдет в гору: у него на доме повесили красный ящик для писем.

— Откуда ты знаешь это? — быстро спрашивает Оливер.

— Откуда знаю? Проходила мимо и видела.

— Какие у тебя могли быть дела в тех местах?

Петра усмехается: — Не стану ли я спрашивать у тебя позволения выйти из дому?

— Отчего же ты не вышла за Маттиса? — спрашивает Оливер. — У тебя был бы красный почтовый ящик!

Петра молчит.

Дело в том, что теперь Оливер стал благоразумен и признателен providению за свои великие достижения, он уже не разводит богопротивной философии насчет своих бедствий и считает это грехом и позором со стороны других людей; он стал даже жизнерадостным человеком, этот Оливер! Но столяр Маттис был яд, отравлявший его радость — о, если бы этот человек исчез с лица земли, — ну, например, куда-нибудь в тартарары; вот было бы счастье! Как потешно слабоумен Оливер: он ставит столяра в связь со своей голубоглазой девочкой; вот подождите только, он будет следить за ребенком: не вырастет ли у него лошадиный нос?

В сущности, нечего было нападать на столяра Маттиса, ведь ему не дали слова, чтобы оправдаться. Этот солидный парень, который теперь имел дом и мастерскую и работал с подмастерьем и учеником, не «переменился», у него не было жены. Он жил совершенным холостяком. Он словно сказал себе: — Благодарю покорно; однажды мне наставили нос, длинней ему становиться не нужно, это решено и подписано! — Теперь у него жила в экономках Марен Сальт, ей было за сорок, и она никого не могла прельстить. Так стоял он год из году в своей мастерской, пилил и строгал, углы его губ были опущены, вид у него делался все более грустный и тупой, но он делал свою работу.

Но именно то, что Маттис не женился, делало его подозрительным в глазах Оливера. Что у этого человека на уме, увивается он за Петрой, что ли? Каждый раз, как при нем называли это имя, у Оливера делался припадок его болезни — ревности.

— Не можешь ли ты сказать мне, — промолвил он, — что за красота особенная — почтовый ящик на стене?

— Да, это немного украшает и веселит. Это не на всяком доме бывает!

— Я вот поездил по белу свету, и видел золоченые почтовые ящики.

— Золоченые?

— Сверху донизу! И с императорской короной!

О, Петра тысячу раз уже слышала о том, что Оливер видел «по белу свету»!

ГЛАВА X

Хорошо, что Оливер не отобрал у них лодки. И на что это было бы похоже — мешать людям заниматься своим ремеслом! Четыре рыбы, о которых было столько разговоров, они действительно «нашли» в ящике Мартина с пригорка, они сами отправились к Мартину и признались ему. Но они взяли рыбу взаймы, чтобы дополнить до двух десятков рыбы, которую они обещали поставить на докторскую кухню. И глядь — «Вот они, рыбы, мы сами пришли с рыбой, и в другой раз ссудим тебе, Мартин, четыре живехоньких рыбы!»

Бедному Мартину стало даже неловко за свою неосторожную болтовню перед посторонними; он пробормотал что-то в том смысле, что во всяком случае нечего было торопиться с возвращением долга.

— Нет, — сказали они, — вот рыбы, и спасибо тебе за помощь!

Оливер, согласно своему обещанию, переговорил с мальчиками, т. е. он дал им новенькую крону, чтобы они могли уладить дело миром. О, Оливер был вовсе не так глуп, он по своему был очень ласков с детьми, а дети со своей стороны любили его, Абель иногда даже покупал ему лакомства.

На какие же деньги он покупал? У Абеля водились денежки, он ловил рыбу!

Мальчикам много было хлопот со своим ремеслом. Не уроки и не учителя занимали их, но состояние их собственных дел. Голова их постоянно была занята расчетами: часть ушла на помощь товарищу, находившемуся в нужде, часть иногда пропадала в игре в орлянку, но остальное было налицо. Ни у одного не было мелочи, у обоих имелось и серебро, и бумажки; но у них были и крупные расходы! Эдеварт не мог уже обходиться без табаку в серебряной обертке, — иначе у него делалась морская болезнь, утверждал он; у Абеля было расходов не меньше — он тратился на паточные коврижки, на писто-

леты и пистоны, на красный мел, которым он исписывал стены. Это были не пустячные траты! Но мальчики работали усердно и не расставались с лодкой.

Позднее, когда школа всерьез принялась за них, рабочий пыл их ослабел; просто стыд сказать, сколько времени и сил у них отнимали уроки! Они брали реванш тем, что уходили бродяжничать в город, и попадали в разные переделки. Особенно им полюбилось обворовывать фруктовые сады. Хороших садовладельцев, как почтмейстера и Грюн-Ольсена, они оставляли в покое; но аптекаря они наметили себе в жертвы. В прошлом году он выстрелил в них солью, когда они преследовали мышь в его саду, и в этом году они ему отомстили: безжалостно распугали его кур, спустили веревку с его флагштока и почти очистили его сад от плодов!

В этих похождениях теперь с ними принимал участие третий — это была девочка, Лиллелидия — Крошка-Лидия, — ужасная шалунья, но ловкая и решительная; она стояла лисичкой на карауле и подавала сигналы в случае опасности.

Эдеварт был старший, и главный мастак по части выработки планов; Абель был легок на теле благодаря недоеданию, и был совершенно незаменим в лазанье и умение протискиваться в самые узкие отверстия. Пред ними стояла задача — набрать темно-синих черешен, росших на высоком дереве в саду аптекаря; это было достижимо только таким способом, чтобы Абелью полезть на крышу пристройки и действовать оттуда. Был вечер, но лунный, все были на своем посту, Лиллелидия стояла, озираясь кругом своими глазками, Эдеварт составлял пустые ящики, по которым Абель должен был взобраться наверх, а Абель начал свое восхождение. Нужно время, чтобы подняться на крутую черепичную крышу, но Белка подвигается вперед, цепляясь ногтями, и когда он наконец садится на ее гребень, ему нужно еще податься порядочно в сторону, чтобы достать вишни — и когда он уже у цели, Лисичка издает условное покашливание. Она увидела свет фонаря в одной из дверей, открывшихся в аптеку. Ладно! Белка теперь уже у цели и решает позамешкаться немного, Лисичка сильно кашляет — аптекарь как из-под земли вырастает у пристройки. — Ага! — кричит он. — Спускайся вниз, сатана, уж ты у меня увидишь!

Но увидеть пришлось аптекарю.

На него начали сыпаться черепицы, Белка слезает с крыши по другой стороне, преследуемый обвалом камней,

лавиной земли, скатывающейся вслед за ним; он не попадает на ящики, а как раз на частокол, на который накальвается, с забора он наконец соскакивает на улицу — спасенный, но окровавленный мужчина. В довершение всего раздастся выстрел солью сквозь кольцо забора, она блестяще пронизывает тонкие штанишки Абея. Но хуже всего хохот аптекаря!

А как происходило дело, когда мальчики вздумали требовать обратно занятые у них деньги?

Они помогли паре товарищей в нужде, открыв им достаточный кредит наличными; но время шло, а должники и виду не подавали, что хотят уплатить долг. Тогда им назначили день и час, состоялось многолюдное собрание, пришли и обвиняемые; но так как они были рослые парни, то они только смеялись в глаза своим кредиторам и дразнили их. Но Абель с Эдевартом решили довести дело до конца,— если понадобится, то силой.

Эдеварт выступил первым.

Он идет прямо к Рейнерту — сынку церковного певчего в модных коротких панталонах с брелоками и отцовской часовой цепочкой на жилете,— Эдеварт корректно подходит к нему, словно ничего не случилось, словно он хочет поздороваться с ним за руку. Но Эдеварт этим прикрыл лишь свою дьявольскую хитрость: он вдруг выталкивает вперед свой кулак и очертя голову кидается на своего противника!

Собрание, как на иголках, наблюдает сцену; они катаются по земле, вновь поднимаются на ноги и танцуют по всей площадке, так что искры летят. Вдруг, в злополучный момент, Рейнерт обнаруживает пропажу золотой цепочки; все начинают искать ее, и Лиллелидия, Лисичка, находят ее в песке.— Давай сюда! — кричит Рейнерт. Но Лиллелидия не так глупа: она бежит с цепочкой к брату, и Эдеварт кладет ее в карман.— О! — восклицает собрание. Будь у Рейнерта время, он, пожалуй, отвоёвал бы цепочку; но он должен бежать с ней к шорнику, чтобы не явиться домой с отрезанной цепочкой.— Я заплачу!..— кричит он Эдеварту;— я хотел только подразнить тебя немножко...— Собрание громкими криками выражает одобрение этой сделке.

Теперь наступил черед Белки и некоего мальчишки, по имени Карандаш. Но так как Рейнерт, его великий образец, вынужден был покинуть поле битвы, то некому было поддерживать мужество в Карандаше; он увидел себя покинутым и пробормотал:— Я тоже заплачу...

Так и переживали они то одно, то другое приключение; не все были такие же доблестные, но все были глубоко поучительны и в том или ином смысле животворны.

Наступило время, когда Абель стал сильно вытягиваться и обнаруживать волчий аппетит; вместе с тем в нем ослабел рабочий пыл, он вступал в переходной возраст. И плохо стало Абелью...

Так как он израсходовал весь свой наличный капитал, то больше уже не мог приобретать себе продовольствия приватным образом у булочника; и он закабалился к городскому инженеру на вечерние часы: на побегушки и в качестве дровокола. В этой должности он получил вкус к тайному катанью на извозчиках; он цеплялся двумя вершками своего тела за экипаж, и готов был каждую минуту соскочить, если его накроют. Раньше он никогда не интересовался лошадьми или экипажами — теперь, издали заслышав гул колес по мостовой, он приготавливался заранее; ибо это было вовсе не легкое искусство — на полном ходу прицепиться в подходящий момент к катящемуся экипажу!..

У городского инженера, кроме небольшого жалованья, он получал еще каждый вечер толстый бутерброд с маслом, и это очень поддерживало его дух и тело. Он пробыл на этом месте все зимние месяцы, в этот период он встречался с Эдевартом в школе, но никаких приключений вместе они не переживали. Зато у него было приключение с Лиллелидией когда ему было двенадцать лет, он посватался к ней!

Он все время знал Лиллелидию просто как славную девочку и был привязан к ней; в последнее же время она необычайно похорошела, и сын часовщика Рейнерт недаром щеголял перед ней в своих франтовских панталонах. Ввиду этого Абель решил действовать быстро!

Воскресенье, все они собрались у рыбака Иоргена, куры ходят по дворику, Абель и Лиллелидия заняты беседой. Она в нарядной желтой юбочке ради праздника; сегодня она такая же, как вчера и каждый день, но Абелью она представляется совсем другою. Она объясняет ему, что решительно не понимает, как это Рагна Грюн-Ольсен может еще интересоваться куклами. Когда я смотрю на мою куклу, то разве только мельком бросаю на нее взгляд!

Тут Абель решил, что раз она уже такая взрослая, то приспела самая пора действовать, и он предъявил ей свои сердечные чувства. Хотя он выражался довольно прозрачно и сказал все необходимое в таких случаях, Лиллелидия

его не поняла и переспросила еще раз. Это была самая скверная для него минута! Не потому, чтобы он сомневался в ответе; она сразу скажет «да», для этого они довольно знают друг дружку! Но когда она раскусила, в чем дело, она нахмурила брови и сказала «нет». Наотрез сказала «нет»!..

Он испытующе посмотрел на нее: в здравом ли она уме?

Лиллелидия стоит, размышляет, взвешивает; она ведь все-таки привязана к своему ухаживателю, это верно. Они хорошие друзья, хорошо знают друг дружку, но обручиться с ним — нет!

О, эти женщины! На беду у него еще ничего не было, чем содержать семью, кроме места посыльного у городского инженера; но он может подвинуться по службе — кто запретит ему это?

И она должна же была видеть, что он пришел к ней с серьезными намерениями, — а один бог ведает, что может выйти у нее с этим Рейнертом в нарядных панталонах. Но эти женщины! — Нет! — сказала она решительно, и замотала головой.

— Да, да! — настаивал он.

Он стоял на месте, как приросший, не мог двинуться, и ему хотелось провалиться сквозь землю. Что ему оставалось сделать? Снять шапку и поклониться — так-то, барышня моя? Но что-нибудь нужно же было сказать, какое-нибудь прощальное слово, — тем более, что она ведь в сущности не совсем еще погибла! — Да, да, прощай! — сказал он. И когда он хотел поблагодарить ее «за все», то он не мог этого сделать: он чувствовал, что у него исказилось лицо, — и как же он жалел Лиллелидию за все бедствия и заботы, которые, несомненно, ее ждали с Рейнертом!

Этот случай нанес сильный удар его жизнерадостности. Теперь ему не помогали уж бутерброды городского инженера; он исхудал, стал зябким, апатичным, прятался по темным углам и тосковал, предаваясь малодушному унынию. Это были самые страшные для него зимние месяцы. Школа и уроки — в меру, как раз, сколько необходимо. Рыболовничанья — вот ни столечко! Он никому не поверял своей души, постоянно скитался в одиночестве, уходил в свои страдания. И Лиллелидия не делала никаких попыток к сближению. Неужели она так скоро могла его забыть? По-видимому, это было так, она как будто избегала его! Не было ничего легче, как показать, что и она уничтожена; но нет, она так и не

пришла к нему в раскаянии и не бросилась перед ним на колени!

Он попросил отца, чтобы ему скорее устроили конфирмацию — он хочет поступить в военное училище. Отец поговорил с ним и не сердился, но нашел, что это рановато — немножко, право же, надо подождать несколько месяцев; и эти несколько месяцев пролетят стрелой, Абель сам увидит это! Скоро весна, и он сможет отправиться с отцом в продолжительную поездку, на Пасхе или к Троице!

Но Абель уже не занимала продолжительная поездка; он сидел в каком-нибудь закоулке на суше и предавался размышлениям. На что ему теперь море, и лодка, и яйца из гнезд, и наплавной лес, и приключения? Он отошел далеко от всего этого; его маленький крейсер попал в полосу жесточайшего шторма!

Он провел в этой душевной борьбе всю зиму. Дома он проводил только ночи, днем у него была школа, и время от времени скучнейший урок, вечером он занят был у городского инженера. Бедняжка, как он отчаянно боролся! Его брат Франк — тот шел своим прямым путем без всяких колебаний; какая разница между братьями! Франк продолжал прилежно учиться, сохранял за собою стипендию, он был светило, все видели его блеск, и все замечали, что он необыкновенный! Да, какая разница между братьями — словно они и не дети одних родителей! Правда, у Франка те же родители; но право же, казалось, что родители ему не родные! Дома он тоже держался как-то особняком, был серьезен, прилежен, и привередлив, для Абелья он был нестерпимо взросел: — Об этом ты узнаешь в свое время! — говорил он, подражая учителю. Он завел себе привычку вдальбивать в Абелья с излишней отчетливостью правила вежливости: — Когда учитель входит в класс, ты должен встать и поклониться, а когда ты сделал это, не стой, а садись на место! — Обезьяна! — отвечал на это Абель.

Когда Франк сдал свои экзамены в среднюю школу, встал вопрос, чем ему заняться. Ему — и чем заняться? Тем же, что и до сих пор, чем же иначе! Разве можно взять да погасить сияющий светоч? Этого не будет при добром желании тех, кому это вестать надлежит! Но пока решалась его судьба, директор школы и доктор посоветовали Франку совершить укрепляющую поездку в горы с другими молодыми людьми, которые тоже переутомились занятиями. Перед тем, как уехать, Франк взвесил свой дорожный мешок на безмене, кое-что снял, кое-что

прибавил, чтобы получить нужный вес; он взвесил также на руке свои башмаки, и они оказались не по правилам тяжелы; ничего не поделаешь!

Если бы Абель был прилежен и заучился до переутомления, то и он мог бы участвовать в этой поездке в горы; ему бы это было полезно, она и его укрепила бы. Но Абель был слеплен совсем из другого теста, черт его побери! К тому же в данное время он весь ушел в свое горе и бездействие.

В один прекрасный день Эдеварт объявил ему, что им пора опять выехать в море, так как начался обильный ход мерланов. Абель проявил полное равнодушие и неохоту к ловле, и товарищу много пришлось потратить времени, пока он уговорил его. Да и то он не так просто выудил согласие Абеля! Дело в том, что Абелю, бедняге, очень трудно было рвать привязанности и уходить от привычного места; если начинать рыболовничанье, надо отказаться от места у городского инженера! Он получал там ничтожное жалованье; инженер сам получал небольшой оклад, но дом его изобиловал бутербродами, и все домашние были так милы с Белкой — как же он мог так-таки взять да уйти? Он знал, что это не обойдется иначе, как с болью для его сердца, и со дня на день откладывал решительный момент.

Эдеварт разозлился и объявил, что подыщет себе другого товарища.

— Вот как! А где ты возьмешь лодку? — спросил Абель.

Эдеварт сразу присмирел, ибо лодка-то ведь была у Абеля, лодка Оливера! И вот впервые за долгий период Абель мог ощутить торжество; он стоял на улице и поплеывал независимо, как взрослый, он не ничтожество какое-нибудь! Получай, Эдеварт, брат Лиллелидии!..

Однако, он был привязан к своему старому товарищу, и когда все хорошенько обдумал и взглянул на дело серьезно, он взял отставку у городского инженера. Все обошлось бы хорошо, если бы фру инженерша не взяла его так матерински за руку и не сказала: — Бедный Абель, какая у тебя худая и маленькая ручонка! — Он выскочил на улицу, ослепленный своими слезами. Кто-то крикнул ему: — Го-го, что, тебе задали там взбучку? — Это был Карандаш.

И вот он опять сидит на рулевой скамье, и начинает приходить в себя. Ишь ты, ведь он было сделался настоящей сухопутной крысой, конюхом каким-то! Теперь он надел узду на лодку и правит ею; а когда он выехал

в открытое море, он уселся на краешек борта и стал балансировать. О, это была знакомая вещь, товарищи вновь зажили полной жизнью, и опять зашибали деньги! Купец Давидсен был новый, славный такой мелочной торговец, с которым приятно было иметь дело; он продавал им отличные лески и принимал в уплату рыбу. Ни один рыбак не был снаряжен лучше их! Спустя неделю Абель уже равнодушно смотрел на проезжавшие экипажи и не соблазнялся вскочить на запятки.

Но воспоминание о Лиллелидии долго еще терзало его; он давал крюку, чтобы не встретиться с нею, и никогда не упоминал о ней. Это — нет; но он побуждал Эдеварта произносить ее имя, только произносить имя, ничего больше! Абель спрашивал:

— Это не Алиса ли там идет?

— Где?

— Вон там. В желтом платье...

— Нет. Это Лиллелидия!

В прежние времена он считал своим долгом помогать ей нести тяжести, если ее посылали куда-нибудь и он встречался с ней;— теперь все это кончилось, он не предлагал своих услуг. Бог с нею! Особенно же, когда в город вернулась учительница танцев, и Лиллелидия начала ходить в танцкласс, чего Абель не делал,— теперь в особенности их пути разошлись. В дело вмешалась судьба!

Через две недели ни один из мальчиков уже ни о чем не думал, кроме моря. Военное училище Абеля была мысль неплохая, и они ее обсуждали; но потом он узнал, что в военном училище тоже есть и учителя, и уроки. Нет, пусть их только подтверждают — они наймутся на службу и поедут за море! Это единственно достойное мужчины занятие!

— Кому мы сегодня сдадим рыбу? — спрашивает Эдеварт.

— Нынче я несу свою связку домой,— отвечает Абель.

— Ты не продашь ее?

— Нет. Отец просил меня принести рыбу домой, потому что Франк приехал.

Эдеварт погрузился в раздумье: — Вот как, он приехал домой!

— Как ты думаешь, если Франк станет священником, проклянет он нас с тобой?

— Проклясть нас? Разве он это может?

— Ведь он учится заклинаниям!..

Франк стал для обоих каким-то мистическим и полуопасным существом. Лучше с ним не связываться!..

Что это там за новую вывеску вешают над дверью конторы консула Ионсена? Щит, или герб; что он, получил уже дворянство? Он сделался бельгийским консулом!

Горожане понимали, что он ходит с чем-то очень крупным в перспективе — стало быть, он задумал стать вдвое важнее других консулов, консулом вдвойне! Это не шутка — новый герб на стене, и новое кольцо с камнем у фру Ионсен!

Когда школьный заведующий прочел новую вывеску, он смахнул пыль со своего потертого сюртука и отправился в двойное консульство. Он был человек себе на уме и сознательно выбрал этот момент для беседы с консулом.

Он поздравил его в отборных и почтительных выражениях: — Итак, г-н консул стал доверенным лицом еще одного правительства?

— Да, как видите! Впрочем, это сопряжено еще с большей работой, да и расходов требует немалых. Но отвертеться не всегда можно! Между прочим, смею ли поблагодарить заведующего школой за маленькую Фию? Я рад, что экзамены уже кончились! Она могла бы немного успешнее сдать их, но теперь ничего не поделаешь, да ведь ей и не в учительницы идти!

— Не говорите; Фия могла бы легко стать учительницей, по многим специальностям, учительницей других, о да! Г-н консул, я пришел к вам, как к первому у нас человеку во всем и всюду, у меня к вам дело!

— Вот как!

— Серьезное дело! Дело касается ученика, которому не следовало бы останавливаться в своем блестящем развитии и погибнуть. Это Франк, сын Оливера.

— А что с ним случилось?

— Вы давали ему платье из года в год и проявляли большой интерес ко всей этой семье...

— Ничего подобного! — отрезал консул.

Школьный заведующий с удивлением смотрит на него: — Сперва у вас жила его мать...

— Ради хлеба! Да, это Петра, она служила у нас.

— Да! А потом вы устроили занятие его отцу. Я думаю поэтому, что ваши благодеяния этому семейству были многократны и велики. Но теперь Франк нуждается в помощи, нуждается в ней широко и немедленно; помогите же ему, г-н консул!

Сказать правду, консул вовсе не пришел в восторг от этого обращения; напротив, он наморщил лоб. Он первый человек в городе, он поднялся теперь так высоко, как только можно подняться, и конечно, не имеет никакого желания стать выше, чем сейчас; поэтому он сказал: — Если вы рассчитываете на мои благодеяния — как вам угодно было их назвать — полагаете ли вы, что у вас есть основание обращаться ко мне?

— Нам хотелось прежде всего обратиться к видным лицам города, а потом уже попытать счастья с остальными. Но мы вполне сознаем, что теперь мы... теперь мы... злоупотребляем добротой человека, которому трудно отказывать!..

— Чем мальчик должен сделаться?

— Он может сделаться, чем захочет, — такой он прилежный и настойчивый. Особенно легко ему даются языки.

Консул думает, смотрит перед собой и думает, и наконец произносит следующие удивительные слова: — Если я буду и впредь помогать этой семье, это может привести к недоразумениям.

— К недоразумениям?

— Дать повод к толкам. Разве вы не слыхали, о чем сплетничают?

— Как это, сплетничают?..

Консул меняет тон; школьный заведующий, стало быть, даже и не слыхал о некоторой пощечине!.. И он говорит: — Да, там болтают, не стесняются. Говорят, что я делаю свои маленькие благодеяния из тщеславия!

Заведующий школой никогда не слыхал таких вздорных отзывов, никогда! — Да; но такой человек, как вы, консул, должен быть выше всего этого, должен возвышаться как небо над всем этим! Все лучшие элементы города на вашей стороне!

Они продолжают обсуждать вопрос, и консул все еще не спокоен насчет сплетен, насчет общественного мнения; но в конце концов он сдается и говорит: — Нну... руку помощи я протяну!..

Теперь, пожалуй, уже школьный заведующий пришел в некоторое беспокойство, но он обнаруживает его в очень осторожных выражениях: — Тысячу раз спасибо, я так и знал, что не напрасно приду сюда! Да, вот случай для сильных людей показать свое великодушие. Иначе эти необыкновенные дарования погибнут для цивилизации и родины!

— Ведь вы хотели, чтоб я протянул руку? — спрашивает консул.

— Именно! Совершенно так! Дело идет, значит, о ежегодной помощи на время учения юноши.— Так далеко консул не думал идти, и он говорит: — Мммда!— и недовольно качает головой.

Рука, затянутая в перчатку, стучится в дверь, и входит консульша, фру Ионсен: — Прости, я на одну минутку! Не худшее ли это было, что могло случиться с консулом как раз в эту минуту? И этот школьный заведующий в простоте душевной вздумал немедленно посвятить ее в грандиозные планы насчет мальчика Франка!..-- Вот что! — говорит фру: — Да, да! — говорит она.

Но именно ее присутствие оказалось полезным для успеха плана. Для фру Ионсен сегодняшний день также был своего рода торжеством; она стала вдвое более именитой дамой перед прочими, она смотрит на мужа и говорит: — Да, ты должен принять участие в этом деле!

С консула точно гора свалилась; что бы там ни было, но и супруга участвует теперь в благотворении семье Оливера! — Какое это счастье — иметь разумную жену, — говорит он.— Мне очень хотелось знать, Иоганна, что ты об этом думаешь?

— Женщина всегда женщина! — восклицает школьный заведующий.

Она мужественно вынесла этот комплимент — разве нет? Она смутилась и вдруг спросила: — А что, мальчик был уже у причастия?

— Он теперь будет конфирмован. И предполагается, что он немедленно начнет ходить в гимназию.

Консул спрашивает: — Кого еще думали вы привлечь к этому делу?

— Обоих консулов — Ольсена и Гейберга...

— Это мне не улыбается, — говорит супруга.

— Нет, нет; пожалуй, что нет! Но мы имели в виду адвоката Фредриксена. Ему принадлежит дом Оливера, он должен в сущности подарить его для сего случая!

Но консул так ободрился духом после участия, проявленного его супругой, что он пожимает плечами и говорит: — Ну, уж этот адвокат! Он ходит по городу, политиканствует, норовит попасть в ландстинг — ни к чему другому он не способен!

Школьный заведующий почтительной улыбкой выражает свое согласие с мнением консула. Но он решается назвать Генриксена; они попытают счастья у Генриксена!

— Какого Генриксена? — спрашивает фру.

— Генриксена с верфи.

— Вот какого! — Фру казалось, что его фамилия Гендриксен...

— Ну, тут смеяться не над чем, — говорит консул, чтобы кольнуть свою супругу.

Но фру Ионсен многого не выносит сегодня; не выносит она также, чтобы ее кололи, и лицо ее принимает сухое выражение.

Консул продолжает: — Да, но главное в том, что еще неизвестно, сколько должен дать Генриксен!

Фру вставляет: — Да, это нам неизвестно. Но мы не встречаемся с ними!..

Школьный заведующий сидит как на углях, пока ему не удастся снова поставить дело на рельсы. Они втроем судачат о Генриксенах с верфи и соглашаются на том, что это обыкновенные, но по своему хорошие люди; но они немножко «вне круга», немножко малокультурные люди, а муж так даже привержен к рюмочке!

— Ну, — прерывает себя под конец фру Ионсен, — я пришла только на минутку: взять у тебя кредитку!

Консул идет к несгораемому шкафу. — Одну кредитку? — спрашивает он.

— Да, если она будет достаточно крупная!

По уходе супруги консул снова садится и продолжает совещаться с заведующим: — Ежегодная помощь, так! Впрочем, под «рукой помощи» я это именно и разумел. Говорили ли вы с доктором об этом деле?

— Да, и он тоже хотел помочь по мере сил. Но у него, конечно, средства небольшие!

— Ну, какие там у него средства! Нет, послушайте, я вам лучше сразу скажу: я покрываю эти издержки! Вы можете идти домой и спокойно спать, заведующий!

— О!

— Я это сделаю, — повторяет консул и встает. — Я протяну руку помощи, я один буду оказывать эту ежегодную поддержку!

Школьный заведующий также встал и, подавленный, произносит: — Я опять узнаю в вас прежнего консула!

И смотрите-ка, мальчик Франк увернулся от необходимости попасть снова в родную обстановку, во мрак, над которым он было поднялся! Все приходит в порядок, школьный заведующий может торжествовать, может останавливать на улице все «лучшие элементы населения» и делиться новостью, может лично отправиться в дом

Оливера и возвестить ее! Для него это радостный день, словно у него еще раз удачно сошли экзамены; он не знал больших радостей, как в этом роде, когда он мог сделать кому-нибудь добро и доставить торжество науке и книгам. Это был его хлеб и его страсть. Человек должен иметь какую-нибудь страсть; иные готовы лезть в огонь и в воду, спрягая глаголы!

Школьный заведующий встретил целую стаю учащихся, возвращавшихся из путешествия в горы; они обессилены трудным восхождением. У них изранены ноги, они обожжены солнцем, обозлены дикими быками и крестьянами. Школьного заведующего знают повсюду, толпа приветствует его, подмигивает ему. Старшие из детей уже расстались с ним, он мучил их во все время, что они подрастали,— о, ведь это делалось для их блага! Он вооружал их для жизни, вооружал их для сельского хозяй-искусства, семейной жизни, для грез и богослужения, но теперь они с ним квиты, они сдали экзамены и испробуют свое оружие в борьбе. Они еще добросовестно хранят в своих детских мозгах поверхность Швейцарии, и хронологию пунических войн; они устремляются в горы с такой естественнонаучной истиной в душе: рыбы суть позвоночные! А домой ковыляют с первым самостоятельным опытом насчет слабого кровообращения. Школьный заведующий встречает их, встречает этих детей, которым, пожалуй, лучше было бы немножко знать действительную жизнь; он сам ведь старик с сердцем конфирманта, пальто висит на нем как на вешалке, воротник дыбится на затылке — но все же он заведующий школы, заведующий большим каменным зданием!

— Ну, как сошла поездка?

— Да так себе, быки, крестьяне...

— Надо быть выше всего этого, надо подняться над всем этим высоко, до небес! Хотите узнать приятную новость?

— Да! Да!

— Франк поступает в гимназию!

Дети, которые пошумнее, делают вид, что это для них самое радостное известие, какое они могли бы услышать; другие проявляют к нему равнодушие, кое-кто не скрывает зависти. Взять хоть Рейнерта с его панталонами; легко ли ему обнаружить радость, когда он знает кое-что о рыбах, и кроме того сам одарен несомненными способностями к языкам? Что касается лично Франка, то он, нельзя сказать, чтобы не заинтересовался новостью; его густо загорелое

лицо на минуту еще больше темнеет, но он не падает на колени! Нет, ибо он ведь и раньше получал дары, ему помогали и делом, и обещаниями во все эти годы; он ни разу не был вынужден самостоятельно искать для себя выхода; теперь появились средства, все пришло в порядок. И чтоб теперь ему как-нибудь особенно радоваться? Ему, Франку? Мальчик ведь никогда не радовался, ни единого дня. Он был прилежен в школе и чувствовал себя удовлетворенным тем, что люди уважают его усердие и честолубие, вот и все! Нет, ему незнакомы алые вспышки волнения, он никогда не поднимался ввысь и не падал, не погружался на дно и не всплывал, никакой опасности не подвергался, и ничего ему не приходилось отвращать; вместо того, чтобы выпутываться из затруднительных положений, он просто обходил их. Он строил свою жизнь умно, — но и убого. Рок предназначил ему быть филологом!

Он благодарит за компанию и направляется домой; дома его ждет свежая рыба, — именно то, чего ему хочется. Абель, наверное, оторвался ради такого случая от своих занятий; старый, никудышный кот увивается около, привлеченный запахом рыбы, и мяучит.

Было так, словно что-то чужое вошло в дом — Франк явился, как некая самодовлеющая персона! Вот он будет конфирмован и уедет. Бабушка не заговаривает об этом и уже чувствует себя перед ним, как виновный прихожанин перед пастором. Пожалуй, она думает, что родство еще может ей пригодиться — например, у исповеди!

Оливер сидит за столом с младшей девочкой на коленях, а Петра с другою — с голубоглазой, и все едят. Оливер немного угнетен, он болтает с крошкой, чтобы несколько ослабить торжественность момента: — Она такая маленькая, — говорит он, — она папина дочка, не опасная, не взрослая, такая славная! Ты чья девочка? Папина, конечно, я уже это заметил! — Время от времени он кладет ребенку в рот кусочек репы, но и себя не забывает. О, он хорошо умеет есть, если только Петра к нему не привязывается! — Да, за сегодняшнюю рыбу надо благодарить Абеля, — замечает он.

Словно это так важно, словно это не все равно!

Петра занята тем, что случилось дома, и заставляет Франка отвечать на свои вопросы.

— Гимназия! — с достоинством говорит Оливер, и кивает головой; — да, вот это путь! — К сожалению, у него нет умишка развивать эту тему далее, и как только он поел, он опять начинает играть с ребенком и дает ему

белого ангелочка вместо куклы. Теперь на комодѣ уж не так много украшений, они пошли на игры детям, а что касается маленького карманного зеркальца в медной оправѣ, то оно не пропало, Оливер взял его, чтобы пользоваться им в складѣ. О, испорченный мужчина, о баба, ему еще нужно смотреться в зеркало!

Он ждет, чтобы еще что-нибудь услышать — он имеет кое-что сообщить. Что это за новости припасены у него? Что Ионсен с пристани сделался двойным консулом? Да, и это тоже, это во-первых! Но вдруг он говорит, обращаясь к Петре: — Болтают, будто у Ионсенов готовится большой званый вечер...

Оливер время от времени передавал своей женѣ, что ее, пожалуй, ждут для чего-то у Ионсенов, фру намекала на это, Шельдруп уронил на этот счет словечко, у консула тоже могла найтись для нее работа... Иногда это не имело под собой никаких оснований — оказывалось «недоразумением» со стороны Оливера; а случалось и так, что он просто сочинял. Но каждый раз, как Петра получала такие сообщения, она принаряжалась и выходила из дому; это никому не вредило, а ей, во всяком случае, давало часок досуга.

— Что ж, у них опять будут гости? — спрашивает она.

— Да, конечно. Раз он сделался двойным консулом! Ты еще услышишь об этом.

— Так что мне еще придется, пожалуй, помогать там?

— Да. И кажется, мне говорили, чтобы ты пришла убрать в конторе нынче вечером. В точности не помню...

Петра уходит. Бабушка остается с девочками, все остальные расходятся. Оливер следит за женой и ревниво убеждается, что она действительно направляется к Ионсенам. Она привыкла к этому, она знает, что он караулит ее за каждым перекрестком, и избегает скандала тем, что идет, не сворачивая ни вправо ни влево.

Абель тоже не сидит дома. Он нашел чудесный кнут и спрятал его под дверным порогом, он достает его и любит его им: чудесный кнут, из плетеных ремней, крепкий; он мгновенно соображает, на что он может пригодиться, — во всяком случае его можно носить с собой и звучно щелкать в воздухе! На конце кнutoвища отличная медная шишечка. Он знает всех извозчиков в городе и приблизительно догадывается, кто мог потерять этот кнут; но Абель, к сожалению, не уверен в преимуществах честности и не находит, чтобы ему следовало отправиться

к хозяину кнута и вернуть его по принадлежности. Он отправляется к рыбаку Иоргену!

О, если б он мог перестать околачиваться около этого дома, около этого Эдема, из которого он был изгнан! И отчего бы Эдеварту не жить в каком-нибудь другом месте?

А впрочем, не Эдеварт ли это крейсирует на улице кварталом раньше? И не городской ли это инженер идет прямо к нему — не удастся ли Абелю пробежать мимо и догнать товарища?

— Здравствуй, Абель,— говорит городской инженер.— Послушай, я подозреваю, что это ты повесил связку рыбы на мою кухонную дверь, и сделал это раза два! Я хочу заплатить тебе за эту рыбу,— говорит он и вынимает свой кошелек.

— Это... нет...— говорит Абель, запинаясь.

— Что такое? Жена совершенно уверена, что это сделал ты!

— Да там было немного,— говорит Абель.

Городской инженер протягивает крону, ибо он не богат.— С твоей стороны это было очень мило,— говорит он.

Они расходятся, каждый идет своей дорогой. Абель продолжает путь к рыбаку Иоргену, но глаза у него влажные после слов инженера.

Куры уже сели на насест, на заднем дворе тихо. Но когда Абель просунул голову в калитку и увидел Лиллелидию, он на всякий случай гаркнул: — Эдеварт!

Лиллелидия отвечает: — Фу, как ты меня испугал, горлан!

— Я ищу Эдеварта.

— Иди сюда! Эдеварт только что вышел. Что это у тебя в руке? Эдеварт был дома, поел и опять ушел. Иди сюда — слышишь ты?

— Ты сама горлан! — говорит вдруг Абель. Ошибки быть не могло, он сам слышал эти свои слова!..

Лидия до этого момента стояла на коленях перед стулом с письменными принадлежностями; теперь она встает на ноги, и в ней не видно и следов раздражения, а только досада на себя за свое необдуманное выражение.— Ты не сердись на меня,— говорит она и обнаруживает намерение разреваться, по своему обыкновению.

Кто мог бы вынести это? Абель стесняется утешать ее, но он заходит так далеко, что спрашивает: — Что это ты писала?

— Письма. Взгляни на мои пальцы! — говорит она и выставляет вперед пальцы, запачканные чернилами.— И боже мой, какой у меня вид! — вскрикивает она и начинает отряхивать песок со своего платья.

Между ними опять полный лад, и Лиллелидия работает язычком:— Счастлив ты, что тебе не приходится писать так много писем. Ты умеешь писать письма?

— Не знаю.

— У меня завелось так много подруг в танцевальной школе, и всем приходится писать. Что это у тебя за палка?

— Разве ты не видишь, что это? Это для выколачивания платьев. Это палка для выколачивания пыли.

Лиллелидия сгибает хлыст, пробует щелкать им в воздухе и кивает в знак того, что шутка чудесная.

— Можешь взять себе,— говорит Абель.

На том и порешили.

Они беседуют о том, о сем, о многом, и Лидия держит себя, как большая и зрелая девица: ей столько приходится переделать за день, она к вечеру сильно устает от всего, что приходится шить и гладить в течение дня.— Ты знаешь, о чем я сейчас думаю? — говорит она.

— Нет.

— Это все равно... Но меня скоро позовет мама, и будет слишком поздно, если ты захочешь сказать мне что-нибудь!..

Это свалилось на него так неожиданно, он прямо был уничтожен! Что ему сказать? Что она этим думала?

— Да! — вскрикивает вдруг Лиллелидия громко и пронзительно в направлении дома и убегает туда.

Но Абель даже и не слышал, как ее позвали.

Опять неудавшийся вечер и истинное несчастье! Дня два спустя городской извозчик напал на след своего хлыста, пришел и отобрал его. И таким образом Абель оказался погубленным на всю жизнь.

ГЛАВА XII

Годы идут. Молодежь подтверждается, ее гонит вверх, она становится длинною, взрослою, даже необыкновенно рослою, ибо в моду входят невероятно высокие каблуки.

Фиа Ионсен стала такого же роста, как и ее мать, она темноглазое, бледное, изящное создание; веснушки почти совсем сошли с ее лица, по спине у нее бежит длинная коса. Обыватели следят за всеми стадиями ее развития,

они помнят, как она родилась, это они помнят безукоризненно; они даже знают, в чем она была на конфирмации; женщины подолгу простаивают у колодца и распространяются насчет всего этого великолепия. Хорошо быть Фией Ионсен!

Брат ее Шельдруп Ионсен переезжал из одной страны в другую и учился, его сверстники совсем потеряли его из виду; но Фиа оставалась дома. Она училась танцам, игре на пианино, умела стирать пыль и наводить в доме уют. У нее была склонность к рисованию и живописи, она штудировала иллюстрированные газеты и журналы в доме консула, и она же расписала тарелки, которые до сих пор висят по стенам столовой.— Работа моей дочери! — говорит обычно консул своим гостям.

Ее таланты получили первоначальное развитие у школьных и городских преподавателей рисования; впоследствии она начала ездить в большие города и столицы, и каждый раз, возвращаясь домой, она все с более понимающим видом улыбалась своим тарелкам. Она так далеко пошла, что умела собственной рукой рисовать виды из своих окошек, и уголки сада. Отлично! Но Фиа была так молода и так отчаянно худа,— не то, чтобы от дурного питания, но не развита, без мускулов, без работы. Да и за что ей взяться, когда она — талант! Родители имели возможность содержать ее дома, или вне дома,— это зависело от ее собственного желания; но жила ли она дома или вне его, она была хорошенькая и привлекательная, и никогда не переступала разом двух ступенек — о, нет! Но это было все. Ей не нужно было никакой профессии. Талант ее был бесполезен. В жизни ее не было серьезного содержания.

— Ей нужно дать немного настоящей работы,— говорит доктор.

Он говорит это не первый год, и раздражает этим родителей. Работа! Чем должна работать их дочь?

— Не посоветуете ли вы ей пойти в прислуги? — спрашивает консул.

— Для этого она не годится.

— О, нет!

— Нет. Но снимите с нее бриллиантовые перстни и приставьте ее к работе в саду!

— Для этого у меня есть привычный человек. Бедная Фиа и так много работает; теперь она особенно усердствует, ей хочется устроить выставку своих вещей.

— О, боже! — говорит доктор.

Собеседники сидят в конторе К. А. Ионсена, в двойном консульстве, и консулу таким образом отрезана возможность бегства.— Моя дочь не очень вам докучала своим искусством,— говорит он.— Зато некоторые критики с похвалой отозвались о нем!

— Да, мы это знаем. Но на какой черт девочке искусство, если она будет несчастна?

— Это у нее пройдет.

— В этом нельзя быть уверенным!

Удивительно, как много позволял консул доктору! Как это он во все эти годы ни разу не указал ему на дверь! Медицинский авторитет! Почему консул обязан больше других считаться с ним? Разумеется, общественный вес доктора в городке огромен, спору нет; но разве его можно хоть в какой-нибудь степени сравнить с авторитетом его, консула? Для всех поистине было загадкой, как это доктор так непринужденно беседует со столь могущественным человеком!

И именно теперь консул имел меньше всего причин терпеть какие-либо огорчения — довольно он их имел в прежние годы! И он говорит с еликовозможной осторожностью: — Нам, родителям, остается в таком случае надеяться, что провидение окажется к Фие более милосердным, чем вы, доктор! Не хотите ли закурить еще сигару перед уходом?

— Благодарю; когда буду уходить. Если бы вы правильно взяли за Фию, то она бы так сильно не нуждалась в милосердии провидения. Как вам кажется, должна ли она когда-нибудь выйти замуж?

— Думаете ли вы, что она окажется для этого непригодной?

— Мужчине нужно жениться на женщине, а не на художнице.

Консул говорит с улыбкой: — Я не вижу иного исхода, как предоставить ей приобрести качества замужней женщины впоследствии. Этот вопрос, во всяком случае, может встать лишь через несколько лет. В настоящее время она обожает искусство.

— Я предполагаю,— говорит доктор,— что если бы у нее не было средств предаваться этой забаве, то она вынуждена была бы стать просто женщиной. Иначе сказать, я предполагаю, что у нее не всегда были средства к этому.

Консул опять улыбается: — Стало быть, вы обязаны кормить ее?

— Я только предполагаю: слышите вы?

Назойливость доктора была нестерпима, и если бы консул знал истинную причину этой назойливости, именно в этот день, он бы, пожалуй, все-таки... все-таки... указал ему на дверь! А именно: новое бриллиантовое кольцо, полученное Фией, это бриллиантовое кольцо не давало докторше покою: на что оно ребенку, что с ним будет делать девочка? Ей еще в пору ходить в коротеньких юбочках, вот что! А что случилось с маленьким, злополучным бриллиантовым кольцом, которого докторша ждет столько лет? Ох, как это все грустно, как тяжело! Все та же повседневная жизнь, без капли радости, у-у...

Но консул ничего не знает о борьбе, происходившей между докторской четой, и он, должно быть, нашел некоторый резон в словах своего гостя, ибо вот он задумался. Он любил Фию и главное всего хотел ее блага; он слишком баловал ее, ее разъезды по городам становились все накладнее и накладнее, но это было ее образование, он не мог же останавливать ее и конфузить перед новыми подругами и товарищами, которые у нее завелись! По доброте душевной она начала покупать картины других художников, чтобы придти им на помощь; но против этого отцу пришлось заявить протест, ведь это уже не относилось к семье, бюджет и так стал огромен, его денежный мешок не бездонен! Что ж, Фия склонилась перед отцом и исправилась от этого недостатка, но тайком сохранила другие — о, совсем мелкие недостатки, сущие пустяки перед всеми добрыми и прекрасными качествами, которыми она была наделена! Когда она находилась среди посторонних людей, она держалась с достоинством, на манер взрослой дамы, но, пожалуй, слишком заносчиво. Она пускала намеки, что происходит из старинного культурного рода, и что родители ее миллионеры — это был полуобман, полусамобман. Опоздав к пароходу, она могла бросить окружающим такие слова: — Ах, если бы здесь был наш собственный пароход! — Увы, их собственный пароход не имел возможности совершать рейсы с фрекен Фией, и вообще-то это было старое корыто, делавшее только восемь миль в час, в среднем приносившее пять процентов дохода, а время от времени процента два убытку...

Как раз теперь оно принесло убыток!

Добрый консул не всегда был хорошим судовладельцем, Шельдруп и послали изучать искусство владеть кораблями. Оказалось, что это не одно и то же — располагать грузовым пароходом, — и посылать нагруженное ворванью судно в Северное море за углем! «Фиа» не получала дохода

от каждого рейса, не делала своих восьми миль всегда от успеха к успеху. Но дело было не только в убытках; «Фиа» в некоторых случаях становилась для своего владельца тяжким крестом. Вот среди экипажа брожение, жалобы на пищу, на помещение; консул не понимает, как одна и та же пища могла сделаться хуже, чем в прошлые годы! Он сидит и злится.

Кроме того, до него дошла невероятная весть: именно, что даже купец Давидсен сделался консулом — правда, простым консулом, но все-таки консулом! Стало быть, этому конца не будет? Давидсен переселился сюда из соседнего городка лет двадцать тому назад, и его все еще считают пришельцем прирожденные граждане. Давидсен, который сам столько раз стоял за прилавком и заворачивал товары; который продавал детям маленькие удочки, а на корабли толстый канат и толстый брезент, — словом, простой товар, не мануфактуру и не блестящий скобяной товар! У Ионсена с пристани приказчики ходили в воротничках, у Давидсена они ходили в безрукавках и ворочали бунтами канатов! Правда, это не беда, работа никого не позорит; но есть ведь еще консульская служба и представительство!

Кончались ли этим огорчения консула? Было еще одно: были неприятности с Оливером, кладовщиком. Каким образом? Он сплутовал с весами. К своей выгоде? Ничего подобного, к выгоде консула! Это еще ничего, верная служба никого не позорит, но нельзя же плутовать! Дело было так, что столяр Маттис пришел с запиской на полцентнера крупчатки; и когда Оливер взвешивал муку, он на минутку позабыл свой жирный мизинец на весах. Должно быть, этот мизинец весил-таки малую толику, ибо Маттиса взяли сомнения, и он отправился к Грюн-Ольсену перевесить муку. Так оно и вышло, как он думал: значительный недовес!

Маттис учинил самый безумный поступок, какой можно было придумать: он вышел из дому с мешком муки, а ему нужно было «забыть» свой кошелек в лавке, и этим путем заманить с собой кого-нибудь из лавочных мальчиков в склад для проверки весов. Но Маттис был человек прямой и глупый, он шел следом за своим длинным носом и тотчас же начал греметь и метать молнии, — что хорошего могло из этого выйти? Он бегал по городу от весов к весам, заставлял взвешивать свой мешок с мукой, и не забывал при этом рассказать всю историю сызнава. В заключение он опять явился к Ионсену на пристань, весь вымазанный

в муке, и сверх всякой меры разъяренный. Случись же так, что Олав с лужайки как раз тогда находился в лавке, а Олав был в тот день в особенном состоянии: налит водкой до краев! В начале он держал себя тупо и рассеянно, но когда он выслушал историю столяра, к нему вдруг вернулась самоуверенность, и он громко проговорил: — Что такое? Фальшивый вес?

— Фальшивый вес! — промолвил столяр. — Это наверняка.

Посыльный при лавке и главный приказчик Бернтсен зашипели на них: — Не болтайте таких вещей, консул в конторе!

— Я бы очень хотел, чтобы он вышел сюда, — промолвил Маттис.

— Подавай сюда консула! — заорал Олав.

— Слышь, Олав, заткни глотку и уходи! — сказал приказчик. — Пойдем, Маттис, со мною.

Они пошли на чердак склада.

Оливер принял их прилично, он оказался крайне терпимым к разъяренному столяру. Какие у них обоих причины ссориться и затевать истории между собою? Да ведь это смеху подобно!

Неужели Маттис думает, что он, Оливер, имеет против него зуб за что-нибудь? Да это, право же, смешно! Если случилось что-нибудь неладно, то ведь случилось по недосмотру, это ведь с каждым может случиться!

— Я не в первый раз это замечаю, — сказал Маттис.

Оливер покосился на него и ответил:

— Я бы тебе посоветовал быть осмотрительнее в словах. Ты должен привести свидетелей!

Приказчик Бернтсен перевешивает муку, добавляет недостающее количество и отпускает хорошим весом: — Вот как ты должен вешать Маттису! — говорит он и прекращает спор. — Нехорошо, Маттис, что ты бегал по всему городу с мешком, ведь ты бы здесь получил, что тебе причитается!

— Да, но я разозлился потому, что это не в первый раз!

— Вы слышите, Бернтсен? — говорит Оливер, призывая свидетеля.

Но Бернтсен старый купец и любит действовать умненько; столяр Маттис вовсе неплохой покупатель, и к тому же хороший мастер, с подмастерьем и учеником. У него свой дом, но не было семьи, у него была только Марен Сальт, это так; но Маттис не первый встречный, а теперь его выбрали в коммунальное управление. — Ну, ты все-таки будь осторожен, Оливер! — предостерегающе

заметил Бернтсен.— Насколько я понимаю, вина твоя; и я думаю, что и консул сказал бы тебе, что с весами плохи игрушки!

Тем кончилось это дело.

Консулу передали всю историю; сам он, конечно, стоял выше всяких подозрений; но история его огорчила. Так вот как: люди бегают по городу и проверяют его весы! Мало того: находятся еще такие, что смеют околачиваться в его лавке и кричать: — Подать сюда консула! — Это в том же духе, как матросы с «Фии», что жалуются на пищу! Нет, старый добрый дух испарился на земле! Все теперь нивелируется, границы стираются, к нему начинают приставать, начинают вмешиваться в его дела, какой-нибудь доктор вообразил, что может свободно разглагольствовать в его присутствии! И тут еще эти консулы, вырастающие на каждой улице!

Таким образом, доктору следовало найти более удобный момент, чем именно этот, чтобы испытывать долготерпение консула.

В дверь конторы стучатся, и так как консул не отвечает, то доктор кричит: — Войдите! — И это делает доктор! Всего несколько лет тому назад консул в данном случае сказал бы: «Стоп!» В прежнее время он не был так беззащитен, теперь же он каким-то таинственным образом укрощен. Чего он может бояться? Знает ли о нем что-нибудь доктор, этот уездный лекарь и шарлатан, есть ли у него оружие против двойного консула?

Входит аптекарь. Это маленький, нервный человек, бледный, почти безбородый, человек зажиточный, женатый, но производящий впечатление холостяка и бездетный; платье его в пятнах, и пахнет от него лекарствами и табаком.

— Добрый день! — говорит он.

— Вам так кажется! — говорит доктор.— А мне кажется — тяжелый день.

Аптекарь здоровается с консулом за руку и потом благодарит. Затем он протягивает руку доктору и говорит: — Позвольте и с вами поздороваться!

— Вы думаете, что мне это не нравится?

Такова была у этого человека манера шутить, и он не взял руки аптекаря!..

— Сигарку, аптекарь! — предлагает консул. После чего он берет какую-то большую бумагу со стола, прочитывает, раскладывает по страницам и опять кладет на стол.

— Вы заняты, я вижу,— говорит аптекарь.— Я сейчас уйду.

— Эти консульства вот где у меня сидят! — говорит консул.

— Стало быть, это не всегда удовольствие?

— Я как раз сижу над составлением докладов моим правительствам, это в сущности совсем небольшая работа.

Возможно, что консул сказал это просто в шутку, но вид у него был очень достойный, и казалось, что его почетные посты очень обременительны.

— Вашим правительствам? — спрашивает доктор.— Это удивительно; у вас значит, несколько правительств? У меня только одно правительство: норвежское.

Во всяком случае, консул мог поступить так: он пропускает мимо ушей слова доктора, и спрашивает аптекаря, не нужно ли ему вина, мадеры, год такой-то.

— А какова цена? Нет, оно слишком дорого для аптеки. Но я могу взять пятьдесят бутылок для дома.

— Мне он не предлагает,— думает про себя доктор.— Торгаш! Еврей! — прибавил он про себя.— Где сейчас Шельдруп? — спрашивает он вслух.

— В Гавре. Почему вы об этом спрашиваете?

— Когда он возвращается?

— Этого я не знаю. Он еще пробудет там некоторое время.

— Уже девять месяцев, как он не приезжал?

Консул припоминает и говорит: — Да, это так.

— Это так,— говорит и доктор. Потом он без стеснения зевает и встает, чтобы стряхнуть сигарный пепел на чистую каминную доску.

— Будьте любезны, вот пепельница! — говорит консул.

— Ах, простите! — Доктор идет к окну и смотрит на улицу. Насколько прочно и велико его превосходство, как свободно он поворачивается спиной к двойному консульству!

— Не могу ли я вам чем-нибудь служить нынче, господа? — спрашивает консул.

Аптекарь с благодарностью отказывается и восклицает: — Идемте же, доктор! Не будем же больше задерживать консула!

— Я стою и смотрю на детей,— говорит доктор, не торопясь уходить и не оборачиваясь.— Маленькая девочка с карими глазами,— это, наверное, одна из Оливеровых.— Он оборачивается и говорит, обращаясь прямо к аптека-

рю: — Не кажется ли вам, что в нашем городке слишком много появилось кареглазых детей?

Аптекарь уклончиво отвечает: — Вот как? Я этого не знаю.

— А вчера появился новый экземпляр!

Аптекарь отвечает все так же уклончиво, но нервно и озадаченно: — Новый экземпляр? Что вы говорите!

— У Генриксена на верфи. То есть, у фру Генриксен. Это номер второй кареглазых у нее...

Аптекарь привстает, чтобы заставить доктора продолжать разговор: — Что вы говорите! Ведь это жезлы Иакова. Неправда ли, там была какая-то история с черными и белыми жезлами?

Доктор застегивает пальто и с полным хладнокровием собирается уходить. — Что будут говорить, спрашиваете вы? Будут просто молчать! Никакого чуда в этом нет, ни в одном, ни в другом доме, это просто природа. Эти голубоглазые супруги получают темноглазых детей от темноглазого отца, кто бы он там ни был!

— Не говорите!..

— Не говорить? И это не атавистический случай. Я мало-помалу расследовал случаи, в роду нет карих глаз, по крайней мере, в значительном ряду поколений.

— Да ведь это дьявольщина, с позволения сказать!

Консул принимает в беседе участие тем, что время от времени посмеивается и говорит:

— Гм... — Вообще же он спокойно стоит на месте, дожидаясь ухода гостей.

— Ну, извините, консул! — прощается наконец доктор. — Впрочем, это скучно; если бы у вас была вся эта мадера, аптекарь, я бы пошел с вами и отведал ее.

— Я отошлю ее вечером, — говорит консул.

В дверях доктор говорит: — Подумайте же насчет фрекен Фии, консул! Сделаем ее здоровой и сильной. У меня особенная симпатия к этой очаровательной даме!

Консул опять сидит в одиночестве и смотрит в свои большие листы бумаги, подбирает их по страницам и опять раскладывает. Зачем приходили эти господа? Что это; ему кажется уже подозрительной их случайная встреча здесь? Не сговорились ли они заранее об этом маневре против двойного консула?

Лицо его все более делается серьезным. Когда аптекарь постучался в дверь, это доктор ему крикнул «войдите», чтобы его достойный товарищ не вздумал уйти. Комплот! Заговор!..

Консул вдруг отворяет дверь в лавку и говорит Бернтсену, своей правой руке: — Выпишите счет доктору, он просил об этом!

Но, сделав это, консул Ионсен все еще не успокаивается, в голове у него проносятся несуразные мысли. Он уже не может, как в прежнее время, легко ко всему относиться; навязчивые задние мысли поселяются в его мозгу и убивают в нем охоту работать. Доклады подождут, да Бернтсен может, впрочем, и их написать на бумаге.

Он подходит к зеркалу, надевает шляпу, старается согнать с лица озабоченное выражение и отправляется на почту с теми письмами, которые готовы.

ГЛАВА XIII

Бросая контору в разгар рабочего дня, он поддается, конечно, своему угнетенному состоянию, он хочет отвлечься. Он решил сам отнести свои письма на почту — конечно, это чистый предлог, этим занимается обычно кто-нибудь из его приказчиков. Предлог и то, что на почте он внимательно начинает штудировать висящие на стене карты судовых маршрутов,— это он дает персоналу внутреннего отделения заметить, что на почту зашел сам консул Ионсен собственной персоной.

Почтмейстер выходит с удивленным и вопрошающим взглядом: чем он может служить консулу?

Спасибо, ничем. А впрочем, если у почтмейстера есть время порыться в книгах насчет одного заказного письма, в которое был вложен чек... консул не получил никакого ответа на это письмо!

Они входят во внутреннее отделение почты, и дело немедленно выясняется; потом они садятся и продолжают беседу. Здесь прохладно, пахнет сургучом и штемпельной краской, по стенам развешены раскрашенные чертежи храмов и жилых домов, необыкновенных башен, порталов, фризов, резных построек, прекрасных дверей, каминов,— все вольные фантазии. Перед окном, в саду, несколько густых кустов сирени.

Консул сидит на деревянном стуле и слушает удивительный разговор, так непохожий на тот, который ему приходится слышать ежедневно. Разве он для этого пришел? Обыкновенно почтмейстер всем докучает до смерти, доктор прячется от него: — Бог не даровал мне терпения слушать всю эту простоту! — говаривал доктор.

Консул уселся на этот стул — должно быть он утомлен или находится в отчаянии.

О, какой болтун этот почтмейстер, благонамеренный, но скучный и простоватый, ни иотой не лучше кузнеца Карлсена, с той разницей, что кузнец почти никогда не болтает и не докучает ближним, а просто идиотски доволен собой. Доволен — в нашем мире! Оба, пожалуй, всего больше смахивали на баб у колодца, — о, они и были бабы у колодца, точь в точь; только что судачат они на религиозные темы, а душа их полна настоящей бабьей простоватости. Они выработали себе жизнепонимание, которое их и поддерживало; почтмейстер пришел к своей теории философским путем. Иногда, правда, житейские события сильно ударили их по губам, но это, как будто, не меняло их точки зрения — вот, например, у кузнеца Карлсена не дети, а какие-то выродки, а он все же остается при своих религиозных взглядах и продолжает благодарить бога за зло и добро! Не от Израиля ли вера? Может быть, они оба и правы, думали обыватели; может быть, они образец добродетели, но город от этого не менялся, город оставался маленьким кишачим муравейником; и это было лучшее доказательство, что сама-то жизнь шла своим ходом, несмотря на все теории, и больше всего несмотря — на религиозные. Разве не безнадежна была позиция этих двух городских праведников? Что получилось из того, что они откололись от ближних?

У почтмейстера, должно быть, в этот день случилось что-нибудь приятное; бог его знает, ведь могло случиться; во всяком случае, он в великолепном настроении. Правда, его нетрудно привести в восторг, он очень нетребовательный человек. От такого пустяка, что его старший сын недавно выдержал экзамен на штурмана и тотчас же получил место, отец ходил счастливый, как дурак! Разве штурманское место такой уже важный пост? — Он глубокий парень! — говорит почтмейстер, — какие письма он пишет нам! Впрочем, я затруднился бы сказать, кто из наших детей лучше — вот, один занят земледельческим трудом. Он еще урезывает из своего заработка и посылает сестрам деньги на модные башмаки. Вот это мужчина! Я не решаюсь уже здороваться с ним за руку: так страшно он стискивает мои пальцы, ха-ха, как медведь! А посмотрели бы вы, как он развязывает веревочные узлы, у него ногти крепкие, как клещи, иногда он беретса зубами. Вот это зубы! — А что, Шельдруп все еще в Гавре?

— Да, — отвечает консул.

— Я это вижу по письмам, доктор вчера писал ему.

— Доктор писал ему?

— Да. А как хороша ваша Фия, хорошенькая и обходительная! Однажды моя жена стояла у окна и любовалась ею, она позвала меня смотреть. Виноват, вы что-то хотели сказать?

— Нет, нет, ничего.

— Вчера ранним утром я вышел далеко за город,— вы, консул, ехали тогда на свою дачу. Вы ведь знаете, что дорога сразу переходит в лес, словно кончается царство земли, прямо в самый лес, и начинается новый мир, ласковый и необыкновенный, полный безмолвия, но в то же время и массы чуть слышных звуков. Я сошел с дороги, чтобы не встретиться с кем-нибудь, и углубился в сторону — и что же: в чаще сидит человек! Он увидел меня, так что я уж не мог миновать его; он сидел и играл на губной гармонике. Странный человек, рабочий, бродяга! Я долго беседовал с ним. Он не очень был возмущен, речь его вертелась около еды и денег, но он сидел тут и играл на губной гармонике, бедняга.— Зачем ты сидишь здесь? — спросил я.— Разве это запрещено? — ответил он вопросом.— Не то чтобы...— Так какое же тебе дело? — ответил он.— Никакого. Но ты продолжай играть! — А что я получу за это? — спросил он.— Несколько грошей. Я почтмейстер этого города, и через мои руки проходит много денег, но они не мои.— О, конечно, вы припрятаваете письмецо-другое! — говорит он.— Как же я могу это сделать? Ведь меня сейчас же арестуют! — Нет,— отвечает он,— бары держатся друг за дружку. Это нам, беднякам, приходится расплачиваться! — Это была глупая болтовня, и я объяснил ему, что получаю жалованье, и если его хватает, то я имею все, что мне нужно. Нет, этого он никак понять не мог, ему никогда не хватает; если он зарабатывает на пару башмаков, так ему не хватает на брюки, и наоборот! У этих крестьян вечная мука,— говорил он. Когда он приходил к ним и просил хлеба, они первым делом давали ему работу, тяжелую работу, рубку дров, самую тяжелую работу, какая бывает летом! Вечером они ему давали каши и молока, без сливок, без хлеба с маслом,— без сливок, а ведь они так зажиточны, эти земляные черви! Это был один из недовольных, ленивая, темная личность! Если мы будем исходить из того, что мы, люди, подчиняемся началу эволюции, то этот человек еще не достиг развития; может быть он уже жил на земле бесчисленное множество раз, но каждый раз делал

бесконечно малый шаг по пути своего развития. И каждый раз он почти неизменным погружается опять во мрак, потом опять появляется в жизни и начинает сызнова...

— Вы думаете, что так это и происходит? — с улыбкой спрашивает консул.

— А во что ж нам верить? Не можем же мы предположить существование несправедливого первоисточника; такое предположение наталкивается на многие трудности, мы должны предполагать справедливый! И мы не можем предположить, чтобы справедливое начало заранее обрекло этого беднягу на вечную гибель. Вероятно, мы все в этом отношении поставлены одинаково и имеем одинаковые возможности, одни используют их, другие злоупотребляют ими. Работа, которую мы проделываем над собой в этой земной жизни, оказывается нам на пользу в грядущей, а если мы работаем над собой в обратном направлении, то отстаем в развитии. Вот почему мы не замечаем, к сожалению, в человеке перемен в историческое время, мы погубили свои возможности!

— Стало быть, вы верите, что мы умираем и возвращаемся на землю много раз?

— А как же нам верить иначе? Мы вновь и вновь получаем возможности! Времени у Промысла достаточно, ведь он — сама вечность, а так как мы часть Промысла, то мы никогда и не погибаем! Но важно, чтобы мы не возвращались каждый раз в одном и том же состоянии; в нашей власти каждый раз улучшать свой жребий для следующего существования.

— Так что человек получает свои сливки?..

Почтмейстер улыбается:— Такие вещи имеют значение для него только в его нынешнем состоянии. Я имею в виду его душу, его духовный облик. И тут мы подходим к тому, что имеет кой-какое значение: этот человек сидел и играл на губной гармонике! Может быть, он все-таки работал над собою в своих прежних существованиях! Он играл для меня песни и мелодии, играл великолепно, я такой игры еще не слышал! Но я имею в виду не искусство, с которым он играл, а то, что он вообще это делал, что он сидел в лесу и играл. И вот, слушайте: он рассказал о какой-то золотой арфе, которую он видел у какого-то еврея, там были струны различной толщины из различного металла — стальные, медные, латунные и серебряные, там висели маленькие шарики, которыми ветер мягко ударял по струнам. Так и играла эта золотая арфа! Странно было слышать из уст этого человека подобные слова! Нет, он

не бездействовал в своей земной жизни, он обработал в себе кусочек сада с единственным цветком. Теперь вопрос в том, позаботится ли он, чтобы расширить этот участок сада для будущей жизни!

— Вся эта теория должна ведь начать с доказательства того, что существует личная Первопричина!

— С чего вы хотите начать? Разве нет причины причин? Мы на время остановимся и допустим существование этой первопричины. Правда, этот вопрос выше наших убогих средств понимания, но у нас есть потребность в силе; за всем стоит необходимость, мы ничего положительного о ней не знаем, но она существует для нас в силу нашего тяготения к ней, и опять-таки как часть первопричины, к которой мы принадлежим. Она врождена нам, мы не хотели бы ее, если бы это не было для чего-нибудь. Кажутся ли вам эти выводы нелепыми?

— Я в этом ничего не понимаю, я просто не знаю.

— Да и я ничего не знаю, никто ничего не знает! Но у нас есть свет, никогда не погасающий. Иначе во всем был бы мрак!

— Что это за свет?

— Это *человеческая мысль*. Она может заблуждаться и терпеть поражения, но мы можем быть уверены, что она существует. Она составляет часть нашего достоинства, она от божества.

Молчание. Собеседники сидят и думают.

Консул спрашивает: — Божество — что это такое? Если бы наша человеческая мысль куда-нибудь годилась, она могла бы наконец найти истинное божество!

— Оно найдено: оно в нашем стремлении к нему!

— Но люди меняют ведь своих богов, и вместо одних берут других. Греки меняли, египтяне меняли, мы северяне, тоже меняли. В настоящее время мы пишем имена наших старых богов на наших рыбацких судах.

— Извините, — говорит почтмейстер, — вы говорите о богах, я говорю о божестве! Вы говорите о богословии.

Новое молчание.

В сущности это был прескучный разговор, и консул ушел бы прочь; но ему некуда было сейчас пойти, меньше всего ему хотелось домой. И вот оно, это чудо с почтмейстером, заключающееся в том, что он изо дня в день, из года в год носится со своей удовлетворенностью. А кто еще был доволен? Старые и молодые, большие и малые, все в вечной тревоге и спешке, на каждом свое время, за единственным почти исключением неувдавшегося

академика и почтмейстера мелкого городишки. Что же он, глупый человек, блаженненький? Может быть! Но этим вы еще от него не отделались, о, нет! Он, например, не всегда был уступчив и кроток, консул знает, что он умел постоять за себя в свое время. Он хочет мира, но когда ему не дают его, он берет его! Нет, он не даст наступить на себя! Неприятны в нем были его философские рассуждения, они бесконечно сплетались одни с другими, и для людей, которые понимали в этом толк, он был пугалом.

И зачем ему не держать язык на привязи? Несомненно потому, что он думает, что у него есть что сказать. Но в своем городе он был одинок. В доме у него было так тихо, жена его по собственной инициативе почти не раскрывала рта, она отвечала только, когда ее спрашивали, и занималась своими хозяйственными делами. В мозгу почтмейстера рождались разные мысли, он бормотал, разговаривал сам с собою, но это его не всегда удовлетворяло; иногда какому-нибудь неповинному обывателю приходилось расплачиваться и выслушивать рацеи, столь далекие от цен на лес и на судовые фрахты!

Если бы консул Ионсен находился в своем обычном настроении, если бы именно теперь он не испытывал какой-то тревоги и не искал умиротворения у посторонних, он бы ушел от почтмейстера. И он продолжал сидеть здесь. Он делал вид, что ему в сущности некогда, но что он только отдает дань вежливости — хорошему человеку; он посматривал на часы, раскрыл вдруг свой бумажник и заглянул в него: не забыл ли он какого-нибудь письма? Наконец, он роняет такую фразу:— Ах, эта человеческая мысль, которая ищет и ищет, и все не находит! Это не очень утешительно, почтмейстер! Или как вы думаете?

— Это же единственное, в чем мы уверены! Свет, который горит и гаснет вместе с мировую жизнью! В сущности, это много значит для нас. Как действует этот свет, какой мрак он разгоняет — это другой вопрос: если мы кружимся в бесконечном хороводе заблуждений, то, может быть, это и есть движение, жизнь! Гладкий бег вперед совершался бы без трения и, может быть, парализовал бы движение. Если бы это было полезно в каком-нибудь отношении, мы должны были бы преклонить колени перед человеческой мыслью, перед этим светом; да, будь мы религиозны, будь мы милосердны к себе, мы благоговейно признали бы человеческую мысль! Но мы слишком рассудительны, мы не склоняем головы. Мы

слишком много изучаем земной механики! Как мы ищем и ищем, и не находим? — говорите вы. В этом я с вами не согласен! Я могу согласиться, что мы не находим; но что мы ищем — нет. Но зачем нам искать, если мы не находим? Да потому, что самое искание есть движение к цели! Но мы не ищем, ищут немногие, мы вместо этого ходим и поучаем, мы упражняем наш разум. Как это бесплодно, как это убого! Посмотрите на этих разумников; они только изучили свое, они это знают, это работа школы, это учеба, искусство запоминания!

Консул улыбается: — Что касается меня, то я абсолютно неучен. То есть, мне приходилось изучать другое, и я даже этого еще не изучил!

— Вот как! Разве мы не достаточно способны, по-земному способны? Ну, конечно же! Это не то, в чем эти люди отстали. Это нечто такое, что мы всегда завоевывали на протяжении всей исторической эпохи и что мы довели до опасной высоты развития. Но мы забываем склонять голову. Теперь мы сели на мель, и спасение наше заключается не в одном приобретении внешних сноровок, но в самоуглублении, в размышлении!

— Но ведь не можем же мы все сделаться философами!

— Так же мало, как мы все могли бы сделаться односторонне механически учеными. Но именно это все и ценят! Это стало высшей целью! В последние столетия ничто не пользуется таким уважением, как культура учености; высший класс заразил низшие классы этим уважением, так что все и каждый жаждут причаститься к ней. Какое огромное значение получила во всем мире механика чтения и письма! Усвоить ее — не позор, обладать ею — благословение! Ни один из великих основателей религии не практиковал этого искусства; но в настоящее время оно равно необходимо ребенку и старцу! Никто не считает нужным склонить голову в раздумьи, люди дочитались и дописались до того содержания мысли, какое нужно современному человеку. Оно как-то благороднее читать и писать, чем делать что-нибудь руками, говорит высший класс! Низший класс прислушивается к этому. — Мой сын не будет обрабатывать земли, которою живет каждое дыхание в мире, он будет жить другой работой! — говорит высший класс. И низший класс слушается. И вот в один прекрасный день раздался рев, рев массы, масса сама в достаточной степени изучила навыки высшего класса, она умеет читать и писать, подавайте нам мирские блага, они наши, к черту работу над собою для

грядущего бытия, от этой работы ведь избавил себя высший класс!

— Думаете вы, было бы лучше, если бы меньше читать и писать было лишь достоянием немногих?

— Это не новая мысль! Но лучше всего было бы, если бы удалось искоренить уважение ко всей этой внешности, чтобы все классы людей утратили веру и суеверное преклонение перед механической ученостью! Утверждают, что рев прекратится, когда учености будет больше, и потому развивают еще больше искусств и еще большую ловкость в искусствах. И головы все с большей пустотой и легкостью устремляются ввысь, и ни одна тяжкая мысль не клонит их долу! Нет, не этот путь ведет нас вперед, даже по земному разумению он упирается в глухую стену! Когда мои дети были маленькие, я время от времени перечитывал их учебники; должен признаться, что мне известна лишь ничтожная часть содержащихся в них сведений. Сделайте милость, давайте им еще больше, не жалеете для них, пусть они пресытятся знаниями! Но рев останется, и рев будет становиться все громче! Сливки! Все сливки, побольше, все это наше! Грядущее существование! Мы читаем ведь в книгах, что грядущее существование — мечта набожных женщин, нас она не касается.— О, как мало у них жалости к себе!— говорит почтмейстер и качает головой.— У них есть этот крохотный клочок сада с цветком, но в грядущую жизнь они войдут, может быть, совершенно при других условиях,— и с неизменным душевным складом!

В этот момент консул пытается напустить на себя еще более скучающий вид, и делает даже большее; он устремляет глаза на развешенные по стенам чертежи и вдруг останавливает их на одном чертеже, поднимается, надевает пенсне и рассматривает красивую арку. Ибо консул Ионсен желает, чтобы и к нему люди имели респект, к его — консула Ионсена — мнениям; он не может же в одно мгновение обратиться в эту веру во многие земные перевоплощения, хотя это дьявольски вкусное и заманчивое учение! Он мог бы, например, вернуться на землю и поселиться на ней, победить всех врагов, которые его растревожили, давать званые вечера, забавляться с девушками, распоряжаться пароходами, наживать деньги, еще раз сделаться львом приморского городка, лучшего ему и не надо! И вдруг ему вспоминается досадное добавление к теории почтмейстера, согласно которому обратно можно вернуться при совершенно других

земных условиях; и консул Ионсен опять становится в тупик, не видя выхода! Вернуться на землю каким-нибудь матросом, бродягой? Вернуться ничем, после того, как побывал кое-чем? Он опять садится на стул и спешит извиниться за свою невнимательность: — Какой это чудесный портал, настоящие райские врата! Что я хотел сказать: мы не ищем, говорите вы? Но многие думают, что нашли. Иные считают вероятным, что когда человек умирает, то от него уже ничего не остается!

Почтмейстер, всегда одинаково расположенный, всегда готовый, говорит: — За исключением этого последнего крика, крика перед мраком, который открывается. Для чего же мы жили на земле. Для бесцельного движения! Зачем? К чему?

Но консул, испугавшийся длинной рацеи насчет еще этого учения, которое мало нравится ему, поспешно говорит: — Христиане веруют в блаженство после смерти!

— Ну, да,— отвечает почтмейстер.— Само по себе блаженство не плохая выдумка, скольких земножителей она утешала ночами! Но разве это блаженство можно получить, не заслужив? Ведь в конце концов его получают немногие; что же делать остальным? Христианство никого не освобождает от работы над собою, напротив, оно непреклонно в своих требованиях: даром и незаслуженно никто не получит блаженства, говорит оно! Таково требование закона. Требование евангелия в своем роде еще жесточе: нужно верить в кровавую искупительную политику Первопричины, верить слепо, не рассуждая. «Я так счастлива каждый сочельник, ведь в эту пору родился Христос!» Не все умеют петь. Но каждый может работать над собою в пределах своих способностей. В этом нет ничего нелепого!

Тут консул перебивает его: — Я вот сижу и думаю, что с вашей точки зрения я делаю дурное дело, помогая мальчику учиться.

— Это как посмотреть,— отвечает почтмейстер.— Мальчик, может быть, в этот раз был плохо вооружен и не мог бы подняться на более высокую ступень. Этого мы не знаем! Но после вашего вмешательства ему, во всяком случае, не станет легче склонять голову. Этому вы, вероятно, и сами не верите! Ведь ваше намерение именно в том и заключалось, чтобы выделить этого ребенка из массы и поднять его голову вверх! Теперь он сидит на своей скамье и будет учиться, пока не выучится; потом он встанет, блестящий и этически пустой, и вступит в

жизнь и будет другим передавать ту же пустоту. Кто же, скажите, сможет нам преподать то, что важно? Только мы сами! Больше никто! Другие могут нас только научить ничего не стоящей механике, пригодной лишь для земных надобностей. Это хорошо видно на массе: теперь она усвоила механику почти так же хорошо, как высший класс в прежние времена — это так; но ее духовная жизнь остановилась. Рев! Но ведь это только обозначение личного земного корыстолюбия! Масса ничего не делает для внутреннего благополучия ближних, она не выработала в себе никаких этических чувствований. Она претендует на обладание социальным инстинктом, но вовсе не имеет его. Она будет реветь и ниспровергать, и когда дойдет до борьбы, то ее же собственные вожаки не смогут удержать ее. Все рухнет — пусть рухнет!

Консул Йонсен кивает головой. Теперь ему легче следить за мыслью собеседника, это уже не этика и возвышенные благоглупости, последние слова относятся уже к консервативной политике, к делам; почтмейстер вовсе не так уж глуп! Консул говорит, оправдываясь: — Мне так усердно рекомендовали мальчика школьный заведующий и другие!

— Да, говорит почтмейстер, — возьмите только мальчика и отдавайте его во все высшие и высшие школы, и совершенствуйте его во всех внешних сноровках! Он будет приезжать, радовать своих близких и еще глубже погружать их в духовную немощь. И напротив, он не будет заглушать их рева, отнюдь нет, и еще больше отвратит их от самоуглубления! Но, может быть, он именно для этого только и годится, и ни для чего больше? Может быть, он в ряду прежних своих земных существований вел себя так, что не мог подняться выше в этом смысле? Поэтому провидению приходится ждать его, и его подвигов, пока не наступит перемена — терпеливому провидению, у которого достаточно времени, целая вечность!

Опять пошло в сторону, и консул хочет положить этому конец. Собственно говоря, зачем он сюда пришел? Он пришел из-за случайной тревоги; не для грядущей жизни, а для настоящей! Немножко политики развлекло бы его, он ведь был крупный столп общества, который завистники решили свалить, которого обезьянничают разные выскочки, которому матросы «Фии» опять, вот, наделали неприятностей и задали работу — и какое средство ему пустить в ход против всего этого?

Работу над собой? Почтмейстер просто дурак!

— Да, да,— говорит консул и встает,— все это сокрыто от нас, и в этой жизни, и в будущей, особенно в будущей. Если бы мы знали о ней что-нибудь верное, то уж конечно, больше готовились бы к ней теперь!

— Нам простительно,— говорит с улыбкой почтмейстер,— проявлять в сей юдоли немножко земного любопытства! Но мироправитель имеет достаточные основания скрывать от нас то, что в особенности касается нашего прежнего бытия. Вероятно, это существование так омрачено злодеяниями, что воспоминание о них подавило бы, уничтожило бы нас. Это весьма возможно! Нас, стало быть, поощряет надежда, что мы не так уже скверно вели себя!

— Но в таком случае нужно ли было так жалко вооружать нас с самого начала?

— Если исходить из того, что жизнь заключается в движении ради цели, то будет нелогично предполагать, что мы безнадежно поставлены с самого начала. Стало быть, это не так. Но — как вы говорите — мы все-таки вооружены,— может быть, жалко; нам нечем начинать долгого бега. Но если мы сейчас так полны дряхлости, то в этом мы сами виноваты: мы зарыли наши таланты.

— Да-да-да-да! — прерывает его доктор.— Я хочу сказать, что если бы мы наверное знали, что ожидает нас в будущей жизни, то это побуждало бы нас исправляться в настоящей!

— Как бы только это не сделало нас хуже, господин консул; и так уже скверно! Думаете ли вы, что люди стали бы запасаться добродетелью, если бы достоверно знали, что этого от них не очень требуют, и главное, что торопиться некуда? Человек, скорей, будет беспутничать, будет грешить в кредит, грешить напропалую, и отбросит себя на много существований назад! Работать над собой будет еще трудней, чем теперь, и еще легче будет опуститься! В следующей жизни, пожалуй, придется начинать с самого дна. Все пропало, не было никакого сада, никаких цветов, но движение было опять...

Когда консул Ионсен шел обратно в свою контору, то он бежал от опасности: он боялся, что его заговорят до смерти.— Богословие! — негодовал почтмейстер; но ведь его учение было то же богословие! Консул злился на себя за этот визит, ведь он не Никодим, приходящий к учителю по ночам; он вышел, чтобы рассеяться, а не для того, чтобы обращаться в чью-нибудь веру. Единственный реальный результат, с которым он вернулся, заключался в известии, что доктор писал Шельдрупу в Гавр! О чем?

Вероятно, сплетни, гадости, интриги, сообщение о визите к какой-нибудь роженице на верфи за пять крон — черт его побери, этого доктора!

Консул не забыл отдать своей правой руке Бернтсену распоряжение отправить аптекарю пятьдесят бутылок мадеры. И вдруг он опять вспомнил о почтмейстере — боже мой, что только должна терпеть жена этого человека от его болтовни! Что, если он пошлет и почтмейстеру пятьдесят бутылок мадеры в виде подарка? Но они вернутся обратно с посылным! Без сомнения, вино вернется обратно с посылными; и консул улыбается по адресу сказочно нетребовательных людей. Работа над собою, — каким это образом? Видел ли кто-нибудь, чтобы провидение благодарило за нее? Вот у нас кузнец Карлсен в городе, человек богобоязненный, он живет смиренно и трудится, ничего дурного не делает, никого не заговаривает до смерти болтовней насчет земных воплощений, — и его преследуют неудачи, домашние заботы, выродки-дети: один из его мальчиков наверное будет разбойником; что ж, это справедливо? Кузнец Карлсен имеет брата, Карлсена из полиции, старого плута, лисицу, с состоятельной женой, у которой есть пианино, с сыном, служащим в церковном департаменте, и дочью в шрейдеровской миссии — все это, быть может, потому, что Карлсен-полицейский не работал над собою.

Будем же работать для себя!

ГЛАВА XIV

Генриксен с верфи верил богу, что жена перенесет и на сей раз, хотя она была очень больна. Надежда оказалась напрасной. Известие пришло к нему перед тем, как он собирался домой к обеду; он стоял среди своей работы и обколачивал болт, он не кончил дела, но бросил молоток и крикнул на бегу: — Ей стало хуже? — Да, она лежит неподвижно!

Теперь она лежит неподвижно. Утром доктор ушел от нее в большой надежде; после обеда послали за пастором, но он опоздал.

Вот как бывает на свете!

Встал вопрос о похоронах, о поминках для провожающих, о цветах, траурных костюмах, о спуске флага до половины. Генриксену вызвались помогать и Лидия рыбака Иоргена, и Оливерова Петра; но он все-таки вынужден

был прибегнуть к крепким напиткам, чтобы выдержать все это. Он плакал много, и по ночам приходил в полное отчаяние. Генриксена особенно мучило то, что жена не хотела посылать за ним во все это страшное утро, когда она лежала и умирала; она щадила его, она была всегда такая добрая женщина.— Но позовите пастора! — прошептала она. И он тоже не поспел вовремя!

И вот она лежит, скошенная под корень в середине своего жизненного пути, в цвете здоровья и молодости, каких-нибудь тридцати с небольшим лет. Это было слишком больно; и хотя Генриксены были простые люди, пробившиеся собственным трудом, все именитые лица города хотели проводить ее к месту упокоения. Они хотели этого! Немного противилась только фру Ионсен, жена консула: — Мы не были ведь у купца Давидсена, когда он сделался консулом! — говорила она.— Да, но не его ведь хоронят! — отвечал консул.— С этими Генриксенами мы ведь не водимся,— возражала она;— зачем же мы будем провожать их на кладбище? — Чтобы не было пересудов! — отвечал Ионсен. Супруга уступила, но утверждала потом, что с ее стороны это было очень мило. Бедная фру Ионсен, она вообще двигалась как можно меньше, и в последние два года заметно отяжелела; она вообще-то не была создана для телесных упражнений, о нет! Консул, напротив, оставался при том же умеренном брюшке и медленно седеющих и выпадающих волосах; он шел в процессии в цилиндре, выпятив грудь.

Эта большая процессия немножко утешила Генриксена; он лучезарнее, чем, может быть, следовало, кивнул супругам Ионсенам и докторской чете, и вообще всем, а своих маленьких девочек он научил благодарно склонять головку. Рабочие с верфи несли гроб, а за ним следовал весь город; на каждом шесте флаг был траурно приспущен, церковные колокола глухо гудели. Даже Олав с лужайки был в процессии, и он каждому объяснял почему. Правда, ему оторвало руку на этой проклятой верфи,— но фру Генриксен всегда была хорошей женщиной во всех смыслах, дьявольски хороший человек, честь ее памяти! Нет ли у тебя табачку?..

А там, у колодца, стоят еще несколько женщин, спрятав руки под передники, и созерцают процессию и потихоньку критикуют все эти цветочные украшения и великолепие. Боже милостивый, там и Олав с лужайки, и стыда на него нет! Он, конечно, знает, что делает; там будет что выпить и закусить, вот за чем он погнался, его синий нос

зачуял это издалека! Да, и Генриксен это сделает, угостит на славу, ведь он не сквалыжник, рабочим у него привольно, и все жители города, кому только угодно, могут идти к длинному столу, расставленному в его саду!

И Оливер ковыляет в процессии. Он не пьет и ему не нужно пирога; если ему нравятся сласти и лакомства, так он их сам покупает себе. Но Оливер пошел потому, что все лучшие люди города пошли. Все равно ведь в складе не было работы все утро; клиентов как ветром сдуло; Оливер почистил свое платье, посмотрелся в зеркало, запер дверь и пошел на похороны.

Процессия, в которой приняли участие четыре консула и весь город,— дело не совсем обыкновенное, и даже шведский бриг, выгружавший мучные товары для Грюн-Ольсена, приспустил свой флаг до половины мачты.

Это он мог без труда сделать, грузчики разошлись, выгрузка приостановилась, набережная опустела. Впрочем, на этом бриге был больной; послали за доктором, но доктор не мог прибыть до конца похорон; но потом он не будет медлить ни минуты.

Доктор стоит и видит с кладбища, что бриг приспустил флаг, и его гложет мысль: больной матрос, пожалуй, умер! Ему так не повезло с фру Генриксен; он напуган, и, улучив удобный момент, он шепчет Генриксену извинение и оставляет траурную процессию.

Он прокрадывается прямо к пристани Грюн-Ольсена и идет на борт брига. Здесь все кажется вымершим; но наконец он находит человека, лежащего в матросской каюте, и идет к нему.

— Я доктор,— говорит он,— дайте-ка, я пощупаю ваш пульс!

Швед протягивает ему руку.

— Покажите язык!

Швед разинул рот.

— Есть вы в состоянии?

Да, это он может.

— Спите?

— Да.

Доктор выслушивает ему грудь, выстукивает ее, переворачивает больного и выстукивает ему спину:— Вы сильно потеете. Как у вас с выделениями?

Да, это у него нельзя сказать чтоб в блестящем порядке, и последние дни сильно его мучило; но теперь все прошло, делается лучше.

— Да, но этого нельзя запускать! — говорит доктор.

— Почему так?

— К этому нельзя относиться спустя рукава! Теперь я вам пропишу лекарство, которое вам принесут из аптеки.

— Зачем это? — с удивлением спрашивает человек.

— Зачем? — переспрашивает и доктор, и глупо смотрит на него.

О, этот чертов швед, безумец, проходимец, дурачил он доктора, что ли? Человек объясняет теперь в нескольких словах, что не он болен, а один из его товарищей.

— Что такое? Где же, в таком случае, больной?

— Видите ли, в сущности и он не был болен; он в городе порезался бутылкой, и у него было сильное кровотечение; но так как доктор не пришел тотчас же, то мы его сами перевязали.

Ясно было, что доктор начинает оскорбляться. Он резко вымолвил: — Где же больной, спрашиваю я, — тот, который порезался?

— Он пошел к доктору на прием, там он, наверное, сидит и ждет!

Прежде, чем оставить каюту, доктор не может удержаться от ядовитого вопроса: — Но какого же черта вы дали исследовать себя, позвольте спросить?

Но и на это у человека нашелся правдоподобнейший ответ — он произнес слово «карантин»; он думал, что исследование имеет в виду общее санитарное состояние экипажа на борту, ничего другого!

Ну, стало быть он не плут и не мистификатор, а просто добрый малый! Если бы доктор расхохотался и сказал пару веселых слов, он вынул бы жало из своего промаха; но он сделал то, что было хуже всего: он обнаружил свою досаду, он ворчал и злился, и потому это происшествие получило какое-то значение. Швед начал отвечать ему, да и неудивительно было; он засмеялся весьма непочтительно и вдруг поднялся с койки. И доктор ушел.

История эта проникла в город, в этот маленький городишко, и доктора не пощадили, сделав ядовитые мелкие добавления к истории, которая сама по себе была довольно комична. Все, кто ему завидовал, теперь торжествовали, и консул Ионсен, например, впервые за много дней смеялся от души!

— И что за человек этот доктор! — говорит консул адвокату Фредриксену. — Ведь ему вовсе не нужно расспрашивать больного, что с ним; это доктор сам должен видеть — его, с одного взгляда! Он дурак! Ну, и он нашел, что у шведа родильная горячка?

— Бог его ведает, что-то в этом роде.

— Ха-ха, вот умора! Заходите, адвокат, выпьем стаканчик за удачные выборы!

Собеседники входят в дом.

Под «удачными выборами» каждый, разумеется, понимал нечто свое, особое; но консул Ионсен не был фанатиком и в сущности даже не был политиком. Он просто был столпом общества. Фанатик и политик, это он-то? Милейший мой, несколько лет тому назад он очень легко мог быть избран в стортинг, но он отказался, у него не было времени, и кроме того, он уже был двойной консул и большой человек. Потом ветер повернул в другую сторону, в этом году он едва ли получил бы достаточное количество голосов, если бы даже захотел этого,— так усердно поработал адвокат Фредриксен в своем кругу. И теперь было все равно, кого выберут, ведь это не принесет никаких перемен для К. А. Ионсена, двойного консула. Этот Фредриксен далеко не принадлежит к кругу его людей; но пусть его выбирают, сделайте одолжение! И в таком случае было не так уж глупо угостить его стаканчиком винца; такой выскочка может ведь поднять дело о возмущении на борту «Фии»! Что ж, пожалуйста, сделайте милость, двойной консул останется тем, что он есть; да, но почему бы нет — сделайте милость, еще стаканчик вина, адвокат! Вы редкий гость у меня в доме!

О, но адвокат Фредриксен наверное не хочет быть редким гостем в этом доме, этого он не хочет! Разве он в последние два года не ходил с юношеской мечтою о том, чтобы войти членом в этот дом да породниться с ним? Это было хорошо скрыто от мира, и это не обнаружится, доколе он — ничто, просто адвокат приморского городишки; но выборы — выборы, может быть, заставят его высказаться. От них все зависело!

— Насколько я заметил, фрекен Фия вернулась домой с гостями?

— Да, разумеется! — снисходительно отвечает консул.— Тоже художники, коллеги, две штуки! Если бы у нас не так хорошо обстояло с продуктами и помещением, то пришлось бы трудненько, ха, ха!

— Это были юноши; разве они что-нибудь умеют?

— Этого я не знаю. Да, наверное! О них много говорят и пишут. И они вносят в дом много суеты.

— Вот как!

— О, они художничают во всем доме, один пишет мою жену, а другой — меня; мы сидим для них, точно аршин

проглотили. Хуже всего то, что жена позирует в полном наряде; но она так усердна, что сидит и утром, и после обеда; теперь она позирует в шелковом платье декольте. Никогда не женитесь, адвокат!

— И это говорите вы?

— А то у вас будет жена и дети, только расходы, ха-ха!

Ну, это было хвастовство, и адвокату не понравился тон хозяина. Ведь это наглость намекать, что отныне он должен ходить неженатым; зачем это? Только расходы! Адвокату пришло в голову, что консул, во всяком случае, ничего не потерял от женитьбы: ведь фру Ионсен принесла с собой солидное приданое, и с самого начала могла дать своему мужу ход. Ради чего же другого он брал Иоганну Гольм? Она была не красавица, и не светило. О, нет, г-н двойной консул, ты остался бы мелким торговцем, Ионсеном с пристани, и по сей день без твоей жены, помни это! Но именно это консул вспоминал неохотно; доктор со своей обычной язвительной манерой напомнил ему однажды об этом, и с того часа ведет свое начало вражда между ними. Фру Ионсен, напротив, никогда этого не забывала, хотя и не болтала об этом непрестанно и не терзала своего мужа напоминаниями. В прежнее время, когда она раза два поймала мужа на неосторожной возне с девушками, и хотела развестись с ним, она требовала все обратно; но так как дело не могло обойтись без ее поддержки, мужу пришлось научиться осторожности, ничего другого ему не оставалось.

Стало быть, адвокат мог бы дать хитрый совет и немножко укротить консула; но он не посмел: зачем прибегать к этому, когда он может победить мирными средствами? Поэтому он говорит: — Женись, и ты пожалеешь об этом! Но это так же, как со смертью: мы все должны пройти чрез это!

— И вы туда же, адвокат? Ну, что ж, еще не поздно, разумеется! За ваше здоровье!

Адвокат выпил и помолчал. Не слишком поздно! Он, во всяком случае, будет помоложе консула, который все еще усердно стремится к победам! Консул не понимает, как видно, что перед ним сидит человек, который может быть избран в члены стортинга, он взял слишком высокомерный тон! — Я, во всяком случае, не намерен ждать, пока станет слишком поздно, — говорит он. — Мы все должны стараться не переступить этот возраст! — Вот консул и получил...

Адвокат удалился. Пожалуйста, сделайте милость! Итак, он станет членом стортинга, членом этой кучки, собрания старейшин страны! Нет, лучше уж консулу оставаться тем, что он есть... К нему вернулись его хорошее настроение и жажда деятельности, он отослал иностранным правительствам свои доклады, обдумал свою позицию в деле матросов, подготовил энергичное выступление против доктора, настроил себя на свирепый лад, вместо прежнего трусливого, выработал в себе нечто в роде военного ража — ну, теперь будь что будет!

Разве этого мало?

И несмотря на все это, он был любезнейшим хозяином с гостями своей дочери, он занимался с ними и позировал для них, угощал их вином и пикниками в лесу, сладостями из лавки, был к ним очень внимателен и каждому высылал желтый шелковый платок, когда они слишком засиживались в саду по вечерам.

Консул очень хорошо понимал, что когда Фиа притаскивала с собой в дом гостей этого рода, то только для того, чтобы помогать им иным способом, чем прямой покупкой их картин. Она недешево обходилась ему! Он должен был оставлять за собою эти портреты своей персоны и жены, и не мог даже справляться о цене, а просто протягивал куш. Мог ли он держать себя иначе?

Впрочем, это было все равно, консул не был мелочен, напротив; и он этим гордился. В городе стало известно, чем занимаются эти молодые люди, и не только в его собственном городишке, но и в столице; в газетах сообщалось, что два молодых художника в настоящее время находятся у консула Ионсена, берегового матадора, и пишут портреты всего семейства.

— Что же это вы, пропечатываете меня в газетах? — добродушно-шутливо говорит он им.— Я не хочу скандала,— добавляет он.— А впрочем, вы здесь у меня как дома, помните это. Если узнают, что вы пишете меня и мою жену, то на меня взвалят больше налогов!

О, как он умел разговаривать с молодежью, улыбаться ей свысока и слушать о ее проделках! Ничего опасного от них ожидать не приходилось, они были славные парни, насколько он понимал; но черт их знает, можно ли им верить! Они ездили к нему на дачу и проказничали там; между прочим однажды ночью они выкрасили Воронка в серую краску. Был ли это искренний ужас или искусное притворство — во всяком случае конюх утром долгое время был как сумасшедший и пришел в себя только после того,

как получил пять крон и приказ смыть с коня акварельную краску.

А что же Фия, думала ли она об этих молодых людях, была ли она, так сказать, влюблена в них? Если это было, то в спокойной, даже изящной форме. Она обходилась с ними ласково, по-товарищески, но всегда с некоторой сдержанностью, она не забывала своего шика. Художники любили величать ее «контессой». Против этого звучного прозвища она собственно ничего не имела, это было меткое прозвище, оно шло к ней; и разве она его не заслуживала? Дочь своего отца, из уважаемого дома, художница, поэтическая женщина, талант — ну куда другим с ней равняться, если уж на то пошло! Алиса Гейберг, вот, тоже дочь консула, но без особых талантов, просто обучена хозяйничанью и повседневным обязанностям; вот, дочери Грюн-Ольсена могли бы быть славными девушками, но их портят глупые родители, желающие воспитать их по-барски. Кто еще? Две маленькие Генриксен с верфи — еще новенькие, сущие дети; да впрочем, из них никогда ничего не выйдет!

Фиа была контесса, высокая и гибкая, тонкая от природы, всегда прямая и строгая. В последние несколько лет она пристрастилась к большим шляпам и несколько кричащим краскам, но без преувеличений, ровно настолько, чтобы можно было носить. Когда она шла по улице, нарядившись художницей, то другой художник, почтмейстер, стоял тихонько у окна и любовался ею.

Нет, консул не мог себе представить, чтобы у Фии были какие-нибудь намерения, иначе он, как отец, должен был бы серьезно поговорить с нею! Эти юноши не партия для нее, один был сын уездного судьи, и в этом смысле из образованной и ученой семьи; другой был сын малыра; оба были бедняки. Он не презирал никаких общественных классов, этого о консуле Ионсене нельзя было сказать; но у него была вот эта единственная дочь, она была его любимое дитя, и он хотел как можно лучше устроить ее. Сын дельца из старинного крупного дома больше был бы ему по душе!

И потому нельзя сказать, чтобы консулу стало неприятно, когда молодые художники однажды пришли к обеденному столу и объявили, что они оба получили заказы. — И за это мы должны благодарить вас, г-н консул!

— Поздравляю! — ответил консул. — Что вы будете теперь писать?

— Портреты консула Ольсена и его фру.

— Грюн-Ольсена? — вскричала фру Ионсен.— И выдумают же люди!

За столом все смеются, и консул кротко говорит: — Заказ есть заказ; ведь ты понимаешь это, Иоганна!

— Не заказывали ли портретов Гейберг и Давидсен? — спрашивает фру.— Будет и это!

И опять все смеются.

Консул обращается к художникам и дает им краткое объяснение: в этом городе появилось так много консулов, и все младшие подражают старшим. Вот что, собственно, забавно, Иоганна! С другой же стороны, делается немного досадно, что в этом доме никто не может пошевелиться, чтобы другие не пошевелились совершенно таким же образом. Но ведь не стоит принимать этого близко к сердцу, Иоганна!

Фру и не думала принимать это близко к сердцу, это недоразумение. Если кто-нибудь смотрит на прочих консулов с улыбкой, так уж именно она!

— Что же касается Давидсена,— говорит консул,— то он человек совсем другого рода: без претензий, без образования, но и без глупостей. Он рабочий, он стоит у своего прилавка и торгует зеленым мылом. Я даже уважаю Давидсена!

— Хе-хе,— задумчиво посмеивается фру Ионсен.— Я сижу и думаю, что если я теперь позирую в шелковом платье, то что же нацепит на себя фру Ольсен, чтобы казаться еще величественнее?

Поговорили немножко о платьях, красках, просто ли золотую цепочку взять, или украшения. Важные баре прошлых веков не боялись писать себя с пышностью, в кружевах, застежках, в цепочках, драгоценных камнях; теперь позируют в сюртуке, как консул, и в сюртуке тоже может получиться хорошая живопись.

— Да,— говорит консул и поднимает свой бокал,— теперь я желаю, чтобы вы, господа, были так же гениально вдохновенны, работая над консулом Ольсеном, как над моей женой и надо мною! Мы оба страшно довольны и глубоко благодарны вам!

Выпили.

Фиа спрашивает: — Когда вы начинаете работать у Ольсенов?

Художники отвечают: — Когда угодно, хоть сейчас! — И они сообщают, что в доме есть две молодых дочки, которые тоже, вероятно, будут позировать.— Вот оно, они будут теперь еще величественнее! — опять восклицает

фру.— Теперь я знаю, что наденет фру Ольсен: она будет позировать в шелковом платье!

Опять хохот, и такой, что потолок дрожит. Фру Ионсен так редко острела, на это были свои причины и никто не ждал от нее острот. Консул тут же отметил, что она неподражаема, что она блещет остроумием.

Но с другой стороны, фру не может равнодушно сносить похвал, и портит все дело тем, что любопытствует знать: что бы такое фру Ольсен надеть на ноги — пару сапог, что ли?

Опять все смеются, но художники думают: — Хоть бы теперь замолчала!

Оказалось, что писать у консула Ольсена приятно и выгодно: художников никогда так щедро не угощали за завтраком вином и пирожными, а после обеда кофе и вафлями с кремом. К тому же тут были «девочки», две младшие дочери, такие здоровые, рослые, веселые, лакомый кусочек!

Сын маляра влюбился в обеих, но он ничего не добился, это было не так-то легко, не легко войти в милость к консулу Ольсену; если бы это был хоть сын судьи!

Девушки были славные, они, пожалуй, немножко подкрашивались и выражались несколько вычурней, чем следовало; но, черт возьми, это были молоденькие и хорошенькие девушки, всего у них было довольно, вернее сказать, у них всего было даже чересчур, особенно по части роста, по части пышных пепельных волос и слишком полных губ, их недостатком была чрезмерность; ходили они вперевалочку.

Фру Ольсен, несомненно, оклеветали; она оказалась милой дамой, трогательно, до слез, доброй, с материнской душой, с кроткими глазами и покатым лбом. Единственная ее забота были дочери, забота о том, чтобы они были образованы и счастливы; и как же она любила этих дочерей, позволяла им все, что угодно, дала им вырасти и превратиться в бесполезных и своенравных созданий, в наряжающихся кукол, в духовных ничтожеств! Фру Ольсен вовсе не хотелось, чтобы с нее писали портрет, она протестовала против этого каждый день, и хотела снять вместо себя своих дочерей, обеих на одном полотне. Консулу Ольсену каждый раз приходилось уговаривать свою жену сидеть смиренно — слышишь, Генриетта, это нужно, раз уже начато! Двойной портрет будет написан потом!

И она сидела, как жертва, в шелковом платье, с множеством колец, с часовой цепочкой, чтобы только угодить мужу.

Сам он любил пышность и блеск, как истый сын уездного мирка, как выскочка, удачливый спекулянт. Он любил напевать шансонетки, гримасничать,— и вдруг становиться важным и молчаливым на целый час и отвечать на вопросы кивком и покачиваньем головы. Он напускал на себя такой вид, словно ему приходится обдумывать большие дела.— Ссс! — говорила фру,— оставьте папу в покое, девочки! — А папа был добр и мил, и очень тщеславен; ему очень нравилось, что вокруг него все притихает, когда он сидит и думает о больших делах.

— Так! — говорит художник.— Теперь у вас как раз настоящее выражение, важные, сжатые губы, ум в лице. Сидите так! — говорит он, словно собирается фотографировать.

И консул Ольсен, побуждаемый тщеславием, заставляет себя заняться обдумыванием больших хлебных операций с Аргентиной, не петь и не гримасничать своими жесткими губами.

Портрет обещал быть особенно удачным, и художник, сын маляра, просит позволения выставить его в Христиании. Пожалуйста, сделайте милость!

Консул не хочет попасть на выставку, но если это может принести пользу художнику — пускай! Он охотно пойдет навстречу молодому художнику, все в семье предупредительно к нему, даже дочери; но они не влюбились в него. У его коллеги, который писал хозяйку, по-видимому, было больше шансов; у сына судьи, очевидно, было больше шансов; но и ему в один прекрасный день хорошо натянули нос!

Это были, верно, очень своеобразные девушки; они происходили из купеческой семьи и хотели жить купеческой жизнью, они часто упоминали Шельдрупа Ионсена. Странные девушки, право, и, вероятно, не очень развитые! Как их понимать? Однажды, когда сын судьи начал работать над их портретом, они самым дьявольским образом сбежали с сеанса. Они привели в свое оправдание, что им совершенно неожиданно встретился на улице Шельдруп Ионсен, и они остановились поболтать с ним: он приехал домой на короткий срок.

Словно это было оправдание! Художник почувствовал в этом обман и оскорбление.

Шельдруп Ионсен неожиданно приехал домой и так же неожиданно должен был уехать.

Он взял с собою правую руку отца, Бернтсена, и пошел в приемную к доктору, отрывисто поздоровался с ним и задал следующий вопрос: — Что означают письма, которые вы мне прислали? Я приехал домой, чтобы узнать это!

Доктор ответил полусмущенно, полуулыбаясь: — Письма? О, эти...

— То вы пишете, что на свет появился новый темноглазый экземпляр младенца; через два дня вы сообщаете, что мать умерла!

— Да.

— Да! Я хочу знать, для чего вы уведомляли меня об этих событиях!

— Не можем ли мы остаться одни? — спрашивает доктор смиренно.

— Нет, я хочу говорить с вами при свидетелях, — отвечает Шельдруп.

— Я хотел сказать, что посторонним ушам это слушать не годится.

— В таком случае я знаю, что вам годится! — говорит Шельдруп и делает два шага вперед. Доктор отступает назад, губы его трясутся, он говорит: — Нет, погодите, я понимаю, что ошибся; прошу вас извинить меня. Да, я ошибся, насчет вас и насчет другого, простите! В сущности, я ведь не думал ничего дурного.

— В сущности, я должен был бы просто отколотить вас, — говорит Шельдруп дрожащим голосом. — Вы клеветник, вот кто вы!..

— Погодите, позвольте мне...

— Грязная личность, мерзкий сплетник! Да. Вам бы следовало уши надрать!

Доктор наконец собрался с силами: — Погодите, я поставил вопросительный знак, — помните? — собственно говоря, я хотел спросить вас в интересах науки кое о чем. Письма с вами?

— Если б они были со мною, я заставил бы вас разжевать и проглотить их!

— Нет, нет, нет, поговорим об этом, поговорим спокойно, неправда ли? Прошу вашего извинения, это было в интересах науки, я думал, что могу это сделать, ведь мы знаем друг друга! Разве вы не помните, что я

спрашивал вас, ставил вопросы? Это именно невыясненный пункт в науке...

Шельдруп беснуется, он все больше теряет спокойствие, не владеет собой, поэтому его выступление много проигрывает и делается мелочным: — Наука — ваши сплетни! Вы трус, заячья душа, теперь вы хотите заговорить мне зубы насчет ваших писем, мне хочется плюнуть на вас!

Доктор еще больше собрался с духом: — Не беснуйтесь так, все это не стоит такого шума, совсем не стоит! Да это и не умно, что я приношу вам извинения!

— Что вы подразумеваете под тем, что это не умно?

— Будь мы одни, я бы вам сказал это. Это не умно, это может отомститься!

— К черту, плевать мне на вашу месть, понимаете вы? — кричит Шельдруп.

— Я прошу у вас извинения! — повторяет доктор.

Но громкие голоса в обычно столь тихой приемной привлекают внимание находящихся в доме, они привлекают в приемную хозяйку и заставляют Шельдрупа молча поклониться и уйти со своим провожатым.

Таков был весь результат поездки из Гавра; извинение, пара пустых слов! Шельдруп ходил вечером и обдумывал новый визит к доктору, говорил даже об этом с Бернтсеном, но получил совет на время оставить это дело; доктору влетело достаточно, больше чем нужно! О, этот приближенный человек консула Ионсена, он хорошо советовал; он знал, что делает, и он обдумал вопрос со всех сторон; возможно также, что он в приемной понял, на что все время намекал доктор. Да, что, впрочем, и понимать-то? Ничего, болтовня! Шельдрупу следовало бы молчать об этом ради себя самого и своей семьи!

— Нет, оставьте его в покое, вы так напугали его, что с него хватит, — говорит Бернтсен.

Шельдруп сдался. Что ж, гнев его прошел, он удовольствуется извинением. И у него было ведь дело с пощечиной; он много лет тому назад получил оплеуху, которой не заслужил, позорную оплеуху получил он от Петры; не может же он вечно приклеивать оплеуху к своему имени!

На другой день ранним утром Шельдруп сел на пароход, чтоб ехать в Гавр.

А доктор опять попал в очень затруднительное положение.

Надо же было, чтоб он пошел к почтовому пароходу! И как раз ранним утром, как многие другие; он немало

наволновался и хотел освежиться — черт побери, что вышло из этого! Мог ли он себе представить, что Шельдруп так скоро уедет, — он, неделями остававшийся дома на каникулах? Вот он явился на набережную в сопровождении отца, матери и сестры, и двух гостей — художников. Кланяться ли доктору? Поклониться первым? Конечно, ведь тут дамы! Он стал в стороне, но поклонился, и когда сделал это, то еще больше отошел к сторонке.

Но вдруг Шельдрупом овладевает бешенство, он идет за доктором. Конечно, он принял присутствие доктора здесь за вызов, за наглую выходку! Что теперь будет? Он идет дальше, как бы для того, чтобы показаться ему прямо на глаза, но сам на него не смотрит, ни одним глазом. Что он, хочет наступить на доктора, столкнуть его в море? Их разделяет только четыре шага.

И тут этот удивительный Бернтсен — правая рука — вырастает между противниками, и говорит Шельдрупу: — Смотрите, это вы верно забыли!.. — Он тащит Шельдрупа за собою и передает ему нечто, бог знает, что это; может быть, просто пустяк какой-нибудь. Но с этой минуты Бернтсен сильно занят на пристани, он поспевает везде и все же находится подле Шельдрупа: — Я тут ищу кое-каких товаров, — говорит он, — мы ждем товаров! — И даже когда Шельдруп поднялся по сходням, Бернтсен пошел за ним на борт — присматривать за товарами.

Шельдруп стоит у перил и переговаривается вполголоса со своими, стоящими на пристани. И семья стоит теперь в величайшем изумлении и озадаченности как тем, что он приехал, так и тем, что он уже уезжает! Отец и не подумал приставать к нему с расспросами, а для матери и сестры у него имелся один ответ: — Дела! — Но все смущены.

Вдруг Шельдруп указывает на доктора, стоящего на набережной, и кричит Бернтсену: — Слушайте, Бернтсен, — говорит он громко и отчетливо, — я во всяком случае должен был вздуть вон того парня! Он осмелился еще сюда явиться!

Молчание. Только один голос послышался с пристани: — Что за дьявол... что он этим думал? — Это был Олав с лужайки, он зачуял скандал.

— А когда вы вернетесь в Гавр, не забудьте прислать нам материй, как прежде; бумажных материй в подходящих рисунках, кусков с полсотни!

— Хорошо!

— Не запишете ли это у себя?

Шельдруп вынужден вынуть из кармана записную книжку и сделать отметку.

Пароход начинает отчаливать, и Бернтсен спрыгивает на берег.

Доктор стоял, как после удара, пошатываясь, с окаменелым лицом. Это продолжалось мгновение, потом он выпрямился, выпятил грудь и пошел. О, это было невероятно, чтобы он нашелся в этот момент, в момент публичного оскорбления молодым лавочником на общественной пристани!

Вообще в последнее время огорчения так и сыпались на доктора; но когда он оставил пристань, у него был такой вид, словно он решился перенести их. Олав с лужайки смотрел ему вслед и отпускал нелестные замечания на его счет.

В этот момент прибежали барышни Ольсен; они были такие хорошенькие, молоденькие и задыхались от быстрой ходьбы.— Подумайте, мы опоздали! — говорили они.— Что, весело было сегодня на борту? Почему вы все здесь, почему вы киваете пароходу, Фиа?

О, они знали это, конечно; барышни об этом услышали утром.

— Это Шельдруп уезжает,— отвечает Фиа.

— Подумать!.. Что вы говорите? Уже? Вот как!

Больше им уже ничего не довелось сказать, они удалились с обоими художниками и пошли домой на сеанс живописи.

Они догнали доктора, который остановился и разговаривал с адвокатом Фредриксеном.

— Что,— крикнул им доктор,— вы опоздали попрощаться? — О, теперь доктор был спасен, ему уже не грозила опасность, и к нему вернулась его самоуверенность.

— Прощаться? Какое прощание? — спросили барышни Ольсен и прошли мимо.

Доктор иронически посмотрел им вслед, и опять обратился к адвокату: — Нас прервали. Вы не можете ответить на мой вопрос?

— Просто так — нет.

— Вот как! — говорит доктор.— Но ведь это общественное дело!

— О, да. Но это и очень частное дело!

Доктор язвительно улыбается: — Я думал, что вы, как законовед, который с помощью бога и добрых людей может, пожалуй, скоро сделаться законодателем, знаете средство против общественного зла!

— Повышение рождаемости в стране не считается, впрочем, общественным злом...

— Опять это! Это почтмейстерская элегия насчет потомства!

— Нет, я ее не разделяю.

— Я причисляю ее к бедствиям. Впрочем, тут идут толки о том, что некий определенный человек населяет город своими темноглазыми незаконными отпрысками.

— Вы это говорите?

— И знаю это!

— Такие вещи очень трудно доказуемы!

— Трудно — это так, особенно когда свидетели умирают. Но может быть, тут можно призвать науку. Специальная наука — неопровержимый свидетель!

— Вы и это говорите?

О, это было слишком смело сказано со стороны адвоката, он не должен дразнить льва! Доктор с изумлением спрашивает: — Вы сомневаетесь в науке? Вы стоите на такой точке зрения?

Адвокат, народный оратор, думал, конечно, следующее: — Он с умыслом говорит, что я стою на своей точке зрения, это было хитро сказано! И ему ничего не остается, как немного рассеять тяжелый элемент этого разговора: — Нет, вы меня не понимаете. Конечно, наука! Но слушайте, доктор: кареглазые дети — красивые дети! Если то, что вы говорите — правда, то отец должен быть человек опытный и достойный, стало быть — хороший родоначальник! В наше либеральное время...

— Что вы, смеетесь надо мной? — спрашивает доктор. — Прощайте, г-н адвокат!

О, он чуть не закричал, чуть не лопнул! Все и вся против него! И этот адвокат туда же, колючий, небритый, еще бы, демократ, и перо воткнул в шляпу, точно на прогулку в Альпы! Хорош молодец!

От всех этих огорчений доктор начал терять терпение: не пора ли ему подняться и проучить их, — да, проучить всю эту сволочь! Конечно, положение его все еще твердо, но адвокат был к нему не уважителен в этот раз, безусловно, неуважителен! Если бы доктор не питал глубочайшего презрения к большинству людей, то он бы оглянулся и спросил: какого черта все улыбаются, когда он проходит мимо!

А тут еще консул Ионсен на прошлой неделе прислал ему длинный счет, Ионсен с пристани, папаша-лавочник! Да, он получит свои деньги, очень скоро получит свои

гроши, сделайте милость, на этих же днях! Ха-ха, доктор чуть не расхохотался! Он пошлет деньги по почте, чтобы все это видели,— не забавно ли это? И с этого дня и часа он прекратит все закупки в этой лавке, в этом кабаке! Это ведь то место, где некоторый почтенный гражданин не мог даже получить муки честным весом...

И вдруг его осеняет мысль — поговорить немножко со столяром Маттисом и узнать подробнее о знаменитой истории с крупчаткой! Он смотрит на часы. Ладно!

Столь высокого и лестного посещения столяр Маттис никак не ждал в своей мастерской! И он немедленно приглашает доктора в дом. Они садятся среди стульев, кресел-качалок, этажерок и столов с толстыми плюшевыми коврами. Над средним столом висела лампа почти над самой доской, на стенах фотографии эмигрировавших родственников и картина — стортинг 1884 года; гирлянды плюща на каминном карнизе высохли, как бумага; в маленькой заставленной комнате было тесно и сперт, разговора никакого не вышло, Маттис как будто изменился с того времени, и был совсем не расположен к разговорам.

У доктора имелась ширма, которую нужно было склеить.

Столяру придется послать за ней ученика!

Она стояла перед открытой дверью и открытым окном, потянул сквозняк, опрокинул ее и она, конечно, разбилась вдребезги...

— Да, это бывает!

— Но этого не должно быть, вовсе не должно! Никакого сквозняка не должно быть. Это все глупые служанки! А как у вас обстоит дело, Маттис. У вас, может быть, дом в полном порядке, но слуги всегда слуги!

Маттис вдруг оживился, вдруг разгорячился; он несколько раз быстро мотнул головой; это могло означать что угодно, но только не «да».— В доме действительно порядок,— отвечает он,— но теперь она уезжает.

— Уезжает? Почему так?

— Не хочу говорить об этом! Это глупости!

— А как ее зовут?

— Марен Сальт. Не очень стара, может быть лет пятидесяти, но и она сумасшедшая. Что за времена пришли! Они ходят и раздувают ноздри, как молодые жеребята!

— Это уладится,— говорит доктор.

— Уладится! Пускай черт улаживает! — возбужденно заявляет столяр. — Это решено и подписано! — добавляет он.

Доктор хочет уйти. Эти домашние дела в доме ремесленника не интересовали академика, и он был оскорблен непринужденностью столяра, ведь он с ним не ровня! Но у него было дело. — Послушайте, Маттис, — говорит он, — вам отпустили раз фальшивым весом у Ионсена с пристани?

— Что такое?

— Я спрашиваю потому, что и другим, может быть, тоже приходилось обжечься в том же месте.

— Нет, — кратко отвечает Маттис и качает головой.

— Нет, говорите вы?

— Это было не у консула, это было в складе.

— Стало быть, вы думаете, что Ионсен не знал об этом?

— Консул? Как мог он знать об этом? Ведь он не торгует в складе!

— И вам действительно отпустили муку фальшивым весом в этой лавке?

— Это все Оливер! Нет, никто другой, как Оливер! Простите, доктор, я не понимаю: зачем вы об этом спрашиваете?

— Когда вы пошлете за ширмой? — спрашивает доктор, поднимаясь.

— Сейчас. Сию минуту! Она к завтрашнему успеет просохнуть. Это доставит мне удовольствие. Будьте добры, в эту сторону, доктор!

Напрасные старания! Этот человек уходит той же дорогой, какой пришел, — городской врач, значительное лицо, авторитет, идет с разочарованной миной из-за пустяка, из-за безделицы! У него тоже были когда-то молодые грезы, он воображал себя уже на вершинах, кожа у него тогда была нежная, кровь алая, он был влюблен, умел улыбаться — куда это все девалось? Жизнь — жизнь на все это набросилась и все сожрала. Он все больше и больше уходил в мелкие огорчения и мелкие интересы, с каждым годом у него все больше прибавлялось морщин и злобы; один с женой за каждой трапезой, в пустом доме, без семьи, без детей, один со своею ученостью и своей незадачливостью, любопытный, погрязший в сплетнях, в ничтожестве! Да, и у него были юные грезы, это было давно. Теперь он какой-то ошипанный, от прошлого у него остался только жаргон его студенческой каморки, его

радикализм, свободомыслие и разнузданность речи, и ни следа молодой красоты и задумчивости хотя бы в недостатках! Он выродился, душа его изменилась, о плохо ему пришлось, он теперь — нуль! Вот, ему надо экономить и уплатить по счету Ионсена; потом он свяжется с другим купцом, и у него откроет себе счет,— может быть, у Давидсена; да, именно у Давидсена, который стал новым консулом и просто нуждается в обществе лучших людей! План, намерение, достойные хозяйки, попавшей в затруднительное положение!

Он идет домой и не застаёт жены дома; заходит в спальню, и видит, что ширма цела. Ну, стало быть, ей не повредило то, что она опрокинулась; зачем же он так бранился? И здесь его охватывает горькое и обидное разочарование, бешеный гнев; он опрокидывает ширму на пол и топчет ее ногами! Пусть теперь приходит мальчишка от столяра! Нет, ни одного удовлетворения в жизни, ни одной золотой радости! Через двадцать, через десять лет он умрет — и будет забыт в тот же час!

Он опять уходит, приемная пусть подождет. Конечно, прямо навстречу ему идет несчастный почтмейстер, бормоча сам с собою по своей привычке! Доктор через силу заставляет себя приподнять шляпу и проходит мимо.

Потом он встречает Генриксена с верфи — как страшно мал этот городишка и как мелки люди, они ходят друг за другом по одной и той же улице и читают друг у друга на спинах! Тем не менее, с Генриксом он должен раскланяться; вдовец ждет от него этого, и при других обстоятельствах доктор мог бы повысить свою плату, гонорар. Правду сказать, этот гонорар должен был покрыть большую часть счета Ионсена с пристани. Но теперь фру Генриксен в могиле, пациентка умерла; это постыдное несчастье, настоящий удар!

— Благополучно ли у вас в остальном, здоров ли новорожденный?

— Да, слава богу, он здоров, он молодцом!

Доктор понимает, что этот ребенок помогает Генриксену заглушить свое горе; он овдовел, конечно, но в утешение у него остался этот чудесный мальчишка. Генриксен не совсем убит, не окончательно пришиблен, и у доктора оживает надежда на гонорар.

— Я пройду с вами домой и взгляну на ребенка,— говорит он.

Генриксен рад и благодарен: — О, если только доктор желает!

- Да, я это сделаю, украду полчаса у приемной и пойду с вами. А сами вы, Генриксен, как себя чувствуете?
- Спасибо доктор. Ничего, как всегда!
- Разумеется, как скала! Говорила ли что-нибудь ваша жена перед смертью? Не было ли у нее чего-нибудь интимного сообщить вам? Обыкновенно это бывает.
- Нет,— отвечает Генриксен, и пожимает плечами.— Вы думаете, она просила меня следить за детьми, следить за малюткой? Нет.
- Когда люди умирают, у них бывает потребность просить прощения за то или другое: ведь можно тайно совершить какое-нибудь безумие, ложный шаг или что-нибудь в этом роде. Умиравшие иногда просили меня передать их просьбы...
- Нет. О, нет! К тому же, ей не в чем было просить у меня прощения, далеко нет! К сожалению, меня не было при ней в это время.
- Она хотела видеть пастора, я слышал?
- Генриксен отвечает без малейшего смущения: — Да, она хотела причаститься.
- Мальчик крупный и здоровый, из него будет толк, он подрос, хотя его кормят с рожка; от крикун, и сердитый!
- Но у него карие глаза! — говорит доктор.
- Да, неправда ли, это замечательно? — отвечает Генриксен.— Она все эти месяцы мечтала, что у этого ребенка будут карие глаза, как и у предыдущего.— Только бы у него были карие глаза, это так красиво! — говорила она. И ее желание исполнилось!
- Это, во всяком случае, было хорошо,— говорит доктор с кривой усмешкой.
- Но Генриксен тотчас же подхватил: — Да, неправда ли? О, это, конечно, было так суждено! Стаканчик вина, доктор! Может быть, пуншу?
- Они входят в дом и садятся каждый перед своим стаканом пуншу, а Генриксен выпивает даже два. Он говорит о жене, о своем одиночестве, оно просто невыносимо. День проходит в работе, но когда наступает ночь, ночью!.. Он необычайно внимателен и приветлив со своим высококочтимым гостем, он так благодарен ему за помощь — за всю помощь, которую он ему оказывал!
- К сожалению, не в моей власти было помочь, как следует,— отвечает доктор.
- Да; но я ведь так и говорю, что вы сделали все, что могли, были здесь много раз, осматривали ее, прописывали рецепты! Мы все делали, что могли; у нас —

то утешение, что она ничего не была лишена. Но, видно, время ее пришло! Еще стаканчик, доктор?

— Не знаю... Раз уж вы просите!

Генриксен просиял.— Это для меня честь, настоящая честь для дома; о если бы жена была в живых! Я хочу, доктор, чтобы вы прислали мне счет, настоящий счет! Да, я хочу этого! Или скажите мне сейчас, просто назовите сумму, этого довольно!

— Это можно потом как-нибудь.

— О, все, что только можно было сделать, было сделано, в этом наше утешение! — бормочет Генриксен в раздумьи.— Да, я, право же, хочу... позвольте мне это сейчас!..

Генриксен встает, отпирает шкатулку и возвращается с билетом, толстым красным билетом, и протягивает его доктору:— Вот, если вы согласны. Достаточно ли?

Доктор вовсе не жаден до денег, не корыстолюбив; он зарабатывал немного больше даже, чем ему нужно было, тратил на еду и напитки, на «обновки»; он конфузится большой суммой, ведь это подарок, и говорит: — Нет, это слишком много, я столько не возьму, половину!

Генриксен качает головой, он щедрый и сердечный человек, и хочет оказаться достойным благодарности доктора: — Берите, доктор, это от нее и от меня! И не будем больше говорить об этом!

— Я во всякое время готов придти сюда, Генриксен. К малютке. Днем и ночью!

Доктор шел домой легко, как юноша. Что случилось? Да, он чувствовал себя безоружным, а теперь у него вдруг оказалось оружие: — Сделайте милость, г-н Ионсен с пристани, вы послали мне счет, я забыл было об этой безделице; вот вам желтая повестка из почтовой конторы на денежное письмо!

Да, он был весел, но переворота с ним не произошло; его не захватила волна и кризис благодарности. Жизнь не изменилась, враги остались те же, случай поставил ему возможность глупого и бессодержательного торжества над ними, и он не хочет от него отказаться. Он мог бы пойти теперь в лавку Ионсена, и заплатить свой долг Бернтсену; вместо этого он потирает руки над ядовитым письмом, в которое он собирается вложить деньги и отослать ему.

Еще бы он от этого отказался! Смотрите, вот опять на улице один из кареглазых, ими кишит город! Он останавливает мальчика и спрашивает его: — Не ты ли бываешь у меня с рыбой?

— Прежде — да.
— Разве ты перестал рыбачить?
— Да.
— Что ж ты теперь делаешь?
— Я... я поеду на море!
— Но что ж ты сейчас делаешь? Какой ты невымытый!
— Я теперь как раз работаю у кузнеца!
— Но ведь у тебя к этому нет охоты. Нет, уезжай лучше в море! Как тебя зовут?
— Абель.
— Скажи отцу своему... там, дома, чтобы он как-нибудь зашел ко мне в приемную! Мне нужно переговорить с ним кое о чем...

ГЛАВА XVI

Что ж, Абель все дни своей жизни ходил невымытым; у кузнеца он, конечно, не побелел!

Бессмысленно было именно ему стоять в кузнице, приковаться к глиняному полу, раздувать меха и ковать железо по команде крохотного пляшущего молота. Но Абелю нужно же было что-нибудь делать; он давно уже конфирмовался и вырос большим и крепким малым. И в один прекрасный день кузнец Карлсен зазвал его к себе в кузницу: — А ну-ка, не можешь ли ты взять большой молот и поработать за меня?

Абель колотил молотом; в сущности было так весело стоять здесь и показывать свою силу, выбивать звезды из раскаленного железа! Он работал до полудня, потом кузнец позвал его в дом и накормил.

— У меня теперь спешная работа, — сказал кузнец, — можешь ли ты помочь мне и после обеда?

— Конечно могу, — отвечал Абель.

Когда настал вечер, его опять накормили; а когда он собрался уходить, он получил крону. — Ты славно поработал! — сказал кузнец, — может быть, придешь и завтра?

— Ладно, — сказал Абель.

Он это решил собственной властью. Решения он всегда принимал единолично. Унаследовал ли он эту черту от своего отца, Оливера, или она у него развилась потому, что с самого детства ему приходилось самому заботиться о себе?

Он проработал у кузнеца неделю.

— Где ты теперь пропадаешь? — спросил отец.

— У кузнеца. Я получаю стол и крону в день.

— Абель ты мой, Абель! — промолвил отец, и в сердце калеки шевельнулось нечто вроде гордости. — Что ж, ты хочешь остаться у кузнеца навсегда?

— Навсегда? Нет. Только пока у него эта спешная работа!

Но у кузнеца Карлсена была спешка по целым неделям, месяцам даже; столько надо было ковать, столько прилаживать, столько оставалось недоконченного, что Абелю никак нельзя было вырваться. Не то, чтобы он пристрастился к этому делу и забыл море, но у кузнеца ему в сущности было хорошо, и он зарабатывал достаточно на еду и платье; а он нуждался и в том, и в другом.

Между кузнецом и его подручным установились приятельские отношения; иногда они среди работы садились раскурить трубочку, причем кузнец оправдывался тем, что он чувствует себя плохо и не может непрерывно работать. В общем у Абеля сложилось убеждение, что теперь вовсе не было такой спешки в работе; правда, время от времени поступали новые заказы, но не столько, чтобы хозяин не мог один с ними справиться. Однажды вечером Абель сказал, что ему нужно было бы уйти. Кузнец даже и слушать не захотел таких глупостей; никогда еще не было такой спешной работы, какая ожидалась на завтра!

Хозяин был вдовец со взрослыми и женатыми детьми, он был брат Карлсена из полиции. Это был человек, добросовестно трудившийся изо дня в день и день днем очищавший; большего ему не нужно было; так он и вел свою небольшую кузницу на протяжении полутора человеческих поколений. У него была дочь, которая овдовела и вела хозяйство в его доме. Иногда он рассказывал о своих переживаниях — только мелочи, повседневные происшествия; но так как он никогда не покидал ни своей кузницы, ни своего городка, то каждый пустяк получал для него преувеличенное значение. Почему он не вел дела на широкую руку, с подмастерьями и учениками? Этого ему не нужно было; да и не было ни средств, ни дома, ни достаточно просторной кузницы. Многочисленный выводок детей, появившийся у него постепенно, мешал ему повести дело на широкую ногу.

— Подумайте только, пять девочек! — говорил он, — пять штук одной этой породы! А кроме того, два мальчика! У одного была кузня в деревне, он делал всякую крестьянскую работу: подковы, плуги, косы. Карлсен был городской кузнец, ковал мелкие домашние предметы для

хозяйства, а иногда — когда он брал в помощь Абеля — и крупные предметы для кораблей.

— О, чего только человек не переживает! — говорит Карлсен. — Я все время пробивал себе дорогу — вот этим! — добавляет он с улыбкой, указывая на молот. — Больше мне не нужно, и большего я не стою. Рано или поздно я умру — совершенно так, как умер мой отец, и как умрут мои дети. Стало быть, мне пришлось бы оставить все, если бы я и имел много! Адольф ушел в плавание и ничего не может посылать домой; я всегда отвечаю ему, что готов прислать ему немного, если он нуждается! И вот он плавает, и через столько-то времени умрет! Так-то, Абель мой, все мы пойдем по этой дорожке! Видишь ли, Адольф был младший, уже восемнадцать лет, как он отплыл в море, и с тех пор он еще ни разу не был дома! Восемнадцать лет — долгий срок, это еще до того, как ты родился; и он купил даже корабельный сундук у твоего отца. Плавает да плавает, а в конце концов придется остановиться! Странно подумать: он был такой крохотный, когда лежал здесь в кузне у меня и ползал; мне кажется, это было так недавно!

Голос кузнеца срывается, он встает, идет к скамье и смотрит в тусклое окно. — Гм... — кряхтит он и подбадривает себя: — Вымою ли я когда-нибудь, наконец, эти стекла? — шутит он.

— А? Как ты думаешь, Абель? Пожалуй, лет сорок прошло с тех пор, как они увидели дневной свет! — Он смеется, возвращается на свое место и садится: — Да-да-да, правда! А старший мальчик мой разъезжает по деревне за всякой работой. Такой уж он вышел, что не хочет делать какой-нибудь оседлой работы, а любит переходить с места на место, — может быть, и так хорошо будет; но я не хочу. Он никогда не бывает дома, он вбил себе в голову, что не вернется домой, пока не заработает много денег, не отстроит нашего дома и не вытащит нас наверх: мальчик совсем завертелся на чужбине! Наверх — что он думает, полетим мы, что ли? Мне бы хотелось только поговорить с ним часок! Но с ним иногда видится его сестра, та, которая живет у меня; она иногда с ним встречается, они большие друзья, он играет ей на губной гармонике. Он еще в детстве мастерски играл на губной гармонике, а теперь, слышал я, он играет еще лучше! Не странные ли мы все люди: недавно сестра его встретила, она играл на губной гармонике, но он так зарос бородой, что она насилу узнала его, и у него появилось немало седины! Но нет, он

не хочет показываться домой, пока не разбогатеет, мы не должны видеть его! Это какое-то помешательство! И все ж таки раз он появился в кузнице, работал молотом, таскал куски железа и разговаривал сам с собою! Это было не очень давно, думается мне, так, несколько лет. И когда, бывало, не увидишь его здесь на улице, он сейчас же вынимает из кармана свою губную гармонику и начинает играть! Мать его, когда она была еще жива, часто совала ему лишний лакомый кусочек за то, что он рос сильным; получив новое платье, он подходил к нам, протягивал свою маленькую ручонку и благодарил. Гм...

Кузнец вскакивает с места и хватается за работу: — Нет, так не годится! Ты готов, Абель? Хе-хе, славные мы работники! Бери, раздувай меха!

Он шутит и притворяется веселым, но ему не весело: он стар, он устал, легко возбудим, измучен. У него уже нет сил, Абель при всей своей молодости мог поднять вдвое большую тяжесть и работать весь день напролет. Помогала старику ловкость, навык, работа спорилась у него; иногда же он стоял, уставившись усталым взором на какую-нибудь тяжелую штуку, и не решался приняться за нее.

О, нет, он не был весел! Не очень много радости видел он от своих детей, от всех равно. Одна из его дочерей в свое время была притчей во языцех — та, которая вышла замуж за Каспера; из-за ее легкомыслия тому пришлось бросить службу на море и взять работу на верфи. Теперь и она сама, и разговоры о ней притихли; но много лет тому назад, когда ее муж находился в плавании, она бросала дом и тоже плавала, беспечно, радостно отдаваясь свободе. О, она была как жеребенок! Ее мужа, — а отца, пожалуй, еще больше, — все тогда жалели.

И все же — кузнец Карлсен ведет далеко не безутешное существование, у него есть все, что ему нужно, и даже больше; он доволен своим уделом. Вечером он благодарит бога за прожитый день, удивляется тому, что он чудесно прошел, что ничего дурного не случилось. Ведь как легко могло бы случиться несчастье! Потом он тихо и ласково шутит со своей дочерью: — Да мы-то в самом деле переделали кучу дела сегодня, — мы, мужчины; но ты-то что делала? Я не вижу, чтоб ты хоть пошевелинулась: стулья стоят целехонькие!

Оба смеются, и дочь отвечает: — Да, но я, к сожалению, разбила сегодня две тарелки!

— Какие пустяки! — говорит отец. — Я бы за это время разбил дюжину!

Видя, что оба они в таком хорошем настроении, Абель осмеливается сказать, что, может быть, он завтра уйдет и вообще он больше не нужен. Тогда старый кузнец напускает на себя серьезный вид и смотрит на мальчика, словно он услышал от него какую-то невероятную гнусность: разве так уже это спешно, чтобы уйти в разгар напряженной работы; и куда он вообще денется?

Абель наймется на службу.

— Наймется! Но ведь уже конец лета, дело идет к зиме. Весна — вот это подходящее время! Не может ли он, во всяком случае, остаться еще на месяц? Как раз теперь большие заказы; вот, надо сделать мотыки и буры для городского инженера; исправить дверные замки у консула Гейберга; поставить новую стальную пружину к детской колясочке у Генриксена с верфи: нарезать новую ось к маслобойке на даче у консула Йонсена: наделать крючьев для маляра, который будет красить церковь. Тут работы для нескольких человек, и надолго!

Абель остался.

Ну, а море? Недостает еще, чтоб он забыл его! Вот, товарищ Эдеварт, по последним сведениям, находится в Южной Америке, плавает уже года два, а Абель все еще на суше, торчит в какой-то кузнице. Нет, благодарю покорно! Конечно, оно было не без приятности, он весь покрыт копотью, люди видят, как он работает, и это доставляет ему известное уважение у других юношей его возраста, когда он проходит по городу с гремящими полосами железа на плечах, совсем как взрослый. И разве маленькие мальчики не спешат посторониться, чтобы он не задел их своими длинными железными штангами?

Так что все это было не так уж плохо! К этому надо прибавить, что Абель получал питательную еду через правильные промежутки времени, спал в положенное время, вел правильный образ жизни. Да и не уютно ли было в этой семье ремесленника, где все на своем месте, пол чистый, а на окнах цветут фуксии?

По воскресеньям кузнец принаряжался и не спеша прогуливался по городу и окрестностям. У него не было привычки ходить в церковь, но он был честный и набожный человек с тысячью грехов, в которых он каялся, и с тысячью божьих милостей, которые радовали его. Все складывалось для Абеля незаслуженно хорошо.

Однажды в праздник Абель встретил его. — Пройдемся со мной! — говорит хозяин. — Куда ты это собрался?

Нет, Абель никуда не собирался, он шел просто так; он был одинок, Лиллелидия совсем выросла и отошла от него, счастливой дороги! Теперь, когда ей было бы так хорошо, он и знать не хотел, где она! Брат ее, Эдеварт, был когда-то хорошим товарищем, но теперь и он, видно, заважничал; он ни разу не написал ему ни словечка, теперь он был в Южной Америке. Но куда же деваться Абелю в праздничный день? Дома он, во всяком случае, не мог же сидеть в своем новом костюме, чисто вымытый, с блестящим новым ножом в футляре, который он купил себе; его брат Франк учился в высших школах и никогда не показывался домой, а Оливер, отец его, выехал в шхеры, что он неизменно делал по праздникам; он продолжал искать приключений. Нет, Абель никуда не собирался! Но он знал один пустырь, на котором водились гадюки, и вероятно, хотел теперь поохотиться на них. Ведь он все-таки был еще не взрослый, а мальчик!

Или он ждал кузнеца? Может быть, для того, чтобы кое-кто увидел его в почтенном обществе? Ему не вредило то, что он сидел вместе с хозяином у окна, когда люди проходили мимо. Но она может делать что ей угодно — как-бишь ее звали: Лиллелидия? Он во всяком случае пройдет мимо, как кузнечный подмастерье и человек, необходимый для Карлсена...

Они идут мимо дома рыбака Иоргена, и кузнец замечает, что он говорит один, что Абель не отвечает. Кузнец, конечно, не заметил косым взглядом своим некоего явления в некоем окошке, и не почувствовал сердцебиения; но он видит, что он слишком стар, как товарищ для Абеля, он улыбается и говорит: — Ну, спасибо, что проводил, Абель; мне нужно сюда!

Абель отправляется на гадюк. Они водились на каменище, их было много, они любили лежать и греться на солнышке, Абель с другими мальчишками охотились за ними каждый год. В этой охоте была и опасность, и слава; в школьные годы о ней только и говорили.

Придя к каменному пустырю, он слышит шум и крики других мальчиков, которые пришли сюда раньше, и он не двигается дальше. Нет, ведь это малыши, просто дети, восьмилетки, глупенькие! Разумные люди не кричат на охоте за змеями, но ходят, затаив дыхание, и ступают, как по розовым лепесткам!

Что делать? Он знает, что за горой есть местечко, где слышно отличное эхо; и он направляется туда, чтобы покричать немножко. Ведь он все-таки мальчик еще!

Здесь тихо, в стороне от всего, ни одной живой души. Он кричит — эхо отзывается. Но ведь его в сущности занимают гораздо более важные вещи, чем эхо; он бросается в вереск и вновь переживает путешествие мимо некоторого окошка. Чего он в сущности достиг этим окольным маневром? Нож и новый серебряный футляр повернуты в настоящую сторону и блестят как следует; но видела ли она их? А кроме того, фигура за стеклом могла, конечно, принадлежать одной из ее сестер, а не ей! Ничего определенного...

Он долго лежит и все переживает происшествие, взвешивает все возможности, иногда сердце его замирает от сладких толчков, и он корчится в восторге; иногда он теряет надежду, с досадой вскакивает и говорит: — Счастливой дороги!

— Дороги! — отзывается эхо.

Он кричит: — Да, да, скатертью дорога!

— Дорога! — отвечает эхо.

Он кричит громче и отчетливее, отчеканивает слоги и заставляет эхо повторять каждое слово. Это занимает его некоторое время, но не может же он вечно сидеть тут и забавляться с этим попугаем, засевшим в горах! Он начинает размышлять об эхо, об этой речи без уст, о звуке беззвучия, о чревовещании из мнимого чрева, которое скрывается, может быть, где-то за пределами жизни. Он привык подвергать и себя, и все, что ему встречалось на пути, обстоятельному исследованию; никто не учил его этому, никто не развивал его, он сам себя развивал. О, он поистине провел с собою немало чудесных часов! В прежнее время он, бывало, обращался к отцу, и спрашивал его о том, что его занимало; а Оливер был не такой человек, чтобы уклоняться от обсуждения глубоких вопросов; ведь он так много ездил по белому свету! Но в последнее время, особенно же, когда его несчастная склонность к Лиллелидии развернулась как следует, Абель искал уединения и разрешал все вопросы сам с собою. Кузнец Карлсен также оказал на него влияние в этом смысле; мудрая простота старика и его кротость хорошо действовали на него, а его бодрость оживляла и мальчика.

— Бум! — ухает он, как из пушки.

— Бум! — отвечает эхо.

Ответ короткий и звонкий, как невидимый прыжок. Это изумительно, он основательно углубляется в задачу, страшно напрягает мозги, черт его разберет, что это! Его окружают загадки и тайны, он ходит среди них с риском

наткнуться на гадюку, и вот натывается на эхо. Этот отголосок непонятен и таинствен, об этом можно думать и думать до самого вечера! О, он умел размышлять. Это, черт побери, не то, что есть хочется, или негритянская борьба, или деньги зарабатывать! Но как бы там ни было, Лиллелидия во всяком случае ничего этого не знает; она сидит дома и смотрит в окно; но если бы она знала, как она глупа! Он видит большие равнины с пасущимся скотом, видит города, леса, моря, бесконечность, века!..

Спал он, что ли?

Он поднимается, откашливается, зеваает, поднимает руки, потягивается. В тот же момент из рукава его куртки что-то свешивается, темный обрывок веревки с пастью, длинная тварь, быстро, как молния, извивающаяся в вереске. О, здесь не кричат и не подбирают платья, как от мышей; в одну секунду он на ногах, ищет беглянку, находит ее, наступает на нее, раздробляет ей голову. Готово!

Да, но кто это видел? Земля и небо, никто? Подвиг пропал даром...

Он берет гада за хвост и несет с собою, он подарит ее муравейнику по дороге. Это настоящая великолепная гадюка, полосатая, отмеченная крестом, красавица, и какая отвратительная!

Он не находит муравейника и продолжает тащить с собою мертвого гада; не встречает также ни человека, ни ребенка.

Его начинает охватывать скука, до города еще далеко. Вдруг он чувствует укол в руке, в той руке, которая несет змею; взглянув на руку, он видит, что она распухла и почернела; стало быть, змея его успела-таки укусить! Ну, он, конечно, не девчонка, чтобы визжать или удариться в слезы; и хотя ни одной души нет, и никто на него не смотрит, он ведет себя как железный мужчина: Абель бросает труп змеи, отыскивает ранку и начинает высасывать кровь. Он умеет делать это, ему уже приходилось; одновременно он распускает ремешок на брюках и перевязывает им кисть руки. Удивительно, что он не почувствовал самого укуса; он ходил с ядом много минут, и все трудней становится спастись от его действия одним высасыванием. Уходя, он опять берет с собою труп змеи.

Он чувствует в руке все больше укулов; воскресенье, во всяком случае, выдалось без однообразия! Время от времени он смотрит на эту руку, которая не хочет побелеть, на смешную ранку, в которой нет ничего

торжественного. По мере того, как он подвигается вперед, и руке не делается легче, он нетерпеливо поглядывает на нее, словно испытывая: действительно ли тут ранка, и его ли это ранка. О да, ошибки быть не может! Он проявляет все больше интереса к ней, и ему не неприятно, что вдаль показывается человек. Он посасывает ранку и шагает вперед.

Он прячет змею и руку за спину, чтобы не испугать этого человека — это сидит кузнец Карлсен. Вот куда он ходил; он сидит одиноко на камне, со скрещенными руками и погасшей трубкой! — Это ты, Абель? — говорит он. — Я сижу тут просто так, смотрю на горы и доли, и все дивлюсь, все дивлюсь! Видишь ты эту горную вершину, хе-хе, статного парня? Смотри, какие горы он нагромоздил на себя! О, как прекрасен мир! Ты что, домой собрался?

— Да, домой, — кивает Абель. — Но вот эта змейка, он получил небольшой укус...

Кузнец вскакивает с места, старый, растерянный, дрожащий:

— Нет, нет, нет?

— О, это не опасно! — объясняет Абель.

Но все же это участие приятно; ведь старше себя не чувствуешь, когда ты еще мальчик! Эта растерянность и страх у ближнего ради тебя даже сладостны, сердце расширяется, вы смеетесь, чтоб показать себя мужчиной, говорите: вздор! Немыслимо, чтобы это чем-нибудь кончилось! Зато хозяин так мил, что невероятно крепко перевязывает кисть, немножко повыше, вот так...

Они идут домой.

— Я не видел еще такого крепкого парня, как ты, — говорит кузнец, — и разве тебе не больно?

— Ни капельки, — самую малость!

Абель дает крюку, чтобы отыскать муравейник, который он помнит со дней своего бродяжничества, и кузнец качает головой, но следует за ним. От муравейника он идет с ним домой, старик поистине немного гордится этим юношей, он показывает его каждому, кто им встречается, и на всех нагоняет страху.

Они входят в город, и рыбак Иорген стоит у своих дверей. — Посмотри-ка на руку этого мальчика! — горячо говорит кузнец. Абель, упиваясь своей славой, не останавливается у этой двери, именно у этой, и с улыбкой проходит мимо. Кузнец кричит ему вслед, догоняет его: — Ты уже уходишь? Прямо к доктору! Сейчас же!

В сущности, Абеля уже пробирает холодный пот; он болен, как пес, но счастье несет его как на крыльях. Смотрите, вот хозяин стоит и рассказывает о нем; некоторым людям не мешает узнать, как железный человек ведет себя, когда его жалит змея...

— Не тебе ли я дал поручение к твоему отцу? Почему он не приходит?

— Я не знаю.

— Скажи ему, чтобы он сейчас же пришел! Иначе его приведут! Скажи ему это! Давай, посмотрим руку. У, какая она!

Доктор знает свое дело, каждое лето ему приходится лечить от змеиных укусов,— и ни одного смертного случая.— Но тут особенно злокачественный случай!— твердит он, и это преисполняет пациента гордости; он сможет рассказать кому угодно, что был на волосок от смерти! Доктор не перестает твердить, что это опасный случай.

ГЛАВА XVII

Нет, Оливер не такой человек, чтобы бежать сейчас же, если доктор позвал его; он знает себе цену. Положение человека, заведующего складом, ставит его на одну доску с лучшими людьми, с приказчиками лавки Ионсена с пристани, даже с его правой рукой Бернтсеном. Оливер, пожалуй, даже поважнее их будет; ведь он не бежит на чердак и в погреб для покупателей, но постоянно находится на своем месте! Место в самый раз для такого человека, как Оливер!

Он попал на свою настоящую полочку, ему так приятно управлять складом, слышать от всех «здравствуй» и «до свидания», зарабатывать на пропитание и на платье, иметь досуг поглядеться в зеркало и принарядиться. Наряду с этим он может удовлетворять и свои личные интересы: он по праздникам выезжает на шхеры, осматривается, мечтает и рвется бог его знает куда, может быть — к лучшей жизни, к новому Иерусалиму; и из этих поездок он возвращается домой с чем-нибудь, найденным по дороге: с наплавным лесом, с незаконно добытыми яйцами чаек или же с тем, что всего драгоценнее и всего беззаконнее: с охапкой гагачьего пуха. Ни разу его не накрыли на этом, никто не решается раздеть до гола калеку, чтобы найти гагачий пух в сумке на его теле. И за несколько

лет Оливер действительно собрал много гагачьего пуху; вопрос только в том, как ему сбыть его. Но если бы он даже никогда не превратил его в деньги, он все-таки будет собирать его: этот товар он не может видеть без того, чтобы присвоить его.

Дома тоже все идет гладко, годы сделали его жену помирнее, она теперь пристрастилась к своему дому и к кофе, и кофе ведь достается им сравнительно дешево; теперь ему значительно реже приходится красться за нею с рыбацким ножом в рукаве! Она по-прежнему бывает часто невыносима, продолжает раздувать свои подвижные ноздри и нюхать воздух; Петре всегда было мало всего, она была несчастное, не удовлетворенное создание, родившееся недовольным, родившееся жадным, в отличие от Оливера, который довольствовался самым малым, довольствовался даже ею! Не могло быть ни малейшего сомнения — Петра была в своем роде сатанинское семя! Да, но покуда она не бродяжничает — она никогда не бродяжничала, она не натягивала струн, чужие только пялили на нее глаза, и она только раз родила голубоглазого ребенка! В общем Оливер мог быть доволен; она каждый день была ему доступна, он грелся около нее, обедал рядом с нею и спал на ее кровати, она обдавала его своим дыханием во сне. Это не так уже мало! Во всяком случае, она была его жена, а не чья-нибудь иная, это он знал наверное!

Разве она не прелестна? Конечно, так. Она хорошо сложена, во всей ее натуре есть что-то сладостное, какая-то естественная роскошь, что-то лакомое — иначе бы он никогда не взял ее, заметьте себе это! Но она не от всех ветров укрыта: если бы только можно было убрать с дороги столяра Маттиса, Оливер был бы совсем спокоен. От всех ветров, она-то, Петра, которая самому Шельдрупу Ионсену закатила пощечину? Иные думают, что она каждого приглашает и говорит: — Ну, давай-ка побалуемся, погрешим, разнуздаемся! — Нет, нет, ничего подобного! Скорей она как икона; по воскресеньям она ходит с золотым крестиком, который она выменяла себе и носила на шее на бархатной ленточке. И никому не приходит в голову безумная мысль, что ее можно было бы дешево купить!

В известном смысле Петра была жена как раз по нем, как раз для Оливера, он часто и не желал никакой другой. Голубоглазый ребенок? Правда, этот ребенок портил ему расчеты, и он несколько месяцев разжигал в себе подозрения; но при своей мягкой и женственной натуре он не долго мог устоять против ребенка; повседневная

жизнь слишком часто оставляла девочку на его руках, когда никого не было дома, ему приходилось укачивать ее. И подозрения его, можно сказать, растаяли; он ожидал длинного носа на маленьком личике, но девочка росла, и носик ее делался более чем красивым. Черт один разберется во всем этом! В свое время он обсуждал этот вопрос то с тем, то с другим: вот, он вдруг сделался отцом голубоглазого ребенка, а у других детей карие глаза: как это надлежит понимать? Он получал уклончивые ответы; рыбака Иоргена это не удивляло, бывают еще более странные вещи; а впрочем, в природе столько сокрыто таинственного!

По своим обстоятельствам Оливер был довольно счастливым отцом. Из таких детей наверное выйдет толк, у немногих были лучшие дети; и когда он состарится и износит свой организм в складе, дети его будут взрослые и будут ему помогать! От Абеля, пожалуй, ничего особенного ожидать не приходится, но Франк — о, Франк посещает высшие школы, учится и со временем займет высокий пост! Он студент, и все учится да учится!

И, наконец, вот еще что: это был не пустяк, что Ионсен с пристани сделался двойным консулом, на Оливера также падала тень этой славы! Ходили слухи, что Грюн-Ольсен также хочет взять человека в склад, чтобы пускать пыль в глаза, и что Мартин с пригорка, рыбак, точит зубы на это местечко. Сделай милость, бери его, Грюн-Ольсен тоже консул и богач, у которого, может быть, хорошо служить! Но разве он дважды консул? Эге! Мартин с пригорка, ты получишь ровно половину, будь в этом уверен!

Так идут дни и годы, Оливер живет припеваючи, насколько может, и идет себе своим путем, словно он и не одноногий. Восемнадцать лет он играл человека так хорошо, как только умел, как всякий другой; пожалуй даже лучше всякого другого!

В один субботний вечер он чистит свое платье и башмаки и собирается идти домой. В последнее время он проявляет какую-то загадочную осмотрительность; неизвестно, зачем он это делает, но он выглядывает на улицу, и когда замечает на ней доктора, прячется и ждет. Почему он избегает доктора, с которым все прочие считают за честь остановиться на улице?

Доктор разгуливает взад и вперед с почтмейстером, которого он вообще избегает, доходит до лавки Давидсена и поворачивает обратно, несколько раз. Оливер находится в осаде. Неужели доктор прямо подстерегает калеку? Ведь

не может же он лично навестить его в складе! Оливер слышит обрывки речи почтмейстера и не понимает ни слова; доктор понимает, конечно, все, но слушает, по-видимому, невнимательно; нет, почтмейстер скорей служит ему предлогом для того, чтобы расхаживать здесь и подстергать. Неприятное положение!

С Оливером два раза случилось удивительное происшествие: за ним два раза посылал доктор, и он, вероятно, не понимает, какой это имело смысл. А то как же? У него было чисто женское любопытство и лукавство: он соображает, не имеет ли это какого-нибудь отношения к консулу Ионсену? Он попробовал смиренно переговорить об этом с консулом: он-мол маленький, неученый человек, доктор зовет его к себе в приемную, что ему ответить на это?..

Консул отвечает на это удивленным смехом и говорит: — А что я могу знать об этом? — Но вдруг он одумывается и спрашивает: — Он за тобой посылал?

— Два раза.

— Так. Чего же он хочет от тебя?

— Этого я не знаю.

— Плюнь на это дело!

Оливер так и поступил, и не думал больше об этом деле.

Но вот доктор ходит по улице и явно подстергает его.

Доктору вовсе не весело, он только время от времени вставляет свое слово в разговор, и только когда он встречает кого-нибудь, перед кем ему нужно поважничать, он задает почтмейстеру путный вопрос, на который можно ответить. Если бы Оливер понимал что-нибудь, он извлек бы пользу из следующего разговора:

— Это было насчет потомства. Вы мне не ответили на это!

— Может быть, вы меня не поняли,— говорит почтмейстер.— Разве не так бывает, что когда у родителей дети вырастают, то они заботятся уже не о них, а о их детях, о внуках? Это указывает на нисходящую линию в человеке, на продолжение его в бесконечность!..

— А с другой стороны: не беспечно ли со стороны этой нисходящей линии беспреестанно рождают детей для гнуснейшего существования, для голода, холода и дурного воспитания, для позора и гибели? Если бы хоть они все рождались в хороших семьях!

— Не знаю, можно ли так ставить вопросы,— отвечает почтмейстер.— Возможно, что человек рождается для той

участи, которую он заслужил в предыдущих существованиях. На это кое-что и указывает: одни дети воспитываются в лучших домах и вырождаются, другие дети рождаются в нищете и вырастают прекрасными людьми, они сами воспитывают себя. В таких случаях нет недостатка и в нашем городе. Жизнь это какая-то смесь, путаница подобных случаев, вашей логикой их не объяснить.

— Да, обратимся к логике, иначе все это будет, простите, вздором! Вот вы только что сказали, что дети лучших семейств могут выродиться. Это верно! Но в то же время они в предыдущих существованиях заслужили свою участь. Заслужили ли они, в таком случае, право родиться в хороших домах?

— Почему же нет? Ведь никем не доказано, что хороший дом и земное благополучие есть величайшее благо, что жизнь без страданий — наилучшая жизнь! Посмотрим же в другую сторону: некоторых даже поддерживает, даже питает страдание, они находят счастье в страдании!

Доктор не может подавить стона; трудно ему было ходить и соблюдать вежливость наперекор движениям своей души! Он посмотрел на часы, круто повернул опять к Давидсену, и сделал несколько бешеных шагов вперед, — но почтмейстер не отставал от него. Когда они шли обратно, они уже переменяли тему разговора, почтмейстер затеял разговор на социальные темы:

— Разумеется, это трудящееся среднее сословие не дает жизни вымереть, я не понимаю, как это можно оспаривать. Это не масса, хотя она говорит: мы рабочие! О, масса изучила навыки, о, она умеет читать свои трескучие газеты и получила то содержание мысли, которое ей нужно. Мы, рабочие! Подразумеваются ли этим крестьяне, подразумеваются ли рыбаки? Неправда, под этим словом подразумеваются только индустриальные рабочие! Это он ревет! Вспомните, доктор, что мы с вами знали время, когда у нас не было ни одного индустриального рабочего, но в каждом доме была своя индустрия! Жизнь была тогда не так хлопотлива, как сейчас, у нас были свободные часы, мы не были тогда ни беднее хлебом, ни богаче заботами, образ жизни был проще, довольства было больше. Потом пришло царство механики, началось массовое производство, появился индустриальный рабочий — кому на пользу и на радость? Фабриканту, владыке рабочего, и больше никому! Он хочет зарабатывать побольше денег, он и его семья хотят

наслаждаться большим земным благополучием, он думать не хочет о том, что придется и ему умирать...

— Нет, послушайте,— с улыбкой говорит доктор,— разве он не привел в движение множество народу, не дал хлеба множеству голодных ртов?

— Хлеба? Вы думаете, денег для хлеба? Он приставил их к фабричной работе, в то время, как земля в стране остается необработанной! Вот что он сделал! Он отвлек молодежь от ее естественного места в жизни и использовал ее силы в собственных корыстных целях! Вот что он сделал! Он создал четвертое сословие в мире, в котором уже и без того слишком много сословий, целый класс промышленного люда, самых бесполезных для жизни работников! И мы видим, какой карикатурой на человека становится такой индустриальный рабочий, когда он усваивает себе навыки высшего класса: он бросает корабли, бросает землю, оставляет дом, родителей, сестер и братьев, оставляет скотину, деревья, цветы, море, высокий свод небесный — и взамен получает кафешантаны, митинги, кабаки, хлеб и цирк! Ради этих благ он избирает пролетарскую жизнь. А потом рычит: Мы, рабочие!

— Стало быть, никакой индустрии?

— Вот как? Разве раньше не было индустрии?

— Стало быть, никакой фабричной промышленности?

— Что вам на это ответить? Ведь можно же представить себе исключения!

— Хотел бы я знать их!

— Ну, например, фабрикация оконного стекла!

— Ха, ха, ха!

— В жарких странах этот товар не нужен; но в нашем климате он необходим. Вот что я хотел сказать!

— Ну, милый мой,— говорит доктор,— вам нечего оправдываться в том, что мы, люди, между прочим, нуждаемся и в оконном стекле!

Почтмейстер иногда попадал в такие безвыходные положения, бывал так несообразителен, что делался совершенно беспомощен. Вот он пустил в ход изречение: «Последние станут первыми».

Молодой кандидат, уполномоченный уездного судьи, как раз проходил в этот момент мимо, и доктор коварно спросил, словно для него это было загадкой: — Но что же будет тогда с первыми, скажите ради бога? — На что почтмейстер в простоте души ответил: Первые станут последними.

— Ха, ха, ха,— опять засмеялся доктор.— Здорово, черт побери! — сказал он.— Скажите, почтмейстер, как это вы всегда и во всем счастливы?

Теперь почтмейстер заметил, что над ним трунят, и отвсечает: — Не всегда и не во всем! — И он умолкает.

— Может быть, это привычка,— говорит доктор.— Вы не можете обходиться без счастья! Мы же, прочие чада юдоли сей, вынуждены жить без счастья. Разумеется, это привычка!

Почтмейстер сделался молчалив. Чтобы завести его, доктору опять пришлось затронуть вопрос о потомстве. Но почтмейстер не дает на себя наступить и неожиданно обрывает: — Не вы ли, доктор, упомянули о любви? Что вы под этим подразумевали? Вам нужно было сказать: влечение, животная функция, вам нужно было сказать: страсть; но и страсть — рассудительная, предусмотрительная, бездетная, насколько только это возможно!

— Вот-те на! — изумленно восклицает доктор. Опять он утвердил свое превосходство и не желает продолжать дискуссии. Он взглянул на часы. И вдруг почтмейстер перестает для него существовать, он кричит в склад: — Выходи, Оливер, я хочу с тобой поговорить!

Будто Оливер так сейчас и выскочит, как только доктор его позовет! Он прятался в складе до тех пор, пока доктор не ушел; потом он запер склад и удалился.

Впрочем, ему так и не удалось увернуться от этой встречи; доктор прошел мимо него на первом же перекрестке, притронулся даже пальцем к шляпе и совершенно изменил тон: — Добрый вечер, Оливер; хорошо, что я встретил тебя; можешь пройтись со мною в мою приемную?

Оливер послушался — потому ли, что поддался любопытству, или потому, что хотел положить этому конец.

— Имеешь ли ты что-нибудь против того, чтобы я исследовал твое бедро?

— То есть как это?..

— Это в интересах науки. Ты отличный объект. Разденься!

Оливер медлит.

— Это будет сделано скоро, пяти минут довольно, двух минут. Я хочу взглянуть на твое бедро; разве оно у тебя никогда не болит?

— Нет.

— Ну, покажи мне!

Нет, этого Оливер не хочет. Вечер, и притом суббота, ему нужно торопиться домой.

— Ну что за пустяки, две минуты!

Оливер отказывается. О нет, придти он согласился, но дальше нет. Правда, доктор пользуется в городе большим уважением, но история со шведским матросом не усугубила его, далеко нет.

Впрочем, Оливер уступил бы и разделся бы, но он как будто страшится; может быть, у него имеются особые причины избегать этого. Что с ним сделалось? На лице его появилось хитрое и злое выражение, он медленно поднимает глаза на доктора и говорит: — Нет, я этого не сделаю!

— Глупый ты человек,— говорит доктор.— У тебя не растет борода — как это могло случиться? Ты жиреешь, делаешься гладким, как баба!

— У меня все в порядке,— отвечает Оливер.

— Вот это я и хочу установить! Ты ничего от этого не потеряешь, я исследую тебе живот, это делается в одну минуту...

— Нет, я этого не хочу!

Доктор не отстает: — Каким образом тебя повредило в тот раз?

— На меня свалилась бочка с ворванью.

— Этого я не понимаю!

— Она ударила меня и раздробила ногу. И ее пришлось отнять.

— Покажи мне, где ее отняли.

Оливер показывает рукой.

— Нет, сними штаны, хотел я сказать!

— Нет,— в третий раз отвечает Оливер,— этого я не сделаю!

Доктор говорит — веско и значительно, отчеканивая каждое слово: — Как хочешь. Я, впрочем, хотел только помочь тебе!

Оливер идет домой, уже поздний час, он слышит музыку, раздающуюся из школы танцев, ведь это субботний вечер. Ему приходит в голову, что он, пожалуй, недостаточно приличен на вид, чтобы пройти мимо всех этих разодетых юношей и девушек, собирающихся перед школой, и он делает обход. Что за встреча — как раз стоит Петра и беседует ни мало ни много, как со столяром Маттисом! Оба сильно возбуждены, у столяра даже какой-то грубо-страстный вид; и опять сердце Оливеру пронзило точно острым шилом, он скрежещет зубами.

Маттис завидел его и подается назад, он скрывается в свою мастерскую. Это было благоразумно с его стороны — то, что он отступил, исчез; ибо Оливер идет прямо на него и скрежещет зубами. Петра тоже умно поступает, что ждет своего мужа; если бы она хоть на мгновение подумала бежать, этот человек окликнул бы ее громовым голосом, как взбешенный супруг.

Они идут рядом, Оливер молчит и жует губами.

Петра отлично видит, что надвигается гроза, она переходит в наступление и бормочет:— Гм... Вот так положеньице!

— Да,— говорит и Оливер,— положеньице! — И он обращает на нее свой взгляд.

— С Маттисом, думаю я. Ты ведь слышал?

Что слышал? Он ничего не слышал, целиком поглощен своим и отвечает:— Это *ты* услышишь!

— Что ты там ворчишь? — говорит она невинно и беззаботно.— Стало быть, ты не слышал?

Должно быть, что-нибудь необыкновенное! Его начинает разбирать любопытство, шило не так уж сильно колет ему сердце, он спрашивает:— А чем это ты собираешься заговорить мне зубы?

Наступает для Петры драгоценный момент покобениться, она слегка обижена и говорит:— Ничем я тебе не заговариваю зубов. Лучше я помолчу!

Оливеру пришлось смириться и начать упрашивать, пока Петра не сдалась. О, новость слишком занимательна, чтобы Петре не хотелось первой рассказать ее, Петра не может больше выдержать:— Это насчет Марен,— говорит она.

— Что с ней случилось?

— Марен Сальт.

— Да, я слышу!

— Да, она слегла. Она родила ребенка!

Оливер не знает хорошенько, как ему принять эту новость, но, во всяком случае, энергичное выступление против жены на сей раз у него сорвалось. Он говорит почти с досадой:— Стало быть, ты об этом с ним разглагольствовала?

— Разглагольствовала! Он просто вышел из дому и сказал мне об этом. Он в полной растерянности.

— Так ему и надо!

— Ты, конечно, не хочешь сказать, что Маттис отец ребенка?

— Ну, ты это наверное знаешь! — Они начинают ссориться из-за этого, ссориться по-настоящему! Раз Маттис

не отец, так Оливер уж совсем не знает, как ему отнестись к этой новости! Но во всяком случае уже вечер, и притом суббота, Оливер голоден и зол, ему хочется скорей попасть домой. Когда он наконец поел, и очень плотно поел, жизнь представилась ему в более розовых красках, он начал смеяться и выспрашивать Петру обстоятельнее насчет Маттиса: что он говорил, как он принял это?

Петра рассказала. Она довольна, что грозу пронесло, пришла тоже в хорошее настроение, и, можете быть уверены, передразнивала Маттиса и высмеивала его: Маттис все время требовал, чтобы Марен убралась из дому до родов, но Марен все оттягивала, лгала ему, будто она не так скоро ждет этого! И вот, ночью он слышит детский крик в доме; Маттис вскакивает и бежит к акушерке, бежит к доктору. Доктор говорит с сомнением: — Марен Сальт! Да, ведь ей сорок, пятьдесят лет! Ведь это невозможно! — Маттис отвечает: — Что ж вы думаете, я, что ли, родил ребенка? — Уверен ли ты, что это ребенок? — спрашивает доктор. — Во всяком случае, он кричит, он лежит в доме. Пойдемте, увидите!

Петра смеется, Оливер и бабушка тоже смеются, даже обе девочки понимают смешное положение столяра Маттиса и не могут сохранить серьезности. — Вы бы посмотрели на этого Маттиса, — говорит Петра — Он стоял, переминался с ноги на ногу, сопел носом, он был просто в отчаянии, что не выставил в свое время этой старой бабы за дверь! Говорят, будто ей сорок-пятьдесят лет, но ей, по меньшей мере, шестьдесят, — кричал он, — на что это похоже! Ходить и раздувать ноздри, как зайчиха, когда она в таком уже возрасте, что вот-вот рассыплется!

И Петра коварно сказала ему: — Да, лучше всего было бы тебе, Маттис, взять ее к себе!

— Взять ее? — закричал он. — Да на что она мне? Черта с два! Если уж настанет день, что я надумаю жениться, то уж, конечно, не на старой ведьме. Это решено!

Общий смех.

Но Оливер, чтобы показать свою солидность, спохватывается и говорит: — Неужели всего этого довольно, чтобы стоять и болтать среди улицы с посторонним мужчиной?

Теперь Петра уверена в себе: — Я могла к нему зайти, но я ведь не сделала этого!

— Попробовала бы ты это сделать!

— Почему же нет? Он такой простоватый и забавный, я не знаю никого уморительнее Маттиса. Я убеждена, что если бы какая-нибудь вышла за него замуж, то имела бы

одного ребенка за другим не от него! И он ничего бы не понимал!

— Тебе бы так хотелось... Дети, ложитесь спать! — кричит он вдруг на девочек и отсылает их прочь. Даже бабушка выходит из комнаты.— Да, тебе этого самой хочется!— повторяет он.

— Я? — говорит Петра.— Как это мило, что ты пристегнул меня!

— Да, как видно, для тебя цепь коротка, ты не можешь свободно поворачиваться в своей гавани.

— Я? — говорит Петра, и смеется: — Хи-хи-хи! Нет, у меня есть муж, который умеет следить за мной. Это я знаю наверное!

Оливер подозрительно смотрит на нее — не издевается ли она над ним? Он решает зорко следить за ней.

Но Петра обводит его вокруг пальца: — А впрочем,— вкрадчиво говорит она,— впрочем, ты должен быть человеком и позволить мне свободно ходить, куда мне хочется! Вот что должен ты сделать, Оливер! Ведь ты знаешь, что я ничего дурного не делаю, я ведь только осматриваюсь, гляжу в окошко и гуляю!

— Это не подобает замужней женщине, желающей принадлежать к числу порядочных женщин,— отвечает Оливер.— Куда тебе хочется, в танцевальный зал? Этому я могу поверить!

— А если даже в танцевальный зал? Если бы я туда заглянула на минутку?

— Да, и прихватила с собою девочек,— издевается Оливер.— Но куда я называюсь Оливер Андерсен, и куда я занимаю мой настоящий пост, этого не будет! Вот тебе мой ответ!

— Нет, нет,— отвечает Петра, сдаваясь.— Ты здесь распоряжаешься, и раз ты говоришь нет, так стало быть нет!

— Да, это так,— отвечает Оливер и пыжится.

— Но ведь мне можно навестить Марен Сальт?

Оливер приходит в ярость:— Я думал, ты понимаешь, что тебе нельзя ходить к этим людям, слышишь ты? И что ты не должна входить в этот дом! Об этом не может быть и речи! Ибо когда муж сделался управляющим, ты не можешь уже ходить, куда тебе вздумается, а должна приноравливаться к его положению. Я не потерплю этого, и ты должна зарубить себе на носу, что я этого не допущу!

— Нет, нет,— вздыхает Петра, и последнее слово остается за ним.

Но в глубине души Оливер был польщен, что жена попросила у него немножко больше свободы, именно был польщен. Ведь не все жены просят, многие просто совершают безумства, не сказав о том ни словечка...

ГЛАВА XVIII

События сменяются одно другим: фру консульша Ионсен идет однажды по улице со своей дочерью, обе довольны собой и другими — и вдруг, на поперечной улице она видит живописца, который писал портрет фру, сына судьи; они видят его под ручку с одной из дочерей консула Ольсена! Фру Ионсен женщина толстая, отяжелевшая, у нее ноги чуть не подкосились. Фиа же только говорит:— Да, они, я слыхала, помолвлены!..

Это одна из величайших неприятностей, которые фру Ионсен приходилось когда-либо переживать; хоть бы это был второй художник, сын маляра! Не думайте, никто из них не получил бы Фии, этого еще не доставало! Но разве можно так-таки уходить и устраивать этакое перед самым носом у Фии? И что она сказала на это? Она отнеслась к этому спокойно и промолвила: да, они обручились, я слыхала... Черт возьми, как это Фиа создана и устроена! Что она, взаправду холодное существо? Теперь недостает еще только, чтобы другой изголодавшийся мальчишка, сын маляра, пришел и стал умолять отдать ему Фию,— фру Ионсен показала бы ему на дверь и широко распахнула ее перед ним!

И что это за свет настал?..

Консул Ионсен принял это далеко не так близко к сердцу; он почти не обратил внимания, а выразился вроде Фии:— А, они помолвлены? Ну, не мешай мне! — После чего он опять уткнулся в газету и продолжал читать.

— Подумай, и это те мальчишки, для которых чего только мы не делали!

— Да. Но не мешай же мне, слышишь?..

Консулу было о чем думать и без того: этот адвокатишка и член стортинга Фредриксен интерпеллировал правительство: что он думает предпринять в виду многократных жалоб экипажей наших судов? Он не сослался прямо на случай с пароходом «Фиа»; нет, этого он не сделал; но он не скрыл, что и в его городишке ходят слухи о широком недовольстве судовладельцами. Это дело надо обследовать!

На консула Ионсена словно гром упал с ясного неба. Этот поверенный, этот небритый выскочка, он пользовался в его доме вином и расположением,— и за это заплатил изменой! Многого нужно вытерпеть, когда ты двойной консул и великий муж!..

Если бы консул Ионсен знал, что произошло перед этим, он бы так не удивлялся: он бы поблагодарил свою дочку за эту гнусную выходку члена стортинга! Вот, ходит себе дама, ходит фрекен Фиа, нарядная, нежная и невинная; а ведь она вызвала интерпелляцию в стортинге! Вот что бывает. А именно: адвокат Фредриксен не только получил отказ, когда присватался к ней,— она еще вдобавок подвергла его унижению. О, она не сделала это нарочно, но так оно вышло. Вот оно как бывает! А теперь г-на Фредриксена следовало обижать меньше, чем когда бы то ни было!

Он, правда, несколько удивился ее резкому отказу. Вот он добился, наконец, избрания в стортинг,— теперь он, стало быть, был уже не просто адвокат Фредриксен; но это, видимо, не произвело на нее никакого впечатления; она даже не попросила сроку подумать! Нет, сказала она с улыбкой, и замотала головкой.

Он, конечно, принял отказ мужественно и спросил: — Вы мне не оставляете надежды, фрекен Фиа?

— Нет, уж простите!

Он и это принял мужественно, как джентльмен, и спросил: — Стало быть, вы не свободны, фрекен Фиа?

Нет, она свободна.

— Вот как! — проговорил он и замолчал.

Он не понимал ее, не понимал этой девушки! Она явно действовала наперекор собственному благу!

В этой деликатной ситуации контесса не сумела найтись, она позволила себе сказать лишнее, наговорила глупостей, наговорила обидных вещей. Она, конечно, сделала это, чтобы смягчить резкость своего отказа; но намекнула, что она из хорошего дома, и не может решиться расстаться с ним.

— У вас опять будет хороший дом!

Нет, это не то! Все привязывает ее к дому, там она окружена образованными людьми, изяществом, иллюстрированными изданиями, старой культурой...

Адвокат посмотрел на нее. И уже не принял этого мужественно, а просто начал смеяться. Она позволила ему смеяться, ее это ничуть не смутило. Тогда он опять стал серьезен и проговорил: — Милая моя фрекен Фиа,

все, что вы перечислили, вы можете снова иметь! Неправда ли?

— Каким образом? — спросила она.

Ну... этого уже нельзя было стерпеть! Адвокат умолк, и умолк совсем.

Некоторое время после этого его редко видели на улице, он ни с кем не разговаривал, сидел у себя затворником, сидел дома и размышлял; о чем он теперь думал? Может быть, о прекрасном приданом, которое ускользнуло от него? Вполне возможно.

В стортинге он первые недели тоже был очень сдержан, голосовал он каждый раз правильно и глупостей не делал; но он безмолствовал. И, наконец, он снял печать со своих уст, заговорив о деле матросов и обнаружив, сколько внутреннего жара таилось в нем.

О, он говорил превосходно и тронул парламент, тронул людей и всю страну; его скорбь об угнетенных была так велика, дух его так гуманен:— Утверждают, что дело имеет две стороны; да, так оно именно и есть! И не мешает, чтобы изящные судовладельцы, эти люди тонкого обхождения и мнимой культуры, увидели и другую сторону дела. Суда совершают сказочные рейсы и загребают деньги, а экипажи получают тот же стол и уход, как встарь, когда люди были гораздо жесточе, чем теперь! И разве это труд, свободный от опасностей, разве это забава? Пусть правительство взойдет на борт наших торговых судов и посмотрит, в каком виде матросы возвращаются домой: кто не свалился от работы, тот ковыляет на одной ноге, иной без руки — служба сделала их калеками! Вот в каком состоянии возвращаются они к своим близким; оратор знает примеры этому в собственном городе! Когда же дело заходит о том, чтобы улучшить отвратительные условия, в которых живут эти люди, они наталкиваются на сопротивление своих хозяев! Где же гуманность, где же право и справедливость? Если правительство не может изменить этих гнусных условий, то стортинг может вырвать эту уступку — если захочет...

Представитель правой, конечно, возражал оратору; это была какая-то тень прошлого, возражавшая против преувеличений: — К сожалению, случается, что какой-нибудь матрос получает увечье; но ведь почти никакая работа не свободна от опасности! Он сам в молодости был матросом, почти все мальчишки в его городке должны были уходить в матросы, и у него остались не такие уж мрачные воспоминания о столе и уходе, которыми он пользовался...

Старческая болтовня, старые басни; адвокат Фредриксен, конечно, даже его и не слушал! Он пожалуй, не больше слушал и представителя правительства, который выступал затем. Этот человек не знал, что сказать, беспомощно барахтался в воде, он, мол, обратит свое внимание на это дело...

— Это уже кое-что! — воскликнул г. Фредриксен, и в этом смысле готов был даже благодарить члена правительства за его готовность пойти навстречу. По-видимому, с этим холодным замечанием он сел на место; может быть, он хотел показать, как мало ему это импонировало!

В газетном отчете говорилось дальше:

Председатель палаты кинул взгляд на часы и ошибочно решает, что дело кончено. Но вот встает представитель Телемаркена, неудержимый говорун; он протестует против окончания прений и заявляет, что и он хотел взять слово.

— Да, но тогда у меня нет надежды, чтобы мы скоро справились с этим вопросом! — говорит с улыбкой правый депутат.

Это подействовало. Но большинство только пришло в раздражение: — Неужели представителю горного края нельзя оказать поддержку адвокату приморского города, столь горячо принимающему к сердцу интересы угнетенных матросов?

После полудня адвокат Фредриксен одержал полную победу и добился назначения следственной комиссии. Это было, можно сказать, многообещающее начало; его избирательный округ мог гордиться им...

Консул Ионсен читает газету, швыряет ее прочь и опять поднимает. Давно уже он не находился в таком возбуждении; наконец, он передает газету Бернтсену и говорит: — Прочти эту болтовню! — Консул взбешен. Он царствует в своем городке, помогает налево и направо, берет на службу калек, содержит их детей в высших школах, проявляет милосердие, творит добро — и что он за это получил? Нападение! О, если бы только Шельдруп находился дома и взял на себя оборону! К. А. Ионсен устал; эту боевую жизнь каждый день приходится начинать сызнова, он больше не может...

И хоть бы было куда пойти! Опять к почтмейстеру? Да, если он хочет, чтоб его до смерти заговорили религиозной болтовней! Нет, лучше он уйдет к себе в сад и сделает вид, что уходил из дому на часок; потом он вернется в контору и начнет работу со свежими силами. Кто знает, может быть, это быстродействующее средство,

удачная догадка, внезапное наитие чуть не с неба — все может быть!

И консул действительно немножко успокоился в саду; там сидела его дочь во всей своей невинности, писала сирень и болтала с ним; ему приятно было, что она так хорошо это делает, так аккуратно работает, на него благотворно подействовало то, что она так довольна своей жизнью.

— Вот где ты сидишь и усердствуешь, Фиа?

— Да. Все для этой выставки! Не кажется ли тебе, папа, что я могу немного гордиться этой картиной?

— О, да!

— Мне тоже так кажется. А ведь это только начало!..

О, фрекен Фиа была удивительное существо, она пользовалась жизнью с величественной сдержанностью; пусть остается такою, как она есть, сама она думает, что этак лучше всего! Конечно, самые счастливые часы в ее жизни — это, когда он сидит в Национальной галерее, копирует картины и делает их похожими на оригинал. Если бы кто-нибудь захотел поинтересоваться ее живописью и написал о ней немножко в газетах, ей бы и не нужно было большего счастья, чем сейчас. Это была добрая натура, без желчи, она растворялась в доброжелательстве, ее честолюбие не причиняло ей мук.

Да, удивительное существо; ей, конечно, кое-чего не хватает, но и недостатки, казалось, обращались ей же на пользу. Было ли у нее чувство вины? Непохоже на то! Она была внутренне довольна собою, не делала глупостей, не раскаивалась, не обнаруживала грусти. Чего ей еще желать? Она писала картины и разъезжала, вот и все; в городах у нее были добрые друзья, она много пережила — но не многое. Некоторые находили ее чересчур ученою, неестественною: — Послушай, дитя, что ты родилась с уверенностью и аккуратностью, что ли? Но есть дозволенные и дозвоительные вольности, контесса; ты можешь, например, спокойно влюбиться, девочка! — Зачем это? — отвечала она.

Чего же ей было еще желать? Разве годы, ушедшие на живопись, не могли быть использованы иным образом? Но зачем это? Это были милые годы, годы поэтического призвания, она хранила в памяти эти годы, как наследственное серебро. Она стремилась, ни к чему не приходила, но продолжала упорствовать; она не могла и подумать о том, чтобы остановиться, свернуть в сторону; ей не нужно было отдыха от своей навязчивой идеи, только для этого

она и была создана! Нет, у нее не было ни малейшего чувства вины и никакого уныния...

И когда теперь ее стареющий отец сидит здесь и слушает ее, и видит свое отражение в ее мягкости и благодушии, он, пожалуй, думает про себя:— Кто его знает, не умнее ли Фиа нас всех? Ее так мало преследует и наказует судьба; а мы вечно копошимся в вечной борьбе!

— В стортинге ополчились на нас, судовладельцев,— говорит он.— Там рассказывают, будто мы морим голодом и калечим наших матросов...

Она не возмущается, но спокойно принимает это; опускает кисть и задумывается:— Вот как?— говорит она.

— Да, разумеется. Так это кажется непосвященным!

— Тебя это огорчает?

— Не то чтобы огорчало. Но мне это неприятно, я старею и все более изнашиваюсь, Шельдрупа нет. Но, Фиа, у меня, благодарение богу, есть еще ты! — говорит он в заключение.

— Если б я могла только пригодиться для чего-нибудь. Папа, ведь они не на *тебя* ополчились?..

— Меня не называли по имени. Но на меня довольно прозрачно указал наш собственный представитель в стортинге...

— Наш..?

— Фредриксен, адвокат!

— Вот как! — говорит она и еще больше задумывается.

— Не знаю, что я ему сделал, за что он так на меня обрушился...

— Это просто от недостатка культуры...— говорит она кротко.

Что это, разочарование или задняя мысль пробежала по его лицу при этом ответе? Он не тотчас же согласился с нею:— Культурность? Я не знаю, сколько у него культуры... В наше время в этом как будто нет надобности! Мы все теперь люди!

Она молчит. У нее появляется упрямое выражение, и он знает ее, теперь она не сдастся.

— Мне кажется, это лучшее из всего, что ты написала,— говорит он.— Так ты думаешь, что это недостаток культуры? Очень может быть, что ты и права. Скажи мне, впрочем — ты ведь не интересуешься адвокатом?

— Я?..

— Ну, конечно, я ведь знал это, ни капельки! Разумеется у его способности, и из него выйдет толк, но... Но если ни ты, ни мать твоя, ни я не интересуемся им,

то и не нужно, чтобы этот человек бывал у нас! Вот что я хотел сказать. Мы больше его не будем приглашать; поговори об этом с матерью, она раньше немного благоволила к нему...

Дело было сделано, и теперь он собственно мог уйти.

— Это правда, что он обручился, этот художник, — как бишь его звать? — со старшей или с младшей из девушек Ольсен? Ведь ты, Фиа, слышала об этом?

Она улыбается: — Я, конечно, первая услышала об этом. Между нами, папа: я ведь была посредницей между ними!

— Вот как! Ты, Фиа? Посредницей?

Вот как она это приняла!

Когда консул возвращался в контору, он не знал еще, что делать с адвокатом, и не заработал десяти тысяч на афере; но вид он имел такой, словно чего-то добился, и потирал себе руки, словно они у него чесались к работе. Это был чисто искусственный подъем. Он кланяется одному, другому знакомому, учтиво кланяется дамам — что ж, они отвечают, как отвечают великому человеку, они еще не читали об этом деле в стортинге... И вообще, дамы теперь не отвечают, как в прежние дни; они не потупляют глаз, как при прежних встречах, он постарел, молодые дамы теперь ищут непоседевших волос; ему надо отойти в задние ряды, он опустился на дно. Ну так что же! Он таков, как он есть!

Он вошел в контору, взглянул на часы и сел на свой стул. — Удивительно, как четверть часика отдыху могут освежить человека! — говорит он, словно сам верит этому. Но он еще далеко не успокоился, интерпелляция адвоката Фредриксена не выходит у него из головы. Недостаток культуры? Может быть, Фиа права. Она в самом деле была умницей, если руководилась интересом посредницы в этом любовном деле; черт побери, как умна эта девушка! Он ничего не имеет против того, чтобы она еще некоторое время воздерживалась от интереса к молодым людям; он сам знает, какая неукротимая сила — любовь, она еще успеет почувствовать ее!

Изувеченные матросы! Это, которых так щедро содержишь, которых принимаешь на лоно свое, которых кормишь! Если бы только Шельдруп был дома! Но Шельдруп — из числа современных жестких натур, он думает только о себе, теперь он пишет о намерении провести годик в Новом Орлеане.

А здесь, в конторе, уйма недоделанной работы, на письменном столе целый ураган писем, телеграмм и

коносаментов, мог бы ведь Бернтсен придти, взяться за эти груды, сбыть что-нибудь с рук! Консул состарился. Немножко износился, измучился, да и неудивительно! Но... старик? Да если он и старик, он таков, как он есть! Когда его волосы начали редеть, он начал фотографироваться в шляпе, в цилиндре.

Он встает и вызывает из лавки Бернтсена.

— Что это за молодой человек в студенческой шапочке стоит вон там?

— Это Франк,— отвечает Бернтсен.

— Франк?

— Которого консул поддерживает. Сын Оливера.

— А, вот какой!

— Он пришел к нам получать свой новый костюм. Ежегодный костюм.

— Вот как! Послушайте, Бернтсен, не можете ли вы взяться за это и немножко помочь мне? Смотрите, как эта куча растет да растет и покрывает меня с головой! У вас ведь легкая рука!

Бернтсен обещает урвать минутку вечером.

— Спасибо вам! Первым делом отправьте страховку за «Фию». Тут форменный хаос, а мне так много приходится думать. Вы прочитали газету? Что нам делать с адвокатом?

— Разве нужно что-нибудь делать? — спрашивает Бернтсен.

— Не знаю. Пожалуй, вы правы, не нужно ничего делать. Но ведь явится еще, пожалуй, комиссия и будет задавать вопросы!

— Тогда мы будем отвечать.

— Правильно! Отвечать по пунктам! И не можете ли вы, Бернтсен, взять на себя труд отвечать комиссии в этом случае?

— Хорошо!

Таким образом, дело попало в надежные руки, и консул чувствует, что с него свалилось огромное бремя. Ему стало так легко, что он снова чувствует себя властелином; ему хочется порисоваться, и он говорит: — Этого студента, Бернтсен, пришлите-ка сюда на минутку!

Франк входит и становится пред великим человеком.

— Это хорошо, что вы не слишком часто приезжаете домой,— говорит консул, «выкая» его.— Ведь вы очень заняты науками, неправда ли? Я вас даже не узнал, спросил Бернтсена, кто это! Удивительно, как вы выросли за эти годы! Вы студент; вам хорошо живется?

— Да, благодарю вас.

— Это меня радует! Все мы должны что-нибудь делать, вы в вашей области, я в своей. Что бишь я хотел сказать? Вы ведь, как молодой человек, будете остерегаться излишеств? — неожиданно говорит консул. — То есть, всякого рода легкомыслия... — добавляет он. О, этот консул Ионсен! Он умеет заставить улыбнуться даже могильный камень, он говорит затем: — Да, конечно, вы будете остерегаться, вы будете благоразумным юношей, будете избегать соблазнов. Я ожидаю этого от вас!

Франк не улыбался; он стоял, высокий и тонкий, глубоко склонившись, как в церкви, и отвечал корректно и вежливо «да» или «нет» в нужных местах; он произвел на консула наилучшее впечатление. Хотел ли тот, чтобы этот молодой человек унес с собой благоприятное воспоминание об этой встрече со своим благодетелем? Кто знает; может быть, это окажется благодетелю на пользу в будущем, если ему будет грозить новое нападение. Во всяком случае, маленькая речь не повредит!

Консул мог с полной добросовестностью ухватиться за этот случай, показать свои моральные взгляды: — Бывают благородные удовольствия, и пустые удовольствия, — говорит он; — в последние годы я пришел к тому выводу, что истинные удовольствия — это в доме и в семье. Без остальных удовольствий можно обойтись, если этого серьезно хотят. Так говорит мне мой опыт!

О, этот консул Ионсен! Он, конечно, уже был в той поре, когда люди остывают; и теперь, когда его постепенно оставили вожадения, он не хочет упускать выгодной позиции человека, «преодолевшего» их. Настолько он купец!..

Впрочем, в душе консула не одна пустота и суетность; он сердечный человек. Так, один момент он подумывал предложить стул молодому студенту, но раздумал; он сделал нечто лучшее: он пошел к денежному ящику и вернулся с кредиткой, большой красной кредиткой, которую он презентовал ему с такими словами: — Сделайте милость, возьмите на мелкие расходы! — И Франк отвесил низкий поклон, которому он в свое время научился от учительницы танцев.

— Этого не стоит разглашать, — говорит консул; — ведь в писании сказано, что одна рука не должна ведать того, что творит другая, неправда ли?

— Да.

— О, люди! Но мы должны стараться поступать как можно лучше! Ведь вы хотите стать пастором?

- Нет, это еще неизвестно...
- Вам это неизвестно?
- Мне легче даются языки.
- Языки?
- Филология.
- Так. Это может дать будущее. Так!..

Но для консула это прозвучало как-то странно; подумалось ли ему, что он напрасно трудился произносить свою нравоучительную речь, или же он опасался, что языковед не принесет ему в будущем такой пользы, как пастор?

Он вежливо отпускает юношу: — Ну, мне пора за работу! — Но он не гонит его, он продолжает ласково: — Подумайте, не лучше ли вам стать пастором! Я ведь собственно не поступал дурно против вашего отца или против вас, я не против никого не поступаю дурно. Но чем вам сделаться, это вам самому надо решить, я могу только немножко посоветовать вам! Прощайте, молодой человек!

ГЛАВА XIX

Молодой человек отправился в лавку и вновь принялся рыться в готовом платье. Так как он был тонок и узкоплеч, то без труда нашел подходящую куртку; но так как его сильно выгнало вверх, и он был чересчур долговяз, то брюки, принадлежавшие к этой паре, оказались слишком коротки! По мерке нашлась одна сюртучная пара, но Бернтсену она показалась слишком дорогой.

Добрый Бернтсен не всегда был таким, каким он казался; он кроток и благожелателен по отношению ко всем — но отнюдь не как агнец! Его аккуратность, его беспрестанная забота о пользе предприятия делала его иногда стеснительным даже для хозяина; даже фру Ионсен неохотно обращалась к Бернтсену, а скорей к одному из приказчиков, когда ей нужно было что-нибудь взять в лавке. Она не находила удовольствия пересматривать материи и галантерею вместе с Бернтсеном. Но он был дьявольски ловкий коммерсант!

— По-моему, ты слишком молод, чтобы ходить в сюртуке, — сказал он Франку. — Я представляю себе, это было бы к месту года через два!

Франк возразил, что Рейнерт ходит же в сюртуке, хотя он моложе его!

Это не помогло. То, как одевается Рейнерт, сын часовщика, не указ и не пример для всех прочих; он когда-то ведь щеголял и в коротких панталонах! — Впрочем, — кротко говорит Бернтсен, — с Рейнертом дело обстоит иначе; за него отец заплатит!

Мальчик Франк давно привык понимать и сносить отказы; они его не очень огорчали, они только ставили его на свое место, и он очень редко позволял себе заходить далеко; если это случалось, он тотчас же шел на попятный. Он знал ведь, что не останется в убытке! И теперь он взял костюм, который ему указали, и поблагодарил. Да и что ему костюм? В голове у него были другие, более возвышенные предметы!

Рейнерт поджидал его снаружи; оба студента вместе ходили по улицам, не потому, что они были закадычные приятели, но потому, что оба были студенты. Нет, они не были закадычными друзьями! Оба были даровитые, блестящие языковеды; но считалось, что Франк значительно обогнал Рейнерта. Этого превосходства Рейнерт не мог признать, не мог вынести; оно иногда озлобляло его и даже рождало желание мести! Но была область, в которой он был впереди, хотя был моложе годами: у девушек, у дам! Разве Лиллелидия могла устоять против него, или девочки с верфи? Здесь ему сослужило службу то, что у него был вкус к нарядам и красивому платью, к крахмальному белью, к обуви с острыми носками; кроме того он был смел и не застенчив; его никогда не смущали реприманды! Ему и в голову не пришло свернуть в проулок, когда они встретили Гейбергову Алису; он поклонился ей и остановился. Вот как он поступил!

Тут наступил черед Франка стусеваться; он не получил от девушки ни единого слова, едва удостоился взгляда! Он, конечно, должен был остеречься бросить взгляд на церковную колокольню, чтобы узнать, который час, ибо у Рейнерта была манера вынимать часы и поблескивать новым медальоном, в который оправлена была прядь волос; разумеется, дамы сейчас же начинали просить показать им локон, они были такие глупенькие! Франк шел с новым костюмом под мышкой и с крупным кредитным билетом в боковом кармане; на этот раз он чувствовал свое превосходство и спросил даму: — Как вам жилось в последнее время? — Благодарю, — ответила она... Рейнерту. О, Гейбергова Алиса была совсем не так глупа, как прочие!

— Я только забегу домой с этим пакетом, — лукаво говорит Франк; — я сейчас же вернусь!

Теперь Рейнерт не имеет повода сказать: — Ты уже уходишь домой? Ведь еще рано; дай-ка, я посмотрю! — Но нет, Рейнерт не такая тонкая душа, отнюдь нет; он отвечает: — Я даю тебе полчаса сроку! — и вынимает часы...

Франк вернется через полчаса; конечно, он вернется!

Дома он чувствовал себя больше в своей тарелке, он был тут первым, перед ним ходили на цыпочках. — Посмотрим, какой костюм ты получил в этом году! — говорит мать, — надень-ка его сейчас! — Франк рассказывает, что его вызвали к консулу; мать и бабушка горят любопытством и начинают расспрашивать: — Что ему нужно было? О, консул! — Франк проявляет равнодушие, то он отвечает, то нет; иногда молчание является лучшим ответом! Они так разочарованы, что он не хочет пойти в пасторы; бабушка не может понять, как это так, раз у него такая светлая голова! Тут Франк улыбается, этакой чуть заметной и грустной улыбкой; какой-то намек на улыбку! Девочки поглаживают его костюм; славные пуговицы, говорят они; треугольничек красной шелковой ткани торчит из наружного бокового кармана, он крепко пришит там раз навсегда, это носовой платок! Брюки коротковаты; мать исправит это, выпустит запас, она тотчас же принимается за работу, потому что Франк желает навестить школьного заведующего. Но бабушка погружается в глубокое раздумье; она качает головой, бормочет про себя и вообще недовольна чем-то.

— Так они и сказали, — ворчит она.

— Что такое?

— Что ты не будешь пастором. — Она, конечно, имела в виду женщин у колодца...

Франк промолчал. И это был хороший ответ!

— Ты дай Франку обдумать это, — говорит Петра, которую еще не совсем покинула надежда.

О, но Франк не даст себя уговорить, его решение твердо; оно твердо, как камень, оно неискоренимо, он дни и ночи размышлял об этом; молчите, он знает свое призвание!

Он отправляется к заведующему школой. Брюки были и остались короткими; куртка висит на нем так, словно ее прикраивали на грамматики с «несвободными формами». Он торчит во весь свой рост, у него странная наружность; на нем шапочка, изобличающая, как мандаринский шарик, его принадлежность к особой касте. Так как дорога к школе была перестроена с той поры, как он в последний раз приезжал домой, то он немного заблудился, и вдруг

останавливается перед одним домом. Он говорит самому себе и женщине, стоящей в дверях:

— Я так задумался...

— Куда тебе надо? — спрашивает женщина.

— В школу, — кратко отвечает он и сворачивает в сторону.

— Так тебе надо вон туда! — говорит ему женщина вслед.

Странно, что она не узнала его! Или она его знает? Во всяком случае, она не настолько знает его, чтобы фамильярничать с ним, «тыкать» его и указывать дорогу, не будучи спрошенной!

Школьный заведующий работает перед экзаменами; он сидит в шлафроке и туфлях и наслаждается синтаксисом, он отдыхает. Нет ничего лучше на свете, как вот такой спокойный и милый синтаксис иностранного языка, такой чистый, без волнений, без выдумок!

— Войдите! Это ты, Франк? Вот это мило! Знакомо это тебе, дядя Франк? Только что получил, блестящая вещь! Мне нужно было иметь этот синтаксис до экзаменов, а я сидел, трудился и готовился по старому! Дело в том, что дочка преподавала за меня французский почти весь год, и мне пришлось все перечитать к экзамену. Такова уж наша специальность, что стоит нам немного отстать, как мы уже все позабыли! Но, боже, как приятно вновь погрузиться в нее, неправда ли? Преклонить колени в прохладном храме и причаститься божественной мудрости!..

Школьный заведующий постарел за эти годы, он стал седым ребенком с угасшими глазами под очками. Он был доволен Франком, он слышал о нем только хорошие отзывы, желал ему дальнейших успехов, возлагал на него величайшие надежды. О, с таким усердием, какое он проявлял, он добьется славного будущего; нет ничего невозможного в том, что он когда-нибудь сделается заведующим вот этой самой школы, из которой он вышел!..

Старый филолог был очень скромный человек; его жизнь и самый образ жизни приучили его к смирению, никто меньше его не мог бы чваниться филологией. Он никогда не называл исследователей, великих умов языковедения, может быть, ничего в них и не понимал, едва ли даже знал их имена, на что ему гении! Его призвание заключалось не в том, чтобы делать открытия; ему надо было только учить, только учить! Учить ровно настолько, чтобы существовать, учить ровно настолько, чтобы провести детей от уроков к экзаменам. Свою задачу школьный

заведующий выполнил ведь! Скучное и печальное существование; бедность и духовная темнота, изнурительный труд и слепота! Если бы это хоть была душевная болезнь, судьба, глупый каприз неба,— но нет, это было от человека, от обезьяны...

Впрочем, школьный заведующий заговорил о других, подающих надежды, учениках, о парочке таких, также с блестящими способностями к науке, прямо колоссальными! Франк пошел уже так далеко, что школьный учитель мог интересоваться новыми экземплярами даровитых детей. Прощай, братец, Франк, храни тебя бог!

Франк идет домой; он тоже доволен и чувствует себя превознесенным. Он не имел случая высказаться в пользу какой-нибудь специальности; старый языковед, вероятно, убежден, что он пойдет по филологии — как же иначе? И в сущности, не все ли это равно, раз он читает и учится: ведь вот в чем настоящая цель! Франк покидает заведующего школой, заведующего большим каменным зданием, и идет домой.

Вечером приходит отец из склада и Абель из кузницы; для Франка это не меняет дела, у него есть каморка в старом доме, для жилья и отдыха. Предполагалось, что он будет заниматься на каникулах чтением и работой, будет штудировать, повторять, купаться в языках; и он это действительно делал! Когда его звали к столу, он всегда что-нибудь приводил в виде отговорки, глядел страшно ученым человеком, не от мира сего. Но все же не скоро отваливался от обеденного стола...

Он приходит с какой-нибудь пустой жестяной и спрашивает: — Как вы думаете, что тут написано? — Нет, этого никто не знал. Но мать узнала марку по памяти, из времен своей службы у Ионсенов, и угадывала: — Семга, что ли? — Да; но теперь это не по-английски! — обиженно отвечал Франк. Мать ведь подорвала его ученость своими практическими знаниями! — Теперь стоит: Семга из Аляски! — Тут вшивается отец — ведь он был матросом и многое знает!

— Ведь Аляска — это такая страна! Как же мне не знать Аляски?

Жестянка не доставила Франку триумфа!

К нему обращались с другими непонятными вещами. Мать пришла с катушкой ниток, пожалуйста: *Brook Brothers, 5 yards*. Отец опять вмешался, и не сумел пощадить своего сына; он перевел надпись и напыжился. — Матросский английский! — бросил Франк. В конце концов,

со стороны Оливера, отца семейства и хозяина дома, недобросовестно было помнить английский; он убил торжественность и мистику момента тем, что перевел жене надпись на ее бумажке с иголками: *Silver Eye*. Это следовало напечатать строчными буквами,— объявил Франк. Отцу это было непонятно! — Почему строчными буквами? — спросил он. Франк дал на это единственно правильный ответ: он промолчал. И вдруг он получил заслуженное удовлетворение. Мать притащила коробку, которую она получила в лавке, на ней значилось: *Toilet Soap. Superior*. У Оливера машину застопорило, он не понял ни единого слова! Франку пришлось торжественно перевести надпись.

Его брат Абель сидел тут же, ничего не понимал в этой комедии и не говорил ни слова. Какая разница между братьями! На момент в ученом сердце студента шевельнулось, кажется, сострадание к брату; он так недавно приехал домой, и не хотел быть невнимательным к нему.

— Да, да, Абель,— проговорил он,— тут никакого колдовства нет, ты, наверное, знал бы столько же, как я, если бы изучал! — Абель как-то загадочно улыбнулся и покачал головой.

Родные при всяком удобном случае пользовались знаниями Франка; ученость поселилась в доме Оливера. Замечательно, что никто из соседей не являлся с просьбой перевести какое-нибудь загадочное, иностранное слово в газете или на пачке чая! У них не было вкуса к образованию, к умственности, это был ленивый и мешковатый народ. Вот какова была среда, окружавшая Франка!..

Однажды вечером, придя домой, Оливер сказал: — Когда ты пообедаешь, Франк, и будешь сыт, мне нужно будет кое о чем спросить тебя! — Обед прошел в некотором напряжении; только Франк сохранял спокойствие, он не сомневался в том, что сумеет ответить!

И вот, момент наступил: Оливер выложил что-то на стол. Старый греховодник положил на стол игральную карту и спросил, что написано на футляре! Значит, игральная карта? Женщины обиделись на него, но Оливер утишил бурю: — Вы там, придержите язык! — сказал он.— Я наперед знаю, что вы скажете, и я не стал бы брать этой вещи в руки и тащить ее в мой дом, но меня попросил Олав с лужайки!

Франк не обиделся, он спокойно отнесся к этому. В последнее время ему не приходилось демонстрировать своих колоссальных познаний в языках, и он ничего не

имел против новой демонстрации. *Whist a 52 Blatt. Verzierte Asse.* Ну, Абель, как ты думаешь, что это означает? — спросил Франк, все еще благожелательно. Абель опять загадочно усмехнулся и не сказал ни слова. Франк начал: — Собственно, тут три различных языка! — И после этого он объяснил значение всех слов до последней буквы, ни на минуту он не усумнился. Это было баснословно! Между тем, Абель взял в руки засаленную колоду и показал, что это самые обыкновенные тузы; как иначе это можно было понять? При этом Франк стал задумчив и не начал спора: — Но я могу прочесть основной текст!

Оливер молча слушал это и воскликнул: — Бесподобно!

Все посмотрели на него, и он, конечно, сам почувствовал, что пересоллил; Франк отнюдь не имел сияющего вида! Но ведь и Оливер раньше осаживал сына и донимал его своим английским! Теперь он опять хочет превознести его; он умел ладить с детьми, он воскликнул восторженно: — Нет, что за голова на плечах у моего сына!..

Что это, Петра приревновала? Она всплила при этих словах Оливера и вскинула голову:

— Твой сын?

Оливера как громом поразило, у него вытянулось лицо, углы губ повисли, жирные пальцы безжизненно легли на стол.

Петра объясняется: — Он ведь не только твой сын, он и мой сын!

Оливер медленно приходит в себя: — А кто же говорит иначе? Разумеется, это так, он и твой сын! — И Оливер окончательно успокаивается; он справедлив и не хочет делать разницы между сыновьями, он привлекает к себе Абеля и говорит: — Да, когда я смогу отослать вас, мальчиков, от себя, отдать вас в полезную науку, в ученье, то скажу, что я сделал свое! Большого я не могу совершить!

На следующий вечер Оливер объяснил, какая была связь с тузами: — Этот бродяга Олав с лужайки из пакости втиснул в футляр фальшивую колоду и воображал, что он сможет надуть Франка! Но Франк был прав. Ты, Абель, тоже был прав, потому что тузы везде одинаковы, по всему свету, насколько я его мог изъездить! Выходит как я сказал: науку вы, слава богу, знаете!

Франк, однако, и теперь не просиял, эти домашние сеансы мало давали ему. Да и имели ли они вообще смысл! Ни длины, ни широты, узкая рамка: отец, мать, брат, две сестры и бабушка!

Он начал перебирать свои учебники; математика, сказал он, — это высшее, до самых небес, исчисление! Он даже принялся читать им вслух геометрию, алгебру, о производных функциях, об интегральном исчислении, о круге, кривизна которого равна кривизне дуги в данной точке, радиус которого называется радиусом кривизны...

Оливер уничтожен и говорит: — Это звучит так, словно на свете и человека нет, который так бы выражался! И это вы должны учить?

— Мы должны учить все!..

Франк перерос свое сословие и говорил как помешанный. Себя он понимал, а речь других — как болтовня сороки! Чем это кончится? Он спрашивает Абеля: — Ведь в здешнем городке не найти ни одной иностранной газеты?

— Этого я не знаю, — отвечает Абель. — Но у городского инженера бывают газеты.

— Иностранные? На иностранных языках?

— Этого я не знаю. Но есть норвежские.

— Норвежские!.. презрительно бросает Франк.

В этом матросском городке все знают по-аглицки, кто тут не знает по-аглицки! Но юноша Франк всего знает слишком много; ему не с кем общаться, кроме себя самого, он должен самого себя спрашивать и отвечать, кивать, качать головою, сомневаться и верить в одиночестве! Иногда до бабушки на старой половине дома доносился стон; он шел из каморки, он шел от скалы, от человека, стонавшего в узах!

Абель был невероятный простака, он взял книгу и спросил: — Что это за книга?

— Латинская. Ты этого не видишь?

— Значит, она напечатана по-латыни?

Франк молчит.

— Хочешь поехать с нами в воскресенье на парусной лодке? — спрашивает Абель.

Франк с сомнением покачивает головой: — Кто еще поедет?

— У нас будет компания.

— Кто-нибудь с верфи?

— Зачем с верфи? Нет, они маленькие. С нами будет Лиллелидия.

— Лиллелидия! — презрительно говорит Франк.

Невероятно он прост, этот Абель! Он не находит очарования в чтении книг, рассуждает, как кузнец. Лиллелидия, говорит он! Франк никогда не интересовался парусными катаньями, теперь он еще меньше интересуется ими, он

привык держаться особняком. Он даже уже не гулял с Рейнертом, студенты жили теперь каждый сам по себе. Этот Рейнерт слишком скоро начал задирать перед ним нос на улице, он ходит в сюртуке, с медальоном, болтает, как взрослый; однажды он поздоровался с Фией Ионсен и сделал ей комплимент насчет ее шляпы! Это было уж слишком, фрекен Фия молча прошла мимо! Франк стоял порядочно в сторонке, когда это произошло; но Рейнерт нагло втянул его в этот скандал тем, что громко рассмеялся и сказал: — Посмотри-ка, Франк!

Франк тотчас же пошел домой.

Нет, у него были дела помимо того, чтобы таскаться с Рейнертом, кланяться девушкам, дамам и провожать их домой! Пустое удовольствие! Зато он время от времени ходил на верфь; он стал вхож к Генриксену, который уважал образованных людей; он иногда прогуливался со старшей девочкой, с Констансой, и рассказывал ей разные происшествия из более высокого света, чем тот, в котором она жила. Констанса была еще девочка, еще не взрослая; но право же, она была очень развита и благодарно слушала его повествования о высшем свете! Это были приятные прогулки. Франк деликатно вел себя у Генриксена, говорил «сделайте одолжение», «виноват», получал папироску и вынимал ее изо рта, когда начинал говорить, пил кофе и деликатно при этом отделял мизинец. Тут не могло быть и речи о настоящей влюбленности, только маленькое сердечное волнение, приятное на вкус. Он видел, к чему может привести такой пыл, как у Рейнерта; его сердце высоко подпрыгивало среди бела дня на улице, у него являлось легкомысленное желание петь, насвистывать! Нет, Франк держал влюбленность на почтительном расстоянии от себя!

Когда настало воскресенье, и Абель пришел домой, чтобы забрать сестер на морскую прогулку, он еще раз спросил Франка, не поедет ли он с ними.

— Нет!

— У нас с собой провизия; мы сделаем высадку и будем танцевать. Карандаш берет с собой гармонику!

— Нет!

Однако, Франк долго смотрел им вслед, когда они ушли со двора; он почувствовал в себе легкое просветление, отсвет какой-то жизни, вне которой он себя поставил! Бедняга, он с самого начала стал на ложный путь! Он видит голубую жилку, бьющуюся в глубине его запястья, грудь его расширяется, но в восемнадцатилетнем детском мозгу своем он ощущает какую-то странную дряхлость.

Бабушке, сидевшей дома, понравилось, что он отказался участвовать в прогулке; это уже был как будто шаг в направлении того, чтобы сделаться пастором! Бабушка получила приказ не беспокоить студента, но теперь она робко отворяет дверь с чашкой кофе и просит его не побрезговать.

Это оказалось очень кстати.

— И ты хорошо сделал, что остался дома! — говорит она.

— Да, что бы я там делал? — отвечает он.

Он не сомневается в том, что не сделал ошибки; оставаясь дома, он ведет себя благоразумно и правильно. Он не знал, что не ошибается только тот, кто ничего не делает!

И он опять уткнул нос в книги. Но приемы пищи отнимали у него много времени. Призывы к столу возвращали его к действительности и напоминали ему, что он голоден; но это он ведь и раньше знал.

ГЛАВА XX

Возможно, что Абель ошибся, устроив это катанье на парусах, Лиллелидия не приняла в нем участия, и день был испорчен. К вечеру Абель пристал к зеленому островку, прыгал и танцевал, громко кричал и дурачился; но когда он очутился дома, ему захотелось сейчас же разыскать Лиллелидию и потребовать у нее отчета. Он не застал ее дома, это был воскресный день, Лиллелидия сидела у Карлсена из полиции и упражнялась в игре на пианино.

Ладно!

На следующий вечер он опять пошел к ней и не застал ее. Она ушла; сетры были дома.

Лиллелидия должна была знать, что он желает говорить с ней, но она не шла к нему навстречу, она избегала его! В таком случае, было естественно, что она уходила; она будет дома на третий вечер.

Нет!..

Абель смирился. Ему, конечно, по-прежнему казалось, что мир — такое место, где можно еще пожить, но это был неинтересный мир, и жизнь в нем — штука свинская и ненужная. Сегодня он видел Лиллелидию вместе с несколькими другими девушками и Рейнертом — Рейнертом, этим сыном часовщика, который постоянно волочит за девушками — да, именно с ним Абель видел Лиллелидию! Вот это

мило! Этого Рейнерта надо отделать за его наглость, а Лиллелидию надо спасти! Абель сделает это, он спасет ее. Но это не делается молотом, это делается при помощи терпения и большой хитрости! Если нельзя постоянно ездить по гавани, так надо заверповать в гавани! Он решил больше не ходить к этой девушке; от этого он далек теперь, он хочет случайно встретить ее на улице. Но когда он в течение еще двух суток так и не успел повидать ее, он все-таки направил свои шаги к знакомому двору!

За этот промежуток времени он смирился и вновь воспламенялся, смирился и загорался много раз, минутами даже приходил в ярость; но когда он застал девушку, он мог только сказать ей: — Ну ты, наконец, нагулялась? Когда мы поженимся, ты запляшешь иначе! Почему ты в воскресенье не пришла на прогулку?

Может быть, Лиллелидия ждала его в этот вечер, должно быть, она настроилась на полное дружелюбие; она улыбнулась и кивнула ему в ответ, когда он поздоровался, и проговорила: — Это ты, Абель?

Это обезоружило его. Собственно, он должен был свести счеты с одним человеком, но он остановился и даже немного разинул рот.

Зато Лиллелидия не поколебалась обратиться к действительности: — Если я не пришла на воскресную поездку, так это было потому, что мне надо было играть на пианино! Я не могла делать разом и то, и другое!

— Нет, — сказал он. И к тому же он хорошо знал, что она не играла весь день напролет, а только вечером. Кроме того, она обещала его сестрам поехать с ними, и не сдержала слова! Черт один разберется в этом!

Она сидела на шатких ступеньках крылечка и шила, накладывала заплату или починая что-то в платье, она была рукодельница. Потом пошло так, как обыкновенно бывает; ей ясно было, что на нее нападают — и зачем ей терпеть это? Этот кузнечный подмастерье и его сестры воображают, конечно, что они ровня ей — так пусть они в этом разуверятся: — Мне побольше твоего приходится учиться! — сказала она. — Ты думаешь, пожалуй, что на пианино играть легко?

— Нет, — промолвил он.

— Одни уж ноты страшно трудны! А потом, эти упражнения...

— Но зачем тебе учиться этому?

Ах, какой он простак: зачем ей учиться! Потому, что все лучшие люди учатся этому! Она училась танцевать,

она должна учиться музыке, вышиванию, пришивать кружева к сорочкам, мало ли чего ей надо изучить! Даже с искусством носить зонтик люди не рождаются; ей нужно упражняться в этом, и немало! Сестры ее тоже учатся да учатся, они тоже не желают быть последними, они сидят дома, сидят и ждут штурмана, торгового служащего. Вот как ведут себя порядочные люди!

Лиллелидия не обиделась на слова Абеля, но она промолчала.

А Абель стоял, как вкопанный.

Она на мгновение отставила от себя свой наперсток, он взял его в руки и симпровизировал вопрос: — Что это такое, все в жилках?

— Это? Это слоновая кость.

В нем мало был развит вкус к слоновой кости; самое пышное, о чем ему доводилось слышать — это был храм Соломонов, но никак не наперсток. Между тем, какой-то черт засел в него, он выпустил из рук драгоценный наперсток, погладил рукой легкую синюю материю платья, которое она держала, и проговорил: — Насколько я понимаю, это парча!

Она мгновенно ощутила это как колкость — да так оно, может быть, и было! — и отвечала: — В этом ты ничего не понимаешь!

Молчание.

— Нет ли тут еще ступеньки?— спросил он.

— Ступеньки? Ты хочешь сесть? Сделай милость!

Она поднялась и освободила ему место.

— Нет, я не это имел в виду,— отказался он.— Если на ступеньке нет места для нас обоих, так я могу постоять.— Впрочем, он уже начал и продолжал: — Вот что я хотел сказать: твоя игра на фортепиано — не дело. На что она тебе нужна будет, когда мы поженимся?

Право же, она так и опустилась на ступеньки, стала маленькой, как точка, и прошла добрая минута, прежде чем к ней вернулся дар слова: — Как! С тобой?

Он испытующе смотрел на нее, словно изучал ее беспристрастно. Он не понимал, что она провела его за нос; немножко, разумеется, но взяла его за нос, повернула к выходу и дала ему уйти.

— Я никогда не выйду за тебя,— сказала Лиллелидия.

Из этих слов Абель понял, что она ему отказывает; но он продолжал стоять и смотреть на нее, неотступно смотрел на нее и помаргивал глазами. Странная у нее была манера говорить, словно она не хотела его в мужья!

Пусть поступает, как хочет, скатертью дорога! Он простоял несколько времени в мрачнейшем настроении.

Лиллелидия подняла глаза, кивнула, улыбнулась и промолвила: — Я это вправду говорю! — В таком случае, не оставалось сомнения, что она хотела быть грубой, и ведь это было не нужно, она могла смягчить это немножко: — Ты бы мне помог, подержал! — сказала она и протянула ему складку платя.

Нет, он не пошевелился.

— Ты слышишь? — проговорила она и кольнула его иголкой в икру.

Он подскочил, и — черт возьми, ведь это понятно, — разозлился, прямо взбесился! Не сказав ни слова, а только вскрикнув «ай», он стоял с минуту, закусив губу и готовый наговорить бог знает чего. Его не смягчило и то, что Лиллелидия расхохоталась. Черт возьми, как это случилось, что он, стерпевший змеинный укус и часто наколачивавший себе кровавые волдыри в кузнице, подскочил от укола иголки? И тут она поняла, что должна как-нибудь загладить дело: — Слушай, ведь Рейнерт — сушая обезьяна! — проговорила она.

Это привело Абея в чувство, это напомнило ему, что он должен спасти ее, спасти Лиллелидию. — Да, — сказал и он.

— Задавака!

— Да. Разве ты этого раньше не знала?

— Но он славный парень! И какие у него красивые кудри!

— Ну, может быть, он тебе нравится?

— Мне? Мама говорит, что он очень развился. И, кроме того, он такую уйму выучил!

— Ха, ха, ха! — засмеялся Абель. — Вздор! — проговорил он. — Он-то выучил уйму? Я знаю во сто крат больше его, если хочешь знать! Да! Я не так силен в книгах, но во сто раз больше смыслю в других вещах!

— Да, в других! — насмешливо проговорила она.

— Во сто раз больше, помни это! И ты увидишь, что он не делается пастором! То же и с Франком, и он не будет пастором! Этаким пономарь! И если ты полагаешься на того, кто корчит из себя большее, чем он есть на самом деле, то ты просто глупа, вот что я скажу тебе!

— Я? Да мне и в голову не приходит интересоваться им!

Это меняет дело, и Абею сразу стало легче на сердце; он готов расцеловать ее, право же, расцеловать прямо в губы! Вот она сидит! Но расцеловать девушку врасплох

трудно, это требует технической ловкости, нужно поймать момент. Нет, он вместо этого взял точильный камень, стоявший у стены, поднял его — из шалости или от прилива нечеловеческой силы — из стойки и положил ей на колени.

Говорят «онемела от неожиданности»; но он никогда не слышал такой оглушительной немоты! Она кричит, Лиллелидия, ревет, от злости она становится чужой и некрасивой! Ничего не оставалось, как снять с ее колен точильный камень и положить его на место...

— Свинья! — шипит она. — Ты смеешь?..

— Хе, хе, хе! — смеется он сконфуженно и огорченно. — Видела ли ты когда-нибудь, чтобы я продельвал подобное? — Впрочем, Лиллелидия иногда удивительно быстро приходила в ярость от какого-нибудь пустяка. Она сама не была такой. Это она, конечно, унаследовала от матери!

— Смотри, как ты свински замарал мою работу! — говорит она. — Только что выстиранное платье!

— Я отнесу его к колодцу, — предложил он.

— Идиот!

Ему хочется успокоить ее, он туманно намекнул на свои чувства к ней, сказал, что он любит ее, он готов для нее обегать все колодцы в городе, она должна извинить ему эту выходку с точильным камнем...

Она встала и отряхнула платье, смела с себя песок, опять опустилась на ступеньки, так что они затрещали, и молчала.

— А впрочем, — проговорил он, — я ведь не хотел этого сделать! Не нужно так близко принимать это к сердцу!

— Вот как? — сказала она и сердито взглянула на него. Ее глаза пронизывали его насквозь.

— Любопытно было бы знать, где теперь находится твой брат Эдварт? — спросил он.

— Молчи!

— Когда он возвращается домой, ты не знаешь?

— Молчи, слышишь ты? Закрой рот!

— Пусть так, — промолвил он и потупился. — Ты скажи только, чего ты хочешь! — И он опять ушел в себя.

Но долго это не могло продолжаться. Спустя минуту она вдруг поднялась и опять начала сбивать с себя песок, словно еще не привела себя в порядок. Но она почти укротилась, и даже слегка улыбалась.

Они ведь были не особенно старые люди! Если ему было девятнадцать лет, то ей было всего семнадцать или около этого! Или, если правду сказать, ему было всего

шестнадцать лет, то ей было и того меньше! Что это за возраст? И вот они стоят друг перед другом...

— Что ты хотел этим показать, сумасшедший? — спросила она со смехом.

— Хотел? Этого я не знаю!

— Зачем же ты не садишься, слышишь ты? — сказала она, и села сама.

Теперь настал его черед помолчать, он только стоял и опирался на перила. Но когда она опять протянула ему складку платья, чтобы он подержал ее, пока она пришьет, он взял и подержал. Потом она указала на его руку и промолвила: — Странная у тебя растительность на руках!

— Странная? Нет, она хороша!

О, эта растительность! Она появилась в жару кузницы, это был черный мех, он гордился им, у его сверстников этого не было, он их перерос, они отстали от него! И какие же у него стали руки мужчины!

— Я собираюсь пройти полную выучку у кузнеца Карлсена, — сказал он. — Что ты об этом думаешь?

— Не знаю. Долго это будет тянуться?

— Это недолго. А потом я смогу получить кузницу за дешевую цену, — так говорит Карлсен. Он поможет мне в этом!

— Кузница, на что она тебе? Ну, да, ковать в ней! Но разве ты будешь этим заниматься всю жизнь?

— Что-нибудь лучшее не так-то легко найти. Не думаю, чтобы другие успели больше!

— Но ты сделаешься таким черным!.. — сказала Лиллелидия.

— Когда время придет, и мы повенчаемся...

Она не всплыла, нет; но она решительно оборвала его: — Из этого ничего не выйдет!

...то будут средства обзавестись домком! — заключил он.

— Никогда!

— Почему? — спросил он, не понимая.

— Я не люблю тебя, — ответила она.

Он взглянул на ее руки, заглянул ей в лицо, и задумался. — О, это уладится! — сказал он таким тоном, словно она могла считать это дело решенным.

Но Лиллелидия не даром была дочь своей вспылчивой матери, она не могла позволить распоряжаться собой: — Пусти! — скомандовала она и дернула за платье.

Ну, конечно, такие пальцы не могли же разжаться от ее слабого усилия!

— Ты не слышал, что я сказала? Пусти!

— Ну, тебе стоит лишь сказать, чего ты хочешь...

Он отпустил полу платья, и опять между ними пробежала черная кошка.

— Как тебе не стыдно! — промолвила Лиллелидия.

Он ответил как взрослый: — Мне ведь в конце концов не больше двадцати лет, если хочешь знать! А может быть, нет и двадцати.

— Что ты выдумываешь, бог мой! — воскликнула она. — Да ведь ты почти что ничего, ты был у причастия не в прошлом, а в позапрошлом году. Ты думаешь, я не знаю, когда ты родился?

Тут Абель рассмеялся: — Ммну!.. Лиллелидия, ты извини меня! Когда я родился, о тебе еще и думать-то никто не думал! Мне не так далеко до двадцати лет, что бы там иные не говорили! Кто может это знать лучше меня?

— Вот как?.. — Лиллелидия нетерпеливо отмахнулась и проговорила: — Весною я сама подтверждаюсь!

— Да, это хорошо.

— Хорошо? Что ты этим хочешь сказать?

Молчание. Он думал, что это хорошо, что у нее еще не решено — она остается свободной; но он не хотел раздражать ее.

— Ну, прощай, — сказал он. И тут же дерзко попросил напиток.

— Если только есть вода, — ответила она и стала осматриваться. — Но ведь ты можешь войти в дом и напиток!

На это Абель ответил: — Нет, я могу ведь пойти домой и там напиток. Это все равно!

— Вовсе нет! — воскликнула Лиллелидия. — Я сбегая за водой, — сказала она, словно он был ее единственный на свете.

Когда он напился, они еще продолжали беседовать некоторое время, и перед уходом он все-таки успел обнять и поцеловать ее изрядное количество раз. У кузнечного подмастерья были страшно гибкие и опасные руки!

Он размахивал ими, когда шел домой избранником девушки, грядущим владельцем кузницы! Да, все уладилось! Ему собственно хотелось быть одному и не видеть посторонних, но дома были гости — в комнате сидела Марен Сальт.

Все были дома, за исключением студента, и в короткое время успели об очень многом переговорить. Марен Сальт была занята, у нее случилось дело в городе, и она забежала

заглянуть на старых знакомых. Сам Оливер вставлял время от времени свое веское словечко, пока гостья пила кофе и заедала печеньем.

— Как тебе удалось вырваться из дому? — спросила Петра. — Мальчик уснул?

— Не знаю. Он у Маттиса.

— У Маттиса?

— Я спокойно могу доверить ребенка Маттису.

— Ты хочешь сказать, что Маттис смотрит за твоим ребенком?

— Почему же нет? Как же оно могло быть иначе? — спрашивает Марен Сальт. — Мне нужно было нынче вечером выйти за покупками, а Маттис сидит дома. Это он всегда делает; иначе это быть не может!

Оливер замечает с достоинством: — Мое мнение таково, Марен, что Маттис возьмет тебя, когда настанет день, что он решится вступить в брак!

Нельзя сказать, чтобы Марен Сальт неприятно было слышать это; но Петра чуть ли не начинает ревновать: — Не думаю! — говорит она. — Впрочем, мне это все равно!

— Он делал еще большие глупости, — утверждает Оливер, становясь на сторону Марен. — У него будет мальчик, которому он сможет передать науку и мастерскую, когда настанет время.

— О, мальчик ведь только-только родился, — возражает Марен. — До той поры остается еще столько времени!

— Мне бы хотелось взглянуть на него, — говорит Петра. — Он крупный?

— Да, не без того. Доктор говорит, что в нем видна порода!

Петра настораживается: — Это доктор сказал?

— Да. Что ж тут странного?

Молчание. Петра размышляет. — Нет, — говорит она наконец. — Доктор говорит такие вещи... О моих он тоже говорил: в них видна порода! Не знаю, что он под этим разумеет!

Оливер опять берет слово: — Насколько я понимаю, он хотел, например, сказать, что ребенок рослый, крепкий и здоровый! Да, благодарение богу, наши все были молодцы!

Петра спрашивает: — Какие у него глаза?

— Карие, — отвечает Марен.

Петра опять становится какой-то ревнивой и странной, и не может удержаться от восклицания: — Где это ты получила для него карие глаза?

— Хе, хе, так я тебе это и сказала! — отвечает Марен Сальт и кокетливо смеется.

— Могу представить себе! — принужденно и желчно говорит Петра. — Он вездесущ!.. — Марен смотрит на нее: — Что ты говоришь? Кого ты имеешь в виду?

— Нет, никого. Я не имею в виду никого!

— Нет, ты лучше не трудись, — говорит Марен, — тебе не угадать! И она умолкает с лукавым и таинственным видом. Черт побери старую девку, но кто был отцом ребенка? Похоже было на то, словно она сама сидит и раздумывает, сама не может решить, кто!

— Не осталось ли еще в кофейнике для Марен? — спрашивает Оливер.

Налита и выпита четвертая чашка, и опять переговорено немало о том, о сем. К Петре должно было бы вернуться хорошее настроение, когда оказалось, что у Марен у самой карие глаза, — удивительно ли, что у ее ребенка такие же? Но Петра, по-видимому, уже возымела подозрение против определенного человека, и не может отделаться от этого подозрения: — Это все-таки он! — утверждает она. — Он хитер, на этот раз он нарочно выбрал девушку с карими глазами, чтобы быть спокойнее!

— Не понимаю, о чем ты болтаешь, Петра! Да, я должна прямо сказать, что ты несешь вздор! — объявляет Марен, не меняя, однако, приветливой улыбки.

Петра раздражена и не соблюдает даже вежливости в отношении своей гостьи: — Думаешь, он взял тебя за что-нибудь, кроме карих глаз? Нет, Марен, тебе пора знать, что ты не молоденькая!

В этой стадии разговора Оливер считает необходимым вмешаться, и он проявляет это тем, что берет шляпу и ковыляет вон из дому. Он берет с собой и Абея. Тут собралось пять баб, молодых и старых! Но Петра так разгорячилась, что мало доставляла удовольствия гостье, и если бы Марен Сальт не умела сдерживаться, она расколотила бы ее чашку. Вместо этого она говорит тоном человека, оскорбленного до глубины души: — Да, я не молоденькая! Но и ты, Петра, уже не годовалая телка, не забывай этого! И коль уж на то пошло, то ты достаточно получила от человека, с которым ты меня подозреваешь!..

Петра спохватилась, что девочки сидят тут же и слушают, и расхохоталась, чтобы замять разговор: — Получила! Ни полущки я не получала ни от кого, кроме моего собственного мужа, можешь мне поверить! И за что

другие стали бы давать мне деньги? Но с нас, слава богу, довольно и того, что зарабатывает Оливер!

Это было сказано для того, чтобы перевести разговор на другие рельсы, мостик был перекинут, и все пошли по нему, и обе спорящие матери заключили несколько запоздалый мир. Они начали судачить о городе и горожанах, на сцену явилась пятая чашка кофе, женщины склонились над столом и заглядывали друг дружке в лицо; в доме у Каспера, того, что служит на верфи, опять вышла история, он побил жену. Марен слышала об этом нынче вечером...

Петра яростно возмущается Каспером: — Что ему сделала жена?

— Конечно, что-нибудь с другим рабочим на верфи...

— Посмел бы он поднять руку на меня! — грозит Петра.

— Ну, да какая же у него и жена! — говорит бабушка, старая, сожженная солнцем. — Чего она только не проделывала в тот год, когда муж был в плавании: поступила на иностранный корабль и долгое время служила буфетчицей за границей!

Марен Сальт добавляет: — Удивительно, как она не принесла детей!

— А ты знаешь, что она принесла?

— Она ведь и потом могла бы иметь ребенка!

— Нет, — говорит Петра, — она не из тех, которые рожают детей, она может вести себя так, как хочет!

Бабушка начинает раздумывать об этом старом происшествии: о поездке молодой матросской жены за границу, в свое время об этом было довольно толков. А какой у нее замечательный отец, кузнец Карлсен, хороший, уважаемый дом — и все же!..

— Вот какое случается, — говорит Марен Сальт. У нее имеются еще другие городские новости, младшая дочь Грюн-Ольсена венчалась в Христиании в середине месяца.

— В Христиании, почему это так?

Так сказано в газете, Марен слышала, когда ее читали вслух в лавке Давидсена.

— За кого же она вышла?

За художника, сказано там.

Девочки знают об этом: за художника, который писал картины у Ионсена с пристани и у Грюн-Ольсена, говорят девочки; это они знают точно, они прешустрые, эти подросточки!

— Судя по тому, что сказал Давидсен, он, должно быть, происходит из видного, знатного рода!

— Удивительно, как это тихо произошло, никто ничего не слышал!

Марен Сальт отвечает на это: — Говорят, невесте нужно было поторопиться с венчаньем...

— Вот оно что! — раздается со всех сторон понимающий бабий шепот. И с минуту все раздумывают.

— Да, они венчаются и беспутничают, и конца этому нет,— замечает Петра. И опять она отваживается вступить на скользкую почву: — Ты можешь радоваться, Марен, что не пускалась на такие дела!

— Еще не поздно, впрочем,— говорит бабушка.

— Это именно и думает Петра,— говорит Марен, снова обидевшись.

Петра не сдаётся: — Если сказать правду, так тебе надо бы выбить это у себя из головы! Сколько тебе лет?

— Я так стара, что не помню этого,— говорит Марен и встает с места.— И как это я засиделась тут целый вечер? Ну, спасибо вам за угощение и за ласку! Смотри же, загляни ко мне, Петра, когда пойдешь мимо!

Да, Марен Сальт была не молоденькая; но когда она шла домой из лавок с тяжелыми пакетами так легко, подпрыгивая, словно танцуя, никто не сказал бы, что она старуха! И наружностью она была не первый сорт, карие глаза ее были светлы и отнюдь не горели, как угли; но уж видно, что это за человек, если она в этом возрасте могла родить ребенка! Помалкивайте лучше о Марен Сальт, она еще хоть куда! Разве дочери рыбака Иоргена и Лидии лучше — те, что все сидят дома и корчат из себя знатных барышень — что они, лучше? И настолько ли лучше даже Фиа Ионсен, та, что малюет сирени и смотрит на мужчину и на верстовой столб одинаковым взглядом?

— Я задержалась,— говорит Марен Сальт, вернувшись домой.

Маттис не ответил и вообще нельзя сказать, чтоб был приветлив с нею. Впрочем, он напевал что-то ребенку, какие-то стишки.

Не попробовать ли взять его городскими рассказями? — подумала Марен,— чем-нибудь насчет Каспера и его жены, насчет свадьбы в Христиании? Но Маттис был не из тех, что интересуются новостями.— Проснулся он, что ли?

Маттис допевает до конца стишки и говорит: — Нет. Но ты его разбудишь!

— Это ничего, ему пора дать грудь,— говорит она.

Поразительное зрелище: столяр Маттис, распеваящий у колыбельки младенца!

Он бесновался невероятно. Судьба сыграла над ним странную и глупую шутку, ему не удалось выжить Марен Сальт из дому до родов, это поразило его и сбило с толку неимоверно. Что это за дьявольщина в его доме! Но это не будет долго продолжаться, о, два дня, три дня еще, он ее вышвырнет на улицу, пускай поскорей убирается, не забудь только взять своего младенца! Но дней прошло гораздо больше, и так оно потянулось день за днем, он мог бы взять веник и вытурить ее вон; но куда она денется? И совершенно новорожденный ребенок, крепкий парень,— впрочем, страшно сильные легкие, но все же...

Столяр Маттис был отходчивый человек, он простил те двери, что у него когда-то выманили, он простил молодой женщине, выманившей у него золотое кольцо, и пр. Он бесновался, рычал, но смирился. А как иначе?

А Марен Сальт скоро была уже на ногах и занималась своим делом. С ребенком было немного хлопот, еды он не требовал, только груди и сна; он лежал в каморке Марен, в ее собственной кровати, не занимал места. У Маттиса было много причин не поступать слишком круто. Но через полгода, этак в середине лета, когда замерзнуть нет возможности, он их выставит за дверь, это решено! Или самое крайнее, года через два, когда мальчик подрастет.

Так, он поклялся, что не взглянет на ребенка, но это оказалось невозможным выполнить. Мать, Марен Сальт, уходила, например, к колодцу; ребенок не приспособлял своих криков к этому обстоятельству, но без стеснения звал столяра. Так случилось несколько раз; Маттис скрежетал зубами и бесновался — но ведь сердце у него не камень! Он заметил, что ребенок умолкает, когда с ним заговаривают, что он становится спокойнее, когда слышит человеческий голос, это побуждало его говорить, говорить все больше и больше, и кончилось тем, что он начал напевать! Это чудовище, этот маленький негодяй, легко и уютно, лежавший у него на руках — да замолчи же, нечего орать так, чтобы слышно было работнику и подмастерьям в мастерской, закрой пасть! Впрочем, неудивительно, что ты плачешь, бедняжка, ты замерз и не получаешь груди, я, черт возьми, поговорю с нею! Я не удивлюсь, если она в одну прекрасную ночь задушит тебя в своей тесной постели! Ну, смотри, вот мы сами возьмем твою подушечку и поносим тебя! Вот, скоро потеплеет, и я, черт возьми, выберу досуг поговорить с нею...

— Он озяб! — кричит он матери.

— Озяб?

— Не знаю, да и не хочу этого знать! Это не мое дело! Но ты не имеешь права морить его голодом!

— Он не голодает!

— Ты думаешь, он плачет без всякой причины? Хорошая мать, нечего сказать!..

Марен Сальт убедилась, что столяру лучше всего уступить.— Я покормлю его,— сказала она.

— И хорошенько! — требует столяр.— Не знаю, кричал ли он когда ужаснее, чем в этот раз!

И Маттис отправляется в мастерскую к работнику и подмастерью. Он зол, ему стыдно, в дверях он поворачивается и говорит Марен:— Я не буду бегать к нему всякий раз, можешь мне поверить, по мне пусть хоть до смерти докричатся! Но в моей мастерской, в моем доме я не желаю детского крика! Да. Не смей оставлять его, чтобы он так дико кричал!

И Маттис входит в мастерскую; ученик и подмастерье уже собираются уходить. Маттис начинает браниться по адресу Марен и ребенка: — Нет, это уж слишком! Но долго это не будет продолжаться. Я знаю человека, который не желает и слышать о них в доме! Если бы только не полагалось штрафа за выселение из дому,— но за это полагается наказание, тяжкое наказание. Ведь ты это знаешь? — говорит он подмастерью.

Подмастерье мало в этом смыслит, но не находит ничего невероятного.

— Страшное наказание, несколько лет! А я вовсе не желаю рисковать этим...

Днем он работает теперь над кроватью, детской кроватью, для одной семьи, живущей в другом городе, по его словам; ему дали размеры, так что это просто заказ. Это будет хорошенькая кровать с решеткой и резьбой в изголовье и в ногах, ему приказали также выкрасить ее перед сдачей. Вот он и работает! Но черт ее побери, эту песенку, эти детские стишки, они из головы у него не выходят целыми днями, он ловит себя на том, что мурлычет их во время работы и делает себя посмешищем! Картина: человек с длинным носом мурлычет детские стишки и строгает! Он подозрительно смотрит на подмастерье: ему кажется, что тот недостаточно серьезен.

Он, конечно, испытывает большую радость в тот день, когда может отправить ученика с кроватью к маляру!

Еще больше он должен был радоваться в тот день, когда получил эту новенькую и блестящую, белоснежную кровать от маляра, когда мог запаковать ее и отослать заказчикам. Но судьба опять сыграла с Маттисом шутку: заказчики отказались принять заказ, они купили готовую кровать, Маттис получил об этом письменное уведомление! Да, новая шутка судьбы! Но на этот раз Маттис принял ее удивительно спокойно, он только сказал: — Ничего не поделаешь, я всегда смогу сбыть кровать. Но черт возьми, чего только не приходится переживать! Нет, никогда не надо брать заказов из чужого города! — Вот что сказал Маттис.

Короче говоря, он оставил кровать у себя; ведь над ним не капало!

Пока что, ребенок мог временно ею пользоваться, ребенок Марен Сальт,— так, с недельку или в этом роде, пока найдется покупатель! Но таковых не отыскивалось...

ГЛАВА XXI

Разумеется, свадьбу можно было отпраздновать в доме невесты; но консул Ольсен устроил свадьбу своей младшей дочери в столице, в пальмовом зале большого отеля. В голове его теснилось много планов; кто его знает, не собирался ли он отпраздновать свадьбу в заморском краю, в какой-нибудь Аргентине, в Австралии? Этому человеку с широким образом мыслей льстил широкий размах в таком деле, большой отель — тоже неплохо, только и было хлопот, что звонить пяти слугам! Это было и шикарно, и практично, ибо жена его таким образом избавилась от колоссальной возни с угощением.

И вот художник, сын маляра, будет венчаться со своей моделью. На родине невесты что-то сплетничают насчет того, что все это делается поспешно и без предупреждения, а если послушать тех, у колодца, то в этом было что-то не совсем обыкновенное! Во всяком случае, молодая девушка отказалась от купеческой жизни и от Шельдрупа Ионсена, ей уже нужен не он, а другой.

На эту свадьбу приглашен адвокат Фредриксен, он уже живет в столице в качестве депутата парламента и председателя своей комиссии. Его нельзя обойти, он значительное лицо, в нем есть нечто официальное, он почти что получил орден норвежского льва! — Добро пожаловать! — промолвил Грюн-Ольсен и посадил своего гостя в верхнем конце стола.

При сей верной оказии адвокат Фредриксен решает заложить основы своему счастью и заключает предварительное соглашение с другой дочерью Грюн-Ольсена, со старшей. Это пока тайна, они немного подождут; бог знает, зачем это, но это связано с его планами будущего, говорит адвокат; он не всегда ведь будет членом стортинга, ну и кончено! Но предварительный договор сохраняет всю свою обязательную силу.

Таким образом, и вторая дочь Грюн-Ольсена оставит купеческую жизнь и проворных купчиков. Она рослая, здоровая, у нее прелестный рот и масса тяжелых пепельных волос; адвокат уже в летах, он не гимнаст, немощно неопрятен, без греческого носа, но все же, черт возьми, мужчина! Не густоволос, но с жирной складкой на затылке — словом, между ними небольшая разница. Адвокат был хоть куда!

Он вернулся домой, в город. Разумеется, он тотчас же был назначен председателем комиссии по делу обиженных матросов и высоко нос свою голову, делая карьеру. Нельзя сказать, чтобы он задирает нос, но у него как-то появился еще более громкий голос, он стал каким-то громовым. Это произошло, вероятно, от упражнения в стортинге, когда он вносил свою знаменитую интерpellяцию.

После обеда он гуляет по улицам, каждый хочет побеседовать с новоприбывшим: доктор, который рад интерpellяции против двойного консула, таможенный чиновник, принадлежащий к левой группе, молодой помощник уездного судьи, который сам готовится к адвокатуре, и многие другие из народа. И член стортинга никому не отказывает в паре слов, брошенных мимоходом.

По каким-то причинам ему меньше всего понравилось, что доктор прочно пристал к нему именно теперь; но этого нельзя было избежать, прочие проходили своей дорогой, но доктор привязался к нему, он остался верен себе.

Совершенно такой же обыватель городка, как прежде. Доктор не меняется, он посещает больных, прописывает по латыни рецепты, верит в свою науку и ученость и зарабатывает свой хлеб. За день ему приходится-таки помотаться! В редких случаях ему на долю выпадает какая-нибудь маленькая радость, как было, например, когда Генриксен с верфи заплатил ему крупным кредитным билетом после кончины жены; но в общем и целом доктор ведет безрадостную жизнь. В свое время он перешел от купца, которым он был недоволен, от Ионсена, к другому, к Давидсену, которого он хотел испытать; но оба были

одного поля ягоды, Давидсен тоже послал счет! Несчастный консул; но он небогат, и ему приходится быть мелочным, все торгаши! В настоящий момент доктор не имел постоянного поставщика.

Он ни в ком не вызывал зависти, в его жизни мало было приятного. Разумеется, он никогда не огорчился над самим собою тем, что он не способен измениться, исправиться, что ему не удалась жизнь, что он дикий, угрюмый человек, глупец и гордец, при прочих сомнительных свойствах характера. Виноваты были, конечно, люди, город и отчасти провидение. Конечно, так! Сам же он таков, как следует быть!

О, как он умел огорчаться!

Доктор не любил настоящего риска, опасностей, но он не боялся ссор,— напротив, он был неотвязен, когда чувствовал, что может внушить кому-нибудь страх своим языком. Он тогда приставал, как клещ, как оса, выпустившая жало. Ему нравилось быть человеком, которому не всякий решается возражать; это был его триумф на данный день или час, он издевался и смеялся всласть. По настоящему злым он не был, далеко нет; свои качества он приобрел постепенно, школа и систематическое развитие при помощи книг сделали его тем, во что он превратился. Нет, он не умел даже внушать уважения своей злобой; он слишком поздно к этому пришел, когда стал немолодым и потерпевшим неудачу в жизни человеком, он опустил до кислой неудовлетворенности, до горечи, злобы, зависти, мелочности, сплетен. Когда человек умирал, этот врач говорил своим злым языком: — Вот, еще пара сапог освободилась! — И с удовлетворением отмечал, что у его собеседника при этом вытягивалась физиономия...

Он не мог также оставить в покое члена стортинга, но колот его на разные лады. Так, доктор не одобрял того, что такой человек, как адвокат Фредриксен, щеголяет в обуви на высоких каблуках, даже сделавшись членом стортинга; довольно он набегался в них! Новый скюртук еще куда ни шло, но сапоги с высокими каблуками на этих ногах!..

Адвокат не знал, что у него ноги не в порядке!

— Это потому, что вы не знаете анатомии!

— Я знаю столько анатомии, сколько мне нужно!

— Так и есть: когда человек попадает в стортинг, он не желает знать больше, чем знает!

— Зато он может вернуться к уездному врачу в своем избирательном округе и пополнить свои знания!

— Ну, тут мало пополнить, надо начать с начала, батенька мой!

Адвокат не хотел ссориться, а с другой стороны не хотел доставить непочтительному субъекту торжества, уйдя от него разозленным. Он остался на месте и замолчал; о, он все время сознавал, как мало доктор для него значит. А вот и цирюльник Гольте.— Добрый вечер, Гольте! — говорит он и останавливается, надеясь, что теперь доктор уйдет. Нет, он не уходит! — Какой час дня вы меньше всего заняты, Гольте? Мне нужно было бы постричься!

— Вы пойдете к цирюльнику и сядете у него дожидаться? — спрашивает доктор.— Ведь вы можете позвать его к себе!

— Мы, демократы, не можем важничать! — отвечает адвокат.

— Важничать! Бог знает, что вы говорите!..

Они встретили столяра Маттиса, и адвокат опять поздоровался: — Добрый вечер! — перекинулся с ним парой слов и отпустил его.

Доктор говорит:— Да, этот добрый Маттис, у него тоже появился в доме кареглазый младенец. Он не был в восторге, когда это случилось! — Но тут мысли доктора приняли иное направление, он вдруг говорит: — Интерпелляция ваша великолепна! Так ему и надо, жирному кабану!

Адвокат отвечает уклончиво: — Нет, этой интерпелляцией я меньше всего доволен, если говорить о том, что я делал в стортинге!

Доктор тотчас же запускает жало: — А что вы еще там делали?

— Ничего особенного! — отвечает адвокат, не желая начинать ссоры.

Достаточно унизив великого человека, доктор достиг, чего ему хотелось, и теперь хочет проявить доброжелательство:— Разумеется, в стортинге многое делается, чего мы, люди посторонние, не знаем; например, работа в комитетах, не говоря уже о работе в комиссиях. Это хорошо, что вы встряхнули вопрос о матросах и судовладельцах, продолжайте только неослабно вашу работу, с какой стати этим тюленям обогащаться без конца? Невежественные, необразованные люди, учившиеся только стоять за прилавком, но с сигарой в золоченом мундштуке, с мадерой старого разлива, с бриллиантовыми перстнями на руках жен и дочерей — есть от чего придти в негодование!

— Ах, черт, вот идет почтмейстер! Ну, вы простите, я ухожу! Он вышел из дому и теперь будет проветривать свои убеждения насчет перевоплощений. Можете ли вы представить себе что-нибудь ужаснее этого человека? Одно то, что жизнь его сознательна и непрерывна, и направлена на добро, хе-хе! Потомство! — говорит он, и радуется своим детям. Он идиот! Надеюсь, вы простите меня, что я спасаюсь бегством, я не желаю себе такого зла, как слушать его! — Добрый вечер, почтмейстер! Вы гуляете и ищете бога? Мы только что о вас говорили!

— Благодарю за все, что вы говорили обо мне хорошего, господа.

— А может быть, плохое?

— Это во всяком случае на вас не похоже!

— Вот как! Но своя рубашка ближе к телу!..

— Именно поэтому! — говорит почтмейстер.

Доктор вздрагивает и говорит: — Вы думаете, что я лучше всего служу себе, отзываясь о вас хорошо?

— Да, так я думаю. Говоря хорошо обо всех людях! Г-н адвокат, с приездом в родные палестины!

Доктору следовало, собственно говоря, уйти, но в кротком реприманде почтмейстера было что-то такое, что побудило его пробыть еще с минутку и во всяком случае показать жало: — Почтмейстер, вы не от мира сего! Вы верите в добро и говорите: Во что нам верить? Наш мир требует логики и реальностей, а не сантиментов!

У почтмейстера было то преимущество, что споры всегда касались знакомой ему области, той, где он во всяком случае стоял на определенной точке зрения. Вот почему он всегда готов был сразиться, готов был защищать свой воззрения. Кроме того, почтмейстер вовсе не был невинный ягненок, он иногда умел кусаться, с потупленным взором и улыбочкой. Говорил он обычно лишь несколько вежливых слов, но они не всегда носили невинный характер.

— Не знаю, чего требует этот мир, — проговорил он. — Впрочем не столь уже важно, чего он требует, как-то, чего он должен был бы требовать! При той жалкой логике, какая существует, миру, пожалуй, нужно было бы еще кое-что, помимо нее! Я не знаю! С логикой далеко не уедешь!

— Ну, а в науке?

— И это вы говорите?

— Почему мне этого не говорить? Наука не нуждается в метафизике и суевериях, вот ее логика!

Почтмейстер качает головой: — Наука танцует со своим копьём вокруг метафизики, и колет ее, а то и ничего и не делается! Разве ей что-нибудь делается от этого? Ничего ровно! Ибо эта основная сила жизни неуязвима и вечна! Нельзя проколоть море!

— Вы не учились ли в высшей народной школе? — спрашивает доктор.

— Нет. Я не учился, как вы, ни в каких высших школах!

После этой колкости доктор делается груб: — Это вам, во всяком случае, не повредило бы. Вы, может, не застряли бы в этом богоспасаемом городишке почтмейстером!

— Вам кажется, это не такой важный пост?

— А как вам кажется?

— Я доволен! Кое у кого другого, несомненно, имеется желание стать повыше того, что он есть. Этот недостаток кое у кого-таки имеется.

— Мы говорили о науке...

Почтмейстер прерывает собеседника: — Нет, вы уж извините! Я не... не ученый, как вы, я не могу обсуждать научных вопросов!

— Это ваш недостаток, — говорит доктор и продолжает: — Научные истины одно из двух, или и то, и другое: самоочевидны или логически доказуемы. Метафизика — ни то, ни другое!

— Но, г-н доктор, я и не говорю, и не думаю, что метафизика есть наука! Она ближе всего к противоположному.

— Тогда она вздор, г-н почтмейстер, и больше ничего! Что было бы у нас, если бы не было науки? Моисей и пророки — послушать только их!

— Метафизика начинается там, где кончается наука. Вот где она начинается!

— Наука никогда не кончается! Она шупает, она никогда не бывает удовлетворена, она стремится и движется все вперед да вперед!

— Да, так говорят, — отвечает почтмейстер. — Впрочем, я неправильно выразился, я тоже хотел сказать, что метафизика берется за дело там, где науки не хватает. В нескольких пунктах, мелких пунктах, деталях, где науке не удалось добраться до конца. Всего на какой-нибудь волосок от истины! Скажем так!

— Э, вы шутите! Хе-хе, вы ведь верите в целую систему с перевоплощениями, в объяснение загадок жизни! Вот чем освещаете вы ваш путь!

— А во что верить? — отвечает почтмейстер.— Иногда это некоторый свет, это звезды во мраке ночном! Это не яркий свет, это не солнце и не белый день; но это звезды в ночи. Кое-что можно при нем распознать!

— Не лучше ли пользоваться светом науки, пока его хватает?

— Им я тоже пользуюсь! Но там, где он прекращается, мне нужно искать иного. И вот наука отстает — скажем, на волосок отстает, и смотрит мне вслед, когда я ухожу...

— Нет, вы извините, у науки столько дела, что она не смотрит вам вслед! Но поскольку она отстает, она поступает благоразумно, она хочет иметь под ногами твердую почву!

— Почва, которая меняется через каждое поколение?

— Так говорят дураки, те, которые меньше всего в этом мыслят. Меняются ли, например, основы математики?

— Не для того, чтобы ответить вам, но для того, чтобы позабавить вас, я вам скажу: математике приходится с самого начала что-нибудь «предположить»! Она искала при свете моих звезд и нашла какой-то жалкий икс, на котором и утвердилась! Уважение к иксу — это за неимением чего-либо лучшего!

— Короче говоря: математика, значит, ничего не стоит?

— Вот как вы говорите? Она, конечно, много значит для людей, которые любят ясную, чистую работу мысли ради самого мышления. Математика, как таковая, стоит одиноко. Но она совершенно безразлична для нашей духовной жизни.

Доктор поднес обе руки к ушам, словно хотел закрыть их, это было произвольное движение, вызванное отчаянием. Зачем он навязался на этот бесцельный спор о словах, который надоел ему и утомил его? Он не заткнул ушей на самом деле; он с минуту колебался между желанием закричать или кинуться наутек, но настолько сумел взять себя в руки, что прикоснулся к шляпе и промолвил: — Ну, спасибо, с меня довольно! Мне нужно навестить больного с моей бедной наукой! — И он свернул в боковую улицу.

Когда и почтмейстер пожелал уйти, адвокат удержал его; им нужно было пройти мимо лавки К. А. Йонсена, мимо двойного консульства, и адвокат кое о чем хотел поговорить, проходя мимо окон. О, он знал, что делает, когда направился в эту сторону, он хотел пройти к дому двойного консула и мимо него, к холмам, к виду на море! У него были на это свои причины.

Адвокат возвысил свой голос до высоты голоса в интерпелляции: — Все, что вы говорите, почтмейстер, может быть, очень хорошо, я очень сочувствую этому! Но не сделает ли нас непригодными к земной жизни вся эта метафизика и духовность? Не подорвет ли она нашей деятельности?

— Я не собираюсь учить вас, но так как вы спрашиваете, то я надеюсь, что она немного подстегнет нас! Мы не хотим отступить ради приобретения несправедливых выгод, мы будем остерегаться слишком открыто высасывать друг у друга соки! Это вам не кажется глупым?

— Нет.

— Теперь мы бессмысленно норовим спихнуть друг дружку в сторону, чтобы самим выдвинуться, мы вынуждены конкурировать, как говорится, и даже больше, чем конкурировать! Что, если б мы немного больше работали над собою, чем для себя?

— Но если именно эта работа над собою делает нас менее работоспособными в мирском смысле? Ведь тогда не будет мирового прогресса!

— Но зато прогресс в жизни! Подумайте, если б мы время от времени вспоминали, что мы не будем ведь жить сотни лет подряд! Мы являемся на свет, короткое время смотрим на него и опять уходим! Несомненно так, г-н адвокат, мы движемся вперед, даже если не обгоняем других!

— Мы неодинаково вооружены, может быть, и назначение наше неодинаково. Деятельность Наполеона была от мира сего, он рвался вперед, хотя бы даже через голову других!

— Но не эта ли сторона его принесла всего больше блага ему самому и миру?

— Такова была, конечно, его судьба! Он и другие — мы все поступаем так, как нас тянет.

— Таким образом мы утверждаем всемогущество рока! Это дает нам приятное оправдание нашему собственному поведению.

Ну, тут почтмейстер начал немного вольничать, может быть даже стал несколько груб в личном смысле, этого адвокат не желал стерпеть, не для этого он взял его с собою. — Я пойду полюбоваться видом, — сказал он; — вы, конечно, так далеко не пойдете?

— Нет, — отвечал почтмейстер, и отвернулся.

Адвокат Фредриксен перевел дух, все пошло по его расчетам, он взглянул на свои часы. Лучше всего было

то, что он избавился от доктора; он знал, что последний находится в натянутых отношениях с консулом Ионсенем, и именно потому не хотел иметь его своим спутником. Черт побери всю эту духовность и метафизику, это мешает нашей жизни на земле, нужно ли нам «прогрессировать в мире»? Он ни на кого не хочет наступать, адвокат Фредриксен, этого он не хочет, но он и не хочет, чтоб на него наступали! Это в нем здоровая жажда деятельности. Раздавить кого-нибудь, ударить ножом? Ни капельки! Управляющий Бернтсен у консула Ионсена, конечно, ждет обыска и допроса; но ничего не случится, его господин судовладелец может быть спокоен!

Недостает еще, чтоб он стал еще более неприятен консулу Ионсену, чем он был до сих пор! У адвоката, конечно, имеются когти, но он не хочет выпускать их, у председателя комитета имелись гуманные, а у адвоката Фредриксена — интимные причины поступать таким образом.

Он проходит мимо двойного консульства, с его резьбою, балконом и верандой, с садом, с сиренью и жасмином, с ароматом богатства и культуры, с фонтанами, цементными вазами, бабочками, флаштоком, и всем, что к нему принадлежит. Он косится наверх. Действительно, Фиа на вечерней прогулке, фрекен Фиа отдыхает после дневных трудов. Он не забыл ее и не отказался от нее, он по прежнему смотрит на нее, как нищий смотрит на миллион. Надо сказать, что теперь у него больше шансов; может быть, девушка перестанет становиться себе самой на дороге и дурно рассчитывать. Не прониклась ли теперь она и ее семья уважением к его деятельности в стортинге?

Она увидела, что он идет за нею, и ускорила шаг.

О, эта девица, она совсем не рассчитывает, она не упражняется в расчетах, ей не нужно рассчитывать! Бог ее знает, как она создана и устроена!

Он все ускоряет свой шаг, это не помогает делу, но вот он нагоняет ее, и наконец получает ответ в этот роковой вечерний час. Как она бежала, как она старалась увильнуть! Должно быть, ей очень хотелось полюбоваться красивым видом и солнечным закатом, если она так быстро бежала! Но адвокат Фредриксен не такой человек, чтобы скоро сдаться.

Он кричит ей вслед свое приветствие и говорит, запыхавшись: — Я скоро задохнусь, фрекен Фиа!

Тонкая и бледная, с массой совершенств, разряженная по своей привычке, холодная, опять контесса, она гово-

рит: — Мне очень жаль! Я углубилась в свои мысли, я люблю выходить, чтобы побыть наедине с собою...

— И приятно ходить одной? — спрашивает он.— О чем вы думаете, когда ходите одна?

— Об этом,— отвечает она и указывает на весь мир, на облака, на море, на нирвану.— Да, мне это нравится! — И она отказывается понять этого человека, этого зверя, который стоит тут и не испытывает благородного наслаждения природой! Как можно без этого жить!..

— Я только что вернулся домой из стортинга, я хотел засвидетельствовать вам свое почтение,— говорит он.

— Это было любезно с вашей стороны!

— Вы сами, кажется, уезжали?

Она ответила: — Я постоянно уезжаю и приезжаю. Теперь я еду в Париж.

Черт побери! — подумал он наверное.— Да, это, должно быть очень, очень интересно: Собор Парижской богородицы, Эйфелева башня, Ротшильд.— И в этот момент он ощутил некоторую робость,— не стоит ли он ниже ее? — ибо он проговорил: — Что нам, депутатам и адвокатам, остается сказать об этих истинно великих вещах? Что это недостижимо! Но мы тоже можем кое-чего достигнуть, фрекен Фиа!

Для девушки это загадка.

— Я хочу сказать, что мы тоже можем подняться, ступенька за ступенькой, до более высоких положений. Демократическое общество тем хорошо, что всякий может занять самый высокий пост!

Молчание. Девушка, видимо, не взвешивает своих шансов...

Что ж, адвокат Фредриксен прямо перешел к делу, дал ей понять, чем она является для него,— что она для него положительно все,— и не может ли она подать ему надежду, немножко больше надежды, чем в прошлый раз?

— Нет,— говорит девушка.

— Верно ли он услышал, не желает ли она подумать?

— Нет,— говорит она и мотает головкой.— А посмотрите, какой закат,— говорит она,— посмотрите лучше сюда! Какие краски! Как очарователен отсюда мир!

— Да, вид красив...

Он не сдается:— Да, вид красив, говорит он;— нно виды...

Она вопросительно смотрит на него.

— Мои виды. На будущее!..

Тут ей действительно стало досадно; он мог, право, употребить другие слова, когда она стоит и показывает ему краски. Неужели в этом человеке ни капли поэзии и культуры? — Нет, простите, о вашем будущем лучше говорите с другими, — промолвила она.

ГЛАВА XXII

Гроза разразилась над Оливером, над ни в чем неповинным человеком, который не был даже помехой планам адвоката Фредриксена.

Оливер ковылял себе домой из склада, когда адвокат нагнал его и сразу приступил к делу: — Ну, Оливер, у тебя постоянное место, пора тебе выкупить дом!

Как бы там ни было, но сейчас адвокат исходил из той точки зрения, что ему не удалось одно дело, так он должен отыгаться на другом! Придавал ли он мало значения договору с дочерью консула Ольсена? Или он усомнился в приданом? Во всяком случае, теперь он выражался кратко и решительно, как человек, который вынужден спасти все, что только можно; в его словах не было ни капли неуверенности или неопределенности.

Оливер ответил возражением, что как мол он может выкупить дом из жалованья за работу в складе, которого только и хватает, что на жизнь?

— Да, но какое мне до этого дело? — ответил адвокат. — Продай дом и заплати мои денежки, — и мы будем квиты!

Куда же денется Оливер с семьей?

— Опять начинается! — воскликнул адвокат. — Какие у меня обязанности по отношению к тебе, скажи на милость? Ты подумай, дом стоит и падает в цене с каждым годом, ты даже не красишь его, он просто гниет!

— Я собирался покрасить его летом.

— Нет, я этого больше не хочу! Ты знаешь, где моя контора, — либо ты сам, либо жена твоя должны придти ко мне! — И с этими словами адвокат ушел.

Разумеется, Оливеру пришлось послать жену, она уже однажды занималась этим делом, она в этом искусней мужа. И случись же так, что как раз теперь у Петры был необычайно приятный и веселый вид, на ней было новое нарядное платье, так что она чувствовала себя в наилучшем расположении духа. Этого никто не мог поставить ей в вину! И она хотела взяться за это дело немедленно, в тот же самый вечер! Оливер возразил, что

теперь контора заперта.— Так я постучусь к нему в квартиру,— ответила Петра. Оливеру ничего не оставалось, как подивиться такому усердию, и он сказал ей предостерегающе: — Ну, смотри же, докажи ему, что он не должен быть жесток с калекой!

Когда Петра удалилась, Оливер вынул из кармана сласти и сдобный хлеб, которые он купил для себя и девочек. Он не делал между ними различий, но разделил поровну, и девочка с голубыми глазами, Синичка, получила сласти за то, что она была самое ласковое и в сущности самое сердечное создание в семье. Странно, что это так кончилось! Отец долго ждал появления лошадиного носа на этом синеглазом личике, но счастливо обманулся в этом. От радости он так же привязался к этому голубоглазому ребенку, как и к детям с «фамильными глазами». Однажды он отшлепал Синичку, когда она свалилась в воду с его мостика. Он не хромал, когда летел спасать ее, и костылем вытащил ее из пучины. Когда она открыла глазки, он вскрикнул и раза два стукнул кулаком по ее мокрому платищу. Его радость нашла себе исход в мгновенном приливе гнева. Вообще же он никогда не бил своих детей. Это было дело бабушки! Оливер лучше всех умел обращаться с детьми, и пользовался их полной любовью.

Теперь они сидят втроем, наслаждаются лакомствами и своей маленькой тайной. Они словно делят и едят краденое, каждую минуту они шуточно пугают друг дружку словами: — Мама идет! Бабушка идет! — Они откладывают толику для братьев, для кузнеца и студента. О, другого отца, который так умел бы устроить ребятам пирушку, нигде не найти! Потом он рассказывает им о своих морских путешествиях, он поездил-таки по белу свету и видел людей, пожирающих горящую солому, и собак, везущих тележки с молоком! — Как велик свет! — говорят девочки. Чего он только не насмотрелся: обезьян, павлинов, верблюдов, — таких, что были у праотцев: Авраама, Исаака и Иакова. Он видел дикарей с кольцами в носу, видел небоскребы, огнедышащие горы, однажды даже пиратский корабль, клиппер-трехмачтовик с тридцать и одним парусом; наконец, убийство в кофейне среди бела дня! — Боже мой! — трепещут девочки, — а на тебя никогда не нападали злые люди? Попробовал бы кто-нибудь напасть на него, отвечает он, на такого мужчину, каким он был в ту пору! К сожалению, такой уж ему выпал удел, что он стал калекой и инвалидом. Девочки жалеют его, и все трое сидят, как три женщины.

Вдруг им послышалось, что кто-то идет; отец спешит убрать со стола, в последний момент он сует в рот целых две пшеничных булочки и сидит после этого с неподвижными челюстями. О, какой он толстый и смешной со своим серьезным лицом и ртом, набитым сдобным хлебом! Ложная тревога, никого нет, заговорщики спасены! На девочек нападает безумная веселость, они осыпают отца вопросами, чтобы заставить его разговориться, щекочут его, тузят его по щекам, хохочут так, что в ушах звенит! Отцу приходится стать на стул, чтобы иметь возможность прожевать. Сущие трое детей!

Через минуту приходит Франк, студент, измученный и серый после дневных занятий, словно ослабленный излишествами. Он получает свой ужин и печенье и молчит; он и в этот час еще полон изнурительной работой запоминания, от которой он оторвался. В юноше есть что-то унылое, как и в его дареном костюме из лавки и неловких руках. Он такой языковед — и такой незрелый!..

Оливер, отец, полагает, что не повредит делу, если он обратится к нему с несколькими словами отеческого увещания: — Нельзя так сильно заниматься, Франк, ты заболеешь! Насколько я вижу и понимаю, ты знаешь больше, чем кто бы то ни был у нас в городе; чем это пахнет?

Франк молчит.

— Расскажи нам немножко о том, что ты читал и выучил сегодня!

О, они этого не понимают, но Франк упоминает о том, о другом, чтобы дать им представление о предмете; упоминает о глагольных формах, суффиксах, диссимиляционных междометиях; он становится все снисходительнее, даже очень снисходительным, объясняет падежи и роды. Дикарь заговорил, он все это знает наизусть, все это у него так и сыплется из уст, незнакомые звуки, тонко разветвленная мозговая паутина, выучка, занимающая его днем и ночью, птичье щебетание, колоссальная путаница! Он носится с этим, как с некоей драгоценностью, с чем-то утонченным; когда девочки неверно подхватывают какое-нибудь слово, он поправляет их, и этот человек чувствует себя неимоверно высоко вознесенным, в своем ученом невежестве он достиг заученной уверенности школьника. Никто не учил его мыслить, под бременем своей задачи он только рвался вперед; не могло быть и речи о том, чтобы он попусту потратил свое время и свои силы, он свел свою жизнь к языковедению и не чувствует себя

обманутым! Так он ходит да бродит по своей пустыне, в пустом и глупом скитании, не могущем ни к чему привести, просто для того, чтобы быть одним из тех, кто странствует в пустыне. Это его дело на всю жизнь!

Он наскучил своим слушателям, и отец уже зевает, но не заходит так далеко, как девочки, которые встают из-за стола. Франк замечает их уход, это его немножко обижает, и он говорит, ослабившись: — Мне хочется посидеть здесь и поучить вас кое-чему!

Девочки торопливо садятся на свои места, а отец оправдывается за них: — Они все равно не заучат, это для них слишком глубоко! Но нам всем кажется, что это замечательнее всего, что нам приходилось когда-либо слышать! А я ведь таки слышал на белом свете, как негры лопочут!..

Но у Франка испорчено настроение; он измучен и легко раздражается, он собирается уходить, сейчас же уйти от них.

— Ты уходишь?— спрашивает отец.

— Да!

— Ну спасибо тебе за все, что ты рассказал нам в этот раз. Но чтоб у немецких слов был род!.. Ведь я побольше иных слышал немецкую речь!— Ну раз ты говоришь...

— Смотри, у тебя галстук завернулся!— говорит Синичка.

Так как Франк лют на языки, то он поправляет эту фразу, разлагает ее на составные элементы и показывает, как она неудачна. Впрочем, возиться с ними — безнадежное дело, они ведь не начали изучать языки с восьми лет! Он уходит, забыв поправить галстук.

Они опять остались втроем. У них тоже испортилось настроение, веселье пропало, и брюнеточка злится на Франка. Отец оправдывает его.— Да, но ведь он не пойдет в пасторы — зачем же ему учить все это? — Молчи! Школьный заведующий тоже не пастор, зато он ученый человек!

— Что ты там городишь!

Вот приходит домой Абель, и так как он уже поужинал у кузнеца, то теперь он получает лишь немного сластей. Но Абель чудак. Съев данные ему сласти, он вытаскивает из своего кармана другие, которые он принес для них. Абель ведь каждый день ужинает заправски у кузнеца, дома же с едой дело обстоит очень неравномерно, сестры не каждый вечер укладываются спать вполне сытыми,— а

может быть, и отец. Положив мешочки на стол, Абель кричит, чтобы они не смели трогать сластей — он купил их исключительно для себя, говорит он, они в них толку не знают, он сам полакомится ими в постели! После чего сестры и отец набрасываются на мешочки и пожирают сласти.— Зверье! — гремит Абель.— Есть у тебя еще? — спрашивает брюнеточка.— Я дам тебе еще!..— Ага!..— Но отец вдруг спрашивает шепотом: — А Франку? — Оказывается, что Абель отложил две венских булочки специально для Франка.

Они едят и наслаждаются. Мать и бабушка в счет не идут, они больше пьют кофе и получают свое удовольствие, они часто лакомятся особо. Это Оливер, сам отец, ввел эти тайные пирушки; вероятно, это возникло благодаря потребности побаловать маленьких, но с течением времени выродилось в привычку; у него все больше пропадала охота действовать открыто, ему всего удобней было поймать детей где-нибудь в сенях и ткнуть им лакомство, которое они могли съесть тут же, на месте. О, у них у всех были воспоминания о чудесных обманах, об этом отце, который баловал их тайком.— Помнишь вот это; а это помнишь? — говорят они друг дружке. В общем нет на свете лучше человека, чем папа!

Вот и сидят они.

— Смотрите на его руки и кисти,— говорит отец об Абеле.— Точь в точь такие, как у меня, когда я был еще в силе!

— Покажи, Абель,— говорит брюнеточка, и щиплет его волосатую руку. Он вскрикивает и жалуется отцу:— Не поговоришь ли ты с нею, как старший?

Вечер тянется, в доме мирная семейная жизнь. Внешний мир как бы не существует. Лучшего им не хочется — на что оно им? У Синички положительно зарумянились щечки от венского хлеба, который она съела. Вот отец, окруженный своими детьми! Он ласков и жирен, и когда его не дергают, не допрашивают, он довольно безобиден на взгляд. Какие славные у него дети! Девочки у него бойкие, даже чересчур бойкие, такие шустрые, черт возьми, все подмечают! Франк уже ученый, а Абель уже мужчина. Лучше быть не может; если прибавить сласти, так это суций рай!

Абелю надо уходить в старую квартиру, к бабушке, там он живет. Его квартира — скамья, которая ночью служит ему кроватью. Это чудесно, Абель устал, и спит

как убитый. И он уходит. Ведь ему рано утром уже надо быть в кузнице!

Еще через минуту девочки тоже уходят спать, Франк вернулся в свою каморку, Оливер один остается у стола. Ему кажется, что Петра слишком долго отсутствует, бог ее знает, чем она занята; он зевает, он вынимает карманное зеркальце и смотрится в него. Когда Петра придет, он непременно спросит ее, что она делала все эти долгие часы; он обязательно задаст ей этот вопрос!

Когда Петра наконец приходит, она приносит ему новость, и предупреждает всякие упреки тем, что говорит:— Пришел иностранный пароход!

Бывший матрос немедленно хватает приманку и спрашивает: — Куда?

— Он подошел к пристани.

Услышав такую новость, Оливер забывает обо всем на свете и ковыляет из дому, чтобы посмотреть на пароход. Он отсутствует некоторое время, и когда возвращается, спешит поделиться своими знаниями: — Судя по флагу, это англичанин!

— Англичанин! — восклицает Петра.

— У него такие же люки, как у судов, перевозящих зерно,— стало быть, он причалит к Грюн-Ольсену!

Чтобы угодить ему, она проявляет преувеличенный интерес и восклицает: — К Грюн-Ольсену! Как ловко ты это определил!

— Да,— говорит он,— я не даром таки поездил по белу свету!

Она спешит использовать момент и говорит: — Я таки долгонько пробыла у адвоката; но с ним нужно было поговорить.

— Да,— говорит и Оливер, и спрашивает: — Что он сказал?

— Он ворчит!

— Негодяй! Была бы только у меня моя прежняя сила! Но на чем же вы покончили?

— Что ж, он немного сдался. Он подождет. Но не сразу удалось склонить его на это,— говорит Петра.

— Я думаю!

— На будущей неделе мне опять придется пойти к нему,— говорит она.

— Ну, это во всяком случае отсрочка,— говорит Оливер: — Уладь же это! Ответь ему хорошенько на все, что он тебе скажет, животное!

Он опять выходит из дому. Его занимает все тот же англичанин, его матросское сердце тянется к иностранному пароходу, на пристань, он хочет рассмотреть его вблизи, узнать его запах, увидеть судно с моря, из-за границы, услышать английскую речь, увидеть полуголых кочегаров, и шкипера высоко на командном мостике. На пристани он натывается на многих любопытных горожан, встречает рыбака Йоргена и неизбежного Олава с лужайки с трубкою в зубах.

— Хорошо, что ты пришел, ты pomoжешь мне табачком в мою трубку! — говорит Олав. — Эти не обращают внимания, хоть я и кричу им!

Оливер ничего не имеет против того, чтобы быть человеком, который умеет по-английски, и когда на берег спускают сходню, он идет на пароход. Но Олав остается верен себе, он издевается над табаком, который они ему дают, они дают крохотную щепотку, а он знал лучшие времена, черт побери! Да нет ли тут кого-нибудь, у кого был бы табак покрепче; где штурман?

Так как английский матрос не понимает по-норвежски, хотя он хорошо читает смысл слов на недовольной физиономии Олава, то он без церемоний прячет свою пачку с табаком и уходит. Оливер смотрит ему вслед и темное воспоминание озаряет его вдруг. Не встречал ли он раньше этого матроса, или во всяком случае человека, похожего на него? Он мог видеть его на улице портового города, в конторе найма служащих; но где? Свет так широк, и Оливер таки поездил в нем!

Он встречает другого человека из экипажа и беседует с ним на своем полузабытом английском языке, расспрашивает, откуда прибыл корабль и кому в городе предназначается его груз. Все это интересно и переносит его к былой жизни на море. Он узнает, каково водоизмещение парохода, сколько человек в экипаже, сколько лет капитану, сколько времени отнял переход из Балтийского моря и пр. За это он рассказывает о себе, что он старый моряк, начал плавать еще ребенком — вот таким махоньким! — был уже опытным мореходом, когда с ним стряслось несчастье, когда упала бочка с ворванью и расшибла его. Ну, с той поры прошло немало деньков! Несколько лет тому назад он спас, почти что собственными силами, большой корабль, потерпевший аварию — это было, например, неглупо со стороны калеки, он попал за это в газеты, — и вот он уже много лет состоит управляющим склада консула Ионсена, вон там!

Он женат, у него четверо детей и жена, один из его хлопцев студент!

Олаву с лужайки становится скучно от этой болтовни на незнакомом ему языке, и он уходит на берег. Англичанин терпеливее его; впрочем, оказывается, что он штурман, второй штурман, он не важничает, не чванится, напротив, он простой парень, его даже немножко интересует этот крохотный пыльный городок, в котором он будет стоять и разгружаться. На Оливера он производит наилучшее впечатление.

На берег он сходит, полный новостей, и собирает около себя знакомых для доклада. Рыбак Йорген его верный слушатель; старый и суровый, он стоит на месте и слушает, говорит мало, словно приковывается к устам говорящего, и не уходит восвояси, — нет, он не торопыга. В поношенном трудами рыбаке есть что-то послушное, жена, конечно, обломала-таки его за эти полстолетия! О, но он слишком прочен, солиден, чтобы быть легкомысленным человеком! Старая Лидия — она вспыльчивый, но работающий человек, она и сейчас самая ловкая прачка во всем городе, по сей день она Терка, но ей не удалось опилить мужа, он был тяжел и добродушен, он гнулся. Бог его знает, может быть, у него в доме было слишком много дочерей, которыми он окружил себя, которые заняли все стулья! Сын, Эдеварт, уплыл в море.

Хотя иностранное судно было простым грузовым парходом, Оливер хвастал им, словно оно принадлежало ему. Он ходил по пароходу и оглядывался; салон из красного дерева, с позолотой...

— Ты не был в салоне! — обрывает его Олав.

— Что? Я не был в салоне?..

Олав кричит: — Ты нам будешь рассказывать, что ты был в салоне! Шкипер ведь на берегу!

Оливер сдается: — Но я проходил мимо, и видел все в салоне! Не могу понять, почему это ты никогда не можешь придержать языка! — Он обращается к прочим и продолжает: — Капитан должен быть богатый человек!

— Он это сам сказал тебе? — спрашивает Олав.

Тут Оливер напыживается, напыживается, как управляющий складом, и не устаивает больше препираться с человеком, который ниже его. У калеки есть свой гонор!

Но и у Олава имеется свой! Он тоже тверд на своей позиции. Видел ли кто-нибудь, чтобы он подался? Когда Оливер и прочие уходят с пристани, Олав остается, не по какой-нибудь иной причине, а только для того, чтобы не

уходить. Сумасшедший и несговорчивый человек, не то, чтобы злой, но злоязычный! Он, правда, был пропойца, но не поддается, и если просит, то только табаку. Он непочтителен и никогда не кланяется именитым горожанам. Железное здоровье позволяло ему спать где угодно, как под кровом, так и под открытым небом.

Это не шкипер, не доктор, не консул, не кто-нибудь из обыкновенных жителей городишки, но портовый рабочий с трубкой, потерпевший крушение корабль с ценным железным нутром; в бедняге все же сидел человек, мужчина!

Было и у него на что пожаловаться; и он был калека, пришибленный бедой, изуродованный на лице, однорукий, но слава богу, что хоть с одной рукой; он не проливал слез, он только становился на дыбы, разбавлял свое горе водкой и переносил его. Чудак в своем роде: ему не приходило в голову прямо красть,— на пристани ему можно было доверить товар, но он брал чертовски дорого за свою работу, и если можно было, драл с людей немилосердно! Наглость его в сущности носила прямой и откровенный характер, он не конфузился, не прятался, но выступал таким, как он был, грубым и безответственным, полным самоуверенности. В общем это был человек смешанных качеств, и дурных, и хороших. Он совершал небольшие экскурсии в соседние города исключительно с той целью, чтобы подраться. Слова нет, Олав устраивал эти экскурсии, чтобы напиться немножко — этак, до безобразия! — и понабраться бодрости. То, что у него не хватало руки, не смущало его; он не мог ею хватать, зато ею можно было поднимать и нести. Однорукий человек счастлив уже тем, что он не вовсе безрукий! Это уже счастье! Олав не отчаивался, ведь одна-то рука у него оставалась! Он даже свысока поглядывал на жирного Оливера, который ковылял по пристани без ноги, бедняга.

Эти двое калек питали друг к дружке взаимное презрение, и нет ни малейшего сомнения, что перевес был на стороне Олава. Оливер сознавал это и не мог не испытывать зависти, находившей себе исход в назойливом сострадании к собрату по несчастью; он жалел его за то, что он сделался пьяницей, и когда приходил в ярость, то колотил свою бабу.— Я не колочу ее! — орал в ответ Олав,— это было только тогда, когда она начала шляться с другими! Смотри лучше за своей женой! — Оливеру делалось так его жалко, что страх было смотреть: — Уж на одно лицо твое смотреть жалко, но хуже всего — руки!

Ты не можешь делать себе все, что нужно, сам, ты не можешь даже вдеть нитки в иголку! Мне жаль тебя!

Ну, что ж, Олав не мог вдеть нитки в иголку, этого он именно не мог сделать! С виду он не был также изнеженным, безбородым, женоподобным, напротив, он был с лица угловат и костляв, кожа и борода у него были темные, минный порох, который въелся в его щеки, сидел там крепко и побелеть не мог. Лицо же Оливера было гладкое и круглое, как задок ребенка! Щеки его отвисали, рот был влажный. В Олаве мало было привлекательного, в Оливере же было что-то отталкивающее. Да, но все-таки этот брал верх, у него была голова похитрее, мозги у него поворачивались быстрее! Вот даже в эту минуту: он идет сумерками домой, и ему в голову приходит блестящая мысль: вот, пожалуй, случай сбуть гагачий пух, потихоньку сплавить его из города и из страны вообще!

Гагачий пух лежал у него на чердаке мертвым капиталом; никому не будет вреда, если он сбудет его, напротив, будет польза для всей семьи, семьи Оливера, которой грозит выселение. В смысле ответственности вся история свелась к пустякам, она расплылась на сотни мелких похищений по горсточке гагачьего пуху на протяжении половины человеческой жизни. Что ж, именитые лица города, может быть, честнее наживались за этот период? Короче говоря: кражи-то он совершал; и то, что он берег товар от моли и сырости, и сбудет его, не увеличит ведь его вины! Разве гагачий пух не может испортиться от продолжительного лежания на чердаке?

Другие ничем не лучше его: они только либо не умели выкинуть штуку, либо не испытывали в этом надобности. Конечно, им частенько хотелось поступить так же, им неприятно было, что приходится воздерживаться, они были в плену у собственной честности и злились, что не могут побороть ее! Вот как обстояло дело! Чего же требовать от такого человека, как он, как Оливер, от калеки, от горемыки с большой семьей? Разве и он не вел бы честной и добропорядочной жизни, если бы у него имелись для этого средства? Но когда же у него были средства? Всю свою жизнь он проводил, как гриб, во мраке, был управителем склада с искушениями на каждом шагу, зимой на холоде, с отмороженными руками, летом среди вони ворвани и печенки, от которой у него дух захватывало, ужасающей вони, от которой он отшатывался назад по утрам, отпирая пакгауз. Неудивительно, если совесть его не совсем чиста, и на душе не так гладко, как бархат.

Многое, что он проделывал, подернулось темною тенью, у него с потемками словно было какое-то соглашение,— удивляться собственно надо было тому, как он еще не убил двойного консула и не обворовал его склада!

Но он был не дурак, он не делал глупостей, которые могли бы выплыть на свет. Его способ взвешивать и отмеривать товары был неуловим и менялся в зависимости от покупателя; его воскресные поездки на лодке были также покрыты тайной, он возвращался ночью и что-нибудь приносил с собой, между прочим и охапку вот этого гагачьего пуху под мышкой. С годами получился изрядный ворох пуху, его можно было поместить в мешке, но если выпустить, то он наполнил бы целую комнату. Английский пароход мог явиться для него рынком сбыта.

Оливер не торопится, инстинкт диктует ему осторожность. Как бы в шутку, чтобы испытать сына, знает ли он, как по-английски будет гагачий пух, он спрашивает Франка об этом. Франк только немножко порылся в словаре и нашел слово, это для него было делом одной секунды! Вечером в тот же день, освободившись от склада, Оливер потихонечку идет к набережной, показывается там, ведет беседу с англичанами, закидывает удочку. Он как бы случайно проговаривается, что у него есть немножко гагачьего пуху — *эйдер даун*, или как там оно по-английски. Да, это понравилось штурману, второму штурману! Вот как, у него есть «эйдер даун»? А сколько?

— Нет, немножко, так, на перину, или в этом роде.— Ну? — говорит рядом стоящий матрос, — даже на перину не будет? — Ну, столько, пожалуй, хватит, Оливер покупал его горсточками в течение многих лет, наверное хватит на две перины или около этого...

Переговорили. Оливер собственно не имеет права торговать гагачьим пухом, у него нет лавки, он принесет ввочью пробу. На том и покончили.

Проба оказалась чудесной, безупречной, неземного качества; одна пушинка вырывается из рук и взмывает к облакам; лежать на гагачьем пуху, все равно, что подниматься вверх, качаться на воздухе! Заключается новый договор насчет цены и времени поставки, эти господа не торгуются. Они считают на фунты, но Оливер не желает брать фунтов, в его руках эти деньги могут вызвать подозрения. *Олл райт*, они переговорили между собою — он получат норвежскими деньгами, если не сейчас, то в последний момент, будь благонадежен! У Оливера славное матросское сердце; кроме того, ему нравятся эти господа, и

он верит им, он принесет немного позже пух и закончит сделку. Он не боится за аккуратность уплаты, джентльмены!

Они ведут его с собой на корабль, чтобы не расставаться, подносят ему того, другого из буфета, и вообще обращаются с ним, как братья. Это совсем не то, что экипаж с «Фии», который еле смотрел в сторону калеки! О, на свете нет людей лучше англичан! Оливер пленен ими, с ним болтают, расспрашивают его, он может, если ему трудно, вставлять и норвежские слова — не беда, они поймут! Вот, они видели всех людей в городе, но почтмейстера они не видали,— неужели этот человек сидит день и ночь во внутреннем помещении конторы и дрожит над деньгами? Штурман и матрос интересуются также такими несообразными вещами, как, например, находится ли и частная квартира почтмейстера в здании почты. Говорят они также и о личных делах Оливера,— так у него сын студент? Это замечательно! Они знают, что у Оливера хорошенькая жена, очень милое создание, они видели ее на пристани. Почему он не взял ее с собою к ним? Они ее ведь не съедят...

Они предлагают ему выпить, но у Оливера нет вкуса к спиртным напиткам; зато они подметили, что он любит покушать, и откладывают в сторону несколько лакомых кусочков, которые он потом съедает в сторонке. Вот это джентльмены!

Корабль кончил выгрузку, и Оливер приносит последнюю партию гагачьего пуху. Вечером он застает только матросов; на дворе буря и дождь, капитан и штурман на прощальной вечеринке у консула Ольсена; у второго штурмана разболелись зубы, и он извиняется, он хочет пробежаться и согреться на дороге, несмотря на дурную погоду. Матросы на суше.

Все в порядке, деньги Ольсен получит этим же вечером, норвежские деньги; собственно за ними-то и пошел второй штурман.

Так как они теперь остались одни на пароходе, то уже не прячутся по углам, матрос приглашает своего гостя в людскую каюту на говядину с жареным картофелем. Это осталось для него памятным событием! Оливер расплывается от сытости и благоденствия. Взгляд его падает на корабельный сундук, и смутное воспоминание проносится в его мозгу. Он смотрит на матроса, и ему хочется крикнуть: — Адольф!

— Как тебя зовут? — спрашивает он.

— Ксандер,— отвечает матрос.

Молчание.

— Удивительно,— говорит Оливер,— до чего этот сундук походит на мой собственный!

Матрос равнодушно отвечает: — Вот как? Это не мой. Он принадлежит другому.

— Не твой?

— Нет. Если ты поел, то я вынесу тарелки. Пойдем, поднимемся наверх!

— Ну, точь в точь, как мой корабельный сундук! Та же самая крышка, зеленая, мы на ней табак крошили, там есть метка...

— Вот как!

— Тебя как бишь зовут?

— Ксандер! Пойдем наверх. Они должны скоро вернуться!

Они выходят на палубу. Буря воет, хлещет дождь, тьма стущается, кругом неприветно. Они стоят у перил, смотрят в темь, говорят о погоде, качают головой. Все готово, лоцман сидит в гостинице и ждет, наверное придется заночевать.

Среди ящиков на пристани кто-то шевелится; приподымается брезент, из-под него высовывается голова и начинает прислушиваться — это Олав с лужайки, устроившийся на ночь.

Оливер, кажется, немного опьянел от обильной еды; он вдруг спрашивает: — Где ты его получил?

Матрос не понимает.

— Сундук! Я продал его парню, которого звали Адольфом!

— Сундук не мой, понимаешь ты?..

— Нет, извини, он-то не твой, но...

Матрос говорит: — Если ты идешь домой, то заверни сюда пораньше утром! Нынче мы не снимемся.

Было около одиннадцати часов.

ГЛАВА XXIII

Оливер идет домой в одурелом состоянии. Неужели хороший обед и старый корабельный сундук могли внести такую сумятицу в его мысли? Насколько у Оливера хитрее голова и поворотливее мозги, чем у человека под брезентом!

Он встречает кое-кого из экипажа английского судна, который возвращается на пароход; они идут из гостиницы,

это славные веселые парни, Оливеру вспоминается старое доброе время.

Перед домом Грюн-Ольсена стоят люди под зонтиками и с фонарями; это гости с вечеринки, которые прощаются друг с другом перед уходом домой. Двойного консула здесь нет, нет и консула Гейберга, который немножко задирает нос и не водится с Грюн-Ольсенами. Оливер видит адвоката Фредриксена, да кроме того слышит его громовый голос; он узнает двух англичан, капитана и штурмана, узнает консула Давидсена, почтмейстера, городского инженера, таможенного чиновника. Это гости. Оливеру приходит в голову, что он мог бы себе обеспечить деньги за пух, наведя справку о времени отплытия парохода; поэтому он решает последовать за двумя матросами. К Оливеру вернулась его сообразительность!

— Спокойной ночи! Спокойной ночи!..

У почтмейстера нет зонта, который он мог бы одолжить, но он спрашивает публику: — Не возьмет ли кто-нибудь у меня фонарь? Мне ведь недалеко к дому! Вы, капитан?..

— Нет, благодарю, спасибо!

Почтмейстер делит зонтик с г-ном Давидсеном, которому с ним по дороге; он несет фонарь так; чтобы себе светить как можно меньше; в виду сильного ветра они не ведут серьезной беседы, так, о разных пустяках. Давидсен, который немножко купец и консул, кое-что подметил нынешним вечером, и когда они останавливаются перед его дверью, он спрашивает таинственно:

— Вы заметили, как увлечен был нынче в гостях адвокат?

— Увлечен?..

— Дамой, дочерью, как ее там зовут, дочерью Ольсена, старшей!

Нет, этого почтмейстер не видел.

— Это, пожалуй, неспроста! — замечает Давидсен.

— Может быть. У него славные дети, у консула Ольсена. Хорошенькие девушки, и та, которая обвенчалась с художником, да и та, что здесь, обе милые женщины! Я стою и думаю: что бы это могло значить, то, что вы мне сказали? Она такая молоденькая и хорошенькая, адвокат, наверное, вдвое старше ее!

— Мало ли делается глупостей!

— О, да! Мы трудимся, изнуряем себя, женимся, мучаемся и готовимся умереть как можно позже. Виноват, вы что-то хотели сказать?

Мелочной торговец и консул Давидсен собственно ничего не хотел сказать; он, вероятно, сделал движение, вздрогнул, это, конечно, был страх, как бы почтмейстер не начал своих скучнейших рассуждений, и потому он ответил: — Я хотел только сказать, что вы можете взять с собой мой зонтик!

Почтмейстер отказывается: нет, спасибо, ведь остается еще несколько шагов, у него дома есть зонтик. Что, бишь, он хотел сказать? Да, в отличие от зайца в лесу и морской чайки...

— Адвокат думает только о приданом,— перебивает Давидсен.

Но почтмейстер продолжает: — И для чего это мы, люди, бесконечно терзаемся днем и ночью? Мы не знаем покоя! Нам важно не то, чтобы иметь вдоволь, нам нужно иметь больше, чем вдоволь! Душа наша поднимается и опять падает, карабкается на четвереньках, вновь пробует подняться и опять скатывается вниз! И в один прекрасный день мы умираем. Английский капитан хочет попробовать сняться в эту ночь; погода этого не позволяет, но он все-таки хочет сняться ночью! Ему нужно в городок, отстоящий отсюда в двенадцати милях, там он будет грузиться, он хочет начать погрузку древесной массы с семи часов следующего утра. И он отправляется в Северное море и хочет попытать счастья. Снявшись ночью, он выгадывает одни сутки. Выгадает ли он хоть сутки для жизни? Нет; но он выбивается из сил, он хочет выгадать сутки для барыша! Звери и птицы спят в эту ночь.

— Не хотите взять мой зонтик?

— Нет, спасибо, дождь почти перестал! Ну, я не буду вас больше задерживать! Английский капитан говорил о боге...

— Да, он набожный человек, я слышал. Но нам пора ложиться, почтмейстер!

— Да, набожный. Я, может быть, не все понял, у англичан своя религия в этом мире, и они ею оправдываются на чисто английский манер. Англичанин покоряет народ за народом, отнимет у них независимость, кастрирует их, делает их тучными и смиренными. И в один прекрасный день англичанин говорит: — Будем же справедливы, согласно писанию! — И дарует кастратам нечто такое, что он сам называет самоуправлением!

— Это верно, что вы говорите. Спокойной ночи, почтмейстер!

— Спокойной ночи! Как, вы уже хотите спать? Впрочем, это еще не все. Не удивительно ли, что у англичан свой бог, английский бог, как у них своя денежная единица? Можете ли вы объяснить, почему они беспрестанно ведут завоевательные войны по всему миру, и когда побеждают, то уверены, что совершили доброе и великодушное дело? Они требуют, чтобы все человечество думало по-ихнему, они благодарят своего английского бога за то, что им удалось злодеяние, они делаются набожными от этого! И теперь англичане отличились той замечательной чертой, что стали полагать, будто и другие народы должны радоваться тому, что они сделали; теперь человечество должно сделаться добрым, говорят они, пусть же воцарится справедливость, будьте теперь набожны! Другим народам должно казаться странным, что англичане не опускают глаз, у них, наверное, есть свой бог, который ими доволен и который дает им свое отпущение. Они пишут в газетах, что время настало, люди должны теперь стать иными, они это возвели в программу: ну давайте, будем набожны, говорят они; что нам остается еще делать? О, какая перемена должна теперь произойти с человеком! Все должно быть отличным от прежнего: на стенах должны висеть другие картины, на полках лежать другие книги, в церквях читаться другие проповеди, у нас будет другое общество, другие жилища, другая наука, другая любовь, другое благочестие — короче говоря, все должно быть другое! Почему? Потому, что англичане сами стали другими? Англичане никогда не меняются! Потому, что человечество вдруг стало не похожим на прежнее? Человечество меняется страшно медленно, в течение многих, многих земных существований...

Почтмейстер оглядывается, возле него никого нет, Давидсен ушел. Давидсен, конечно, стоял, пока хватало терпения, потом он спасся бегством! Это не в первый раз люди спасаются от этого говоруна, люди часто бросают его среди разговора. Люди любят слушать то, чего они ожидают. Почтмейстер же вещает неожиданное, он против общества.

Почтмейстер идет домой с понурой головой, черная дверь открыта, как всегда, и он входит в сени. У противоположной стены что-то шевелится, он поднимает фонарь и видит человека.

Мужчина! Незнакомый, лет тридцати, незнакомец с темной, редкой бородой, на нем непромокаемое пальто с ремнем, сдерживающим его у пояса.

В продолжении нескольких секунд они тупо смотрят друг на друга, встреча изумила их обоих; потом человек устремляет взор на зонтик, висящий на стене, смотрит на почтмейстера и опять на зонтик, он кажется жалким и растерянным. Этот зонтик — словно он не может вспомнить, когда он повесил его!

Не поможет ли ему немножко почтмейстер? Каким образом? Почтмейстер, который даже себе не умеет помочь! Он прислонился спиной к стене и стоит, высоко держа фонарь в руках.

Но вот незнакомец снимает зонтик и в каком-то отчаянии начинает объясняться; то, что он говорит, звучит страшно, несообразно; что он, горячится или пьян? Он говорит по-английски, слова английские, но он не в своем уме, он пробует зонтик, открывается ли он, и говорит: — Зубной врач! — Вот что говорит он. — Я спрашиваю: где его найти? Вы понимаете?

Почтмейстер стоит неподвижный и бледный, как мертвец; сперва по его лицу пробежало выражение радости, словно он узнал человека и хотел заговорить с ним; потом он остановился и стал раздумывать; он, наверное, обнаружил свою ошибку и опять окаменел.

Неужели он не знает языка? Конечно, знает, говорил же он нынче вечером с английским капитаном и штурманом! Ему нечего сказать. Если только не слишком много! И когда незнакомец шмыгнул к выходной двери, почтмейстер шепнул ему: — Подождите немножко!

— Зубного врача! — говорит незнакомец. — Вы ничего не понимаете? Я с ума схожу от зубной боли! Разве тут его нет? Я видел вывеску...

Почтмейстер шепчет: — У меня был сын...

— Это не я! — говорит человек и хочет пройти.

— Откуда вы?

— Ступайте прочь! — командует незнакомец.

Опустив глаза, почтмейстер говорит: — Разве с вами был зонтик, когда вы пришли?

Но вдруг почтмейстеру приходит мысль о двери во внутреннюю контору, комнат с ценностями, в самую важную. Эта дверь теперь стоит незапертой, просто на щеколде. Почтмейстер бросается в комнату и вскоре после этого оттуда доносится стон.

Выйдя во двор, незнакомец вдруг остановился, постоял немного и вернулся назад. Он опять вошел в сени и повесил зонтик на место. Через дверь конторы он видит

находящегося там почтмейстера. Он лежит на стуле, откинувшись. Возле него стоит горящий фонарь.

Незнакомец выходит на улицу и пускается наутек. Дождь и буря. Оливер идет с набережной и видит этого человека, пробегающего мимо.— Да это второй штурман!— думает он,— наверное, у него сильнейшая зубная боль! Эй! Алло!— кричит он и хочет напомнить про свои деньги. Человек бежит мимо.

Это что? Оливера начинают разбирать сомнения! Каким это образом второй штурман очутился так далеко от пристани? К приливу ветер, вероятно, переменится; ночью буря уляжется, и тогда его пароход уйдет, разве он этого не знает? Оливер еще раз окликает его, но напрасно. Тогда он пускается в погоню за вторым штурманом по дороге, просто невероятно, какие он скачки проделывает при помощи костыля! Оливер умеет таки не отставать, когда нужно! А теперь ведь он спасает свои деньги.

Он догоняет беглеца, видит, что тот остановился, слышит, что он издал какой-то сигнал — это было как раз там, где поле кончается и дорога сворачивает прямо в лес; ну да, оттуда тоже слышится сигнал! Оливер слышит и ответ на сигнал. Для охоты за бабами погода не подходит, думает себе Оливер, тут что-то другое; но что же именно? Он добегают до ближайшей купы деревьев и прячется за ними.

Он видит две фигуры, выходящие на дорогу ко второму штурману; они останавливаются, сблизившись с ним головами. Это загадочно, это непостижимо! Так как ветер дует в его сторону, то он мог бы расслышать их разговор; но он ничего не слышит, они ничего не говорят или же шепчутся. Они напоминают призраки, они шевелятся, смотрят, может быть, друг на друга, что-то делают, но молчат. Все это кажется Оливеру жутким; он бы убежал, если бы у него не было дела.

Время идет, приближается полночь, начинается прилив, ветер слабеет, и вдруг в этой кучке начинается тревога и спешка, призраки идут, Оливер даже слышит их речь. Кроме второго штурмана, их двое: женщина и длиннобородый мужчина. Так как они прямо перед ним, то Оливер выскакивает на дорогу. Из кучки к нему несутся восклицания. Второй штурман явно собирается пройти мимо, но Оливер заговаривает с ним и требует своих денег.— Пойдем на пароход,— отвечает второй штурман. Но тут же он одумывается, нетерпеливо роется в своем ватерпруфе и вытаскивает деньги, кредитки, массу

кредиток; на дворе темно, длиннородый зажигает спички и светит ему.

С моря доносится три коротких гудка сирены, это англичанин созывает своих людей. Второй штурман пускается бегом.

Любопытно, что в этот момент Оливер меньше занят своими деньгами, чем своими спутниками! Разумеется, он не потерял головы, он кладет деньги в карман и крепко держит их, но его сильно изумило присутствие этой женщины: — И ты вышла в такой вечер? — говорит он ей и называет ее по имени.

— Да, — отвечает она смущенно.

О, она, конечно, полагала себя в потемках в полной безопасности, но спичка выдала ее; теперь она растерянно отшатывается и принужденно отвечает «да».

Что же теперь? Оливер остается Оливером! Голова его понемножку начинает работать, час самый подходящий для такого человека, как он: ночной мрак, загадочное присутствие здесь этой бабы — да, это была она, дочь кузнеца Карлсена, вдова, ведущая хозяйство отца! Впрочем, Оливер никогда не слышал о ней ничего дурного, но, может быть, она такая же, как ее сестра и брат-бродяга: кузнец Карлсен был несчастлив в детях! Зачем его дочь вышла в такой вечер?

— Я видел тебя, — говорит Оливер.

Ответа на это не последовало. И если Оливер надеялся узнать тайну ее выхода в этот вечер, то он на этот счет ошибся.

— Что ты тут делала? — спрашивает он.

Тут вмешался длиннородый: — Мы распевали дуэты! А ты что тут делал?

— Я? Ты это видел! Я получал свои деньги!

— Да, твои деньги. Не за гагачий ли пух?

— Как, ты и это знаешь?

— Да, я это знаю.

Оливер обратился к вдове: — С кем это ты тут? Это твой любезный?

— А если бы и так? — многозначительно отвечает мужчина и делает шаг вперед.

Оливер подается назад и говорит: — Я хотел бы только знать, откуда ты явился! Ведь я тебя не знаю, как же так? Знаю я тебя?

— Откуда я? Приблизительно оттуда же, что и твои пуховые гнезда, ха-ха!

Оливер понял, что он ничего не добьется и присмирел, как овечка: — У меня нет пуховых гнезд. Я этот пух понемножку скупал у всех двадцать лет, могу тебе сказать! Нет, я не такой человек, чтоб иметь пуховые гнезда, я калека, как видишь!

Длиннобородый человек был очень спокоен или представлялся таким, по крайней мере; во всяком случае, он больше не обращает внимания на Оливера, но поворачивается к вдовушке и равнодушно беседует с нею: — Могло бы быть лучше — вот уже и дождь перестал! Он, наверное, уже добежал теперь до своего парохода!

— Да.

— Не могут же они уехать без него и попасть в безвыходное положение! Нет, лучше никак не могло сложиться! Он бы уже теперь был на борту, если бы не остановился здесь считать деньги! Видали ли вы что-нибудь подобное? Гагачий пух, ворованное добро! Но лучше не могло бы сложиться! Ты озябла?

— Нет!

— Что ж ты так приуныла, что с тобой? Он уедет, а мы останемся, вот и все! Храбрый парень!

— У него так болели зубы нынче вечером! — говорит Оливер, подольщаясь.

Мужчина не обращает на него внимания и продолжает: — Но какая же была свинская погода, когда мы задумали встретиться здесь с ним самым невинным образом. Почему ты не взяла его дождевого плаща, который он предлагал тебе?

— Я не хотела брать его!

— Да, ты не хотела брать его. С его стороны, во всяком случае, в этом не было ничего дурного!

— Я не хочу ничего брать у него! — говорит она.

Молчание. Вдруг мужчина говорит с улыбкой: — Разве он не любезный твой? Что ты городишь?

— Молчи!

— Я думаю, ты имеешь право встречаться со своим милым!

Впрочем, никто из нас ничего не знает, мы невиннейшим образом шли мимо и встретили его...

— Знай я все... — говорит она.

Тут длиннобородый делает совершенно неожиданный и веселый жест, он вынимает из кармана губную гармонику и начинает наигрывать песенку. Может быть, он сделал это, чтобы ободрить ее, или для того, чтобы подчеркнуть свою беззаботность, подчеркнуть невинность своего нахож-

дения здесь на дороге в ночной час. Невероятно, чтобы он решился играть именно теперь! Но это не обман, Оливер собственными ушами слышит музыку! И Оливер, чтобы подольститься к этому человеку и стать с ним на приятельскую ногу, опять восклицает: — Замечательно, накажи меня бог!

Он наклоняется к вдове и говорит: — Я таки поездил в свое время по белу свету, но такой игры...

Человек останавливается, обращается к Оливеру и спрашивает: — Чего ты тут ждешь?

Калека ясно видит, что его не задерживают, и отвечает: — Нет, я ничего не жду. Думаю, надо бы пойти и посмотреть, как пароход снимается!

Человек опять начинает играть.

О, он сделал промах, он чересчур осмелел, его игра вдруг пробуждает в Оливере подозрения! Разумеется, он знает этого бродягу — теперь он пораздумал, он вспомнил его игру в детские годы, он вспомнил и легенду об этом музыканте, о деревенском жителе, сыне кузнеца Карлсена, виртуозе на губной гармонике, бродяге, работавшем на всех шоссейных и рельсовых путях страны.

Для чего он теперь здесь? С ним его сестра; его брат Адольф находится на борту англичанина, тот, что с корабельным сундуком, о, эти братья и сестры — одного поля ягоды! Оливеру досадно, что он не мог сказать им в лицо все, что он о них знает!

Домой он пошел с целым ворохом мыслей. Было таки о чем пораздумать, и бог его ведает, стоит ли ему в общем беспокоиться об этом деле! Второго-то штурмана он, к сожалению, не узнал, а он-то, может быть, самая важная здесь персона! Впрочем, у Оливера было немало хлопот с собственным делом: полный карман денег, награда за его прилежные поездки на гагачьи гнездовья из года в год!

Он был уж почти у самого дома, когда англичанин издал продолжительный гудок сиреной и отвалил от пристани.

Во всяком случае, вечер оказался весьма чреватými событиями; его, пожалуй, можно было уподобить памяtnому дню, когда Оливер вернулся с моря с потерпевшим аварию судном. И Оливер не прочь был почваниться немножко, когда входил к себе; вот он, человек по своей шапке, дьявольски ловкий следопыт, он вернулся с деньгами, и тайными сведениями! Но делать было нечего: весь дом спал, Петра спала. Вообще говоря, она не была его доверенным лицом, это ему и в мысли не спадало; но

в этот момент ему хотелось немножко помучить ее любопытство, задать ей загадку, над которой она лежала бы да думала! Да, но Петра спит! Она конечно устала, бедняжка; это был один из тех вечеров, когда ей нужно было пойти к адвокату Фредриксену и говорить насчет дома; она не так давно пришла домой, она только-только успела сладко заснуть.

Оливер нарочно роняет костыль на пол, чтоб разбудить ее. С мыслью о том, какая она теперь важная персона, он говорит недовольным тоном: — Ты бы могла согреть чего-нибудь для меня, когда я прихожу домой после важного дела; я весь продрог!

Петре уже надоели его хвастовство и бравады важными делами, она с досадой отвечает:

— Согреть? Я сама пришла домой, и не застала ничего горячего!

— Что ж, ты уходила из дому?

— Разве не надо было опять к адвокату?

— Кончишь ты когда-нибудь с адвокатом? — восклицает он с раздражением.

Никакого ответа.

— И о чем, скажи ради бога, вы там разговариваете? Неделя проходит за неделей, и нет этому конца! Нет, черт побери! Но теперь посмотрим, пусть он только попробует напакостить мне, так я ему закидаю деньгами всю его гнусную рожу! Не веришь? Я не так прост, как ты думаешь, ты меня еще не знаешь, как следует: я не так-то прост, как вы меня оба считаете...

Никакого ответа.

Ничего не поделаешь! Но Оливер хочет немножко попробовать лаской: — Ну, англичанин отплыл, — говорит он в виде предисловия.

Петра спит.

Нет, момент положительно испорчен, важности и торжественности не получилось никакой! Нечего сказать, приятно приходиться домой с целым состоянием в кармане вот таким образом!

Он снял с себя мокрое платье, отстегнул деревянную ногу и улегся рядом с женою, как остров у острова. Иначе нельзя было! Она без слабостей, дышит тяжело и спокойно, тело ее в полном покое. Из-за темноты он не может видеть ее, но от нее пахнет уютом, она теплая, она услужливо легла к сторонке, чтобы дать ему место. События вечера продолжают занимать Оливера; часы проходят, и когда рассвело настолько, что он может разглядеть предметы, он

тянется к пачке кредиток и пересчитывает деньги украдкой, спиной к кровати.

Утром от досады он не хочет подарить Петре ни единого слова — жена, которая проспала великий случай узнать кое-что, лучшего не заслуживает! Но и из этого ничего не вышло, иначе оно и быть не могло: ведь Петра сама могла сообщить о неслыханном событии в городе. Она пришла от колодца и не успела еще поставить на пол ведра, как начала рассказывать, что ночью ограбили почтовую контору, и что почтмейстера нашли на чьей-то лестнице далеко от дома! Он сидел без шапки и был не в своем уме.

Во всякое другое время Оливер схватил бы костыль и потащился в город; но досада на Петру, которая лишила его вчера торжества, удержала его дома. Впрочем, он и не изумился ни капельки ее рассказу, ее истории с разбойниками — далеко нет; он съел свой завтрак и мучает Петру тем, что не расспрашивает ее. А она все больше выходит из себя! Она как будто даже позволила себе не налить ему кофе, хотя видит, что его чашка пуста,— пускай сам о себе заботится! Наконец она говорит: — Что, ты ночью немой пришел, что ли?

— Немой? — спрашивает он в сильном изумлении.

— Поступай, как знаешь!

— А о чем мне говорить? — спрашивает он. — Что ты хочешь сказать?

— Ты разве не слышал, о чем я рассказывала?

— А, про эту грязь? Я знаю побольше этого!

Она бросает на него взгляд, ей приходит в голову мысль: — Ты не был ли сам в этом деле и не запутался ли в него?

Вот это мило! Он сидит тут невинный как младенец, с чистыми руками, а его бог знает в чем подозревают! Он с достоинством откашливается и говорит: — Может быть, ты заткнешь свою глотку?..

— Я просто так спросила! Я не думала ничего дурного...

— Закрой глотку! — повторяет он и встает.

Конечно, Петра злится, что он не оценил ее великой новости, ее колоссальной новости, но так как до костыля ему рукой подать, то она решает, что безопасней будет уйти, чем оставаться здесь; она вскидывает головой и уходит с новостью в старую половину дома к бабушке.

Оливер наедается досыта и уходит из дому. Так как город сильно взбудоражен событиями последних часов, то в пакгаузе ни одного покупателя, и Оливер может на

досуге предаться своим размышлениям. Хорошо, что он ночью не успел разоткровенничаться, это прямо был перст божий, Петра из одного чванства разблаговестила бы каждое его слово и запутала его в дело с ограблением почты! Может быть, не взирая на всю его невинность, у него стали бы искать денег, полученных за пух! Теперь надо быть осторожным; во-первых, не позволять себе никаких крупных трат, никаких слишком хороших костюмов, никаких нарядов, и стало быть, ярко-красный галстук, давно уже привлечший его взор в окне магазина вышивок, не украсит уже его шеи!

Оливер все хорошенько обдумал. Не представлялось ни малейшего сомнения, что в кармане у него часть награбленных денег; но он не украл их, бог ему свидетель. Дети кузнеца Карлсена, пожалуй, могли бы пролить свет на это дело, если бы их допросить: но Оливер не желает доносить на них, этого еще не доставало! Все говорило против этого; во-первых, то, что Абель состоит в учениках у кузнеца, и что вдова — его хозяйка. Да разве сам кузнец Карлсен не хозяин ему? У Оливера настолько развито отцовское чувство, что он не желает ввергать в беду своего сына. Впрочем, возможно, что и кузнецовы дети невинны, кто знает; может больше всего посвящен в это дело иностранец, второй штурман, а кто его знает?

О, этот второй штурман и Адольф с корабельным сундуком, — это, пожалуй, преступники! Не просили ли они и Оливера взять с собой на пароход жену, они не съедят мол ее! К счастью, Оливер не взял Петры, не таков он, чтобы брать с собой жену к кому-нибудь в гости! Теперь оказалось, что его чувство благоприличия не обмануло его; он в самом деле мог попасть в настоящий разбойничий вертеп!..

Город был полон сенсаций, в газете появилась статья, которую мог написать лишь человек, владеющий пером; Карлсен из полиции носился по всему городу, производя дознание; от почтмейстера нельзя было добиться ни одного путного слова, он сидел, как пришибленный, уставившись в пол, совсем разбитый. Он начинал описывать незнакомца, на которого он наткнулся в сенях, ведущих в почтовую контору, около двенадцати часов ночи: человек этот был старый, с длинной седой бородой, может быть в маске; он говорил по-английски. На следующем допросе почтмейстер изменял свое показание: пожалуй, незнакомец не был стар, напротив, молод, он не мог бы одолеть его в борьбе. У человека не было зонтика. Короче сказать, почтмейстер

молот вздор, все запутал, он был без ума, его сразил удар; у него был доктор, констатировавший кровоизлияние в мозг и помрачение рассудка. Господи, он-то, который раньше умел чертить дома и башни с колоннами!

Город шумел, как муравейник. Грех было бы сказать, что люди не помогали в розысках Карлсену из полиции и властям; в первые дни они бросили почти все свои дела и жертвовали своим временем этому делу. В этой великой сумятице совсем потонула другая новость, которая в другое время привлекла бы к себе внимание: именно, что консул К. А. Ионсен получил рыцарский крест ордена Даннеброга. Кто интересовался этим отличием, кто говорил о нем? Газетная заметка в две строчки, случайное поздравление от немногих обывателей, вспомнивших об этом. Конечно, фру Ионсен придала больше цены этому отличию и телеграфировала о нем и Шельдрупу, который теперь прибыл в Новый Орлеан, и Фию, находившейся в Париже.

ГЛАВА XXIV

В больших городах существует мнение, будто у жителей городков почти не бывает крупных событий; это ложный и обидный взгляд, ведь там бывают банкротства, мошенничества, убийства и скандалы совершенно так же, как и в большом свете! Правда, местная газетка не печатает по этим поводам экстренных выпусков; но известия быстро и верно распространяются от колодцев в самые отдаленные уголки и каморки. Разве была в приморском городке хоть одна живая душа, которая не знала бы об ограблении почты уже на другой день ранним утром? Разве, что какие-нибудь Грюн-Ольсены, эти люди, которые долго валяются по утрам и нередко даже завтракают в постели!

Жители маленьких городков не только не лишены сенсаций, но пользуются даже и всем возможным разнообразием в смене событий. Вы думаете, что им так и суждено жить и умереть с одним только ограблением почты? В таком случае, эта новость не перестала бы так скоро считаться выдающимся событием! Доктор жил ею дольше всех, потому что она до некоторой степени позволила ему выступить победителем уничтоженного почтмейстера; но публика очень скоро перестала этим заниматься.

И чем же кончилось? Конца не было, дело вообще не двигалось с места. Старого или молодого человека, который

говорил по-английски и был, кажется, в маске, но во всяком случае имел зонтик, найти не удалось. Телеграфировали на английский пароход, но он уже взял груз в Норвегии и находился в пути к некоторой гавани. Телеграфировали и туда, и когда пароход прибыл, произвели нечто вроде следствия; но и это ни к чему не привело. Разумеется, открылось, что Адольф был Адольф, сын кузнеца, норвежский матрос; но он был женат и поселился в Англии, и на английском пароходе находился под защитой британского флага. Кроме того, его капитан был набожный человек.

Второй штурман также оказался норвежцем, сыном почтмейстера некоторого городка, холостым, с отличным аттестатом о хорошем поведении, на него не падало ни малейшего подозрения — отец в этом случае должен же был узнать родного сына в незнакомце, встреченном в сенях! Но он не узнал его. Впрочем, тут опять в дело вмешался британский флаг: британский флаг не стал бы прикрывать преступника ни единого дня, ни часу, это было известно всему миру! Таким образом, второй штурман и Адольф пока находились на английской службе, и о выдаче их не могло быть и речи.

Почему эти двое не навестили своих родителей, когда их корабль стоял и разгружался в их родном городке? Да, это был один из самых щекотливых вопросов, поставленных им, но они и на него ответили самым удовлетворительным образом: они не хотели показываться отцу, матери, братьям и сестрам с пустыми руками, они не успели еще скопить чего-нибудь из своего жалованья! Вот какова была причина. Но богу известно — так свидетельствовал второй штурман, — что он сходил на берег и бродил около дома не один вечер, заглядывал в окна, вздрагивал, когда слышал чьи-нибудь шаги у дверей, скрещивал руки на груди, когда видел тень своей матери на занавеске! Это было трогательно, сами судьи расчувствовались; а это много значит, когда судьи расчувствуются!

Обнаружилась любопытная деталь относительно матроса Адольфа; когда его вещи и он сам подверглись осмотру, то оказалось, что все его тело покрыто густой и непристойной татуировкой. Она была страшно неприлична, и на вопрос, где он ее сделал, он ответил: в Японии. Эти рисунки особенно повредили Адольфу во мнении следственного судьи, но не доказывали его участия в ограблении почты. Второй штурман был без татуировки, тело у него было совершенно чистое, так что ему легче было

отделаться; это даже послужило обоим заподозренным на пользу.

Таким образом, ограблением почты перестали заниматься; к тому же вор или вору, не так уж много стащили: каких-нибудь семь-восемь тысяч крон было взято из почтовых сумм. И так как на эту добычу было несколько претендентов, то каждому досталось немного. Чуть ли даже не являлось искушение сказать: На здоровье!

Дело потеряло особое значение, Карлсен из полиции не проявлял чрезмерного усердия в розысках, чего и ожидать не следовало, принимая во внимание, что его собственный племянник, а стало быть и он сам, подверглись бы неприятностям. Но и начальство Карлсена из полиции не желало доводить дело до крайности: было бы глупо начинать из-за пустяка историю с Англией; кроме того, общественное мнение городка требовало, чтобы Кузнец Карлсен был пощажен, этот человек заслуживал лучших детей, чем какими наградила его судьба.

А что же почтмейстер? Его эта катастрофа так сильно поразила, что никто его больше не узнавал; это было сторбленное и пришибленное создание с блуждающим взором и вечно бормочущим ртом. Этот честолюбивый человек не мог пережить позора, павшего на его должностную репутацию; о другом чем-либо ему не приходилось печалиться, ведь сын его не сделал ничего дурного. Почтмейстера все жалели. Правда, он во все время своего пребывания в городке докучал разумным людям своей вечной набожностью и метафизической болтовней на улицах и переулках; но теперь, когда судьба так с ним обошлась, охотней вспоминались добродетели, нежели пороки этой смятенной души. Не он ли вычертил план высшей школы, этой колоннады, которою пассажиры могли любоваться с моря, и потом запоминали на всю свою жизнь? И вот он сидит с помраченным рассудком, ничтожнейшего малюга ребенка!

— Он блаженный, безумный, мертвый! — говорит доктор. — Я это заметил по нему в последний раз, у него стал такой пронзительный взгляд; он стал хрупок, довольно было легкого толчка, чтобы он рассыпался! Вера погубила его!

В отличие от всех прочих, доктору трудно было забыть ограбление почты, он все тайл в себе подозрение, что деньги уплыли на английском пароходе. И что могло помешать второму штурману, хорошо знавшему помещение, запереться и украсть деньги, предназначенные для перевода по почте? Потомство! — любил говорить почтмей-

стер. Ах, это потомство, которое способно на все! Потомок Адольф — того же сорта; ужасные рисунки на теле, с которыми он расхаживает, достаточно свидетельствуют о его характере. Поистине, оба родителя могут радоваться своему потомству!

Доктор, право же, мог торжествовать. Никогда еще он не выступал по песчаным дорожкам города с большей легкостью, чем теперь, и никогда еще правильность его взгляда на жизнь не представлялась ему столь отчетливо установленной. Он довольно часто навещал набожную и верующую развалину — почтмейстера, глядел на него некоторое время и опять покидал его; он не мог открыть в большом признаков духовного просветления, и на этом основании заключал, что он погрузился в вечный мрак, *Не человеческой ли мыслью хвастал этот детский рот в своих речах?* Человеческая мысль никогда не перестает существовать, человеческая мысль — это свет, никогда не меркнущий! Во всяком случае, для него он померк, и оставил по себе черную копоть! Таким слабым головам никогда не следует пускаться в самостоятельные умствования, пусть они лучше чертят школы и церкви и верят в свой катехизис!

У доктора собственно не было причин заноситься и радоваться так необузданно, но он испытывал известное удовлетворение. Его материализм оправдался, то обстоятельство, что почтмейстер превратился в идиота, укрепило позицию доктора среди людей; ведь он как бы предсказал это несчастье, ничей авторитет не мог теперь сравниться с его собственным, его утверждения получили непререкаемую силу! Когда он говорил, что почтмейстера подкосила его вера, то кто-нибудь спрашивал его: — Вера? — И доктор отвечал: — Ну, да, суеверие! — И это было непререкаемо.

Но захватывающих радостей доктор все-таки не знал теперь, как не знал их и раньше, жизнь была и осталась убогой. Если бы время от времени ему не выпадало удовольствие подразнить ближнего, жизнь была бы совсем несносна. Думаете ли вы, например, что он выгадал, переменив поставщика? Он ведь покинул своего многолетнего поставщика, консула Ионсена, и перешел к консулу Давидсену, и это, между прочим, было сделано не для того, чтобы повредить Давидсену, а для того, чтобы дать ходу его лавчонке. А что из этого вышло? На это не обратили внимания, Давидсен тоже прислал счет! Все они на один покрой, Давидсен был только новый консул! Кроме того, Давидсен даже не был такой человек, с которым

доктор мог бы поддержать беседу; он не отвечал, он только дивился, хитрый черт, и только улыбался, когда над ним трунили!

Так уж лучше двойной консул, хотя и он всего лишь был купцом и судовладельцем!

Говорили, вот была потеха, когда доктор явился поздравлять двойного консула с орденом Даннеброга! Для этого визита он взял с собой аптекаря, и они очень раболепничали перед консулом. Они прошли в консульство через магазин, чего они вообще не делали, и послали свои визитные карточки с приказчиком, потом они сняли шляпы, оставили палки, сняли галоши и причесали себе волосы и бороды карманным гребешком. Оба визитера остались в перчатках.

Консул не без удивления вышел в двери с карточками в руке и шутливо спросил: не желают ли они аудиенции? В ответ они поклонились.— Ну, милости просим! — проговорил консул, поддерживая шутливый тон.

Но когда они, войдя в контору, продолжали торжественный тон и тогда, когда приносили свое поздравление, консулу самому стало казаться, что это в порядке вещей, — то, что они выступают так церемонно; может быть, поздравление с рыцарским достоинством так и должно приноситься, почему он знает? Правда, он немножко сопротивлялся и говорил: — Ну, что там придерживаться форм! — Но нет, они стояли на своем и не давали себе сбиться на более легкий тон!

Консул предложил гостям сигары, они поднялись и каждый взял свою сигару с поклоном, но не закурил ее. Консул хотел проявить свое благоволение и заговорил об ограблении конторы, которое только что произошло; гости кланялись каждому его слову и влагали в них чрезвычайно важный смысл. Однако, все шло хорошо, консул Ионсен был изысканно вежлив; как самый крупный человек города, он не мог ведь быть чужд хорошего тона. Один из приказчиков вошел и вручил консулу почту в собственные руки; консул швырнул ее на стол, не бросив даже на нее взгляда. Правая рука Бернтсен вошел в контору и спросил о чем-то, консул кинул ему через плечо: — После! Я теперь занят!..

Гости в это время сидели тихо, как мыши, словно они ждали еще более учтивого тона. Но так как большего, по-видимому, не предвиделось, то доктора обуял какой-то бес, он хотел сам доставить себе удовольствие более верным путем. Он обратился к аптекарю и произнес несколько слов;

из уважения к рыцарю он говорил тихо, но он сказал:— Собственно, мы должны были оставить там и башмаки!

Тогда консул понял; вероятно, его внутреннее лицо искажилось гримасой, но на внешнем его лице ничего нельзя было разглядеть, когда он ответил доктору:— Вы, конечно, боялись, что на вас не окажется целых чулок?

Не молодец ли был консул Ионсен? Его ответ попал в цель, доктор на мгновение растерялся; но он улыбнулся и промолвил: — Это могло случиться, может быть! — Но вскоре в нем опять вспыхнул порох и он сказал: — Впрочем, я оплатил и чулки, и все прочее, что я забрал в этой лавке!

— Да? — вопросительно протянул консул.

— У меня хранится квитанция!

— Вот как! — И так как доктор молчит, то консул продолжает: — В чем же дело? Я не понимаю, куда вы метите!

— Я никуда не мечу,— отвечает доктор.— Больше ничего!

Тут собственно консулу следовало остановиться и не идти дальше, но он чувствовал себя оскорбленным тем, что над ним подшутили, и не может не почваниться: — Я, право, мало имею представления о ваших и других мелких покупках в лавке; этим у меня занимается Бернтсен. Я сижу здесь и занимаюсь более важными делами!

— В этом не может быть сомнения,— соглашается аптекарь; он струсил и хочет загладить вину.

Но доктор холодно улыбается.— Разумеется! — говорит он.— Мы люди крупные, мы сидим здесь и распоряжаемся, говорим и пишем насчет небольшого грузового пароходика; мы сами ведь не стоим у прилавка и не торгуем зеленым мылом и наперстками! — Доктор цедит это сквозь зубы и производит такое впечатление, словно ему холодно,— а может быть, это от ярости?

Консул отвечает: — Совершенно так, как вы изобразили; я не вмешиваюсь в мелочи!

— Как мы, однако, величественны! — восклицает доктор.— Господи боже мой, как мы величественны, и вы, и я!

Тут вмешивается аптекарь: — Нет, это не входило в планы! Извините, я не так смотрю на дело; что это с вами, доктор?..

Доктор встает: — Нет, знаете что, г-н аптекарская душа, г-н...

— Молчите! Дело в том, консул, что мы сегодня хотели зайти к вам, чтобы... мы полагали, я с доктором, что в

качестве добрых знакомых можем немножко пошутить с... разумеется, нам не приходило в голову высмеивать вас лично, но мы хотели немножко подтрунить над орденом, над этим кавалерством, которого, конечно, ни вы, ни мы не ставим высоко! Мы, может быть, глупо держали себя, но нам казалось, что мы можем зайти и позабавить немного вас и себя.

— В этом вы не ошиблись,— отвечает консул.— Как вы видели, я принял участие в шутке с первой минуты!

— Что это вы сидите и объясняете ему такие самоочевидные вещи? Я удивляюсь вам, аптекарь! — восклицает доктор.— Идемте, идемте! Адью!..

Да, аптекарь встал с места, но он дал доктору уйти и опять стал объясняться консулу и пускать в ход самые учтивые выражения. Он надеется, что между добрыми знакомыми не возникнет никаких недоразумений, доктор слишком далеко зашел, у них не было и в мыслях снимать с себя башмаки, а чтоб направлять большой пароход из одной гавани мира в другую, нынче из Генезии, а завтра в Цюрих,— это положительно превышает нормальные человеческие способности!..

— Цюрих не морская гавань,— замечает консул и снисходительно улыбается.

— Ну, так нет! К сожалению, я мало смыслю в мореходстве, я знаю только, что получаю пилюли из Цюриха. Но что бишь я хотел сказать? Во всяком случае, это гигантский труд — сидеть здесь, быть директором кораблей на океане и в то же время управлять крупнейшей в городе колониальной торговлей! Собственно говоря, мы с доктором смело могли оставить башмаки за дверью, это я говорю вполне чистосердечно; но, насколько я вас знаю, это вам не понравилось бы. Доктор и раньше делал немало глупостей; но я прошу у консула снисхождения к нам обоим!

— Я уж забыл об этом, не говорите больше, недоставало еще, чтобы я обижался на доктора; у меня, право, есть более важные заботы! — добродушно отвечает консул Ионсен.— Бросим это!

— Наконец, что касается ордена, то вы ведь первый кавалер в городе, и конечно, никто не досадует на то, что вам досталась эта заслуженная честь! Это, конечно, в благодарность за то, что вы так блестяще действовали в деле с аварией двадцать лет тому назад!

Консул улыбается: — Ну, с тех пор могли произойти разные другие пустяки!

— Разумеется! Масса важных вещей, и не в меньшей степени — ваши ценные донесения. Теперь, вероятно, этому примеру скоро последует другое правительство — не Боливия ли?

— Каким образом? Я не консул Боливии.

Прошу прощения!

— Это, вероятно, Ольсен или Гейберг консул Боливии.

— Так. Но разве вы не двойной?..

...— консул? Да,— отвечает консул Ионсен и громко хохочет над затруднением собеседника.— Да, разумеется, двойной консул, ха-ха-ха! Но это уж наверное кто-нибудь из других состоит двойным консулом Боливии, ха-ха-ха!

— О, я ведь имею в виду Голландию,— говорит аптекарь, уничиженный,— я ужасно неловок! Во всяком случае ваш рыцарский крест есть отличие не только для вас, но для нашего города, для всего нашего города, мы все отличены этой честью! Голландское правительство также наверное скоро отличит вас.

— Каким образом? Нет, для этого нет никаких особых причин. Не закурите ли сигару перед уходом? Ну, как хотите!

— Теперь они здорово пристыжены! — думает, вероятно, консул об ушедших гостях. И думает он также, вероятно, что весь этот глупейший визит во всяком случае ничего не принес доктору.

Гости, может быть, думали иначе, бог их знает; аптекарь, пожалуй, когда вышел за дверь, в душе хихикал, а когда он рассказал доктору о своем «выходе» из двойного консульства, то пожалуй они оба хихикали. А что касается искусства управлять кораблями на океанах всего мира, то факт общеизвестный, что консул Ионсен не вполне владел этим искусством, и грузовой пароход «Фиа» совершал свои рейсы главным образом распоряжениями его сына Шельдруса.

Доктор, кажется, тоже остался недоволен, он говорит: — В конце концов он все-таки не понял насмешки! Может быть, он в эту самую минуту сидит и примеряет на себе орден Даннеброга!

Аптекарь же думает, что он понял.

— Понял! Что он там понимает! Говорили вы о гигантской работе?

— Я говорил о гигантской работе.

— А Боливия и Цюрих? Но он ведь вас не вышвырнул вон!

— Он умен задним умом. В конце концов он понял, в чем дело!

— Ни капельки! Нет, эта наша выдумка была неудачна!

Доктор отправляется к Грюн-Ольсенам. Он часто ходит туда, в последнее время чуть не каждый день, у него есть дело. Зять Ольсена, художник, прибыл на летние каникулы с женою и ребенком. С ребенком все благополучно, но юная мать, как все юные матери, беспокоится и требует врача.

Доктор ничего не имеет против того, чтобы бывать у Грюн-Ольсенов, он немножко подзарабатывал лишку на этом, и начал даже входить во вкус. Здесь не все было так важно и размерено, но зато и не отмерено, все было на широкую, щедрую ногу, немножко было расточительности, немножко распушенности. Непарные дамские перчатки валялись в передней, дорогие зонтики стояли сломанные. Внутри, в комнатах, не было беспорядка, но все кричало об избытке мошны: рамы, картины, ковры, чехлы на мебели; гардины висели с потолка до пола и пачкались. Нет, здесь не заметно было скарденности, но все наводило на мысль о «Self made man», о «скоробогатеньких», о «нуворишах».

— Что за беда! — думал доктор, и попивал дорогое вино, курил дорогие сигары; во всяком случае здесь он встречал радушие и гостеприимство, а кроме того самую искреннюю готовность признать его. Он сидел, развалившись на мягкой софе, и все жадно ловили каждое его слово, нужды нет, что богатство-то было недавнее! Деньги как деньги, миллионы ничем не хуже тысячи! И доктор сидел. Он был не из тех людей, которые умели импонировать; в этой среде он казался немного застенчив, накрахмаленная рубашка как-то раздражительно скрипела на его груди, а манжеты он должен был придерживать мизинцем, иначе они спускались на запястья.

— Нет, сегодня ребенок совершенно здоров, — говорит он. — Ей нужно только получить еще зубы, чтобы стать и в этом отношении похожей на свою прелестную мать!

Молодая мать густо краснеет и говорит: — О, какое счастье! А мы так испугались за нее. Забавно, впрочем, что испугалась-то больше всего не я!

Консул Ольсен спрашивает: — Кто же больше всего испугался?

— Ты, папа! Признайся же!

Консул оправдывается: — Я не испугался, но мне казалось зачем ей лежать и мучиться, если против этого есть средство! Ее назвали в мою честь, доктор.

— Это многое объясняет! — говорит доктор.

Здесь доктор был совсем другой человек, о, ему не нужно было держаться начеку и запускать шпильки, ему оказывали уважение! Он держался дружески и предупредительно, он, можно сказать, был мил; сознавая свое превосходство, он не углублял пропасти между собою и этими людьми. В этом доме и вообще царило веселое настроение, для разнообразия это было неплохо; доктора не баловали этим дома, здесь царило здоровье и смех, и, конечно, ребяческие претензии на знатность.

Народ постоянно приходил и уходил в этом доме. Кроме зятя с семьей, их посещали другие художники, сын маляра, о, они взяли его с собою; правда, он не породнился с этим семейством, как его коллега, но и он встретил здесь радушный прием; ему отвели комнату на антресолях с коврами и гардинами до полу.

И вот, этот малярский сын пожелал написать портрет доктора.

— На что он вам? — прямодушно спросил доктор. — Я не могу купить его, а другим вы его не сможете сбыть!

— Я хочу написать вас ради вашего лица, — ответил художник. — О барыше тут нет и мысли, — добавил он весело. — О, этот малярский сын был вовсе не плохой малый, он не лазил за словом в карман, он легко воспламенялся и вечно был влюблен; у него было честное лицо, но большие и грубые руки, доктору неприятно было смотреть на эти руки.

— Ну, пишите! — разрешил доктор и напустил на себя равнодушие.

— Благодарю вас. Но я хочу писать вас в вашем кабинете, где вы окружены лекарственными склянками и толстыми книгами, где вы заняты вашей наукой!

Доктор даже вздрогнул! Замечательный художник, столько понимания ученого человека и его деятельности! Доктор явно был тронут, слабый румянец появился на его худых щеках, и он выпил свой стакан, чтобы скрыть это.

Да, здесь, в доме Грюн-Ольсена, ему было хорошо!

Первоначально он не возлагал на этот дом особых ожиданий. Он хотел облагородить этот дом, как он облагородил другие дома, Генриксена с верфи, Гейберга, лавку Давидсена, Ионсена с пристани; теперь он начал испытывать здесь благополучие, насколько это возможно было. Кроме того, у него явилась идея: он мог на время отодвинуть в сторону Ионсена с пристани ради консула Ольсена — сделай милость, попробуй, как это вкусно! Ему хотелось внести в вещи некоторое равновесие, создать

равносильную державу по ту сторону границы; о, он умел управлять городом, разделяя обывателей и стравливая их, как бойцовых петухов!

Все было бы хорошо, но все разбилось о добродушие и косность семейства Ольсенов. Нет, семейство Ольсенов не отличалось любознательностью и не знало толку в интригах и хитростях. Оно знало толк в еде, и деньгах, и хорошей мебели; но у него не было культуры, иллюстрированных журналов и тарелок, расписанных дочерью хозяина. Семейство Ольсенов держалось ближе к земле.

— Ионсен с пристани стал рыцарем! — говорит доктор. — Теперь ваш черед!

Грюн-Ольсен грустно качает головой и говорит: — Это вовсе не так легко!

— Это не так уже недостижимо. Немножко надо поработать!

Грюн-Ольсен уныло качает головой и отвечает: — Я консульский агент страны, не имеющей орденов.

— Да. Но вы послушайте, консул: вы во всяком случае могли бы иметь дачу!

— Дачу? Да. Конечно!

— Неправда ли? Почему должна быть только одна дача? И почему только он один должен иметь дачу? Вы, несомненно, богаче его!

Грюн-Ольсен с улыбкой качает головой: — Ну, не преувеличивайте!

— Стало быть, дачу! И вы будете ездить туда на паре.

— На паре? Нет!

— У вас есть на это средства!

— Да, средства есть, — отвечает консул и пыжится. — Но пара лошадей — нет, это уж извините! Я не умею править даже одною!

— Для этого у вас будет кучер. Господи, да ведь вы человек, знающий, что такое приличия! Кучер со светлыми пуговицами и золотым позументом на шапке!..

— Нет, нет, нет, кучер сам будет смеяться до упаду, — объясняет Грюн-Ольсен. — Да я и не могу сидеть в экипаже, запряженном парой лошадей!

Доктор предлагает: — Я поеду в первый раз, т. е. фру Ольсен. Неправда ли, фру Ольсен?

Фру Ольсен восклицает, совсем подавленная: — Нет, упаси боже! Фру докторша может поехать, фру докторша сама может...

Ничего с ними не поделаешь!

Все опять вошло в норму в городке — только почтмейстер оставался пришибленным. Он получил отставку со скудной пенсией, его семья переехала в маленький домик у верфи, а на почте поселился новый почтмейстер.

Лето кончилось, и две студенческие шапочки городка уехали на учебу. Они вовсе не были закадычные друзья, но уехали на одном пароходе. Закадычные друзья? Франк работал все свои каникулы напролет, и опять обогнал Рейнерта; могли ли на такой почве развиться теплые и гармонические отношения? О, чего только Франк не изучил в эти недели! Это видно было по нем! В его сознание влелось столько трудных познаний по языкам, — постепенно, без грубости, без насилия, только благодаря тому, что он отдавал этому свое время и жизненные силы; теперь он стоял на пароходе немножко исхудалый, желтый, без капли жира и готовый опять учиться. Жизни, которая его окружала, он уделял не больше внимания, чем она заслуживала; рукам его не находилось дела, на работу матросов на борту он смотрел вялым взором, люди из машинного отделения были страшно грязны. Франк не умел спускать бочки и ящики в трюм, о, нет, он не для этого был создан; но он умел рыться в словарях, он сидел с тонкими, священными познаниями в языках, никакого сравнения тут нельзя было провести; благородство приобретает учебным старанием и утрачивается в работе!

На пароходе он встретил маленького знакомого по школьной скамье, Карандаша; он вынырнул из-за машины каким-то черным негром, полуголый, с лицом в поту, с расстегнутым воротом рубахи. — Здравствуй! — сказал он и кивнул головой.

— Здравствуй! — сказал и Франк, и стал припоминать негра. — Так ты здесь?

— Да. Ты разве этого не знал?

— Нет, — ответил Франк, немножко отчужденно.

— Я кочегар. Как поживает Абель — хорошо?

— Абель? Да, насколько мне известно.

Карандашу хотелось оживить школьные воспоминания: — Помнишь ты это? А это ты забыл? — Он смеялся, показывая белые зубы, и даже не думал о том, как он грязен; он стоял на самом сквозняке и нисколько не беспокоился об этом. Франк раза два-три переступил с места на место и проговорил: — Здесь сквозит!

— А что твои домашние и сестры, здоровы?

— Да, не иначе.

— Ха-ха-ха, ну словно ты не из дому едешь! — говорит Карандаш.— И как это странно, что ты не знал, что я служу здесь! Твои сестры знают это!

Франк отвечает уклончиво: — Мне приходится так много думать о другом!..

— Но ведь ты помнишь еще, как мы побили стекла? Когда нас застал заведующий?

Франк отдалается все больше и больше, чуть не на самый горизонт: — Нет, ведь это было так давно.

Карандаш замечает, что товарищ его — ученый, и пытается расспросить о нем самом: — Ты возвращаешься в университет?

— Да, разумеется.

— О боже, как далеко ты пошел! Ты скоро будешь пастором?

— Пастором? — насмешливо говорит Франк.— О, нет!

— Да ну?

— Я изучаю языки!

— О, языки всего мира! Да, это не шутка! Языки всего мира, как наш заведующий! А Рейнерт, верно, будет пастором?

— Этого я не знаю.

— Ну, не знаешь?..

Франк с неохотой отвечает: — Нет, я не знаю, чем он будет.

— Я видел, как Рейнерт взшел на пароход нынче утром; но он меня наверное не узнал.

— Очень может статься; ты такой черный.

— Да, но я поклонился ему, — говорит Карандаш и начинает выгребать золу из топки и бросать ее за борт.

— Какая тут пыль! — говорит Франк.

Нет, Рейнерт узнавал только тех, кого он хотел узнавать; он знал, конечно, Франка, который был его коллега и только немного обогнал его. Франк почти не видел его на пароходе, Рейнерт ехал вторым классом, и охотнее вертелся в первом. Но Франк стоял себе в своем третьем классе и наслаждался сознанием, что он знает больше языков.

Рейнерт мало занимался на каникулах, немножко-то он подчитал, чтобы порадовать своего отца-часовщика, но он больше был занят вне дома. Рейнерт не потратил времени даром, он совершенно покориЛ Лиллелидию и девочек на верфи; и как он ни был молод, он добился больших успехов даже у Гейберговой Алисы. Юноша был чертовски хорош

со своими кудрями и щегольским платьем, к тому же он действовал так смело, что мог сойти за взрослого! Дошло даже до того, что он попробовал отбить дам у помощника уездного судьи, хотя имел дело с человеком, уже окончившим курс наук!

Франк ходил по палубе, посиневший от холода, и искал теплого местечка всякий раз, как пароход поворачивался. Первое, что он решил сделать по прибытии в Христианию, это — купить пальто с бархатным воротником.

Он прошел мимо курительной комнаты, дверь была раскрыта настежь, он заглянул и остановился. Потом он поклонился и хотел пройти мимо, но постоял немножко; кроме того, прямо против него сидели знакомые, адвокат Фредриксен из его родного городка, великий человек; но он развлекался беседой с маленьким, с Рейнертом, они сидели там и болтали, адвокат чистил ногти перламутровым ножичком; оба курили.

Франк не вошел, но у него не было и причин уходить, ведь его знали и узнавали; поэтому он обратился в дверь к Рейнерту и промолвил: — Я встретил здесь на пароходе Карандаша, он осведомлялся о тебе.

Рейнерт не ответил, но заморгал глазами, словно он был в задумчивости.

— Он здесь кочегаром.

— Вот как! — рассеянно ответил Рейнерт.

— Кто это Карандаш? — спросил адвокат Фредриксен, словно он этого не знал.

— Наш школьный товарищ, — ответил Рейнерт. — Да, я рад, что опять увижу «Корневильские Колокола»!

— Я не видел этой вещи.

— Клаузен изумителен! Таково общее мнение.

— У меня так мало времени ходить по театрам и циркам, — гремит адвокат Фредриксен. — У меня ведь работа по стортингу; кроме того я председательствую в парламентской комиссии...

Франк понял, что здесь ему нечего делать, и ушел. Впрочем, он ушел в теплый угол и улыбнулся: ведь он знает больше языков, чем те двое вместе; Фредриксен знает только обрывки немецкого — это все, что у него осталось!

Но не имел ли права и адвокат Фредриксен улыбаться? С его языками было так же, как и с его анатомией: он знал то, что ему нужно было знать! Теперь он ехал опять к своей комиссии, вполне отдохнувший и готовый взяться за работу в том пункте, где он оставил ее. Эти собрания

в комиссии были неплохое дело; в газетах печаталось, когда он выступал; он опять будет получать от казны прогоны и суточные, он будет по вечерам встречаться с коллегами и сотрудниками за пуншем и длинными трубками. Его престиж поднимался, мелкая газетка среди прочих других называла и его в качестве будущего кандидата в министры: «Разве у нас нет людей? Да вот, присяжный поверенный Фредриксен!» Адвокату не вредило то, что на него указывали, он кое-что выигрывал на этом; о, перед ним было будущее, он теперь был такой человек, что среди разговора мог свободно вынуть перочинный нож и начать чистить ногти.

И вот едут эти три земляка в Христианию — Франк, Рейнерт и адвокат, каждый со своей целью, своим честолюбием, своим будущим. А. Карандаш кочегаром в машинной...

И городок остался за ними.

Дома по ним тосковали, за каждым на особый лад; Франку, пожалуй, легче всего было перенести разлуку. Комната опустела после него, но его бабушка перестала выступать на цыпочках в старой половине дома, и могла теперь сколько угодно скрести плиту. Это уже была немалая перемена к лучшему! Абель унаследовал после брата каморку, но от этого не было ни хуже, ни лучше, он занимал ее только по ночам; а кроме того, Абель ведь не был ученый.

Конечно, адвокат оставил по себе более глубокий след. Не то, чтобы его контора очень страдала от его отсутствия,— дела его были настолько несложны, что их ему пересылали почтой, и он вершил их на скамье стортинга. Но кроме того у адвоката был ведь некоторый предварительный уговор, фрекен Ольсен, пожалуй, чувствовала его отсутствие, у них во всяком случае стало тихо, когда его голос замолк! Что, собственно, должно было последовать? Подождите, время еще не пришло, но оно приближается; в пригородной газетке были названы будущие деятели, в том числе и он со своей помолвкой! Барышне Ольсен наверно недостает чьих-то тяжелых шагов по лестнице, если не большего; запыхавшегося господина, который вслед за этим входил в комнату, затылка со складками, нащупывающей руки: — Добрый вечер, добрый вечер! — Если она не забывчива, то она должна также вспоминать окурки сигар в пепельнице, болтовню, деловой подход к вопросу о любви и к норвежской политике: — К чему мы собственно должны

стремиться в сей жизни? К хорошему, к чему же больше? Мы все время переходим от одного положения к другому, все к лучшему и лучшему, хорошо едим, хорошо одеваемся, делаемся состоятельными людьми, приобретаем дома в городе и паи на суда в порту, живем на дачах, ездим на море, если хотим; катаемся, если хотим! Мы не делаем того, что нас не касается, не пытаемся устранять несправедливости, — пускай этим занимаются другие, если есть охота! Позже — позже мы можем проявить деятельность и дать людям работу; мы можем также немножко поблаготворительствовать вокруг себя, протянуть руку помощи. Мы прослышали, например, о бездомной семье и позволяем ей жить в одном из наших домов: сделай одолжение, живи тут со своими! Мы узнаем о несчастьях, и принимаем в них участие; матросы делаются калеками на своей опасной службе — мы вмешиваемся и отстаиваем их права! Таким путем мы делаемся солидарны, мы стоим за прогресс и демократию, дайте нам только привести в порядок службу, флаг и отечество...

— Да, — говорила, конечно, в таких случаях фрекен Ольсен.

— Не правда ли, так оно идет и так должно идти! Но не хорошо человеку быть единому; и личное, и служебное положение требуют сотрудницы, фрекен Ольсен...

— Не закурите ли вы еще сигарку?

— Благодарю! Стало быть, сотрудницы. Она необходима по многим причинам: дом должен иметь хозяйку, она должна заниматься устройством дома, хозяйственные покупки ведутся через нее. Кто-нибудь может придти к мужу, — он занят работой, он в государственном совете, но жена представляет его. Правление дома для престарелых или богоугодного заведения ищет ее ценной поддержки, — ну, и фру подписывается под воззванием! О, она теперь поднимается на высоту, к новым почестям, но и к новым обязанностям. Она не может постоянно уклоняться, общество следит за нею, у общества есть свои требования. Смогли ли бы вы исполнять эти обязанности, фрекен?

— Я? — говорит, конечно, со смехом фрекен Ольсен. — Нет, не знаю! Да, думаю, что смогла бы, если бы это понадобилось. Как вы думаете?

— Я исхожу из этого! Теперь остается только выяснить, желаете ли и вы. Со времени нашего первого соглашения прошло несколько месяцев, вы имели время обдумать это по многу раз. Но я сам жду наступления некоторых

перемен, так что дело не спешное, я даю вам еще время подумать.

И тут фрекен Ольсен спрашивает с некоторым удивлением:— Наш первый уговор, говорите вы? Какой уговор?

— Милая, наше предварительное соглашение. Разве вы не помните— на свадьбе у вашей сестры? Я думал, мы согласились...

— Да, мы не разошлись.

— Вот видите!

— Но это вы уговаривались!..

— Ну, об этом мы не будем спорить; это я главным образом говорил, вы правы! Я дал вам свое обещание...

«Это она просто немножко ломается», должен был подумать адвокат Фредриксен. Но для большей верности он желает упомянуть нечто, намекнуть кое на что, пришедшее ему на ум. Эти живописцы и художники, появившиеся в доме, могут еще, пожалуй, отбить у него девушку; невероятно, чтобы это случилось, но он хочет намекнуть на это:— Таким образом, я сложил свое предложение к вашим ногам, и там оно лежит. Гм... Кто это там поет на антресолях?

— Это художники. У них там наверху мастерская.

Адвокат улыбается:— О, эти парни, беззаботные создания, покоят себе и малюют на полотне! О другом я уже не говорю; но ваш шурин, он ведь из образованного семейства, мы с его отцом в одно время были в университете! Как дела юноши? Такому молодому человеку не на что опереться, он ничего прочного не изучил, не штудировал. Другого я не буду называть; но ваш шурин родился для будущего. Ну, у него может пойти хорошо, он может продать картину время от времени, я сам буду у него впоследствии покупать, и предоставляю вам выбор.

— Как?..

— Да, это будет так,— кивает г-н Фредриксен с высоты.— Покупать картины и просить вас выбирать их. Желаете?

— И вы мне в этом доверитесь?

— Разумеется; я вам доверюсь в гораздо более важных вещах! А что касается полотен, то мы купим у него не одно, а пару! Вот что мы сделаем! Я теперь опять уезжаю в Христианию служить отечеству. Пусть наш уговор останется до времени; когда момент наступит, я надеюсь, мы с вами окажемся одного мнения...

Так обстояло дело с предварительным соглашением. Адвокат участвовал в нем почти в единственном лице. Смотрите, он несколько месяцев тому назад устроил это дело, и устроил к собственному удовлетворению; но сегодня ему вспало на мысль, что он не хочет быть единственной стороной в договоре, он хочет вовлечь в него и другую сторону! Разумеется, фрекен Ольсен согласилась бы, ему нужно было только спросить ее, высказаться. Так оно и шло; она немножко ломалась, но это ничего не значит; все кончилось тем, что она согласилась покупать картины для их палат.

И адвокат Фредриксен сел на пароход.

Но фрекен Ольсен осталась в городе, и задумалась в своем одиночестве. Что она обещала этому человеку? Ничего. Ни капельки! Но отказала ли она ему наотрез с первой же минуты?

Некоторые женщины не отказывают никому, ни одной душе; даже самый невозможный претендент может занять их мысли! Конечно, фрекен Ольсен не принадлежала к расчетливым, к обстоятельным невестам; но вот перед нею явился этот мужчина; она держала его про запас, один лучше, чем ни одного, она входит уже в лета, сестра вышла замуж; бог его знает, что будет; будущее есть, министерский пост — недурное амплуа, когда человек в самом деле становится министром! О, об этом во всяком случае стоит подумать! Расчетливость? Она вовсе не погружена по уши в расчеты, она была естественная девушка, совершенно как все другие, природа сама вела за нее политику. Она никогда не знала лишений, — ей ли нуждаться в поклонниках? У нее имелось в избытке все другое, а вот к ее услугам и министр — когда он станет им. В этом не было ничего удивительного.

Разумеется, фрекен Ольсен должно было недоставать адвоката, когда он уехал!

Недоставало ли его другим? Семейству Оливер, например? Это мало вероятно. Лично Оливер был более чем обрадован, когда его настойчивый кредитор выехал из города; да и Петре наверно надоели постоянные визиты к адвокату. Наконец-то переговорам пришел конец! Она не могла, конечно, питать симпатий к этому человеку, который так мучил ее; здесь, конечно, не могло быть и речи о склонности, этого еще недоставало! Слышал ли кто о чуде и неудержимой любви в данном случае? Рассказывали ли у колодца, что оба зажглись пожаром? Упомянули ли слово: «Короткое замыкание тока»? Адвокату принад-

лежал кров над головой Петры, она растабарывала с этим человеком, чтобы сохранить этот кров, вот и все! Разумеется, ей приходилось часть бывать и говорить об этом деле; и Оливер, ее муж, иногда ворчал: когда же она кончит это дело? Но разве она надевала на себя для этих визитов более сильнодействующие и возбуждающие наряды, чем новую рубашку под платье? Нет, насколько было известно Оливеру! Она приобрела себе эти новые сорочки и любила ходить в них. Петра — мужняя жена, и ничьи заигрывания не могут пленить ее! Много лет тому назад, еще молоденькой женщиной, она дала пощечину Шельдрупу Ионсену за одно слово; а чего ж она способна надавать теперь, когда волосы ее поседели за ушами, и у нее почти взрослые дети?

У Оливера не было никаких оснований терзаться подозрениями. Он сказал: — Ну, так он уехал?

— Да, — ответила Петра. — И я была бы счастлива, если бы он никогда не возвращался!

— Как, — ты думаешь, что он уехал навсегда?

— Не знаю. Я рада, что он убрался.

Оливер видел по лицу жены, что она говорит искренне, она сделала гримасу отвращения и при этом еще сплюнула. Красноречивей нельзя было показать, что она ненавидит адвоката!

— Да, безбожный он человек! — промолвил он. — Но адвокаты — когда они были иными?..

— И говорю тебе, — продолжала Петра, — в следующий раз ты сам должен пойти к нему! Ноги моей там больше не будет!

Можно ли было выразиться яснее? Оливер не проявил неудовольствия, напротив; в следующий раз он сам отправится к адвокату, Фредриксену, с очень коротким и решительным визитом, сказал он, и кивнул головой. И он намерен разделаться с ним раз навсегда, он скажет ему свое имя, Оливер Андерсен, и потребует свою расписку в обмен на некоторую массу денег, которую он швырнет на стол этому кровопийце! — И этот трус и калека изобразил, как он это сделает...

Впрочем, Оливер и впрямь осмелел в последнее время; сознание, что он ходит с деньгами в кармане, подстегивало этого человека, характер его сделался решительнее. В первые дни после ограбления почты он пребывал в состоянии неуверенности, и попросил Петру нашить внутренний карман к его куртке. Петра подняла его на смех и приняла это за пустое бахвальство. — Крепкий

карман! — потребовал Оливер. — Да, из парусины! — промолвила Петра. И Оливер должен был обратиться к матери, чтобы добиться своего.

Теперь, расхаживая со своим внутренним карманом и пачкой кредиток, Оливер чувствовал себя спокойным; никому не придет в голову обыскивать калеку, который не сделал ничего дурного. Денежки за пух принадлежат ему!

Досадно было только, что эти деньги не могли увидеть дневного света. Оливеру было бы очень лестно заходить в городские лавки, требовать того, другого, вынимать из кармана весь свой банк и расплачиваться, но это удовольствие было для него запретным, деньги надо было расходовать с известной осмотрительностью и подальше от света. Хорошо было то, что в большинстве это были кредитки мелкого достоинства; осторожно соблюдая перерывы, он мог время от времени вынимать из пачки кредитку и тратить ее на покупки. Таким путем он добывал себе сласти и посасывал их каждый день; принарядился немножко; приобрел новый галстук и крахмальный воротничок; девочкам он купил башмаки с бантиками. Никто не мог заподозрить его в крупных тратах; пара крупных кредиток лежала разглаженная в его внутреннем кармане.

Так шло время, у Оливера не было других прихотей, он довольствовался малым. Он не был обжорой, хотя и был немножко лакомкой. Петра была его полной противоположностью, она была жадное и любостыжательное существо. Как раз в это время Оливеру пришлось часто проявлять свой новый, кроткий нрав; он постоянно оправдывал Петру и кротко увещевал ее. Черт ее разберет, она стала ужасно капризной и несговорчивой, словно стих на нее нашел, ни еда, ни питье не были ей по вкусу, в последний раз кофе показался ей какой-то гнилью, — и что это ты за кофе приносишь? — говорила она. У Давидсена она видела кусок швейцарского сыру, и если б она продолжала служить у консула Ионсена, так она бы уж ела такой сыр! Впрочем, она видела и кусок золотого мыла в витрине у цирюльника Гольте, оно наверно хорошо пахнет!

Но Оливер, сидевший с деньгами во внутреннем кармане, отвечал: — Не будь так падка на все, что ты видишь, Петра! Подумай лучше, сколько мы с тобой зарабатываем! Хорошо ли будет, если мы начнем кручиниться о таких вещах?

И тут Петра проявила свой неукротимый нрав, и начала ссориться с мужем. Вместо того, чтобы испугаться

костыля, который лежал под рукой, она начала издеваться и над костылем, и над мужем, и объявила, что она живет с костылем, разговаривает с костылем, спит с костылем, и верно, умрет с костылем; ну, хорошая жизнь, нечего сказать! И при этом она сплюнула, словно ее чуть не сорвало.

Обладая крепким туловищем, Оливер мог, конечно, расколоть стол топором или развалить печку, или сделать другое маленькое предостережение; но он сделал нечто совсем неожиданное: он пошел в город и вернулся с сыром и мылом, сделай одолжение! Вот это сюрприз! Петра с минуту была словно пришиблена этой непостижимой любезностью, потом она залилась слезами: — Ей не нужно этого, она не хочет! Как он мог быть таким идиотом и из-за этого входить в долги?

— Отнеси сейчас назад!

— Нет, ты получила то, что хотела, — ответил он.

Хотела! Что ж, она не имеет права пошутить? Или она должна онеметь на всю жизнь? Тьфу!

Конечно, Оливера должно было оскорбить то, что она плюет на него так же, как на адвоката, но он промолчал. О, с человеком, у которого обновился характер, происходят большие перемены!

Оливер уговорил жену отведать сыру, и она отведала его — и выплюнула! Что это значит? Это не тот сыр, не пытайтесь обмануть ее! Петра побледнела от возбуждения и дала девочкам нагоняя за то, что они улыбнулись! Понюхав мыло, она заткнула себе ноздри.

С ней положительно не было сладу!

Правда, ни Оливер, ни девочки ничего не могли иметь против того, что купленное лакомство им пришлось взять себе.

Так и шел день за днем, с горем и радостями, с маленькими трениями, с мелкими происшествиями, иногда с превосходным рыбным обедом, когда Оливер выезжал на море; иногда с печеньем к кофею, когда Оливер менял кредитку. В общем было недурно, семья жила лучше, чем большинство бедняков в городке. У многих ли, в самом деле, имелось постоянное место и внутренний карман с деньгами?

Хуже обстояло дело с несчастным почтмейстером и его семьей. Доктор все не находил признаков улучшения в состоянии злополучного пациента, тот сидел на своем месте, безмолвный и пришибленный, наполовину мертвый. Нельзя было также думать, что он испытывает какое-ни-

будь внутреннее удовлетворение, что он хихикает и смеется в своем одиночестве, или хлопает себя от удовольствия по коленям. Далеко нет! По нем не видно было, чтобы он утешался своей прежней философией, радовался детям, тому, что дети пошли так далеко вперед по сравнению с ним, тому, что теперь они, слава богу, работают для лучшей жизни в грядущем существовании! Почтмейстер, по-видимому, уже больше не мыслил, больше не искал, не веровал. Он искал много лет подряд и наконец нашел тропинку с искоркой света; по ней он и шел,— пока страшный рок не поднялся против него и не остановил его. Умствования сломили его.

Его жена и дочери были славные создания; одна дочь должна была получить место в магазине консула Ионсена; сын, который занимался сельскохозяйственными работами, помогал всем, чем только мог; скудной пенсии хватало,— пожалуй, даже больше, чем ожидалось; но такое множество взрослых людей не могло же прокормиться всем этим! Было бы очень плохо, если бы не вмешался сын из Англии, бравый второй штурман. Когда он узнал об ограблении почты и о несчастье с отцом, он поступил, как мужчина. В прекрасном письме он заклинал отца и сестер возложить упование на господу в сем испытании; он сообщал, что и он имел неприятности из-за этого дела, но, разумеется, от него отстали в конце концов. Он прощает людям, что его заподозрили и подвергли допросу; правда, однако, восторжествовала; благодарение богу, в Англии правда всегда торжествует! В заключение он писал, что это было для города указание свыше — одуматься, исправиться; такие неслыханные события касаются не только его и его семьи, но всех людей! Короче говоря, он стал благочестив! Вот это сын! О важнейшем он не упомянул ни словом; важнейшее же заключалось в том, что он каким-то случаем вдруг оказался при деньгах — не то получил прибавку к жалованью, не то открыл новый угольный рудник на английской земле; он прислал домой порядочную сумму денег и обещал прислать еще. Это было сущее спасение, его прекрасный поступок доставил матери и сестрам неожиданное счастье. Они пошли к отцу и сообщили ему новость, они решили сделать это сразу, чтобы немножко подстегнуть его вялые мозги; они надеялись, что радость разом вернет ему рассудок,— подумайте, если бы так случилось!

Почтмейстер выслушал их, он даже как будто старался понять их слова, но не пришел в рассудок. Получилось

впечатление, что он уже об этом раньше слышал, или думал об этом сам; единственное изменение на его лице, которое можно было проследить, заключалось в том, что оно стало бледнее. Жена расплакалась.

— Нет,— проговорил доктор,— ваш сын, второй штурман, не может исцелить вашего супруга!

Жена почтмейстера редко заговаривала по собственной инициативе, но так как ее обидела постоянная самоуверенность доктора, то она спросила:— Почему так?

— Да, почему! — ответил доктор.— Я скорей поверю, что почтмейстеру наконец надоест самому сидеть и созерцать собственный пупок!

Такие слова говорить пораженной бедою семье,— это даже против бога! Но это было одно из обычных выражений доктора. С этим ничего не поделаешь!

Доктор идет домой. В эти часы он позирует для художника, поэтому он облачен в свой старенький редингот и полосатые брюки, которые он заказал себе ко дню конфирмации Фи. С тех пор прошла целая вечность!

Он идет мимо двойного консульства Ионсена, и так как у него всегда зоркий глаз на это учреждение, то он сразу замечает на нем новую вывеску: «Модные товары. Блузки. Вязаные изделия. Чистка шляп». Вывеску прибили к дверям, вероятно, ночью.

Доктор останавливается и внимательно перечитывает ее, и чтоб не говорить с самим собою, он обращается к проходящей мимо девочке, которая приседает перед ним.— Наш рыцарь мечтает о новых гербах!

Да, консул Ионсен приказал очистить пристройку к лавке, в которой годами стояли печки и пара борон, и превратил ее в магазин мод. Очень просто!

Доктор идет дальше и улыбается, он подходит к своим парадным дверям и натывается на художника, который гуляет и ждет его.— Открытие, молодой человек! — кричит он ему еще издали,— событие! — После чего начинает излагать ему новость.

Вообще говоря, доктор не любитель разговоров с малярскими сыновьями, но этот молодой человек — совсем другое дело; художник далеко не ничтожный человек, правда, мало прикосновенный к книжной мудрости, но настолько разумный, чтобы слушать, когда говорят ученые люди. Во время сеанса проходил вереницей весь город, от несчастного почтмейстера до Ионсена с пристани и Грюн-Ольсенов, от Давидсена и Гейбергов до адвоката Фредриксена и калеки Оливера,— этого, с кареглазыми

детьми в доме! Художник узнавал интересные подробности о городских делах, доктор был и остроумен, и язвительен, о, он умел пускать стрелы. Но случалось так, что он слишком торопился, и стрелы его застревали, дрожа, в стороне от цели. И доктор может иногда промахнуться!

— Молодой человек, вы здесь чужак,— говорил он, например,— весь этот городишка сушая дыра; но без меня это было бы болото! Я таки умею занять эту публику! — Так они сидели в кабинете врача мелкого городишки; художник писал, а доктор работал языком. Ничего ученого в комнате не было, хотя художнику хотелось, чтобы портрет назывался «Врач». Доктор достал несколько книг, и поставил на стол несколько медицинских склянок, тут же стоял стетоскоп, а на стене висел алфавит, по которому близоруким подбирались очки; в одном углу в чашке стояло немного сулемы,— и это было все. Где операционный стол и стеклянный шкаф со всевозможными инструментами? Оба стула, стоявшие в комнате, были плетеные. Не было ни микроскопа, ни скелета, ни даже черепа в знак мужества в обхождении с покойниками!

В этой обстановке художник писал доктора. Это были приятные сеансы, прерывавшиеся лишь появлением мужчины с распухшими пальцами, или новобрачной со страшной зубной болью. Доктор был превосходной моделью, полной жизни, ядовитых замечаний, желчи, недоверчивости и воинственности, лицо его постоянно менялось, оно твердо хранило лишь выражение непоколебимого превосходства. О, как он умел доказывать молодому человеку, что городок — гнездо и яма!

И вот он наталкивается на него у своих дверей, и еще не успев войти, начинает говорить о своем открытии:— Молодой человек, не один только адвокат Фредриксен умеет соединять свою выгоду с любовью к отечеству!— Как он метал стрелы, попадал, промахивался и опять метал! — Ионсен с пристани открыл сегодня ночью магазин мод! Это, впрочем, было, разумеется, делом правой руки Бернтсена, он человек с большими способностями, он так мало зарабатывал на печках и боромах, и продавал их так редко; теперь он взялся за моды! Впрочем, это вполне под стать всему остальному в этом предприятии; Ионсен с пристани продает хозяйкам предметы ежедневного обихода, теперь он будет продавать прислугам наряды! Магазин мод! Но кто будет заведовать этим новым отделением? Да, у свихнувшегося почтмейстера есть две дочери, старшая может заведовать магазином! Это счастье

для Ионсена с пристани, что почтмейстер свихнулся и одной из его дочерей приходится служить! Это славная и умелая девушка, но ей придется бросить свой домишко у верфи и пойти управлять лавкой мод. Она не училась этому; но это ничего, дело не такое уж большое, Ионсен нанял ее дешево, на него даже падает некоторый блеск благотворительности, раз он дает ей работу. Молодой человек, наш город — дыра!..

Мельница вертится, художник не успевает вставить слова. Наконец, доктор говорит: — Ну, войдемте, будем писать!

— Мне сегодня хотелось бы побездельничать, — говорит художник.

— Побездельничать? С удовольствием. У вас другое дело?

Художник отвечает: — Я как-то сегодня не расположен.

— Вот как? Отлично! Доброго утра!

Но доктор смотрит на художника, и его нерасположенность к работе кажется ему подозрительной; ведь молодой человек, как всегда, имеет при себе ящик с красками; не собирается ли он куда-нибудь в другое место?

Ну, конечно, художник собирается в другое место! Он получил приглашение от фру Ионсен изобразить крест Даннеброга на портрете мужа, который он написал несколько лет тому назад! О, эти консулы и консульские жены в приморских городишках! Ну, в записке, которую она прислала, она так объяснила дело: портрет и раньше был очень похож, писала фру Ионсен, но Фиа сейчас только прибыла из Парижа, и ей кажется, что еще несколько красочных мазков придутся на портрете кстати. У Пастера также на черном фраке изображен Почетный Легион...

ГЛАВА XXVI

Пришла осень, потом зима, наступили короткие дни. Было довольно уютно стоять в кузнице, иметь над головою кров, ковать пламенеющее железо, дававшее свет; с едой и питьем в доме кузнеца все было налажено, право, многим приходилось гораздо хуже, чем Абелью. Лично ему казалось, что все идет хорошо. Например, самую работу он мог уже выполнять без рукавиц и без шапки.

Главной его защитой был большой кожаный передник.

Мастер Карлсен в последние месяцы сильно сдал, все с большим унынием говорил о своих силах, намекал на

желание бросить кузницу, бормотал что-то о смерти: что смерть наступает или же проходит мимо до следующего раза, но что все мы должны умереть. Осень далась ему очень трудно, волосы его поредели и побелели, мысли его все больше отвращались от земных предметов, он подолгу отдыхал в то время, как Абель продолжал работать. Разумеется, и на него подействовало ограбление почты; его брат Карлсен из полиции не удержался и рассказал ему о допросе, сделанном в Англии, и о том, что Адольф ходит со свинскими рисунками на теле. Старый кузнец отвечал: — Это не наш Адольф! — Карлсен из полиции ответил: — И подумай, он жил здесь столько времени, разгружал пароход и не зашел к тебе ни разу! — Однако, — отвечал кузнец, — он наверное застал сестру, когда был здесь, так мне кажется! Оба парнишки встречаются с сестрой, зачем им со мной встречаться? Ты несправедлив к ним. — Ну, значит Адольф был здесь? — спросил Карлсен-полицейский. — Нет! — отвечал кузнец.

Просто вздор! Во всем этом не было никакого смысла. Впрочем, кузнец Карлсен отнесся к этому иначе, чем почтмейстер; он был человек простой и неученый, он проще смотрел на вещи, в его образе мыслей не было истеричности, но ремесленная деловитость; он был ведь кузнец, он был сын своего сословия! Это хорошо — принадлежать к своему сословию, иначе человек делается выскочкой, и теряет свою самобытность! И разве кузнец не был родителем? Об Адольфе он знал гораздо больше хорошего, чем дурного, и не отчаивался; много лет тому назад паренек вертелся тут, в кузнице, расспрашивал, ковал железо, зашиб себе пальцы, и плакал, и опять утешался, разве это не так? Тот Адольф, в Англии, должен быть совсем другой Адольф, — и если он даже зашиб себе пальцы, так он был тогда малышом! — Люди все хороши, кроме мерзавцев! — говаривал кузнец. Но во всяком случае он перестал видеть в ком-либо из своих сыновей преемника кузницы — кто же сменит его?

И он сказал Абелью: — Через год ты будешь знать больше, чем я знал, когда начинал свое дело!

Он, конечно, имел в виду что-то сказать этой фразой — или же это была лишь похвала и признание заслуг? Во всяком случае, в сердце Абеля эти слова оставили длинную золотую полоску, он тотчас же подумал о Лиллелидии и о будущем. Какой удивительный мальчик! Он был таким, каким казался, сильный и прямой, закоптелый, без кривляний, жизнерадостный, с годами у него развилась

крепкая грудная клетка, и хотя его волосатые руки казались слепленными без особой тщательности, однако в них была большая сила. Свои сапоги он сам оковал кругом, и для тех, кто знал толк в подметках, Абелевы были образцом прочности.

Идя ввечеру домой, он встретил своего отца и посвятил его в положение дел. Оливер — даже он в последние месяцы ходил в размышлениях насчет некоторых событий, наступивших дома; он на этот раз отвлекся от своих собственных мыслей и внимательно выслушал сына. — Он может быть, хотел сказать, что ты переймешь и даже будешь управлять кузницей! — промолвил он.

— Ну? — проговорил Абель.

— Я не вижу в этом ничего невозможного! А как ты сам думаешь?

— Не знаю!

Отец кивнул головой, словно это было решенное дело, и объявил: — Я и не представляю себе иначе!

Да, Оливер был другом своих детей, они приходили к нему со своими сомнениями и заботами, он умел проявлять настоящее участие, он был создан таким отцом, который предоставляет воспитание своих детей им самим. Абель, этот невозможный дикарь, как-то заговорил о том, чтобы жениться и обзавестись домком: у него были на это свои причины, ему не будет хорошо, пока он не добьется ее, говорил он. Отец и в этом случае не расхохотался, но напротив, кивнул головой: это совсем не глупо, отнюдь нет, в известной мере, конечно; и для него это не было неожиданностью. Ибо раз Абель в скором времени станет кузнецом в городе и ремесленником, станет рослым и широкоплечим мужчиной, то он, собственно говоря, может делать все, что ему угодно, например! Ему нужно только время, чтобы собраться со средствами, оборудовать плиту и комнату и т. п., но какая-нибудь пара лет пробежит быстро, вот увидишь! — Абель возражал, что он не в состоянии выдержать целых два года этаким манером. — Ну, ладно, я тебе верю! — уступчиво молвил отец. — Абель возражал: — Каждые каникулы приезжает домой этот Рейнерт и портит мне музыку! — Рейнерт? — насмешливо фыркнул отец, чем сильно утешил Абеля: — ведь он мальчишка, ему не больше восемнадцати лет или около этого! — Абель, которому собственно было шестнадцать, поспешил сказать: — Мне тоже не больше восемнадцати лет! — Да, но тут та разница, что ты ремесленник и специалист; когда ты кончишь выучку, ты в любой день

можешь стать подмастерьем и мастером! Это ж я и говорю: может ли что-нибудь на свете пройти скорее, чем какой-нибудь год или два? Ты посмотри только: один женится, и другой женится, и оба они не больше, чем какие-нибудь мальчишки на побегушках у каменщика. А ты? — Всеми этими увещаниями Оливер хотел сказать, что время поможет сумасшедшему юноше изжить свои огорчения.

Сегодня он тоже ободрительно действует на сына и развивает перед ним свой взгляд на дело разными благожелательными фразами: Кузнец Карлсен хочет мол поставить Абеля над всей кузницей, как Фараон поставил Иосифа.— Я скажу тебе, Абель! — говорит он,— раз ты так ловок в своем ремесле, и выполнял все, что он тебе приказывал, и что посылал господь, то он не может иметь в виду ничего иного!

Да, и Абелю так кажется.

— Ты будешь поставлен над всем его добром, мы пойдем домой и сообщим твоим сестрам, это будет великое дело. Год — меньший срок, чем иные думают; ибо что такое год? Бог только один раз мигнет глазом — вот тебе и год! А когда ты управляешь каким-нибудь делом, то это все равно, что ты владеешь им! Огромная разница существует между хорошим управляющим и плохим управляющим, и когда я управляю складами консула и большим пакгаузом, то это вроде...

Громкие слова, болтовня, шум, важничанье! Но в конце концов отец говорит: — Да, с вами дело быстро идет вперед, мальчики, с тобой и с Франком! Если хочешь подождать, пока сварят кофе, то у меня есть кондитерский хлеб,— говорит он, желая поддать праздничного настроения.— Сегодня суббота, и завтра тебе не надо в кузницу!

О, но Абель сильно занят, у него много дела, он приводит себя в порядок и выходит из дому. Он как рыбак, на удочку которого попалась рыба; теперь он подсекает. Этот Рейнерт летом опять проторчал здесь целую вечность и отравил ему жизнь; теперь он снова в отъезде, но и после его отъезда Лиллелидия не стала такою, как ей следовало; Абель не раз уходил от нее вечером с тяжелым сердцем. В этот вечер он идет к ней с более легким сердцем.

Он застает ее дома и вызывает ее из комнаты, она видит по его лицу, что что-то случилось, и идет за ним.

Первым делом он протягивает ей руку, и так как она с некоторым удивлением медлит взять ее, он с силой хватает и жмет ее руку.

Но Лиллелидия — с той поры, как она начала брать работу из новой лавки мод консула Йонсена и шить сорочки и блузки, она ходит с иголкой в руке, и иголки приколоты у ней на груди, Лиллелидия не сдается.

— Ах, я уколола тебя! — говорит она хладнокровно.

Да, это ему было заметно по крайней мере так же хорошо, как ей; он кисло усмехнулся и слизнул кровь.

Это маленькое происшествие, пожалуй, принесло свою пользу, оно остановило его, иначе он сразу наговорил бы самых невозможных вещей!

— Во-первых, — ответил он, — я на этих днях возьму в свое заведование кузницу! — И он заговорил без обвиняков о своем, многое преувеличил, но некоторые вопросы, которые ему задала Лиллелидия, он обошел молчанием. Что ж, он специалист, подмастерье, кончит выучку в этом или в будущем году, и сможет делать все, что его душеньке угодно. Отец советовал ему обзавестись кухней и квартиркой... — Что ты стоишь, как гусыня, и смеешься? — оскорбленно проговорил он.

— Нет, нет, — примирительно сказала она. Впрочем, он мало рассудителен, недавно только подтвержден — да уж полно, *конфирмованн* ли он?

— Я не хочу отвечать тебе! — молвил он.

Боже мой, чего он только не наговорил. И ее мама смеется над ним всякий раз, как видит его. Сколько ему лет?

— Двадцать три года и три месяца! — ответил он с таким видом, словно сам поверил своим словам.

Тут Лиллелидия залилась смехом и опять спросила: — Сколько тебе лет, сказал ты? Пощади меня, Абель!

— Ты все зубоскалишь! — воскликнул он обиженно. — А сколько тебе лет? Об этом ты не думаешь!

Лиллелидии, правда, так же не хотелось быть маленькой, как и ему; она гордилась тем, что она швейка, и давно ходит в длинной юбке. — Я? — спросила она. — Сколько мне лет? Зачем ты об этом спрашиваешь? Я вовсе не желаю стоять здесь и слушать тебя!

Абель переменял тему: — Да, ты хочешь слушать только вот этого Рейнерта! Но этому должен наступить конец. Я не могу поверить, чтобы он тебя занимал, Лиллелидия!

— Меня? Мама говорит, что он достойный господин.

— Нет, он бездельник! — запальчиво выкрикнул Абель, — я зажму его в пальцы, когда он вернется. Понимаешь?

— Ну, мне пора вернуться, — проговорила она.

— Вот между этими ногтями! — воскликнул он и вытянул вперед обе руки. — Я на этот счет верный человек, можешь мне поверить, ты увидишь!

Вероятно она, наконец, поняла, какую пытку он переживает; и когда он затем объяснил ей, что он не может без нее жить и не может больше ждать, она смягчилась и сказала, — да, он этого не может. Он продолжал говорить каким-то не своим голосом, дрожащим, вкладывая всю свою душу в каждое слово, и она наконец ответила серьезно, даже немножко чересчур по взрослому для такой девочки: — Да, но я не могу сказать, чтобы я любила тебя!

Он недоверчиво усмехнулся: — Ну, да! — проговорил он. И продолжал: они, может быть, поселятся наверху у кузнеца, да, там есть комнатка, выкрашенная в синий цвет, с изящными полками, кузнец наверное имел в виду передать ему эту комнату, — а что же он другое мог иметь в виду? Здесь Абель намеревался спрятать ее, чтобы больше не было никаких шатаний с этим мальчишкой на каникулах, заявил он, с этой девчонкой в штанах, с этим бездельником! Это будет совсем другая жизнь! Абель развернул перспективы и продолжал доказывать ее преимущества.

Лиллелидия отнеслась к этому рассудительнее, чем он; она кивала, когда он говорил о комнате; а когда он сказал, что хочет на будущее время прекратить все ее гулянки, ей это, конечно, показалось жестоким, но это, пожалуй, естественно, что он так говорит, она во всяком случае не возражала. Но постепенно, слушая его, она медленно смежила глаза, словно они у нее пропали с лица, и вдруг повернулась и ушла в дом.

Ушла и осталась там!

Он подождал немного; ему всю жизнь приходилось терпеть мало корректное обращение Лиллелидии, и ее теперешний уход был не хуже многого другого. Разве она не облила его рук горячим кофе, чтобы свести с них шерсть? Разве она не вышла раз с половой тряпкой и не хотела смыть темные пятна под его глазами, хотя эти пятна сидели в коже от кручины?

Когда он собирался уже отправиться восвояси, Лиллелидия приотворила дверь и выглянула в щелку. Ей, видимо, уже не терпелось.

— Я вижу тебя,— сказал он,— ты можешь выйти! — Он расстегнул свою куртку и немножко выставил живот; да, он прибег, наконец, к этой недостойной уловке, чтобы она заметила его часовую цепочку, на которой не было часов!

Выйдя, она спросила невинным тоном:— А ты все еще стоишь тут?

— Да,— ответил он хладнокровно,— я ждал тебя.

Она набрала в сарае полную охапку дров, это была ловкая хитрость, не мог же он разговаривать с ней, когда она нагружена дровами! И он проговорил беспечным тоном, поигрывая часовой цепочкой:— Что ж, если хочешь, Лиллелидия, я приду через полчаса!

Собственно, ему уже не о чем было говорить с нею; но о том, чтобы расстаться, не могло быть и речи, он хочет быть там, где находится она, как же иначе? Он прогулялся на набережную и вернулся, он опять хотел заглянуть к Лиллелидии. Если он будет ласков и непридирчив, то она не откажется от маленькой беседы; ему же будет хорошо.

Было ли это подстроено заранее, или же это была счастливая случайность, но только он застал ее в доме совершенно одну, родители улеглись в спальне, а сестры пошли гулять, так как это был субботний вечер. Лиллелидия шила и имела преувеличенно занятый вид.

Он, разумеется, сразу увидел, что ее ротик безупречен и мил, но учтивости ради и чтобы не показаться назойливым, он не поцеловал ее сразу; он вообще не хотел действовать пристрастно и в собственных интересах.— Мы не особенно были в ладу с тобой до сих пор,— проговорил он.

Да, она это знает. Почему это так?— Но не хватай белых ленточек, Абель!

Если она опять возьмет этот тон, то нынче не будет толку: если у нее теперь еще больше наколото на груди булавок, чем когда бы то ни было раньше, то это она забронировалась умышленно! Удивляться ли, что он вспылит и обиделся, когда она предостерегла его насчет белых ленточек? — Не будь такою! — сказал он ей.— Я уж держал в руках тончайший бархат и шелк. Впрочем, моим пальцам и впрямь здесь нечего делать!— прибавил он и убрал руки.

Если бы даже у нее не было пристрастия к нему, это должно было бы растрогать ее и вызвать слезы на глазах; она должна была бы обвить его руками,— но нет, ни малейшей ласки!

Он давно уже думал снять мерку с ее безымянного пальца; это должно было произойти как бы случайно, эта мерка ему была нужна для некоторой надобности, и собственно поэтому он играл с кусочком ленточки.— Какие у тебя тонкие пальчики! — промолвил он,— твой безымянный пальчик наверное не толще вот этого. Дай-ка, я посмотрю!

Если он хотел сказать, что у нее не взрослые, а детские пальцы, то это ведь унижение! — Оставь меня в покое,— проговорила она,— мне некогда!

Будет ли это нападение, если он просто возьмет да поцелует ее за это важничанье?

Она глядела такой недотрогой, словно это ей причинило бы страдания; тем не менее он вскочил и сделал это, поцеловал ее, плюнул на все булавки и впился в нее долгим поцелуем. Она поддалась ему, хотя время от времени испускала стон: — Ты с ума сошел! Пусти! — Но поддалась. О, они с Лиллелидией уже это делали раньше, это не в первый раз!

После этого ему стало в сущности неловко; он пытался рассеять это чувство смехом, но ему это не удалось. Она порывисто поправила свои волосы и воротник, сползший на бок, он растрепал ее, ей было немножко стыдно; потом она притихла, и это был чистый предлог, когда она опять взялась за шитье. Он, должно быть, причинил ей настоящую боль, ей было досадно, и в этом последнем поцелуе, и во всех прежних она, по-видимому, раскаивалась, словно расточила их зря.

Лиллелидия сидела, окруженная материей, блондами, шелковыми нитками, пуговицами и лентами; она разложила также тонкое рукоделье двух своих сестер, чтобы похвастать ими; сама она шила все больше из подкладочного материала. Все эти ее приготовления не подействовали на Абея, он ведь не имел представления о том, что такое беловшейка.

— Больше я знать не хочу, чтоб ты целовал меня!— говорит она вдруг.

— Нет?

— Ни в каком случае!

— Что ты говоришь, я целовал тебя? Быть не может!— О, его наглость не помогла ему, он хорошо видел, что все улики говорят против него. Ему не оставалось ничего иного, как прибегнуть к старому средству, которым он раньше усыпил ее: он опять стал уверять ее, что она

должна взять его и никого другого; а на каникулах он ее не выпустит из рук!

— Молчи! — сказала она.

— Завтра утром я иду раздобывать плитку, — решил он. — Ионсен с пристани выбросил пару плит, я пойду и возьму одну из них, я сведу с нее ржавчину. Да, я завтра же сделаю это!

— Посмей только! — пригрозила она.

Они немножко поспорили об этом, Лидия оказалась благоразумнее и одержала верх: — Ты ни капли не стыдишься меня! — заметила она.

— Ну, я могу подождать несколько дней, — предложил Абель, проявив максимум уступчивости.

— Несколько дней? — с состраданием промолвила она.

— Неужели же мне никогда не будет удачи? — пылко спросил он. — Если ты так думаешь, то я хочу это знать!

Она ответила, бесконечно холодно и снисходительно: — Да, я так думаю.

— Что ты никогда не возьмешь меня?

— Ты это сам мог заметить, — отвечала она. И начала собирать принадлежности со стола, словно хотела сказать: — Смотри, что я ставлю на карту всей моей жизни, если дам тебе иной ответ в эту минуту! Она обернулась, мать ее говорила из другой комнаты, старая Лидия говорила:

— Ступай и сейчас же ложись, Лидия! А ты, Абель, тотчас тоже уходи, сию же минуту! И я не хочу, чтобы ты здесь околачивался в рань или поздно, теперь ты это знаешь! Что это за сумасбродство со стороны мальчишки! Ты в своем уме? Ступай домой и оботри сначала молоко на губах!

Дверь комнаты закрылась, но потом опять отворилась, и старая Лидия проговорила, Терка молвила свое последнее слово: — Скажи от моего имени твоему отцу, чтобы он тебя высек!

Абель — сидел на месте, как прикованный! Вот он поднялся и так странно стоял — со стулом между ног. Он опомнился, наконец, и поглядел сначала на закрытую дверь, потом на Лиллелидию. Лицо его немножко посинело, но он держал себя молодцом, и сказал с улыбкой: — Ну и баня, черт возьми!

Он не получил от Лиллелидии никакой поддержки, и она не заметила его молодечества. Не то, чтобы она гнала его; нет, она ничего не делала, что можно было бы понять: — Беги, спасай шкуру, читай отчете наш! — Нет,

Лидия привыкла к острому языку своей матери и не боялась его.

Но когда Абель направился к дверям, то могло и в самом деле показаться, что она рада тому, как ему пришлось убраться; она не удержала его ни единым словом.

— Ну-ну! — сказал он, чтобы не показаться совсем уничтоженным. — Что ж, я уйду с дороги, коли на то пошло! — О, но он слишком много наобещал, он неожиданно спросил Лиллелидию: — Не можешь ли ты выйти со мной на минутку, мне надо поговорить с тобой кое о чем?

— Как бы не так! — ответила она.

Абель пошел домой. Родители сидели и спорили о чем-то; и так как ему не интересно было слушать это, то он скрылся в старую половину дома.

Между тем, в новой пристройке шел далеко не безынтересный спор; многомесячные размышления Оливера над некоторым предметом нашли себе, наконец, исход в своего рода допросе, учиненном жене: а именно: Петра опять была с прибылью; и как же это, черт побери, случилось?

Замечательно, что Петра пыталась до последнего момента скрывать свое состояние, словно замужняя женщина не имеет права быть беременной, словно с ней случился грех! Может быть, это и вызвало подозрения Оливера. Но в этот вечер, когда он предъявляет к ней прямое обвинение, она ничего не скрывает и ничего не отрицает.

— Петра, — говорит он, — мне кажется, ты опять полнеешь!

— Ты скажешь! — отвечает она.

— И как же, скажи ради сатаны, случилось это с тобою?

— Пред тобой бесполезно отнекиваться, — льстиво говорит она ему. — Ведь ты видишь все!

— Да, — говорит он, — я вижу это не первую неделю.

У Петры было время подготовиться, она не бросает ему упреков и говорит так: — Как это случается, ты сама знаешь! — Нет, она получила удар, но отвела его, отвела в сторону: — Как это со мной случилось? — говорит она. — Если Марен Сальт может рожать детей, то и я могу рожать детей!

— Как — Марен Сальт? Что она этим хочет сказать? Оливер не знает, что подумать.

— Да, я прямо говорю это! — продолжает Петра, глядя на мужа оскорбленно и чуть ли не строго. — Она была

тогда гораздо старше, чем я теперь, и я совершенно не понимаю, каким образом некоторые люди могли заглядываться на Марен!

— Я не понимаю всей этой твоей болтовни!

— Ну,— сказала Петра.— Но я могу сказать, что тебя обвиняют в том, что ты отец ребенка Марен Сальт!

Оливер даже рот разинул. Вот сошли с ума люди! И он произнес: — Ты... ты с ума спятила?

Петра проворчала что-то, и вид у нее стал еще более оскорбленный.

— Если бы я только был так же невинен и в прочих грехах! — воскликнул он.

— Ты сам знаешь, что ты такое! — ответила она непримиримо.

Но теперь она задела самолюбие Оливера; оборот, который принимало дело, пришелся ему по вкусу. Право же, если на то пошло, он ничего не может иметь против этого подозрения; он во всяком случае не видит в нем ничего оскорбительного, разве что оно немножко унизительно:

— Кто вбил тебе в голову эту брехню? — спросил он.

— Это все равно, кто,— ответила Петра.— Но если ты уж хочешь знать, так Маттис!

— Маттис это сказал?

— Да. И у него, конечно, есть на это свои причины!

Оливер подумал, надел шапку набекрень и напыжился.— Чего только не приходится выносить! — промолвил он.— Впрочем, меня мало интересует, что вы с Маттисом думаете обо мне. Но пусть он не думает, что я до него не доберусь. Я привлеку его к суду!

— Тебе не поможет, если ты привлечешь одного Маттиса. Ты должен привлечь весь город!

— Об этом говорит весь город? — удивился Оливер.

— А то как же?

Он опять думает и взвешивает. Он попал в замечательное и совершенно неожиданное положение, господа помилуй! С этим можно что-нибудь сделать, можно как-нибудь использовать; он замурлыкал песенку, продолжая раздумывать. Петра испытующе смотрела на него и явно не понимала, что это такое творится с этим человеком, этим испорченным человеком: он еще напекает! Может быть, он в этот час счастливее, чем был во все двадцать лет; может быть, он чувствует, что в нем что-то восстановлено, достоинство, вес; может быть, он чувствует себя реабилитированным этим обманом,— в ложном свете,

но все-таки реабилитированным! Почему он сидит с таким видом, словно страшно разбогател? Снизошло на него изобилие хлеба, вина и всяческой благодати, небо ли для него разверзлось, чудо ли свершилось? Смотрите, бедняга на себя не похож! Он когда-то ездил по белу свету,— в этот момент он наверное опять путешествует; он сидит и облизывается и приосанивается, сравнивает себя с прежним человеком, когда он имел дела с хорошенькими девушками в портовых городах! Петра привыкла видеть его жирным и равнодушным, опирающимся на костыль или развалившимся на стуле у края стола; о, он был как медуза, которая в глупейшем ничтожестве лежит у края набережной и дышит; теперь он сидит и с удивленным видом чему-то радуется; чему бы это?

Петра все меньше и меньше в состоянии понять что-нибудь; и это мурлыканье смущает ее, она готова подойти к нему и присмотреться: действительно ли это он, Оливер Андерсен, и в порядке ли у него голова? Она вернула его к действительности, воскликнув: — А ты себе напеваешь?

— Что такое?

— Ты себе напеваешь, говорю я!

— Напеваю? Мне просто вспомнилось, тахи-тахо! Нет, я не пою!

— Что ж, продолжай! У иных только это в голове!

Но что ж сделал теперь Оливер? Он поднялся со стула и схватил ее. Как обезьяна, подражающая ухваткам человека, двумя непривычными руками, непривычными к объятиям. Он притворился, что не может устоять против ее очарования, против ее страстности; высунул язык, улыбался своим мокрым ртом. О, она ловкая баба! Если бы она не знала, что за его дурацкой выходкой не стоит решительно ничего действительного, она пошла бы ему навстречу, она бы даже руководила им; теперь она с дрожью отшатнулась от его пустой блажи. Заметив это, он мягко и с жалкой миной плюхнулся опять на свой стул.

Петра едва удержалась от того, чтобы сплюнуть; она была здоровое создание, ей было страшно и стыдно этой медузы, этого студня у берега. Чтобы смягчить положение, она перестала смотреть на него и сказала, как бы про себя: — Нет, я хотела бы допытаться, что у тебя было с Марен Сальт!

Оливер устало ответил: — Молчи! Это не я сделал, слышишь ты?

— Ты сам знаешь, где правда!

— Ну, ладно, верь этому! Мне наплевать!

— Ну, разумеется, — ответила Петра с видом мученицы. — Ты ведь мужчина в доме, мы не смеем сказать тебе слово о твоём поведении!

— Что ж, я уж такой тиран?

— Со мной ты во всяком случае не считаешься! — промолвила она.

Мало-помалу он опять сделался прежним Оливером, и довольно лукаво спросил: — А кто же с тобой особенно считается?

Ответа он не получил и, может быть, не желал его; но Петра обнаглела и во всяком случае сумела дать ему отпор: — Если бы я принадлежала к числу тех, которые делают, что хотят, то ты бы увидел! — сказала она. — Но я не из таких! Я не настолько любопытна, чтобы вынюхивать что ты делаешь, а Марен Сальт по меньшей мере шестьдесят лет, так что ты можешь брать ее!

Итак, Петра хотела отказаться от этой идиотской мысли; справедливо ли было, чтобы Оливер делал по этому поводу приятные мины и ничего не возражал? Она начала внушать ему, будто серьезно подозревает его; он от этого подозрения ничего не потеряет и только выиграет, если сумеет использовать его хорошенько. — Да, да, — проговорил он, как бы наполовину сознаваясь, — у меня тоже могут быть грешки, я не знаю человека, за которым бы не водилось баловства и прихотей!

Поразительно было, как легко Петра с ним согласилась; всякое несогласие между ними исчезло, установился легкий и фривольный тон. Его допрос жене, вопрос о том, каким дьяволом она умудрилась опять забеременеть — все это отодвинулось в сторону, как бы стерлось из памяти.

Оливер обошел это все молчанием, он пошел даже дальше и как бы похвалил ее, он отпустил словечко насчет того, какая мол она плодовитая: сорок с чем-то лет, — а вот поди же!

— Ну, — ответила она ему полушутливо, — я теперь опять хороша?

— Ты? — воскликнул он. — Да я, например, не знаю никого, кто сравнялся бы с тобою! И должен сказать, в тебе что-то есть, я должен отдать тебе справедливость! Помилуй бог, тебе вовсе не нужно было открывать в себе женственности, она всегда в тебе есть!

Утром, однако, Оливером вновь овладели некоторые сомнения, он спросил Петру: — Так это Маттис сказал?

— Что именно?

— Что я отец ребенка.

— Да, ведь ты слышал!

— Не могу понять, как ему это пришло в голову!

Петра уперла руки в бока и промолвила: — Да, ты отпираешься, но Марен уж сама знает!

— Марен тоже это говорит?

— Она, во всяком случае, назвала мальчика твоим именем.

— Моим? — воскликнул Оливер. — Как его зовут?

— Оле Андрей!

Молчание. Да, это была заковыка, тут что-то неладно, но все-таки... О, эти сатанинские бабы, чего только не выдумают!

Петра заканчивает: — Так что у Маттиса были кое-какие причины сказать то, что он сказал!

Оливер, по-видимому, крепко задумался: — Как же мне теперь держать себя? — И когда он вышел из дому и направился к Маттису, то сделал это словно для того, чтобы узнать подробности. Это воскресное утро, и он застаёт столяра полуодетым в кухне. Ребенок у него, Марен Сальт в церкви. Столяр изумленно и отчужденно смотрит на этого человека, который, прихрамывая, ввалился к нему с улицы.

— Доброе утро!

— Доброе утро.

Молчание. Так как Оливеру не предложили стула, он вынужден присесть на ящик. Они обмениваются несколькими словами о погоде, о наступивших холодах; Маттис неразговорчив, но время от времени болтает с ребенком, сидящим на полу.

— Как он вырос, — говорит Оливер.

— Не без того!

— Сколько ему месяцев? Смотри, у него уже зубки. Как его зовут?

Злость вспыхивает в глазах у столяра, и он отвечает: — Это все равно. Зовут так, как зовут детей!

— Я просто так спросил. Меня это, впрочем, не касается.

Мать дала ему грязное имя, но она, конечно, вложила в него свой особый смысл.

Столяр так враждебно настроен, и тянется это так долго, что Оливер решается вызвать его на что-нибудь положительное, и сам говорит:— На кого бы это он был похож?

— На мать,— кратко отвечает Маттис.

— Да, на мать. А с отцовской стороны?

— Кого ты имеешь в виду? — озлобленно вскрикивает Маттис.— Ты, может быть, знаешь отца?

Оливер смеется и принимает это почти добродушно, но он должен же выгородить себя:— О, ты тот же, прежний Маттис. Если бы я был так чист от всяких грехов!

— Это все говорят, когда дело принимает серьезный оборот!

— Что ты хочешь этим сказать?

— Что я хочу сказать? Что все так отказываются! И тот, кто всего больше виноват, тот всего упорнее отказывается, слышал я! Они подкупают, платят, выкладывают денежки, чтобы люди помалкивали!

В этом Оливер с ним согласен, и жалеет матерей, жалеет детей: — Бедные дети!— говорит он.

— Так они все говорят,— отвечает Маттис, берет ребенка на руки и говорит ему:— Твоя мать ушла от тебя, правда? Да, ты посматриваешь на дверь, но еще с часик ее не будет, она об этом мало беспокоится. Смотри, вот мои часы!

Оливер молчит, он не слушает болтовни столяра, его осенила мысль. На Оливера нашла его сонливая хитрость, его голова лучше всего работает во мраке и действует окольными путями, в данный момент одна его рука роется во внутреннем кармане куртки, о, так незаметно, украдкой, словно он случайно почесался! Потом он немножко вытягивает пару кредиток, смотрит на них, подходят ли они, и сидит после этого тихо, как мышка. Но маленький столяр Маттис не сказал ведь ничего определенного, он недостаточно отчетливо высказался, и Оливер вынужден опять заговорить о том же: — Я слышал, что мальчика зовут Оле Андрей, но ведь это неправда? Я никогда этому не поверю!

Столяр приходит в ярость: — Ну, так ты это слышал? Какого же черта ты меня спрашиваешь? Ты не обыск ли пришел производить у меня в доме? Что тебе здесь нужно?

Оливер не огорчен вспышкой собеседника и говорит кротким голосом: — Нет, мне все равно, как зовут мальчика, и я больше не буду спрашивать тебя об этом...

— Но ведь ты теперь знаешь! — И столяр фыркнул своим огромным носом.

После хорошо рассчитанной паузы Оливер говорит, все так же кротко, как и прежде: — Ты наверное удивишься тому, что я пришел к тебе, Маттис?

Маттис просто отвечает: — Да!

— Понимаю! — Но вот Оливер поднимает вверх две кредитки и спрашивает: — Я пришел по некоторой причине. Сколько стоили двери, которые ты когда-то сделал для меня?

— Двери?..

— Которые ты позволил мне взять. Я хочу заплатить за них. Дело было давно, но я не мог раньше.

Столяр Маттис приходит в полное замешательство и в состоянии только вымолвить: — Дело не к спеху...

— Я не могу допустить, чтоб ты ждал до второго пришествия!

— Двери? Над нами не каплет. Так ты ради дверей пришел?

Оливер говорит рассудительно и прямодушно: — Видишь ли, Маттис, ты не посылал мне счета, поэтому меня можно немножко извинить; но теперь я не стану спорить о цене и заплачу тебе все до последнего эре. И если между нами было не все ладно, так я хочу теперь это загладить.

Маттис пробормотал, что вина, пожалуй, лежит на обоих. Он раскаивается в своей вспыльчивости и говорит: — Да не сядешь ли ты вот на этот стул? — Впрочем, он по прежнему сдержан, и видимо недоволен визитом, говорит он все больше с ребенком.

— Да, ему хорошо у тебя! — замечает Оливер. — Для него это благодать. Ну, я сказал бы, что Марен заслуживает помощи. Она неплохой человек!

— Вот как! — говорит Маттис.

— Совсем неплохой человек! И года два тому назад, когда у нее родился ребенок, она не была так стара, как сейчас. Поэтому нам нечего особенно ей удивляться.

— Не бери, малютка, часов в рот, ты их проглотишь! — Когда до этого доходит, так возраст тут не всегда играет роль, — деловито говорит столяр, обращаясь к Оливеру. — Вот только, что у них ноздри все дрожат да дрожат!

— Ха, ха, ха, ха, ты это верно говоришь, Маттис! А я вот что хотел сказать: у него, я вижу, карие глаза!

Нет ответа.

— Карие глаза — это хорошо. Но у меня голубые глаза, и мне с ними было неплохо. Но почти у всех моих детей

карие глаза, словно у меня только и должны быть дети, что с карими глазами!

Столяр опять ни в чем не обвиняет его, но и не оправдывает, он отвечает: — У его матери карие глаза. Впрочем, ты не говори больше таких вещей при ребенке, он понимает!

— Он не понимает этого!

— Он-то? Ты ни о чем не можешь заговорить, чтобы он не понял! Ни о чем на свете! Когда ты заговорил о дверях, он посмотрел на дверь, и если ты споешь песенку у верстака, он поймет, что это к нему относится.

— Мои были точно такие же! — говорит Оливер.

— Просто невероятно, какой он смысленный! — продолжает столяр, — я должен остерегаться, как бы он не прочел газеты от доски до доски, слушая меня. Читать вечернюю молитву и складывать ручки — это для него сущий пустяк!

— Точь в точь как это было с моими! — объявляет Оливер.

— Да, — настаивает столяр, — такого ребенка, как этот, просто быть не может на свете!

Оливер опять начинает: — Да, он во всяком случае счастлив, что попал к тебе в дом. — Впрочем, Оливер разочарован ходом дела, у него ничего не выходит, он должен двинуться дальше, подойти ближе к пропасти. — Да, что-бишь я хотел сказать, я так забывчив! Да, я сижу здесь, как видишь, с деньгами, но я пришел потому, что хотел спросить тебя об одной вещи; а именно, что, вот, у тебя ребенок, и ты его полюбил; но если когда-нибудь придет его отец, и признается, и скажет?..

Столяр резко спросил: — Ты хочешь придти с ним?

— Я? С отцом? Откуда я его возьму? Я ведь просто калека.

— О, тебе можно все доверить!

Оливер улыбается: — Я не хочу казаться лучше, чем каков я на самом деле, совсем нет. Но мы не об этом должны были бы говорить. В один прекрасный день у тебя, может быть, не станет ребенка...

— Что ж, они придут и заберут его? Пусть только попробуют! — грозно говорит Маттис. — Я думаю, что в один прекрасный день ты сам женишься, и куда тогда денется ребенок?

— Куда денется? — крикнул столяр. — Думаешь ли ты, что я его выкину вон? Он никуда не денется, за это я ручаюсь!

— Но если отец придет...

Что ты тут сидишь, и докапываешься, и выспрашиваешь? Какого черта ты хочешь доведаться? Боишься ты чего-нибудь, опасаясь за собственную шкуру? Ты сидишь и набиваешь ему уши неприличным вздором, я не хочу этого!

Оливеру удается вставить: — Я? Нет, я не болтаю неприличного вздора, я сижу здесь с деньгами для тебя, вот с этими бумажками...

— Слыханное ли дело, — садится себе, изображает невинность и говорит разную грязь! Деньги — причем тут деньги? О! — вспыхивает он вдруг. — Наконец-то свет озарил столяра Маттиса, он бледнеет от гнева и встает с мальчиком на руках: — Спрячь свои деньги и ступай своей дорогой, я не хочу брать их!

Оливер тоже встает, он не желает драться, но запускает столяру шпильку в то время, как ковыляет к дверям: — Эге, ребенок-то словно твой! Так это ты его отец?

— Я, говоришь ты?

— Я только спрашиваю, — отвечает Оливер. И теперь уж он без сомнения хочет разозлить столяра Маттиса еще больше, он говорит: — Это ты для него смастерил кроватку?

Маттис оправдывается: — Совсе не для него! Может быть, ты спишь на голом полу? Ты никогда не слышал, что ребенку нужна кровать? Но теперь убирайся из дома, это решено! — кричит Маттис, отстраняя от себя ребенка. — И возьми с собой деньги, которыми ты хотел меня подкупить. Ха-ха, ты думал, что сможешь купить мое молчание насчет твоего отцовства, но это дудки, спрячь свои бумажки для других! О, какая же ты свинья! Вон отсюда, говорю я!

И Оливер уходит прочь.

Вид у него удовлетворенный, как будто дело не могло пойти лучше, чем оно сложилось; он опять напевает песенку. Когда он пришел домой, Петра вся горела любопытством; но он ничего не сказал, он только еще больше приосанился; и он стал в дверях на улицу, засунув руки в карманы куртки, словно ему совсем не было холодно, и с этого места говорил всякий вздор проходившим мимо бабам и девушкам.

Хорошие времена, в доме согласие и довольство жизнью, — о, мы идем в гору, мы все выше и выше поднимаемся вверх, дай боже, чтобы так было и впредь! Это выразилось в красивых поступках: у Маттиса на стене дома был красный почтовый ящик, — Оливер купил медную ручку к своей выходной двери и сказал Петре: — Смотри

же, чтоб она у тебя блестела! — С риском попасться на расточении денег он покупал гостинцы и дочерям, и жене, был щедр, даже чаще обыкновенного приносил матери мешочек кофе — который, впрочем, ничего ему не стоил.

Как приятна теперь была жизнь! Прошла зима, прошел год, и Оливер оказался прав: ничто так быстро не проходит, как год! Крупных событий никаких не случилось, но перемены все же были, семья не привыкла к большому; ребенок опять оказался голубоглазый, и никаким дьяволом нельзя было дознаться, почему, но этот вопрос уже не приобрел такого значения, как в прежнее время. Что ж ему, допрашивать Петру? А что будет, если его самого подвергнут допросу, разве о нем самом не ходят в городе слухи? Когда он однажды высказал недовольное удивление по поводу того, что в семье опять появился голубоглазый ребенок, Петра ответила:— Ну, разве у нас с тобой не голубые глаза?

В беседе с рыбаком Иоргеном, своим старым приятелем, Оливер утверждал, что растения на полях неодинаковы: одни приносят плод на земле, а другие под землю. Взять хоть яблоки: одни бывают красные, другие — желтые. Но вот картофель, который растет под землей — один сорт картофеля желтый, а другой совершенно синий. Так же обстоит и с нашими человеческими глазами, которые имеют весьма неодинаковый цвет.— Мне думается, что это, вероятно, происходит от меня самого: когда я схожу с ума за бабами, тогда появляются карие глаза; как ты думаешь, Иорген?

Нет, Иоргену было за семьдесят, он был женат на старой Лидии, на Терке, был отцом трех взрослых дочерей, глаза его стали почти молочного цвета, он не знает — не помнит.— Как это, сходишь с ума? — спросил он. Он высказался в том смысле, что немало есть баб безумных и злых.

Но Оливеру как будто нужно было, чтобы его основательно поняли: — Возьми, вот, последний пример, Марен Сальт, — сказал он. — Меня обвиняют в том, что я отец ее ребенка, а у него карие глаза.

— Вот как! — ответил Рыбак Иорген.

— Или возьми многих других в городе; там довольно кареглазых, да и у меня почти не появляется других. Но ты ведь не поверишь, в чем все эти люди обвиняют меня; я спрошу тебя об этом, но я не стану оправдываться, потому что у меня пылкая и необузданная натура, и дома у меня появляются то карие, то голубые глаза, как придется!

— Да,— проговорил рыбак Иорген.

Такие вылазки Оливер производит ежедневно, и с каждым днем занимает все более прочное положение в своем воображаемом мире. Молчите только, он его творец и хранитель, он ходит в нем со своим собственным масштабом и расширяет его, через несколько лет он стоит уже на вершине и обзирает огромный край, ему принадлежащий!

И теперь ему нравится жить в этом мире. Он не раздражается смехом, и не бросает его. Мир, который создаешь, нужно таскать с собою, такова участь всех творцов!

Время от времени ему приходилось терпеть огорчения. Ему хотелось иногда выйти вечерком на улицу, ухаживать, заигрывать, болтать с бабами. От матросских времен у него в памяти сохранились слова и ухватки, но он уже не имел прежнего успеха, потому ли, что уже утратил прежнюю меткость в стрельбе, или потому, что попадал не в ту дичь. В чем дело, почему девчонки смеются над ним? Эти былинки,— разве они не верят его истинным намерениям? Какого черта они отшатываются, когда он пытается обнять их? Управление своим мирком представляло неудобства!

В последнее время он опять начал выезжать в море. Да, это прекрасное средство, когда начинают донимать испытания, когда бог один ведает, как тяжело становится жить. Считалось, что он рыболовничает ради лишнего заработка, но в действительности он не занимался рыболовством всерьез, он так часто возвращался домой без улова. Но разве ему не нужны были деньги, разве его замечательный внутренний карман куртки был бездонен? О, он с беспокойством замечал, что карман пустеет, он готов был сделать заем, чтобы остановить этот процесс исчезновения, готов был украсть; нехорошо обнищать перед самым своим носом! Правда, за ним оставалось его старое место в складе и жалованье; повседневную жизнь свою он еще мог поддерживать, но от прибавок в виде лакомства и кое-каких нарядов приходилось отказываться. Что в сущности случилось с деньгами, вырученными за гагачий пух? Была большая пачка денег, и черт один знает, куда они девались! Он ничего не заплатил адвокату Фредриксену за дом, и не запасся для себя и своей семьи платьем на два года; пару крупных кредиток он разменял в соседнем городке, куда съездил для этого, но это было год тому назад. Внутренний карман его опустел. Он мог смотреть

в него, сколько угодно, мог выворачивать его,— но он был пустой.

Так разве не нужно было ездить на ловлю?

В сущности, Оливер ничего не имел против того, чтобы вновь покачаться на волнах. Он обзавелся котелком и рыболовной снастью и начал выезжать; охотно плавал с вечера субботы до утра понедельника, и ловил рыбу прежде всего для обедов, которые ему самому нужны были в эти полторы сутки. Это были ленивые, беззаботные часы, он больше отдавался на волю волн, чем греб, попадал в заводи, посещал острова; разумеется, он опять начал собирать гагачий пух; разумеется, он опять выслеживал остатки кораблекрушений и наплавной лес. Однажды он нашел пустой бочонок, другой раз бутылку с запиской; и то, и другое не представляло ценности. Далеко, у въезда пароходов в бухту, из моря высоко выдавался птичий остров; он не был там уже два года, туда было очень далеко, но труд мог окупиться, там гнездились птицы на ступенчатых склонах, и не боялись человека.

Дни проходили, Абель стал славным парнем и чудакватым парнем; он мог ткнуть отцу при случае монету в две кроны,— с лакомствами Оливеру теперь пришлось туго. Откуда у него могли взяться на это средства? Когда-то у него был сын, которого звали Франком, ученый парень, настоящее чудо, но он ничего не присылал домой; он и сам не ехал и писем не слал, ходили слухи, что он где-то там получил место учителя и продолжает занятия, все учится да учится, кто знает, когда это кончится! Маленькая Констанса Генриксен получала от него письма; ему остается еще год, писал он, и тогда конец. Таким образом, еще целый год Оливер не мог ждать от него никакой поддержки, долгий год! Но потом все уладится, не у всех же имеется ученый сын про запас!

А пока у него был Абель, тоже славный парень; Оливер был справедлив и не делал различия между сыновьями; если правду сказать, то его отцовскому сердцу Абель был, пожалуй, ближе. По утрам он часто заходил в кузницу на пути к складу; Абель в это время бывал по уши в работе, отцу приятно было побеседовать с ним, узнать, как идут дела. Дела шли замечательно, Абель взял в управление кузницу и был теперь старшим во всем! О, что это был за сын! В кузницу многие заглядывали, заходил Карандаш — тот, который служит кочегаром на судах каботажного плавания; он наверное поджидал момента, когда одна из сестер Абеля достаточно подрастет,

тогда он женится; вот какие намерения питал Карандаш! Он пришел в кузницу и спросил:

— Ты купил кузницу?

— Нет,— промолвил Абель,— купить у меня нечем, но я здесь за хозяина. Не можешь ли ты порекомендовать мне молотобойца? — Да, сказал Карандаш;— в тот день, в который ты купишь себе паровой молот, действующий парафином, ты сможешь обойтись без молотобойца! — Не стой здесь и не мели вздора!— ответил Абель.— Я вовсе не мелю вздора,— ответил тот;— я много видел таких молотов в Хортене!

Абель сам знал о существовании паровых молотов, действующих парафином, но зачем он будет покупать такой молот для кузницы, которая не ему принадлежит? — Молчи об этом!— Карандаш подал ему мысль — купить молот за собственный счет, а жалованье, причитающееся молотобойцу, класть в свой карман; на такой комбинации и кузнец Карлсен заработает.— А где же мне взять деньги на такой молот? — спросил Абель. На это Карандаш ответил: — Часть наверное отыщется у тебя, часть я ссужу тебе, а остальное ты задолжаешь...— Как видно, этот Карандаш чертовски врзался в Синичку, сестру Абеля!

Да, кузница еще не принадлежала Абелю, но он держал ее в своих руках и получал отличное жалованье. Кузнец Карлсен не всегда отсутствовал из кузницы, не совсем покинул ее; но он всего охотнее стоял у тисков и опиливал то да се, что требовало отделки. В управление делом он все реже и реже вмешивался.— Как ты думаешь? — спрашивал он Абеля, когда ему приходилось самому взяться за работу. Впрочем, Карлсен уже не был теперь настоящим работником, он приходил поздно утром и уходил рано вечером. Таким образом, Оливер имел сына в своем полном распоряжении, когда приходил по утрам навещать его.

Они гуторили о своих делишках и обсуждали городские происшествия:— Рыбак Йорген все больше становился идиотом,— говорил Оливер:— он не знает разницы между желтым картофелем и синим картофелем, зачем я буду тратить время на разговоры с таким человеком? Я сворачиваю в сторону, когда вижу его! — Отец и сын никогда не вздорили, они дружелюбно беседовали обо всем, до некоторой степени даже братски беседовали обо всем, что лежало у них на душе! Когда они расставались, то это не значило, что они договорились о какой-нибудь затее, или выработали определенное мировоззрение, о нет! Но Оливер узнавал, что его сын собирается делать в этот

день, для чьей тачки он приготовил вот эту оковку — это для дачи консула Ионсена; кому принадлежат эти изящные ширмочки, принесенные накануне — это докторские! О, этот Абель, что это за сын, он работает на всю городскую знать!

Абель спрашивал отца: — Что ты скажешь о паровом молоте, о котором я тебе рассказывал? Ты обещал обдумать!

Разумеется, отец не имел никакого понятия об этом сказочном молоте, сын должен был знать это заранее; но не чудесный ли мальчуган этот Абель, желающий выслушать мнение отца? Он не смотрел на отца свысока, и слушал его не с видом сердечного сострадания, — ему как будто необходимо было согласие отца на все, что он предпринимал!

— Вот что я скажу тебе, — отвечает Оливер, — я поездил по белу свету и видел разные народы, и теперь все это основательно обдумал. И если ты можешь раздобыть молот, то бери его с первого слова!

— Вот как?

— Да, говорю это тебе напрямик! Потому что ни в одной мастерской нет такого молота, о нем заговорят в городах и селах, и увидишь, Абель, как полетят искры, когда такая штука ударит по железу!

— Да ну?..

— О тебе напишут в газетах, можешь поверить моему слову, потому что я сам попал в газету: я спас в бурю и непогодь иностранный корабль в полной оснастке, привел его с моря и поставил у пристани! И сейчас же послал за консулом и потребовал составить протокол! И что ж ты думаешь? Народ со всего света сбегался к пристани смотреть! А через три дня обо мне написали в газете.

— Это так!

Это было событие, о котором Оливер никогда не устал рассказывать. Но он не забывал и парового молота, он признавался даже, что не может выкинуть его из головы. И если он сможет быть полезным сыну на этих днях, если у него заведутся в руках сколько-нибудь стоящие деньжонки, то он немедленно придет к нему. — Дай только мне хорошенько все это обдумать! — говорил он, и многозначительно кивал головою, словно возможность должна была вот-вот представиться. О, да, с деньгами дело устроится; если бы это было не так, так он бы выезжал каждую ночь и возвращался с наплавным лесом, который можно продать...

Все это была благодушная болтовня. По уходе отца Абель остался все тем же нищим, даже немножко беднее, потому что он лишился двух крон, проиграв их на пари. Дело происходило так, Абель сказал: — Ты не можешь больше выезжать по ночам, у тебя нет сил! — В туловище у меня ровно столько же силы, как и прежде! — отвечал отец. — Ты не можешь даже поднять вот этой железной болванки! — Ну, в самом деле не могу? Ту, что поднимал в прошлом году? — Ты ведь стал на год старше! Ну, ладно, я ставлю вот эти две кроны! — Оливер даже не поплевал себе в кулак, он поднял болванку и выиграл две кроны. — Я не хочу брать их! — объявил он. — Ты, может быть, хочешь получить болванкой по голове? — ответил сын и всучил отцу две кроны. Просто шутки и ласка!

Никто из них не упоминал имени Лиллелидии и не заикался насчет брака; нет, Абель стал старше и положительнее. Борода у него, правда, водилась все больше на руках, но он командовал кузницей и был за хозяина, от этого можно было и вырасти, и созреть! Впрочем, тут действовали и другие сопутствующие причины; так, старая Лидия сыграла некоторую роль в его отрезвлении. Он, может быть, и неохотно в этом сознался бы, но года два тому назад, в один прекрасный вечер, старая Терка дала ему урок, который он хорошо помнил! В том, что она ему тогда сказала, было что-то убедительное, словно она его разбудила, хлопнула у него над ухом бичем, в результате этого отрезвления он стал держаться подальше от дома рыбака Иоргена. Да, он будет держаться в сторонке, как он обещал! У него явились совершенно неотложные дела, когда Эдеварт возвратился из Новой Гвинеи или еще там откуда; он прошел мимо, не заходя к нему в дом. Позднее он встретил старую Лидию, она теперь была гораздо приветливее и кивнула ему: — Здравствуй, Абель! — и бросила ему мимоходом несколько слов, и он вежливо ответил ей. Прошло несколько недель, и он встретил свою милую, Лиллелидию собственной персоной! Замечательно было то, что ему теперь не хотелось встречаться с ней; во всяком случае, не в эту минуту, когда он вышел из кузницы весь почернелый и немутый. Встречи никак нельзя было избежать, у него подогнулись колени, но он собрался с духом, слегка поклонился и прошел мимо. За эти недели он стал застенчив. После этого он иногда встречал ее в городе с пакетами в руках, он мог подойти и помочь ей нести их, но он этого не делал.

О браке он больше не заикался.

Он крикнул отцу: — Ты не так высоко ее поднял, как в прошлом году!

— Как не поднял? Да хоть бы ты сел на нее впридачу!

Если Оливер так благодушно шутит, то это означает, может быть, что она находится в отличном расположении духа? О, но в этот день у него были особенно дурные предчувствия! Когда он пришел в склад, сел, поглядел в зеркало и приступил к своим занятиям, ему было ясно, что им угрожает опасность; он встретил в городе адвоката Фредриксена. Этот негодяй, этот кровопийца, он поглядел на калеку, Оливера, как на свою собственность! А со времени последней встречи прошло уже два года.

Оливер чудовищно преувеличивал: адвокат прошел мимо него очень скромно, в задумчивости; но Оливер уже не был прежним храбрецом, внутренний карман его опустел, душевный подъем ослабел. Придя домой к обеду, он завел разговор с Петрой, но не сообщил ей ничего нового: она сама встретила адвоката.

— Сказал он что-нибудь? — спросил Оливер.

— Так он и скажет! Посмел бы он что-нибудь сказать мне — на улице!

— Как он тебе показался?

— Не знаю. Показался? Я не смотрю на мужчин, и меньше всего на него! Этот старый кабан довольно помучил меня, когда я бывала у него в прошлые разы!

— Мне показалось, что он смотрит очень неласково!

Помолчав, Оливер продолжает: — Теперь адвокат Фредриксен наверное опять начнет свои тиранства... — Я к нему больше ни ногой, — отвечает Петра. — Что ж, лучше будет, если их всех выгонят из дому? И Оливер стал развивать свою точку зрения: надо надеяться, что адвокат человек; но раз он готов замыслить убийство против калеки, то Петра должна поговорить с ним энергично еще разок.

— Что ты об этом думаешь? — спрашивает Оливер.

Петра подумала, и не нашла в этом ничего невозможного. Но против этого говорило многое, ей, например, не во что одеться...

— Одеться?

Она износила уже эти несчастные сорочки! И разве ей не нужна блузка, из тех, что с вырезом на груди? Да и другое разное!

Если бы кое-что не мешало, то Оливер, пожалуй, мог бы получить вещи в кредит. Он опять вспылал, надвинул шапку набекрень, словно у него были могущественные

покровители, и произнес тоном кормильца семьи: — Я пойду прямо в отделение мод и возьму для тебя вещи!

Для такого случая он должен же был сделать все, что только было в его силах.

ГЛАВА XXVIII

Но адвокат Фредриксен меньше всего думал о том, чтобы тревожить Оливера и его семью, у него были другие, гораздо более важные дела. В эти дни город постигло такое испытание, такое невиданное потрясение, что удивительно было, как весь свет не замер! Что было ограбление почты по сравнению с тем, что пароход «Фиа» затонул! Что могли значить все другие дела, когда пароход «Фиа» не был застрахован, и теперь, пожалуй, мог потянуть самого двойного консула Ионсена в бездну нищеты и разорения!

Все другое утратило всякий интерес.

И прежде в городе случалось немало серьезных происшествий: так, умер старый заведующий школой, он знал множество языков всего мира, изучил досконально все спряжения и склонения в грамматике, и разные другие штуки; он умер, и его знания были похоронены вместе с ним. И еще одно дело усердно обсуждалось у колодца: докторша вот уже два месяца жаловалась на свою беременность, это было у нее в первый раз — и господи, как она этого боялась, как ей это было противно, и как она злилась! — И неужели же нет на свете средства от этой беды, и где же после этого справедливость? И в один прекрасный день докторша вдруг перестала быть беременною! — Это что? — завопили женщины у колодца, перестали качать воду, и не уходили со своими ведрами прочь, а оставались на месте. Неужели этот человек ошибся насчет своего состояния, неужели она вовсе не была?.. Вздор! Ничего подобного! Но как несправедливо господь распределил тяготы между женщинами: одни делают матерями год за годом, а другие избавлены от этого на всю жизнь! Вот что значит быть замужем за доктором! У него знания, он может сделать все, что захочет, не остановится...

Стало быть, в сенсациях не было недостатка.

Но вот однажды над колодцем разразился громовой удар; это было в тот момент, когда известие о гибели «Фии» донеслось до городка. Оно пришло от Шельдрупа Ионсена из Нового Орлеана, телеграмма пришла на третий день, он сообщал о событии кратко, называл день и место

и исходил из предположения, что страховка в порядке. Но страховка не была в порядке! И тогда-то у колодца грянул гром!

В маленьком приморском городке, который кормится своим судоходством, каждая баба понимает, что значит страховка; так двойному ли консулу Ионсену не понять было этого? Не это ли было то крупное дело, которое он сам держал в своих руках, предоставляя Бернтсену заведование лавкой и магазином мод? Между консулом и его правой рукой произошло столкновение: консул думал, что он отдал Бернтсену приказ возобновить страховку, и Бернтсен действительно возобновил страховку в тот раз, как его попросили об этом; позднее же — нет. — Но консул ведь распорядился раз навсегда! — Нет, — отвечал Бернтсен, — он не так понимал дело. — Консул рвал на себе волосы и утверждал, что он именно отдал приказ навсегда, на всю жизнь! Кроме того, Бернтсен должен был и сам это понимать; разве он не видел, что делается на письменном столе консула? Во всем этом надо было разбираться, в чудовищной ежедневной почте, донесениях к правительствам, в книгах, целый мир, целый хаос — что ж, Бернтсен не видел этого сам? — Оказалось, что Бернтсен действительно входил в это дело, иначе на письменном столе консула хаос был бы еще больше. — Да, но консул положил ведь страховые документы для отправки! — Бернтсен видел эти бумаги, но они исчезли, пролежав три недели. — Да, консул считал, что по ним уже последовало исполнение! — Бернтсен не слышал ни слова о том, чтобы документы посылались куда-нибудь... — Ах, чертова дьявольщина, консул давно уже сказал, что премию надо отослать: — Не забудьте страховки! — просил он. Да смилуется теперь над ним господь!

Фру, шатаясь, вошла в контору, начала плакать, ломать руки, беспрестанно утирала глаза и нос, вскрикивала, дрожала и бормотала, как в бреду; это было ей вредно. Фру наверное страдала болезнью печени, она была такая желтая с лица! Пришла и дочь, фрекен Фиа; она совсем иначе приняла известие и не прибавила ни камешка к отцовскому бремени. — Делу не пособишь, — сказала она, — испытания нужно уметь переносить! Они должны показать, что они культурные люди! — объявила контесса; она с своей стороны будет еще усерднее работать, при ней осталось ее искусство и призвание; вот, можно спустить две картины, которые она скопировала в Лувре, она немедленно пошлет их на аукцион! Не бойся, папа!

Был еще человек в городе, который присматривался и прислушивался; это был адвокат Фредриксен, умница и удачливый парень, чертовски ловкий в своих расчетах! Он вернулся домой, просидев долго в стортинге и в своих комиссиях; он теперь был много благообразнее, чем в последний раз, он не казался уже таким испытанным — кто его знает, не делал ли он себе массаж лица? Откуда, в самом деле, могла взяться эта почти что душевная мягкость выражения? Правда, на него могло благоприятно повлиять то, что он во время своего отсутствия был выбран председателем думы в своем городе; но им не удалось подбить адвоката на то, чтобы он посещал трущобы бедняков и сидел по полчаса, расточая утешения! Он ходил к дочери школьного заведующего, лишившейся отца, и к старому почтмейстеру, лишившемуся рассудка; и везде был очень мил. Вот какой он стал! Правда, когда он сходил с парохода, неугомонный Олав с лужайки начал его тыкать и звать просто «Фредриксеном»; но в ответ на это он улыбнулся и промолвил: — Возьми мой чемодан, Олав! — Олав же ответил: — Ты сам можешь нести свой чемодан!

Перед тем, как кинуться в омут своих тяжелых общественных обязанностей, и созвать городскую думу на первое заседание, он взял себе немножко свободы и ходил в светлом костюме и большой шляпе; он купил себе трость, ходил в целых сапогах, курил только сигары, он стал совсем другой. Кого он охаживал, что высматривал этот отяжелевший мужчина? Он чего-то искал, чего-то добивался; дело было не только в неразделенной любви и глубоких чувствах. Проходя мимо сада консула Ионсена с цементными урнами, ароматом сирени и бабочками, он размашисто приветствовал своей большой шляпой фру Ионсен, против которой он ничего не имел, фрекен и даже самого консула, если они сидели на веранде. Правда, он был председателем комиссии, работавшей против консула, но дом и семью не приходится впутывать в это дело!

— С приездом из Парижа! — прогремел он через решетку, обращаясь к фрекен Фи.

Она, впрочем, давно уже из Парижа, подумалось ей, конечно; и она с таким же правом могла поздравить его с возвращением из стортинга; но она лишь поблагодарила его небрежным кивком. Кто может понять этого человека?

Он кладет свои круглые руки на решетку ограды и не уходит восвояси, а говорит: — Ведь хорошо быть дома, а?

— Да.

— Мне тоже так кажется!

Какой, однако, невежа этот консул! Он сидит тут же на веранде и читает газету; наконец он обратил внимание на адвоката и слегка приподнял шляпу, но потом опять углубляется в чтение.

— Да, мне тоже кажется, что хорошо быть дома. Если бы даже у меня не было лучшей родины!

— Не зайдете ли? — спрашивает фру.

— О, нет, благодарю, уже поздно! Я вышел только прогуляться перед сном. Поклон вам с променада, фрекен Фиа!

— Хорошо там было вечером?

— Дивно! И солнечный закат, и облака какие! Я не понимаю этого так хорошо, как живописцы и художники, но и на мой вкус это было нечто изумительное! Не хотите ли совершить туда прогулку?

— Сейчас? Нет.

— О, нет. Да вы и гуляете, кажется, все больше одна?

Консул опять закуривает свою сигару, но не может оторваться от чтения; что это его так заинтересовало? И что это делается с фру? Эта самая фру Ионсен не всегда была так скупа на слова; в прежнее время она умела весело болтать, когда адвокат Фредриксен разговаривал с нею, и занимал ее; да, она даже немножко интересовалась им! Как разбогатели, как заважничали теперь эти люди, и как любят показывать это! Смотрите, вот сидит хозяйская дочка; она стала еще старше несколькими годами, и еще очень хорошенькая, и вот она сидит недотрогой только потому, что она очень богата, что она хорошая партия! Адвокат Фредриксен, впрочем, мог быть полезен семье в некоторых отношениях; он уже не первый попавшийся, он член стортинга и крупный человек; он мог сделаться еще крупнее, он почти наверное поднимется еще выше, ближайшие выборы решат это дело. Зачем он стоит тут и ухаживает через садовую ограду? Это не подобает такой персоне, как он! Подойдите к нему поближе, протяните ему мизинчик! Он кое-чему научился в огромной столице, в следующий раз пойдет глаже, он возьмет ее в руки...

— Доброго вечера! — попрощался он и ушел.

Спустя добрую минуту, консул поднял голову и прикоснулся к шляпе, но он увидел только спину удалявшегося адвоката и складку на его затылке под шляпой. Какое высокомерие! И что за чтение? Консул отшвырнул от себя газету и медленно поднялся, он громко зевнул и промолвил: — Ну, я иду спать!

— Спокойной ночи! — ответили дамы.

Все дышало миром, ничто не предвещало опасности. Но на другой день грянул гром.

Адвокат Фредриксен впервые услышал об этом в парикмахерской, потом он встретил аптекаря и получил подтверждение слухов. Адвокат собственно собирался выбриться хорошенько, и в течение еще нескольких дней прогуливаться мимо сада консула Йонсена по дороге к променаду; но при известии о гибели парохода «Фиа» он категорически переменял свое решение и направил свои стопы к дому Грюн-Ольсена. В его походе не было ни таинственности, ни неуверенности, он кое-что рассчитал, и рассчитал правильно, разумеется; он пошел к Грюн-Ольсену, куда же еще мог он пойти? О, в его походе было столько достоинства!

Его ждали; фрекен Ольсен покраснела, услышав его голос, ей уже два дня было известно, что он вернулся, и за эти два дня он ни разу не явился!

— В мое отсутствие меня сделали председателем,— объяснился он,— мне нужно было сразу взяться за эти дела, я работал! А по вечерам я так уставал, что должен был прогуливаться один... Иначе я немедленно засвидетельствовал бы вам свое почтение, фрекен!

— Я слышала — папа и мама говорили, что вы приехали.

И только! Больше фрекен Ольсен не прибавила ни слова; но если бы он в эту минуту дал ей понять, что она не может уже жить без его пламенной любви, то она, пожалуй, заколебалась бы. Прошло уже больше двух лет со времени их последнего разговора; она стала еще старше, полученные ею за это время несколько писем только-только что поддерживали жизнь в ее умирающем воспоминании о нем, с другим художником, сыном маляра, ничего не вышло, он был просто художник и сумасброд, он, правда, был влюблен все время, то в одну, то в другую, но в нем не было постоянства. В конце концов он отпраился на пристань и стал малевать Олава с лужайки! Это было просто неприлично после того, как он писал семью консула Ольсена; правда, Ольсены этим не чванились, но они не хотят быть предметом пересудов! А впрочем — выйти замуж за художника, ведь это такое дело, что надо подумать: ее сестра уже испробовала это, и ей не всегда жилось весело, были даже разговоры о разводе — последний крик моды в стране! Теперь у нее было двое детей; в прошлые годы она подолгу жила у стариков, чтобы облегчить свой бюджет, и уезжала всегда с карманом,

полным денег, и с набитыми добром сундуками. В последние годы, правда, роли переменялись; художник приобрел известность, он выставлял свои картины в Берлине и продавал их по высокой цене. Последствием явилось то, что теперь уже художник намекал на развод, теперь он мог стоять на собственных ногах! Это было так грустно и так глупо; покуда катастрофу удавалось предотвратить, но брак у сестры во всяком случае получился неудачный. О, эти художественные связи никогда не бывают прочными!

Ну, а что же с помощником уездного судьи? Он уехал! Он прожил здесь с год, потом поступил в департамент ревизий, никто не заметил его отсутствия, никто не пожалел о нем. Его преемником явился другой кандидат прав, у которого оказалась и невеста, и обручальное кольцо — что ему делать тут в городе, и что было делать с ним барышне Ольсен? Когда он пришел с визитом, она не ушла из дому, нет, этого она не сделала; но она просто сидела в своей комнате; зачем ей было сходить вниз? После этого она видела его в городе, он смахивал на беженца, в вытертых брюках, казался таким унылым, задумавшимся, но — с невестой и кольцом! Такого человека надо было оставить в покое.

Таким образом, фрекен Ольсен продолжала сидеть дома, стариться и копаться в воспоминаниях. Конечно, сердце ее не тосковало по адвокату, но она не совсем выкинула его из головы; он был у нее как бы синица в руках. Как обстоит дело, есть ли у него шансы сделаться членом правительства? Ее политикой по-прежнему управляла сама природа, должна же и она когда-нибудь выйти замуж!

— Не хотите ли закурить сигару? — говорит она адвокату.

Он заговорил о крушении, это подлинно указующий перст семейству Ионсенов! Подумайте, не застраховать парохода! Чем же занимался консул в своей конторе, если он мог забыть о такой исключительно важной вещи? Все же есть пределы! Конечно, нужно жалеть ближних, попавших в беду, но бог его знает, может быть добрым Ионсенам это испытание послужит на пользу! Все они так безудержно и глупо заважничали!

— Не знаю, — говорит фрекен Ольсен. — Я не думаю, чтобы Шельдруп был глуп!

Адвокат равнодушно отвечает: — Я тоже не знаю, что представляет собою Шельдруп. Я говорю о дочери и родителях!

— Интересно, как примет это Шельдруп! Как вы думаете, что он предпримет?

Адвокат смотрит на нее словно с другой планеты; он невольно наморщивает брови, когда глядит на нее:— Ваш вопрос так забавен; я не занимался им, мне пришлось задумываться над другим! Что сделает тот или другой юнец? Не знаю! Он будет делать то, что и раньше! Разве он не торгует за прилавком, или там в этом роде?

— Шельдруп? Нет, он никогда не стоял за прилавком!

— Вот как, не стоял? Ну, мне это все равно!

— Может быть, он вернется домой и возьмет дело в свои руки!

Адвоката раздражает этот разговор, и он все пробует действовать свысока: — У меня, право, нет времени думать, кто возьмет в свои руки это обанкротившееся предприятие и лавчонку! Может быть, Шельдруп подходящий для этого человек, я не знаю! Учился ли он чему-нибудь?

— Учился? Что же он другое делал во все эти годы за границей?

— Ну? Ходил в школу, штудировал в иностранных университетах? Удивительно, что никто об этом ничего не слышал! — Но тут адвокат замечает, что он держит себя глупо, и говорит: — Вообще-то речь идет не о Шельдрупе Ионсене; это, пожалуй, прочим членам семьи не вредно будет немножко принагнуть свои гордые головы. Я их имел в виду!

Фрекен Ольсен находит нужным замолвить словечко за Фию:— Она так славно рисует!

— Вы думаете? — У адвоката такой вид, словно он высказал бы иное мнение на этот счет. И когда фрекен спрашивает: — Не кажется ли это и вам? — то он отвечает: — Не лучше ли нам поговорить о чем-нибудь другом — вам и мне?

И он приступил к делу.

Но, пожалуй, лучше было бы, если бы он просто молчал. Ему не повезло! Разумеется, барышне Ольсен должна была показаться странною его многолетняя холодность, и теперь ему пришлось объясняться, спасаться, это было нелегкое дело! Где он мог научиться трудному искусству добиваться сердца, имея в виду — приданое? Кроме того, его львиный голос вредил ему; он годился для борьбы и дебатов, теперь же он должен был вдохнуть в него нечто, в известной степени спеть песнь — другой на его месте отказался бы от борьбы! Но он не замечал опасности и ломился вперед.

Счастье, что фрекен была в этом отношении не особенно щепетильна! За последние годы она приобрела кой-какие неприятные привычки; но она хорошо разбиралась в житейских делах и была уже не девчонка! Фиа Ионсен далеко не так была развита, при всех своих манерах контессы.

Адвокат слишком прямо приступил к делу, — как мужик, как неотесанный олух: — Сотрудничество, — сказал он, словно могла быть речь о сотрудничестве между ними! Думала ли она об этом?

На это она ничего не ответила; но что такое сотрудничество? Во всяком случае, ей, видно, не показалось, что это слово оставляет ей только один выбор: либо густо покраснеть, либо выйти из комнаты!

Он продолжает развивать свою мысль; он думал и думал о ней все эти два года, — да, она, может быть, забыла его за это время, но он ничего не забыл! Он может сослаться на доказательства, на свои два письма! Все, что он высказал на их предварительном совещании, было повторено в письмах и сохраняет свою силу. — Итак, фрекен, вопрос стоит так: есть ли немножко взаимного понимания и склонности с обеих сторон?

Никакого ответа! Он ждет довольно долгое время, и наконец она говорит, как недавно он: — Будем говорить о чем-нибудь другом!

Что это, опять ломание? Конечно, он уже не чувствовал в себе уверенности; ее слова о Шельдрупе Ионсене лишили его уверенности, она так решительно настаивала на том, что он не стоял за прилавком! И она представляет себе, что он вернется домой и возьмет дело в свои руки; что означает подобный разговор в такую минуту? Черт побери, адвокат не умеет петь, но он продолжает: — Не желает ли она еще подумать? Для него время уже наступило, неизвестность заставила его именно в это утро пойти и узнать, как обстоит дело! Но может быть, ей еще нужно время, чтоб подумать?

— Да, — просто ответила она.

— В самом деле? Он должен сознаться, что едва верит этому после двух долгих лет ожидания и после всего, что было между ними! Ведь кажется, она ясно высказалась, что этот городишка стал несносной дырой! Город с бедствиями, банкротствами и нищетой — в то время как в других местах люди смеются и живут весело. Какие тут бывают развлечения?

Она возразила с улыбкой: — Я не привыкла к развлечениям!

Но она может привыкнуть! — ответил он. В других местах — дивные улицы, витрины, кафе, кабаре — неужели это не прельщает ее? А что касается образа жизни, то ей останется лишь самой установить его; нет ничего, чего нельзя было бы устроить! Все удобства жизни собраны здесь как на ладони; газеты выходят и утром, и вечером, музыка играет, над стортингом развеваются флаги; по воскресеньям можно лежать в постели хоть целый день, или же можно пойти в театр, прокатиться в трамвае, гулять в студенческой роще или прослушать хороший доклад. А здесь что? Если ее желания совпадают с его желаниями, то она может уехать отсюда...

И это не была настоящая песнь; но это было уже не так глупо, фрекен должна была бы проявить некоторый интерес, — но нет! Бог знает, что нужно было, чтобы сделать эту девушку немножко сговорчивее! Он осторожно придвигается к ней все ближе и ближе и наконец настигает ее; он кое-чему научился в столице, он смело обнимает ее, он обвивает ее рукой и говорит: — Милая фрекен, если б вы немножко больше понимали...

Она встала, вот что она сделала! Она поднялась с места, но не выбежала в дверь, ей не грозило ничего неизбежного, она только взглянула на него и промолвила: — Я надеюсь, вы благородный человек, Фредриксен?

— Разумеется! Гм! Но дамам, напротив, обыкновенно нравятся легкие ухаживания, — говорит он, кивает головой и подмигивает одним глазом, словно он хорошо это знает. Он ничего дурного не имел в виду, простая близость, она ведь знает, с кем она имеет дело, она знает его...

— Да, я знаю! — ответила она и села на софу.

Ему ведь приходилось иметь обхождение с дамами, не без того; он бывал в обществе и во дворце, слушал знаменитых певцов и так далее — о, некоторые были изящны, неподражаемы в своем роде, совершенно в его вкусе! На них были платья с глубоким вырезом, они откидывались назад, носили на шее цепочки и бриллианты! Но основать с ними семью, взять такую в подруги жизни? Нет! — прогремел Фредриксен и замотал головой. Зато он помнил одну даму в его собственном городишке, и на нее он возложил все свои упования...

— На Фию! — проговорила фрекен Ольсен.

Как это вдруг случилось? Он немножко был ошеломлен и спросил только: — Почему вы назвали ее?

Фрекен Ольсен улыбнулась.

— Фиа! — проговорил он. — Оставим ее в покое, пусть она ходит в красной шляпе и пусть рисует! Разве я неправду говорю, разве можно представить себе более бесполезное существо! Но это нас не касается, я не понимаю, зачем мы говорим о ней. Не поймите меня превратно, фрекен, — искусство, красивые картины и живопись имеют свое огромное значение! Но боже, как эта женщина не похожа на вас, фрекен, она и вполовину не достойна вас, худая, тощая, длинная, долговязая. Боже меня упаси!

Фрекен Ольсен не могло быть неприятно, что ее на этот раз предпочли и поставили на первом плане; адвокат со своей стороны не жалел красок: если она не привыкла к вниманию, то теперь она его получила! И в самом деле, фрекен Ольсен встает и ставит перед ним пепельницу так, чтобы ему было удобно; и от этой любезности, от этого уюта любовь в нем прорвалась потоком, он схватил ее в свои объятия! Она опять промолвила: — Будьте благородным человеком, Фредриксен! — И не убежала, как греза, но упала на стул, находившийся рядом. Он не был ни опасен, ни жаден, он только был немножко груб и невоспитан, как все мужчины — что, впрочем, мужчинам к лицу!

— Но вы должны сознаться, что вы были сильно увлечены Фией! — говорит она.

Фией? Как она может это говорить, как это вспало ей на мысль? Послушать только, художница, воплощенная бледная немочь! Он готов объездить земной шар ради фрекен Ольсен, но он не сделает это за картины Фии! Видите ли... Искусство — это так; но для обыденной жизни он больше любит руки, и ноги, и бюст, и всю фигуру фрекен Ольсен! — О, фрекен! — промолвил он.

— У нее чудесные зубы!

Это она все говорит о Фие. Черт возьми, как упряма бывает фрекен Ольсен, когда остановится на какой-нибудь мысли! Он ответил тем, что придвинулся очень близко, обвил ее стан рукою и прижался к ее теплой спине. И разумеется, в продолжение этого говорил: — Он ей теперь скажет, у кого чудесные зубы! Он скажет ей, кто красивая и стройная девушка, кто является украшением своего богатого дома! Он ведь живал в больших городах, и бывал даже в очень высоких местах, так что он может сравнивать! И он утверждает, что такого дивного сложения, и роста, и вообще всех статей... — Фия же, посмотрите на нее сами, фрекен! Посмотреть после вас на Фию — это

все равно, что с облаков упасть на землю! И как она там ни выглядывай, что она ни говори и ни делай — это все искусство, ухищрения, кружева и притворство!

При слове «кружева» фрекен Ольсен не могла удержаться от смеха, и адвокат еще больше осмелел: — Если б это хоть были кружева панталон! — проговорил он.

Он почувствовал, как она немножко подалась спиной, словно хотела встать, но его рука крепко держала ее: — Да, это он должен прямо сказать! О-го-го! — засмеялся он. Не на воздушном же создании мужчине нужно жениться! Он был не из тех, что презирают радости жизни, напротив, он любил дурачества и шалости в этой области; и если он верно понял, то фрекен Ольсен устроена совершенно так же, как он, в этом смысле. Неправда ли?

— Вы теперь должны пустить меня! — проговорила она и дернулась спиной.

Пришлось сделаться серьезным и вновь обратиться к делу: он объявил ей, что момент наступил, ближайшие выборы, конечно, вновь пошлют его в национальное собрание, и тогда, разумеется, он войдет в правительство! Может быть, с его стороны и смело говорить так, но в кабинете не достаёт представителя от судоходства; а он, как председатель комиссии о матросах, приобрел основательные познания в этой материи, заключил он.

— Скажите! Вы будете министром? — промолвила она.

— Насколько человек может рассчитывать, — ответил он. — Не думает ли она, что он просто сидит и выдумывает? Независимо от того, что газеты называли его, как будущего министра, он кое-что слышал за кулисами. — Фрекен, — спросил он ее от всего сердца: может ли статься, чтобы она разделила с ним его судьбу и сделалась женой известного политического деятеля, женой министра?

Никакого ответа.

Он продолжает говорить, но тонко дает ей понять, что и без нее он не пропадет: у него есть немало знакомств, — но она, фрекен Ольсен, одна только занимает его мысли! Он исходит из предположения, что ее родители, консул и фру, не будут возражать против этого брака; он не собирается ведь сделать ее обыкновенной женой! Что же она ответит, может ли он надеяться?

И наконец она сказала: — Я ничего не могу сказать об этом!

— Вы, во всяком случае, хотите сказать, что подумаете об этом?

— Да, да! Я подумаю об этом.

— Сколько времени?

— Этого я не знаю. Не будем больше говорить об этом!

— Что, если мы подождем до конца выборов?

— А это долго?

— Месяц, пять недель! Я хочу вас взять с собой, когда буду возвращаться в Христианию, я люблю вас, вы мне нужны! Мы будем жить в собственном доме, у нас будут бывать все влиятельные люди, политики! Да, вот еще что я вспомнил: мы купим две картины вашего шурина, это я сказал и слово мое твердо; но выбрать их должны будете вы! Итак, подождем до конца выборов, что ли?

— Да, да!

Она ничего не обещает, ни капельки! Когда он ушел, она осталась сидеть на своем месте, задумавшись. Фрекен Ольсен не на что было пожаловаться, ей не испортили музыки, она не засидится, судьба ее была поистине не из худших! Пока дело складывается так, что она может выйти за человека, которого город когда-нибудь будет встречать флагами во время его приездов — и кто в подобном случае отказал бы подобному человеку?

Она слышит шаги на лестнице и думает: — Неужели он вернулся? Но ее ожидал гораздо больший сюрприз: вошел ее отец и консул Ионсен, сам двойной консул, ноги которого раньше не бывало у них в доме; теперь он пришел и продал свою дачу Грюн-Ольсену!..

ГЛАВА XXIX

С двойным консулом дело обстояло гораздо серьезнее, чем можно было думать. Он не стал скрывать, что «Фиа» погибла незастрахованной; в первый момент неожиданности он, напротив, громко завопил об этом, и последствия не замедлили сказаться; ему со своей правой рукой Бернтсенем немало стоило труда успокаивать переполошившихся кредиторов! Они совещались, думали, судили, рядили; консул даже по телеграфу застраховал пароход после того, как он пошел ко дну, но это он сделал по собственной инициативе, и Бернтсен немедленно, и тоже по собственной инициативе, аннулировал эту безумную выходку; Бернтсен был сущий перл в деле!

Но перл Бернтсен был вместе с тем и человеком. Среди всей этой сумятицы, поднявшейся в городе, он сохранил ясную голову, и по человечески — подумал и о себе.

Смотрите, люди стоят кучками у стен и говорят о катастрофе: что сам двойной консул обанкротился,— тот, который никогда еще не оставался без средств, который имел средства для всего, который был средоточием всей жизни и благополучия городка, который раздавал направо и налево, у которого был огромный дом с верандой и балконом — и он обанкротился! Что люди знали об этом? Все знали! Разве вчера не приезжал господин из Христиании и не тормозил его? И не приехал ли сегодня другой господин, из Гамбурга, и не тормозил ли его? И не явится ли третий и четвертый, не будут ли являться люди каждый день? Публика хорошо понимала, что это конец!

Катастрофа отразилась решительно на всей округе, она чувствовалась всеми жителями городка, доктор замечал это на своей практике, работа на верфи стала. Генриксен с верфи потерял голову и промолвил:— Ступайте домой, ребята, я не могу больше!

И теперь, когда городишко корчился в судорогах, наступило время людям одуматься и перемениться. Люди получили серьезное предостережение несколько лет тому назад в виде некоторого ограбления почты; но они обратили на это не больше внимания, чем на какого-нибудь теленка с двумя головами, люди остались верны себе! Но теперь? Неужели даже такой удар, такое землетрясение, как банкротство двойного консула, не пробудит людей от спячки? Из чего же эти люди сделаны? Правда, в местной газетке печаталось воззвание о том, что надо мол быть благочестивыми, и женщины у колодца так внимательно обсудили эту программу, что она проникла в каждый домишко, но и это, по-видимому, не изменило людей, они не делались лучше с каждым днем, а скорей как будто хуже. И в самом деле; с тем же каботажным пароходом, который привез господина из Гамбурга, в городок прибыл еще один гость, старая дама, известное в городе лицо, преподавательница танцев! Свет положительно с ума сошел! Именно тогда, когда людям особенно надлежало помнить о боге, возвращается танцевальная дама, чтобы отравлять новое поколение! О, люди остались верны себе!

Но что же Бернтсен? Бернтсен запирает лавку, как обыкновенно, и проходит обыкновенным шагом мимо всех кучек народу, собирающихся по стенкам, и вид у него вот ни на столько не убитый! Так и должен выступать человек, состоящий правой рукой обанкротившегося патрона! Он должен хранить бодрость и иметь такой вид, словно

перспективы торговли вполне хороши! Наряду с этим он, по человечеству, может подумать и о себе...

В этот вечер управляющий Бернтсен не идет прямо в свою комнату на антресолях, отнюдь нет, он идет прямо в большой дом К. А. Ионсена и просит позволения переговорить с фрекен Фией! Он хорошо знал, что консула нет дома, консул охотней проводил время в других местах, а не дома, когда забота угнетала его. В комнате слышатся чужие голоса; там была Алиса Гейберг, Констанса с верфи, даже фрекен Ольсен, даже дочь почтмейстера, — та, что стояла за прилавком в магазине мод; они конечно пришли для того, чтобы фрекен Фиа не оставалась одна со своим горем.

Ну, фрекен Фиа, контесса, отлично умела показать, что если у нее есть горе, то есть и культурное умение переносить его; в данный момент она занимает гостей индийской сказкой, которую она прочла и к которой хочет сделать иллюстрации.

Она потащила управляющего Бернтсена в комнату, называемую кабинетом, и присела, готовая слушать его. В последнее время Бернтсен часто разговаривал с самим консулом, а к фру Ионсен, которая никогда не обращала внимания на Бернтсена во дни ее всемогущества, он не хотел теперь обращаться. Поэтому ему ничего не оставалось, как обратиться к Фи. Так обстояло дело, и как оно могло быть иначе? Он сидел здесь и только излагал ей положение дел, тяжелое положение, в которое попало их предприятие, разорение — о чем другом мог он здесь сидеть и говорить! Впрочем, это не отняло много времени, всего несколько минут; и когда Бернтсен вышел из дома и фрекен Фиа вернулась к барышням, ее лицо имело такое же спокойное и веселое выражение, как всегда. Дамы грустно поглядывали на нее; Бернтсен, конечно, приходил с новой бедой, не иначе! Но Фиа обнаружила большую душевную твердость.

Да, Фиа в полной мере проявила твердость души! Ей досадно было, что все эти девчонки, стоявшие куда ниже ее, позволили себе проявить к ней назойливое участие, она смеется над ними, вот что!

Когда гости заметили это, они тоже стали улыбаться и радоваться: — Добрые вести? — спросили они.

— Как вам это понравится? — ответила Фиа. — Он посватался ко мне!

Минута полного безмолвия.

— Кто? Бернтсен?..

Фиа кивает с высокомерной улыбкой:— Приказчик моего отца!

В последующую минуту никто ничего не понимал. Алиса Гейберг хотела поважничать, хотя она не была богата, и сказала: — Слуги сильно обнаглели в последнее время!

И Фиа ответила на это: — Да, надо быть ко всему готовой!

Но столь непоколебимое высокомерие контессы заставило фрекен Ольсен немножко задуматься. Даже твердости души должен быть предел! Вот сидит Фиа Ионсен, ее отец вынужден был продать свою дачу, дела его плохи, приказчик, пожалуй, совсем не так безумно поступил, что в подобный момент выступил с предложением руки и сердца.— И что ж ты ответила? — спросила фрекен Ольсен.

Фиа только посмотрела на нее, высоко подняв брови, и промолчала.

— Не знаю, так ли уж это было дерзко, Фиа! Бернтсен не на много старше тебя, Фиа; у него, конечно, будет со временем собственное дело, и он не так уж дурен собой!

Фрекен Ольсен изложила это в привлекательных красках, казалось, она ничего не имеет против того, чтобы Фиа Ионсен сделала не слишком блестящую партию. Но Фиа только посмотрела на нее снова, эти Грюн-Ольсен в самом деле что-то о себе возмечтали! И, конечно, фрекен Ольсен не была ни утонченно изящна, и изысканна, но гибко-стройна, она не умела копировать картин и наверное была очень слаба в орфографии, она не читала, конечно, индийских сказок! Но у фрекен Ольсен есть здравый смысл; ей кажется, конечно, что рано или поздно и Фии придется выйти замуж. И она говорит: — Да у тебя может быть есть другой, Фиа! Иначе я не могу понять, почему это Бернтсен слишком много позволил себе!

Фиа получила-таки — и прямо в физиономию!

— А знаешь что?— вмешалась Алиса Гейберг, желая поправить дело.

— Я еще не в таком безвыходном положении! — говорит Фиа.

— Ну, что я говорила: у тебя где-то есть другой!

Контесса ответила несколько более раздраженным тоном, нежели обыкновенно: — У меня может быть десять других, если я захочу!

Пауза. Четырём девушкам, пожалуй, это показалось слишком смелым, и фрекен Ольсен говорит:

— Ну, разве что так...

— Да, это так,— отвечает Фиа и кивает головой.— Но даже если бы у меня не было ни одного, я не вышла бы за Бернтсена! Если бы у меня не было совершенно никого, я не вышла бы ни за кого в этом городишке!

— Вот как? — удивляется фрекен Ольсен и плотно сжимает свои полные губки. У нее ведь есть синица в руках, и как раз из этого городишки, но он во всяком случае должен еще кое-чего добиться; не исключена возможность, что в один прекрасный день городишко будет встречать его флагами! Но барышню Ольсен терзает, быть может, в эту минуту ревнивое воспоминание, что ее синица кружилась около ФиИ Ионсен прежде, чем полетела к ней? Каково это было сознавать ей, бедняжке!

— Я ведь не даром поехала и насмотрелась, и наслушалась кое-чего! — говорит Фиа.— Меня интересует только мое искусство, и вращаюсь я среди художников, а не среди господ нашего городишки!

Ну, Алиса Гейбергшла, что это уж слишком, у нее самой есть кое-кто из этого городишки,— Рейнерт, сын часовщика; он еще очень молод, но какие же у него кудри и как он воспитан, как он чудесно ухаживает! Она в самом деле сильно привязалась к веселому студенту за последние каникулы.

Фиа задумчиво качает головою и говорит:

— Боже, как бы смеялись надо мною художники!

Фрекен Ольсен подхватывает:— Это, если б ты вышла за Бернтсена? Мой шуриИ во всяком случае не стал бы смеяться над тобою!

— Ну?— с любопытством спрашивает Фиа. Она заинтригована. ШуриИ фрекен Ольсен — не первый попавшийся, он художник с растущей популярностью, восходящее светило! Что он говорил, как он о ней отзывался, разве она плохо рисует?

— Он говорит, что ты чересчур разборчива, что ты не можешь полюбить и зачечься, вот что он говорит. Не знаю, что он именно под этим подразумевал; такова уж твоя натура, сказал он, ты, наверное, не выйдешь замуж!

Фиа как бы пропустила мимо ушей эти невежливые слова и только спросила:— Но что он говорит о моих работах?

— Не помню. Кажется, он сказал, что в них нет огня.

— Чего в них нет?

— Жару. Я в точности не помню! Но ты холодная натура, и таково мнение всех художников, сказал он.

Бедная фрекен Фиа, она задумалась и молчит довольно долго. Ей стало неприятно, она как-то присмирела.— Он не видел моих последних копий Лувра,— говорит она,— смею сказать, что в них есть огонь! Да, впрочем, он не видал ведь и иллюстраций, которые я собираюсь сделать к индийским сказкам! Я думаю, они каждому откроют глаза!

Когда подруги ушли, она отправилась к своей матери — впервые в жизни в неподдельной тревоге, с больною душой.

Мать, утомленная дневными заботами и тяготами, уже легла, и приход дочери, конечно, не развеселил ее, о нет! Зачем Фиа пришла как раз теперь?

Разумеется, она вошла, нарядная и воспитанная как всегда; она спросила, не помешала ли, можно ли ей войти, она просто так... в сущности, ей незачем...

— В чем дело, Фиа?

— Нет, ты плохо себя чувствуешь; ничего, можно в другой раз! Но правда, мама, я художница, я не боюсь никакой критики?

— О чем ты говоришь, дитя мое, ведь критика всегда отзывалась о тебе только хорошо!

— Неправда ли? О, я им покажу! Они увидят, что я завтра начну, мама; это будет лучшее из всего, что я сделала!

— У нас был Бернтсен?

— Да. Ты знаешь, с чем он приходил?

— Мне кажется, я догадываюсь.

— Не догадываешься! Он сватался ко мне!

К великому изумлению Фии, мать не вскочила с постели и не потребовала, чтобы Бернтсена уволили сию же минуту! Нет, она продолжала лежать на своем месте и как будто погрузилась в думы.

— Ты ведь знаешь, что папа продал дачу? — начала она.

— Какую дачу? — Фиа ничего не знает, она и не слышала о такой безумной вещи, она готова потребовать, чтобы сделку уничтожили! Продать... дачу?

— Грюн-Ольсену!

Фиа смотрит на мать. Так вот зачем приходили вечером барышни, это дочь Грюн-Ольсена привела с собой целую свиту, чтобы они были свидетелями ее торжества! Если бы у Фии не было ее искусства, она была бы банкротом; но она ведь богата!

— Мы с папой говорили об этом,— продолжала мать,— Бернтсен посоветовал нам это, мы согласились,— чтобы у тебя, во всяком случае, было чем существовать!

— Мне? — говорит Фиа.— У меня остается мое искусство!

Мать с дочерью обсуждают дело. О, фру консульша Ионсен явно сделалась рассудительна; может быть, для нее стал ясен маневр управляющего Бернтсена, теперь она во всяком случае больше понимала обитателей городка, поставленных ниже ее. Что ж, Бернтсен! Он сделал то, что некогда сделал ее собственный муж, консул, и что делают многие мужчины! Мы живем в век гуманности!

Они судят и рдят, но Фиа упорно думает о своем и не хочет спуститься на землю. Художники думают, что она холодная натура,— и это благодарность за то, что она им помогала? — Неправда ли, я помогала им, мама?

— Разумеется! Но этому теперь конец. У Грюн-Ольсенов, у консула Ольсена, теперь больше средств, чем у нас!

— Но у них нет культуры! — утешает Фиа свою мать.

— Да. Но они так богаты! Подумай, у них даже полоскательницы из чистого хрустала!

Мать и дочь улыбнулись при этом и в общем немножко повеселели. Фру Ионсен, правда, лежала в постели с желтым лицом, со своими заботами и огорчениями, но все же промолвила: — Хоть бы Шельдруп приехал, он наверное найдет выход!

— Да, да, не бойся, мама! Видишь ли, художники не так уж сильно раскритиковали меня. Мне только недостает немножко огня, говорят они. Но я уж им покажу, они увидят!

И она продолжала говорить — все о том же!

И вот сидит фрекен Фиа! Она уже в годах, персиковая кожа ее лица уже утратила свою свежесть, она немножко перезрела, барышня начала отцветать! Свои годы она провела без успехов, но и без неудач, ничто не могло изменить ее нрава, она была недоступна и обворожительно самоуверенна. Если она не сбилась с пути, то это произошло от того, что она вообще не пускалась в незнакомые области. Зачем ей это? Она так добродетельна и так замкнута! Ее потребность в любви и материнстве нашла себе исход в живописи, для этого занятия у нее всегда имелись средства, она малевала, к живописи ее не толкала ни внутренняя, ни внешняя необходимость, но она все-таки малевала! Никто не видел, чтобы она когда-нибудь

кручинилась над собою, она не делала ошибок, никому не делала зла, не была расточительна, очень мило беседовала с людьми, мило кланялась. Но когда-нибудь ей придется спросить небо над собою, и землю под собою: — Кто я? Что я? — Да, это ей следовало спросить...

Фрекен Фиа... пожалуй, она уж не могла выносить бремени своих достоинств, пожалуй, они давили ее! Нехорошо, когда у человека нет ни в чем потребности, когда ему не в чем раскаяться!

— Я холодная натура? — промолвила она и поднялась с кровати. — И я не могу зажечься?..

И мать, и дочь находились теперь в хорошем расположении духа и готовы были шутить; мать села в постели и временами улыбалась, у обоих был одинаковый темперамент, обе счастливо умели гнать от себя мрачные воспоминания.

Фиа симулировала шаловливую распушенность; она болтала ножкой так игриво, и даже очень, делала движения локотком, словно подталкивала кого-нибудь, сидевшего рядом с нею, и в которого она влюблена. Подражала она неплохо! Она подбирала пальчиками юбки, так что показывались ее белые панталоны — они были чистые и безукоризненные, сплошь в кружевах и бантиках, прямо какие-то райские — и вот они увидели свет, и Фиа высоко подкидывает левую ножку! Вид у нее теперь был подающий надежды, словно она готовилась удивить художников своею разнузданностью. Ого! повторила она. Да она ведь и в самом деле шальная и распутная бабенка, этакое животное, не правда ли, вот они увидят! Вот она в третий раз вскинула ножку — не довольно ли? Разве этого мало? Недостает еще только, чтобы она заржала!

О, все это, конечно, было вполне благопристойно и невинно, но производило жалкое впечатление, эти выходы старой девы могли заставить печку расхохотаться...

— А где Бернтсен? — спросила она вдруг. — Он ушел? Если тебе хочется, мама, то почему же нет — я на все готова! Он, конечно, стоит там внизу; позвать его?

Но ее жертва не понадобилась, Фиа могла обойтись без своего великодушного предложения, судьба дала ей возможность продолжать прежнюю жизнь, красивую и изящную жизнь, точно такую же, как прежде; зачем же ей менять ее? А именно, в город приехал один человек; он уладил все дела, спас предприятие, поставил членов семьи на их место, успокоил судороги города.

Шельдруп Ионсен вернулся домой!

Все ли он дела уладил? Некоторые он разладил! Без этого нельзя было обойтись. Люди наталкиваются друг на друга, переступают друг через друга, одни падают наземь и служат другим мостом, иные гибнут,— это те, которые трудней всего переносят толчки, наименее способны к сопротивлению — и они гибнут. Без этого не обходится! Но другие цветут и преуспевают. В этом и заключается бессмертие жизни! И все это было известно тем, у колодца.

Шельдруп Ионсен приехал из Нового Орлеана нельзя сказать чтоб в особенно кротком и незлобивом настроении. Бернтсену он не сказал худого слова, но отца потребовал к ответу.

Консул не понимал, почему он должен отвечать; слышали ли вы что-нибудь подобное, его же еще укоряют! Ведь он определенно просил Бернтсена не забывать о страховке!

— О чем же тебе самому надо было помнить? — спрашивал Шельдруп.

Бесполезно было спорить с таким глупым сыном, с таким своевольным, современным сыном; он приехал совсем из другого мира, доллары, говорит он, стерлинги, говорит он! Он обривизовал отцовские книги, словно в них были ошибки,— а это ведь были деловые книги! Мало ли о чем консулу приходилось помнить! Разве он не столп города, и между прочим не консул двух стран, разве ему не приходится писать донесений?

Оправдываться было бесполезно; консул все больше и больше сокращался во время столкновения с сыном, и наконец заявил, что он хочет реализовать имущество. Он уже обеспечил будущее Фии, продав дачу, с ним лично и с женой пусть будет, что будет, он может получить агентуру; например, сделаться страховым агентом...

Губы Шельдрупа сложились в широкую улыбку, и отец это видел. Оскорбленный в своем достоинстве, он опять твердит, что он хочет реализовать имущество, заплатить все долги и остаться честным человеком.

Шельдруп ответил: — Мы не будем платить!

— Хорошо,— сказал отец, и пошел еще дальше в своем самопожертвовании.— И я откажусь от своих консульских званий!

— Ничего подобного! — решительно объявил Шельдруп.— У нас не так много ценных активов,— сказал он. Впрочем, он просмотрел книги, они кое-где велись небрежно, местами есть ошибки, число не приблизительная

величина, цифры очень серьезная вещь, с цифрами не шутят!

— Но положение вовсе не так плохо, папа; мы отлично выйдем из него и поднимем голову! Пусть эти приезжие господа из Христиании, Гамбурга, Гетеборга и Гавра явятся ко мне! — молвил он.

— Что ты говоришь?

— Но под одним условием: ты уйдешь на покой, папа!

Наконец-таки и у него прорвались сыновние чувства; он понял, что отец нуждается в отдыхе! И отец совсем ничего не имел против отдыха; ему слишком много пришлось натерпеться, волосы его сильно поредели, глаза утратили блеск, дни были лишены покоя, ночи — радостей.— Но не могу же я целые дни ничего не делать!— сказал он.

— Я буду вести дела, ты будешь отдыхать!— объявил Шельдруп.

Шельдруп с места в карьер поступил весьма бесцеремонно с людьми и с вещами: он отказал Оливеру Андерсену от склада, он отменил ежегодное вспомоществование и ежегодный костюм, выдававшийся филологу Франку, Оливерову сыну; он уволил старого, наследственного дровокола, который еще в доме фру Ионсен, в дни ее детства, служил за честь и премии серебряными ложечками; он отказался от некоторого обязательства у Генриксена на верфи.

Опять народ собирался кучками у стен и обменивался взглядами на положение дел: не было ни малейшего сомнения, что консул свергнут, и что Шельдруп взял дело в свои руки; это видно было по действию, которое эти перемены произвели кругом, по дурным и хорошим результатам, которые равно подвергались обсуждению у колодца. О, как мололи мельницы! Вот, например, фру консульша Ионсен купила себе маленькую шляпу! Прежде она носила огромные шляпы с широкими полями, которые колыхались, когда она передвигалась, словно шляпа была на шарнирах. Теперь же она купила себе шляпу вроде той, в которой ходит маленькая фру консульша Давидсен, и которая не могла стоять много. Это, наверное, Шельдруп вмешался в дело; куда он только не вмешивался! Таинственное дело на верфи он тоже похерил! Видите ли, между покойной фру Генриксен и консулом в свое время, очень давно тому, состоялось некоторое соглашение; это было в то время, когда покойная фру еще ходила живехонькой по земле, и было ей чуть-чуть за тридцать лет. Так оно было! Но теперь верфь стояла, это было

хуже всего; верфь не работала, Каспер и другие рабочие не имели другого дела, как подстергать своих жен! Шельдруп вмешался. Когда эмиссары иностранных кредиторов явились, их проводили к нему в контору, где он сидел в единственном числе; господа из Гетеборга и Гавра не долго у него сидели, он уладил с ними дело, поклонился им у дверей, и сел на свое место! Что он им такое сказал, чтобы удовлетворить их? На господ произвело неизгладимое впечатление не то, что он сказал, но то, что он сделал: он выписал чеки на их требования! Сделайте одолжение! Одно чудо за другим! Пароход «Фиа» обошелся фирме в двести тысяч крон; где же взял г-н Шельдруп Ионсен этот миллион, чтобы возместить убытки? У него должны быть чертовски сильные связи там, на белом свете!

Он еще больше вмешался! Настал день, когда оказалось, что бравый Шельдруп живет не одними делами — неужто так? У него было сердце, которое тоже умело биться! В один прекрасный полдень он отправился с приветственным визитом к Грюн-Ольсенам, и вернулся от них женихом! Во что он только не вмешивался! Это вышло как нечто само собою разумеющееся, ни он, ни фрекен Ольсен не оглядывались ни направо, ни налево, но прямо перешли к делу! Барышня не просила его быть благородным человеком, все это было лишь увенчанием детской любви, оба добились того, чего желали, обоим это было нужно. Это случилось как раз в те дни, когда адвокат Фредриксен был сильно поглощен предвыборными митингами; у него не было случая выступить на иных ристалищах и помешать катастрофе, и все вышло так, как пришлось. Да, он оказался избран — в одном месте. Но его забаллотировали в другом! Никогда еще адвокат Фредриксен не просчитывался так сильно: самые важные выборы выпали *против* него! Он мог бы перенести политическое поражение — до следующего раза; но помолвка фрекен Ольсен была для него потерей на всю жизнь. После этого бесполезно уже было хватать ее за руку, напрасны были все громы его голоса! Что же еще могло помочь ему?

Он страдал в течение некоторого времени — целую неделю! О, адвокат Фредриксен не упал духом, в нем слишком много было жизненных сил, он летел все вперед, все дальше! Он не стремился к большой власти, он домогался лишь положения и славы парламентского деятеля, он стремился к обеспеченности, к богатству уездного городка, вот чего он добивался. Неужели же он не достигнет столь скромных целей? Он уже видный

человек, председатель думы в своем городке, депутат стортинга, председатель бесконечной комиссии, скоро он будет министром юстиции. Какова карьера! Кто мог бы подумать о нем что-либо подобное несколько лет тому назад, когда он был безработным отрепышем, когда он не мог позволить себе курить сигары, когда ему случалось даже бриться у цирюльника Гольте в кредит:— Я не захватил с собою мелочи, запишите до следующего раза!

Фрекен Ольсен натянула ему здоровый нос, но он перенесет это; адвокат Фредриксен сумеет это перенести, он будет заседать еще в большем числе комиссий, он возьмет жену с приданым, он будет платить цирюльнику Гольте за каждый визит! В качестве министра юстиции он будет делать все, что полагается делать в министерском кабинете, но не больше, чем требуется, не больше, чем от него ожидают! Какой-нибудь из его старых товарищей по депутатской скамье спросит его о том, о сем, намекнет на ту или иную административную задачу; министр юстиции пообещает обратить на это дело свое внимание, и член стортинга поблагодарит его. О, министр юстиции дельный человек, он всегда будет сосредоточивать на чем-нибудь свое внимание, не без этого; ведь он человек прогрессивный, его канцелярия будет готовить большие и малые дела! Кто боится, что член правительства Фредриксен сделает что-нибудь необыкновенное, тот не знает его, он будет делать только то, что требуется, он создан для этого! Он стал одним из колес в государственной машине; когда другие колеса будут вертеться, и он завертится вместе с ними! Он заведен на слабый ход, торопиться ему некуда, только стоять на месте не нужно...

О нем пожалеют, когда он умрет!

ГЛАВА XXX

Опять Оливер попал в славную переделку: ему отказали от склада! Он еще ходит туда и делает свое дело, но когда кончится срок, он очутится, как рыба на льду. Это уж, например, последнее дело! Оливер глубоко угнетен...

Он отправляется к Абелью и ведет с ним беседу. К кому же ему еще идти? Филолог Франк сильный языковед и наставник людей, но он еще не посылает домой крупной помощи, которой ждал отец; зато он сообщил, что он помолвлен с Констансой Генриксен с верфи. Да, но какая от этого прибыль Оливеру?

Абель управлял теперь кузницей, которую мастер и хозяин Карлсен сдал ему в аренду за сходную плату. Он выписал диковинный паровой молот, действующий парафином, молот работал великолепно, и с ним было так же удобно иметь дело, как с молотобойцем; работы у Абеля было хоть отбавляй, и он хорошо зарабатывал. Абель не был скряга, дрожащий над каждым двукроновиком; он заработал на мебель, на постельное белье, на комод, он наконец отправился к ювелиру Эвенсену и купил у него 12 грамм золота. *Что он купил?* Золото! И тем не менее у Абеля всегда отыскивалось две кроны для отцовского кармана!

Да, Оливер не делал ни малейшего различия между своими детьми: когда он находился в нужде, он не шел к Франку, который вечно отсутствовал, но к Абелю, которого он каждое утро мог застать в кузнице. А сегодня у него дело поважнее двух крон; Оливер объявил, что Шельдруп Ионсен отказал калеке, лишил его куса хлеба — что ему делать теперь?

— Да,— говорит Абель, и начинает раздумывать.— Я не вижу иного выхода, как мне жениться! — говорит он.

Вот так фунт, черт возьми! Отец даже рот разинул при этом.

— Что ты хочешь сказать этим?— спрашивает он.

— У меня все готово, и я не стану долго ждать ее! — признался Абель.— Я хочу покончить с этим делом!

Оливер еще не понимал, куда гнет его сын; но он был отец, умевший приноравливаться к детям, он тотчас же забыл о своих личных делах и с участием стал слушать сына:

— Тебе-то, да еще ждать ее! — говорит он.

— Ты в самом деле так думаешь?

— Думаю ли я! Кто ты такой, и что она такое? Все равно, как если бы ты нашел перо или пушинку на улице — вот что она такое!

— Хочешь взглянуть на кольцо? — спрашивает Абель. Он достал его из рундучка, стоявшего у окна,— и какое же это было чудесное кольцо, тяжелое и блестящее, тяжелое на вес, золотое!

— Я только что кончил его отливать,— говорит Абель.

Оливер застыл в немой недоверчивости, но он и глазом не моргнул. Наконец он спрашивает:

— Сколько взял Эвенсен за кольцо?

— Эвенсен? Я сам сделал кольцо! — Абель показал отцу форму, в которой он отливал кольцо, показал ему

опилки, показал ему рашпиль, который сделался золотым.— Видишь, вот наждачная бумага, которою я полировал его, вот крупные опилки, вот мелкие; под конец я отполировал его замшей!

Все это была, конечно, истинная правда; Оливер качает головой и говорит:

— Спаси тебя бог, Абель, ты умеешь сделать решительно все, что тебе вздумается!

И Абель гордится похвалой отца, говорит свое:

— Теперь весь вопрос в том, захочет ли она взять его.

— Захочет ли взять? — восклицает Оливер.— Если этот человек не захочет, так ты ее пришли ко мне! Вот что ты сделай! Взять такое кольцо? Да ведь оно вдвое тяжелей того, что я купил твоей матери! Ты с этим не шути!

О насущном хлебе отца больше не было речи, но все же посещение кузницы ободрило беднягу. Для этого много не нужно было; одно то, что Абель не потерял головы пред лицом надвигавшейся нужды, было большим утешением и поддержкой. Абель, да чтоб потерял мужество! Как бы не так!

Абель берет носовой платок, кончик которого высовывается из грудного кармана отца; Абель хочет взять его на минутку, ему попала в глаз соринка. И когда Оливер получает обратно свой носовой платок, он чувствует, что он стал тяжелее двумя кронами.

И вот Оливер уходит.

Удивительно, как он воспрянул духом! Это посещение кузницы принесло ему пользу, у него опять есть деньги в кармане, завтра воскресенье, погода наверное будет такая, что можно будет выехать в море,— о, дела еще поправятся! К обеду он приносит детям сласти, вечером он отправляется на ловлю.

Приходит ночь, и он не является домой; наступает новый день, а он все не является; нет, это для него обычное дело; он пускает лодку по течению, ловит себе рыбу, высаживается на сушу, стряпает, ест и спит. Ничто на свете не может сравниться с этим чудесным, бездельным и беспечным житьем!

Рассвет над морем и островами дышит каким-то уединением вечности, далеко на суше торчит несколько голых телеграфных столбов, он слышит удары приходского колокола за городом, настраивается на кроткий лад, вкушает мир и тишину. Рассвет не располагает к беспутным выходкам, к брани и богохульству; нет, мир чудесное местечко, например; поев остатков вчерашней

рыбы, он чувствует себя сытым, удовлетворенным и говорит:

— Слава богу, наелся, спасибо! — Люди не каждый день говорят это!

Не все рассветы похожи на этот; нынче воскресное утро, с колокольным благовестом и службой; в воздухе носится шум и гудение, море лежит у его ног, это его родина, его колыбель, волны набегают одна за другой, наступают на него и отступают, в отдалении они превращаются в пену, в небытие. Как это все красиво! Подумайте только, в молодости он взял билет в лотерею и выиграл скатерть! Потом он спас корабль в полной оснастке... Вот что сделал Оливер Андерсен!

Он опять спит, это так приятно — есть и спать. Солнце высоко стоит на небе, и день, и место как раз по нем; он наконец решает серьезнейшим образом поехать на Птичью Гору, далеко, за пароходным фарватером; сегодня он это сделает, на тех вон уступах наверное есть гагачий пух! — О, господи, — вздыхает Оливер и отплывает от берега. Набожность его, пожалуй, немножко деланная, как вообще набожность человека; он не может ведь пренебрегать своими интересами!

Он знает, что каботажный пароход был уже в городе и поплыл дальше, — стало быть, он никого не встретит; он один в своей экспедиции, без свидетелей. Да и что бы ему сделали свидетели? Оливер выехал на рыбную ловлю, на это он имеет право!

И на этот раз, как почти всегда за последние двадцать лет, в жизни Оливера есть что-то противозаконное, что-то, стоящее на грани законности, а иногда и немножко за нею.

Теперь он ворует гагачий пух уже не с прежним искусством и осторожностью; он не может пройти мимо этого ценного товара, чтобы не присвоить его, но он хватает, набивает мешок пухом разного качества, плохим и хорошим, нечистым. Тут что-то случилось, что занимает его больше пуха! Оливера никогда не покидает дух авантюры, и авантюры не оставляют его. Что же теперь с ним случилось?

Здесь птицы не сидят в гнезде, яиц не имеется, птенцы уже вылупились, Оливеру представляется прекрасный случай порыться. Он исследует ближайшее гнездо, запускает поглубже руку и нащупывает бумагу — бумагу, письма, что это еще может быть? Почта, письма с марками, вот чудо! Он разгребает пух в стороны, и собирает письма,

это страховая почта, попадаются разорванные конверты с сургучными печатями, есть и невскрытые заказные письма, он пробегает некоторые адреса и узнает адресатов; это жители его города и других мест; он вскрывает одно заказное письмо и находит кредитки, вскрывает еще несколько и находит кредитки...

Сказка!

Все утро возится Оливер на Птичьей Горе; жадность напала на него, он перерывает гнездо за гнездом, время от времени находит искомое и складывает в кучу, с каждой минутой он делается все богаче. В сумерки он отъезжает с Птичьей Горы со своей добычей, гребет как пароход, никого не встречает по дороге, свидетелей нет! Он причаливает к тому же острову, который дал ему приют в прошлую ночь.

До самой смерти сердце Оливера будет биться при воспоминании об этом приключении! Вначале он ошибочно предположил, что письма были потеряны. Он вспомнил, что в газетах иногда приводятся случаи, когда нечестные почтальоны вскрывают ценные письма и бросают их потом в море. О, но голова Оливера привыкла думать надвое, он очень скоро уловил истинную связь событий,— это были остатки ограбленной некогда страховой почты!

Конечно, ни он, ни другие не забыли великого события; у семьи почтмейстера были причины помнить о нем, Оливеру тоже памятна была пачка кредиток из этой эпохи. Но кто бы ни был вор, Адольф ли с корабельным сундуком, который именовал себя Ксандером, второй ли штурман, сын почтмейстера, или другой кто-нибудь — каким же он оказался ослом, разиней, жалким новичком! Судьба послала ему беспримерный случай, а он использовал его как дурак; стоял в темноте и отбирал лишь самые толстые письма, а прочее бросал в море! Он вел себя как мот с богатым наследством, действовал так, словно для него не было ничего святого! Оливер злится на него за это! Вот, бессловесная тварь, гагары, оказались умней и понятливей человека, они сберегли сокровище! О, гагары так умны, они устилают дно своих гнезд всем, что им попадет, они устлали его ценной почтой...

Оливеру уже не хочется есть, не хочется спать, он сидит, пока светло, тщательно сортирует свою почту, полученную с моря, почту, посланную небом и богом; засовывает деньги во внутренний карман, собирает письма и сжигает их. Потом он пускает пепел по ветру и уничтожает все следы своей работы. Он-то доволен своей

рыболовной поездкой; но кой-какие люди также могут быть довольны тем, что письма сгорели!

И вот он гребет домой, гребет как пароход! Это утро понедельника, Оливер расслаблен после недавнего возбуждения, и мало говорит в семье; но он необыкновенно ласков и благодарит за кушанья, у него ведь в кармане есть деньги и он может задать себе обед с лакомствами! Потом он уходит в склад.

В течение дня он не раз прокрадывается за мешки и бочки и пересчитывает свои кредитки, разминает их, разглаживает углы. Время от времени приходят покупатели, они участливо смотрят на него — ведь он лишается службы! — и высказывают ему свое сожаление; Оливер отвечает:

— Ну, бог мне как-нибудь поможет!

Внутренне же он пыжится невероятно! Он опять стоит на чердаке пакгауза с деньгами во внутреннем кармане, и все больше и больше чувствует себя мужчиной; на нем сильно поношенное платье, но характер его делается все тверже, он сам, все существо его становится уверенней, он переживает новый подъем! И неудивительно, Оливер опять на вершине, на гребне, и это видно лишь ему одному; он делается даже заносчив, он задирает нос! Это не значит, что он готов бежать в отель, корчить из себя богатого англичанина, требовать лошадей и коляску для поездки в окрестности — нет, преувеличений не надо! Когда он шел домой обедать, на него напала блажь — ему захотелось зайти в несколько лавок и заплатить старые долги; но он вовремя опомнился. Господи, его богатство вовсе не неистоимо, он не может купить себе на него пожизненной ренты, о нет; но его, благодарение богу, достаточно, чтобы бедняга приободрился духом. Вот он что-то проворчал, стукнул костылем об пол и сказал про себя:

— Я не дам вышвырнуть себя из склада, я пойду к консулу!

Первым делом он накупил для семьи лакомств, совершенно незнакомых им сластей в коробках и серебряной бумаге; с этой минуты засахаренные груши не являются уже диковиной и сказкой в семье Оливера! Он здорово ошеломил людей, никогда не ездивших по белу свету, и Петра подняла его на смех: уж не нашел ли ты клад во время последней поездки за рыбой? Он наделал еще больших чудес: он не был так осторожен в своих тратах, как в предыдущий период богатства, он

накупил разного платья и обуви решительно всем в доме, себе он купил полный костюм, и кроме того галстук с серебряными блестками! Возможно, что это был дамский галстук, но он, конечно, не мог представить его себе на чьей-нибудь шее, кроме своей! Потом он пошел к ювелиру Эвенсену, который торговал также псалтырями, очками и музыкальными инструментами, и у него купил блестящий медный рог, в виде украшения на стену. И сказал Петре:

— Смотри же, чтоб он у тебя блеснул!

Вот он покутил, сделал покупки, теперь можно было подумать о консуле. Он заранее хвастался, как он пойдет к нему: ему нужно кое-что сказать этому человеку, он ему покажет, он скажет ему, кто он таков!..

Но он начал откладывать день за днем и час за часом; он задумывался и, видно, не совсем был в ладу с собой. Тем временем он получил письмо; оно было от адвоката Фредриксена, члена совета министров Фредриксена; тот писал ему, что так как он теперь стал министром, то он желает ликвидировать все свои дела в родном городке, и потому Оливер должен либо заплатить свой просроченный долг, либо выбраться из дома, который он занимает!

Тут Оливер перестал колебаться; он дождался времени, когда можно было запереть склад, и отправился к доктору.

Может быть, он задумал грязное дело; но он пошел к доктору!

В кабинете доктора была та же убогая и ненаучная обстановка, как и прежде, ни скелета, ни микроскопа, зато на стене висел недоконченный портрет самого доктора. Ведь он несколько лет тому назад позировал для одного начинающего художника, сумасброда, который хотел написать портрет «врача» — это внесло разнообразие в убогую жизнь доктора, это даже польстило его честолюбию! Но в один прекрасный день художник решил, что он может прервать работу, чтобы пойти в один дом по соседству и малевать там крест ордена Даннеброга на чьем-то сюртуке; это доктору не понравилось, нет, так не годится, благодарю покорно, он не дурак, он не кто-нибудь тоже! И доктор сказал:

— Возьмите вашу мазню и убирайтесь!

— Сожгите ее, — ответил художник.

— Сами сожгите вашу мазню! — ответил доктор, — я вам не уборщица!

Тогда начинающий художник, он же малярный подмастерье, обиделся и промолвил:

— Это не мазня, это портрет, он почти готов, он очень похож на вас!

И первое время портрет стоял вверх ногами в углу; но с течением времени доктор переменял свое мнение о портрете; он не такой был жалкий идиот, чтобы не понять колкости в словах художника, но в них могло быть и зерно правды! Он принадлежал к поколению, которое сомневалось во всем, кроме науки; он верил в закономерность природы, вплоть до теории о карих глазах; но его поколение было не трусливое, оно умело глядеть пустоте и безутешности жизни прямо в глаза, и не хныкать. Конечно, доктор считал себя ученым человеком, сверхчеловеком для мелкого городишки, прокурором и судьей; но в хорошие минуты он готов был признать над собою превосходство других современных натур: одного англичанина, одного француза, нескольких немцев, голландца; о, доктор был вовсе не глуп, он мог иной раз согласиться, что портрет еще не готов, и повесить на стену недоконченный портрет своей особы. Это был образ действий, достойный великого человека!

Чего хочет от него Оливер?

Подвергнуть себя освидетельствованию.

Что он хочет освидетельствовать?

Бедро и всю прилежащую область. Он хочет констатировать свое увечье и получить медицинское удостоверение.

Зачем это? Нет, доктор не желает этого! Оливер мог согласиться, когда доктору этого хотелось; теперь доктор не хочет:

— Ступай себе домой!

Оливер изумлен. Что это значит, неужели доктору уже не нужно его бедро? Он объясняет, что он с семьей попал в бедственное положение, и письменное свидетельство от врача может оказаться ему полезным.

— Нет, иди домой!

Оливер запускает руку во внутренний карман, и говорит, что он заплатит; с истинно матросской щедростью он объявляет, что охотно заплатит сто крон.

— У тебя есть сто крон? — спрашивает доктор.

— Да, есть.

При последнем вопросе у доктора появляется на щеках легкий румянец. О чем это он вспомнил? Вспомнилось ли ему некоторое обещание, данное жене насчет кольца

с бриллиантом, обещание юных лет, до сих пор не исполненное? Легкий румянец тонко разлился по его лицу и сделал его красивым. Напяливая очки, он произносит:

— На тебя свалилась бочка с ворванью и изуродовала тебя?

Оливеру немножко совестно за свою прежнюю ложь:

— Это собственно была не совсем бочка с ворванью, но... Я собственно упал верхом на балку, и меня раздавило. Потом меня оперировали.

— Раздевайся!

Оливер раздевается, доктор щупает, мнет его и говорит:

— Что же ты хочешь узнать от меня? Что ты не отец? Это ты сам знаешь! — И он не может удержаться от того, чтобы поважничать немножко: показать свою непогрешимость! — Это, впрочем, никогда не было для меня тайной! — Оливер ловит его на слове и просит выдать ему письменное удостоверение.

Зачем это? Нет, доктор не хочет этого.

— Сколько детей у твоей жены?

— У нас пятеро детей... у нее пятеро детей!

— Теперь мое удостоверение окажется запоздалым; карие глаза уже потухли в городе. Одевайся!

— Но мне это нужно не для карих глаз! Совсем нет! У нас есть еще двое детей с голубыми глазами!

Доктор, этот уездный сплетник, так и наострил уши; но он не хочет сам задавать вопросов, он говорит даже с видимым неудовольствием:

— Я не хочу вмешиваться в твои семейные дела!

Оливер, впрочем, ничего нового и не мог бы ему сообщить; доктор, наверное, уже сам слышал кое-что, и ему легко было теперь разыгрывать полное отсутствие интереса к делу. Он написал удостоверение и прочел его вслух. Оливер кивнул головой в знак того, что этого достаточно, и полез во внутренний карман.

Доктор останавливает его:

— Ты не посмеешь, конечно, предложить мне плату за эту работу?

— Почему же? — растерянно спрашивает Оливер.

— Нет!

И Оливер уходит.

Он отправляется к Шельдрупу Ионсену и просит отпуска на несколько дней.

— С удовольствием! — отвечает Шельдруп Ионсен и довольно прозрачно намекает, что Оливер в сущности и совсем не нужен в складе. Оливер уходит домой. Дома он объявил семье, что собирается совершить поездку; и когда домашние всплеснули руками, он напыжился и дал понять, какой бесконечно малый пустяк для него поездка, — для человека, который привык ездить по всему свету!

— Я только наскоро съезжу в Христианию, — сказал он, — к одному члену правительства; у меня в кармане есть бумажка, которую я намерен показать ему!

О, как темно выразался Оливер, и как он бахвалился! Он пришел к Абелю и спросил его:

— Не нужно ли тебе чего-нибудь из Христиании, каких-нибудь машин или инструментов, — так ты только скажи!

— Да, — ответил Абель, — вот если б ты мне купил железную линейку с делениями! Здесь ее не достанешь, а мне трудно без нее.

— Ты получишь линейку! — с достоинством промолвил Оливер. — Самого лучшего сорта, — добавил он, — какой только сможет найти для тебя отец!

И Оливер уехал.

Через несколько дней он вернулся в отличнейшем расположении духа. Ведь он и в самом деле добился, чего хотел, от своего мучителя!

Само собою разумеется, что он постарался разыскать своего сына Франка; Оливер не делал различий между детьми, и пошел искать Франка. Поиски оказались тщетными, Франк где-то был учителем в большой школе; университет он, впрочем, окончил, больше ему нечему было учиться. Зато Оливер мог передать поклон от министра Фредриксена, чудесного малого, милого и разговорчивого, как всегда, он выдал ему расписку, и они расквитались за дом. Семья голову потеряла от радости. Оливер нацепил новую шляпу набекрень и говорит:

— Мне это стоило всего нескольких слов!

Семья сгорает от любопытства, засыпает его вопросами. Оливер нем, как рыба!

Оливер и в прежнее время устраивал иногда дела единым духом, у него была своя особенная манера, мрачный взгляд, который он потихоньку отводил от пола и дополнял словечком, полным зловещего смысла. В нем тогда проявлялась какая-то испорченность, какая-то извращенная подлость, пред которой невольно склонялся противник. Впрочем, на этот раз он не пустил в ход

грубостей против своего кредитора, и не грозил ножом. Что он ему сказал? Пустяк! Вечером, уже в постели, он уступил необузданному любопытству жены и передал ей свой разговор с членом совета министров; о, что это была за парочка, Оливер с женой! Они без всякого стеснения говорили об этих делах; время от времени Петра похваливала его за удачный ответ и говорила:

— О, ты это умешь!

И Оливер расплывался от удовольствия.

Что же он, в самом деле, сказал? Он объявил, что, по его мнению, было бы в порядке вещей, если бы член совета министров без шума простил ему долг, если бы министр просто подарил ему дом — ему, Петре и детям!

— Детям? Они ведь выросли! — сказал министр.

— Не все! Не те двое, что с голубыми глазами! Одна из них совсем еще маленькая...

— Вот как?

— Маленькая! Совсем крошка, например! А министру столько приходится теперь думать за короля и правительство, министру нужно написать расписку за дом. Что мы квиты...

— Квиты? Нет!

Оливер выкладывает на стол свое свидетельство в знак того, что он инвалид. Что ж, министр прочитывает бумагу, возвращает ее и не понимает, какое она имеет отношение к нему.

— Нет, — говорит и Оливер, — ведь министру приходится подумать о многом... Поэтому ему некогда помнить о доме в родном городишке, а лучше списать его со счетов на вечные времена.

— Да почему же это?

Оливер поднимает глаза с полу и смотрит на него:

— Иначе члену совета министров придется обо многом подумать!..

Вот какой разговор вели они!

Начал ли министр догадываться, что его репутация подвергается опасности? Словом, он не нашел для себя возможным находиться в деловых отношениях, из-за какого-то домишки, с инвалидом и калекой; что скажет его избирательный округ, что скажет его город? И он написал расписку!

В течение некоторого времени Оливер жил и дышал своим триумфом, и не скрывал удовольствия, которое он ему доставил. У него еще были деньги, хотя он немало потратился на далекую поездку, на экипировку семьи, на

медный рог, на лакомства, то да се; но у него еще были деньги, и настроение его было настроением человека, воспрянувшего духом. Одно только оставалось без перемены,— именно, его отставка от склада: при первом же уведомлении он должен будет покинуть его. В этом было его несчастье, оно в конце концов доконает его и заставит его склонить свою выю!

В один прекрасный день Оливер замыслил дерзкое и грязное дело, и пошел со своим свидетельством к консулу. К самому консулу! С министром Фредриксенем дело пошло гладко, Оливер может повторить опыт: это, правда, было последнее дело, на которое он решился, но раз нет других способов...

Он никогда еще так низко не падал в собственном мнении; он бы пощадил консула Ионсена от разоблачений; хотел теперь, как и раньше, сделать так, чтобы веселые карие глазки не отуманивались. Но что же ему делать? Скоро он останется без куска хлеба, консул может еще настолько принять участие в горе и радостях Оливеровой семьи, чтобы сохранить пост кладовщика за калекой! А что может за это сделать Оливер? Все! Он мог бы служить консулу ширмой, о, ничто не может сравниться с преданностью его к своему галантному патрону, он может уступить ему свои права, быть его сторожевым псом, быть сторожем его гарема...

Он пошел к консулу.

Это ни к чему не привело. Увы, консул и двойной консул был уже не прежний; он отдыхал, был уволен в отставку, власть перешла в руки сына, старый столп был повергнут. Даже по внешности консула Ионсена видно было, что теперь он — нуль; он поседел, исхудал, и даже сюртук его как будто был нечищен. Если бы люди не знали дела, то можно было подумать, что он один из всех последовал приглашению, напечатанному в газете, и стал набожен! Разумеется, он еще оставался консулом двух стран, и писал донесения своим правительствам; брюшко у него по-прежнему было круглое, но кроме этого? Теперь это был только Шельдруп да Шельдруп; мимо отца люди проходили по дороге к сыну, даже не говоря ему в чем дело; консул в последнее время даже слышал, как его называли Ионсенем с пристани, так-таки и называли! Таковы люди! Что случилось с экипажем «Фии»? — спрашивали они. Правда, были матросы, которые лично отсутствовали десятками лет, но их семьи получали ведь их жалованье от пароходовладельца до

сего дня! Теперь все они погибли, пошли на дно моря, и разве в этом, в конце концов, виноват Ионсен с пристани? Вначале консул пробовал объясняться, приводил резоны; но стоило ли бороться с таким невежеством? Они не давали ему слова сказать, перебивали его, ворчали! Прошли те времена, когда можно было барствовать, имея лишь толстую золотую цепочку на жилете!

В Христиании Оливеру повезло,— здесь сорвалось! Консул выслушал его, и было почти жалко смотреть, как внимательно консул слушал его и делался все более беспомощным; право, Оливеру даже не пришлось показать ему медицинского свидетельства!

— Я ведь не плохо обходился с тобой и твоими семейными,— сказал консул,— теперь я ничего не могу для тебя сделать, не могу больше ничего сказать, будем надеяться на лучшие времена...

О, это было воистину больно слышать верному слуге!

Оливер затем надумал идти к этому мошеннику, к самому Шельдрупу, и показать ему свой кулак! Поможет ли это? Без сомнения! Недаром же он прозывается Оливер Андерсен! Но внутренний карман его так отошал, а душевная твердость соответственно так ослабела, что он пропускал день за днем, не принимаясь за дело; и однажды вечером Шельдруп объявил ему, что он должен передать ключи от склада приказчику Бернтсену.

Для него это не было неожиданностью, но все же грубо и больно поразило его; он не успел даже вовремя запастись дешевым кофе и крупую, теперь семье его остается хоть пальцы сосать!

Время идет, проходит целый месяц, тяжелый месяц; дома Оливер говорит лишь самые необходимые вещи, а больше ходит по улицам, на нем во всяком случае еще уцелел его приличный костюм. В доме теперь неудобно, дети бледнеют, рог висит на стенке нечищенный, даже бабушка дуется и вздыхает, она совсем лишена кофе! Оливер отрезывает:

— На кофе ты можешь получить из кассы!

— Я так уже стара, лучше бы мне лежать в сырой земле! — говорит бабушка.

В одно утро семье пришлось как-то особенно круто, не было даже чашки горячего кофе к завтраку. Петра приходит от колодца; она, пожалуй, немножко оживилась в компании других женщин, но Оливер хранит молчание. Ему кажется, что пора уже провидению вмешаться; но провидение явно занимается лишь сельными кринами и

власами, которые еще не сосчитаны на голове. Петра, словно под чьим-нибудь посторонним внушением, говорит:

— Хотелось бы мне знать, что если бы я пошла и переговорила с Шельдрупом?

Оливер не отвечает на это ни слова. У него исхудалые щеки, никогда еще на его лице не было такого вялого и безжизненного выражения, как теперь, ничто его не интересует. Придя в обеденное время с улицы, он бросает себя самого и костыль на стул и насмешливо говорит:

— Это не ты ли хотела пойти к Шельдрупу?

Бедная Петра не подготовлена и только отвечает:

— Да...

— Но ты ведь не пошла!

К ней возвращается самообладание, и она приводит возражения:

— Сегодня?

Не может же она пойти так, с места в карьер! Ей нужно еще кой-что постирать себе, она в неприличном виде!

Когда она сутки спустя приготовилась и принарядилась, она, черт возьми, стала такая хорошенькая бабенка! Оливер залюбовался красиво изогнутой линией ее рта, извивавшейся вверх и вниз, как в галопе; ему следовало расцеловать его, но он был безжизнен, как истукан. Как она умела прихорашиваться!

Ее визит к Шельдрупу Ионсену ни к чему не привел; это кремень, деревяшка, Шельдруп выпроводил ее, ему не нужен Оливер, он не имеет средств кормить его — не будем лучше говорить об этом! О, Шельдруп, наверное, не забыл некоторой оплеухи, которую Петра закатила ему в молодости; теперь он жених и мелкая душонка, он совсем не похож на своего отца, который не раз показывал свою щедрость.

Стало быть, исхода не было; Оливер до такой степени взвинтил себя на яростный лад, что сам отправился к Шельдрупу! Это был роковой шаг, который имел для него лично весьма неприятные последствия. Не помогла ему прежняя манера намеков и туманных запугиваний, и косых взглядов исподлобья! Шельдруп оказался крепким малым с современной закалкой и каменным сердцем. Если кто-нибудь думал, что этот человек испугается скандала, так он ошибался; вопрос был лишь в том, мог ли скандал принести выгоду; в данном же случае он мог быть спокоен; что бы ни случилось, его фрекен Ольсен останется при нем!

Оливеру нужно было действовать умненько, а он потерял самообладание и поднял крик.

— Потихе! — грубо предостерег его Шельдруп. Оливер швырнул на стол свое драгоценное медицинское свидетельство, и Шельдруп Ионсен взял бумагу, прочел ее и спросил:

— Что это значит?

— Я не отец! — промолвил Оливер.

— Да, но каким чертом это меня касается? — со смехом молвил Шельдруп.

Этот торгаш и не подозревал, какая страшная опасность ему угрожает! Пошлость и позор слов калеки произвели на него, по-видимому, самое поверхностное впечатление, он все усмеялся. Оливер пал духом и струсил, как обыкновенно; он наговорил того, чего не следовало, упомянул о своих пятерых детях, повторялся, толковал о карих глазах, красивых глазках, карих глазках...

— Пошел вон! — проговорил Шельдруп.

— Карие глаза...

— Я что сказал?!

Оливер окончательно потерял свою выдержку; но это упорное непонимание совсем воспламенило его необузданную натуру:

— Смеяться нечего! У кого это в городе карие глаза, а?..

— У меня! — прервал его Шельдруп, и еще пуще захохотал.

— Не вы, это вы хорошо знаете! Какие у вас глаза, это не важно! Но какие у других глаза!..

— Ну, вот что,— сказал Шельдруп и встал.— Доктору и на этот раз не будет корысти! Бери его бумажонку и убирайся! Довольно шуток!

ГЛАВА XXXI

Не прошло нескольких дней, как в городе заговорили о том, что Оливер не просто одноногий, а совсем особенный калека; он ходит с докторским удостоверением, что его дети — не его дети. Что это за новая напасть? Слух дошел до самого Оливера при посредстве столяра Маттиса.

Не угодно ли, еще этого позора не доставало! Как могла обнаружиться эта глубоко хранимая тайна? И может ли вообще сохраниться какая бы то ни была тайна? Она просачивается сквозь стены, камни говорят о ней, все

немое начинает громко вопить; молодой купец бросает ее, быть может, людям, как остроумную шутку!

Столяр Маттис кается сейчас в том, что он заподозрил невинного человека в отцовстве ребенка, которого родила Марен Сальт; он человек прямодушный и неотесанный, он хочет искупить несправедливость, он встречает Оливера на улице и здоровается с ним за руку. Оба останавливаются в этой невероятной встрече, Оливер ничего не замечает.

— Да,— говорит Маттис,— я хотел с тобой поздороваться! А ты извини за то, что я был к тебе несправедлив! — Он выражается как можно осторожней, и некоторое время речь его настолько непонятна, что Оливер стоит, не чая никакой беды. О, этот столяр Маттис, он чудак, но славный парень! Он не помнит того, что Оливер дурно поступил с ним, что он выманил у него пару дверей, надул его с золотым кольцом, в известной мере даже выманил у него Петру; он думает только о том, чтобы загладить свою вину, он не может успокоиться со вчерашнего дня, с той минуты, как он услышал, до чего Оливер...

— До чего я — что?..

— Да, что ты такой инвалид, и оперировался...

Оливер выпучил на него глаза и говорит наконец:

— Как, ты это знаешь?

Почему бы Маттису не знать этого? Весь город говорит об этом; Марен Сальт пришла вчера с этой вестью от колодца; она распространяется с прикрасами и новыми деталями, это не так уж трагично, это скорей даже смешно, ужасно смешно! И эта Петра, которая сама добывала себе детей — это не всякая баба умеет, хи-хи-хи!

Маттис не очень распространяется; но он показывает свое сострадание к калеке и роняет пару слов насчет того, что как мол это прискорбно, что жизнь так жестоко поступила с ним.

Оливер стоял перед ним, понутив голову; он совсем растерялся и не мог решить, отрицать ли ему факт или признать его. Он признал его, потерял весь свой форс и промолвил: — Да, это так...

При этих словах у столяра как бы бремя с души скатилось, словно ему лично что-то мешало, пока он не узнал правды! Вспомнил ли он в это мгновение о каком-нибудь совершенно личном деле? Он говорит Оливеру:

— Да, да, бедняга, уж как ты несчастен! Но я тебе вот что скажу: никто из нас не ведает ни дня, ни часа своего, все мы в руках у судьбы. Вот на днях ребенку попались в руки спички, и он поджег стружки в мастерской! Ведь он мог сгореть! Между прочим, он, Маттис, начинает мастерить кровать для Абелю... Он нынче приходил заказывать кровать, она должна быть готова через две недели.

— Ну? — сказал Оливер, — Абелю?

— Абелю! Он женится! Удивительно, как быстро молодежь растет, вырастает прямо на глазах! Но и люди постарше тоже в руке providения, — говорит Маттис, и несет всякий вздор. И так как Оливер не отвечает, то столяр выпаливает:

— Стыдно сознаться, но я сам женюсь!

Оливер рад увильнуть от собственных дел и заняться чужими, и с изумлением спрашивает:

— Ты?

— Да, лучше не спрашивай! Но это решено и подписано, — кивает столяр. — А что же мне делать, скажи на милость? Марен не хочет отдавать мальчика, а я, дурак, привык-таки к нему немножко! Я не то, чтобы уж так привязался к нему; но когда ребенок зажигает в стружках спички и устраивает пожар, то он ведь может сгореть, это всякий знает! Он постоянно возится около меня, а по воскресеньям берет меня за руку — веди его гулять! Удивительный мальчишка! Это не значит, что я не мог бы без него обойтись; но эта Марен не хочет с ним разлучаться...

Следует длинный панегирик, и Оливер спрашивает:

— Так ты берешь Марен?

— А что мне делать? — отвечает столяр. — Да, это Марен!

Но замечательно, что столяр Маттис, уходя, не имеет такого вида, чтобы женитьба на Марен была для него особенным несчастьем; он словно торопится скорей попасть домой. Кто его знает; может быть, с его души спало какое-нибудь бремя, какой-нибудь камень на совести? Может быть, столяру помогло сознание, что Оливер был ни при чем в появлении мальчика Марен на свет? Кто бы это ни был, но во всяком случае не Оливер!

Калека идет домой. Разумеется, все сторонятся его, все прячутся от него, он так изувечен, так не похож на человека, что противен всем. Может ли он надеяться на чей-нибудь доброжелательный взгляд? Отвислый жир его

просто ужасен, весь он производит отталкивающее впечатление, его припрыжка по улице непереносима для глаз. Он несовершенно даже как четвероногое, он не просто калека, а пустой, холощенный калека! Когда-то и он был человеком...

Вон он, заковылял! Даже столяр Маттис, и тот отошел от него с облегчением!

Проходя мимо доктора, он проникается подозрением, что, может быть, это он выдал его тайну, и хочет потребовать его к ответу. Нет, это дело конченное! Он видит доктора в окне и проходит мимо; может быть, ему пришло в голову, что он на ложном следу. Не мог он этого сделать.

Он ковыляет через всю улицу, доктор стоит у окна и смотрит ему вслед. Это — зрелище, это — проблема! Доктор размышляет над ней и оценивает ее по-своему. Этот хромушка что-то такое проделал, какой-то вихрь его завертел, какая-то молния поразила, он разрушен! Городские остряки как-то называли его медузой, морским студнем, — прозвище, которым наградила его, кажется, его собственная жена; доктор находил его глупым! Медуза не разрушается! Она как плевок, как слизь, она без очертаний, без содержания, но это плевок, изумительно богатый красками, это сказочно красивая яичница-глазунья! А что такое Оливер? Он ходит вприпрыжку по земле, он курьез, ребус! Каждый может видеть, чего не хватает его телу; вон он хромает, тело его не в порядке, это только часть тела прихрамывает по улице; чего ему еще не хватает, о том слыхала докторская служанка у колодца! В один прекрасный день он лишился общего содержания жизни людей, это случилось быстро, одним взмахом ножа; с того дня он живет вне человечества, он утратил свою реальность, он стал измышлением. Слишком сильно сказано? А как же — разве он не разрушен? Сделайте милость, исследуйте его еще раз; его пустота настолько несомненна, она настолько полна, несчастье многократно усугубило ее, оно превратило бывшего матроса в нечто несуществующее. Он погиб, его гибель была подстроена мастерски; она неслыханно хорошо выполнена, и выполнена с намерением!

Подождите малость! Так как он жив, то он еще не весь израсходовался; есть еще остаток, попрыгивающий на деревянной ноге и с клюкой, из него можно составить руну, какую-нибудь древнееврейскую букву. Зачем смерть пощадила его? Спросите об этом провидение! Он — останок,

у этого останка есть остатки, ступайте, отнимите их, у него еще целая нога, он наделен даром слова! Когда-то он был человеком...

Ему оставлено было так много, что у него нашлось мужество влачить бремя существования. Хорошо сделано! Он прибегал к уловкам, чтобы сделать это; он лгал, чтобы спасти аппараты, симулировал мужчину, ходил в длинных штанах. Чтобы замаскировать свое калечество, он выдумал историю насчет бочки с ворванью; он придал случайному событию огромную важность, и называл его роком. Он должен был реабилитировать себя посредством обмана; притворяться, что он такой, как и все, что он соизмеримая величина; несчастный применял собственный масштаб и должен был заставить себя поверить в него! Может быть, в этом даже было его маленькое счастье, — другого ведь у него не было! Стало быть, все — искусство! Все это было искусство! И неплохое искусство!

И вот наступил день, когда искусство раскрылось, когда его разоблачили; докторская служанка слышала у колодца неудобь сказуемые вещи: Петра удостоилась посещения месяца и от него получила детей, хи-хи! Сам же Оливер был хозяином; он двадцать лет у всех на глазах стоял в складе и разыгрывал мужчину.

Другого подобное несчастье заставило бы уйти в себя, искать уединения, искать бога, — для чего же в таком случае ниспосылаются испытания? А Оливер что? Ничего подобного! Это была какая-то закоренелость! Докторша внесла сплетню от колодца в дом, доктор говорил: «Это остроумно; неужели люди не могут понять его нерасположения к благочестию именно теперь, когда он погублен? Разве он не разуверился в своем боге? Разве легко ему примириться с этим капризом Провидения?»

И вот доктор стоит и провожает калеку глазами, он разговаривает вполголоса сам с собой и припоминает слова своей braveй молодости, в его жизнепонимании не произошло никаких перемен:

— Чисто восточное бесплодие и тучность! Но было ли хоть так? В биологии неизвестны животные с деревянными членами! И к чему в сущности привело то, что он так искалечен? Он только выиграл на этом! Инвалид он, правда, но ветеран! Он все время стоял прямо, на собственных ногах, на своем колышке, и стал ни мало, ни много, как своего рода столпником! Хо-хо, это провидение людей!

Но вот Оливер скрывается в отдалении.

Оливер приходит домой. Он не находит в Петре ничего особенного, но она, наверное, все знает; так как тон ее речей обыкновенный, в нем снова просыпается жажда жизни, он чувствует что он голоден, настроение его поднимается; на столе он видит еду, приготовленную, быть может, не для него, но ему извинительно наброситься на нее. Это холодная каша.

Чтобы предупредить сцену со стороны Петры, он вдруг начинает рассказывать, что да, Маттис таки женится наконец!

Петра, конечно, замечает его хитрость и не сдается сразу, она говорит: — Ну, ты забрал всю кашу, вот что!

Молчание.

Впрочем, Оливер сообщил большую и удивительную новость, и Петра спрашивает:

— Ты разговаривал с Маттисом?

— Да.

— Кого он берет?

Оливер молчит некоторое время и отвечает:

— Кого он берет!— и умолкает снова.

— Меня это ведь не касается,— говорит Петра и возвращается к каше,— вот миска опустела, а что будет с ужином?

— Он берет Марен!— говорит тогда Оливер.

Петра не сразу поверила этому, осознала это; на нее нападает смешная ревность, и она бранит Марен, плюет на Марен: из бабы песок уже сыплется, старушенция с ребенком! О, как это было на руку Оливеру, что она клюнула на эту новость! Она отвлекла внимание жены от всего другого, его оставили в покое с его личными неприятностями.

Это длилось не один только день; его оставляли в покое целые дни и недели, от него не требовали объяснений. В этом было провидение или чья-то высшая воля; каждый раз, как он опасался, что вот зайдет речь о его позоре, что-нибудь являлось на помощь и выводило Оливера из затруднений! Первое — Абель женился. Это было большое и серьезное событие, поглотившее внимание всей семьи Оливера.

Абель женился наконец!

Он не взял именно ту, которую хотел, а девушку за городом, рослую и ласковую Ловизу, дочь одного хуторянина. Она была одних с ним лет; это была молодая чета, у обоих были крепкие руки и сильная, широкая грудь.

С Абелем, с этим сумасбродом и беспечным парнем, могло быть еще хуже! Он все время говорил о женитьбе; но когда отец сообщил ему, что он остался без куска хлеба, Абель решил действовать! Он поразил этим отца, но на этот раз напал на верную мысль.

Кольцо украсило не ту, для которой оно предназначалось. Нет, Лиллелидия не пожелала взять кольца, когда он принес его; она сама купила себе кольцо с красным камнем, она не хочет носить гладкого кольца!

— А чем оно плохо? — спросил Абель. — Я сам сделал его, и не думаю, чтоб оно разошлось по спайке!

Она поблагодарила, но не пожелала взять кольцо, люди подумают, что она помолвлена! Впрочем, у Лиллелидии сейчас и времени нет, она должна бежать к Карлсену из полиции, упражняться на пианино; дома у нее была какая-то спешная работа, она стояла у зеркала и приводила себя в порядок. Каблуки ее башмаков были ужасно высокие, словно их архитектор строил.

Абель говорил о своем деле на свой обычный манер, может быть — с некоторым страхом и застенчивостью; разумеется, он балагурил и мешал шутку с делом. Что ж она себе думает, теперь они оба достаточно взрослые, у него есть кузница; он хотел бы знать, наконец!

— Что знать? — Она его не поняла, совсем не понимала, Абель объяснился, и только по своей деликатности, по присущей ему манере, он говорил без обиняков.

Лиллелидия просит его перестать; ей и так хорошо, она не желает выходить замуж, она занимается шитьем для модного магазина!

Да. Но Абель хочет решить дело теперь! У него есть паровой молот, он кой-чего накупил для дома, они будут жить в старой половине дома, у него; Маттис делает кровать...

Лиллелидии, право, это как будто показалось уж слишком, у нее даже словно исказилось лицо после того, что она услышала! Она наклонилась вперед и посмотрела на него.

— Что ты смотришь на меня? — спросил Абель.

— Да, — отвечала Лиллелидия. — Не понимаю, как ты мог это подумать! Подумать, что я этого хочу!

Они еще поговорили, — говорил и он, и она; ей просто охота хохотать над ним, сказала она. Разговор пошел всерьез; он получил наконец более чем ясный ответ; не обошлось без того, чтобы она ему не намекнула, какие у него отец и мать.

Делать было нечего, он замолчал.

Так как она была не бессердечное существо, но девушка, как всякая другая, то она невинно заговорила о разных других вещах: вот, ее брат Эдеварт едет домой, он написал им из Бостона! Абель вежливо ответил и опять замолчал.— Ну, объявила она, теперь она готова, и ей пора идти! Абель встал и направился к дверям; чтобы не быть окончательно раздавленным, он пытался еще пошутить и промолвил:

— Что ж, я зайду в другой раз!

Он не зашел в другой раз.

Он пошел бродить за городом, самый легконогий мужчина во всем городе шел самой тяжелой походкой! Он пошел, конечно, бродить для того, чтобы рассеять свою кручину и горе, он ускорял шаг, шел все под более сильным давлением, словно ему грозило лишение наследства, если он не поторопится! О, он был и оскорблен немножко, и взбешен немножко!

По дороге он остановился у одного хутора. Об этом хуторе у него сохранилось детское воспоминание: когда-то он тут стоял маленькой Белкой, подкрадываясь к фуфайке, висевшей на бельевой веревке, наемкнул на то, что ему немножко хочется есть, и наконец пожелал купить чашку кофе, и получил отказ на том основании, что он еще слишком мал! Бедная Белка! Но при этом он обещал, что вернется к этим бесстыжим людям, когда вырастет! И вот, он вернулся!

На дворе стоит девушка, он ее немного знает, он видел ее иногда в городе, и раскланивался с нею, и она тоже знает его, это ясно; она что-то чересчур усердно занята точильным камнем, она покраснела; ее зовут Ловизой. Разумеется, то, что Абель сейчас стоит перед нею, не простая случайность! Немного таких вещей, которые происходят совершенно случайно; он стоит здесь потому, что им пренебрегли в другом месте, в досаде он побежал сюда!

И молодая Ловиза, пожалуй, тоже не совсем случайно вышла из дому в этот момент; во всяком случае, едва ли она признала бы, что так уж необходимо столь внимательно присматриваться к точильному камню! Они вступают в беседу, и так как Абель по-прежнему не любит обиняков, то он кое-что изъясняет ей. Она скупно отвечала ему, в ней была заметна какая-то неуверенность, и ротик ее был как гнездышко, полное улыбок. В этот первый раз они принимают некоторые решения; во второй

раз больше; а в третий раз все! Абель торопится сбыть кольцо с рук!

Теперь видно, что Абель с самого же начала обзавелся семьей опасных размеров: жена, родители, две сестры и бабушка. В первые недели после свадьбы пришлось-таки немножко круто, но Абель и его паровой молот работали хорошо, кроме того его отец взялся помогать ему в кузнице, у него было невероятно сильное туловище, и он особенно хорошо управлялся с опиловочной машиной. Дело шло отлично. К этому присоединилось еще то обстоятельство, что Синичка уехала из дому; одним ртом стало меньше. Смотрите, эта маленькая Синичка переехала с Карандашом в его собственный уютный домик на Пригорке, и покинула Абеля, этого чудака, который украдкой поплакивал весь день!

Отец, чтобы утешить его, сказал ему:

— Все вы, дети, были так милы друг с другом. И какие из вас выросли дети!

— Ей нечего было так спешить,— отвечал Абель.

Дело не могло остановиться на одной сестре, у Абеля была еще одна, брюнеточка, та, что с фамильными глазами и овальным лицом. Она могла бы еще пожить некоторое время дома, полагал Абель; но это желание его споткнулось об Эдеварта. Эдеварт приехал домой и забрал ее, этот матрос не бывал дома много лет, теперь он вернулся домой взрослым парнем и забрал брюнетку! Впрочем, из этого вышел даже маленький роман: во-первых, она была так молода, почти что никакого возраста; а во-вторых, Эдеварту пришлось преодолеть сопротивление своей матери и своих сестер.

— Что за черт! — говорил он в бесконечном изумлении.— Если у нее «такая» мать, и вовсе нет отца — какое мне до этого дело? — Они изложили ему дело обстоятельной, просветили его как следует; но Эдеварт был моряк, человек свежий и притом влюбленный! Плевать ему было на сплетни и на все, чего нельзя увидеть невооруженным глазом,— объявил он.

Ему рассказали, наконец, что, вот, и Лиллелидия не захотела войти в эту семью и взять Абеля.— Но она должна была сделать это! — ответил Эдеварт.

Ничего с ним не поделаешь!

На свадьбе обе семьи сошлись, и Абель увиделся с Лиллелидией. Они даже немножко поговорили между собой.

Она не спросила его прямо, забыл ли он ее, но как будто ждала от него объяснения, почему он не пришел еще раз, как сказал. Речь ее дышала большим смирением и грустью, основной тон ее настроения был религиозный. Она иногда кашляла и хваталась рукой за грудь, он должен был, конечно, заметить, что теперь она стала другая; она серьезно смотрела на жизнь, поплакивала по ночам, а может быть и харкала кровью, и проч. в этом роде. Разумеется, она явилась на свадьбу разряженной в пух и прах, несмотря на то, что покорила судьбе,— и временами слезы подступали к ее глазам; о, она еще так молода, она не совсем еще отреклась от мира! И вдруг она вынула из-за корсажа что-то такое, что Абель принял за блонды или другое в этом роде, но что оказалось носовым платком; она смела им пыль с носков своих ботинок!

О, Лиллелидия знала себе цену: кто вздумал бы улыбнуться ее влажным глазам, тот сейчас же увидел бы эти глаза жесткими и сухими, она умела давать отпор!

Эдеварт с женою не остались в городе, нет; они даже не остались на родине, они уехали в Америку. Когда Эдеварт увидел, как обстоит дело дома: куча взрослых сестер, которые сидят, вышивают да важничают,— он тотчас же убрался прочь! Абель, сестры ради, энергично отговаривал молодую чету от этого шага; он сказал сестре, что в таком случае они больше не будут видаться. Ему это все равно, сказал он; но это было нехорошо по отношению к остальным! Уговоры его не помогли, сестра хотела следовать за мужем.— Ты не хочешь подумать, что мы будем тут без тебя беспомощны! — огорченно говорил он ей.— О, этот Абель, вся семья высмеяла его, все взрослые женщины, присутствовавшие здесь!

Но все эти, мелкие свадьбы и мелкие происшествия не имели ведь никакого значения для городишки, и для других людей, а только для семьи Оливера. Для нее это были большие и важные события, может быть, они были к лучшему для нее. Оливер не мог пожаловаться; в последнее время его не преследовали, одно событие случалось за другим, и не приносило ему вреда; напротив, он ежедневно обедал за большим столом Абеля, и время от времени по-прежнему получал деньжонки на карманные расходы. Чего еще мог он желать для себя? На него никто не косился, Петра помалкивала. Право, уж коли на то пошло, ему жилось вовсе не дурно, у Оливера

опять воскресло его мужество и сопротивляемость. Когда на самого двойного консула обрушился удар, этот великий человек упал духом и бросил все. Испушенный почтмейстер однажды ночью получил удар в свою неискушенную мыслительную способность, и с той минуты онемел и поглупел. Старый, почтенный кузнец Карлсен не выносил беды, не вынес подозрений на сына, который ходил с японскими картинками на теле; он превратился в ребенка, седого, хнычущего, благодарил господу за добро и зло, и ждал смерти.

Оливер был человек более стойкой породы; он был не так тонок и чувствителен, но зато беззаботнее; он был создан из настоящего человеческого материала, он выносил жизнь! Кому пришлось глубже нырять, чем ему? Но маленький успех, удачное воровство, умелая плутовская выходка — и вот он опять довольный человек! И что ж он, стоит с пальмой победы в руках? Оливер поездил по белому свету, он видал пальмы, в руки их брать не стоило!

Дни идут за днями. Дома у него царит мир, уличные мальчишки не преследуют его своими криками, но Олав с лужайки пристаёт к нему при всяком удобном случае. Оливер был бы почти счастлив теперь, если бы Олав оставил его в покое; но тот спросил его в присутствии посторонних о некотором медицинском свидетельстве. Оливер пошел домой и сжег свидетельство, предав его проклятию. Он, насколько возможно было, старался избегать своего мучителя; и на его счастье при нем оказалась пачка табаку, когда он встретил его в следующий раз. Роли теперь абсолютно переменялись, превосходство было на стороне Олава.

— Мне жалко тебя,— говорит Олав.

— Как тебе показался табачок? — спрашивает Оливер.— Неважный?

Олав — воплощенное бессердечие; он спрашивает:

— Правда ли то, что о тебе рассказывают?

Оливеру следовало опасаться, что он зря отдал пачку табаку, но он бьет на то, что это не последняя; он служит теперь в кузнице Абея, и может помочь табачком старому приятелю.

Подошел рыбак Иорген и вынужден был дослушать гнусности Олава; Оливера особенно оскорбило присутствие именно этого свидетеля, ведь он в былые времена так важничал перед Иоргеном; кроме того, они теперь породнились. И что ж, Олав вложил хоть каплю такта и

чуткости в свои нескромные вопросы? Разумеется, нет! Напоследок он задал такой вопрос: зачем Оливеру платье? Да разве он не может ходить голым по улице? И Олав пошел дальше, грубый и нахальный.

Он оставил Оливера в невероятном бешенстве. Иорген-рыбак промолвил:

— Стоит ли беспокоиться из-за такого Олава? — Но беспокоиться, должно быть, было о чем, калека мечет злобные взгляды и некоторое время стоит, не трогаясь с места и потрясая кулаками.

— Я ему это припомню! — говорит он и мотает головой.

Стоять и беседовать с пристарелым Иоргеном было бесполезно, Оливер вдруг заковылял прочь от него и вышел на главную улицу города. Счастье, что был вечер субботы, а он не позволил себе опуститься, на нем был приличный костюм! Вот он остановился перед магазином обуви и смотрит на дамские ботинки; он подзывает к себе первых попавшихся прохожих и объясняет им, что вот мол, какие высокие ботинки, они далеко выше икры; Оливер стоит перед ботинками и несет неприличный вздор. Вдруг какой-то молокосос бросает Оливеру унижительное прозвище; раздается хохот, Оливер умолкает. — Да эта обувь слишком дорога для простонародья, — говорит кто-то за его спиной. Это опять рыбак Иорген. Оливер приободрился, вновь начинает распространяться насчет ботинок, прикрывающих икры, и несет вздор; но это лишь слабая тень его прежних разговоров с Иоргеном, черт его разберет, он, должно быть, охладел! В полном отчаянии он громко кричит:

— Ну, я иду в танцевальный зал!

Он принарядился, купил одеколону и так надушился, что от него несет всю дорогу; накупил сластей, накупил тонко нарезанного сала, которое он рассыплет по полу танцевальной залы. Он что-то затеял, хочет что-то выкинуть в гоме и молнии, господи помилуй, что-то вроде любовной истории с похищением девушки, — шире дорогу! Бог его знает, может быть он расхрабрился от малодушия; жизнь его так жалка, что стала каким-то шутством, он бледен, он весь в поту, он вынимает носовой платок и оттирает свои щеки, прихорашивается. Потом он отворяет дверь и вваливается в зал.

Казалось, глаза всего зала устремились на него: — Оливер, — говорят они, — Оливер, ха-ха-ха. — Он отыскивает скамью и садится. Танцы продолжаютя.

— Убери свой костыль!— предостерегает его молодой матрос, и в вальсе проносится мимо.

— Зачем он кричит? Я в свое время не кричал в танцевальных залах,— говорит Оливер своим соседям. У него скоро появляются слушатели: — Да, ты наверное был большой гуляка когда-то, Оливер! — говорят они. Он кивает головой и начинает рассказывать о гамбургском «Альказаре», о нью-йоркском «Зеленом Роге», он плясал с женщинами всех рас и оттенков кожи, и ухаживал за ними, он вертел малаянок и китаянок, индусок и негритянок, он целовал одну индусскую девушку — так очаровательнее ее он в жизни своей не видел!..

Оливер бледен, пот льет с него градом, этому вялому человеку нелегко взвинчивать себя.

Ему говорят: — Ну, теперь-то ты уж не думаешь о таких вещах? — а он отвечает: — Почему бы нет? — Такая пламенная натура, как у него, не может сдерживаться вечно; он не выдержал и вот пришел в танцевальный зал.— Сюда, ребята; хотите отведать редкостных сластей?

Он раскритиковал танцы — это ничто в сравнении с танцами его времени; вон тот хлопец, что кричал, совсем не умеет вальсировать; разве пятками танцуют? Танцуют носками; и даму надо поднимать так, чтобы не причинить ей увечья... Что это за жалкие танцы! Оливеру самому хотелось пойти и показать им, как это делается.

Слушатели заливаются смехом.

— О,— говорит Оливер,— он это умел! — Взгляните вот на икры у этой, о, это хорошие икры, например, мне бы их только ухватить. Вы бы уж увидели, как оно пошло бы! Тахи-тахо! Эй, возьмите вот, насыпьте сала на пол! — говорит он и протягивает кулек.

— Сало? — говорят они.

— Сало. У нас всегда было с собой сало, и мы его разбрасывали по полу, когда он делался шероховатым и сухим.

— Вот как! — говорят они и разбрасывают сало.

Теперь пошло все гладко, музыка с пляской сливались в одно, вальс откалывали так лихо, что только икры мелькали, так и пошло все кругом. Удивительно, как хорошо действовало сало!

— Ты знаешь свое дело, Оливер! — говорят они и проявляют к нему внимание — ведь он калека.

— Меня учить нечего,— отвечает он. И от этой маленькой похвалы в нем опять что-то прорвалось, он

опять гикнул, напыжился, и стало похоже, что он вот-вот запоет гимн воскресения. О, какой веселый вечер! — Вон та девушка, с пышной грудью, пойди и скажи ей, что я хочу с ней поговорить!

Девушка подошла, Оливер протянул ей сласти, сделался светским человеком до кончиков пальцев и промолвил:

— Сделайте милость, фрекен, освежитесь! — Девушка засмеялась, взяла немного сластей из мешочка и упорхнула. Подошла другая, многие подошли; Оливер, бледный и потный, оделял их сладстями и говорил, как он их жаждет... — Ты? — говорили они, взвизгивая, и хохотали над ним. Да, это верно, он чувствует неукротимую страсть! Что с того, что он хромой! Он все же годен... Посмотрели бы вы, как одна сестра милосердия в Италии вешалась ему на шею и хотела выйти за него. От поцелуев и нежностей просто покою не было!..

Танцы продолжают своим порядком. У Оливера вид изнуренный, но он отбивает такт так громко, что в зале стон стоит; а когда этого ему показалось мало, он принялся еще отбивать такт своим костылем. Парни начали уже злиться на него, отчасти из-за того, что он поднял шум, отчасти же за то, что он отвлек от них девушек своими сладстями и легкомысленной болтовней. Его просили сидеть смирно и не безобразничать; это не помогло, он еще пуще расшалился: да, он здорово развеселился нынче вечером; когда-то он был ух какой резвый на девушек, и они этого не скрывали, если их спрашивали; ведь это все знали! Сделайте одолжение, фрекен, еще немножко сластей...

— Бух! — одна парочка покатила на пол. Поднялся визг, крики. За первой полетела вторая, и поднялся содом. Что это за свинские шутки, обо что это они поскользнулись? Сало! Откуда оно взялось? Платья страшно запачкались от сала и пыли, танцоры приступили к Оливеру и стали ругать его на чем свет стоит. Калека ответил, что он сам в свое время плясал на сале, им нечего учить его, ни вправо, ни влево! Ему предъявили требование уплатить за платье, которое он испортил; называли его идиотом, свиньей, ругательски ругали! Оливер тут вспомнил о своем достоинстве, он напомнил им, кто он такой — Оливер Андерсен; он управляет складом консула Йонсена чуть не в продолжение человеческой жизни — как им не стыдно так держать себя с почтенными людьми?

— Вон! — кричат ему. И каких только прозвищ ему не надавали, все ему высказали: что он какой-то осколок человека, пустой пузырь от колбасы, холощенный баран! Еще духами вздумал обливаться; он, наверное, весь прогнил, от него несет, как из стойла!

Разумеется, эта авантюра Оливера пошла гулять по городу. Особенно злились женщины у колодца, они понять не могли, как это такое полное убожество не делается набожным и не ходит в церковь; для кого же в таком случае существуют церкви?

Но замечательно, что и на этот раз Оливера не потребовали к ответу дома; Петра словно окончательно махнула на него рукой. Правда, он наполнил дом своими ужасными духами, когда пришел домой; и Петра несомненно уже отступила шага на два назад, но битва не состоялась. Опять вмешалась высшая сила: пришло известие, что филолог Франк, сын их, назначен временным директором высшей народной школы в их городе!

В этот момент никто не посмел явиться к Оливеру и сказать ему, что он бездетный мужчина. Его дети были чистым вымыслом, но они все-таки принадлежали ему; в общем во все время их детства и возмужания он был для них чем-то; он и дети знали друг друга, они называли его отцом и между собою, и в присутствии посторонних лиц; теперь Франк вернулся в родной город ученым и большим человеком! Оливер полон гордости за сына. Петре и бабушке по-прежнему хотелось бы видеть его пастором, но это дело конченное! Оливер промолвил с достоинством:

— Вот это сын!

ГЛАВА XXXII

В разных местах города развеваются флаги: у Грюн-Ольсенов, у двойного консула, у всех консулов и у Генриксена на верфи. Это — в честь Шельдрупа Ионсена и фрекен Ольсен, которые ездили в Христианию, обвенчались там и нынче возвращаются домой новобрачными. Пароход уже показался, когда взвился первый флаг; это на бриге консула Гейберга, который стоит в углу пристани и грузит ворвань. На пристани стоит уже немало народу, а другие подходят. Из консулов отсутствует только Давидсен, хитрый мелочной торговец,

постоянно прячущийся от великих людей. Уездного судьи и доктора также нет, но Франк, молодой школьный заведующий, пришел. Он недавно женился на Констансе Генриксен с верфи, но жены его нет здесь. Франк не последняя персона на пристани, он в отношении филологии стоит выше всего города, всего этого приморского города; он большой человек, до пресыщения умудренный в иностранных грамматиках и языках, как в школьной специальности. Он стоит в сторонке, возле горы бочек с ворванью, которые будут погружены на бриг; так как он в новой сюртучной паре, в которой он венчался, то ему нельзя приближаться к бочкам с ворванью; но с другой стороны, они укрывают его от сквозняка, разгуливающего по набережной. Он чувствителен к сквозному ветру! Отец его стоит на другом конце пристани и не пытается приблизиться к сыну. Он знает, как себя вести!

Оливер опять в полосе подъема. На складе у него нет уже высокого поста, но зато он работает в кузнице, вместе с Абелем, весь день напролет; иногда он опиливает железо, а изредка выезжает в море и ловит в бухте мерланов. «Мой сын кузнечный мастер», говорит он, «мой сын школьный директор», говорит он. Он опирается на своих сыновей и упивается их общественным положением.

Таким образом, он сыт и доволен; и если бы имел полный покой, то не жаловался бы на судьбу. Само собою разумеется, что мальчишки не дразнят на улице отца своего школьного директора; само собою разумеется, также, что Оливер не ходит больше в танцевальный зал и не устраивает скандалов. Опасаться приходилось только Олава с лужайки, да и он как будто приостановил военные действия. Воистину, день проходит за днем, сегодня так же, как вчера! Оливер тоже не самый последний на пристани; сколько есть таких, которые ниже его! Все эти добрые люди, что они такое? Заурядные личности, именитости мелкого городка, скучнейшие фигуры в крахмальном белье! Оливер — нечто особое! На этом месте, где почти все равны, он представляет собой нечто вполне самобытное. Жертва жизненных бедствий, — правда, изжеванная и выплюнутая жизнью, выброшенная на берег и оставленная на нем, это правда, — но с бессмертною жаждою жизни! Городская газета опять вот опубликовала свою программу, и пригласила читателей пройти душеполезный курс благочестия; это делается и

в других местах, добрые люди нуждаются в этом, эпоха зовет к этому, короче говоря, надо начинать с конца. Оливер же ничего больше не начинал, не его это дело начинать что-нибудь; он стоит там, где он поставлен, человеческая мысль не подавляет его, женщинам у колодца не удастся обратить его в свою веру. Разумеется, жизнь, судьба и бог — чертовски возвышенные вопросы, и страшно необходимые вопросы! Но их разрешают люди, которые учились читать и писать, а что Оливеру делать с ними? Если бы такой мозг, как у него, вздумал заняться этими вопросами, так у него ум зашел бы за разум, Оливер не мог бы продолжать свою работу, не наслаждался бы едой и сладостями, не годился бы для того, для чего он годится.

Пусть другие пытаются прыгнуть выше себя!

Да, он доволен, об этом свидетельствует его мина! Он довольно браво держится на своей ноге и деревяшке; кажется, что у него за спиной стоят могущественные покровители — стоит их только позвать! И люди вдруг опять начинают его уважать: он отец школьного директора, — думают люди.

Вот причаливает пароход. Новобрачные стоят у поручней, окруженные своими родными, на пристани и на пароходе потихоньку обнажаются головы. Фрекен Фиа не боится своего кричащего красного костюма; она начала проявлять интерес к комнатным собачкам, и сейчас держит на руках белоснежную курчавую болонку с шерстью, закрывающей ей глаза, и голубым бантиком на шее. Она изящна, как всегда, говорит вполголоса, безупречная дама и контесса; если у нее были какие-нибудь желанья, так это — быть здоровой и жизнедеятельной, иметь возможность еще долгое время поклоняться своему искусству и иллюстрировать индийские сказки. Так как она хорошо воспитана и безобидна, то жизнь наверное не откажет ей в этом.

Ее мать фру Ионсен вновь образумилась и уже больше не страдает под бременем скорбей. Она так же желта лицом, как и прежде, но на ней опять огромная шляпа. Ходит слух, что с пароходом «Фией» и банкротством была просто устроена махинация, что фру Ионсен притворилась бедной три недели подряд, а потом оказалась так же богата, как прежде. Крупная, толстая стоит она у поручней борта рядом со своей дочерью; ведь это она своим приданым сделала человека из К. А. Ионсена с пристани; она по совести заслуживает большой шляпы,

она стоит рядом с Грюн-Ольсенами, и как бы говорит: — Да, мы породнились с ними, но мы не очень водимся с ними! Это просто позор, что ее муж потерял голову и продал дачу этой семье! На что этим людям дача? Они были там только один раз с тех пор, как купили ее, и не поехали туда в коляске, а пошли пешком, — и консул Ольсен, и его жена! Они удовольствовались этой пешеходной прогулкой, потому что в Христиании они подарили дачу новобрачным, это был их свадебный подарок. На что дачи людям, которые не умеют пользоваться ими?

Но вот идет сам Ионсен, двойной консул, единственный из всей компании в цилиндре. На руке у него плед, он подвигается быстро; может быть, он задержался с расчетами, или же позабавился немножко с буфетчицей, — кто его знает; двойной консул крупный человек и многим управляет, у него много отделений! Поверженный столп, он-то? Нет, вновь водруженный столп! Его опять расценивают в миллион или около того; в Христиании он носил на груди орден Даннеброга. В самом ли деле с «Фией» и страховкой было подстроено, — и как это обернулось? Во всяком случае, консул Ионсен опять процветает, он уже не отдыхает, ему опять есть что сказать себе и другим. В минуту раздумья этот человек однажды завернул к старому почтмейстеру, чтобы обрести мир; позднее и еще в более тяжелую минуту он с тою же целью заглянул к старому кузнецу Карлсену; никто после этого не может сказать, что он равнодушный человек, что он не прошел своего курса; но это не принесло ему облегчения. С течением времени он сам выпутался из своих затруднений, и ему уже не нужна была ничья помощь. На что она ему? Вспоминая о почтмейстере и его смирении, он невольно улыбался. Почтмейстер искал да искал покоя; он отыскал крохотную звездочку и стал руководить ее мерцанием; свет был невелик, это было не солнце и не дневной свет, но кое-что при нем можно было разглядеть. Простая нетребовательность! Консул Ионсен не искал, это требовало слишком большего напряжения, он просто спрашивал, где можно на рынке купить покой.

И вот он стоит на пароходе; он беззаботен и даже больше того; о, он, кажется, в состоянии был бы пережить еще три или четыре сокрушительных банкротства! Ловкий, черт побери, парень этот двойной консул; он должен так или иначе кольнуть своего напористого сына, и поставить

его на место; «мы», говорит он о предприятии, «мои служащие», говорит он! В отношении людей к нему также произошла быстрая перемена; на него опять посматривают, а не проходят мимо; в сущности, публика все время интересовалась вовсе не сыном, а отцом, его она любила. Он — отображение ее же качеств, он такой же пошлый, как она, добродушный человек без серьезности и постоянства, но в дюжине — первый номер, почетное лицо города, круглый и богатый, у него наверно скоро будет другая «Фиа»...

Консул Ионсен также единственный человек, громко приветствующий публику, стоящую на пристани. Это он может сделать, ибо он знает, кто он такой.

— Не видишь ли ты кого-нибудь, кто мог бы взять вещи?— говорит он Шельдрупу, и тотчас же идет своей дорогой. Может быть, он забыл что-нибудь в своей каюте, или хочет попрощаться с кем-нибудь? Дьявол его разберет!

Наконец, на пристани показывается Олав с лужайки, он держится молодцом. Заспался он нынче, что ли, или играл в карты до последней минуты? Он берет сходню и бросает ее на пароход так, что слышится треск; лошадь, на которой новобрачные должны уехать на дачу, вздрагивает, бросается в сторону; он приветствует матроса, стоящего у фалрепа, такими словами:

— Эй, принимай сходню, и не стой тут, как безногая вошь!

Олав последние два дня кутил, и не боится поважничать. Кутеж у Олава далеко не похож на вкушение вина в церкви, он пьет столько, сколько в него может влезть. Теперь он пришел на пристань в лоск пьяный и задорный, совсем блаженным дурнем, прямодушным, с трубой, может быть, голодный, но своенравный и сильный. Он разговаривал с людьми надменным тоном, говорил грубости и картавил. Что он такое говорил? Слова его были вполне понятны, он не сбивался ни вправо, ни влево. Он притворился, что не заметил Шельдрупа Ионсена на борту, и выразился о нем так:

— Ну, так ты повезешь Шельдрупа в имение?— крикнул он кучеру.— Ловкий парнюга! Спроси его, как это он оборудовал дело с застрахованием «Фии»! Слыхали ли вы такое дело? Шельдруп, востроносый, сам застраховал пароход, а денежки положил себе в карман!

Все, кто стоял на пристани, слышали это. Это были не пустяки, Олав вовсе не выдумывал, он просто высказал

все больше и больше распространявшийся слух. В том, что было сказано о Шельдрупе, не было ничего невероятного, ведь в сущности он все время распоряжался пароходом, отец в этом ничего не смыслил, — так разве Шельдруп не мог внести страховки за какой-нибудь срок? Он имел к этому полную возможность! Этим же объяснялось, что Шельдруп приехал домой, сел на отцовский стул в конторе и стал выписывать кредиторам чек за чеком. Наконец, это делало понятным, почему отец вновь занял свое место в конторе, когда дело опять воскресло. Может быть, именно поэтому консул вдруг воспрянул духом и зашевелился; он кольнул своего современного сына, он опять взял в свои руки все, чем он захотел руководить. Ничто так не подымает человека, как победа!

Новобрачные сходят на берег с руками, полными букетов, садятся в коляску и с поклонами отъезжают прочь, уезжают проводить медовый месяц.

Олав не умолкает.

Провожатые один за другим сходят с парохода, Олаву делается скучно, он покидает сходню и идет к переднему люку посмотреть на товары. Несколько ящиков выгружают на сушу. Олав не упускает случая отпустить несколько гадостей, он такой же как всегда; не то чтобы зол на самом деле, но он чувствует себя сильным и безответственным, расположенным изумлять присутствующих своей вольной речью и смешить их.

Вот стоит Франк, новый школьный заведующий, тощий и ученый в своей специальности. Олав обращается к нему:

— Не стой здесь и не пачкай бочек! — орет он.

Так как теперь он сострил, то публика покатывается со смеху. Оливер слышит этот крик, обращенный к сыну, эту глубокую непочтительность, и подходит ближе на несколько шагов, словно намереваясь вступить. Он поднимает свой мрачный взор, и видимо затаил против Олава какие-то неласковые намерения.

Но Олав взвинчен своим триумфом и продолжает:

— Ты стоишь посередке моей квартиры, разве ты этого не знаешь? Да, в этом углу мы с Олавом с лужайки лежим по ночам под брезентом! Если придешь сюда вечером, я и тебе дам приют!

Новая наглость!

Франк закладывает руки за спину, проявляя полное равнодушие, и потихоньку идет вдоль набережной. Он не

отвечает иначе, как в виде поучения; а на пристани он не учителствует ведь!

Олав не оставляет его в покое, он смеется ему вслед и говорит:

— Можешь мне поверить, я уважаю тебя! — Он завидел его отца, Оливера, и кричит ему, сообщает ему, что вот идет сын, сын Петры и луны. Оливер слышит это, стоит и смотрит в землю. Олав, впрочем, отдает должное Петре; он хвалит Петру, он знал ее еще девчонкой, всегда она была хорошенькая, слишком хорошая, чтобы попасть в беду. Вот, вышла она за Оливера, и сразу стала с ним вековой вдовой; бедняга Оливер, ведь с тобою каши не сварить! Мне, право, жаль этого беднягу; ты ведь только для того и годишься, чтобы сидеть бабой и вдевать нитку в иглу! Петра же...

Олав видит, что к пристани спускается доктор, и в своем хмелю не задумывается тотчас же приплести и доктора к своей болтовне, он никого не шадит:

— Петра не то, что докторша, которая не хочет иметь детей, нет! Петра, когда не может получить ребенка дома, отправляется в город и получает его! Вот как оно было; ей все равно, что будут говорить в молельне! Может быть, лучше, чтобы женщины не имели детей? Какого дьявола! Ходить, как докторша, плакаться да горевать? Сколько угодно плачь, по мне хоть в море ее утопи, она лучшего не заслуживает! Не так ли это было, доктор? — нагло кричит он, — что ты тогда ходил за ней с тряпкой и вытирал ее слезы с полу? Да, теперь ты отворачиваешься и не хочешь слушать! Но я скажу тебе, пока ты не ушел, что женщинам, которые не отдают своей крови и жизни, лучше пойти и похоронить себя заживо, лучше им...

— Убирай сходню! — кричит капитан.

Олав преувеличенно высоко поднимает вверх сходню, немножко относит ее в сторону и бросает ее так, что пристань сотрясается. Пароход отчаливает.

О, но в этот день Олав с лужайки в последний раз трепал языком на почтовой пристани и показывал свою силу; ночью он умолк навеки, гейберговы бочки с ворванью обрушились на брезент, под которым он спал, и раздавили ему грудную клетку! Печальный конец постиг его; да он, правда, и не мог ожидать лучшего. Против Олава с лужайки многое можно сказать, но и его ведь преследовала, пожалуй, судьба; он был как конь, погибший во время укрощения...

Люди, находившиеся на бриге, услышали, правда, ночью шум; но потом все затихло, и они опять заснули. Когда рассвело, они нашли Олава. Он был немножко приплюснут, и на его губах и у носа виднелась кровь; но рот его не был разинут, зубы оказались плотно стиснутыми. Вообще же он казался усталым и спящим — он был, конечно, мертв; но на лице его не было заметно выражения гнева или насмешки, оно словно говорило: «Не будите меня, пока мы не приедем на место».

Слух о катастрофе быстро разнесся по городу, он дошел и до Оливера.

Замечательно, что Оливер в эту ночь выходил из дому; он тоже в полной невинности слышал шум, произведенный падением бочек, но не придал ему никакого значения. Оливер не желал такого конца своему доброму товарищу, говорил он; в сущности он был ведь славный человек. Было почти трогательно слушать, как он тепло выражался о бедняге, который даже не мог вдеть нитки в иглу; но это объяснялось тем, что Оливер сам имел интересный опыт по части того, что значит катастрофа; и этот опыт подсказал ему теперь хорошие слова...

Опять перед обывателями встали вопросы о жизни, судьбе, боге, и они талантливо обсуждали их. Этот случай показал, какой тонкий канат — жизнь; а мы танцуем на нем! Олав умолк, но другие трепали языком. Впрочем Олав с лужайки был слишком ничтожной особой, чтобы его смерть могла нагнать на людей продолжительное раздумье; люди устали вечно смотреть в пушечное жерло, и опять пустились в пляс.

О, эта учительница танцев, она продолжала приезжать в город и плодить тщеславие и грех! Словно ее побуждало к этому внутреннее призвание! Иногда дела ее шли плохо, но она выдерживала характер: чего только не сделаешь ради искусства! Когда «Фиа» затонула несколько времени тому назад, и городок присмирел, у нее не оказалось учеников, и она уехала очень-таки в тощем виде; но когда она вернулась, к ней нахлынуло вдвое больше клиентов. Таковы люди, эти земные создания; ничто не в состоянии переделать их!

Да, таковы люди, они пляшут себе, все равно, является ли к ним ночью смерть, или проходит мимо — до следующего раза.

Иные нетерпеливые люди любят вмешиваться в дела провидения и проводить реформы; они составляют планы нового мира, весьма отличного от нынешнего, составляют

программы, уничтожают зло. Это они делают не из высокомерия, они не задирают головы и не каркают в небо, нет; нет, они просят и вкрадываются в симпатии, они стоят и перелистывают ноты, и украдкой нежно нашептывают. Но жизнь не разыгрывается по человеческим нотам!

Кто добросовестнее заслужил право на свою программу, чем старый почтмейстер? Но кто еще так жестоко в ней обманулся, как он? Правда, некоторое ограбление почты дало ему возможность превратиться в идиота на весь остаток жизни; но, как идиот, он не сознавал ведь блаженства быть таковым! Или, может быть, он продолжал испытывать удовлетворение, хотя и на новой основе; чувствовал ли он, видел ли он глубже, чем прочие люди? Он, как видно, жил в ином мире, заодно с ветром и звездами, как часть целого, в общем с ними потоке. Пища? Да, пищу и он принимал, но до какой степени ему было безразлично, из чего она состоит, и дают ли ее ему, или нет!

Это была какая-то тень, какой-то призрак в платье, какой-то покойник; единственным признаком жизни в нем было то, что он мигал на свет, вдыхал и выдыхал воздух, и чихал, когда простуживался. Больше он ни на что не годился. Был ли он из-за этого самым несчастным созданием в городе? Об этом он не говорил, он просто бормотал что-то.

Людям, которые его видели, казалось, что он стал спокойным и сосредоточенным, вид у него был такой прямодушный и естественный, словно он хотел сказать: — Я не сижу здесь просто как идиот какой-нибудь; у меня есть для этого причины, я нашел себя!

События идут своим чередом. Может быть, почтмейстер был прав, утверждая, что жизнью управляет великий и справедливый мозг, находящийся вне бытия. В городе немало нашлось людей, которые начали придерживаться этого взгляда. Как же иначе можно объяснить, что в общем-то дела шли довольно недурно? Вот, например, верфь опять была пущена в ход! Были и другие радостные события; но то, что верфь опять заработала, было большим счастьем для города; Каспер опять получил занятие, у всех рабочих явился заработок. Сам-то Генриксен не сделался в один миг богаче, но он получил щедрую помощь; оказалось, что двойной консул Йонсен может еще кое-что сделать, когда он сидит на своем стуле и руководит предприятием!

Жизнь идет своим ходом, все вертится, а многое оборачивается даже хорошо. Что лучше всего — мы не знаем. То, что одни поднимаются, а другие падают — это составляет часть общего механизма, это входит в его работу. Свеча мирно горит в подсвечнике; кто-то отворил дверь — и свеча погасла. Кто виноват?

Будем терпеливы, яко древо в лесу, говорит кузнец Карлсен. Он судит по-своему, он человек неинтеллигентный, поэтому он говорит мало, но считает необходимым благодарить бога за каждый прожитый день. В последнее время он, кажется, перестал уже разбираться в своем старом ремесле и в самых обыкновенных вещах. Они стоят в кузнице и говорят об Олаве с лужайки и о других предметах, и кузнец Карлсен рассказывает, как однажды он нигде не мог достать угля. Он сжег весь свой уголь и вынужден был на несколько дней прекратить работу, — говорит он; в городе угля нельзя было достать, ни у кого не было угля. — Прошло несколько дней — и уголь, слава богу, прибыл; но это длилось бы гораздо дольше, если бы я один нуждался в угле.

— Почему так? — спрашивает Оливер.

— Гораздо дольше, — тихо отвечает кузнец. — Ибо я лучшего не заслужил. Мне была оказана помощь ради других!

Он, очевидно, открыл какую-то глубокую истину; он был так краток и смирен — пожалуй, и глуп немножко, как очень многие мудрецы.

— Как дела? — спрашивает он Абеля.

— Дела хороши.

— А молотобоец твой работает? — шутливо спрашивает он, указывая на паровой молот. — Да, благослови господь тебя и твой молот! — заключает кузнец Карлсен. — Стало быть, у вас все хорошо? — повторяет он.

Он начинает рыться под скамьей у окна.

Абель спрашивает, не ищет ли он чего-нибудь, и хочет помочь ему. Нет, он ничего не ищет, так, пустяки! И, наконец, находит; о, он искал это все время, но делает вид, словно это ничего не значащая вещь, которую он некогда швырнул прочь; это ящичек с разными мешочками и сумочками.

— Что это такое? — спрашивает Абель.

— Что это? Просто валяется здесь!

— Спалить это в горне?

Хозяин пропускает это мимо ушей и говорит:

— Это просто мешочки; у них у каждого было по своему собственному; тут игрушки, которые они выстрогали себе. Да, они очень любили строгать; чаще всего у них получались одни стружки, но иногда получались лодки, иногда топоры, а иногда из щепок выходили и человечки! Мы их потом прятали; это так было важно, чтобы у каждого была своя сумочка! И вот они лежат, как всегда лежали. Я заберу и, конечно, побросаю в печку...

Абель предлагает ему отнести сумочки, но хозяин сам уносит свою драгоценную ношу.

Абель опять принимается за работу. Приходит человек: ему нужно выковать пару новых ободьев на колеса к тачке; у паромщика лопнула цепь, и ее нужно немедленно сварить. Абель сваривает цепь. Он говорит отцу:

— Когда у тебя будет время, ты огладишь немножко оковку! — И всегда этот милый тон, эта уютная речь, никаких приказаний! У отца нет чувства, что он просто стоит тут и околачивается; напротив, он необходим и там, и здесь, он отвечает:

— Я уж выберу минутку!

Оливер опиливает оковку до блеска — это полосы и уголки к сундуку. Это заказ из деревни, где люди желают иметь солидную кузнечную работу на своих сундуках и хранилищах.

Так проходит в кузнице день, проходит в работе и беседе отца с сыном. Сегодня Синичка заглянула в кузницу по дороге в лавки, и их было за беседой трое. Так как на Синичке светлое платье, то Абель встает с угольной кучи, на которой он сидит, и уступает ей место; потом он утверждает, что у нее на лбу пятно и тычет в это место свой палец, запачканный сажей. Отец лезет в карман за зеркальцем.

Хорошо им вместе, никто им не мешает; когда Синичка уходит, без нее делается тоскливо.

Вечером Оливер собирается выехать на ловлю, пошел мелкий дождь — самое лучшее время для ловли рыбы. Абель договаривается с ним заранее и откупает у него рыбу:

— Когда вернешься с моря, повесь хорошую связку рыбы на кухонной двери городского инженера! Что ты хочешь взять за это?

— За это я ничего не возьму! — отвечает отец.

— Ну, смотри же, не стучись и не вздумай потребовать плату у самого инженера! — шутит Абель.

— Но я об этом буду знать,— продолжает он.— Вот тебе две кроны, больше ты не получишь!

Оливер выезжает в море, но отсутствует не долго; часа через два прояснилось, и он возвращается к берегу. Он аккуратно нанизывает рыбу на веревочку и ковьялет с нею в город. Возможно, что Абель знает, куда он направляется. Он проходит мимо городского инженера, прямо к большому каменному зданию с колоннами; кровь горячее воды — он идет к своему сыну, школьному директору, и останавливается перед кухонной дверью. Поплевав, он чистит свои башмаки, они в единый миг делаются невероятно блестящие и новые, а деревянную ногу чистить ведь не приходится. Оливер стучится в дверь.

Служанка в кухне, выходит фру Констанса с верфи; это породная женщина, теперь она в интересном положении. У Оливера есть такт, он умеет держать себя; он снимает шапку и протягивает рыбу. Служанка принимает ее. Фру не чванится, она благодарит за дар, она знает своего свекра, но не предлагает ему стула.

— Ах, если бы у нас эта рыба к обеду была! — говорит она, чтобы что-нибудь сказать. Оливер степенно приосанивается, словно он сам из аристократической семьи, и отвечает: да, фру, поскольку это будет в его слабых силах, он в следующий раз принесет рыбу пораньше.— Нет, говорит фру, он не должен больше приходить с рыбой, она этого не желает, ведь он хромой и прочее там... Оливер дуется при этих словах,— дуется, разумеется, чуть заметно, но в то же время размахивает руками в знак того, что он вовсе не инвалид, он придет!

— Ты ведь слышал, что я не хочу этого? — говорит фру.— И я уверена, что муж тоже не хочет этого! — говорит она. Но Оливер ничего не понимает и настаивает. Тогда фру ничего не остается, как спросить служанку о том, о сем; получив ответы, она поворачивается и уходит в комнаты. Оливер пробует покалякать со служанкой; фру, может быть, пошла за чем-нибудь для него, за куском пирога, вспомнила что-нибудь; ему неприятно уйти в то время, как ее нет. Но и служанка не словоохотлива. Он узнал ее; это девушка из танцевального зала, та, что с пышной грудью, он тогда угощал ее сладостями. Разумеется, теперь он и не заикается о том веселом вечере; нет, здесь в доме Оливер приличный малый; он говорит, что какая это мол чистенькая, чудесная кухня! — О, да! — отвечает девушка.— А что,

заведующий дома?— спрашивает он.— Да, он дома,— отвечает она.— Что он делает — читает, наверное? Этого девушка не знает, она знает только свое дело.

Оливер постоял еще немножко, фру не пришла. Он говорит «Спокойной ночи» и уходит.

Никаких неприятностей, все в порядке, Оливер даже испытывает некоторое чувство облегчения, сбыв связку рыбы. Он не вдается в размышления. Если бы кто-нибудь пришел и предложил ему смерть, он не принял бы ее; о нет, жизнь не так плоха, кажется Оливеру! Не все устроены так, как он, имеют кров над головою, хлеб насущный, жену и детей — и каких детей! Он сделан из прочного человеческого материала.

Он ковыляет домой. Он немножко инвалид, немножко несовершенен; но что такое совершенство? Он как бы отражение, воплощение жизни города; жизнь ползет себе вперед, торопиться ей некуда. Она начинается с рассветом, и длится до вечера; потом люди укладываются спать. А некоторые ложатся под брезент.

Свершается великое и малое, зуб выпадает изо рта, человек из рядов, воробей падает наземь...

СОДЕРЖАНИЕ

Соки земли

5

Женщины у колодца

313

Литературно-художественное издание

Кнут Гамсун

*Соки земли
Женщины у колодца*

Романы

Ответственный за выпуск
Г. К. Джапаридзе

Художественное оформление
Б. М. Кравченко

Редактор
С. В. Хрусталева

Технический редактор
А. М. Короб

Корректоры
Л. И. Коряка, Л. Л. Сикорская

Подписано в печать 3.08.94. Формат 84×108/32.
Бумага типографская. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл.-печ. л. 34,44. Уч.-изд. л. 34,49.
Заказ № 4-478.

«Эй-Ди-Лтд». 121663 Москва,
ул. Большая Филевская, 35.

Оригинал-макет подготовлен в ИПЦ ММП «Борисфен».
252189 Киев, ул. Дружковская, 10.

Отпечатано с оригинал-макета по заказу ММП «Борисфен»
на материалах заказчика на арендном предприятии
«Киевская книжная фабрика».
252052 Киев, ул. Воровского, 24.

- Г 18 Гамсун К.
Соки земли. Женщины у колодца. Романы / Пер.
с норв.— М.: «Эй-Ди-Лтд», 1994.— 650 с.
ISBN 5-85869-042-4

«Соки земли» (1917) — одно из самых монументальных эпических произведений мировой литературы XX века, за которое Гамсун получил Нобелевскую премию. В пустошь, никем не обработанную лесистую местность с удобной землей, приходит человек по имени Исаак и начинает на ней работать. Валит деревья, корчует пни, строит жилье и пашет отвоеванную у леса землю. И так как человек не может жить один, к нему приходит женщина — Ингер. Сначала она нанимается к Исааку в работницы, потом становится его женой. «Соки земли» — история их жизни.

В романе «Женщины у колодца» (1920) Гамсун вывел образ Оливера Андерсена, гротескную фигуру, собирающую вокруг себя события городской жизни и являющуюся ее отражением. С ним, некогда бойким молодым матросом, произошло несчастье: ему раздробило ногу и таз, и он вернулся домой калекой. Так он и проковылял по жизни и городским улицам на деревяшке — ни мужчина, ни женщина, нечто среднее — хитрое, пустое, бесполое существо...

ММП «Борисфен» – Киев, Украина
ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд» – Москва, Россия
ООО «Луан» – Брест, Беларусь

*предлагают оптовым покупателям
собрания сочинений следующих авторов:*

Ф. Купер, 5 томов.

В издание входят произведения:

- 1 т. «Красный Корсар»;
- 2 т. «Пенитель Моря», «Морские Львы»;
- 3 т. «На суше и на море», «Лоцман»;
- 4 т. «Два адмирала», «Блуждающий Огонь»;
- 5 т. «Мерседес из Кастилии».

Э. Триоле, 5 томов.

В издание входят произведения:

- 1 т. «Незванные гости»;
- 2 т. «Душа»;
- 3 т. «Неизвестный и др. рассказы»;
- 4 т. «Анна-Мария»;
- 5 т. «Розы в кредит», «Луна-парк».

В. Ян, 4 тома.

В издание входят произведения:

- 1 т. «Батый», «Молотобойцы»;
- 2 т. «Чингиз-хан», «Спартак»;
- 3 т. «К «Последнему морю», «Финикийский корабль»;
- 4 т. «Юность полководца», «Огни на курганах».

Все книги изданы в твердых переплетах
с припрессовкой пленки или оформлены
тиснением фольгой.

За справками просим обращаться по адресу:

ММП «Борисфен».
252189, Киев-189, ул. Дружковская, 10.
тел. (044) 449-53-97, 443-40-30
ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд».
121663, Москва-663,
тел. (095) 144-17-02
ООО «Луан».
224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.
тел. (01622) 5-57-33

ММП «Борисфен» – Киев, Украина
ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд» – Москва, Россия
ООО «Луан» – Брест, Беларусь

*предлагают оптовым покупателям
собрания сочинений следующих авторов:*

К.Гамсун, 5 томов.

В издание входят произведения:

- 1т. «Дети времени», «Местечко Сегельфосс»;
- 2т. «Соки земли»;
- 3т. «Август», «А жизнь идет...»;
4. «Последняя отрада», «Последняя глава»;
- 5т. «Пан», «Смерть лейтенанта Глана»,
«Виктория», «Мистерии».

Дж.О.Кервуд, 5 томов.

В издание входят произведения:

- 1т. «Бродяги Севера», «Гризли»,
«Казан», «Сын Казана»;
- 2т. «Золотая петля», «Черный охотник»,
«Скованные льдом сердца», «Молниеносный»,
«Охотники на волков»;
- 3т. «Филипп Стил», «Погоня» «Старая дорога»,
«Северный цветок»;
- 4т. «Золотоискатели», «Девушка Севера»,
«В тяжелые годы», «Мужество капитана Плюма»,
«В дебрях Севера»;
- 5т. «У истоков реки», «Долина безмолвия»,
«Лес в огне», «У последней границы».

Все книги изданы в твердых переплетах
с припрессовкой пленки или оформлены
тиснением фольгой.

За справками просим обращаться по адресу.

ММП «Борисфен».

252189, Киев 189, ул. Дружковская, 10.

тел. (044) 449-53-97, 443-40-30

ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд».

121663, Москва 663,

тел. (095) 144-17-02

ООО «Луан»

224013, Брест 13, ул. Дзержинского, 14.

тел. (01622) 5-57-33

ММП «БОРИСФЕН» — Киев, Украина
ТОО Фирма «Эй-Ди-Лтд» — Москва, Россия
ООО «Луан» — Брест, Беларусь

предлагает оптовым покупателям роман
И.В.Головкиной (Римской-Корсаковой)



« П о б е ж д е н н ы е »

Это произведение, ставшее сенсацией минувшего года, называют русским вариантом романа М. Митчелл «Унесенные ветром».

На его страницах читатель встретит благородные и чистые, в своих устремлениях, образы русской интеллигенции, трагическую любовь, драматизм классовой борьбы и дьявольского произвола.

Книга издана в твердом переплете с суперобложкой.
За справками просим обращаться по адресу:

ММП «БОРИСФЕН»
УКРАИНА, 252189, Киев, ул. Дружковская, 10.
Тел. : (044) 443-10-84, 443-10-90

Фирма «Эй-Ди-Лтд»
РОССИЯ, 121663, Москва, ул. Большая Филевская, 35.
Тел. : (095) 146-48-07, 144-17-02

ООО «Луан»
БЕЛАРУСЬ, 224013, Брест-13, ул. Дзержинского, 14.
тел. (01622) 5-57-33



Акционерный коммерческий банк «АВАЛЬ» зарегистрирован Национальным банком Украины 27 марта 1992 года с уставным фондом 100 миллионов рублей. За два года эффективной и стабильной деятельности банка его уставной фонд увеличился в 1000 раз. Среди его главных акционеров — Пенсионный фонд Украины, Министерство связи Украины, крупные частные фирмы.

Сейчас «АВАЛЬ» — это универсальная кредитно-финансовая организация, которая предоставляет широкий спектр банковских услуг: ведет расчетно-кассовое обслуживание, открывает депозитные счета, проводит срочные платежи по Украине и в страны СНГ, оказывает все виды валютных услуг. За короткий срок банк уверенно занял одно из ведущих мест среди других кредитных и финансовых институтов Украины и вошел в пятерку крупнейших банков страны. В Киеве и в перспективных регионах Украины созданы и успешно работают 26 филиалов банка.

«АВАЛЬ» имеет Генеральную лицензию Национального банка Украины на право осуществления операций с валютными ценностями. Установлены корреспондентские отношения с 40 иностранными банками.

Адрес банка: 252011, Киев, ул. Лескова, 9

Факс: 295-32-31

Телефоны: 295-91-82 — отдел депозитных вкладов,
295-88-27 — отдел кредитов,
294-65-54 — отдел расчетов со странами СНГ,
295-04-62 — отдел неторговых операций,
295-86-64 — отдел рекламы и связи
с общественностью.

